



Мирская библиотека «Детство» Литература

ДАНИИЛ  
АНДРЕЕВ  
РОЗА МИРА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

## Annotation

Даниил Андреев (1906–1959), русский поэт и мистик, десять лет провел в тюремном заключении, к которому был приговорен в 1947 году за роман, впоследствии бесследно сгинувший на Лубянке. Свои главные труды Андреев писал во Владимирской тюрьме: из мистических прозрений и поэтической свободы родился философский трактат «Роза Мира» — вдохновенное видение мирового единства, казалось бы, совершенно невозможное посреди ужаса сталинского смертельного конвейера.

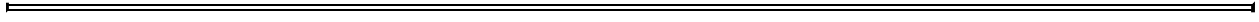
---

- [Даниил Андреев](#)
  - [КНИГА I](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
  - [КНИГА II. О МЕТАИСТОРИЧЕСКОМ И ТРАНСФИЗИЧЕСКОМ МЕТОДАХ ПОЗНАНИЯ](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
      - [1. Многослойность](#)
      - [2. Происхождение зла. — Мировые законы. — Карма](#)
      - [3. К вопросу о свободе воли](#)
      - [4. Бытие и сознание](#)
      - [5. Разноматериальная структура человека](#)
      - [6. Метакультуры](#)
  - [КНИГА III. СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА. МИРЫ ВОСХОДЯЩЕГО РЯДА](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
  - [КНИГА IV. СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА. ИНФРАФИЗИКА](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
  - [КНИГА V. СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА. СТИХИАЛИ](#)
    - [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [КНИГА VI. ВЫСШИЕ МИРЫ ШАДНАКАРА](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
- [КНИГА VII. К МЕТАИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
- [КНИГА VIII. К МЕТАИСТОРИИ ЦАРСТВА МОСКОВСКОГО](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
- [КНИГА IX. К МЕТАИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРИИ](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4.](#)
- [КНИГА X. К МЕТАИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
- [КНИГА XI. К МЕТАИСТОРИИ ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
- [КНИГА XII. ВОЗМОЖНОСТИ](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
- [Краткий словарь](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)

- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)



**Даниил Андреев**  
**РОЗА МИРА**

**КНИГА I**  
**РОЗА МИРА И ЕЁ МЕСТО В ИСТОРИИ**

## Глава 1

### Роза Мира и её ближайшие задачи

Эта книга начиналась, когда опасность неслыханного бедствия уже нависала над человечеством; когда поколение, едва начавшее оправляться от потрясений второй мировой войны, с ужасом убеждалось, что над горизонтом уже клубится, сгущаясь, странная мгла — предвестие катастрофы ещё более грозной, войны ещё более опустошающей. Я начинал эту книгу в самые глухие годы тирании, довлевшей над двумястами миллионами людей. Я начинал её в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал её тайком. Рукопись я прятал, и добрые силы — люди и не люди — укрывали её во время обысков. И каждый день я ожидал, что рукопись будет отобрана и уничтожена, как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и приведшая меня в политический изолятор.

Книга «Роза Мира» заканчивается несколько лет спустя, когда опасность третьей мировой войны не поднимается уже, подобно мглистым тучам, из-за горизонта, но простёрлась над нашими головами, закрыв зенит и быстро спускаясь от него вниз, по всем сторонам небосклона.

«А может быть, обойдётся?» — Такая надежда теплится в душе каждого, и без подобной надежды нельзя было бы жить. Одни пытаются подкрепить её логическими доводами и активными действиями. Некоторые ухитряются убедить самих себя в том, будто опасность преувеличивается. Третьи стараются не думать о ней совсем, погружаясь в заботы своего маленького мирка и раз навсегда решив про себя: будь, что будет. Есть и такие, в чьей душе надежда тлеет угасающей искрой, и кто живёт, движется, работает лишь по инерции.

Я заканчиваю рукопись «Розы Мира» на свободе, в золотом осеннем саду. Тот, под чьим игом изнемогала страна, давно уже пожинает в иных мирах плоды того, что посеял в этом. И всё-таки последние страницы рукописи я прячу так же, как прятал первые, и не смею посвятить в её содержание ни единую живую душу, и по-прежнему нет у меня уверенности, что книга не будет уничтожена, что духовный опыт, которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-нибудь.

«А может быть — обойдётся, тирания никогда не возвратится? Может быть, человечество сохранит навеки память о страшном историческом опыте России?» — Такая надежда теплится в душе всякого, и без этой



надежды было бы тошно жить.

Но я принадлежу к тем, кто смертельно ранен двумя великими бедствиями: мировыми войнами и единоличной тиранией. Такие люди не верят в то, что корни войн и тираний уже изжиты в человечестве или изживутся в короткий срок. Может быть отстранена опасность данной тирании, данной войны, но некоторое время спустя возникнет угроза следующих. Оба эти бедствия были для нас своего рода апокалипсисами — откровениями о могуществе мирового Зла и о его вековой борьбе с силами Света. Люди других эпох, вероятно, не поняли бы нас; наша тревога показалась бы им преувеличенной, наше мироощущение — болезненным. Но не преувеличено такое представление об исторических закономерностях, какое выжглось в человеческом существе полувековым созерцанием и соучастием в событиях и процессах небывалого размаха. И не может быть болезненным тот итог, который сформировался в человеческой душе как плод деятельности самых светлых и глубоких её сторон.

Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить её не успею. Но если она дойдёт когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать её до конца, преодолевая все её трудности, — идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах.

И произойдёт ли это ещё до третьей мировой войны или после неё, или третья война не будет развязана в ближайшие годы вовсе — книга не умрёт всё равно, если хоть одни дружественные глаза пройдут, глава за главой, по её страницам. Потому что вопросы, на которые она пытается дать ответ, будут волновать людей ещё и в далёком будущем.

Эти вопросы не исчерпываются проблематикой войны и государственного устройства. Но ничто не поколеблет меня в убеждении, что самые устрашающие опасности, которые грозят человечеству и сейчас и будут грозить ещё не одно столетие, это — великая самоубийственная война и абсолютная всемирная тирания. Быть может, третью мировую войну — в нашу эпоху — человечество превозможет или, по крайней мере, уцелеет в ней, как уцелело оно в первой и во второй. Быть может, оно выдержит, так или иначе, тиранию ещё более обширную и беспощадную, чем та, которую выдержали мы. Может случиться также, что через сто или двести лет возникнут новые опасности для народов, не менее губительные, чем тирания и великая война, но — иные. Возможно. Вероятно. Но никакие усилия разума, никакое воображение или интуиция не способны

нарисовать опасностей грядущего, которые не были бы связаны, так или иначе, с одной из двух основных: с опасностью физического уничтожения человечества вследствие войны и опасностью его гибели духовной вследствие абсолютной всемирной тирании.

Книга направлена, прежде всего, против этих двух зол. Двух коренных, первичных зол. Она направлена против них — не как памфлет, не как разоблачающая сатира, не как проповедь. Самая жгучая сатира и самая пламенная проповедь — бесплодны, если они только бичуют зло и доказывают, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно. Они бесплодны, если не основаны на знании основ того миропонимания, того универсального учения и той действенной программы, которые, распространяясь от ума к уму и от воли к воле, были бы способны отвлечь от человечества эти две коренные опасности. Поделиться своим опытом с другими, приоткрыть картину исторических и метаисторических перспектив, ветвящуюся цепь дилемм, встающих перед нами или долженствующих возникнуть, панораму разноматериальных миров, тесно взаимосвязанных с нами в добре и зле, — вот задача моей жизни. Я стремился и стремлюсь её выполнять в формах словесного искусства, в художественной прозе и в поэзии, но особенности этого искусства не позволяли мне раскрыть всю концепцию с надлежащею полнотой, изложить её исчерпывающе, чётко и общедоступно. Развернуть эту концепцию именно так, дать понять, каким образом в ней, трактующей об иноприродном, в то же время таится ключ и от текущих процессов истории, и от судьбы каждого из нас, — вот задача настоящей книги. Книги, которая, если Господь предохранит её от гибели, должна вдвинуться, как один из многих кирпичей, в фундамент Розы Мира, в основу всечеловеческого Братства.

Существует инстанция, много веков претендующая на то, чтобы быть единственной неуклонной объединительницей людей, предотвращающей от них опасность войны всех против всех, опасность падения в хаос. Такая инстанция — государство. Со времён окончания родового строя на всех исторических этапах государство являлось существенной необходимостью. Даже иерократии, пытавшиеся его подменить властью религиозной, превращались в разновидности того же государства. Государство цементировало общество на принципе насилия, а уровень нравственного развития, необходимый для того, чтобы цементировать общество на каком-либо принципе ином, не был достигнут. Конечно, он не достигнут и поднесь. Государство до сих пор остаётся единственным испытанным средством против социального хаоса. Но уясняется наличие в человечестве

этических начал более высокого типа, способных не только поддерживать, но и совершенствовать социальную гармонию: и, что ещё важнее, намечаются пути ускоренного развития этих начал.

В политической истории новейшего времени легко различаются две общечеловеческие направленности, полярные друг другу.

Одна из них стремится к переразвитию государственного начала как такового, к укреплению всесторонней зависимости личности от государства, точнее — от той инстанции, в руках которой находится государственный аппарат: партии, армии, вождя. Государства типа фашистского или национал-социалистического — ярчайший пример феноменов этого рода.

Другой поток явлений, возникший ещё в XVIII веке, если не раньше, — это поток направленности гуманистической. Его истоки и главнейшие этапы — английский парламентаризм, французская Декларация прав человека, германская социал-демократия, наконец, освободительная борьба против колониализма. Дальняя цель этого потока явлений — ослабление цементирующего насилия в жизни народов и преобразование государства из полицейского по преимуществу аппарата, отстаивающего национальное или классовое господство, в аппарат всеобщего экономического равновесия и охраны прав личности. В исторической действительности имеются ещё оригинальные образования, могущие показаться как бы гибридами. По существу оставаясь феноменами первого типа, они видоизменяют собственное обличье в той мере, в какой это целесообразно для достижения поставленной цели. Это — лишь тактика, маскировка, не более.

И всё же, несмотря на полярность этих потоков явлений, их объединяет одна черта, характернейшая для XX столетия: стремление ко всемирному. Внешний пафос различных движений нашего века — в их конструктивных программах нароудоустройств; но внутренний пафос новейшей истории — в стихийном стремлении ко всемирному.

Интернациональностью своей доктрины и планетарным размахом отличалось самое мощное движение 1-й половины нашего столетия. Ахиллесовой пятой движений, ему противопоставившихся — расизма, национал-социализма, — была их узкая националистичность, точнее — узкорасовые или национальные границы тех блаженных зон, химерою которых они прельщали и завораживали. Но к мировому владычеству стремились и они, и притом с колоссальной энергией. Теперь космополитический американизм озабочен тем, чтобы избежать ошибок своих предшественников.

На что указывает это знамение времени? Не на то ли, что всемирность, перестав быть абстрактной идеей, сделалась всеобщей потребностью? Не на то ли, что мир стал неделим и тесен, как никогда? Не на то ли, наконец, что решение всех насущных проблем может быть коренным и прочным лишь при условии всемирных масштабов этого решения?

Деспотические образования планомерно осуществляют при этом принцип крайнего насилия либо хитрым сочетанием методов частично вуалируют его. Темпы убустряются. Возникают такие государственные громады, на сооружение каких раньше потребовались бы века. Каждое хищно по своей природе, каждое стремится навязать человечеству именно свою власть. Их военная и техническая мощь становится головокружительной. Они уже столько раз ввергали мир в пучину войн и тираний, — где гарантии, что они не ввергнут его ещё и ещё? И наконец, сильнейший победит во всемирном масштабе, хотя бы это стоило превращения трети планеты в лунный ландшафт. Тогда цикл закончится, чтобы уступить место наибольшему из зол: единой диктатуре над уцелевшими двумя третями мира — сперва, быть может, олигархической, а затем, как это обычно случается на втором этапе диктатур, — единоличной. Это и есть угроза, самая страшная из всех, нависавших над человечеством: угроза всечеловеческой тирании.

Сознательно или бессознательно предчувствуя эту опасность, движения гуманистической направленности пробуют консолидировать свои усилия. Они лепечут о культурном сотрудничестве, размахивают лозунгами пацифизма и демократических свобод, ищут призрачного спасения в нейтралитете либо же, испуганные агрессивностью противника, сами вступают на его путь. Бесспорной, всем доверие внушающей цели, то есть идеи о том, что над деятельностью государств насущно необходим этический контроль, не выдвинуло ни одно из них. Некоторые общества, травмированные ужасами мировых войн, пытаются объединиться с тем, чтобы в дальнейшем политическое объединение охватило весь земной шар. Но к чему теперь привело бы и это? Опасность войн, правда, была бы устранена, по крайней мере временно. Но где гарантии того, что это сверхгосударство, опираясь на обширные нравственно отсталые слои — а таких на свете ещё гораздо больше, чем хотелось бы — и расшевеливая неизжитые в человечестве инстинкты властолюбия и мучительства, не перерастёт опять-таки в диктатуру и, наконец, в тиранию, такую, перед которой все прежние покажутся забавой?

Знаменательно, что именно религиозные конфессии, раньше всех провозгласившие интернациональные идеалы братства, теперь

оказываются в арьергарде всеобщего устремления ко всемирному. Возможно, в этом сказывается характерное для них сосредоточение внимания на внутреннем человеке, пренебрежение всем внешним, а ко внешнему относят и проблему социального устройства человечества. Но если взглянуть глубже, если сказать во всеуслышание то, что говорят обычно лишь в узких кругах людей, живущих интенсивной религиозной жизнью, то обнаружится нечто, не всеми учитываемое. Это возникший ещё во времена древнеримской империи мистический ужас перед грядущим объединением мира, это неутолимая тревога за человечество, ибо в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству «князя мира сего», к последним катаклизмам истории и к её катастрофическому перерыву.

Да и в самом деле: где гарантии, что во главе сверхгосударства не окажется великий честолюбец и наука послужит ему верой и правдой, как орудие для превращения этого сверхгосударства именно в ту чудовищную машину мучительства и духовного калечения, о которой я говорю? Можно ли сомневаться, что даже уже и теперь создаются предпосылки для изобретения совершенного контроля за поведением людей и за образом их мышления? Где границы тем кошмарным перспективам, которые возникают перед нашим воображением в результате скрещения двух факторов: террористического единовластия и техники XXI столетия? Тирания будет тем более абсолютной, что тогда закроется даже последний, трагический путь избавления: сокрушение тирании извне в итоге военного поражения: воевать будет не с кем, подчинены будут все. И всемирное единство, мечтавшееся стольким поколениям, потребовавшее стольких жертв, обернётся своей демонической стороной: своей безвыходностью в том случае, если руководство этим единством возьмут ставленники тёмных сил.

На горьком опыте человечество убеждается уже и теперь, что ни те социально-экономические движения, шефство над которыми берёт голый рассудок, ни достижения науки сами по себе не в состоянии провести человечество между Харибдой и Сциллой — тираниями и мировыми войнами. Хуже того: новые социально-экономические системы, приходя к господству, сами облакаются в механизмы политических деспотий, сами становятся сеятелями и разжигателями мировых войн. Наука превращается в их послушную служанку, куда более послушную и надёжную, чем была церковь для феодальных владык. Трагедия коренится в том, что научная деятельность с самого начала не была сопряжена с глубоко продуманным

нравственным воспитанием. К этой деятельности допускались все, независимо от уровня их нравственного развития. Неудивительно, что каждый успех науки и техники обращается теперь одной стороной против подлинных интересов человечества. Двигатель внутреннего сгорания, радио, авиация, атомная энергия — всё ударяет одним концом по живой плоти народов. А развитие средств связи и технические достижения, позволяющие полицейскому режиму контролировать интимную жизнь и сокровенные мысли каждого, подводят железную базу под вампирические громады диктатур.

Таким образом, опыт истории подводит человечество к пониманию того очевидного факта, что опасности будут предотвращены и социальная гармония достигнута не развитием науки и техники самих по себе, не переразвитием государственного начала, не диктатурой «сильного человека», не приходом к власти пацифистских организаций социал-демократического типа, качаемых историческими ветрами то вправо, то влево, от бессильного прекраснодушия до революционного максимализма, — но признанием насущной необходимости одного-единственного пути: установления над Всемирной Федерацией государств некоей незапятнанной, неподкупной высокоавторитетной инстанции, инстанции этической, внегосударственной и надгосударственной, ибо природа государства внеэтична по своему существу.

Какая же идея, какое учение помогут создать подобный контроль? Какие умы его выработают и сделают приемлемым для громадного большинства? Какими путями придёт такая инстанция к общечеловеческому признанию, на высоту, господствующую даже над Федерацией государств, — она, отвергающая насилие? Если же она примет к руководству принцип постепенной замены насилия чем-то другим, то чем же именно и в какой последовательности? И какая доктрина сможет разрешить все возникающие в связи с этим проблемы с их невероятной сложностью?

Настоящая книга стремится дать, в какой-то мере, на эти вопросы ответ, хотя общая тематика её шире. Но, подготавливаясь к ответу, следует ясно сформулировать сперва, в чём же это учение видит своего непримиримейшего врага и против чего — или кого — оно направлено.

В историческом плане оно видит своих врагов в любых державах, партиях и доктринах, стремящихся к насильственному порабощению других и к каким бы то ни было формам и видам деспотических народоустройств. В метаисторическом же плане оно видит своего врага в одном: в Противобогe, в тиранствующем духе, Великом Мучителе,

многообразно проявляющем себя в жизни нашей планеты. Для движения, о котором я говорю, и сейчас, когда оно едва пытается возникнуть, и потом, когда оно станет решающим голосом истории, врагом будет одно: стремление к тирании и к жестокому насилию, где бы оно ни возникало, хотя бы в нём самом. Насилие может быть признано годным лишь в меру крайней необходимости, только в смягчённых формах и лишь до тех пор, пока наивысшая инстанция путём усовершенствованного воспитания не подготовит человечество при помощи миллионов высокоидейных умов и воля к замене принуждения — добровольностью, окриков внешнего закона — голосом глубокой совести, а государства — братством. Другими словами, пока самая сущность государства не будет преобразована, а живое братство всех не сменит бездушного аппарата государственного насилия.

Не обязательно надо предполагать, что подобный процесс займёт непременно огромный отрезок времени. Исторический опыт великих диктатур, с необыкновенной энергией и планомерностью охватывавших население громадных стран единой, строго продуманной системой воспитания и образования, неопровержимо доказал, какой силы рычаг заключён в этом пути воздействия на психику поколений. Поколения формировались всё ближе к тому, что представлялось желательным для властей предержавших. Нацистская Германия, например, ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения. Ясное дело, ничего, кроме гнева и омерзения, не могут вызвать в нас её идеалы. Не только идеалы — даже методика её должна быть отринута нами почти полностью. Но рычаг, ею открытый, должен быть взят нами в руки и крепко сжат. Приближается век побед широкого духовного просвещения, решающих завоеваний новой, теперь ещё едва намечаемой педагогики. Если бы хоть несколько десятков школ были предоставлены в её распоряжение, в них формировалось бы поколение, способное к выполнению долга не по принуждению, а по доброй воле; не из страха, а из творческого импульса и любви. В этом и заключён смысл воспитания человека облагороженного образа.

Мне представляется международная организация, политическая и культурная, ставящая своей целью преобразование сущности государства путём последовательного осуществления всеохватывающих реформ. Решающая ступень к этой цели — создание Всемирной федерации государств как независимых членов, но с тем, чтобы над Федерацией была установлена особая инстанция, о которой я уже упоминал: инстанция, осуществляющая контроль над деятельностью государств и руководящая их бескровным и безболезненным преобразованием изнутри. Именно

бескровным и безболезненным: в этом всё дело, в этом её отличие от революционных доктрин прошлого.

Какова будет структура этой организации, каково её наименование — предугадывать это мне представляется преждевременным и ненужным. Назовём её пока условно, чтобы не повторять каждый раз многословных описаний, Лигой преобразования сущности государства. Что же до её структуры, то те, кто станут её организаторами, будут и опытнее, и практичнее меня: это будут общественные деятели, а не поэты. Могу только сказать, что лично мне рисуется так, что Лига должна располагать своими филиалами во всех странах, причём каждый филиал обладает несколькими аспектами: культурным, филантропическим, воспитательным, политическим. Такой политический аспект каждого филиала превратится, структурно и организационно, в национальную партию Всемирной религиозной и культурной реформы. В Лиге и Лигой все эти партии будут связаны и объединены.

Как именно, где и среди кого произойдёт формирование Лиги, я, конечно, не знаю и знать не могу. Но ясно, что период от её возникновения до создания Федерации государств и этической инстанции над ними должен рассматриваться как период подготовительный, период, когда Лига будет отдавать все силы распространению своих идей, формированию своих рядов, расширению организации, воспитанию подрастающих поколений и созданию внутри себя той будущей инстанции, которой со временем может быть доверена всемирная руководящая роль.

Устав Лиги не может препятствовать пребыванию в её рядах людей различных философских и религиозных убеждений. Требуется лишь готовность деятельно участвовать в осуществлении её программы и решимость не нарушать её моральных установлений, принятых как краеугольная плита.

Во всех превратностях общественной жизни и политической борьбы успехи Лиги должны достигаться не ценой отступления от её нравственного кодекса, а именно вследствие верности ему. Её репутация должна быть незапятнанной, бескорыстие — не подлежащим сомнению, авторитет — возрастающим, ибо в неё будут стекать и её непрерывно укреплять лучшие силы человечества.

Вероятнее всего, что путь ко всемирному объединению ляжет через лестницу различных ступеней международной солидарности, через объединение и слияние региональных содружеств; последней ступенью такой лестницы представляется всемирный референдум или плебисцит — та или иная форма свободного волеизъявления всех. Возможно, что он



приведёт к победе Лиги лишь в отдельных странах. Но за неё будет сам исторический ход вещей. Объединение хотя бы половины земного шара довершит глубокий сдвиг в сознании народов. Состоится второй референдум, может быть третий, и десятилетием раньше или позже границы Федерации совпадут с границами человечества. Тогда откроется практическая возможность к осуществлению цепи широких мероприятий ради превращения конгломерата государств в монолит, постепенно преобразуемый двумя параллельными процессами: внешним — политико-социально-экономическим и внутренним — воспитательно-этико-религиозным.

Ясно из всего этого, что деятели Лиги и её национальных партий смогут бороться только словом и собственным примером и только с теми идеологиями и доктринами, которые стремятся расчистить путь для каких бы то ни было диктатур или поддержать эти диктатуры у кормила власти. Своих исторических предшественников, хотя и действовавших в узконациональных масштабах, Лига увидит в великом Махатме Ганди и в партии, вдохновлявшейся им. Первый в новой истории государственный деятель-праведник, он утвердил чисто политическое движение на основе высокой этики и опроверг ходячее мнение, будто политика и мораль несовместимы. Но национальные рамки, в которых действовал Индийский национальный конгресс, Лига раздвинет до планетарных границ, а цели её — следующая историческая ступень или ряд ступеней по сравнению с теми, какие ставила себе великая партия, освободившая Индию.

О, конечно найдётся немало людей, которые станут утверждать, будто методика Лиги — непрактична и нереальна. Ах уж мне эти поборники политического реализма! Нет безнравственности, нет социальной гнусности, которая не прикрывалась бы этим жалким фиговым листком. Нет груза более мертвенного, более приземляющего, чем толки о политическом реализме как противовесе всему крылатому, всему вдохновенному, всему духовному. Политические реалисты — это, между прочим, и те, кто в своё время уверял, даже в самой Индии, что Ганди — фантаст и мечтатель. Им пришлось стиснуть зубы и прикусить язык, когда Ганди и его партия именно на пути высокой этики добились освобождения страны и повели её дальше, к процветанию. Не ко внешнему процветанию, которое порошит людям глаза чёрной пылью цифр о росте добычи угля или радиоактивным пеплом от экспериментальных взрывов водородных бомб, а к процветанию культурному, этическому и эстетическому — процветанию духовному, неспешно, но прочно влекущему за собой и процветание материальное.

Обвинять Лигу в нереальности методов будут также те, кто не способен видеть лучшее в человеке; чья психика огрубела, а совесть захирела в атмосфере грубого государственного произвола. К ним присоединятся и те, кто не предвидит, какие сдвиги массового сознания ждут нас в недалёкие уже годы. Травмированность войнами, репрессиями и всевозможными насилниями даже теперь вызывает широкое движение за сосуществование и за мир. Постоянно совершаются и будут совершаться события, разрушающие чувство безопасности, не оставляющие ничего от уюта и покоя, подрывающие корни доверия к существующим идеологиям и к охраняемому ими порядку вещей. Разоблачение неслыханных ужасов, творившихся за помпезными фасадами диктатур, наглядное уяснение, на чём воздвигались и чем оплачивались их временные победы, их внешние успехи — всё это иссушает душу как раскалённый ветер, и духовная жажда делается нестерпима. Об отстранении угрозы великих войн; о путях к объединению мира без кровопролитий; о светоносце-праведнике, грядущем возглавить объединённое человечество; об ослаблении насилия государств и о возрастании духа братства — вот о чём молятся верующие и мечтают неверующие в наш век. И вероятно в высшей степени, что мирообъемлющее крылатое учение — и нравственное, и политическое, и философское, и религиозное — претворит эту жажду поколения во всенародный творческий энтузиазм.

То обстоятельство, что последнее крупное религиозное движение в человечестве — протестантская Реформация — имело место четыреста лет назад, а последняя религия мирового значения, ислам, насчитывает уже тринадцать веков существования, — выдвигается иногда как аргумент в пользу мнения, что религиозная эра в человечестве завершилась. Но о потенциальных возможностях религии как таковой, а не отдельных форм её, судить следует не по тому, как давно возникли последние крупные её формы, а по тому, зашла ли эволюция религии в тупик, имеется ли возможность сочетать религиозную творческую мысль с бесспорными тезисами науки, а также ещё и по тому, брезжут ли перед таким мировоззрением перспективы осмысления жизненного материала новых эпох и возможно ли действенное и прогрессивное влияние религии на этот материал.

Действительно, с последнего крупного религиозного движения международного размаха прошло около четырёхсот лет. Но ведь и перед протестантской Реформацией подобных движений не было много столетий. Да и в этом ли дело? Разве ещё не ясно, что определённое русло идейной, творческой работы человечества в последние века вбирало в себя почти все

его духовные и умственные силы? Трудно было бы ожидать, чтобы, осуществляя такой стремительный прогресс — научный, технический и социальный, создавая такие культурные ценности, как литература, музыка, философия, искусство и наука последних веков, человечество нашло бы в себе силы одновременно творить ещё и универсальные религиозные системы.

Но рубеж XX века как раз и явился той эпохой, когда закончился расцвет великих литератур и искусств, великой музыки и философии. Область социально-политического действия вовлекает в себя — и чем дальше, тем определённой — не наиболее духовных представителей человеческого рода, а как раз наименее духовных. Образовался гигантский вакуум духовности, не существовавший ещё пятьдесят лет назад, и гипертрофированная наука бессильна его заполнить. Если позволительно подобрать такое выражение, колоссальные ресурсы человеческой гениальности не расходуются никуда. Это и есть то лоно творческих сил, в котором зреет предопределённая к рождению всечеловеческая интеррелигия.

Сможет ли религия — не старинные её формы, а та религия итога, которой ныне чреват мир, предотвратить наиболее грозные из нависших над человечеством опасностей: всемирные войны и всемирную тиранию? — Предотвратить ближайшую мировую войну она, вероятно, не в состоянии: если третья война вспыхнет, то произойдёт это бедствие, вероятно, раньше, чем даже успеет возникнуть Лига. Но в предотвращении всех войн, опасность которых будет возникать после того, как сформируется ядро грядущей интеррелигии, так же как и в предотвращении всемирной тирании, — её ближайшая цель. Может ли эта религия достичь наибольшей гармонии между свободой личности и интересами человечества, какая только мыслима на данном этапе истории? — Но это лишь другой аспект той же самой её ближайшей цели. Будет ли она способствовать всестороннему развитию заложенных в человеке творческих способностей? — Да, кроме способностей демонических, то есть способностей к тиранствованию, мучительству и к самоутверждению за счёт остальных живых существ. Требуется ли она для своего торжества кровавых жертв, как другие движения всемирной направленности? — Нет, исключая те случаи, когда её проповедникам придётся, может быть, собственной кровью засвидетельствовать свою верность идее. Противоречат ли её тезисы — не философской доктрине материализма (ей-то они, конечно, противоречат во всех пунктах от А до Я), а объективным и общеобязательным тезисам современной науки? — Ни

в одной букве или цифре. Можно ли предвидеть установление в эпоху её гегемонии такого режима, когда инакомыслие будет преследоваться, когда она будет навязывать свои догматы философии, науке, искусству? — Как раз наоборот: от частичных ограничений свободы мысли — вначале, к неограниченной свободе мысли — потом: таков предлагаемый ею путь. — Что же остаётся от аргумента, что религия не способна ответить на насущные вопросы времени, а тем более — практически разрешить их?

С полным правом и основанием такой упрёк может быть брошен не религии, а, увы, науке. Как раз именно система взглядов, которая не выглядывает ни вправо, ни влево за пределы того, что очерчивается современным научным знанием, не способна дать ответа на самые коренные, самые элементарные вопросы. — Существует ли Первопричина, Творец, Бог? Неизвестно. — Существует ли душа или что-либо подобное ей, и бессмертна ли она? Этого наука не знает. — Что такое время, пространство, материя, энергия? Об этом мнения резко расходятся. — Вечен ли и бесконечен мир или, напротив, ограничен во времени и в пространстве? Материала для твёрдого ответа на эти вопросы у науки не имеется. — Ради чего я должен делать добро, а не зло, если зло мне нравится, а от наказания я могу уберечься? Ответы невразумительны совершенно. — Как воспользоваться наукой, чтобы предотвратить возможность войн и тираний? Молчание. — Как достичь, с наименьшим числом жертв, социальной гармонии? Выдвигаются взаимоисключающие предложения, сходные только в одном: в том, что все они в равной мере не имеют отношения к строгой науке. Естественно, что на таких шатких, субъективных, действительно псевдонаучных основаниях возникали лишь учения классового, расового, национального и партийного эгоизма, то есть как раз те, чьё призвание заключается в оправдании диктатур и войн. Низкий уровень духовности — отличительная черта подобных учений. Следовательно, искомая этическая инстанция может быть построена на основе не так называемого научного мировоззрения — такого, в сущности, и не существует, — а на приобщении к духовному миру, на восприятии лучей, льющихся оттуда в сердце, разум и совесть, и на осуществлении во всех сферах жизни завета деятельной и творческой любви. Нравственный уровень, вполне отвечающий перечисленным признакам, называется праведностью.

Распространён ещё и другой предрассудок: взгляд на религию как на явление, реакционное по своему существу, а тем более в нашу эпоху. Но говорить о реакционности или устарелости религии вообще, безотносительно к её конкретным формам, так же бессмысленно, как

доказывать реакционность искусства вообще или философии вообще. Тот, кто мыслит динамически, кто видит эволюционирующие ряды фактов и процессы, которыми формируются эти ряды, тот сумеет и в искусстве, и в религии, и в любой области человеческой деятельности разглядеть наличие реакционных и прогрессивных форм. Реакционных форм религии можно встретить сколько угодно и даже больше, чем нам хотелось бы, но это не имеет никакого касательства к той рождающейся религии итога, которой эта книга посвящена. Ибо в нашем столетии не было и нет ни более прогрессивных целей, ни более прогрессивных методов, чем те, которые слиты воедино с этой религией. Что же до претензий научного метода на некое верховенство, то научный метод столь же бессилён вытеснить из жизни методы художественный и религиозный в широком смысле слова, как и его самого не могла в своё время вытеснить агрессивная религиозность. Потому что методы эти различествуют между собой не только в том, как, но и в том, что ими познаётся. В прошлом столетии, под впечатлением стремительного прогресса в науке и технике, пророчили гибель искусства. Прошло сто лет, и соцветие искусств не только не погибло, но обогатилось ещё одним: искусством кино. Сорок или тридцать лет назад многим в России казалась неизбежной гибель религии вследствие прогресса научного и социального. И однако же соцветие религий не только не погибло, несмотря на все средства, ради этого мобилизованные, но именно под влиянием научного и социального прогресса обогащается тем, что сделает мировую религиозность вместо сочетания разрозненных лепестков целокупным и единым духовным цветком — Розою Мира.

Из всего вышесказанного вытекает, что религиозное движение, которое включит в своё миросозерцание и практику положительный опыт человечества, а из отрицательного сделает выводы, требующие слишком много мужества и прямоты, чтобы быть сделанными на путях других течений общественной мысли; движение, которое ставит своими ближайшими целями преобразование государства в братство, объединение земли и воспитание человека облагороженного образа; движение, которое предохранит себя от искажения идеала и методики нерушимой бронёй высокой нравственности, — такое движение не может не быть признано прогрессивным, перспективным и творчески молодым.

Бронёй нравственности! Но на каких основах может создаваться такая нравственность? Я говорил о праведности. Но разве не утопия праведность целых общественных кругов, а не единиц?

Следует уточнить, что понимается здесь под праведностью. Праведность не есть непременно плод монашеской аскезы. Праведность

есть высшая ступень нравственного развития человека; тот, кто её превысил, — уже не праведник, а святой. Формы же праведности разнообразны; они зависят от времени, места и человеческого характера. Можно сказать обобщённо: праведность — в негативном аспекте — есть такое состояние человека, устойчивое и оканчивающееся только с его смертью, при котором его воля освобождена от импульсов себялюбия, разум — от захваченности материальными интересами, а сердце — от кипения случайных, мутных, принижающих душу эмоций. В позитивном же аспекте — праведность есть проницание деятельной любовью к Богу, людям и миру всей внешней и внутренней деятельности человека.

Вряд ли психологический климат для возникновения нравственной инстанции, основанной именно на праведности, может быть где-либо подготовлен лучше, чем в обществе, объединившемся в чаянии её возникновения и в этом видящем свой смысл и цель. Но как раз таким обществом должна быть Лига. В числе её членов могут оказаться даже атеисты. Но основной тезис Лиги — необходимость превыше государств всемирной этической инстанции; именно он сплотит наиболее одушевлённых, творческих, деятельных и одарённых членов её в ядро. Ядро, для которого характерна атмосфера неустанного духовного созидания, деятельной любви и чистоты. Ядро, состоящее из людей, достаточно просвещённых, чтобы понимать не только опасность, грозящую каждому из них вследствие разнудания импульсов самости, но и опасность того слишком внешнего понимания религиозно-нравственных ценностей, которое приводит к этическому формализму, лицемерию, душевной черствости и ханжеству.

Никто, кроме Господа Бога, не знает, где и когда затеплится первый огонь Розы Мира. Страна — Россия — только преуказана; ещё возможны трагические события, которые осложнят совершение этого мистического акта и принудят перенести его в другую страну. Эпоха — шестидесятые годы нашего века — только намечена; возможны гибельные катаклизмы, которые отодвинут эту дату на длительный ряд лет. Возможно, что средой, где затеплится первый пламень, окажется не Лига преобразования сущности государства, а иной, сейчас ещё не предугаданный круг людей. Но там ли, здесь ли, в этой стране или в другой, раньше на десятилетие или позже, интеррелигиозная, всечеловеческая церковь новых времён, Роза Мира, явится как итог духовной деятельности множества, как соборное творчество людей, ставших под низливающийся поток откровения, — явится, возникнет, вступит на исторический путь.

Религия, интеррелигия, церковь — нужной точности я не могу

достигнуть при помощи ни одного из этих слов. Ряд коренных её отличий от старых религий и церквей со временем принудит выработать в применении к ней слова иные. Но и без того предстоит вводить в кругооборот эту книгу столь обширный запас новых слов, что здесь, в самом начале, предпочтительнее прибегнуть не к этим словам, а к описательному определению отличительных черт того, что должно именоваться Розою Мира.

Это не есть замкнутая религиозная конфессия, истинная или ложная. Это не есть и международное религиозное общество вроде теософического, антропософского или масонского, составленного, наподобие букета, из отдельных цветов религиозных истин, эклектически сорванных на всевозможных религиозных лугах. Это есть интеррелигия или панрелигия в том смысле, что её следует понимать как универсальное учение, указующее такой угол зрения на религии, возникшие ранее, при котором все они оказываются отражениями различных пластов духовной реальности, различных рядов иноматериальных фактов, различных сегментов планетарного космоса.<sup>[1]</sup> Этот угол зрения обнимает Шаданакар как целое и как часть божественного космоса вселенной. Если старые религии — лепестки, то Роза Мира — цветок: с корнем, стеблем, чашей и всем содружеством его лепестков.

Второе отличие: универсальность устремлений Розы Мира и их историческая конкретность. Задачу преобразования социального тела человечества не ставила перед собой ни одна религия, исключая средневековый католицизм. Но и папство, упорно старавшееся замкнуть феодальный хаос дамбами иерократии, не сумело ни ослабить эксплуатацию неимущих имущими, ни уменьшить широкими реформами социальное неравенство, ни повысить общее благосостояние. Впрочем, обвинять в этом ведущую католическую иерархию было бы несправедливостью: для подобных преобразований ещё не было материальных средств, ни экономических, ни технических. Не случайно зло мира ощущалось испокон веков и вплоть до нового времени неустранимым и вечным, и католицизм, по существу, обращался, как и остальные религии, лишь к «внутреннему человеку», учил личному совершенствованию. Но времена изменились, материальные средства появились, и заслуга всего исторического процесса, а не самой Розы Мира в том, что она сможет теперь смотреть на социальные преобразования не как на внешнее, обречённое на неудачу и не заслуживающее усилий, но ставить их в неразрывную связь с совершенствованием внутреннего мира человека: теперь это два параллельных процесса, которые должны друг

друга восполнять. Нередко слышишь: «Христианство не удалось». Да, если бы оно всё было в прошлом, можно было бы говорить, что в социальном и всемирно-нравственном отношении оно не удалось. «Религия не удалась». Да, если бы религиозное творчество человечества исчерпалось тем, что уже создано, религия в только что упомянутом смысле действительно не удалась бы. А пока справедливо говорить об этом только так: добиться существенного уменьшения социального зла старые религии не могли, так как не располагали необходимыми для этого материальными средствами, и отсутствие этих средств вызвало их отрицательное отношение ко всем подобным попыткам. Этим был подготовлен безрелигиозный этап цивилизации. В XVIII веке пробудилась социальная совесть. Социальная дисгармония была наконец почувствована и осознана как нечто недопустимое, оскорбляющее, требующее преодоления. Конечно, это находилось в связи с тем, что начали появляться недостававшие для этого материальные средства. Но старые религии не сумели этого понять, не захотели этими средствами воспользоваться, не пожелали возглавить процесс социального преобразования, и именно в этой косности, в этой умственной лени, в этой идейной неподвижности и узости — их тягчайшая вина. Религия дискредитировала себя своей вековой беспомощностью в этом отношении, и не приходится удивляться противоположной крайности, в которую впала Европа, а затем и другие континенты: преобразованию общества чисто механическими средствами при полном отказе от духовной стороны того же процесса. Нечего, конечно, удивляться и итогу: потрясениям, каких не видал мир, масштабам жертв, какие никогда не рисовались даже в бреду, и такому снижению этического уровня, самая возможность которого в XX веке представляется до сих пор многим мрачной и трагической загадкой. На старые религии падает в значительной степени ответственность за глубину и упорство последующего безрелигиозного этапа, за духовную судьбу миллионов душ, которые, ради борьбы за справедливое мироустройство, противопоставили себя религии вообще и этим вырвали корни своего бытия из лона мировой духовности. Но истинная религиозная деятельность есть своего рода общественное служение, а истинное общественное служение есть в то же время религиозная деятельность. Никакое религиозное делание, даже подвиг инока, не может быть изолировано от общего, от труда на пользу всемирного просветления; и никакая общественная деятельность, кроме демонической, не может не влиять на увеличение суммы мирового добра, то есть не иметь религиозного смысла. Биение социальной совести, действенное социальное сострадание и сорадование, неустанные



практические усилия ради преобразования общественного тела человечества — вот второе отличие Розы Мира от старинных религий.

Третье отличие: динамичность её воззрений. Религии, не чуждые представлениям о метаистории, уже были: иудаизм, раннее христианство — но лишь в далёкие от нас и притом короткие периоды своего становления они пытались духовно осмыслить текущий исторический процесс. В те короткие, полузабытые эпохи поразительные прозрения Апокалипсиса оставались прикрытыми от глаз людей покровом иносказаний и недомолвок; шифр образов допускал всевозможные толкования. Подлинного осмысления исторического процесса так и не состоялось. Исторический опыт был ещё мал и узок, географический кругозор ничтожен, мистический разум не был подготовлен к постижению внутренних закономерностей метаистории и невероятной сложности Шаданакара. Но явлению Розы Мира предшествовала эра гегемонии науки, в самых корнях потрясшая представление о вселенной, о народах, культурах и их судьбе. Предшествовало ей и другое: эпоха коренных сдвигов и сбросов социальных, эпоха революций и планетарных войн. Оба ряда явлений взрыхлили психологические пласты, столько веков пребывавшие в неподвижности. В почву, взрытую железными зубьями исторических катастроф, падают семена метаисторического откровения. И приоткрывается духовному взору весь планетарный космос как непрерывно меняющаяся система разнозначных миров, бурно несущаяся к ослепительной цели, одухотворяющаяся и преображающаяся от века к веку, ото дня ко дню. Начинают сквозить ряды предстоящих эпох, каждая — во всём своём неповторимом своеобразии, в переплетении борющихся в ней метаисторических начал. Стремление Розы Мира — в том, чтобы стать восприимчивой, умножательницей и толковательницей этого познания. Соборный мистический разум живущего человечества, она будет осмыслять исторический процесс в его прошлом, настоящем и будущем, чтобы вступить в творческое руководство им. Если и можно будет говорить о каких-либо догматах в её учении, то это догматика глубоко динамичная, многоаспектная, способная к дальнейшему обогащению и развитию, к длительному совершенствованию.

Отсюда вытекает и ещё одно, четвёртое, отличие Розы Мира: перспектива последовательных, стоящих перед нею духовно-исторических задач, вполне конкретных и принципиально осуществимых. Перечислю ещё раз ближайшие из них: объединение земного шара в Федерацию государств с этической контролирующей инстанцией над нею, распространение материального достатка и высокого культурного уровня

на население всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми религиями светлой направленности, превращение планеты — в сад, а государств — в братство. Но это — задачи лишь первой очереди. Их осуществление откроет путь к разрешению задач ещё более высоких: к одухотворению природы.

Итак: интеррелигиозность, универсальность социальных стремлений и их конкретность, динамичность воззрений и последовательность всемирно-исторических задач — вот черты, отличающие Розу Мира от всех религий и церквей прошлого. Бескровность её дорог, безболезненность её реформ, доброта и ласка в отношении к людям, волны душевного тепла, распространяемые вокруг, — вот черты, отличающие её от всех политико-социальных движений прошлого и настоящего.

Ясно, что сущность государства, равно как и этический облик общества, не может быть преобразована в мгновение ока. Сразу же полный отказ от принуждения — утопия. Но этот элемент будет убывать во времени и в общественном пространстве. Всякая дисциплина слагается из элементов принуждения и сознательности, и от соотношения между собою этих двух элементов зависит тот или иной род дисциплины. Наибольшим процентом принуждения и почти полным отсутствием сознательности обладает дисциплина рабовладельческих хозяйств, тюрем и концентрационных лагерей. Немного больше процент сознательности в воинской муштре. И дальше, по мере ослабления в дисциплинарных системах элемента принуждения, возрастает и заменяет его собой категорический императив внутренней самодисциплины. На воспитании именно этого импульса построится вся новая педагогика. О её принципах и методах, как и о методах перевоспитания и возрождения преступников, речь пойдёт ещё не скоро — в одной из последних глав. Но ясно, думается, уже и теперь, что стимул внешнего принуждения быстрее всего будет отмирать во внутренних концентрических кругах Розы Мира: ибо именно людьми, целиком спаявшими свою жизнь с её задачами и с её этикой и уже не нуждающимися во внешнем принуждении, наполнятся эти внутренние круги. Именно такие люди будут являться её совестью, и кем же, как не ими, должны быть заняты кресла Верховного Собора?

Да и можно ли переоценить воспитательное значение таких общественных устройств, когда на вершине общества руководят и творят достойнейшие: не те, чьё волевое начало гипертрофировано за счёт других способностей души и чья сила заключается в неразборчивом отношении к средствам, но те, в ком гармонически развитая воля, разум, любвеобилие,

чистота помыслов и глубокий жизненный опыт сочетаются с очевидными духовными дарами: те, кого мы называем праведниками. Совсем недавно мы видели тому пример: мы видели роковую годину Индии и великого духом Ганди. Мы видели потрясающее зрелище: человек, не обладавший никакой государственной властью, в подчинении которого не было ни одного солдата, даже ни одного личного слуги, не имевший крова над головой и ходивший в набедренной повязке, стал совестью, стал духовным и политическим вождём трёхсот миллионов человек, и одного его тихого слова было достаточно, чтобы эти миллионы объединялись в общей бескровной борьбе за освобождение своей страны, а пролитие крови врага влекло за собой всеиндийский пост и траур. Нетрудно представить себе, как трагически исказился бы исторический путь индийского народа, если бы вместо этого подвижника в решающую минуту выдвинулся в качестве вождя человек односторонне-волевого типа, вроде Муссолини или Сталина, — так называемая «сильная личность», мастер демагогии и политической интриги, маскирующий свою сущность деспота тирадами о народном благе! Как блестяще играл бы он на низших инстинктах народа, на естественной ненависти к завоевателям, на зависти к богатым; какие волны огня и крови заходили бы по Индии, затопляя острова высокого этического сознания, тысячи лет укреплявшиеся и лелеемые лучшими сынами великого народа! И какая тирания воздвиглась бы в итоге над истерзанною страной, пользуясь склонностью к повиновению, созданною веками рабства!.. Ганди направил освободительный и созидательный энтузиазм нации по другому пути. Вот первый в новейшей истории пример той силы, которая постепенно заменит меч и кнут государственной власти. Эта сила — живое доверие народа к тому, кто доказал свою нравственную высоту; это — авторитет праведности.

Предвижу множество возражений. Одно из них таково: да, это было возможно в Индии, с её неповторимыми особенностями, с четырёхтысячелетним религиозным прошлым, с этическим уровнем её народа. У других народов другое наследие, и опыт Индии ни на какую другую страну перенесён быть не может.

Верно, у каждого народа своё наследие. И наследие Индии привело к тому, что её народ стал пионером на этой дороге. Но почти каждый народ видел у себя или рядом с собой диктатуры и тирании всевозможных окрасок, разнообразной идеологической маскировки, и каждый мог убедиться, в пучину каких катастроф увлекает страну слепая власть, не просветлённая праведностью, не отвечающая даже требованиям среднего нравственного уровня. А ведь государственное водительство — это подвиг,

и средний нравственный уровень для этого мал. Многие народы убедились и в этом, потому что там, где вместо диктаторов чередуются политические партии, там сменяются, точно в калейдоскопе, дипломаты и генералы, боссы и адвокаты, демагоги и дельцы, одни — своекорыстнее, другие — идейнее, но ни один не способен вдохнуть в жизнь новый, чистый и горячий дух, разрешить насущные всенародные проблемы. Ни одному из них никто не может доверять больше, чем самому себе, потому что ни один из них даже не задумывался о том, что такое праведность и духовность. Это — снующие тени, опавшие листья, подхваченные ветром истории. Если Роза Мира не выйдет вовремя на всечеловеческую арену, они будут развеяны огненным дыханием волевых и безжалостных диктатур; если же Роза Мира появится — они растворятся, растают под восходящим солнцем великой идеи, потому что сердце народа доверяет одному праведнику больше, чем сотне современных политиков.

Но ещё могущественнее и светлее будет воздействие на народ и его судьбу, если три наивысших одарённости: праведность, дар религиозного вестничества и художественная гениальность — совместятся в одном человеке.

Много, о, много проявлений религии относится целиком к её минувшим стадиям. Одно из таких проявлений, по-видимому, — и власть над умами строго очерченных, аподиктически выраженных, не подлежащих развитию, статуарных догм. Опыт последних веков и рост личности привели к тому, что создание человека ощущает условность и тесноту любой догматики. Следовательно, сколь адогматичными ни были бы тезисы Розы Мира, сколь бы ни были они проникнуты духом религиозной динамики, но весьма многие затруднятся принять даже их. Зато множества и множества откликнутся на её зов, коль скоро он будет обращён не столько к интеллекту, сколько к сердцу, звуча в гениальных творениях слова, музыки, театра, архитектуры. Образы искусства ёмче и многоаспектнее, чем афоризмы теософем или философские рассуждения. Они оставляют больше свободы воображению, они предоставляют каждому толковать учение так, как это органичнее и понятнее именно для его индивидуальности. Откровение льётся по многим руслам, и искусство — если и не самое чистое, то самое широкое из них. Поэтому все виды искусства и прекрасный культ оденут Розу Мира звучащими и сияющими покровами. И поэтому же во главе Розы Мира естественнее всего стоять тому, кто совместил в себе три величайших дара: дар религиозного вестничества, дар праведности и дар художественной гениальности.

Может быть, такой человек не придёт или придёт не скоро. Возможно,

что Розу Мира будет возглавлять не он, а коллектив достойнейших. Но если бы Провидение направило такую великую душу в наш век — а Оно её уже направило — и демонические силы не сумели бы устранить её, — это было бы для всей земли величайшим счастьем. Потому что более могучего и светлого воздействия на человечество, чем воздействие гениального художника слова, ставшего духовидцем и праведником и возведённого на высоту всемирного руководства общественными и культурными преобразованиями, не может оказать никто. Именно такому человеку и только такому может быть вверен необычайный и небывалый в истории труд: этический контроль над всеми государствами Федерации и водительство народами на пути преобразования этих государств во всечеловеческое братство.

О, мы, русские, жестоко поплатились за безусловное доверие, оказанное сильному человеку, принятому многими из нас за благодетеля человечества. Не повторим этой ошибки! Есть безусловные признаки, отличающие человека, достойного подобной миссии, от злого гения народа. Последний сумрачен; первый — весел духовным веселием. Один укрепляет свою власть казнями и карами; другой не станет домогаться власти ни в один из дней своей жизни, а когда примет её — не прольёт ничьей крови. Один насаждает по всей земле, ему подвластной, культ своей личности; другому отвратительно и смешно его прославление. Один — недоступен, другой — открыт всем. Один обуреваем неистовой жадой жизни и власти и прячется от воображаемых опасностей за непроницаемыми стенами; другой — свободен от жизненных искушений, а перед лицом опасности спокоен, потому что совесть его чиста, а вера непоколебима. Это — два антипода, посланцы двух непримиримых начал.

Конечно, в Верховном Соборе такой избранник был бы лишь первым среди равных. Он опирался бы во всём на сотрудничество множества, и этим множеством была бы контролируема его собственная деятельность. На свой необычайный пост он мог бы прийти только сквозь строгий искус. Такому сану не может соответствовать ни молодость, ни даже зрелый возраст; лишь старость. Искушения и борьба страстей должны быть давно изжиты. Что до самого избрания, то оно, мне кажется, могло бы быть осуществлено лишь через тот или иной вид плебисцита. Да и в годы правления верховного наставника Собор следил бы за его действиями. Уклонение его от пути влекло бы передачу власти достойнейшему. Вообще все связанные с этим вопросы могли бы быть тщательно продуманы, опасности предусмотрены, решения внимательно взвешены и впоследствии усовершенствованы. Но пока верховный наставник будет следовать

неукоснительно по предназначенной стезе, он — мистическая связь между живущим человечеством и миром горним, проявитель Провиденциальной воли, совершенствователь миллиардов и защитник душ. В руках такого человека не страшно соединить полноту духовной и гражданской власти.

Скажут: подобные люди появляются по одному в пятьсот лет. А я скажу больше: личности такого масштаба и обладающей при этом суммой именно таких свойств, раньше не могло быть никогда. Эйнштейн не мог бы появиться среди маори XIX века; Достоевского — такого, каким мы его знаем, — напрасно было бы надеяться найти среди подданных Тутанхамона или Теодориха. Тогда он обладал бы другой суммой свойств, а многие из них не имел бы возможности проявить в жизни. Такой человек, о каком я говорю, даже в недалёкую от нас эпоху не мог бы осуществить вручённые ему дары, и современники остались бы в полном неведении относительно его истинных масштабов и потенций. Нужные условия, по видимому, уже намечаются наступающей ныне эпохой; Роза же Мира досоздаст их так, чтобы атмосфера общественная и культурная обеспечила верховному наставнику цепь преемников, достойных этого венца.

Могут сказать также: даже всех перечисленных дарований мало для такой необычайной деятельности; надо обладать широким, трезвым и практичным государственным умом. Да, ещё бы. Такому деятелю придётся соприкоснуться с тысячами разнообразных проблем; потребуются и знания, и опыт, и эрудиция — экономическая, финансовая, юридическая, даже техническая. Но век Аристотелей давно миновал; умы энциклопедического охвата немыслимы в наше время. И деятельность того, о ком я говорю, столь же немыслима в отрыве от соборного разума, от Верховного Собора. В ней будут участвовать самые глубокие умы, люди, умудрённые в превратностях государственной жизни, специалисты всех отраслей знания. Не энциклопедическая эрудиция и не приземистый хозяйственный смысл потребуются от верховного наставника, но мудрость. Мудрость, которая понимает людей с первого взгляда, которая в самых сложных вопросах сразу находит их существо и которая ни на миг не делается глуха к голосу совести. Верховный наставник должен стоять на такой моральной высоте, чтобы любовь и доверие к нему заменяли бы другие методы властвования. Принуждение, насилие над чужою волей мучительны для него; он пользуется ими лишь в редчайших случаях.

И всё же это лишь один из вариантов возможного, хотя, на мой личный взгляд, наиболее желательный. Вполне представимо и другое: такое руководство Розой Мира, такое соотношение его с законодательными учреждениями и с правительством Федерации, при котором принцип

коллективности не будет ограничен ни в чём и никем. Время разрабатывать конституцию будущего — в далёком будущем, и не нам, а счастливым потомкам придётся выбирать из многих вариантов один.

Но уж не теократия ли это? Я не люблю слово «теократия». Теократия есть боговластие; применять его к каким бы то ни было общественным и государственным устройствам абсурдно — с точки зрения атеиста, кощунственно — с точки зрения верующего. Никакой теократии история не знает и знать не может. Не теократией, а иерократией, властью духовенства, следует называть церковное государство пап или далай-лам. А тот строй, о котором я говорю, прямо противоположен всякой иерократии: не церковь растворяется в государстве, поглотившем её и от её имени господствующем, но и весь конгломерат государств, и сонм церквей постепенно растворяются во всечеловеческом братстве, в интеррелигиозной церкви. И не высшие иерархи церкви занимают кресла в высших органах, законодательных, исполнительных и контролирующих, но лучшие представители всех народов, всех конфессий, всех общественных слоёв, всех специальностей.

Не иерократия, не монархия, не олигархия, не республика: нечто новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего. Это — всемирное народоустройство, стремящееся к освящению и просветлению всей жизни мира. Я не знаю, как его назовут тогда, но дело не в названии, а в сути. Суть же его — труд во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворения природы.

## Глава 2

### Отношение к культуре

Мало-помалу новое отношение возникает ко всему: существование Розы Мира не имело бы и тени смысла, если бы она лишь повторяла то, что было сказано раньше. Новое отношение к себе, новое осмысление вызывается буквально всеми явлениями, от великих до малых: процессом космическим и процессом историческим, мировыми законами и связью между разноматериальными мирами, человеческими отношениями и путями развития личности, государствами и религиями, животным царством и стихиями — словом, всем тем, что мы объединяем в понятии «культура» и всем, что объединяем в понятии «природа». Новое отношение возникает ко всему, но это не значит, что всякое старое отношение обесценивается или опорочивается: во многих случаях лишь указывается такой угол зрения, под которым различные отношения прошлого могут перестать контрастировать друг друга, начинают друг друга дополнять и должны читаться как различные ряды аспектов одной и той же или многих реальностей. Это нередко применяется, например, при рассмотрении старых религий и реальностей, за ними стоящих.

В сущности, этому новому отношению к вещам посвящена вся книга: подобная проблематика чересчур обширна и сложна, чтобы быть хотя бы бегло очерченной в одной главе. Данная глава «Отношение к культуре», следующая — «Отношение к религиям», но не следует ждать от них развёрнутого изложения этих тем. Новым осмыслением различных культурных областей, различных исторических явлений, различных религиозных систем, а также различных царств природы насыщены все двенадцать книг этого труда. Первые же главы равноценны лишь некоему введению. Они содержат конспективное изложение некоторых основных принципов — и только.

Ведущей областью культуры в наш век является наука. Научный метод познания претендует на гегемонию; поэтому настоящая глава начинается с характеристики отношения Розы Мира именно к научному методу. Приходится сказать сразу и без обиняков: сколько иллюзий ни создавали бы на этот счёт энтузиасты научного метода, но ни единственным методом познания, ни единственным методом овладения материей он никогда не был, не будет и не может быть. Не говоря уже о методе художественном, с которым научный метод высокомерно и неохотно делит теперь своё



первенствующее положение, следует напомнить, что давно уже заложены основы такой методики познания и овладения материальностью, усвоение которой неразрывно связано с духовным самосовершенствованием человека, с просветлением его этического облика. Впереди брезжит даже возможность таких исторических стадий, когда эта методика придёт к некоторому первенствованию. Я подразумеваю не столько дискредитированные вследствие ряда недоразумений понятия магии или оккультизма, сколько понятие духовного делания. Различные системы и школы этого рода имеются во всех высоко развитых религиях. Разрабатывая веками практические приёмы воздействия воли на человеческий организм и на внешнюю материю и подводя человека к этому лишь после длительной нравственной подготовки и многостороннего искусства, они поднимали и поднимают сотни, может быть, даже тысячи людей, до того, что в просторечии именуется чудотворчеством. Эту методику, крайне трудоёмкую и вызывающую жгучую ненависть современных филистеров, отличает один принцип, науке чуждый: принцип совершенствования и трансформации собственного существа, вследствие чего физический и эфирный покровы личности становятся более податливыми, эластичными, более послушными орудиями воли, чем у нас. Этот путь приводит к таким легендарным якобы явлениям, как телесное прохождение сквозь предметы трёхмерного мира, движение по воздуху, хождение по воде, мгновенное преодоление огромных расстояний, излечение неизлечимых и слепорождённых и, наконец, как наивысшее, чрезвычайно редкое достижение — воскрешение мёртвых. Здесь налицо овладение законами нашей материальности и подчинение низших из них высшим, нам ещё неизвестным. И если в XX столетии большинство из нас успеет прожить всю жизнь, так и не столкнувшись с бесспорными случаями подобных явлений, то из этого вытекает не то, что подобных явлений не бывает, и не то, что они принципиально невозможны, но лишь то, что условия безрелигиозной эры — культурные, социальные и психологические — до такой степени затрудняют изучение и усвоение этой методики (особенно на Западе и ещё больше в странах социалистического лагеря), что сводят количество подобных случаев к немногим единицам. Некоторые воистину роковые для человечества события, имевшие место около двух тысяч лет назад — о них речь будет впоследствии, — повинны в том, что вовлечение не единиц, а множеств человеческих на этот путь познания и овладения материей оказалось невозможным. В дальнейшем, психологический климат безрелигиозной эры всё более и более тормозил движение по этому пути. Ныне освоение этой методики затруднено до

предела, а в некоторых странах практически невозможно совсем. Но нет оснований думать, что таким медленным и трудоёмким этот путь останется навсегда: арелигиозная эра — не бесконечна, мы живём в её конце. Трудно представить себе что-нибудь столь же тяжеловесное, несовершенное, грубое и жалкое, чем достижения современной техники в сравнении с достижениями той методики, о которой я говорю. Если бы на её развитие и усвоение были бы брошены такие средства и такие неисчислимы людские резервы, какие ныне поглощены развитием методики научной, — панорама человеческой жизни, нашего творчества, знаний, общественного устройства и нравственного облика изменилась бы в самых основах. Психологический климат эпохи Розы Мира создаст для развития именно этой методики такие благоприятные условия, как никогда. Но это — дело будущего, и притом не слишком близкого. А пока это не стаяло настоящим, нам предстоит пользоваться в основном иною методикой, гораздо менее совершенной, не ведущей далеко, но повсеместно господствующей теперь.

Отсюда и общее отношение Розы Мира к науке и технике на текущем историческом этапе. Кропотливо накапливая факты, выводя из них кое-какие закономерности, не понимая ни природы их, ни направленности, но овладевая ими механически и при этом будучи не в силах предугадать, к каким изобретениям и социальным потрясениям приведут её открытия, — наука давно доступна всем, независимо от морального облика каждого. Результаты — у нас перед глазами и у нас над головой. Главный из них тот, что ни один человек на земле не гарантирован, что в любую минуту на него и на его сограждан не будет сброшена высокоинтеллектуальными умами водородная бомба или другое, ещё более ошеломляющее достижение науки. Естественно поэтому, что одним из первых мероприятий Розы Мира после её прихода к контролю над деятельностью государств будет создание Верховного Учёного Совета — то есть такой коллегии, которая выделится внутренними кругами самой Розы Мира. Состоящий из лиц, сочетающих высокую научную авторитетность с высоким нравственным обликом, Совет возьмёт под свой контроль всю научную и техническую деятельность, направив свою работу по двум путям: планирующему и оберегающему.

Всё, что относится к обереганию жизненных интересов человечества, представляется в общем достаточно ясным, во всяком случае в своих принципах, и вряд ли на этом нужно останавливаться здесь. Что же касается проблем, связанных с обереганием интересов животного и растительного царств, то они будут освещены в соответствующих разделах книги, посвящённых животному миру и мирам стихий. Потому что это — едва ли не единственная область, в которой воззрения Розы Мира и

взгляды большинства современных учёных не могут быть примирены. Впрочем, это противоречие затрагивает не какие-либо выводы науки, а лишь некоторые из её частных практических методов, которые не только в глазах Розы Мира, но и в глазах почти любого религиозно-нравственного учения и даже почти любого гуманного человека несовместимы с элементарными требованиями добра.

Кроме этих чисто методологических противоречий, между Розой Мира и наукой никаких точек столкновения нет и не может быть. Им негде сталкиваться. Они о разном. Не случайно, вероятно, то обстоятельство, что большинству крупных учёных XX века их научная эрудированность не мешала обладать личной религиозностью, не мешала им разделять и даже создавать яркие спиритуалистические системы философии. Эйнштейн и Планк, Павлов и Лемэтр, Эддингтон и Милн, каковы бы ни были области их научных изысканий, оставались каждый по-своему глубоко верующими людьми. Разумеется, я не принимаю при этом во внимание русских учёных советского периода, некоторые из коих вынуждены были заявлять о своём материализме не из философских соображений, а в силу совершенно иных причин, для всякого понятных. Оставим же в покое философию и политику: в чисто научных областях Роза Мира не утверждает ничего из того, в чём наука имеет право на отрицание. Налицо другое: о тех реальностях, которые утверждает Роза Мира, наука пока молчит. Но и это — явление недолговременное. Что же касается социальных, культурных, этических задач, стремиться решить которые будет Роза Мира, то невозможно представить, чтобы они встретили со стороны научных авторитетов какие-либо возражения по существу.

Думается, что уже и не самая идея планирования науки будет тогда предметом дискуссии, а границы того, что охватывается планированием, и его практика. Не будет лишено, вероятно, некоторого интереса специальное изучение практики планирования и координации научных работ в некоторых государствах середины XX столетия. Но воспользоваться можно будет лишь отдельными их деталями, хотя бы уже потому, что Федерация будет состоять из многих государств, больших и малых, только что объединившихся, стоящих на разных ступенях экономического развития, формировавшихся в лоне различных культур и обладающих различными социально-политическими укладами. Некоторые из этих укладов, отличающиеся большей социализацией экономических отношений, будут легче вовлекаемы в общий неизбежный процесс всемирной социализации; другие, привычные к анархии производства, втянутся в него постепенно. Всё это, равно как и многообразие культурных типов, будет создавать в

первый период чрезвычайную пестроту мировой экономики и воздействующих друг на друга культурных укладов. Долго ещё будут давать себя знать и застарелые национальные антагонизмы. Не сразу удастся уравновесить и согласовать нужды отдельных стран и отдельных слоёв населения, заинтересованных, например, в первоочередном развитии таких-то и таких-то отраслей промышленности там-то и там-то или в сбыте своей продукции куда-нибудь. От тех, кто будет возглавлять Учёный Совет и самоё Розу Мира, потребуется для справедливого решения этих проблем некое новое психологическое качество: преодолённость в собственном существе господства местных, столь пока ещё естественных, культурно-расовых привязанностей, полное национальное беспристрастие. Сколько усилий, какая авторитетность и даже самопожертвование потребуются хотя бы для того, чтобы ослабить застарелые антагонизмы — англо-арабский, например, русско-польский или армяно-турецкий! Каким поведением заслужат немцы, англичане, русские или американцы забвение той вражды, которую они возбудили к себе во стольких нациях? Какие воспитательные средства потребуются для того, чтобы разрушить комплекс ущемлённого самолюбия, мешающий многим малым и средним нациям дружелюбно относиться к своим соседям и перерастающий в агрессивные мечты о достижении собственного величия за счёт величия других? Но это — только одна сторона задачи. Многим западным нациям придётся вытравить в себе малейшие следы старинного чувства превосходства своего перед другими. Русскому придётся понять, что его страна — не венец создания и уж, во всяком случае, не лучше многих других. Англичанин вынужден будет совершить титаническую внутреннюю работу, чтобы отрешиться от невольного предпочтения интересов жителей Британских островов интересам жителей Индонезии или Танганьики. От француза потребуется умение принимать к сердцу интересы Парагвая или Таиланда так же горячо, как и свои собственные. Китаец или араб освободят своё сердце и ум от вскормленного столькими веками когда-то справедливого, а теперь устаревшего недоверия к европейцам и научатся уделять потребностям Бельгии или Греции внимания не меньше, чем потребностям Жэхэ или Судана. Жителям латиноамериканских республик придётся отучиться от привычки заботиться и плакаться только о себе и принять участие в распределении мировых благ с учётом нужд Афганистана, Камбоджи и даже Якутии. А гражданам Соединённых Штатов надлежит вспомнить, что они почитаются христианами и что христианство несовместимо со звериной ненавистью к какой бы то ни было расе, хотя бы и чёрной. Трудно, трудно это; ясно, что ужасно трудно, но избавление от войн и

тираний — только через эту психологическую самопеределку. И уж конечно, надеяться на участие в работе всемирных планирующих органов не может ни один человек, не завершивший над собою подобной операции. Придётся учиться даже национальному самопожертвованию: о, не своею кровью, разумеется, не жизнью своих сынов, а только долларами. Ибо наиболее богатым странам предстоит в какой-то мере поделиться своими ресурсами с народами Востока и Юга, и поделиться притом бескорыстно, безо всяких надежд сделать из этой помощи удачный бизнес. Короче говоря, каждый, причастный к руководству Розы Мира, должен уметь почувствовать себя прежде всего — членом космического целого, потом — членом человечества, и только уже после всего этого — членом нации. А не наоборот, как учили и учат нас доселе.

Потому что общая цель Розы Мира, точнее — того гигантского духовного процесса, который начался тысячелетия назад и лишь этапом которого является Роза Мира, — так вот, цель этого процесса — просветление Шаданакара, а ближайшая эпохальная задача — чтобы достойный человека материальный достаток, простое житейское благополучие и элементарно нравственные отношения между людьми водворились везде, не оставляя вне своих пределов ни одного человека. Тезис о том, что всякому человеку без исключения должны быть обеспечены занятия, отдых, досуг, спокойная старость, культурное жилище, пользование всеми демократическими свободами, удовлетворение основных материальных и духовных потребностей, начнёт стремительно воплощаться в жизнь.

Не скоро, лишь в последних главах смогу я осветить те конкретные мероприятия, ту систему последовательных реформ, благодаря которым, как мне представляется, эти принципы могут облечься плотью и кровью. Пока — речь только о принципах. Чтобы тот, в ком эти принципы не возбуждают сочувствия, не тратил времени и сил на дальнейшее чтение, а сочувствующий понял внутренний дух Розы Мира прежде, чем перейти к размышлению о путях претворения этих идеалов в жизнь.

Таков принцип отношения Розы Мира к науке и технике, насколько можно дать понять этот принцип, не забираясь пока в метаисторическую и трансфизическую глубь. И такова должна быть роль научного метода в ряду ближайших эпох.

Пройдёт несколько десятилетий. Прогрессирующий рост производительных сил достигнет того уровня, который мы будем вправе назвать всеобщим достатком. Условия жизни, какими пользуются теперь граждане передовых стран, водворятся в самых диких уголках земного

шара. Обращение на мирные цели тех невероятных сумм, которые сейчас тратятся на вооружение, сообщит экономическому прогрессу почти непредставимые темпы. Период всеобщего начального обучения будет во всех странах преодолён, вероятно, ещё раньше; в дальнейшем и среднее всеобщее образование начнёт представляться уже недостаточным. Очертания интеллигенции совпадут с очертаниями человечества. Развитие новых и новых средств связи, их общедоступность, их комфорт фактически уничтожат проблему международного и межкультурного пространства. Рабочий день, сокращаясь всё более, высвободит новые резервы времени. Физиология разработает аппаратуру, помогающую человеческому мозгу быстро и прочно запоминать воспринимаемые им сведения. Досуг станет возрастать. И те вопросы, которые волнуют сейчас большинство, — интересы хозяйства, организации производства, улучшения продукции, промышленной техники, дальнейшего совершенствования жизненных удобств, — потеряют свою остроту. Весьма правдоподобно даже, что тем поколениям будет непонятно и странно, как могли их предшественники увлекаться и кипятиваться при решении столь скучных и плоских проблем. Запасы сил обратятся на создание ценностей высшего порядка, ибо материальная основа жизни не будет подвержена никаким колебаниям, всеобъемлюща и совершенно прочна.

Проблемы техники и экономики перестанут привлекать к себе преимущественное внимание. Они будут решаться в соответствующих коллективах, а широкой гласности их будут предавать не больше, чем теперь предают вопросы общественной кухни или водопровода. И человеческая одарённость обратится на другое: на то, что будет диктоваться жаждою знания, любовью ко всему живущему, потребностью в высших формах творчества и влюблённостью в красоту.

Жажда знания, когда-то толкавшая исследователей в плавание по неведомым морям, в блуждания по нехоженным материкам, бросит их сперва — возможно, ещё до прихода Розы Мира — в космонавтику. Но чужие планеты негостеприимны; после нескольких разведывательных экспедиций эти полёты прекратятся. И сама жажда знания начнёт менять свою направленность. Будут разработаны системы воспитания и раскрытия в человеческом существе потенциально заложенных в нём органов духовного зрения, духовного слуха, глубинной памяти, способности к произвольному отделению внутренних, нематериальных структур человека от его физического тела. Начнутся странствия по нематериальным мирам, по открывающимся слоям Шаданакара. То будет век Магелланов планетарного космоса, Колумбов духа.

Какая же система взглядов на личность, на её ценность, на её права и должностное, на пути её совершенствования будет способствовать водворению нового психологического климата, ускорит наступление этого золотого века?

Именно в том факте, что личность содержит единоприродные с Божеством способности творчества и любви, заключена её абсолютная ценность. Относительная же её ценность зависит от стадии её восходящего пути, от суммы усилий — её собственных и Провиденциальных, — затраченных на достижение ею этой стадии, и от того, в какой степени она эти способности богосотворчества и любви выявляет в жизни.

Земной отрезок космического пути восходящей монады являет собой такой этап, на котором её способности к творчеству и любви уже могут и должны распространяться на окружающую её природную и искусственную среду, её совершенствуя, — то есть преодолевая в этой среде тенденцию к изолированному самоутверждению частей и частиц за счёт других. Зло заключается именно в такой тенденции, как бы она ни выражалась. Формами и масштабами оно разнообразно почти до бесконечности, но основа всегда одна и та же: стремление к утверждению себя за счёт остальных и всего остального.

Старинные религии усматривали мерилу относительной ценности личности в степени выполнения ею предписаний данного религиозно-нравственного кодекса. Религии аскетической окраски наивысшей ступенью полагали святость, понимая под нею чистейший образец иноческого служения либо мученичество за веру. При этом любовь отступала на второй план. Иноческий или мученический подвиг совершался не в силу любви к людям и ко всему живому, но в силу жажды воссоединения с Богом и избавления от посмертных мук. Конечно, я имею здесь в виду доминирующее направление, преобладающее настроение, а не образы таких изумительных отдельных деятелей, апостолов любви, как св. Франциск, Рамаджуна или Миларайба. Как это ни чудовищно для нас, но даже вечные мучения грешников в аду не вызывали в большинстве адептов этих религий стремления к тому, чтобы просветить мировые законы, в том числе и закон возмездия или кармы. Вечное возмездие за временное нарушение их казалось справедливым актом Божества или во всяком случае (как в брахманизме) непререкаемым и абсолютно непреодолимым законом. Будда как свеча горел огнём сострадания, но и он учил только тому, как вырваться из круга железных законов мира, а не тому, как просветить и преобразить их. Что касается творчества, то его врождённость монаде не сознавалась совсем, даже понятия такого не было, а конкретным

видам творчества, доступным человеку, не придавалось значения, исключая религиозное творчество в узком смысле: духовное делание, богословие, проповедничество, храмовое строительство, культ.

Другие религии, не склонные к аскетизму, как ислам и протестантизм, видоизменили этот идеал, расширили его и, вместе с тем, снизили, сделали его более доступным, более народным, вплоть до исполнения нескольких заповедей по отношению к Богу, к государству, к ближайшему окружению, к семье и, наконец, к самому себе. Приходится повторить, что ни та, ни другая группа религий задач преобразования общества, и тем более природы, ни перед кем не ставила. Сообразно этому представление и о должностовании личности оставалось ущербным и узким. Естественно, что подобные задачи, но в крайне упрощённом виде, были поставлены наконец учениями безрелигиозными. Провозглашался сниженный и противоречивый этический идеал, механически сочетавший некоторые прогрессивные черты с такими, которые шли вразрез с этическим минимумом, давно, казалось бы, бесспорным. Вспомнили старую формулу «цель оправдывает средства» и, опасаясь провозгласить её с честной откровенностью, стали пользоваться ею практически. При характеристиках и оценках исторических явлений их моральное качество игнорировалось полностью; вердикты выносились лишь исходя из учёта общей прогрессивной или реакционной направленности данного явления. Никого не смущало, что это приводит к оправданию кровавой деятельности многих деспотов прошлого и даже таких вопиющих массовых побоищ, как яacobинский террор или деятельность опричнины. Многие старые достижения социального прогресса, как свобода слова, печати или религиозной пропаганды, были отброшены. Поколения, воспитанные в подобной атмосфере, постепенно теряли самую потребность в этих свободах — симптом, говорящий выразительнее любых тирад о потрясающем духовном регрессе общества. Таким образом, при приближении к идеалу в том виде, в каком он представал в реальности, обесценивалось и то положительное, что он заключал. Ибо впереди рисовалось лишь царство материальной сытости, купленной ценой отказа от духовной свободы, многомиллионными гекатомбами человеческих жизней и сбрасыванием в низшие слои Шаданакара миллиардов душ, отдавших за чечевичную похлебку своё божественное первородство.

Надо надеяться, что страшный урок не пройдёт даром.

Учение Розы Мира указывает на абсолютную ценность личности, на её божественное первородство: право на освобождение от гнёта бедности, от гнёта агрессивных обществ, на благополучие, на все виды свободного



творчества и на обнародование этого творчества, на религиозные искания, на красоту. Право человека на обеспеченное существование и пользование благами цивилизации есть такое врождённое ему право, которое само по себе не требует отказа ни от свободы, ни от духовности. Уверять, будто бы здесь заключена какая-то роковая дилемма, что ради достижения всего только естественных, само собой разумеющихся благ надо жертвовать личной духовной и социальной свободой, — это значит вводить людей в обман.

Учение укажет и на долженствование личности: на последовательное расширение сферы того, что охватывается её любовью; на возрастание, умножение и просветление того, что создаётся её творчеством. Творчество, таким образом, оказывается и правом, и долженствованием. Я до сих пор не могу понять, каким образом эта воистину божественная способность человека не встретила должного отношения к себе ни в одной из старинных религий, кроме некоторых форм многобожия, в особенности эллинского. Кажется, только в Элладе умели боготворить не только произведения искусства, но самую творческую способность, именно творческую, а не производительную, как в других формах политеизма, и даже венчать апофеозами великих деятелей искусства. Печально и странно, что после угасания Эллады творческий дар перестал привлекать к себе взор религий, не осмыслился больше ни онтологически, ни метафизически, ни мистически. Под влиянием односторонне понятой семитической идеи о том, что после шести дней творения наступило упокоевание Божественного творческого духа, даже вопрос о дальнейшем творчестве Самого Бога богословская мысль предпочитала обходить стороной, и речение Божества, запечатлённое в Откровении Иоанна — «Се, творю всё новое», — осталось единичным взлётом, единичным прозрением. К человеческому же творчеству установлюсь и вовсе подозрительное отношение, как будто гордыня, в которую может впасть человек-творец, более опасна и губительна, чем творческое бесплодие. К сожалению, не менее прискорбная точка зрения на творчество человека установилась и в религиях индийского корня.

Последние века западных культур, столь богатые проявлениями гениальности во всех областях искусства, в науке и в философии, научили нас многому. Научили они нас и благоговейному отношению к человеческому творчеству, и уважению к человеческому труду. Но безрелигиозный дух этих веков способствовал в этом вопросе как раз тому, чего боялись старинные религии: человеку-творцу сделалась свойственной гордыня своим творческим даром, как если бы самый этот дар он создал в

себе сам. Впрочем, эта самостность свивала себе гнездо не столько в душах подлинных гениев и тем более духовных вестников, сколько в ряду второстепенных деятелей наук и искусств. Более подробному рассмотрению этих проблем под углом учения Розы Мира будет в настоящей книге посвящён ряд специальных глав.

Во всяком случае, творчество, как и любовь, не есть исключительный дар, ведомый лишь избранникам. Избранникам ведомы праведность и святость, героизм и мудрость, гениальность и талант. Но это — лишь раскрытие потенций, заложенных в каждой душе. Пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания каждого из нас. Религия итога будет стремиться разрушить эту преграду, дать пробиться живым водам сюда, в жизнь. В поколениях, ею воспитанных, раскроется творческое отношение ко всему, и самый труд станет не обузой, но проявлением неутолимой жажды создавать новое, создавать лучшее, творить своё. Все последователи Розы Мира будут наслаждаться творческим трудом, обучая этой радости детей и юношество. Творить во всём: в слове и в градостроительстве, в точных науках и в садоводстве, в украшении жизни и в её умягчении, в богослужении и в искусстве мистериалов, в любви мужчины и женщины, в пестовании детей, в развитии человеческого тела и в танце, в просветлении природы и в игре.

Потому что всякое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя своё и для себя, есть богосотворчество: им человек поднимает себя над собой, обоживая и собственное сердце, и сердца других.

В смысле личного духовного совершенствования большинство людей движется по медленному и широкому пути. Этот путь проходит через браки и деторождения, сквозь причастность различным формам деятельности, сквозь полноту и пестроту впечатлений жизни, сквозь её радости и наслаждения. Но есть и Узкий Путь: он надлежит тем, кто носит в своей душе особый дар, требующий жёсткого самоограничения: дар святости. Несправедливы религиозные учения, утверждающие Узкий Путь как единственно правильный или наивысший. И столь же неправы общественные или религиозные системы, отрицающие его вовсе и воздвигающие препятствия перед теми, кто чувствует себя призванным именно к такому пути. Вряд ли в эру Розы Мира монастыри будут многочисленными; но они — будут, чтобы всякий, кого духовная жажда гонит на Узкий Путь, мог бы работать над раскрытием в себе таких способностей души, которые нуждаются в многолетнем труде среди тишины и уединения. Если на Узкий Путь человек встаёт из страха перед возмездием или из-за мечты о личном, себялюбивом, замкнутом общении с

Божеством, его победы не имеют цены. Никакого Божества, дарующего в награду своим верным рабам блаженное созерцание его величия — нет. Созерцание высших сфер есть выход личности из себя и приобщение Единому, объемлющему все монады и зиждущему весь мир. Поэтому последователя Розы Мира может принудить стать на Узкий Путь не духовный эгоизм, не жажда личного спасения при холодном безразличии к другим, но понимание, что на Узком Пути раскрываются такие дары, которыми праведник будет помогать миру из уединения более действенно, чем сотни живущих в миру, и которые в посмертии становятся такою силой, что перед ней преклоняются даже могучие демонические иерархии.

Нет никакой надобности в страшных клятвах, сопровождающих постриг. Нет основания для осуждения и поношения того, кто по истечении ряда лет ушёл с пути. Вступающий будет давать сперва только временный обет: на три года, на пять, на семь. Лишь после успешного завершения таких этапов он, если хочет, получит право принесения обета на более длительный срок; и всё же сознание безвозвратности, подозрение непоправимой ошибки не будет томить и давить его, порождая отчаяние и бурные вспышки неизжитого: он будет знать, что по истечении срока волен вернуться в мир, волен избрать любой образ жизни, любой труд, волен иметь семью, детей, не заслужив этим ни от кого ни порицания, ни пренебрежения.

Я постарался предвосхитить отношение Розы Мира к научному и к вненаучным методам познания, к личности, к её правам и долженствованию, к человеческому творчеству и труду, теперь — к двум основным видам духовного пути: Широкому и Узкому. Чтобы восполнить представление об её отношении к культуре, следовало бы остановиться на её воззрениях на искусство — в широком смысле слова. Но этот вопрос столь многозначен и важен, а лично мне столь близок, что я решится посвятить ему серию глав в одной из дальнейших частей книги. Поэтому, прежде чем перейти к вопросу об отношении Розы Мира к другим религиям, скажу об искусствах приближающейся эры лишь несколько беглых слов.

Какими же чертами может отличаться искусство, которое создадут люди, причастные духу Розы Мира, в ближайшие эпохи, когда солнце золотого века только начнёт ещё озарять облака над горизонтом?

Было бы наивно пытаться предугадать или очертить многообразие художественных направлений, жанров, школ, стилистических приёмов, которыми засверкает эта сфера культуры к концу текущего столетия. Но будет, мне кажется, определяться некий преобладающий стиль, не

исчерпывающий, конечно, всех течений искусства (в условиях максимальной свободы это невозможно, да и не нужно по той же причине), но призванный стать в искусстве и литературе последней трети века некоторой, как теперь говорят, магистралью. В этом стиле найдёт своё выражение присущее Розе Мира восприятие вещей: восприятие сквозящее, различающее через слой физической действительности другие, нематериальные или духовные слои. Такое мировосприятие будет далеко от нарочитого оптимизма, боящегося нарушить собственную безмятежность вниманием к тёмным и трагическим сторонам бытия. Творцы этого искусства не станут избегать созерцания горестной и страшной изнанки мира. Они сочли бы за малодушие жажду забыть о кровавом пути истории, о реальности грозных, инфрафизических слоёв Шаданакара, об их беспощадных законах, удерживающих в узах нечеловеческих мук неисчислимы сонмища несчастных, и о тех наипугающих срывах общечеловеческого духа, которые подготавливаются силами Противобога и осуществляются в истории почти неизбежно, когда исчерпает своё поступательное движение золотой век. Но высокая степень осознания не воспрепятствует их любви к миру, к земле, не уменьшит их радостей, порождаемых природой, культурой, творчеством, общественным служением, любовью, дружбой, — напротив! Разве сознание скрытых опасностей, грозящих тому, кого любишь, ослабляет жар любви? Будут чудесные создания ещё небывалой полноты жизнеутверждения, чистоты и веселия. В руслах всех искусств — тех, которые уже есть, и тех, которые возникнут, — появятся искрящиеся, как водяные брызги в солнечных лучах, произведения творцов будущего о любви, более многосторонней, чем наша, о молодости, о радостях домашнего очага и общественной деятельности, о расширении человеческого сознания, о раздвигании границ восприятия, о стихиях, подружившихся с людьми, о вседневной близости невидимых ещё теперь друзей нашего сердца, да и мало ли о чём, что будет волновать людей тех эпох и чего мы не в состоянии себе представить.

Мне кажется, такое искусство, мужественное своим бесстрашием и женственное своим любвеобилием, мудрое сочетание радости и нежности к людям и к миру с зорким познаванием его тёмных глубин, можно было бы назвать сквозящим реализмом или метареализмом. И следует ли говорить, что не непременно нужно произведению искусства быть образцом сквозящего реализма, чтобы люди, причастные духу Розы Мира, сумели ему радоваться и восхищаться? Они будут радоваться всему, что отмечено талантом и хотя бы одной из этих особенностей: чувством прекрасного,

широтой охвата, глубиной замысла, зоркостью глаза, чистотой сердца, веселием души.

Наступит время, когда этический и эстетический уровень общества и самих деятелей искусств станет таков, что отпадёт всякая надобность в каких-либо ограничениях, и свобода искусств, литературы, философии и науки станет полной. Но между тем моментом, когда Роза Мира примет контроль над государствами, и эпохой этого идеального уровня пройдёт несколько десятилетий. Не из мудрости, а из юношеской незрелости могла бы возникнуть мысль, будто общество уже достигло тех высот развития, когда абсолютная свобода не может породить роковых, непоправимых злоупотреблений. Вначале придётся вручить местным филиалам Всемирного Художественного Совета, кроме других, более отрядных функций, также и этот единственный контроль, через который будет проходить художественное произведение перед его обнародованием. Это будет — если не обидится читатель на шутку — лебединой песнью цензуры. Сначала, когда национальные антагонизмы и расовые предрассудки ещё не будут изжиты, а агрессивные организации будут ещё играть на этих предрассудках, придётся налагать запрет на любую пропаганду вражды между теми или иными группами населения. Позднее контроль ещё будет сохраняться над книгами и учебными пособиями, популяризирующими научные и философские идеи, в том единственном, однако, направлении, чтобы они не оказались неполноценными, легковесными или искажающими объективные факты, — не вводили бы неквалифицированного читателя в заблуждение. Над художественными произведениями ещё удержится, мне кажется, контроль, требующий от них некоторой минимальной суммы художественных достоинств, оберегающий книжный рынок от наводнения безвкусицей, эстетически безграмотной макулатурой. И, наконец, дольше всего удержится, вероятно, безусловный запрет, наложенный на порнографию. С отменой же каждого из этих ограничений его будет заменять другое мероприятие: после выхода в свет недоброкачественного произведения Всемирный Художественный Совет или Всемирный Учёный Совет опубликует своё авторитетное о нём суждение. Этого будет достаточно. Разумеется, не так-то легко будет выработать такую систему заполнения кресел в этих Советах, которая гарантировала бы все области культуры от вмешательства в руководящую ими деятельность людей с узкопартийными или узкошкольными взглядами, нетерпимых сторонников какого-либо одного художественного течения или философской концепции, либо наконец, защитников творческих интересов какой-нибудь ограниченной группы, нации или поколения. Мне не

думается, однако, что в психологической атмосфере Розы Мира подобная система не могла бы быть выработана.

Если не вдаваться сейчас в разграничение понятий культуры и цивилизации, то можно сказать, что культура есть не что иное, как общий объём творчества человечества. Если же творчество — высшая, драгоценнейшая и священнейшая способность человека, проявление им божественной прерогативы его духа, то нет на земле и не может быть ничего драгоценнее и священнее культуры, и тем драгоценнее, чем духовнее данный культурный слой, данная культурная область, данное творение. Культура общечеловеческая ещё только возникает; до сих пор мы видели в качестве совершенно оформившихся феноменов лишь культуры отдельных сверхнародов — то есть таких групп наций, которые объединены между собой именно совместно создаваемой, своеобразной культурой. Но каждая из таких культур отнюдь не исчерпывается тою своей сферой, которая пребывает, развиваясь, в нашем трёхмерном пространстве. Те, кто эту культуру создали здесь, продолжают своё творчество и в посмертии — творчество, изменённое, конечно,сообразно иным условиям того мира или тех миров, через которые проходит теперь душа человека-творца. Возникает представление о миллионных содружествах подобных душ, о небесных странах и градах над каждым из сверхнародов мира и об Аримое — ныне возникающей небесной стране культуры общечеловеческой.

Подобный принцип отношения к культуре нов и необычен. Мы вправе были бы даже заметить, что при дальнейшем углублении и детализации он перерастёт в обширную мифологию, если бы только под словом «миф» мы не привыкли понимать нечто, не имеющее под собой никакой реальности. Здесь же как раз напротив: речь идёт о реальности колоссальных масштабов, которая отражается сниженно и замутнённо, но всё же отражается, в подобной мифологии.

Атмосфера Розы Мира и её учения создадут предпосылки к тому, чтобы эта мифология о культуре стала достоянием каждого ума. И пусть во всей её эзотерической сложности её сможет охватить лишь ограниченное число сознаний; дух этой концепции, а не буква её постепенно делается доступен почти для всех. И если вдуматься в те психологические перспективы, которые сулит овладение подобной концепцией со стороны масс, то перестанет казаться несбыточной и надежда на создание системы мероприятий, гарантирующей все области культуры от вмешательства людей, не имеющих на руководство этими областями никаких внутренних прав.

## Глава 3

### Отношение к религиям

Как часто употребляем мы слово «истина» и как редко пытаемся определить это понятие.

Не смутимся же, однако, тем, что повторяем, в сущности, вопрос Пилата, и попытаемся в меру наших сил разобраться в этом понятии.

Истинными называем мы ту теорию или то учение, которые, на наш взгляд, выражают неискажённое представление о каком-либо объекте познания. В точном смысле слова истина есть неискажённое отражение какого-либо объекта познания в нашем уме. И сколько существует на свете объектов познания, столько же может существовать истин.

Но объекты познания познаваемы от нас, а не из себя. Следовательно, истина о любом объекте познания, познанном от нас, должна быть признана истиной относительной. Истина же абсолютная есть отражение такого объекта познания, который каким-либо субъектом познан «в себе». Такое познание принципиально возможно лишь тогда, когда противостояние объекта и субъекта снято; когда субъект познания отождествляется с объектом.

Абсолютная истина универсальная есть неискажённое отражение в чьём-то сознании Большой Вселенной, познанной «в себе». Абсолютные истины частные суть неискажённые отражения какой-либо части Вселенной — части, познанной «в себе».

Естественно, что Абсолютная истина Большой Вселенной может возникнуть лишь в сознании соизмеримого ей субъекта познания, субъекта всеведущего, способного отождествиться с объектом, способного познавать вещи не только «от себя», но и «в себе». Такого субъекта познания именуют Абсолютом, Богом, Солнцем Мира.

Бог «в Себе», как Объект познания, познаваем только Собою. Его Абсолютная истина, как и Абсолютная истина Вселенной, доступна только Ему.

Ясно, что любая частная истина, сколь бы мал ни был объект познания, для нас доступна только в её относительном варианте. Такой агностицизм, однако, не должен быть понят как безусловный: при конечном совпадении любого частного субъекта познания, любой монады с Субъектом Абсолютным, для неё становится возможно познание не только «от себя», но и «в себе». Таким образом, правомерен не безусловный, а

только стадильный агностицизм.

У частных истин быть может несколько или много вариантов — личных, индивидуальных разновидностей одной частной относительной истины. При этом объекты познания малых (сравнительно с субъектом) масштабов отразятся в сознании ряда родственных субъектов почти или полностью идентично: именно родственность многих субъектов между собой обуславливает то, что родственны и их личные варианты той или иной истины. Если бы это было не так, люди были бы лишены возможности понять друг друга в чём бы то ни было. Но чем больше объект познания сравнительно с субъектом, тем больше вызываемых им вариантов. Относительная истина Вселенной и относительная истина Божества порождают столько же личных вариантов, сколько имеется воспринимающих субъектов.

Ясно, стало быть, что все наши «истины» суть, строго говоря, лишь приближения к истинам. И чем мельче объект познания, тем лучше он может быть охвачен нашим познанием, тем уже разрыв между его абсолютной истиной и нашей относительной истиной о нём. Впрочем, в соотношении масштабов субъекта и объекта имеется граница, ниже которой разрыв между абсолютной и относительной истиной вновь начинает возрастать: например, разрыв между абсолютной истиной какой-нибудь элементарной частицы и нашей относительной истиной о ней чрезвычайно велик. Между же Абсолютной истиной Вселенной, Абсолютной истиной Божества — и нашими относительными истинами о них разрыв велик необъятно.

Я высказываю мысли, которые после Канта должны, казалось бы, быть общеизвестными и общепринятыми. Однако, если бы они были усвоены каждым религиозно чувствующим и религиозно мыслящим человеком, ничьи претензии на личное или коллективное познание Абсолютной истины, ничьи претензии на абсолютную истинность какой-либо теории или учения не могли бы иметь места.

Как показано выше, Абсолютная истина есть достояние только Всеведущего Субъекта. Если бы такой истиной обладал какой-нибудь человеческий субъект, например коллективное сознание конкретно-исторической церкви, это обнаруживалось бы объективно в безусловном всеведении этого коллективного сознания. И тот факт, что таким всеведением не обладают ни один человеческий коллектив и ни одна личность, лишней раз показывает беспочвенность претензий какого бы то ни было учения на абсолютную истинность. Если бы представители Розы Мира вздумали когда-нибудь претендовать на абсолютную истинность её



учения, это было бы так же беспочвенно и нелепо.

Но столь же беспочвенно и нелепо утверждение, будто бы все учения или какое-либо одно учение ложно. Совершенно ложных учений нет и не может быть. Если бы появилось мнение, лишённое даже крупинки истинности, оно не могло бы стать учением, то есть переданной кому-то суммой представлений. Оно осталось бы собственностью того, кто произвёл его на свет, что и случается, например, с философскими или псевдонаучными построениями некоторых душевнобольных. Ложными, в строгом смысле слова, могут быть только отдельные частные утверждения, которым способен придавать иллюзию истинности заёмный свет от частноистинных тезисов, соседствующих с ним в общей системе. Однако имеется известное соотношение количества и весомости частноистинных и ложных тезисов, при котором сумма ложных начинает обесценивать крупинки истины, в данном учения заключённые. Далее следуют учения, в которых ложные утверждения не только обесценивают элемент истинного, но переводят всю систему в категорию отрицательных духовных величин. Подобные учения принято именовать учениями «левой руки». Будущее учение Противобога, которым, по-видимому, ознаменуется предпоследний этап всемирной истории, построится таким образом, что при минимальном весе частноистинного элемента свет от него будет придавать вид истинности максимуму ложных утверждений. Этим и обусловится то обстоятельство, что это учение будет запутывать человеческое сознание в тенётах лжи прочнее и безвыходнее, чем какое бы то ни было другое.

Религии, к разряду учений «левой руки» не относящиеся, разнятся между собой не в силу истинности одной из них и ложности остальных, а по двум совершенно другим координатам. А именно:

-во-первых — в силу различных ступеней своего восхождения к абсолютной истине, то есть сообразно убыванию в них субъективного, эпохального элемента. Это стадияльное различие можно условно назвать различием по вертикали;

-во-вторых — они разнятся между собой в силу того, что они говорят о разном, отражают различные ряды объектов познания. Этот род различий — различий сегментарных — можно условно назвать различиями по горизонтали.

Оба вида различий не следует ни на минуту упускать из виду при рассмотрении вопроса об отношении Розы Мира к другим религиям.

В развитии науки мы наблюдаем непрерывный процесс накопления относительных частных истин и их совершенствование, уточнение. На очередной стадии отвергаются обычно не ряды накопленных ранее фактов,

а лишь их устаревшее толкование. Случаи, когда старый ряд фактов ставился под сомнение и отвергался, как это произошло, например, с алхимией, — сравнительно редки. Но в истории религий господствуют, к сожалению, иные обычаи. Вместо преемственно сменяющих друг друга осмыслений не подвергающихся сомнению духовных фактов, мы видим чаще всего, как на очередной стадии религиозного развития отвергаются значительные ряды ранее постигнутых относительных, частных истин, а свой, новый ряд их, со включением некоторого числа старых, выдаётся за абсолютное. Это наблюдение особенно справедливо по отношению к смене так называемых языческих религий системами монотеизма.

Ясно, что сохранение нами подобных обычаев в условиях расширяющегося кругозора XX столетия привело бы нас, самое большее, к созданию ещё одной секты. Привнесение в религию научной методики было бы, конечно, грубой ошибкой, столь же незаконной, как перенесение методов искусства на область науки. Но перенять доброе обыкновение учёных — не отвергать, а переосмыслять ряды накопленных ранее относительных истин — давно пора.

Из сказанного вытекает, что никакие учения, кроме учений «левой руки», распознаваемых, прежде всего, по их душевно растлевающему воздействию, не могут быть отвергнуты полностью. Они должны быть признаны недостаточными, обременёнными субъективно-человеческими привнесениями: эпохальными, классовыми, расовыми, индивидуальными. Однако зерно относительной истинности, зерно познания «от нас» той или другой области трансфизического мира имеется в каждой из религий, и каждая такая истина драгоценна для всего человечества. Естественно при этом, что объём истинности систем, сложившихся в итоге опыта множества индивидуумов, как правило, больше объёма истинности систем, распространённых только у небольших групп. Исключение могут составлять молодые системы, восходящие, быть может, к широкому распространению, но, в силу естественного хода вещей, сперва минующие стадию келейного или ограниченно группового существования.

Подобные широко распространённые системы называются в данной концепции — как это будет подробно разъяснено несколько ниже — мифами. За мифами всегда стоит та или иная трансфизическая реальность, но она не может быть не искажённой и не запутанной привнесением в миф множества «человеческого, слишком человеческого». Методика высвобождения трансфизического зерна мифов из их человеческой шелухи вряд ли может быть, во всяком случае теперь, строго и точно сформулирована. Пока не удалось ещё выработать необходимый для этого

механизм критериев, которого в любом случае было бы достаточно. Да и сомнительно, разрешима ли подобная сложнейшая мистическая задача при помощи одного рацио. Можно, правда, построить, исходя из телеологии истории, определённую классификацию религий, которая позволила бы выделить религии высокоразвитые в особую группу, и убедиться, что есть тезисы, утверждаемые всей этой группой религий, хотя и с различной степенью чистоты и силы. К их числу принадлежат: тезис о единстве Бога, о множественности различных духовных иерархий, о множественности разнозначных миров, о бесконечной множественности становящихся монад, а также о существовании некоего общего нравственного закона, который характеризуется посю- или потусторонними воздаяниями за совершённое человеком в жизни. Во всём же остальном, и даже в истолковании только что перечисленных общих тезисов, мифы либо противоречат один другому, либо говорят о разном.

Однако, если во многих случаях индивидуальность субъекта привносит в представления о познаваемом нечто постороннее, сугубо человеческое, то, с другой стороны, столь же многочисленны случаи, когда какая-либо духовная истина может быть воспринята только определённым складом познающего сознания. Индивидуальность оказывается фактором, не замутняющим познание, но, наоборот, делающим его реально возможным. Телеологический процесс в религиозной истории человечества заключался отчасти именно в том, чтобы воздействием исторических и биографических факторов отшлифовать сознание отдельной личности, народа, расы, эпохи таким образом, чтобы сделать его способным к восприятию данных истин, данной трансфизической реальности. Другим же индивидуальностям, народам, расам, эпохам такое, отшлифованное определённым образом сознание и его религиозный опыт могли казаться странными, искажёнными либо незрелыми, чреватými всякого рода абберациями.

Из сотен возможных примеров я возьму пока один, но чрезвычайно яркий: идею перевоплощений. Глубоко присущая индуизму и буддизму, имеющаяся в эзотерическом иудаизме (Каббала), идея эта отвергается ортодоксальным христианством и исламом. Следует ли, однако, думать на основании этой «невсеобщности» идеи, что она представляет собою расовую или стадияльно-культурную абберацию индийского сознания? Дело в том, что при согласовании тезисов различных религий надлежит, прежде всего, научиться отсеивать главное от второстепенного, общее от частного. «Общее», главное любого тезиса заключается в семени идеи, проявляющем чрезвычайную устойчивость в веках: брошенное в почву

различных культурных сред, оно даёт различные побег — различные варианты данного тезиса. Если телеологическая направленность вообще имеется в истории, то, конечно, направленность эта должна сказаться прежде всего в бытии именно таких устойчивых духовных семян — в широко распространённых, исповедуемых миллионами сознаний основах идеи.

Семя идеи перевоплощений состоит в учении о некоем «Я», совершающем своё космическое становление или известный отрезок его по ступеням последовательных существований в нашем физическом мире. Всё остальное, как-то: духовно-материальная природа и структура перевоплощающегося, та или иная зависимость перевоплощений от закона кармы, распространение принципа перевоплощений также на мир животных или отрицание такого распространения, — всё это лишь варианты, разновидности основной идеи. И понятно, что в этих вариантах и деталях можно больше и чаще столкнуться с подлинными абберрациями, чем в её семени, для восприятия которого народом индийским телеологические силы работали много веков, затратив невероятный труд на ослабление у многих его представителей средостения между дневным сознанием и глубинной памятью — хранилищем воспоминаний о путях души до момента её последнего воплощения. Ошибочность религиозных догматов заключается, по большей части, не в их содержании, а в претензиях на то, что утверждаемый догматом закон имеет всеобщее, универсальное, космическое значение, а утверждаемый догматом факт должен исповедоваться всем человечеством, ибо без этого будто бы нет спасения. Всё изложенное приводит нас к признанию подлинности того духовного опыта, который отлился в идею перевоплощений: да, такой путь становления имеет место; ничего принципиально неприемлемого для христианства или ислама в существовании этой идеи нет, кроме, разве, того, что об идее перевоплощений до нас не дошло никаких высказываний основателей христианства и ислама (что, впрочем, само по себе ничего не доказывает, так как в Евангелие и Коран попало, как известно, далеко не всё, что они говорили). Но решительно не из чего не следует, что путь перевоплощений будто бы есть единственно возможный, единственно реальный путь становления индивидуального духа. Отшлифованное в таком направлении, чтобы постигнуть этот тип пути, сознание индийского народа, как часто в подобных случаях бывает, абсолютизировало своё открытие, стало глухо к восприятию других типов пути становления. С еврейским и арабским народами произошло то же самое, но под противоположным знаком: восприняв истину о другом пути становления,

при котором воплощение в физическом слое совершается лишь один раз, сознание этих народов столь же неправомерно абсолютизировало этот второй тип пути. Этому способствует и то, что в различных метакультурах человечества может вообще преобладать тот или другой тип. В результате возникло между двумя группами мировых религий разногласие, кажущееся неразрешимым. В действительности же, обе эти антагонистические идеи истинны в своей основе, фиксируя два из возможных типов пути, и для снятия этого «противоречия» не требуется ничего, кроме отказа каждой из сторон от претензий на универсальную исключительность своей идеи.

Итак, одна из исторических причин непримиримых якобы противоречий между религиями заключается в неправомерной абсолютизации какого-либо тезиса.

А вот и другая причина.

Одним из основных догматов христианства является, как известно, учение о Троичности Божества. Основатель ислама отверг этот догмат, заподозрив в нём реминисценцию многобожия, а главное — потому, что его собственный духовный опыт не заключал в себе положительного указания на подобную истину. Но вряд ли стоит в XX веке повторять аргументацию христианских богословов, в своё время доказывавших и объяснявших коренное различие между догматом Троичности и многобожием: это настолько элементарно, что, надо полагать, теперь и среди магометанских мыслителей не найдётся таких, которые, разбираясь в вопросах христианского вероучения, стали бы настаивать на этом ошибочном утверждении. Что же касается второго аргумента — того, что духовный опыт Мухаммеда не содержал подтверждения Троичности, — то он несостоятелен логически. Ничей вообще опыт не может содержать подтверждений всех истинных идей, возникших ранее, в ходе коллективного человеческого богопознания и миропознания. Всякий личный опыт ограничен; только премудрость Всеведающего охватывает всю сумму истин «в себе». Поэтому то обстоятельство, что Мухаммед не пережил своим духовным опытом ничего, подтверждающего тезис Троичности, само по себе никак не должно служить аргументом для опровержения этой идеи, даже в глазах ортодоксальных мусульман. Вместо формулы «Пророк, познав совершенное единство Божие, убедился в ложности учения о Троице», следует, по справедливости, формулировать так: «Пророк, познав совершенное единство Божие, не получил, однако, указаний на Троичность Единого». Вполне естественно, что христианское вероучение не только не имеет никаких возражений против мусульманского учения о Единстве, но полностью с ним совпадает. Оно лишь дополняет

этот тезис той идеей, которая одною своей устойчивостью две тысячи лет и своей распространённостью на миллиарды сознаний указывает на истинность своей основы. К чему же сводится противоречие между этими двумя главными догматами двух религий? Разве не к произвольному и неправомерному отрицанию одною из них того, о чём в её собственном положительном опыте нет никаких данных?

Теперь мы видим вторую историческую и психологическую причину укоренившихся разногласий между верованиями: неправомерное отрицание чужого утверждения только на том основании, что мы не располагаем положительными данными по этому вопросу.

К сожалению, разногласиям, основанным исключительно на этой логической и гносеологической несообразности, нет числа. Привлечём к рассмотрению ещё один случай, известный каждому: ислам (суннизм) и протестантизм отрицают правомерность культа святых; почти все остальные религии его принимают и, в той или иной форме, осуществляют. Возражения против этого культа сводятся к тому, что человек не нуждается ни в каких посредниках между собой и Божеством и что духовные почести и молитвы, будучи возносимы не к Богу, а к тем, кто были людьми, — греховны, ибо ведут к обожествлению человека. Но что, собственно, значит эта знаменитая формула: «Человек не нуждается в посредниках»? Если в них не нуждается тот, кто эту мысль провозглашает, то откуда у него право говорить за других, даже за всё человечество? Кто его уполномочивал? Уж не те ли миллиарды людей, которые во всех почти странах, во всех почти религиях ощущали живую вседневную потребность в таких посредниках, что и сделало существование культа святых психологически возможным? Если мы, не испытывая потребности в чём-либо (есть люди, не испытывающие потребности, например, в музыке), станем негодовать на всех, эту потребность испытывающих, как на глупых выдумщиков, корыстных лжецов или тёмных невежд, что мы докажем этим, кроме собственного невежества? Второй довод — неправомерность воздавания божеских почестей и молитв тем, кто были людьми. Но почестей божеских (в монотеистическом смысле) им и не воздают, никто их не приравнивает к Богу: мысль совершенно абсурдная, а для людей, выросших в христианских странах, непростительно невежественная. Правда, в индуизме имеется идея аватар — воплощений Вишну в человеческом облике; но то — аватары, а вовсе не святые. Перед святыми преклоняются именно как перед людьми, сумевшими преодолеть своё человеческое, либо как перед осуществителями воли Божией, посланцами мира горнего. Протестантизм отрицает понятие святости вообще. Но здесь

обнаруживается скорее спор о частностях, чем о существовании дела: ведь, отвергая аскетический монашеский идеал, Лютер и Кальвин не умаляли значения мирской праведности, хотя и понимали её, с одной стороны, шире, чем католицизм, а с другой — несколько сниженно: отрицался Узкий Путь как таковой. Мухаммед, умирая, запретил своим последователям обращаться к его духу молитвенно. Это показывает чистоту и искренность его помыслов, но противоречит основам религиозно-нравственного миропредставления вообще. Ведь если праведность, как высшая самоотдача себя человечеству во имя Божие, есть безупречное и бескорыстное Ему служение (а если понимать праведность так, то смешно отрицать, что она существует на свете, встречается, хотя и редко, в жизни), — если так, то нельзя представить себе праведную душу, после кончины успокоившуюся в бездейтельном блаженстве. Всеми силами своей души, в том числе и такими, которые раскрываются только после смерти, праведник будет осуществлять помощь живущим и нижестоящим в их восходящем движении. Это так же естественно, как помощь взрослого ребёнку, и столь же мало, как эта помощь, умаляет или унижает тех, на кого направлена. Вряд ли это могло быть неизвестно пророку Мухаммеду. Надо полагать, что некоторые крайности, излишества в культе святых, которые он наблюдал у христиан, побудили его запретить своим последователям какие бы то ни было установления этого рода. Возможно, он полагал, что этот запрет уравновешивается тем обстоятельством, что усопшие праведники не обязательно нуждаются в напоминании со стороны молящихся, чтобы оказывать им невидимую помощь. Так или иначе, решительно всякое учение, утверждающее истину духовного бессмертия и высокий нравственный закон, только вопреки логике и собственным принципам может полагать, будто дух праведника в его посмертии относится к ныне живущим бездейственно и безучастно. Отрицание культа святых, или лучше сказать, праведных, логично только с одной точки зрения: материалистической. Но, с другой стороны, абсолютизирование культа святых как общеобязательного неправомерно в такой же степени. Бывают длительные этапы в пути души, даже в пути целого народа, когда им действительно не нужны никакие «посредники»; когда душа, сознательно или неосознанно, чувствует, что укрепление её самостоятельности, силы, свободы, духовной воли исключает возможность обращения за помощью к кому-либо, кроме Самого Бога. На каком же основании и по какому праву будем мы навязывать такой личности участие в культе святых?

Значительно большую сложность являет основное противоречие

между христианством и другими религиями: утверждение божественности Иисуса Христа, как догмат, почитание Его за воплощение одной из ипостасей Троицы. Всем известно, что остальные религии либо соглашаются на признание Иисуса пророком в ряду других пророков, либо игнорируют Его, иногда даже энергично отрицая Его провиденциальную миссию. Христианство же, со своей стороны, опираясь на слова своего Основателя о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, отрицает возможность спасения для всех не-христиан.

Представляется, однако, что много недоумений и грубых снижений идей мы избегнем, если во все речения Христа, до нас дошедшие, будем вникать, задавая себе вопрос: говорил ли в данном случае Иисус как личность, как конкретное историческое лицо, прожившее в такой-то стране от такой-то до такой-то даты, или же Его разумом и устами трансформируется в человеческие слова голос Бога, который Он слышит в себе. Каждое речение Христа требует рассмотрения именно под таким углом: говорит ли Он в данном случае как Вестник истин духовного мира или же как человек. Ибо нельзя представить, чтобы Иисус во все мгновения своей жизни говорил только как Вестник и никогда — просто как человек. Вряд ли подлежит сомнению, что в Его скорбном восклицании на кресте «Отче, Отче, вскую Меня покинул?» запечатлена мука одной из тех минут, когда он, Иисус, человек, переживал трагедию оставленности, трагедию прерыва связи своего человеческого «я» с Божественным Духом; а в учении Его, изложенном на Тайной вечере, всё время слышится, как за местоимением первого лица предполагается Бог-Сын, Мировой Логос. Такому разделению речей Христа на две группы следует подвергнуть все слова Его, сохранённые Евангелием. Совершенно очевидно в таком случае, что и слова Его о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, следует понимать не в том сниженном, суженном, оплотненном и безжалостном смысле, что не спасется будто бы ни одна душа человеческая, кроме христиан, а в том величественном, истинно духовном, космическом смысле, что всякая монада, восполнившая себя до конца, погружается в глубины Бога-Сына, Сердца и Демиурга вселенной, и только через этот всезавершающий акт возвращается к своему истоку, к Богу-Отцу, непостижимо отождествляясь Ему и Всей Пресвятой Троице.

Один из виднейших деятелей религиозно-философской индийской общины Брахмо Самадж, Кешуб Чандер-Сен, высказал весьма глубокую мысль: он сказал, что мудрость индуистов, кротость буддистов, мужество магометан — всё это от Христа. Очевидно, под этим именем он понимал в данном случае, конечно, не историческую личность Иисуса, а Логос, Себя в



Иисусе Христе выразивший преимущественно, но не исключительно. В этой идее нащупывается, на мой взгляд, путь к такому углу зрения, на котором могут прийти к взаимопониманию христиане и многие течения восточной религиозности.

Думается также, что некоторые выражения, укоренившиеся в христианском богословии, почти механически повторяемые нами и как раз являющиеся неприемлемыми для других верований, нуждаются в пересмотре и уточнении. Как понимать, например, слово «вочеловечение» в применении к Иисусу Христу? Неужели мы и теперь представляем себе так, что Логос вселенной облёкся составом данной человеческой плоти? Можем ли мы сделать допущение, что путём телеологической подготовки из поколения в поколение был создан, так сказать, телесный инструмент, индивидуальный физический организм, человеческий мозг, способный вместить Разум вселенной? Если так, то ведь надо полагать, что Иисус уже при жизни обладал всеведением, что не согласуется даже с фактами евангельской истории и с Его собственными словами. Не нестерпима ли для нас эта диспропорция масштабов: сближение категорий космических в самом предельном смысле с категориями локально-планетарными, узкочеловеческими? И нестерпима не потому, что она превышает границы нашего разума, а, наоборот, потому, что в ней слишком очевиден продукт мышления на определённой, давно минованной культурной стадии, когда вселенная представлялась в миллиарды раз миниатюрнее, чем она есть на самом деле, когда казалось реально возможным падение на землю твёрдого небесного свода и жуткий град из звёзд, сорвавшихся с крюков, на которых они подвешены. Не точнее ли было бы поэтому говорить не о вочеловечении Логоса в существе Иисуса Христа, а о Его в Нём выражении при посредстве великой богорождённой монады, ставшей Планетарным Логосом Земли? Мы именуем Христа Словом. Но ведь говорящий не воплощает, а именно выражает себя в слове; Бог не воплощается, а выражает Себя в Христе. Именно в этом смысле Христос есть воистину Слово Божие. А если так, то отпадает ещё одно из препятствий к соглашению христианства с некоторыми другими религиозными течениями.

Я коснулся кратко только четырёх межрелигиозных разногласий. Исключая одно последнее, проистекающее из спорности и, может быть, недостаточной отчётливости формулировок, недостаточной откristаллизованности идей, остальные основаны на несовпадении духовного опыта великих визионеров, на том, что, при созерцании некоторых объектов с различных точек Шаданакара, под различным

духовным углом созерцатели видят данный объект в различных аспектах. Условно можно назвать такие разногласия противоречиями по горизонтали, понимая под этим правомерность обеих точек зрения и их мнимую, а не истинную, противоречивость.

Ещё пример. С тех пор, как существуют христианство и ислам, они продолжают бороться с тем, что они называют язычеством. С течением веков человечество прониклось идеей о непримиримости, несовместимости монотеизма с многобожием, как своего рода аксиомой. Исследование того, почему и как это произошло, увело бы нас слишком в сторону. Существенно другое: на каком основании религии семитического корня, утверждающие бытие духовных иерархий и ещё в средние века разработавшие до мелочей учение о них — ангелологию и демонологию, — ограничивают многообразие этих иерархий теми немногими, которые были включены в эти средневековые схемы? Имеется ли хоть тень последовательности в их принципиальном отказе всякому опыту о духовных иерархиях — в истинности? Решительно никаких оснований для этого, кроме опять-таки ссылок на молчание об этом Евангелия и Корана. Именно ввиду недостаточности оснований для огульного отрицания церковь в первые века христианства не столько отрицала богов олимпийского пантеона, сколько отождествляла их с демонами и бесами семитических канонизированных текстов. При этом, вопреки очевидности, игнорировался характер этих божеств, какой восприняло политеистическое духовопознание, и им произвольно приписывались снижающие и опорочивающие черты либо же нарочито подчёркивался слишком антропоморфный элемент, привнесённый в эти представления субъектом познания — политеистическим человечеством и к тому времени сохранившийся уже только в их низших, простонародных вариантах. Как будто признание истинности бытия иерархий природы, великих стихий или духов-народоводителей могло поколебать единство Бога — Творца и зиждителя вселенной, истока и устья мирового потока жизни — больше, чем признание других Его прекрасных детей — ангелов и архангелов, а также тех демонов, о которых трактовалось в канонизированных поучениях Библии!

К сожалению, это древнее недоразумение не разъяснено до сих пор: от античного многобожия давно ничего не осталось, но ожесточённая, узкая, лишённая всякой мудрости нетерпимость проявляется всякий раз, когда христианским церквям или, по крайней мере, тем, кто говорит от их имени, доводится высказывать своё суждение по вопросам индусских, китайских, японских, тибетских систем. Столь же нетерпимы и две другие религии

семитического корня. Здесь налицо типичный случай разнствования религий по горизонтали: не противореча друг другу по существу, не сталкиваясь друг с другом в необозримом духовном космосе, христианство и индуизм, буддизм и ислам, иудейство и религия шинто говорят о разном, о разных, так сказать, духовных странах, о разных сегментах Шаданакара; ограниченность же человеческая толкует это как противоречия и объявляет одно из учений истинным, а остальные — ложными. — «Если Бог един, то другие боги суть, так сказать, самозванцы: это — или бесы, или игра человеческого воображения». Какая детская мысль! Господь Бог един, но богов много; начертание этого слова в русском языке то с большой, то с малой буквы достаточно ясно говорит о различиях содержания, вкладываемого в это слово в обоих случаях. Если же повторение этого слова в различных смыслах пугает кого-нибудь, пусть он заменит его, говоря о политеизме, каким-нибудь другим: «великие духи», «великие иерархии», но от этого ничего не изменится, если не считать того, что употребление слова «дух» может в ряде случаев повести к недоразумениям, ибо многие из этих богов суть не духи, а могучие существа, обладающие материальной воплощённостью, хотя и в других, трансфизических слоях бытия.

Все эти основанные на недоразумениях разногласия между религиями приводят на память одно сравнение, когда-то встреченное мною в религиозной литературе, хотя я и не помню, где именно: как если бы несколько путешественников поднимались с разных сторон на одну и ту же гору, видели и обследовали различные её склоны, а по возвращении заспорили бы о том, кто из них видел реально существующее, а кто — причуды собственного воображения; причём каждый рассуждают бы, что гора именно такова, каковой она оказалась с его стороны, а свидетельства других путешественников о других её сторонах — лживы, абсурдны и являют собой западню для душ человеческих. Таким образом, первый вывод, вытекающий из сопоставления междурелигиозных разногласий, заключает в себе путь к устранению тех из них, которые основаны либо просто на недоразумении, либо на несовпадении объектов религиозного познания в различных рядах опыта, то есть противоречия «по горизонтали».

Но не только политеизм, но и анимизм, и праанимизм не исчерпываются мутными, случайными, субъективными образами, возникавшими в сознании первобытного человечества: трансфизическая реальность стоит и за ними. Провидение именно потому и есть Провидение, что оно никогда не оставляло народы и расы быть игралищем

фантазмов и иллюзий, без всякой возможности соприкоснуться с высшей реальностью. Не Бога, а тёмную, злобную силу пришлось бы признать за истинного вожатого человечества, если представить себе, что десятки тысяч лет первобытному человечеству преграждалась всякая возможность пережить что-либо духовное или, по крайней мере, иноматериальное, соприкоснуться с чем-либо, кроме физического мира да собственных фантазмагорий. — Пусть так, но чем может духовный опыт «дикаря» обогатить нас — нас, стоящих на столь высокой, сравнительно с ним, ступени духопознания? — А вот именно тем, что было постигнуто тогда, в той обстановке, тою неповторимой психикой, но не передалось, утратилось, не было преемственно воспринято последующими формами духопознания в свою сокровищницу. Специальное исследование магических представлений и опыта пралогического мышления под этим углом зрения помогло бы не только «реабилитации» этих древних верований в их существенных чертах, но и нашло бы для них место в начинающем формироваться теперь синтетическом религиозном мировоззрении. Выяснилось бы, например, что представления австралийского племени арунта о единой жизненной субстанции, переливающейся в материи непрерывно и повсеместно, из существа в существо, из предмета в предмет (а в таких представлениях заключается, в сущности, вся религия этого племени), есть древнейшее откровение человечества о трансфизическом космосе: это есть живое, ярчайшее, безусловнейшее, чем когда-либо потом, переживание единой жизненной силы; австралийцы окрестили её арунгвильтой, высокоразвитый брахманизм называет её праной, а как назовёт её через двадцать или тридцать лет мировая наука — это мы ещё услышим.

Это разногласие — утверждение тезиса об арунгвильте-пране древнейшими верованиями и отрицание его подавляющим большинством позднейших религиозных учений — можно рассматривать как разногласие стадияльное, разногласие «по вертикали», разногласие между различными ступенями религиозного познания. Но и здесь мы наталкиваемся на ту же ошибку, тот же неправомерный подход к чужому опыту, с которым мы познакомились, разбирая вопрос об отрицании исламом культа святых или идеи Троичности. И здесь, подо всеми доводами, которые приводятся против древнейшего откровения, таится всё тот же наивный ход мысли: об арунгвильте-пране ничего не говорят авторитетные для меня канонизированные тексты; следовательно, её нет. Ход мысли, по меньшей мере, опасный, потому что в таком случае придётся отрицать реальность не только арунгвильты-праны, но и радиоволн, и элементарных частиц, и

множества химических элементов, и галактик, и даже, например, планеты Уран, ибо обо всём этом канонические тексты хранят абсолютное молчание.<sup>[2]</sup>

Выясняется, таким образом, ещё и следующее: решительная необходимость учесть то, что не было учтено в эпоху формирования старинных, так сказать, классических конфессий: опыт первобытного духопознания, а так же то, что не могло быть учтено тогда по самому ходу вещей: опыт многовековой эволюции религий на всех континентах, опыт мировой истории и опыт науки. Материал этих рядов опыта учит нас подходить ко всем догматам и тезисам динамически, уметь понять всякий тезис как звено в цепи религиозно-исторического развития и уметь расслоить его на два, а то и на три пласта. Глубиннейший пласт есть основа идеи, содержащая относительную частную истину. Другой пласт есть специфическая окраска, разработка, детализация идеи в той мере, в какой индивидуальный, расовый или эпохальный аспект её оправдан, ибо именно такой и только такой расовый или эпохальный склад души дал возможность этому народу вообще воспринять эту идею. Самый же внешний, третий пласт — шелуха, абберации, неизбежная муть человеческих сознаний, сквозь которую проникает свет откровения. Следовательно, опыт всех стадий развития, в том числе политеистической, анимистической и пр., должен быть освобождён от своего внешнего пласта, от шелухи, заново осмыслен и включён в мировоззрение религии итога. Конечно, принцип такой работы здесь едва намечен, системы критериев нуждаются в огромной разработке, да и вообще такой пересмотр «религиозного наследия» — задача колоссальная, требующая совместного труда многих и многих; в настоящее время для неё нет даже и кадров, не говоря о прочих необходимых условиях. Но если эта задача велика, то чем скорее будет приступлено по крайней мере к подготовительной работе, тем лучше. Не надо преуменьшать трудностей, но есть все основания для надежд на то, что при условии доброй воли, при энергии и инициативности руководящих лиц пропасти и рвы, разделяющие ныне все религии, будут постепенно засыпаны, и хотя каждая из религий сохранит своеобразие и неповторимость, но некоторый духовный союз, некоторого рода уния сможет со временем объединить все учения «правой руки».

Известно, что многие японцы, исповедующие христианство, остаются в то же время верными шинтоизму. Правоверного католика или протестанта, да и православного тоже это коробит, он не может понять, как это психологически возможно, и даже ощущает в этом явлении нечто как бы кощунственное. Но безо всякого кощунства это возможно и даже

совершенно естественно потому, что опыт христианства и опыт шинтоизма различаются по горизонтали: они — о разном. Шинтоизм есть национальный миф. Это есть аспект мирового религиозного откровения, обращённый к народу японскому и только к нему. Это — осмысление духовной, лучше сказать, трансфизической реальности, надстоящей над японским народом и только над ним и проявлявшейся в его истории и культуре. В шинтоизме не найти ответов на вопросы космического, планетарного или общечеловеческого характера: о Творце мира, о происхождении зла и страдания, о путях космического становления. Он говорит только о метаистории Японии, о её метакультуре, об иерархиях, ею народоводительствующим, и о небесном соборе просветлённых душ, поднявшихся в высшие миры Шаданакара именно из Японии. Синкретизм японцев, то есть одновременное исповедание ими шинтоизма и католичества, шинтоизма и буддизма, есть не психологический парадокс, а, напротив, первый намёк на то, как должны дополнять гармонически друг друга опыты и истины различных религий.

Конечно, прежде чем станет осуществимой уния между христианством и другими религиями и культурами «правой руки» — а это есть одна из исторических задач Розы Мира, — естественно достичь воссоединения христианских церквей: подготовку такого воссоединения, богословскую, философскую, психологическую, культурную и организационную, Роза Мира будет проводить с неослабевающим воодушевлением. Пока воссоединения христианства не произошло, пока Восьмой вселенский собор (или несколько последовательных соборов) не рассмотрят весь объём старой догматики и не внесут в него ряд тезисов, основанных на духовном опыте последней тысячи лет, пока они не санкционируют наивысшим авторитетом воссоединённого христианства тезисы учения Розы Мира, до тех пор эти тезисы могут, конечно, исповедоваться, утверждаться, проповедоваться, но не должны быть отлиты в замкнутые, завершённые, безусловные формы, рекомендуемые к исповеданию всем христианам.

В этом воссоединении христианских конфессий и в дальнейшей унии всех религий Света ради общего сосредоточения всех сил на совершенствовании человечества и на одухотворении природы Роза Мира видит свою надрелигиозность и интеррелигиозность.

Религиозная исключительность её последователям не только чужда — она для них невозможна. Со-верчеству со всеми народами в их наивысших идеалах — вот чему учит её мудрость.

Строение Розы Мира предполагает поэтому ряд концентрических

кругов. Почитаться пребывающими вне всеобщей церкви не должны последователи никакой религии «правой руки»; те же из них, кто ещё не достиг сознания надрелигиозного единства, занимают внешние из этих кругов. Средние круги охватывают менее деятельных, менее творческих из числа последователей Розы Мира; внутренние же — тех, кто смысл своего существования положил в сознательном и свободном богосотворчестве.

Пусть христианин вступает в буддийский храм с трепетом и благоговением: тысячи лет народы Востока, отделённые от очагов христианства пустынями и горными громадами, постигали через мудрость своих учителей истину о других краях мира горнего. Сквозь дым курений здесь мерцают изваяния высоких владык иных миров и великих вестников, об этих мирах говоривших людям. Мирам этим не соприкоснулся западный человек; пусть же обогатятся его разум и душа хранимым здесь знанием.

Пусть мусульманин входит в индуистский храм с мирным, чистым и строгим чувством: не ложные боги взирают на него здесь, но условные образы великих духов, которых поняли и страстно полюбили народы Индии и свидетельство о которых следует принимать другим народам с радостью и доверием.

И пусть правоверный шинтоист не минует неприметного здания синагоги с пренебрежением и равнодушием: здесь другой великий народ, обогативший человечество глубочайшими ценностями, оберегает свой опыт о таких истинах, которыми духовный мир открылся ему — и никому более.

Розу Мира можно сравнить с опрокинутым цветком, корни которого — в небе, а лепестковая чаша — здесь, в человечестве, на земле. Её стебель — откровение, через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие её лепестки, — благоухающий хорал религий. Но, кроме лепестков, у неё есть сердцевина: это — её собственное учение. Учение это не есть механическое сочетание наиболее высоких тезисов различных теософов прошлого: кроме нового отношения к религиозному наследию, Роза Мира осуществляет новое отношение к природе, к истории, к судьбам человеческих культур, к их задачам, к творчеству, к любви, к путям космического восхождения, к последовательному просветлению Шаданакара. В иных случаях отношение это ново потому, что хотя отдельные деятели прошлого говорили о нём, но религией, но церковью оно принимается и исповедуется впервые. В других случаях отношение Розы Мира оказывается новым в безотносительном смысле, потому что его ещё не высказывал никто никогда. Это новое отношение вытекает из нового духовного опыта, без которого, вместо Розы Мира, был бы

возможен только рассудочный и бесплодный религиозный эклектизм.

Но прежде чем перейти к содержанию этого духовного опыта, к основам этого учения, предстоит уяснить, на каких путях души этот опыт приобретается и какими методами можем мы облегчить или ускорить для себя его приобретение.



**КНИГА II. О МЕТАИСТОРИЧЕСКОМ И  
ТРАНСФИЗИЧЕСКОМ МЕТОДАХ  
ПОЗНАНИЯ**

## Глава 1

### Некоторые особенности метаисторического метода

Общеизвестно выражение: «религиозное чувство». Это выражение неправильное: религиозного чувства «вообще» не существует, а существует необозримый мир религиозных чувств и переживаний, бесконечно разнообразных, часто контрастирующих между собой, различных и по своему эмоциональному содержанию, и по объекту своей направленности, и по силе, и по тону, и, так сказать, своему цвету. Широты и многообразия этого мира даже не подозревает тот, кто лишён собственного религиозного опыта и заключает о нём только по свидетельствам других: свидетельства эти, при отсутствии личного опыта, почти всегда воспринимаются с недоверием, с предубеждением, со склонностью истолковывать их сообразно не с утверждениями самих свидетельствующих, а с догматическими положениями арелигиозных схем.

Многообразие мира религиозных чувств соответствует и многообразие методов религиозного познания. Излагать эти методы значит писать фундаментальное исследование по истории и психологии религий. Подобная задача не имеет никакого отношения к задаче настоящей книги. В задачу книги входит — как один из компонентов — намерение дать понятие лишь о некоторых методах религиозного познания, а именно тех, которые, как мне кажется, имеют наибольшее творческое значение на текущем историческом этапе.

Произошла бы самая печальная ошибка, если бы кто-нибудь заподозрил автора этой книги в претензиях на роль одного из основоположников великого дела — исторического, культурного и общественного — созидания того, что обозначается здесь словами «Роза Мира». Всё обстоит совсем иначе. Роза Мира может явиться и появиться только в результате совместного труда огромного числа людей. Я убеждён, что не только в России, но и во многих других краях Земли — в первую очередь, кажется, в Индии и Америке, происходит тот же процесс: та же грандиозная потусторонняя реальность вторгается в человеческое сознание, сначала — сознание единиц, потом сотен, чтобы позднее стать достоянием миллионов. Да, теперь, сейчас, вот в эту самую минуту, люди, ещё ничего не знающие друг о друге, иногда разделённые огромными пространствами и рубежами государств, иногда — лишь стенами нескольких домов, переживают потрясающие прорывы сознания,

созерцают трансфизическую высь и трансфизическую глубину, и некоторые силятся — каждый сообразно личным способностям и складу души — выразить или хоть приближённо отобразить этот опыт в творениях слова, кисти и музыки. Не знаю сколько, но, по-видимому, уже немало людей стоят в этом потоке откровения. И моя задача — выразить его так, как переживаю его именно я, — и только.

Следовательно, речь здесь пойдёт не о научном строе мышления и познания и даже не о художественном, но о таком, понимание которого требует некоторой перестройки представлений, господствующих в России последние сорок лет.

Я полагаю, что серьёзное вникновение исследователей, стоящих на высоте современной физиологии и психологии, в огромную апокалиптическую литературу, в автобиографические свидетельства духовных авторов и некоторых религиозных деятелей, имевших опыт подобного рода, непредубеждённое изучение и обобщение материала, рассеянного в трудах по сравнительной религиологии, — всё это приведёт со временем к выработке научной методики, на основе которой удалось бы заложить фундамент гносеологии религиозного и, в частности, метаисторического познания. Можно себе представить возникновение научно-педагогической практики, ставящей целью овладеть механизмом этого познания, дать личности, до сих пор воспринимавшей этот процесс пассивно, способы вызывать его и управлять им, хотя бы отчасти. Но всё это — дело будущего, и притом не близкого. Пока несомненно только то, что многообразие этого процесса зависит и от субъекта, и от объекта познания. Нельзя объять необъятного; я могу говорить здесь лишь о том варианте процесса, с которым меня столкнула собственная жизнь. Придётся идти на то, чтобы усилить в книге элемент автобиографический, хотя я лично, при любых иных обстоятельствах, этого элемента стремился бы избегать.

В центре внимания при этом будут три вида религиозного познания: метаисторический, трансфизический и вселенский. Впрочем, проводить вполне чёткую границу между ними невозможно, да и не нужно.

Прежде всего: что, собственно, разумеется здесь под метаисторией?

Метаистория есть, говорит Сергей Булгаков, едва ли не единственный русский мыслитель, поставивший эту проблему ребром, — метаистория есть «ноуменальная сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается для нас как история».<sup>[3]</sup> Мне думается, однако, что применение кантовской терминологии к проблемам этого порядка вряд ли поможет уяснению существа дела. Понятия ноуменального и

феноменального были выработаны иным ходом мысли, вызваны иными философскими потребностями. Объекты метаисторического опыта могут быть втиснуты в систему этой терминологии лишь по способу Прокруста.

Ещё неправомернее сближение метаистории с каким-либо из видов философии истории. Философия истории есть именно философия; метаистория же всегда мифологична.

Так или иначе, термин «метаистория» употребляется в настоящей книге в двух значениях.

Во-первых — как лежащая пока вне поля зрения науки, вне её интересов и её методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим процессом связаны, его собою в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются на путях именно того специфического метода познания, который следует назвать метаисторическим.

Второе значение слова «метаистория» — это учение об этих процессах инобытия, учение, разумеется, не в научном, а именно в религиозном смысле.

Нет ничего удивительного в том, что возможность познания этих процессов обусловлена для различных индивидуумов рядом психологических, а может быть, и физиологических предпосылок. Очевидно, мы имеем здесь дело с некоторой врождённой предрасположенностью; мы столь же мало можем вызвать или уничтожить её, как, например, врождённое свойство музыкальности. Однако самая эта способность может быть на протяжении жизни или заглушена, или просто остаться неиспользованной, как зарытый в землю талант, или, наконец, подвергнуться развитию, иногда даже чрезвычайно ускоренному. Научно-воспитательная система, которая кажется нам возможной в будущем, способствовала бы именно развитию этой способности. Пока же средства положительного воздействия на эту способность приходится нащупывать почти вслепую, и заметного развития её на протяжении жизни не получилось бы, вероятно, совсем, если бы некоторые силы, действуя навстречу нашим усилиям, не брали бы на себя огромный труд развития в нас соответствующих органов восприятия. Однако кажется весьма правдоподобным, что для возникновения процесса метаисторического познания необходимо, кроме врождённых свойств и деятельной помощи Провиденциальных сил, и кое-что приобретенное нами самими, например

— наличие пусть скромного, но безусловного запаса положительных исторических сведений. Для человека совершенно невежественного, никак не переживающего своей связи с историческим потоком явлений, живи он в австралийской пустыне или в дебрях современного города-гиганта, метаисторический метод познания закрыт. Участием в накоплении вот этого именно запаса исторических сведений и ограничивается пока роль научного фактора в разбираемом психологическом процессе, точнее — в подготовке к этому процессу. Самый же процесс, по крайней мере, тот его вариант, который мне знаком, не имеет к научным формам познания ни малейшего отношения. Повторяю это и подчеркиваю.

Состоит он из трёх последовательных стадий.

Первая стадия заключается в мгновенном внутреннем акте, совершающемся без участия воли субъекта и, казалось бы, без видимой предварительной подготовки, хотя, конечно, в действительности такая подготовка, только протекающая за порогом сознания, должна иметь место.

Содержанием этого акта является молниеносное, но охватывающее огромные полосы исторического времени переживание нерасчленимой ни на какие понятия и невыразимой ни в каких словах сути больших исторических феноменов. Формой же такого акта оказывается сверх меры насыщенная динамически кипящими образами минута или час, когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания в тихой и тёмной комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури — вызывающей ужас своей грандиозностью и мощностью, почти ослепляющей и в то же время переполняющей чувством захватывающего блаженства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты, личность раньше не имела никакого представления. Синтетически охватываются единовременно целые эпохи, целый — если можно так выразиться — метаисторический космос этих эпох с великими, борющимися в нём началами. Ошибочно было бы предполагать, что эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет, зрительный элемент включается в них, как, может быть, и звуковой, но сами они так же относятся к этим элементам, как, например, океан относится к водороду, входящему в состав его воды. Дать представление об этом переживании крайне трудно за отсутствием сколько-нибудь точных аналогий с чем-либо другим, более известным.

Переживание это оказывает потрясающее действие на весь душевный состав. Содержание его столь превосходит всё, что находилось раньше в круге сознания личности, что оно будет много лет питать собою душевный мир пережившего. Оно станет его драгоценнейшим внутренним

достоянием.

Такова первая стадия метаисторического познания. Мне кажется допустимым назвать её метаисторическим озарением.<sup>[4]</sup>

Результат озарения продолжает храниться в душевной глубине, храниться не как воспоминание, а как нечто живое и живущее. Оттуда постепенно, годами, поднимаются в круг сознания отдельные образы, идеи, целые концепции, но ещё больше остаётся их в глубине, и переживший знает, что никакая концепция никогда не сможет охватить и исчерпать этого приоткрывшегося ему космоса метаистории. Эти-то образы и идеи становятся объектом второй стадии процесса.

Вторая стадия не обладает тем моментальным характером, как первая: она представляет собою некоторую цепь состояний — цепь, пронизывающую недели и месяцы и проявляющуюся почти ежедневно. Это есть внутреннее созерцание, напряжённое вживание, сосредоточенное вглядывание — иногда радостное, иногда мучительное — в исторические образы, но не замкнутые в самих себе, а воспринимаемые в их слитности со второй, метаисторической реальностью, за ними стоящей. Выражение «вглядываться» я употребляю здесь условно, а под словом «образы» разумею опять-таки не зрительные представления только, но представления синтетические, включающие зрительный элемент лишь постольку, поскольку созерцаемое может вообще иметь зрительно представимый облик. При этом крайне важно то, что содержанием подобного созерцания бывают в значительной мере и явления иномерных слоёв материальности; ясно, что воспринимать их могут не физические органы зрения и слуха, но некоторые другие, имеющиеся в составе нашего существа, но обычно отделённые как бы глухою стеной от зоны дневного сознания. И если первая стадия процесса отличалась пассивным состоянием личности, ставшей как бы невольным зрителем ошеломляющего зрелища, то на второй стадии возможно, в известной мере, направляющее действие личной воли, — иногда, например, в выборе того или иного объекта созерцания. Но чаще, и как раз в наиболее плодотворные часы, образы всплывают произвольно, излучая, сказал бы я, такую завораживающую силу и приоткрывая такой многопланый смысл, что часы созерцания превращаются в ослабленные подобию минут озарения. При известной творческой предрасположенности субъекта образы эти могут в иных случаях становиться источником или стержнем, осью художественных произведений; и сколь мрачны и суровы ни были бы некоторые из них, но величие этих образов таково, что трудно найти равное тому наслаждение, которое вызывается их созерцанием.

Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать эту вторую стадию процесса.

Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и, быть может, их общая композиция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены; иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчётливых связей, наполнения скитающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от воздействия внеличных и внерассудочных начал. Ясно поэтому, что именно на третьей стадии совершаются наибольшие ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования. Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка: вполне отделать я от этого, по-видимому, почти невозможно. Возможно другое: уловив внутреннюю природу метаисторической логики, удаются иной раз перестроить в её направлении даже работу рассудка.

Эту третью стадию процесса естественно назвать метаисторическим осмыслением.

Таким образом, метаисторическое озарение, метаисторическое созерцание и метаисторическое осмысление можно фиксировать как три стадии того пути познания о котором идёт речь.

Оговорю возможность ещё одного рода состояния представляющих разновидность состояний первой стадии. Это — озарение особого типа, связанное с переживанием метаисторических начал демонической природы; некоторые из них обладают огромною мощью и обширною сферой действия. Это состояние, которое было бы правильно назвать инфрафизическим прорывом психики, крайне мучительно и по большей части насыщено чувством своеобразного ужаса. Но, как и в остальных случаях, за этим состоянием тоже следуют стадии созерцания и осмысления.

Мои книги, написанные или пишущиеся в чисто поэтическом плане, зиждутся на личном опыте метаисторического познания. Концепция, являющаяся каркасом этих книг, выведена целиком из этого опыта. Откуда я взял эти образы? кто и как внушил мне эти идеи? как право имею я говорить с такой уверенностью? могу ли я дать какие-нибудь гарантии в подлинности своего опыта? — Теперь, здесь, в одной из вступительных частей книги «Роза Мира», я отвечаю на эти вопросы, как могу. В автобиографической конкретизации нет ничего для меня привлекательного, я стараюсь её свести к минимуму. Но в этот минимум входит, конечно, краткий отчёт о том, где, когда и при каких обстоятельствах были пережиты

мною часы метаисторического озарения.

Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне ещё не исполнилось пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень любивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших Храм Христа Спасителя и приподнятых над набережной. Московские старожилы ещё помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквях звонили к вечерне... Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывавший историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания. Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя создавать новые и новые конструкции, которые должны были сгармонизировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы. Процесс слишком быстро вступил в стадию осмысления, почти миновав промежуточную стадию созерцания. Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трёх десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы пучина приоткрывшегося в ранней юности была правильно понята и объяснена.

Второе событие этого порядка я пережил весной 1928 года в церкви Покрова-в-Левшине, впервые оставшись после пасхальной заутрени на раннюю обедню: эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением — единственный раз в году — первой главы Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово». Евангелие возглашается всеми участвующими в службе священниками и дьяконами с разных концов церкви, поочерёдно, стих за стихом, на разных языках — живых и мёртвых. Эта ранняя обедня — одна из вершин православного — вообще христианского — вообще мирового богослужения. Если предшествующую ей заутреню можно сравнить с восходом солнца, то эта обедня — настоящий духовный полдень, полнота света и всемирной радости. Внутреннее событие, о котором я говорю, было и по содержанию своему, и по тону совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь



торжественные движения и звуки совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот высший край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстаёт великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветлённого человечества.

В феврале 1932 года, в период моей кратковременной службы на одном из московских заводов, я захворал и ночью, в жару, приобрёл некоторый опыт, в котором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кроме бреда, но для меня — ужасающий по своему содержанию и безусловный по своей убедительности. Существо, которого касался этот опыт, я обозначал в своих книгах и обозначаю здесь выражением «третий уицраор». Странное, совсем не русское слово «уицраор» не выдуманно мною, а вторглось в сознание тогда же. Очень упрощённо смысл этого исполинского существа, схожего, пожалуй, с чудищами морских глубин, но несравненно превосходящего их размерами, я бы определил как демона великодержавной государственности. Эта ночь оставалась долгое время одним из самых мучительных переживаний, знакомых мне по личному опыту. Думаю, что если принять к употреблению термин «инфразифические прорывы психики», то к этому переживанию он будет вполне применим.

В ноябре 1933 года я случайно — именно совершенно случайно — зашёл в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула тёплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да ещё в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слёзы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъём в Небесную Россию, переживание Синклита её просветлённых, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлём. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь — один из ярчайших светильников

Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. В продолжение почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму — и — удивительно! — переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой.

В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и, после двухдневного пути через Карельский перешеек, вошёл поздно вечером в осаждённый Ленинград. Во время пути по безлюдному, тёмному городу к месту дислокации мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спасителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь неё, а потом поглотив её в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. Я увидел третьего уицраора яснее, чем когда-либо до того, — и только веющее блистание от приближавшегося его врага — нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей родины — уберегло мой разум от непоправимого надлома.<sup>[5]</sup>

Наконец, нечто схожее, но уже полностью свободное от метафизического ужаса, было мною пережито в сентябре 1949 года во Владимире, опять-таки ночью, в маленькой тюремной камере, когда мой единственный товарищ спал, и несколько раз позднее, в 1950–53 годах, тоже по ночам, в общей тюремной камере. Для «Розы Мира» недостаточно было опыта, приобретенного на таком пути познания. Но самое движение по этому пути привело меня к тому, что порою я оказывался способным сознательно воспринять воздействие некоторых Провиденциальных сил, и часы этих духовных встреч сделались более совершенной формой метаисторического познания, чем та, которая мною только что описана.

Сравнительно часто и многими изведен выход эфирного тела из физического вместилища, когда это последнее покоится в глубоком сне, и странствие по иным слоям планетарного космоса. Но, возвращаясь к дневному сознанию, путник не сохраняет о виденном никаких отчётливых воспоминаний. Хранятся они только в глубинной памяти, наглухо отделённой от сознания у огромного большинства. Глубинная память (анатомически её центр помещается в мозгу) — это хранилище воспоминаний о предсуществовании души, а также о её трансфизических

странствиях, подобных описываемому. Психологический климат некоторых культур и многовековая религиозно-физиологическая практика, направленная в эту сторону, как, например, в Индии и странах буддизма, способствовали тому, что преграда между глубинной памятью и сознанием ослабела. Если отрешиться от дешевого скепсиса, нельзя не обратить внимание на то, что именно в этих странах часто можно услышать, даже от совсем простых людей, утверждения о том, что область предсуществования не является для их сознания закрытой совершенно. В Европе, воспитывавшейся сперва на христианстве, оставлявшем эту проблему в стороне, а потом на безрелигиозной науке, ослаблению преграды между глубинной памятью и сознанием не способствовало ничто, кроме индивидуальных усилий редких единиц.

Я должен сказать совершенно прямо, что лично мною не было проявлено даже и этих усилий, по той простой причине, что я не знал, как к этому подойти, а руководителей у меня не было. Но было зато нечто иное, чем я обязан, вероятно, усилиям невидимых осуществителей Провиденциальной воли, а именно — некоторая приоткрытость, как бы на узенькую щелку, двери между глубинной памятью и сознанием. Сколь бы неубедительно ни прозвучало это для подавляющего большинства, но я не намерен скрывать того факта, что слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо достоверные проблески из глубинной памяти сказывались в моей жизни с детских лет, усилились в молодости и, наконец, на сорок седьмом году жизни стали озарять дни моего существования новым светом. Это не значит, будто бы совершилось полное раскрытие органа глубинной памяти, — до этого ещё далеко, но значительность образов, оттуда подающихся, стала для меня столь осязательно ясна, а образы эти временами столь отчётливы, что качественное, принципиальное отличие их от обычных воспоминаний, а также от работы воображения становится несомненным.

Как могу я не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми, их испытывавшими, и которые были не вполне легки и для меня, но которые, вместе с тем, послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа? Именно в тюрьме, с её изоляцией от внешнего мира, с её неограниченным досугом, с её полутора тысячею ночей, проведённых мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, — именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания. Часы метаисторического озарения участились. Длинные ряды ночей превратились в сплошное

созерцание и осмысление. Глубинная память стала посылать в сознание всё более и более отчётливые образы, озарявшие новым смыслом и события моей личной жизни, и события истории и современности. И, наконец, пробуждаясь утром после короткого, но глубокого сна, я знал, что сегодня сон был наполнен не сновидениями, но совсем другим: трансфизическими странствиями.

Если подобные странствия совершаются по демоническим слоям и притом без вожатого, а под влиянием тёмных устремлений собственной души или по предательскому призыву демонических начал, человек, пробуждаясь, не помнит отчётливо ничего, но выносит из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядовитого семени, могут вырасти потом такие деяния, которые надолго привяжут душу, в её посмертии, к этим мирам. Такие блуждания случались со мною в юности, такие деяния влекли они за собой, и не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь моей жизни на земле уводил меня всё дальше и дальше от этих срывов в бездну.

Если же спуск совершается с вожатым — одним из братьев Синклита страны или Синклита Мира, если он имеет провиденциальный смысл и назначение, то путник, пробуждаясь и испытывая иногда то же сладостно-жуткое, искушающее чувство, в то же время осознаёт его соблазн, мало того: в его воспоминаниях обретается этому соблазну противовес: это — понимание грозного смысла существования этих миров и их подлинного лица, а не личины. Он не пытается вернуться в эти нижние слои посредством этического падения в плане своего бодрственного бытия, но делает приобретённый опыт объектом религиозного, философского и мистического осмысления или даже материалом своих художественных созданий, имеющих наряду с другими значениями неперемёртый предупреждающий смысл.

На сорок седьмом году жизни я вспомнил и понял некоторые из своих трансфизических странствий, совершённых ранее; до этого времени воспоминания о них носили характер смутных, клочкообразных, ни в какое целое не слагавшихся хаотических полуобразов. Новые же странствия зачастую оставались в памяти так отчётливо, так достоверно, так волнуя всё существо ощущением приоткрывшихся тайн, как не остаётся в памяти никакое сновидение, даже самое значительное.

Есть ещё более совершенный вид таких странствий по планетарному космосу: тот же выход эфирного тела, те же странствия с великим вожатым по слоям восходящего или нисходящего ряда, но с полным сохранением бодрственного сознания. Тогда, вернувшись, путник приносит

воспоминания ещё более бесспорные и, так сказать, исчерпывающие. Это возможно только в том случае, если духовные органы чувств уже широко раскрыты и запоры с глубинной памяти сорваны навсегда. Это уже подлинное духовидение. И этого, конечно, я не испытал.

Насколько мне известно (возможно, впрочем, что я ошибаюсь), из европейских писателей этому был причастен пока один только Дант. Создание «Божественной комедии» было его миссией. Но полное раскрытие его духовных органов совершилось только в конце жизни, когда огромная работа над поэмой уже близилась к концу. Он понял многочисленные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность образов, но для исправления уже не хватало времени и сил. Тем не менее излагаемая им система может быть принята в основных чертах, как панорама разноматериальных слоёв романо-католической метакультуры.

Не смея и заикаться о чём-либо подобном, я имел, однако, великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите России. К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти не смею прикоснуться пером. Не смею назвать и имена их, но близость каждого из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи случались и днём, в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку, лицом к стене, чтобы скрыть поток слёз захватывающего счастья. Близость одного из великих братьев вызвала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого всё моё существо приветствовало тёплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу и любящего её и несущего мне прощение и утешение. Приближение третьего вызвало потребность склонить перед ним колена, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его сопровождалась строгим чувством и необычайной обострённостью внимания. Наконец, приближение четвёртого вызвало ощущение ликующей радости — мировой радости — и слёзы восторга. Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам.

Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоёв Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли?

Некоторые из названий и имён приходилось уточнять по несколько раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесённых великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других с заревами, в третьих — с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений — одно, из всех согласованно звучащих слогов — один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то тёмное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов.

Так, путь метаисторических озарений, созерцаний и осмысления был дополнен трансфизическими странствиями, встречами и беседами.

Дух нашего века не замедлит с вопросом: «Пусть то, что автор называет опытом, достоверно для пережившего субъекта. Но может ли оно иметь большую объективную значимость, чем «опыт» обитателя лечебницы для душевнобольных? Где гарантии?»

Но странно: разве ко всем явлениям духовной жизни, ко всем явлениям культуры мы подходим с требованием гарантии? а если не ко всем, то почему именно к этим? Ведь мы не требуем от художника или композитора гарантии «достоверности» их музыкальных наитий и живописных видений. Нет гарантии и в передаче религиозного и, в частности, метаисторического опыта. Без всяких гарантий опыту другого поверит тот, чей душевный строй хотя бы отчасти ему созвучен; не поверит и потребует гарантий, а если получит гарантии — всё равно их не примет тот, кому этот строй чужд. На обязанности принятия своих свидетельств настаивает только наука, забывая при этом, как часто её выводы сегодняшнего дня опрокидывались выводами следующего. Чужды обязанности, внутренне беспредельно свободны другие области человеческого духа: искусство, религия, метаистория.

Впрочем, смешивать эти области между собой, полагать, например, будто метаисторическая форма познания является какою-то оригинальной и редкой разновидностью художественного творчества, — было бы самой примитивной ошибкой. На некоторых стадиях они могут соприкасаться, да.

Но возможен метаисторический познавательный процесс, начисто свободный от элементов художественного творчества, а процессы художественного творчества, не имеющие никакого отношения к метаистории, — воистину бесчисленны.

Но и в области религий — до сих пор лишь немногочисленные разновидности их действительно обогащены метаисторическим познанием. Интересно отметить, что в русском языке слово «откровение» в буквальном смысле равнозначное греческому «апокалипсис», не помешайте, однако, этому последнему прочно обосноваться на русской почве. При этом за каждым из двух слов закрепился особый оттенок смысла. Значение слова «откровение» более обще: если не замыкаться в узко-конфессиональные рамки, придётся включить в число исторических случаев откровения и такие события, как видения и восхищения Мухаммеда и даже озарение Гаутамы Будды. Апокалипсис же — только один из видов откровения: откровение не областей универсальной гармонии, не сферы абсолютной полноты, даже не круга звёздных или иных космических иерархии; это — откровение о судьбах народов, царств, церквей, культур, человечества, и о тех иерархиях, кои в этих судьбах проявляют себя наиболее действенно и непосредственно: откровение метаистории. Апокалипсис не так универсален, как откровение вселенское, он иерархически ниже, он — о более частом, о расположенном ближе к нам. Но именно вследствие этого он отвечает на жгучие запросы судьбы, брошенной в горнило исторических катаклизмов. Он заполняет разрыв между постижением универсальной гармонии и диссонансами исторического и личного бытия.

Как известно, богаты таким откровением были лишь немногие народы и в немногие века: апокалиптика возникла среди еврейства, по-видимому, около VI века до Р. Х., захватила раннее христианство и дольше всего держалась в средневековом иудействе, питаясь жгучей атмосферой его мессианизма.

В христианстве же, в частности в восточном, апокалиптическая форма познания почти совершенно утратилась ещё в начале средних веков, внезапно вспыхнув тусклым, мечущимся, чадящим пламенем в первое столетие великого русского раскола. Здесь неуместно вдаваться в анализ сложных и многочисленных причин этого ущерба, но невозможно не отметить его связь с тем антиисторизмом религиозного сознания и мира религиозных чувств, который останавливает наше внимание ещё у византийских отцов церкви и прямо-таки поражает у представителей русского православия, даже у крупнейших, у таких, в праведности и в наивысшем духовном опыте которых не может быть сомнения.

Антиисторизм становится словно обязательным канонem религиозной мысли. Поучительно вспомнить о нерешённых конфликтах между официальным антиисторизмом русского церковного миропонимания и врождённой, иррациональной тягой к апокалиптической форме познания, к метаистории, в духовных и творческих биографиях светских православных писателей и мыслителей: Гоголя, Хомякова, Леонтьева, Достоевского, Владимира Соловьёва, Сергея Булгакова.

Но утешение в том, что прикосновение к метаистории может осуществляться и совсем иначе, чем это было разобрано здесь. Об этом свидетельствует тот элемент метаисторического опыта, который можно обнаружить зачастую под огромной толщей антиисторизма — кажущегося или подлинного. Чувство, замечательно переданное Тютчевым, когда личность ощущает себя участницей некоей исторической мистерии, участницей в творчестве и борьбе великих духовных — лучше сказать трансфизических сил, мощно проявляющихся в роковые минуты истории, — разве, не обладая этим чувством, могла бы совершить свой подвиг Жанна д'Арк? Разве мог бы св. Сергей Радонежский — по всему остальному своему мирочувствию настоящий анахорет и аскет — принять столь решительное, даже руководящее участие в политических бурях своего времени? Могли ли бы без этого чувства значительнейшие из пап век за веком пытаться осуществить идею всемирной иерократии, а Лойола — создать организацию, сознательно стремящуюся овладеть механизмом исторического становления человечества? Могли бы Гегель без этого чувства, одною работой разума, создать «Философию истории», а Гёте — II часть «Фауста»? Разве мыслимо было бы самосожжение раскольников, если бы ледяной ветер эсхатологического, метаисторического ужаса не остудил в них всякую привязанность к миру сему, уже подпавшему, как им казалось, власти антихриста? Смутное метаисторическое чувство, не просветлённое созерцанием и осмыслением, часто приводит к искажённым концепциям, к хаотическим деяниям. Не ощущаем ли мы некий метаисторический пафос в выпретенных тирадах вождей Французской революции, в доктринах утопического социализма, в культе Человечества Огюста Конта или в призывах ко всемирному обновлению путём разрушения всех устоев — призывах, принимающих в устах Бакунина тот оттенок, который заставляет вспоминать страстные воззвания иудейских пророков, хотя оратор XIX века вкладывает в эти воззвания новый, даже противоположный мирочувствию древних пророков, смысл? Подобных вопросов можно было бы задавать ещё сотни. Непременные же ответы на них приведут к двум важным выводам. Во-первых, станет ясно, что в



общем объёме как западной, так и русской культуры подспудный слой апокалиптических переживаний можно обнаружить в неисчислимом количестве явлений, даже чуждых ему на первый взгляд. А во-вторых — что метаисторическое чувство, метаисторический опыт, неосознанный, смутный, сумбурный, противоречивый, вплетается то и дело в творческий процесс: и художественный, и религиозный, и социальный, и даже политический.

Говоря о метаисторическом методе познания, я незаметно перешёл к трансфизическому: странствия и встречи, рассказанные мною, отчасти относятся уже к областям трансфизического познания. Ведь я говорил уже, что далеко не всегда можно чётко классифицировать эти явления; этого не нужно было бы вовсе, если бы не хотелось внести некоторую ясность в сложный и малоисследованный ряд проблем.

Может быть, некоторые выскажут удивление: почему вместо общепонятного слова «духовный» я так часто употребляю термин «трансфизический». Но слово «духовный» в его строгом смысле закономерно относить только к Богу и к монадам. Термин же «трансфизический» применяется ко всему, что обладает материальностью, но иной, чем наша, ко всем мирам, существующим в пространствах с другим числом координат и в других потоках времени. Под трансфизикой (в смысле объекта познания) я понимаю всю совокупность таких миров вне зависимости от процессов, там протекающих. Такие процессы, связанные со становлением Шаданакара, составляют метаисторию; связанные со становлением Вселенной — метаэволюцию; познание метаэволюции есть познание вселенское. Слово же «трансфизика» в смысле религиозного учения означает учение о структуре Шаданакара. Объекты метаисторического познания связаны с историей и культурой, трансфизического — с природой нашего слоя и других слоёв Шаданакара, а вселенского — со Вселенной. Таким образом, те явления, которые я назвал трансфизическими странствиями и встречами, могут быть, в зависимости от своего содержания, отнесены либо к метаисторическому роду познания, либо к трансфизическому, либо ко вселенскому.

После этой небольшой оговорки ничто уже не препятствует перейти к рассмотрению двух остальных родов религиозного познания, — но, разумеется, только в тех их вариантах, которые знакомы лично мне.

## Глава 2

### Немного о трансфизическом методе

Казалось бы, отношение людей к природе бесконечно разнообразно, индивидуально, а иногда и внутренне антиномично. Но если проследить эволюцию этого отношения во всеобщей истории культуры от изобретения письменности до наших дней, можно обнаружить несколько типов его, лучше сказать — фаз. Я позволю себе здесь весьма упрощённо, в самых общих чертах, наметить три-четыре очень важные фазы так, как они мне представляются. Это не подлинная картина того, как это отношение изменялось в культурах и веках, а лишь несколько грубых мазков, назначение которых скорее в том, чтобы ввести читателя внутрь проблемы, нежели в создании у него исторической перспективы по этому вопросу.

Наиболее ранняя фаза характеризуется тем, что космос кажется крайне миниатюрным, а Земля — единственным обитаемым миром. Зато этот мир, кроме нашей физической сфера, обладает рядом других слоёв, тоже материальных, но их материальность — другой природы и других свойств, чем наша; первое приближение к трансфизической действительности Шаданакара. Все эти слои, равно как и наш, лишены развития. Они сотворены раз и навсегда и обитаемы добрыми и злыми существами. Для этих существ человек — центр их интересов и, так сказать, яблоко раздора. Сам же человек не осознаёт Природу как нечто вне его лежащее и не противопоставляет себя ей. Отдельные проявления Природы возбуждают, конечно, те или иные чувства — страх, удовольствие, благоговение, но Природа как целое, по-видимому, почти не воспринимается или воспринимается в чисто эстетическом плане, да и то лишь отдельными людьми, высоко одарёнными художественным чувством. Поэтому редко можно найти среди памятников искусства этих эпох лирику природы и ещё реже — пейзажную живопись. К этой фазе относятся, в основном, культуры древности, а также некоторые более поздние культурные формы Востока. В религиозном отношении для первой фазы характерен политеизм.

Для второй фазы типичны те монотеистические системы, которые или игнорируют Природу, не проявляя к ней интереса, или враждебны ей. Рост личности приводит к представлению, что человек может совершенствоваться. Природа же не подаёт признаков развития, она косна и статична, она неморальна и неразумна, она во власти демонических сил,

и та часть человеческого существа, которая единственна Природе, требует либо порабощения её духом, либо порабощает его сама. Это — фаза природоборческая. Её прошли и христианские, и буддийские, и индуистские народы; на ней остановилось (пока совпадало со своей национальной религией) еврейство. Последнее однако, равно как и народы ислама, не столько стремилось к борьбе с Природой, сколько проходило мимо неё. Семитическое чувство Природы вообще отличалось скудостью. Давно уже отмечено, как бедны были этим чувством авторы библейских книг и Корана сравнительно с теми, кто создавал великие эпопеи Эллады и, особенно, Индии Семиты отдавали Природе неизбежную дань, осеняя религиозной санкцией воспроизведение рода, но в своей духовной философии и искусстве стремились игнорировать её с многозначительной последовательностью. Они сделали у себя фактически невозможной скульптуру и портретную живопись, потому что боялись обожествить человека и ненавидели обоготворение стихии. Как и другие элементы семитизма, эта природоборческая тенденция перешла с христианством в Европу, подавила природные культы германского и славянского язычества и господствовала до конца средних веков. Но и Востоку пришлось пройти через эту фазу, хотя и окрасив её по-своему. Аскетичность крайних проявлений брахманизма, борьба буддизма за высвобождение человеческого Я из-под власти Природы — всё это слишком общеизвестно, чтобы на нём останавливаться. Таким образом, если в первой фазе Природа как целое почти не осознавалась, а поэтизировалась и боготворилась в отдельных своих проявлениях, то во второй она была осознана как начало враждебное, покорное демоническим силам.

Третья фаза связана с эрой господства науки и с оскудением мира религиозных чувств. Унаследовав от христианства природоборческое начало, человек третьей фазы освобождает его от религиозного смысла, отказывается от преодоления природных элементов в собственном существе и обосновывает к природе строго утилитарный подход. Природа есть объект разумного (научного) исследования, — во-первых; она есть сонмище бездушных сил, которое надо покорить на потребу человека, — во-вторых. Физический кругозор неизмеримо расширяется; знание структуры и законов нашего слоя достигает головокружительной глубины; в этом — ценность третьей фазы. Но напрасно толкуют о любви к природе естествоиспытателей. Интеллектуальную любовь можно испытывать только к продукции интеллекта: можно умом любишь идею, мысль, теорию, научную дисциплину. Так можно любить физиологию, микробиологию, даже паразитологию, но не лимфу, не бактерии и не блох.

Любовь к природе может быть явлением физиологического порядка, может быть явлением порядка эстетического, наконец — порядка этического и религиозного. Явлением только одного порядка она не может быть: интеллектуального. Если отдельные специалисты-естественники и любят природу, то это чувство не имеет никакой связи ни с их специальностью, ни вообще с научной методикой познания Природы: это чувство или физиологического, или эстетического порядка.

Однако наибольшего противопоставления себя Природе цивилизованное (по крайней мере, западное) человечество достигло не в XX веке, как это могло бы показаться, но в XVII, XVIII и начале XIX века. Никогда моды не были так искусственны, как во времена пудренных париков. Никогда близлежащие к человеку участки Природы не уродовались так рассудочно и противоестественно, как в эпоху Версальского парка. Аристократа времён Людовиков так же немыслимо вообразить берущим солнечную ванну или гуляющим босиком, как нельзя представить себе спартанку времён греко-персидских войн — в корсете и в ботинках на высоких каблуках. Во всём этом проявлялось отношение к Природе, генетически коренившееся в христианском аскетизме, но в ходе развития заменившее духовный снобизм — снобизмом цивилизации, религиозную гордыню — гордыней рассудка, а ко всему, печатью рассудочности не отмеченному, не испытывавшее ничего, кроме насмешливого презрения.

Философия Руссо знаменует собою поворотный пункт. Но должно было протечь полтора столетия, мир должен был вступить в эпоху городов-гигантов, чтобы тоска по Природе стала понятна человеческому большинству. Поэты Озерной школы в Англии, Гёте и романтики в Германии, Пушкин и в особенности Лермонтов в России любили Природу высокой эстетической, а некоторые и пантеистической любовью. Возникла Барбизонская школа живописи, и к концу XIX века эстетическая любовь завоевала незыблемое право на бытие в культуре; в XX веке развилась и любовь физиологическая. Зрительное созерцание Природы стало уже недостаточным: появилась потребность ощущать стихии осязательно и моторно, всей поверхностью тела и движением мускулов. Этой потребности отвечали отчасти туризм и спорт; и, наконец, в 1-й половине нашего столетия пляж, с его физиологическим растворением человека в солнечном свете, тепле, воде, игре, плотно и прочно вошёл в повседневную жизнь. Тот самый пляж, который во времена Ронсара или Ватто показался бы непристойной выходкой сумасшедших, а в средние века был бы приравнен к шабашам ведьм на Лысой горе и, пожалуй, к чёрной мессе.

Если вообразить Торквемаду, внезапно перенесённого в качестве зрителя на пляж в Остенде или в Ялте, вряд ли можно усомниться в том, что мысль о немедленном аутодафе из тысяч этих бесстыдных еретиков сразу возникла бы в голове этого охранителя душ человеческих.

Может быть, ничто так наглядно не иллюстрирует уменьшение пропасти между человеком и стихиями за последний век, как эволюция одежды. Пальто и головные уборы, неотступно сопровождавшие «образованного» человека даже в летний полдень, стали употребляться лишь в меру климатической необходимости. 50 лет назад казалось неприличным выйти из дому без перчаток; теперь ими пользуются только в холода. Вместо сюртуков и крахмальных манишек, в которых бонтонно прели наши деды даже при тридцатиградусной жаре, жизнь стала завоевываться безрукавками с открытым воротом. Ноги, изнывавшие в высоких ботинках, почувствовали прелесть тапочек и босоножек. Женщины освободились от кошмара корсетов, летом вошли в обиход укороченные снизу и открытые сверху платья, а платья длинные уцелели только в качестве вечерних туалетов. Дети, чьи прадеды в соответствующем возрасте чинно расхаживали даже в июле в гимназических куртках и с фуражкой на голове, бегают босиком, в одних трусах, до черноты зацелованные солнцем. Человек мирового города, отдалившийся от Природы на такое расстояние, как ещё никогда, затосковал об её «жарких объятиях» и возвращается к ней, ещё почти бессознательно, инстинктивной телесной любовью, но в накопленном историческом опыте своей души неся семена нового, совершеннейшего отношения к Природе. Такова четвёртая фаза.

Итак, четыре фазы: языческая, аскетическая, научно-утилитарная и инстинктивно-физиологическая.

Резюмировать можно так. Ко 2-й половине нашего века в образованных и полуобразованных слоях нации, принадлежащих к романо-католической, германо-протестантской и российской культурным зонам, установилось два отношения к природе, пока друг другу почти не противоречащие. Одно — старое: утилитарно-хозяйственно-научное, совершенно чуждое любви. Оно сосредоточило взор на использовании заключённых в Природе ресурсов энергии и измеряет всё критерием материальной выгоды для человечества или, что ещё хуже, для некоторых из антагонистических его частей; с этой точки зрения оно одобряет также спорт, пляж, туризм. Сторонники этого отношения из интереса к тому, «как это устроено?», спокойно потрошат заживо кошек и собак, а для удовлетворения атавистического охотничьего инстинкта подкарауливают

зайцев и куропаток. Может быть, в первом случае имеется в виду и любовь к человечеству: ибо из Монбланов собачьих трупов извлекают, наконец, крупицу познания, например условных рефлексов; этим, как известно, просвещается алчущий ум и двигается вперёд медицина. Но любви к Природе здесь нет и тени. Больше того: такое отношение к Природе аморально, потому что никакие интересы живых существ, кроме человека, не принимаются во внимание, и потому, что на всю Природу устанавливается взгляд, как на дойную корову. К счастью, такое отношение начинает смягчаться более новым: бессознательно-эгоистически-физиологической любовью к Природе, иногда осложненной привнесением эстетики.

Но это развитие ещё не привело к осознанию того, что возможно и необходимо, сохраняя старые оттенки любви к природе, за исключением, конечно, аморально-утилитарного отношения к ней, безмерно обогатить это отношение смыслом этическим и религиозным. Не пантеистическим, когда человек только смутно ощущают присутствие в Природе некоей безличной, равномерно разлитой божественной силы, — нет. Это уже было, и первобытный праанимизм — доказательство того, что пантеистическое чувство цивилизованных людей есть не что иное, как трансформация древнейшего переживания арунгвильты-праны. Нет! перед нами — иное. Перед нами — отношение несравненно более нравственное и сознательное, более чёткое, развитое и изоцрѐнное, более жизнерадостное, более активное. Оно может быть основано только на том опыте, когда человек непосредственно ощущает сквозь Природу богатейшие и многообразнейшие миры стихий. Ощущает — то есть, вступает в общение, всё яснее понимая возможности счастливой и творческой с ними дружбы, прекрасного перед ними нашего долга и горькой, старинной нашей вины.

Правда, неясное чувство вины перед Природой, в особенности перед животными, стало сказываться. Возникли общества охраны животных, любовь к ним стала поощряться даже школьной педагогикой, а охрану зелёных насаждений взял на себя такой прославленный источник любви, как государство. К сожалению, исходимте оно при этом только из соображении хозяйственной пользы, а что касается охраны животных, то благотворители получили от учёных-естественников жестокий урок: после горячих дискуссий вивисекция явочным порядком заняла в науке место одного из ведущих методов. Оправдывая себя пользой для человечества, этот позор человечества накрепко обосновался в университетах, лабораториях и даже в той самой средней школе, которая учит ребят

любить кошечек и собачек.

Каково же отношение к Природе со стороны того мирозерцания, которое может лечь в основу учения Розы Мира?

Вопрос очень обширный; однако нетрудно, мне кажется, заключить, в чём будет состоять главная особенность этого отношения. Ведь восприятие Розы Мира отличается прежде всего ощущением прозрачности физического слоя, переживанием просвечивающих сквозь него слоёв трансфизики, горячей любовью к этому переживанию и его старательное выпестывание. Это ощущение охватывает сферу культуры и истории — и отливается в учение метаисторическое; оно обращается к Солнцу, Луне, звёздному небу — и делается основой учения вселенского, то есть метаэволюционного; оно охватывает земную природу — и находит своё выражение в учении о стихиях. Учение же о стихиях оказывается ветвью более общего учения о структуре Шаданакара — учения трансфизического.

Сколь ни были бы замутнены древние представления о стихиях (духах стихий в самом широком смысле) побочными примесями, внесёнными ограниченностью человеческого воображения и ума, сколько бы aberrации ни искажало в пантеонах политеистических религий образы природных божеств — в самой основе этих вер лежит истина.

Но, конечно, нам предстоит постигать и почитать миры стихий уже совсем иначе, чем удавалось это народам древности. Опыт последующих стадий обогатил нас, расширил знания и обострил мистическую мысль.

Главные отличия нашей веры в стихии от веры древних вот в чём.

Древние антропоморфизировали свои представления о стихийных божествах; мы больше не ощущаем потребности придавать стихиям человекоподобный образ.

Древние смотрели на эти миры как на нечто, раз навсегда данное и неизменное; мы отдаем себе отчёт в факте их эволюции, хотя и непохожей на эволюцию нашего органического мира, и будем стремиться постичь её пути.

Древние могли переживать связь с отдельными слоями стихий, но неотчётливо разграничивали их друг от друга, а о путях становления этих монад у них не возникло даже догадок. Собственно говоря, они не обладали ясным представлением о множественности этих слоёв. Для нас же множественность и взаимосвязь этих слоёв и пути становления обитающих там монад делаются объектом трансфизического познания.

Древние были не в состоянии нарисовать себе общую картину планетарного космоса; мы гораздо чётче дифференцируем каждый слой и

включаем его со всеми его специфическими особенностями в общую панораму Шаданакара.

Древние не могли примирить веру в эти миры с верой в Единого; для нас — между обеими этими верами нет никакого противоречия.

И надо добавить ещё, что свои духовные обязанности по отношению к стихиялям древние видели в умиловлении их и восхвалении — и только; мы же будем стремиться осуществлять нашу связь с ними в готовности участвовать в их играх и творчестве, в привлечении их благодетельствующего участия в нашу жизнь — возможные пути к этому будут показаны в соответствующих главах — и, наконец, в нашей собственной помощи светлым стихиялям и в работе над просветлением тёмных.

Такое отношение к Природе сочетает языческую жизнерадостность, монотеистическую одухотворённость и широту знаний научной эры, все эти элементы претворяя в высшее единство собственным духовным опытом рождающейся религии итога.

Распространено заблуждение, будто бы всякое религиозное мировоззрение враждебно жизни, подменяя все ценности нашего мира ценностями миров иных. Такое обобщение не более законно, чем, например, утверждение, будто бы искусство живописи уводит от мира, сделанное на том основании, что такова была отчасти живопись средних веков. Враждебно жизни религиозное кредо определённой фазы, да и то лишь в крайних его проявлениях. То же мироотношение, о котором я говорю, не уводит от мира, а учит любить его горячей и бескорыстной любовью. Оно не противопоставляет «миры иные» миру сему, но все их воспринимает, как великолепное целое, как ожерелье на груди Божества. Разве хрустальная лампада меньше нравится нам оттого, что она прозрачна? Разве мы будем меньше любить наш мир оттого, что сквозь него просвечивают другие? Для человека, чувствующего так, и эта жизнь хороша, и смерть может быть не врагом, а добрым вожатым, если достойно прожитая жизнь на земле предопределяет переход в иные — не менее, а ещё более насыщенные, богатые и прекрасные формы миров.

Но через что же, какими путями достигается человеком это сквозящее мировосприятие? Приходит ли оно независимо от наших усилий воли, как счастливый дар судьбы, или может быть нами сознательно воспитано в самих себе и в целых поколениях?

Пока объединённые усилия множества людей ещё не направлены на такое воспитание, до тех пор радость сквозящего мировосприятия остаётся, действительно, милостью Божией и для получения её мы почти не



затрачиваем сил. Долгим трудом только наших невидимых друзей сердца, носителей Провиденциальной воли, раскрываются в ком-нибудь из нас органы такого восприятия, а чаще, гораздо чаще приоткрываются на узкую, то и дело снова притворяющуюся щель. Но и такой приоткрытости достаточно, чтобы уже началось сквозение физического мира и чтобы осчастливленный им стал похож на прозревающего слепого.

Вызвать этот процесс совершенно произвольно — в себе или в другом — вряд ли возможно, по крайней мере теперь. Но можно работать в этом направлении так, чтобы в каждом из нас или наших детей этот труд шёл навстречу труду Провиденциальных сил; чтобы в психофизических пластах как бы прорывался туннель одновременно с двух сторон: нами — и друзьями нашего сердца.

Колоссальная задача такой педагогики сейчас может быть только предсказана как одна из задач будущей культурной эры. Требуется ещё огромная предварительная работа по изучению и систематизации опыта. На этом я подробнее остановлюсь в одной из последних частей книги. Сейчас же сообщу лишь несколько необходимых сведений о двух-трёх возможных вариантах этой методики. Варианты эти и многие другие, здесь не оговоренные, могут, разумеется, быть совмещены и помогать один другому.

Есть одно предварительное условие: без него никакие усилия в этом направлении ни к чему бы не привели. Это — собственная готовность человека добиваться сквозения ему того хрустального сосуда, который мы называем Природой. Значит, процесс этот доступен либо для тех, кто сам допускает возможность существования миров стихий (без этого можно желать не сквозения физического слоя, а только, наоборот, чтобы из этого ничего не вышло, дабы мой научный скепсис восторжествовал), либо для детей, если это доверие к стихиям и любовь к Природе с ранних лет укрепляются старшими. Естественно, что тот, кто заранее отрицает бытие этих миров, тот и сам не станет тратить время и силы на подобные опыты. И если бы даже, в качестве эксперимента, он вздумал сделать несколько усилий, он бы ничего не достиг, потому что его собственное недоверие постоянно распространялось бы на полученные результаты, он приписывал бы эти результаты самовнушению или чему-нибудь в этом роде. Шаг вперёд — шаг назад. Толчея на месте.

Итак, если требуемое внутреннее условие налицо, надо озаботиться созданием необходимых условий внешних. Легко догадаться, что речь идёт о таких периодах (месяца полтора, два в году), когда современный человек, освободясь от работы ради хлеба насущного, может позволить себе уединиться среди природы. Мне думается, летом условия благоприятнее,

потому что именно летом, при высоком стоянии солнца, развитии растительности и обнажении земной поверхности и водных пространств, активность стихий умножается во много раз за счёт участия новых и новых слоёв их. Не говорю уж о том, что обычно именно летом горожане уезжают в отпуска, то есть хоть на месяц получают возможность общения с Природой. Хотя, надо сказать прямо, за месяц далеко не продвинешься, а в двухнедельные отпуска предпринимать подобные попытки и вовсе бесполезно. Оговорюсь также, что некоторым из нас зимняя природа индивидуально ближе, и в таких случаях, конечно, следует считаться с этой предрасположенностью.

Может быть, от меня ждёт кто-нибудь точных указаний, вставать тогда-то, ложиться тогда-то, придерживаться такого-то распорядка дня. Таких мелочных рекомендаций я предпочёл бы избегать. В чём задача? В том, чтобы войти возможно глубже в Природу, в жизнь стихий, и войти притом не как разрушителю и не как любознательному испытателю, а как сыну, после многолетних скитаний на чужбине возвращающемуся в отчий дом. Для решения такой задачи — одной индивидуальности будет естественнее и полезнее одно, для другой — другое. Я хотел бы только рассказать, какие именно условия помогали мне лично.

Выбрав на это время некоторую, как теперь говорят, «базу» в красивом и, разумеется, малолюдном месте, следовало прежде всего избегать засорения души и ума всякими мелочными житейскими заботами. Нужно было ослабить связь с большим городом, реже пользоваться радио и постараться возможно долее обходиться без газет, если, конечно, мир не находился в состоянии крайне тревожного неравновесия. Быт свой необходимо было упростить, одежду сделать возможно легче, а о существовании обуви забыть совсем. Купаться два-три раза в день в реке, в озере или в море, найдя для этого такое место, где можно оставаться на это время с Природой один на один. Читать такие книги, которые способствовали бы мирному, доброжелательному настроению и временами помогали бы мыслям вживаться в глубь Природы; естественно-научная литература не может быть полезна в такие дни, так как настраивает на совершенно другой лад: ещё более уводят в сторону занятия точными науками и техникой. Лучше — хорошие стихи, некоторые классики художественной литературы: Тургенев, Диккенс, Эркман-Шатриан, Тагор (но, конечно, не такие, как Стендаль, Золя, Свифт или Щедрин). Хорошо перечитывать в это время классические произведения детской литературы, вроде «Тома Сойера» или «Детей капитана Гранта», и литературы о детях. Да и частое общение, игры и разговоры с детьми в это время могут только

помочь делу. Быть может, некоторых я спугну одним указанием, но, к сожалению, оно совершенно твёрдо: сведение к минимуму мясной и рыбной пищи и отказ от обильного употребления вина. И — требование совершенно безусловное: чтобы ни охоты, ни рыбной ловли не было и в помине.

В такой атмосфере начинались путешествия: словами «прогулки» или «экскурсии» их называть не хочется. Это были уходы на целый день, от зари до заката, или на три-четыре дня вместе с ночевками — в леса, в блуждания по проселочным дорогам и полевым стежкам, через луга, лесничества, деревни, фермы, через медленные речные перевозки, со случайными встречами и непринуждёнными беседами, с ночлегами — то у костра над рекой, то на поляне, то в стогу, то где-нибудь на деревенском сеновале. Близости к машинам, разговоров на технические темы и чтения подобной литературы я всячески избегал, разве что пользуясь иногда механическим транспортом. Потом — возвращение на свою уединённую «базу», несколько дней отдыха и слушания крика петухов, шелеста вершин да голосов ребят и хозяев, чтение спокойных, глубоких и частых книг — и снова уход в такое вот бродяжничество. Этот образ жизни может вызвать иной раз недоумения, подшучивание; на понимание рассчитывать не нужно, а люди, занятые на сельских работах, даже склонны будут видеть в таком чуде празднующегося лентяя: большинство крестьян пока что умеют считать делом только свою собственную работу. Это не должно смущать. Надо уметь пренебрегать чужим мнением, если чувствуешь собственную правоту.

Но всё это — указания о внешнем. Можно всё лето до изнеможения слоняться по лесам и полям, а вернуться ни с чем. Внешние условия должны быть дополнены некоторыми усилиями ума и чувства. В чём они заключаются?

В том, что человек постепенно приучается воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все голоса и движения видимого мира как живое, глубоко осмысленное и к нему дружественное. Будет усиливаться, постепенно охватывая все ночи и дни, чувство, неизменно царящее над сменой других мыслей и чувств: как будто, откидываясь навзничь, опускаешь голову всё ниже и ниже в мерцающую тихим светом, укачивающую глубь — извечную, любящую, родимую. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя будет поглощать малейший всплеск суеты; хорошо в такие дни лежать, не считая времени, на речном берегу и бесцельно следить прохладную воду, сверкающую на солнце. Или, лежа где-нибудь среди старого бора, слушать органнй шум вершин да

постукивание дятла. Надо доверять тому, что стихииали Лиурны уже радуются тебе и заговорят с твоим телом, как только оно опустится в текучую плоть их; что стихииали Фальторы или Арашамфа уже поют тебе песни шелестящей листвой, жужжанием пчел и тёплыми воздушными дуновениями. Когда по заливным лугам, пахнущим свежескошенным сеном, будешь возвращаться на закате домой с далёкой прогулки, поднимаясь в нагретый воздух пригорков и опускаясь в прохладные низины, а тихий туман начнёт заливать всё, кроме вершук стогов, — хорошо снять рубашку и пусть ласкают горячее тело этим туманом те, кто творит его над засыпающими лугами.

Можно было бы указать ещё сотни таких минут — от загорания на песке до собирания ягод — полудействия, полусозерцания, — но о них догадается и без указаний тот, кто вступит на этот легкий и светлый путь. Ведь такой уклад возможен не только в Средней России, но и в природном ландшафте любой другой страны, от Норвегии до Эфиопии, от Португалии до Филиппин и Аргентины. Соответственно будут меняться только детали, но ведь они могут меняться и в пределах одного ландшафта сообразно личным наклонностям. Главное — создать внутри себя этот свет и лёгкость и повторять подобные периоды, по возможности, каждый год.

— Что за нелепость, — подумают иные. — Как будто мы не располагаем исчерпывающими данными, отчего и как возникают туманы, ветер, роса, не знаем механики образования дождя, рек, растительности? И такие сказки преподносятся с серьёзным видом в середине XX столетия! Недаром автор намекает на то, что ему легче столкнуться с детьми: зрелому человеку не пристало слушать такие басни.

Они заблуждаются, эти абсолютисты научного метода познания: ни малейшего противоречия науке здесь не имеется. Подчеркиваю: науке, объективной и серьёзной, а не философской доктрине материализма. Ведь если бы существовало какое-нибудь разумное микроскопическое существо, изучающее мой организм и само в него входящее, оно имело бы основание сказать, в ту минуту, как я шевельнул рукой, что эта глыба вещества, состоящая из таких-то и таких-то молекул, дернулась оттого, что сократились некоторые её части — мускулы. Сократились же они потому, что в моторных центрах произошла такая-то и такая-то реакция, а реакция была вызвана такими-то и такими-то причинами химического порядка. Вот и всё! Ясно как день. И уж, конечно, такой толкователь возмущился бы, если бы ему вздумали указать, что «глыба» шевельнулась потому, что таково было желание её обладателя, свободное, осознанное желание, а мускулы, нервы, химические процессы и прочее — только передаточный механизм

его воли.

Изучением этого механизма занимается физиология. Это не мешает существованию психологии — науки о том сознании, которое этим механизмом пользуется.

Изучением стихий природы как механизмов занимаются метеорология, аэродинамика, гидрология и ряд других наук. Это не должно и не будет мешать со временем возникновению учения о стихиях, о тех сознаниях, которые пользуются этими механизмами.

Лично у меня всё началось в знойный летний день 1929 года вблизи городка Триполье на Украине. Счастливо усталый от многовёрстной прогулки по открытым полям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен: передо мной, не шевелясь под низвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечников. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего, живого счастья. Я ступил на самую кромку поля и, с колотящимся сердцем, прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой, на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чьё ликование я чувствовал над этим полем. Я чувствовал странное: я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и с гордостью вводят меня, как дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир. Я осторожно ступил шага два в гущу растений и, закрыв глаза, слушал их прикосновения, их еле слышно позванивающий шорох и пылающий повсюду божественный зной. С этого началось. Правда, я вспоминаю переживания этого рода, относящиеся к более ранним годам, отроческим и юношеским, но тогда они не были ещё такими захватывающими. Но и раньше, и позже — не каждый год, но иногда по нескольку раз за одно лето — случались среди природы, обязательно наедине, минуты странной, опьяняющей радости. Они являлись, по большей части, тогда, когда за плечами оставались уже сотни вёрст, пройденных пешком, и когда я неожиданно попадаю в незнакомые мне места, отмеченные пышностью и буйством свободно развивающейся растительности. Весь, с головы до ног, охваченный восторгом и трепетом, я продирался, не помня ни о чём, сквозь дикие заросли, сквозь нагретые солнцем болота, сквозь хлещущие кусты и наконец бросался в траву, чтобы осязать её всем телом. Главное было в том, что я в эти минуты явственно осязал, как любят меня и льются сквозь меня невидимые существа, чьё

бытие таинственно связано с этой растительностью, водой, почвой.

В последующие годы я проводил лето, по большей части, в области Брянских лесов, и там произошло со мною многое, воспоминание о чём составляет отраду моей жизни, но особенно люблю я вспоминать свои встречи со стихиями Лиурны — теми, кого я тогда называл мысленно душами рек.

Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по Брянским лесам. Стояла засуха. Волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы. В продолжение многих часов довелось мне брести по горячей песчаной дороге, не встречая ни источника, ни ручья. Зной, душный как в оранжерее, вызывают томительную жажду. Со мной была подробная карта этого района, и я знал, что вскоре мне должна попасться маленькая речушка, — такая маленькая, что даже на этой карте над нею не обозначалось никакого имени. И в самом деле: характер леса начал меняться, сосны уступили место кленам и ольхе. Вдруг раскалённая, обжигавшая ноги дорога заскользила вниз, впереди зазеленела поемная луговина, и, обогнув купу деревьев, я увидел в десятке метров перед собой излучину долгожданной реки: дорога пересекала её вброд. Что за жемчужина мироздания, что за прелестное Божье дитя смеялось мне навстречу! Шириной в несколько шагов, вся перекрытая низко нависавшими ветвями старых раkit и ольшаника, она струилась точно по зелёным пещерам, играя мириадами солнечных бликов и еле слышно журча.

Швырнув на траву тяжёлый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошёл в воду по грудь. И когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся весёлостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, — вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пребывания моего тела в её теле, а моей души — в её душе, я лёг, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце моё так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времён. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купанием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова.

Быть может, кто-нибудь сказал бы, что и он жила в лесах и купался в реках, и он хаживал по лесам и полям, и он, стоя на тетеревином току, испытывал состояние единения с природой, и, однако же, ничего, схожего со стихиями, не ощутил. Если так скажет охотник, удивляться будет нечему: в этом разрушителе природы стихии видят врага и осквернителя, и нет более верного способа сделать невозможной их близость, как захватить с собой в лес охотничье ружьё. Если же это скажет не охотник — пусть он со вниманием припомнит недели своей жизни среди природы и сам обнаружит свои нарушения тех условий, о которых я с самого начала предупреждал.

Нельзя, конечно, заранее определить длительность этапов этого познания: сроки зависят от многих обстоятельств, объективных и личных. Но рано или поздно наступит первый день: внезапно ощутишь всю Природу так, как если бы это был первый день творения и земля блаженствовала в райской красоте. Это может случиться ночью у костра или днём среди ржаного поля, вечером на тёплых ступеньках крылечка или утром на росистом лугу, но содержание этого часа будет везде одно и то же: головокружительная радость первого космического прозрения. Нет, это ещё не означает, что внутреннее зрение раскрылось: ничего, кроме привычного ландшафта, ещё не увидишь, но его многослойность и насыщенность духом переживешь всем существом. Тому, кто прошёл сквозь это первое прозрение, стихии станут ещё доступнее; он будет всё чаще слышать какими-то, не имеющими названия в языке, способностями души повседневную близость этих дивных существ. Но суть «первого прозрения» уже в другом, высшем. Оно относится не к трансфизическому познанию только, но и к тому, для которого мне не удалось найти иного названия, кроме старинного слова «вселенский». В специальной литературе этот род состояний освещался многими авторами. Уильям Джемс называет его прорывом космического сознания. По-видимому, оно может обладать весьма различной окраской у различных людей, но переживание космической гармонии остаётся его сутью. Методика, которую я описал в этой главе, способна, в известной мере, приблизить эту минуту, но не следует надеяться, что такие радости станут частыми гостями дома нашей души. С другой стороны, состояние это может охватить душу и безо всякой сознательной подготовки: такой случай описывает, например, в своих «Воспоминаниях» Рабиндранат Тагор.

Легко может статься, что человек, не раз испытавший среди Природы чувство всеобщей гармонии, подумает, что это и есть то, о чём я говорю. О, нет. Прорыв космического сознания — событие колоссального

субъективного значения, каких в жизни одного человека может быть весьма ограниченное число. Оно приходит внезапно. Это — не настроение, не наслаждение, не счастье, это даже не потрясающая радость, — это нечто большее. Потрясающее действие будет оказывать не оно само, а скорее воспоминание о нём; само же оно исполнено такого блаженства, что правильнее говорить в связи с ним не о потрясении, а о просветлении.

Состояние это заключается в том, что Вселенная — не Земля только, а именно Вселенная — открывается как бы в своём высшем плане, в той божественной духовности, которая её пронизывает и объемлет, снимая все мучительные вопросы о страдании, борьбе и зле.

В моей жизни это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек — подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника ещё и дорожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубахи и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы — не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто — друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы.

Необозримый, как море, сосновый бор сменился чернолесьем, как всегда бывает в Брянских лесах вдоль пойм речек. Высились вековые дубы, клены, ясени, удивлявшие своей стройностью и вышиной осины, похожие на пальмы, с кронами на головокружительной высоте; у самой воды серебрились округлые шатры добродушных ракит, нависавших над заводями. Лес подступал к реке точно с любовной осторожностью: отдельными купами, перелесками, лужайками. Ни деревень, ни лесничеств... Пустынность нарушалась только нашей едва заметной тропкой, оставленной косарями, да закруглёнными конусами стогов, высившихся кое-где среди полян в ожидании зимы, когда их перевезут в Чухраи или в Непорень по санной дороге.

Плёсов мы достигли в предвечерние часы жаркого, безоблачного дня. Долго купались, потом собрали хворост и, разведя костёр в двух метрах от тихо струившейся реки, под сенью трёх старых ракит, стотовили немудрящий ужин. Темнело. Из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы, товарищи один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, а я



остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой.

И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвою развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось всё, что было на земле, и всё, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и всё, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди — народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой — действительно всё было во мне тою ночью, и я был во всём. Я лежал с закрытыми глазами. И прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звёзды, большие и цветущие, тоже плыли со всей мировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнца не виделось, было так, словно и оно тоже текло где-то вблизи от моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною не виданным, пронизано было всё это, — всё, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью.

Пытаясь выразить словами переживания, подобные этому, видишь отчётливее, чем когда бы то ни было, нищету языка. Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы передать другим то, что совершилось со мною в ту ночь. И знаю, что любая моя попытка, в том числе и вот эта, никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины.

Позднее я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все те внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в последующие годы я ночевал на том же точно месте, в такие же ночи. Всё было напрасно. Оно пришло ко мне опять столь же внезапно лишь двадцать лет спустя, и не в лунную ночь на лесной реке, а в тюремной камере.

О, это ещё только начало. Это ещё не то просветление, после которого человек становится как бы другим, новым — просветлённым в том высшем смысле, какой влагается в это слово великими народами Востока. То

просветление — священнейшее и таинственнейшее: это раскрытие духовных очей.

Большого счастья, чем полное раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, на Земле нет. Счастье глухого и слепорождённого, внезапно, в зрелые годы пережившего раскрытие телесного зрения и слуха, — лишь тусклая тень.

Об этом я могу только повторять, если можно так выразиться, понаслышке. Есть замечательная страница в поэме Эдвина Арнольда «Свет Азии», где описывается такое состояние, сделавшее одного искателя тем, кто ныне известен всему человечеству как Гаутама Будда.

Вот это описание.

Речь идёт о вступлении Будды в состояние «абхиджны» — широкое прозрение «в сферы, не имеющие названий, в бесчисленные системы миров и солнц,двигающихся с поразительной правильностью, мириады за мириадами... где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью целого — одним из серебристых островов на сапфировом море, вздымающемся в бесконечном стремлении к переменам. Он видел Владык Света, которые держат миры невидимыми узами, а сами покорно движутся вокруг более могущественных светил, переходя от звезды к звезде и бросая непрерывное сияние жизни из вечно меняющихся центров до самых последних пределов пространства. Всё это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд калып и махакалып<sup>[6]</sup> — до предела времён, которого ни один человек не может охватить разумом. Сакуалу за сакуалой проницал он в глубину и высоту и прозревал за пределами всех сфер, всех форм, всех светил, всякого источника движений. То незыблемое и безмолвно действующее Великое, согласно Которому тьма должна развиваться в свет, смерть — в жизнь, пустота — в полноту, бесформенность — в форму, добро — в нечто лучшее, лучшее — в совершеннейшее; это невысказываемое Великое сильнее самих богов: Оно неизменно, невыразимо, первоверховно. Это — Власть созидающая, разрушающая и воссозидающая, направляющая всё и вся к добру, красоте и истине».

Что скажешь на это? Надеяться даже в самом потаенном уголке души на то, что и тебя осенит когда-нибудь подобный час, было бы не гордыней, а простым ребячеством. И тем не менее, утешение в том, что каждая монада человеческая, без малейших исключений, рано или поздно, пусть даже после почти бесконечных времён, может быть, уже совсем в другой, не человеческой форме, в другом мире, достигнет этого состояния, и превзойдёт его, и оставит его за собой.

А наше дело — делиться с другими тем лучшим, что мы имеем. Моё лучшее — то, что я пережил на путях трансфизического и метаисторического познания. Затем и пишется эта книга. В двух последних главах я показывал, как сумел, важнейшие вехи своего внутреннего пути. Всё дальнейшее будет изложением того, что на этом пути было понято о Боге, об иных мирах и о человечестве. Постараюсь больше не возвращаться к вопросу о том, как это было понято; настало время говорить о том, что понято.

## Глава 3

### Исходная концепция

#### 1. Многослойность

Наш физический слой — понятие, равнозначное понятию астрономической Вселенной, — характеризуется, как известно, тем, что его Пространство обладает тремя координатами, а Время, в котором он существует, — одной. Этот физический слой в терминологии Розы Мира носит наименование Энроф.

На арене современной науки и на арене современной философии всё ещё длится спор о бесконечности или конечности Энрофа в пространстве, о его вечности или ограниченности во времени, а также о том, охватывается ли Энрофом всё мироздание, исчерпываются ли его формами все формы бытия.

Открытие понятия антивещества; возникновение из физической пустоты и даже искусственное извлечение из неё физически материальных частиц, дотоле пребывавших в мире отрицательной энергии; экспериментальное подтверждение теории, указывающей, что физическая пустота Энрофа заполнена океаном частиц другой материальности, — все эти факты суть вехи пути, по которому медлительная наука следует от представлений классического материализма к таким, которые весьма отличны и от них, и от позиций старой идеалистической философии. Очень вероятно, что путаница, которую вносят в эту проблематику сторонники материалистической философии, утверждая, будто бы все её противники лишь повторяют зады идеализма, — один из приёмов в той последней битве, которую даёт материалистическое сознание прежде чем съехать, как говорится, на тормозах, сдавая одну свою позицию за другой и уверяя в то же время, будто бы именно это предвиделось и давно утверждалось классиками материализма. В частности, очень любопытно будет наблюдать, к каким ухищрениям прибегнет эта философия в недалёком будущем, когда ей придётся, под давлением фактов, вводить в круг своих понятий понятие антиматерии.

Первичность материи по отношению к сознанию, принципиальная познаваемость всей Вселенной и в то же время её бесконечность и вечность — эти наивные тезисы материализма, выработанные на минувших стадиях

науки, могут ещё удерживаться в обращении лишь путём напряжённых натяжек, а главное — благодаря вмешательству сил, имеющих отношение не столько к философии, сколько к полицейской системе. Однако многие тезисы классических религий не выдерживают экзамена современной науки в такой же мере. Новое же познание, метаисторическое и трансфизическое, не покрывая области научных знаний, по существу не противоречит науке ни в чём, а в некоторых вопросах предвосхищает её выводы.

Понятие многослойности Вселенной лежит в основе концепции Розы Мира. Под каждым слоем понимается при этом такой материальный мир, материальность которого отлична от других либо числом пространственных, либо числом временных координат. Рядом с нами, сосуществуют, например, смежные слои, Пространство которых измеряется по тем же трём координатам, но Время которых имеет не одно, как у нас, а несколько измерений. Это значит, что в таких слоях Время течёт несколькими параллельными потоками различных темпов. Событие в таком слое происходит синхронически во всех его временных измерениях, но центр события находится в этом или в двух из них. Ощутительно представить себе это, конечно, нелегко. Обитатели такого слоя, хотя действуют преимущественно в одном или двух временных измерениях, но существуют во всех них и сознают их все. Эта синхроничность бытия даёт особое ощущение полноты жизни, неизвестное у нас. Немного опережая ход изложения, добавлю сейчас, что большое число временных координат в сочетании с минимальным (одна, две) числом пространственных становится для обитателей таких слоёв, напротив, источником страдания. Это схоже с сознанием ограниченности своих средств, со жгучим чувством бессильной злобы, с воспоминанием о заманчивых возможностях, которыми субъект не в состоянии воспользоваться. Подобное состояние в Энрофе некоторые из нас назвали бы «кусанием локтей» или мукою Тантала.

За редкими исключениями, вроде Энрофа, число временных измерений превышает, и намного, число пространственных. Слоёв, имеющих свыше шести пространственных измерений, в Шаданакаре, кажется, нет. Число же временных достигает в высших из этих слоёв брамфатуры огромной цифры — двести тридцать шесть.

Неправильно было бы думать, перенося специфические особенности Энрофа на другие слои, будто все преграды, отделяющие слой от слоя, непременно так же малопроницаемы, как преграды, отделяющие Энроф от слоёв других измерений. Встречаются, правда, преграды, ограничивающие

один слой, и ещё менее проницаемые, ещё плотнее изолирующие его от остальных. Но таких мало. Гораздо больше таких групп слоёв, внутри которых переход из слоя в слой требует от существа не смерти или труднейшей материальной трансформы, как у нас, но лишь особых внутренних состояний. Есть и такие, откуда переход в соседние обусловлен не большим количеством усилий, чем, скажем, переход из одного государства земного Энрофа в другое. Несколько таких слоёв складываются в систему. Каждую такую систему слоёв или ряд миров я привык мысленно называть индийским термином сакуала. Впрочем, наряду с сакуалами встречаются и слои-одиночки, подобно Энрофу.

Слои и целые сакуалы разнятся между собой также и характером протяжённости своего пространства. Отнюдь не все они обладают протяжённостью космической, какой обладает Энроф. Как ни трудно это вообразить, но пространство многих из них гаснет на границах Солнечной системы. Другие ещё локальнее: они как бы заключены в пределах нашей планеты. Немало даже таких, которые связаны не с планетой в целом, а лишь с каким-нибудь из её физических пластов или участков. Ничего, схожего с небом, в таких слоях, понятное дело, нет.

Будучи связаны между собой общими метаисторическими процессами, обладая — в большинстве — как бы парой враждующих духовных полюсов, все слои каждого небесного тела составляют огромную, тесно взаимодействующую систему. Я уже говорил, что такие системы называются брамфатурами. Общее число слоёв в некоторых из них ограничивается единицами, а других — насчитывает несколько сот. Кроме Шаданакара, общее число слоёв которого ныне двести сорок два, в Солнечной системе существуют теперь брамфатуры Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а также некоторых спутников больших планет. Брамфатура Венеры находится в зародыше. Остальные планеты и спутники столь же мертвы в других слоях своих, как и в Энрофе. Это — руины погибших брамфатур, покинутых всеми монадами, либо не являвшиеся брамфатурами никогда.

Многослойные системы материальностей, до некоторой степени аналогичные брамфатурам, но несравненно более колоссальные, объедают некоторые звёздные группы, например — большинство звёзд Ориона или систему двойной, со многими планетами, звезды Антарес: ещё колоссальнее системы галактик и всей Вселенной. Это — макробрамфатуры. Известно, что есть макробрамфатуры с огромным числом разноматериальных слоёв — до восьми тысяч. Ничего, схожего с крайней материальной разрежённостью, так называемой «пустотой»

Энрофа, в макробрамфатурах нет.

Легко понять, что макробрамфатуры находятся вне досягаемости даже для величайших из человеческих душ, ныне обитающих в Энрофе. Иначе, чем в отдалённых предчувствиях, никаких конкретных сведений о них не может непосредственно почерпнуть никто. Такие сведения иногда достигают до нас от высоких духов Шаданакара, неизмеримо более великих, чем мы, через посредство невидимых друзей нашего сердца. Но и такие сообщения крайне трудны для нашего восприятия. Так, мне было почти невозможно понять странную и скорбную весть о том, что в макробрамфатурах нашей Галактики существует материальный слой, где есть пространство, но нет времён, — нечто вроде дыры во Времени, притом внутри себя обладающей, однако, движением. Это — страдалище великих демонов, царство тёмной вечности, но не в смысле бесконечно длящегося Времени, а в смысле отсутствия всяких времён.<sup>[7]</sup> Такая вечность не абсолютна, ибо Время может возникнуть и там, и именно в этом — одна из задач огромных циклов космического становления. Потому что только возникновение времён сделает возможным освобождение из этого галактического ада великих страдальцев, заключённых там.

Молекулы и некоторые виды атомов входят в состав крошечных систем — микробрамфатур, причём существование некоторых из них во времени исчезающе мало. Однако это довольно сложные миры, и не следует упускать из виду, что элементарные частицы — живые существа, а иные из них обладают свободой воли и вполне разумны. Но общение с ними, а тем более личное, непосредственное проникновение в микробрамфатуры фактически невозможно. Ни в одном из слоёв Шаданакара нет в настоящее время ни одного существа, на это способного: это пока превышает силы даже Планетарного Логоса. Только в макробрамфатурах Галактики действуют духи столь невообразимой мощи и величия, что они способны одновременно спускаться во множество микробрамфатур: для этого такой дух должен, сохраняя своё единство, одновременно воплотиться в миллионах этих мельчайших миров, проявляясь в каждом из них со всею полнотой, хотя и в ничтожно малые единицы времени.

Я всё время говорю о, так или иначе, материальных слоях, ибо духовных слоёв как слоёв не существует. Различие между духом и материей скорее стадияльное, чем принципиальное, хотя дух творится только Богом, эманурует из Него, а материальности создаются монадами.

Дух в своём первичном состоянии, не облачённый ни в какие покровы, которые мы могли бы назвать материальными, представляет Собою

субстанцию, которую мы не точно, а лишь в порядке первого приближения можем сравнить с тончайшей энергией. Духовны только Бог и монады — бесчисленное множество богорождённых и богосотворённых высших «Я», неделимых духовных единиц; они разнствуют между собой степенью своей врождённой потенциальной масштабности, неисчерпаемым многообразием своих материальных облачений и дорог своей жизни. Высоко поднявшаяся монада может быть там, здесь, во многих точках мироздания одновременно, но она не вездесуща. Дух же Божий воистину вездесущ — Он пребывает даже там, где нет никаких монад, например, в покинутых всеми монадами руинах брамфатур. Без Него не может существовать ничто, даже то, что мы называем мёртвой физической материей. И если бы Дух Божий покинул её, она перестала бы быть — не в смысле перехода в другую форму материи или в энергию, но совершенно.

## **2. Происхождение зла. — Мировые законы. — Карма**

Если миф о восстании и падении Люцифера рассматривать в применении к духовной истории Шаданакара, он потеряет смысл. Никаких событий в метаистории нашей планеты, которые могли бы быть отражены в событиях этого мифа, не совершалось никогда. Совершилось однажды, весьма давно, нечто иное, о чём воспоминания, хотя и очень искажённые, сохранились в некоторых других мифах, например — в сказании о бунте титанов. Об этом, впрочем, предстоит говорить подробнее в другой связи. Что же до легенд, связанных с восстанием и падением Люцифера, то эти события совершились некогда в плане вселенском, в превышающих все категории нашего разума масштабах той макробрамфатуры, которая объемлет Вселенную. Совершилось то, что, будучи переведено духовидцами древности в плоскость эпохальных человеческих понятий, отлилось в этот миф. Эпохальные понятия отмерли, масштабы наших представлений расширились неизмеримо, и если теперь мы хотим уловить в этом мифе бессмертное и истинное семя идеи, мы должны пренебречь всем эпохальным, внесённым в него, и остановиться лишь на одном центральном факте, им утверждаемом.

Естественно, что сознание даже мудрейших в те времена отстояло от теперешних представлений об объёмах и структуре Вселенной так далеко, что ведение вселенского, просачивавшееся в их сознание благодаря усилиям невидимых друзей их сердца, сдавливалось, стискивалось в тесном объёме их эмпирического опыта, их сильного, но не обогащённого



и не истончившегося ума. Впрочем, мало чем легче и задачи того, кто ныне пытается выразить в человеческих понятиях и словах хоть отзвук вселенской тайны о восстании так называемого Денницы. Такая попытка состояла бы из двух стадий: в выискивании в океане наших понятий именно тех, которые ближе других к отражению этой запредельной реальности — во-первых; в выискивании в океане нашего языка таких словосочетаний, которые в состоянии хоть сколько-нибудь отразить, в свою очередь, эти ускользающие понятия — во-вторых. Но такая работа связана с органическим ростом личности и её вселенского опыта. Её нельзя форсировать по собственной прихоти. Я чувствую себя находящимся лишь в начале этой работы. Поэтому говорить что-либо о вселенских событиях этого порядка я не могу, кроме обнажённой констатации некогда совершившегося факта: в незапамятной глубине времён некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером или Денницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свобод выбора, отступил от своего Творца ради создания другой вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых. Создание ими другой вселенной началось в пределах этой. Они пытались создавать миры, но эти миры оказывались непрочны и рушились, потому что, восстав, богоотступнические монады этим самым отвергли любовь — единственный объединяющий, цементирующий принцип.

Вселенский план Провидения ведёт множество монад к высшему единству. По мере восхождения их по ступеням бытия формы их объединений совершенствуются, любовь к Богу и между собой сближает их всё более. И когда каждая из них погружается в Солнце Мира и со-творит Ему — осуществляется единство совершеннейшее: слияние с Богом без утраты своего неповторимого Я.

Вселенский замысел Люцифера противоположен. Каждая из примкнувших к нему монад — только временная его союзница и потенциальная его жертва. Каждая демоническая монада, от величайших до самых малых, лелеет мечту — стать владыкою Вселенной: гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех — именно она. Ею руководит своего рода «категорический императив», выражаемый до некоторой степени формулой: есмь Я и есть не-Я; всё не-Я должно стать мною; другими словами, всё и все должны быть поглощены этим единственным, абсолютно самоутверждающимся Я. Бог отдаёт Себя; противобожеское начало стремится вобрать в себя всё. Вот почему оно есть, прежде всего, вампир и тиран, и вот почему тираническая тенденция не только присуща любому демоническому Я, но составляет неотъемлемую

его черту.

Поэтому демонические монады объединяются временно между собой, но, по существу, они соперники не на жизнь, а на смерть. С захватом локальной власти их группой скоро вскрывается это противоречие, начинается взаимная борьба и побеждает сильнейший.

Трагичность для демонов хода космической борьбы обусловлена ещё и тем, что Господь творит новые и новые монады, демоны же неспособны сотворить ни одной, и соотношение сил непрерывно увеличивается не в их пользу. Новых отпадений не совершается и не совершится больше никогда, этому есть абсолютные гарантии, и я глубоко сожалею, что исключительная трудность этой проблемы не позволяет мне найти нужный ряд понятий для того, чтобы изложить её сколько-нибудь вразумительно. Во всяком случае, все демонические монады — очень древнего происхождения, все они — давние участники великого восстания. Правда, совершались и позже, совершаются и теперь — не отпадения, а нечто, внешне схожее: высокосознательное существо, иногда даже целая группа их, временно противопоставляют себя Провиденциальной воле. Но этот богоборческий выбор совершается не самою монадою, а низшим Я, душевным, ограниченным сознанием. Поэтому богоборческая деятельность его протекает не в духовном мире, но в материальных мирах, подвластных, по воле самих же демонов, закону возмездия. Этим самым бунт оказывается заранее обречён, совершивший его вступает на длительный путь искупления.

Постепенно, в ходе борьбы, безуспешность попыток демонических сил создать собственную вселенную стала уясняться ими самими; продолжая создавать отдельные миры и прилагая невероятные усилия к упрочению их существования, они в то же время поставили перед собой и другую цель: завладеть мирами уже существующими или ныне творящимися Провиденциальными силами. Отнюдь не разрушение миров, а именно завладение ими — такова их цель, но разрушение миров — объективное следствие подобного завладения. Лишённые объединяющего принципа любви и сотворчества, цементируемые лишь противоречивым принципом насилия, миры не могут существовать сколько-нибудь длительное время. Есть разрушающиеся галактики. И когда астрономические наблюдения внегалактических туманностей охватят более длительный период, чем сейчас, процессы этих мировых катастроф приоткроются взору науки. Есть погибшие и погибающие планеты: Марс, Меркурий, Плутон — руины брамфатур; все монады Света были изгнаны из этих систем, подпавших демоническому господству, вслед за чем

последовала завершающая катастрофа и демонические полчища оказались бесприютно мечущимися в мировом пространстве в поисках нового объекта вторжения.

Но есть макробрамфатуры и целые галактики, вторгнуться в которые силам восставшего не удалось. Внутри нашей Галактики системой, полностью освободившейся от демонических начал, является Орион — макробрамфатура необычайного могущества духовного Света. Тот же, кто будет созерцать в рефлектор великую туманность Андромеды, увидит воочию другую галактику, не знавшую демонических вторжений никогда. Это мир, с начала до конца восходящий по ступеням возрастающих блаженств. Среди миллионов галактик Вселенной таких миров немало, но наша Галактика, к сожалению, не входит в их число. Давно низвергнутые из макробрамфатуры Вселенной, силы Восставшего ведут в мирах нашей Галактики безостановочную, неустанную, миллионы форм приобретающую борьбу против сил Света; ареной борьбы оказался и Шаданакар.

Он стал такою ареною ещё в те отдалённые времена, когда в Энрофе Земля представляла собой полурасплавленный шар, а другие слои Шаданакара, исчислявшиеся ещё однозначными цифрами, только создавались великими иерархиями макробрамфатур. Там не было закона взаимопожирания: там, в мирах существ, которые теперь нам известны под общим именем ангелов, господствовал принцип любви и дружбы всех. Не было закона смерти: каждый переходил из слоя в слой путём материальной трансформы, свободной от страдания и не исключавшей возможности возврата. В этих мирах, тогда обладавших только тремя измерениями пространства и, следовательно, почти таких же плотных, как Энроф, не было, однако, закона возмездия: совершённые ошибки исправлялись с помощью высших сил. Проблески воспоминаний об этом, из сокровищниц глубинной памяти поднимавшиеся в сознание древних мудрецов, но сниженные и упрощённые их сознанием, привели к кристаллизации легенды об утраченном рае. В действительности, не рай, а прекрасная заря, и не над земным Энрофом, тогда ещё лишённым органической жизни, а над миром, который теперь называется Олирной, сияла тогда и сохранилась в памяти тех немногих человеческих монад, которые не явились в Шаданакар позднее, как большинство, а начинали в нём свой путь во времена, более давние, чем древность, и не в Энрофе, а в ангельской Олирне. Это содружество праангелов можно назвать, в известном смысле, первым человечеством Шаданакара.

Великий демон, один из сподвижников Люцифера, вторгся в

Шаданакар с полчищами меньших. Имя его Гагтунгр. То была длительная и упорная борьба; она увенчалась его частичной победой. Изгнать силы Света из брамфатуры ему не удалось, но удалось создать несколько демонических слоёв и превратить их в неприступные цитадели. Ему удалось вмешаться в процесс возникновения и развития жизни в земном Энрофе и поставить на животном царстве свою печать. Планетарные законы, с помощью которых начинали создавать органическую жизнь в Энрофе силы Света, неузнаваемо исказились. Ложно и кощунственно приписывать Божеству законы взаимопожирания, возмездия и смерти. «Бог есть Свет и нет в Нём никакой тьмы».

От Бога только спасение. От Него только радость. От Него только благодать. И если мировые законы поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против творчества Великого Мучителя. Взаимная борьба демонических монад, победа сильнейшего, а не того, кто более прав, и низвержение побеждённого в пучину мук — этот закон люциферических сил отобразился на лице органического мира Энрофа, выразившись здесь в законе «борьбы за существование». Всякое страдание существа, всякая его боль и мука дают излучение — и здесь, в Энрофе, и там, в мирах посмертия. Всякое его чувство, всякое волнение его душевного естества не может не давать соответствующего излучения. Излучения злобы, ненависти, алчности, похоти животных и людей проникают в демонические слои, восполняя убыль жизненных сил у различных классов и групп их обитателей. Но этих излучений едва достаточно, чтобы они восполняли убыль сил именно у отдельных демонических сообществ. Зато излучение страдания и боли — оно называется гаввах — способно насыщать гигантские толпы демонов почти всех видов и рангов. По существу, гаввах — их пища. Налагая свою лапу на законы Шаданакара, Гагтунгр искажал их так, чтобы породить и умножить страдание. Он делал их тягостными, жестокими, нестерпимыми. Он воспрепятствовал водворению в Энрофе закона трансформы; как равнодействующая обоих борющихся начал, возникла смерть и стала законом. Он воспрепятствовал принципу всеобщей дружбы; как равнодействующая обеих сил, появилось взаимопожирание и стало законом жизни. И, наконец, демонические силы вмешались в жизнь других слоёв Шаданакара — тех, через которые пролегал путь существ, хоть раз воплотившихся в земном Энрофе: эти слои были обращены в миры возмездия, где царствуют мучители, впивая страдания страдальцев. Среди различных видов гавваха особое значение имеет тот, который связан с истечением физической крови. Когда кровь людей и животных вытекает из

организма, то в первые минуты этого процесса она выделяет жгучее излучение особой силы. Поэтому некоторые классы демонов заинтересованы не столько в смерти живых существ Энрофа и не в загробном страдании их душ, сколько именно в кровопролитиях. Ни одно кровопролитие в истории не происходило и не происходит без неосознанного нами внушения этих потусторонних кровопийц. И кровавые жертвоприношения в некоторых древних культах были ужасны не только своей жестокостью, но и тем, что питали собою отнюдь, конечно, не богов, а именно этих демонов.

Для восполнения сил Света Планетарным Логосом — первой и величайшей монадой Шаданакара — был создан новый слой и положено начало новому человечеству. Энроф был оставлен животному царству; новый же слой населился титанами, обликом напоминавшими нас, но огромными и великолепными. В мире, напоминавшем Энроф, только пока ещё сумрачном, их светящиеся фигуры двигались на фоне сине-серого, свинцового неба, по склонам и выгибам пустынных гор, их совершенствуя. Человечество титанов исчислялось несколькими тысячами. Пола они были лишены, рождение новых не связывалось с союзом двух старших никак. Но Гагтунгр сумел вызвать их бунт простив Промысла. Идея их заключалась в том, что они — семя и ядро нового мирового начала, третьего, противостоящего и Богу, и демонам. Они жаждали абсолютной свободы своих Я, но жестокость и злобу демонов ненавидели. Бунт завершился тем, что силы Гагтунгра, пользуясь законом возмездия, вовлекли души титанов в глубокие мучилища. Там длилась их пытка свыше миллиона лет, пока, с помощью Провиденциальных сил, им не удалось вырваться из плена. Теперь большинство из них совершают свой путь среди человечества, выделяясь на общем фоне масштабом своей личности и особым сумрачным, хотя отнюдь не тёмным её колоритом. Их творчество отмечено смутным воспоминанием богоборческого подвига, как бы опалено древним огнём и поражает своею мощью. От демонических монад их дух отличен порывом к Свету, презрением к низменному и жаждой божественной любви.<sup>[8]</sup>

В последние тысячелетия до Христа могущество Гагтунгра было так велико, что в потусторонних слоях многих метакультур человечества у возмездия был отнят его временный характер. Выход из страданий был для мучающихся наглухо закрыт и у них отнята надежда.

Этот закон возмездия, железный закон нравственных причин и следствий — тех следствий, которые могут проявляться и в текущей жизни, но во всей полноте проявляются в посмертии и даже в следующих

воплощениях, — можно назвать индийским термином карма. Карма есть такая же равнодействующая двух противоположных волей, как закон смерти и закон борьбы за существование. Если бы демонические силы не встречали постоянных препятствий со стороны своих врагов, законы были бы ещё тяжелее, потому что демоническая цель законов — породить гаввах и парализовать проявления подпавших им душ Света. У законов есть и другая сторона, это — их очищающее значение. Это остаток древнейших светлых празаконов миротворивших прекрасных иерархий; цель этих иерархий и всех светлых сил Шаданакара — смягчение и просветление законов; цель демонических — ещё большее их утяжеление.

Замысел Провидения — спасение всех жертв. Замысел Гагтунгра — превращение всех в жертвы.

Богочеловечество следующего мирового периода будет добровольным единением всех в любви. Дьяволочеловечество — по-видимому, его не удастся избежать в конце текущего периода — будет абсолютной тиранией одного.

Космос есть поприще становящихся монад. Антикосмос — всемирный союз соперников и скопище уцерблённых светлых монад, пленённых ими в мирах, над которыми господствуют демоны. У этих пленников отнят священнейший их атрибут: свобода выбора.

Несоизмеримостью своих масштабов с масштабами Люцифера вселенной Гагтунгр не смущен: он, как и все демонические монады, понимает свою малость лишь как стадию. Слепая вера в безграничное своё возрастание и победу неотъемлема от его Я. Так верит в свой грядущий макрогалактический триумф любая из этих монад, сколь бы миниатюрна она ни была в настоящее время и какое подчиненное место ни занимала бы в иерархии восставших. Поэтому любая из них, и Гагтунгр в том числе, — тиран не только в идеале и не только в данный момент, но и на каждой стадии в той мере, в какой это позволяет власть, достигнутая на этой стадии. Тирания вызывает такое обильное выделение гавваха, как никакой другой принцип водительства. Впивание гавваха увеличивает запас демонической мощи. Если бы демон стал восполнять убыль своих сил за счёт вливания других психических излучений — радости, любви, самоотвержения, религиозного благоговения, восторга, счастья, — это переродило бы его естество, он перестал бы быть демоном. Но он не хочет именно этого. И тиранией, только тиранией может он обуздать центробежные силы внутри подчинившихся ему демонических множеств. И потому же совершаются иногда в метаистории (а отражённо — и в истории) акты отпадения и обратного восстания отдельных демонических

монад против Гагтунгра. Подобные восстания поддержаны силами Света не могут быть, ибо любая из таких монад есть в потенции такой же планетарный демон; если бы она оказалась сильнее Гагтунгра, она сделалась бы ещё большим мучителем, чем он. Не надо, впрочем, забывать, что не столь уж редки случаи восстания отдельных демонических монад не против Гагтунгра как такового, а против демонического миропорядка вообще. Такие восстания — не что иное, как обращение демонических монад к Свету, и ясно, что им оказывается тогда всемерная помощь Провиденциальных сил.

При всей сатанинской мудрости мировых замыслов Гагтунгра, замыслы эти зыбки именно вследствие указанных причин, ибо шансы обуздать все демонические монады мира, и в будущем самого Люцифера, для планетарного демона исчезающе малы.

Но неутолимое стремление ко вселенскому господству составляет источник единственно понятных ему радостей: он испытывает подобные радости всякий раз, когда малейшая частная победа кажется ему шагом, приближающим к конечной цели. Победы же эти заключаются в порабощении других монад или их душ: демонических — как полусоюзников, полурабов, светлых — как узников и объектов мучительства. Насколько Гагтунгр может вообразить космическое грядущее, он рисует самого себя как некое солнце, вокруг которого бесчисленные монады вращаются по концентрическим кругам, одна за другою падая в него и поглощаясь, — и постепенно вся Вселенная приходит в это состояние вращения вокруг него, погружаясь, мир за мирами, в чудовищно разбухшую гипермонаду. Вообразить дальнейшее демонический разум бессилён. Меньшие из этих монад не способны нарисовать даже и такого апофеоза. Незыблемо веруя в свою конечную победу над Вселенной, они сосредоточивают волю и мысль на более близких, легче представимых стадиях.

### **3. К вопросу о свободе воли**

Существует некоторое предубеждение, некоторая особая умственная установка, свойственная в наше время немалому количеству людей, так как её старательно внедряли в сознание многих народов целых четыре десятилетия. Это — такой ход мысли, который приводит мыслящего к выводу, перерастающему с течением времени в аксиому, в догмат: будто бы религия отнимает у человека его свободу, требует слепой покорности

высшим силам, ставит его в полную от них зависимость. А так как они — только призраки, то в действительности укрепляется зависимость от всех весьма реальных человеческих инстанций, которые стремятся эксплуатировать невежество масс. В этом и заключается «религиозное рабство», из коего человечество высвобождается наукой и материалистической философией.

Оспаривать это рассуждение значит писать трактат, ставящий целью опровержение основ материалистической философии. Такие трактаты уже написаны, и если они до сих пор в России недостаточно известны, то причина тому в обстоятельствах, имеющих отношение не столько к философии, сколько к политике.

Что же касается утверждения, будто бы всякая религия требует покорности высшим силам, то нет сомнения, что некоторые религиозные доктрины действительно проповедовали предопределение и фактическое отсутствие свободы воли у человека: это — факт, и я меньше всего склонен брать под защиту любые религиозные формы без разбора. Однако распространять этот признак на всю религию в целом правомерно не в большей степени, чем утверждать, например, что мировая художественная литература реакционна по своему существу, а для обоснования этого ссылаться на отдельных реакционных писателей и отдельные реакционные школы.

Уяснить неправомочность такого обвинения по отношению к концепции Розы Мира я хотел бы немедленно.

Прежде всего позволю себе высказать недоумение: никакая наука и никакая философия,<sup>[9]</sup> в том числе и материалистическая, не оспаривает факта зависимости человеческой воли от множества материальных причин.

Как раз именно материалистическая философия даже особенно настаивает на сугубой зависимости воли от факторов экономического ряда. И тем не менее никто не возмущается этим принижением человека перед природной и исторической необходимостью. Никто не вопиет о рабстве человека закону тяготения, закону сохранения материи, закону эволюции, законам экономического развития и т. д. Все понимают, что в рамках этих законов остаётся всё же достаточный простор для проявления нашей воли.

Между тем настоящая концепция не прибавляет ни одного фактора нового, дополнительного, к перечисленной сумме факторов определяющих нашу волю. Дело не в их числе, а в их истолковании. То необъятное и бесконечно многообразное, что объединяется выражением «высшие силы», воздействует на нашу волю не столько путём сверхъестественных вторжений, сколько при помощи тех самых рядов, тех законов природы,



эволюции и т. п., которые мы только что условились считать объективными фактами. Эти ряды фактов в огромной степени определяют наше сознание, и не только сознание, но и подсознание, и сверхсознание. Отсюда и возникают те голоса совести, долга, инстинкта и пр., которые мы слышим в себе и которые видимым образом определяют наше поведение. Таков механизм связи между «высшими силами» и нашей волей. Правда, иногда имеют место явления, которые субъективно могут казаться нарушениями законов природы «высшими силами». Это называют чудом. Но там, где такие явления действительно совершаются, а не оказываются аберрациями, там происходит вовсе не нарушение естественных законов «произволом» высших сил, а проявление этих сил через ряд других законов, нам ещё неясных.

То, что зачастую кажется нам монолитным, простым, нерасчленимым двигателем наших поступков, например совесть, в действительности представляет собой весьма сложный результат разных рядов. В основном совесть есть голос нашей монады. Но его доступ в сферу нашего сознания обуславливается воздействием других рядов: внешние обстоятельства, например какой-нибудь случай, послуживший толчком к тому, чтобы этот голос монады был нами услышан, — это есть проявление Промысла, действие сил Провиденциальной природы.

Таким образом, выбор человека предопределяется тремя рядами сил. Силами Провиденциальными, пользующимися в своих целях законами природы и истории, как орудиями, и постепенно их просветляющими; силами демоническими, пользующимися теми же самыми законами и всё более их отягчающими; и волей нашей собственной монады, подаваемой в круг нашего сознания голосами сердца и разума с помощью Провиденциальных сил.

Поэтому, будем ли мы рассматривать законы природы и истории как механические, бездушные необходимости или как орудие тех или иных живых, личных, нематериальных либо духовных существ, — от этого степень нашей свободы не убудет и не увеличится.

Следовательно, степень свободы человеческого выбора с точки зрения концепции Розы Мира не меньше, чем с точки зрения материализма, но ряды определяющих её факторов иначе осмыслены и чётче расчленены.

И если материалиста не оскорбляет ограниченность нашей свободы совершенно безличными и бездушными законами природы, то чем же может унижать нас ограниченность нашей свободы волей Провиденциальных сил? Нас может оскорблять только ограниченность нашей свободы волей сил демонических; да, она оскорбляет; но ведь это —

те самые силы, те наши исконные враги, в обуздании, обращении и просветлении которых — вся наша цель. И это оскорбление мы перестанем переживать только тогда, когда сделаем себя недоступными их воздействию. Эволюция мировой жизни ведёт ряды существ от минимальной степени свободы в простейших формах (в зачаточное сознание микроба голос монады не достигает почти совершенно, и поведение его определяется, главным образом, демоническими силами, действующими через законы природы, как через свой передаточный механизм). Высшие животные уже гораздо свободнее, чем микроб, амплитуда их произвольных действий много шире; у человека она возрастает несравненно.

Противники религии как таковой указывают на то, что она требует отказа от личной воли, требует покорности нашей воли Божеству. И по отношению к некоторым религиям прошлого они правы. Но Роза Мира не есть религиозное учение прошлого. Она есть религиозное и социально-этическое учение будущего. Никакой «покорности» воле Божией Роза Мира не требует, ибо ценно только то, что совершается человеком добровольно, а не по принуждению.

Не требование рабской покорности воле Божества будет звучать из святилищ религии итога. Оттуда будет излучаться призыв ко всеобщей любви и к свободному богосотворчеству.

Господь — это неизменное и невыразимое первоверховное стремление, это — духотворящая власть, действующая во всех душах, не умолкающая даже в глубине демонических монад и направляющая миры и миры, от микробамфатур до сверхгалактик, к чему-то более совершенному, чем добро, и более высокому, чем блаженство. Чем выше ступень каждого Я, тем полнее совпадает его воля с творческой волей Господней. И когда оно, начав свой космический путь с простейших форм живой материи, минует ступени человека, демиурга народов, демиурга планет и звёзд, демиурга галактики, оно через Бога-Сына — погрузится в Отца и воля его полностью совпадет с Отчею волею, сила — с Отчею силой, образ — с Отчим образом и творчество — с Отчим творчеством.

Бого-сотворчество есть светлое творчество всех монад восходящего потока Вселенной, от человека, стихий и просветлённых животных до демиургов галактик, исполинов невообразимого величия.

Вот почему так часто встречается здесь слово «демиург», в старинных религиях почти не употреблявшееся. Демиурги — все, кто творит во славу Божию, из любви к миру и его Первотворцу.

Он абсолютно благ.

«Он всемогущ», — добавляло старое богословие.

Но если Он всемогущ — Он ответственен за зло и страдание мира, следовательно. Он не благ.

Казалось бы, выйти из круга этого противоречия невозможно.

Но Господь творит из Себя. Всем истекающим из Его глубины монадам неотъемлемо присущи свойства этой глубины, в том числе абсолютная свобода. Таким образом, божественное творчество само ограничивает Творца, оно определяет Его могущество той чертой, за которой лежат свободы и могущества Его творений. Но свобода потому и свобода, что она включает возможность различных выборов. И в бытии многих монад она определилась их отрицательным выбором, их утверждением только себя, их богоотступничеством. Отсюда то, что мы называем злом мира, отсюда страдание, отсюда жестокосердные законы и отсюда же то, что эти зло и страдание могут быть преодолены. Законы оберегают мир от превращения в хаос. Сами демоны вынуждены считаться с ними, дабы миры не распались в пыль. Поэтому они не опрокидывают законов, но утяжеляют их. Законы слепы. И просветлены они могут быть не во мгновение ока, не чудом, не внешним вмешательством Божества, но длительнейшим космическим путём изживания богоотступническими монадами их злой воли.

У Бога всеобъемлющая любовь и неиссякающее творчество слиты в одно. Всё живое, и человек в том числе, приближается к Богу через три божественных свойства, врождённых ему: свободу, любовь и Бого-сотворчество. Бого-сотворчество — цель, любовь — путь, свобода — условие.

Демонические монады свободны, как и все, но их любовь глубоко ущербна. У них она направлена исключительно внутрь: демон любит только себя. И оттого, что весь могучий запас любви, в духе его пребывающий, сосредоточен на этом одном, демон любит себя с такою великой силой, с какою любить себя не способен ни один человек.

Не может быть утрачена демоническими монадами и способность к творчеству. Но Бого-сотворчество не вызывает у них ничего, кроме предельной враждебности. Каждый демон творит только ради себя и во имя своё.

Творчество человека превращается в Бого-сотворчество с той минуты и в той мере, в какой его непреодолимый творческий импульс направляется усилием его воли и веры не на достижение тех или иных эгоистических целей — славы, удовольствия, материального успеха, служения жестоким и низменным учениям, — но на служение Богу любви.

Именно три слова — свобода, любовь и Бого-сотворчество — определяют отношение Розы Мира к искусству, науке, воспитанию, браку, семье, природе и даже к таким, всеми религиями пренебрегавшимся элементам жизни, как её благоустройство и благолепие.

#### 4. Бытие и сознание

То, что я говорил до сих пор, подводит нас к новому углу зрения на многовековой спор о примате сознания или бытия.

«Сознание определяет бытие», — формулировали идеалистические школы. На следующем, безрелигиозном этапе культуры эта формула была вывернута наизнанку, но материал её сохранился в неприкосновенности. А материал состоял в противопоставлении двух членов и поэтому новая формула унаследовала примитивизм своей предшественницы.

Вопрос сложнее, чем эти формулы. И, вместе с тем, он проще, чем громоздкие сооружения посылок и выводов, напластовавшиеся в XVIII и XIX веках для того, чтобы извлечь столь скромный результат.

«Бытие определяет сознание»... «Сознание определяет бытие»... Чьё бытие? чьё сознание? Отдельной конкретной личности? человечества? мира? живой сознающей материи? Как всё спутано, как нечётко.

Сознание отдельной конкретной личности (для простоты будем говорить только о человеке) определяется не чьим-либо сознанием и не вообще бытием, но суммой факторов. А именно:

- а) её собственным физическим бытием;
- б) бытием природной и культурной её среды;
- в) сознаниями множества людей, живущих и живших, ибо эти сознания в значительной мере определили своими усилиями культурную среду, в которой личность живёт и которая воздействует на её бытие и сознание;
- г) сознанием  $n$ -ного числа других существ, влиявших на природную среду и её трансформировавших;
- д) бытием и сознанием миротворящих иерархий;
- е) сверхсознательным, но индивидуальным содержанием, кое врождённо монаде данной личности;
- ж) бытием-сознанием Единого, в Котором бытие и сознание суть одно, а не различные, противостоящие друг другу, категории.

Если вопрос ставится не об отдельной личности с её бытием и сознанием, но о Вселенной, точнее — о появлении сознания в

органической природе каких-либо миров, то ясно, что поскольку Вселенная определяется Единым, постольку это противопоставление бытия и сознания снимается по только что указанной причине. Поскольку же Вселенная определяется творчеством богосотворённых монад, постольку вопрос о каком-то моменте появления в ней сознания после периода существования бессознательности лишается смысла. Ибо если бы не было богосотворённых монад с их сознанием и бытием, не могла бы возникнуть и никакая материя, ни органическая, ни неорганическая.

Над примитивностью классических формул теперь можно было бы только добродушно пошутить, если бы одна из них, став философским догматом политической деспотии, не оказалась повинна в бесчисленных несчастиях, забив, как пробка, дыхательные пути мысли множества людей и преградив доступ духовности в сферу их сознаний. Другая из классических формул, столь же ошибочная, всё-таки менее опасна именно потому, что она духовнее. Но со старых религий с их философемами это отнюдь не снимает вины: столько веков потратить на схоластические мудрствования — и ни на шаг не приблизиться к вопросу о примате бытия или сознания.

## **5. Разноматериальная структура человека**

Среди многочисленных слоёв Шаданакара есть многомерный мир, где пребывают человеческие монады — неделимые и бессмертные духовные единицы, высшие Я людей. Творимые Богом и только Богом, а некоторые (немногие) таинственно рождаемые Им, они входят в Шаданакар, облекаясь наитончайшей материей, — её правильнее было бы назвать энергией: это — субстанция, пронизывающая весь Шаданакар; каждый индивидуальный дух, вступая в нашу брамфатуру, неизбежно ею облекается. Мир, в котором пребывают наши монады, носит имя Ирольн.

Творческий труд, ведущий к просветлению Вселенной, — задача каждой монады, кроме демонических; среди же людей демонических монад нет. Человеческие монады осуществляют этот труд в низших мирах, подлежащих их просветляющему творчеству, создавая там для себя материальные облачения и через эти облачения воздействуя на среду соответствующих слоёв.

Прежде всего монада создаёт шельт из материальности пятимерных пространств, затем — астральное тело из материальности четырёхмерных. Оба эти облачения часто объединяются в нашем представлении под словом

«душа». Шельт — материальноеместилище монады со всеми её божественными свойствами и её ближайшее орудие. Не сама монада, остающаяся в пятимерном Ирольне, но именно шельт является тем «я», которое начинает своё странствие по низшим слоям. Шельт творится самою монадою; в творении же астрального тела принимает участие великая стихиаль — Мать-Земля. Она принимает участие в творении астральных тел всех существ Шаданакара — людей, ангелов, даймонов, животных, стихиалей, демонов и даже великих иерархий, когда последние спускаются в те слои, где астральное тело необходимо. Это тело — высший инструмент шельта. В нём сосредоточены способности духовного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способности полёта, способности общения с синклитами, даймонами, стихиальями, ангелами, способности ощущения космических панорам и перспектив.

Далее, Мать-Земля, оплодотворяемая духом Солнца, создаёт для воплощающейся монады тело эфирное: без него невозможна никакая жизнь в мирах трёх и четырёх измерений. И когда шельт со всеми своими облачениями, включая эфирное, покидает в Энрофе самый внешний, кратковременный, последний из своих сосудов — тело физическое, в Энрофе остаётся только труп. Физическое же тело создаётся для нас ангельскими иерархиями — они творят самую материю — и великой стихиалью человечества — Лилит — той, которая ваяет из этой трёхмерной материальности цепь рода. Воздействие самой монады в этом акте через шельт заключается в том, что она данному звену рода даёт индивидуальность.

Так завершается процесс спуска; начинается процесс восхождения.

Физическое тело может приниматься монадой один или, снова и снова, много раз. Эфирное же создаётся наново только в том случае, если носитель, подпав закону возмездия, принуждён был совершить путь по кругам великих страдальцев. А в восходящем пути эфирное тело сопутствует носителю по всем мирам Просветления вплоть до затомисов — обителей просветлённого человечества, небесных градов метакультур. Состоит оно из жизненной субстанции, не универсальной, но различной по всем трёхмерным и четырёхмерным мирам. Памятуя о древнейшем откровении человечества, её справедливо было бы назвать арунгвильгой-праной.

Астральное тело сопутствует носителю выше, включая сакуалу Высокого Долженствования, а ещё выше остаётся только шельт, просветлённый до конца и слившийся с монадой в единство. Тогда монада покидает Ирольн и, облечённая предельно истончённым шельтом, вступает на лестницу наивысших миров Шаданакара.

В последующих частях книги будет идти речь обо всех этих слоях, многие из них будут, насколько это возможно, описаны. Но подробнее осветить вопросы о взаимодействии различных облачений монады, о функциях каждого из них и об их строении я, к сожалению, не в состоянии.

## 6. Метакультуры

Структура Шаданакара, к колоссальной проблематике которой скоро пора уже будет перейти, останется непонятной в самых своих основах, если предварительно не усвоить, что такое сверхнарод, метакультура и трансмиф.

Под термином «сверхнарод» понимается совокупность наций, объединённых общей, совместно создаваемой культурой, либо отдельная нация, если её культура создавалась ею одной и достигла высокой степени яркости и индивидуальности.

При этом подразумевается, что вполне изолированных культур не существует, они взаимосвязаны, но в целом каждая культура вполне своеобразна, и, несмотря на влияние, оказываемое ею на других, она во всей своей полноте остаётся достоянием только одного сверхнарода, своего творца.

Понятие сверхнарода можно было бы не вводить в настоящую концепцию, если бы оно не обладало, наряду с историческим, также и метаисторическим значением. А метаисторическое значение его в том, что своеобразии сверхнарода не ограничивается культурной сферой в Энрофе, но сказывается также во многих иноматериальных слоях как восходящего, так и нисходящего ряда, поскольку некоторые участки этих слоёв охватываются воздействием лишь одного данного сверхнарода. Ведь нельзя забывать, что под сверхнародом понимается совокупность не тех только личностей, которые принадлежат к нему сейчас, не только наших современников, но и весьма многих из тех, которые принадлежали к нему раньше, хотя бы и на заре его истории, а позднее, в своём посмертии, действовали и действуют в трансфизических слоях, с этим сверхнародом связанных. Над человечеством поднимается лестница слоёв, общих для всех сверхнародов, но над каждым из них эти слои меняют свою окраску, свою физиономию, своё содержание; есть даже такие слои, которые наличествуют только над одним сверхнародом. Точно так же обстоит дело и по отношению к демоническим мирам нисходящего ряда, существующим как бы под сверхнародом. Таким образом, значительная часть Шаданакара

состоит из отдельных многослойных сегментов; слой Энрофа в каждом из таких сегментов занят только одним сверхнародом и его культурой. Эти многослойные сегменты Шаданакара носят название метакультур.

Каждый сверхнарод обладает своим мифом. Этот миф создаётся отнюдь не в одном лишь детском периоде его истории, — напротив. И, так как традиционное употребление слова «миф» не совпадает с тем значением, которое вкладывается в него здесь, приходится тщательно разъяснить, какое понятие мною в это слово вложено. Когда мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, воплощающих какое-либо многообъемлющее интернациональное учение и нашедших своё выражение в преданиях и культе, в теософемах и философемах, в памятниках словесности и в изобразительном искусстве и, наконец, в кодексе нравственности, — мы говорим о мифах великих международных религий. Таких мифов существует четыре: индуистский, буддийский, христианский и магометанский.

Когда мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, определяющих отношение к Энрофу, к трансфизическим и духовным метрам со стороны одного какого-нибудь сверхнарода, о системе, отлившейся в определённую религию и игравшую в истории данного сверхнарода весьма значительную роль, но почти не распространившуюся за его пределы, — мы говорим о национальных религиозных мифах отдельных сверхнародов. Таковы мифы египетский, древнеиранский, еврейский, древнегерманский, галльский, ацтекский, инкский, японский и некоторые другие.

Когда мы имеем в виду мир образов, столь же идейно насыщенных и тоже, быть может, связанных, хотя и не так тесно, с идеями религиозного и нравственного порядка, но не сложившихся в стройную систему и отражающих ряд общих нравственных, трансфизических, метаисторических или вселенских истин в связи именно с данностью и долженствованием вот этой культуры, — мы имеем перед собой общие мифы сверхнародов. Таковы мифы юго-западного — романо-католического сверхнарода, сверхнарода северо-западного — германо-протестантского, сверхнарода российского.<sup>[10]</sup>

И, наконец, последняя, четвёртая группа — общие мифы национальные: это — мифы отдельных народностей, входящих в состав сверхнарода, но внутри себя создающих, в дополнение к общему сверхнародному мифу, свой частный, очень локальный, ни в какую строгую систему, ни в какую религию не отлившийся вариант. В качестве примеров можно было бы привести языческие мифы славянских племён, финских



племён, тюркских племён, а также мифы некоторых обособленных и отстающих племён Индии. В сущности, в зачаточном состоянии мифы народностей обнаруживаются у весьма многих этнических образований, но ярко выраженную физиономию приобретают они редко.

Ни к каким другим явлениям в истории культуры мы применять слово миф не будем.

Таким образом, три последние группы мифов относятся к специфике отдельных культур. Первая же группа — мифы международных религий — мистически связана (за исключением одного) с такими слоями Шаданакара, которые лежат уже выше его сегментарных членений, называемых метакультурами.

Мне кажется, что понятие мифов национально-религиозных воспринимается без труда. Общим же мифам сверхнародов следует дать, для ясности, пару дополнительных определений.

Определение индуктивное.

Общий миф сверхнарода есть сумма его представлений о трансфизическом космосе, об участии в нём данной культуры и каждого входящего в эту культуру «я»<sup>[11]</sup> — представлений, которые этой культурой вырабатываются, отливаясь в формы цикла религиозно-философских идей, цикла художественных образов, цикла социально-этических понятий, цикла государственно-политических установлений и, наконец, цикла общенародных жизненных норм, осуществляющихся в обряде, в повседневном укладе быта, в обычае.

Определение дедуктивное.

Общий миф сверхнарода есть осознание сверхнародом в лице его наиболее творческих представителей некоей второй реальности, над ним надстоящей, в которую он сам входит частью своего существа и в которой таятся руководство его становлением и корни его судьбы, — осознание, замутнённое посторонними, из неупорядоченной человеческой природы возникающими примесями.

Эту вторую реальность, служащую объектом трансфизического и метаисторического, художественного и философского постижения, можно условно обозначить термином трансмиф.

Само собой разумеется, что степень отличия мифа от трансмифа может быть весьма разной. Ограниченность тех, кто воспринимал трансмиф через интуицию, сновидения, художественные наития, религиозное созерцание, метаисторическое озарение; национальные, эпохальные, классовые и личные особенности этих сознаний и той подсознательной области их существа, которая деятельно участвует в этом

процессе; невозможность найти в слове или в образах трёхмерного искусства точные аналогии для выражения реальности иномерных миров — разве может всё это не привести к бесчисленным абберациям, к загромождению мифа массой случайного, неточного, антропоморфного, примитивизирующего, даже просто неудачного? Но миф динамичен, он движется во времени, развивается, меняет лики, и поздние его фазы, как правило, ближе к трансмифу, потому что за истёкшие века сами воспринимающие сознания стали тоньше, богаче, зорче, шире.

Но тем временем развивается и сам трансмиф. Запредельная реальность полна кипучего движения, о ее статике не может быть и речи. Как отличаются города-крепости времён Меровингов от современного Парижа, так же отличаются ландшафты, сооружения и всё содержание трансмифов в пору их возникновения и к концу их метаисторического развития.

Но на всех стадиях развития сверхнародного трансмифа присутствуют, наряду с постигающим его народом Энрофа, две другие реальности, два других слоя, два полюса метакультурной сферы. Вокруг них и между ними находятся и другие слои, но каждый из них возник потом или же претерпел коренные изменения; некоторые исчезли. Незыблемы и долговечны только три области: в Энрофе — сверхнарод, в иномерном пространстве над ним — обители его просветлённых душ, священные грады, небесная страна метакультуры, а внизу, в мирах нисходящего ряда — антиполюс этой небесной страны: цитадель, сооружаемая в мирах, связанных с глубинными пластами в физическом теле планеты. Это — средоточие демонических сил данной метакультуры. Небесные страны и всё, что в них, называются затомисами, подземные цитадели — шрастрами.

Обычно из этих двух полюсов ярче и чётче бывают отражены в мифах именно затомисы. Образы шрастров далеко не всегда отливаются в сколько-нибудь законченную форму. Затомисы же, обители синклитов метакультур, можно встретить в мифах решительно всех сверхнародов, и притом в мифах и религиозных, и общих. Такова Эанна вавилонян: зиккурат в городе Эрехе был, по воззрениям сумеро-аккадийцев, подобием этой горы богов, Эанны Небесной, а позднее аналогичный смысл усматривался вавилонянами в главном культовом сооружении их великого города — в семиступенчатом храме Эсагиле. Таков Олимп греко-римлян. Такова Сумэра (Меру) индийцев — индусский Олимп, на склонах которого блещут небесные города богов индуизма. Таковы образы Рая — Эдема в метакультурах Византийской и Романо-католической, Джаннэт — в Арабо-мусульманской, Шан-Ти — в Китайской, Монсальват — в Северозападной,

Китеж — в Российской метакультуре.

Сквозь клубящиеся тучи искусств, верований, мифологий и народоустройств стараясь разглядеть небесную страну Северо-западной метакультуры, ни на миг не следует забывать, что сверхнароды, пока они существуют в Энрофе, не завершают творение своих мифов никогда. Меняются формы выражения: в качестве выразителей на историческую арену выступают новые человеческие группы; от анонимных творцов фольклора и обряда задача мифотворчества переходит к мыслителям и художникам, к чьим именам поднимаются волны всенародной любви: но миф живёт. Живёт, углубляясь, наполняясь новым содержанием, раскрывая в старых символах новые смыслы и вводя символы новые — сообразно более высокой стадии общего культурного развития воспринимающих — во-первых, и сообразно с живым метаисторическим развитием самого трансмифа — во-вторых.

Небесная страна Северо-западной культуры предстаёт нам в образе Монсальвата, вечно осиянной горной вершины, где рыцари-праведники из столетия в столетие хранят в чаше кровь Воплощённого Логоса, собранную Иосифом Аримафейским у распятия и переданную страннику Титурэлю, основателю Монсальвата. На расстоянии же от Монсальвата высится призрачный замок, созданный чародеем Клингзором: средоточие богоотступнических сил, с непреодолимым упорством стремящихся сокрушить мощь братства — хранителей высочайшей святости и тайны. Таковы два полюса общего мифа северо-западного сверхнарода от безымянных творцов древнекельтских легенд, через Вольфрама фон Эшенбаха до Рихарда Вагнера. Предположение, будто раскрытие этого образа завершено вагнеровским «Парсифалем» — отнюдь не бесспорно, а пожалуй, и преждевременно. Трансмиф Монсальвата растёт, он становится всё грандиознее. Будем же надеяться, что из толщи северозападных народов ещё поднимутся мыслители и поэты, кому метаисторическое озарение позволит постигнуть и отобразить небесную страну Монсальват такой, какова она ныне.

Нетрудно понять, что большинство даже самых огромных человекообразов Северо-западного мифа не связано и не может быть связано с образом Монсальвата непосредственно. Ожидать непереносимой непосредственной связи значило бы обнаружить узкий и формальный подход и даже полное непонимание того, что такое общий сверхнародный, а не религиозно-национальный миф.

В конце концов, любой человеческий образ, созданный великим писателем, художником, композитором, длящийся свою жизнь в сознании и

подсознании миллионов и становящийся внутренним достоянием каждого, кто этот образ воспримет творчески, — любой такой образ есть образ мифический. Кримгильда и Офелия, Макбет и Брандт, Эсфирь Рембрандта и Маргарита Гёте, Эгмонт и м-р Пикквик, Жан Кристоф и Джолион Форсайт мифичны совершенно в такой же мере, как Лоэнгрин и Парсифаль. Но в чём же заключается связь художественных образов, а также философских и социальных идей Северо-западной культуры с полюсами Северо-западного мифа — с Монсальватом и замком Клингзора?

Полюсы всякого сверхнародного мифа опоясаны множеством кругов, целыми мирами образов, связь которых со средоточием не в сюжетной от них зависимости, а во внутреннем родстве, в возможности для нас мыслить эти образы и постигать их метаисторическим созерцанием в средоточии мифа или рядом с ним.

Фауст, конечно, не Мерлин; байроновский Каин — не Клингзор; Пер Гюнт — не Амфортас, а гауптмановского Эммануэля Квинта, на первый взгляд, просто странно сопоставлять с Парсифалем. Образ Кундри, столь значительный в средоточии мифа, не получил, пожалуй, никакой равноценной параллели на его окраинах. С другой стороны, никаких прообразов Гамлета и Лира, Маргариты или Сольвейг мы в средоточии Северо-западного мифа не найдём. Но их взор туда обращён; на их одеждах можно заметить красноватый отсвет — то ли Грааля, то ли колдовских клингзорских огней. Эти колоссальные фигуры, возвышаясь на различных ступенях художественного реализма, на различных стадиях мистического просветления, похожи на изваяния, стерегущие подъём по уступам лестницы в то святилище, где пребывает высочайшая тайна северо-западных народов — святыня, посылающая в страны, охваченные сгущающимся сумраком, духовные волны Промысла и благоволения.

Разве блики от излучения этой святыни — или от излучения другого полюса того же мифа, дьявольского замка Клингзора — мы различаем только на легендах о рыцарях Круглого стола? или только на мистериях Байрэйта? Если Монсальват перестал быть для нас простым поэтическим образом в ряду других, только чарующей сказкой или музыкальной мелодией, а приобрёл своё истинное значение — значение высшей реальности, — мы различим его отблеск на готических аббатствах и на ансамблях барокко, на полотнах Рюисдаля и Дюрера, в пейзажах Рейна и Дуная, Богемии и Бретани, в витражах-розах за престолами церквей и в сурово-скудном культе лютеранства. Этот отблеск станет ясен для нас и в обезбоженных, обездушенных дворцовых парках короля-солнца, и в контурах городов, встающих из-за океана, как целые Памиры небоскрёбов.

Мы увидим его в лирике романтиков и в творениях великих драматургов, в масонстве и якобинстве, в системах Фихте и Гегеля, даже в доктринах Сен-Симона и Фурье. Потребовалась бы специальная работа, чтобы указать на то, что могущество современной науки, чудеса техники, равно как идеи социализма, даже коммунизма, с одной стороны, а нацизма — с другой, охватываются сферой мифа о Монсальвате и замке Клингзора. Ничто, никакие научные открытия наших дней, кончая овладением атомной энергией, не выводят северо-западного человечества из пределов, очерченных пророческой символикой этого мифа. Думается, что тому, кто прочитает настоящую книгу, уяснятся эти, не вскрытые ещё, взаимосвязи.

Я заговорил об одной из метакультур с её мифом и трансмифом лишь для того, чтобы помочь конкретными образами понять идею о небесных странах человечества, пребывающих в просветлённых слоях на вершинах метакультур, и задуматься над их антиподами — крепостями богоотступнических начал, деятельно творящих свой антикосмос и борющихся с силами Света во всех сверхнародах Энрофа, во всех слоях, во всех метакультурных зонах.

Но лестница слоёв Шаданакара не заканчивается там, где завершаются сегменты метакультур: дальше поднимаются пятимерные и шестимерные миры, тоже получившие своё смутное отображение в мифах и религиях человечества. В этом смысле ко многим из этих слоёв тоже применимо наименование «трансмифы». Но в более узком и более высоком смысле слово «трансмиф» применяется к особой сакуале: это система миров с пятью измерениями пространства и с огромным числом временных координат; это пять грандиозных, как бы светящихся изнутри солнечным сиянием, прекрасных и прозрачных пирамид, незыблемо высящихся над Энрофом. Не только Энроф, но и небесные страны метакультур кажутся оттуда глубоко внизу, в сумраке. Эти миры — высшие аспекты трёх (не четырёх!) великих международных религий и двух религий, почти не разбивших своей национальной замкнутости вследствие ряда исторических причин, но носивших на себе отблеск как своих затомисов, так и этой, несравненно более высокой сакуалы. Об этой сакуале подробно будет сказано в одной из следующих частей.

Хочу предварительно сделать замечание ещё вот по какому поводу. Думаю, что у многих, читающих эту книгу, возникает недоумение: почему все новые слова и имена, которыми обозначаются страны трансфизического мира и слои Шаданакара, даже названия почти всех иерархий — нерусские? А это потому, что русская метакультура — одна из самых молодых: когда стал возникать её Синклит, всё уже было названо

другими. Чаще всего можно встретить в этих словах звучание, напоминающее санскрит, латынь, греческий, еврейский и арабский языки, а иногда — языки ещё более древние, которые не знает пока ни один филолог. Само собой разумеется, не знаю их и я; только по этим отдельным словам я сужу об их странной фонетической физиономии.

Теперь, мне кажется, сказано всё, без чего дальнейшие части книги могли бы остаться не вполне понятными. Перед нами — четыре части, почти целиком посвящённые описанию структуры Шаданакара, — своего рода трансфизическая география. Только составив представление об арене и об участниках метаисторической мистерии, хотя бы самое приблизительное, можно будет перейти к тем частям, которые посвящены самим метаисторическим процессам, в особенности — метаистории России и её культуры, а также метаистории современности. Это связано с задачами, с конкретной программой Розы Мира, с изложением тех исторических путей, на которых возможно бескровное объединение человечества в единый организм, всеобщее изобилие, воспитание поколений облагороженного образа, преобразование планеты в сад, а всемирного государства — в братство. Отсюда перекинется мост к последним главам: к некоторым далёким историческим прогнозам, к проблеме завершающих катаклизмов всемирной истории и к неизбежному, хотя и катастрофическому, переходу Энрофа в другую высшую материальность, в другой слой бытия. Космическим перспективам, раскрывающимся при этом, посвящены последние страницы.

**КНИГА III. СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА.  
МИРЫ ВОСХОДЯЩЕГО РЯДА**

# Глава 1

## Сакуала просветления

Я не знаю, где и когда умру на этот раз, но знаю, где и когда умирал я в последний раз перед тем, как родиться в 1906 году для жизни в России. Конечно, это знание не имеет общего значения и может интересовать только тех, кто способен отнестись с доверием к моим свидетельствам и кто чувствует при том кармическую связь с моей судьбой. Но моё знание некоторых этапов пути между предпоследним моим существованием и текущим, по своему объективному интересу, шире, я могу и должен рассказать о самом существенном из того, что мне удалось постепенно припомнить. Впрочем, лучше сказать не «мне удалось», а «мне помогли припомнить».

Я встречал иногда людей, обладавших вот такой приоткрытостью глубинной памяти, но ни один из них не решался говорить об этом почти ни с кем; о попытках же запечатлеть эти воспоминания в письменной форме ни у кого не возникало даже смутного помысла. Виной тому была уверенность, что подобные признания могут вызвать только насмешку, и естественная душевная стыдливость, восстающая против вынесения на суд чужих и чуждых людей того, что интимно, неприкосновенно и в то же время недоказуемо. Очень долгое время так смотрел на дело и я, да и теперь предпринимаю подобную попытку без малейшей отрады. Но так как решительно всё, о чём я рассказываю в этой книге, имеет столь же бездоказательный источник, то я не вижу больше оснований молчать именно о прорывах глубинной памяти; надо было или не начинать книги совсем или, раз уже начав, говорить обо всем, вопреки боязни. К тому же меня укрепляет надежда на то, что читатели, не доверяющие мне, отсеялись уже после первых глав и следить дальше за моим изложением будут лишь люди, преднастроенные благожелательно.

Последняя смерть моя произошла около трёхсот лет назад в стране, возглавляющей другую, очень древнюю и мощную метакультуру. Всю теперешнюю жизнь, с самого детства, меня томит тоска по этой старой родине; быть может, так жгуча и глубока она потому, что я прожил в той стране не одну жизнь, а две, и притом очень насыщенные. Но, уходя из Энрофа триста лет назад, я впервые за весь мой путь по Шаданакару оказался свободным от необходимости искупляющих посмертных спусков в глубину тех слоёв, где страдальцы развязывают — иногда целыми веками,



даже тысячелетиями, — кармические узлы, завязанные ими при жизни. Впервые я успел и смог развязать узлы ещё в Энрофе, долгими мучениями и горькими утратами оплатив совершённые в молодости срывы и ошибки. И в первый раз я умирал с лёгкой душой, хотя по религиозным воззрениям той страны должен был бы ожидать воистину страшного посмертия. Но я уже знал, что исключением из касты и сорокалетней жизнью среди париев я искупил всё. Смерть была легка и полна надежды.

То была вещая надежда: такая не обманывает. О первых часах, даже о нескольких днях моего нового бытия, мне до сих пор ничего не удалось вспомнить. Но зато я помню несколько местностей того нового слоя, в котором долгое время существовал вслед за тем.

Единый для всех метакультур, этот слой, однако, очень пёстр: в древней, тропической, огромной метакультуре, дважды обнимавшей мою земную жизнь, он был похож на её природу в Энрофе, но мягче — без крайностей её жестокости и великолепия, без неистовых тропических ливней и губительной сухости пустынь. Я помню, как белые башнеобразные облака необыкновенно мощных и торжественных форм стояли почти неподвижно над горизонтом, вздымаясь до середины неба: сменялись ночи и дни, а гигантские лучезарные башни всё стояли над землёй, едва меняя очертания. Но само небо было не синим и не голубым, но глубоко-зелёным. И солнце там было прекраснее, чем у нас: оно играло разными цветами, медлительно и плавно их сменяя, и теперь я не могу объяснить, почему эта окраска источника света не определяла окраски того, что им освещалось: ландшафт оставался почти одинаков, и преобладали в нём цвета зелёный, белый и золотой.

Там были реки и озёра; был океан, хотя увидеть его мне не довелось: раз или два я был только на побережье моря. Были горы, леса и открытые пространства, напоминавшие степь. Но растительность этих зон была почти прозрачна и так легка, какими бывают леса в северных странах Энрофа поздней весной, когда они только начинают одеваться лиственным покровом. Такими же облегчёнными, полупрозрачными казались там хребты гор и даже сама почва: как будто всё это было эфирною плотью тех стихий, чью физическую плотность мы так хорошо знаем в Энрофе.

Но ни птиц, ни рыб, ни животных не знал этот слой: люди оставались единственными его обитателями. Я говорю — люди, разумея под этим не таких, какими мы пребываем в Энрофе, но таких, какими делает нас посмертье в первом из миров Просветления. Наконец-то я мог убедиться, что утешение, которое мы черпаем из старых религий в мысли о встречах с близкими, — не легенда и не обман, — если только содеянное при жизни

не увлекло нас в горестные слои искупления. Некоторые из близких встретили меня, и радость общения с ними сделалась содержанием целых периодов моей жизни в том слое. Он очень древен, когда-то в нём обитало ангельское прачеловечество, а зовётся он Олирной: это музыкальное слово кажется мне удачной находкой тех, кто дал ему имя. Общение с близкими не содержало никакой мути, горечи, мелких забот или непонимания, омрачающих его здесь: это было идеальное общение, отчасти при помощи речи, но больше в молчании, какое здесь бывает знакомо лишь при общении с немногими, с кем мы соединены особенно глубокой любовью, и в особенно глубокие минуты.

От забот о существовании, имевших в Энрофе столь необъятное значение, мы были совершенно освобождены. Потребность в жилье сводилась на нет мягкостью климата. Кажется, в Олирнах некоторых других метакультур это не совсем так, но в точности я этого не помню. Пищу доставляла прекрасная растительность, напитками служили родники и ручьи, обладавшие, как мне припоминается, различным вкусом. Одежда, вернее, то прекрасное, живое, туманно-светящееся, что мы пытаемся в Энрофе заменить изделиями из шерсти, шелка или льна, — вырабатывалась самим нашим телом: тем нашим эфирным телом, которого мы почти никогда не сознаём на себе здесь, но которое в посмертье становится столь же очевидным и кажется столь же главным, как для нас — физическое. И в мирах Просветления, и в Энрофе без него невозможна никакая жизнь.

И всё же первое время в Олирне для меня было отравлено тоской об оставшихся в Энрофе. Там остались дети и внуки, друзья и старушка-жена — то драгоценнейшее для меня существо, ради которого я нарушил закон касты и стал неприкасаемым. Прерыв связи с ними питал постоянную тревогу об их судьбе; скоро я научился видеть их смутные облики, блуждавшие по тернистым тропам Энрофа. А некоторое время спустя уже встречал свою жену такую же юную, какой она была когда-то, но более прекрасную: её путь в Энрофе завершится несколькими годами позже моего, и теперь радость нашей встречи не была омрачена ничем.

Один за другим открывались новые органы восприятия: не те органы зрения и слуха, которые в эфирном теле полностью совпадают с соответствующими органами тела физического, — нет! те органы зрения и слуха действовали с первых минут моего пребывания в Олирне, и именно через них я Олирну воспринимал; но то, что мы называем духовным зрением, духовным слухом и глубинной памятью; то, к раскрытию чего стремятся в Энрофе величайшие мудрецы; то, что раскрывается там лишь у единиц среди многих миллионов; то, что в Олирне раскрывается

постепенно у каждого. Духовное зрение и слух преодолевают преграды между многими слоями; жизнь оставленных мною на земле я воспринимал именно ими — ещё неотчётливо, но всё же воспринимал.

Я наслаждался просветлённой природой — такой зрительной красоты я не видал в Энрофе никогда, — но странно: в этой природе мне не хватало чего-то, и скоро я понял, чего: многообразия жизни. С печалью я вспоминал пение и щебет птиц, жужжание насекомых, мелькание рыб, прекрасные формы и бессознательную мудрость высших животных. Только здесь мне уяснилось, как много значит для нас, для нашего общения с природой животный мир. Однако те, кто знал больше меня, вселяли надежду, что древняя, смутная мечта человечества о существовании слоёв, где животные предстают просветлёнными и высокоразумными, — не мечта, но предчувствие истины: такие слои есть, и со временем я буду вхож в них.

Позднее, совсем недавно, мне напомнили о некоторых зонах, которые имеются в Олирнах всех метакультур. Говорилось об областях, похожих на холмистые степи: там находятся некоторое время те, кто в Энрофе был слишком замкнут в личном, чьи кармические узлы развязаны, но душа слишком узка и тесна. Теперь, среди прозрачных, тихих холмов, под великолепным небом ничто не препятствует им восполнить этот ущерб, принимая в себя лучи и голоса космоса и раздвигая границы своего расширяющегося Я. Говорилось и о зонах Олирны, похожих на горные страны: там, в долинах, трудятся над собой те, кто смог уверовать — точнее, достоверно почувствовать потустороннее — уже только в посмертии. Они созерцают оттуда горные вершины, но не такими, какими видим их мы, а в духовной славе. Могущественные духи, господствующие там, льют в созерцающих струи своих сил. И способности души, парализованные неверием, раскрываются там, в дни и годы непосредственного лицезрения миогослойности вселенной и торжественного величия других миров. Но это я не помню сколько-нибудь отчётливо, быть может, потому, что я был там лишь гостем, а источник сведений об этом не внушает мне абсолютной уверенности, что сведения эти не упрощены ради их для меня понятности, следовательно, не искажены.

Кроме общения с людьми и наслаждения природой, время уходило на работу над своим телом: предстояло подготовить его к трансформе, ибо путь из Олирны в следующие, высшие миры лежит не через смерть, но через преображение. И я понял, что стихи Евангелия, повествующие о вознесении Иисуса Христа, намекают на нечто схожее. Воскресение из мёртвых изменило природу Его физического тела, и при вознесении из

Олирны оно преобразилось вторично вместе с эфирным. Мне, как и всем остальным, предстояло преобразование лишь эфирного тела; преобразование, подобное тому, которое некогда видели апостолы своим зрением, проникавшим в Олирну, но ещё не достигавшим миров, лежащих выше. Как иначе могли бы выразить евангелисты переход Спасителя из Олирны туда, как только назвав это событие Его вознесением на небо? И я, воспитанный в строгом брахманизме, начал понимать, какой странной для меня, бездонной правдой полон христианский миф.

И образ великого предателя, дотоле принимавшийся мною лишь как легенда, стал для меня реальностью: я узнал, что здесь, среди морей Олирны, в глубоком уединении, на пустынном острове находится теперь он. Свыше шестнадцати веков длился его путь сквозь страдания. Низвергнутый грузом кармы, неповторимой по своей тяжести, в глубочайшее из них, ни раньше, ни позже не выдавшее у себя ни одного человека, он был поднят оттуда Тем, Кого предал на земле, но лишь после того, как Преданный достиг в своём посмертии такой невероятной духовной силы, которая для этого нужна и которой не достигал ранее никто в Шаданакаре. Поднимаемый силами Света вверх и вверх по ступеням чистилищ, искупивший своё предательство достиг, наконец, Олирны. Ещё не общаясь с её обитателями, он подготавливается на острове к дальнейшему восхождению. Этот остров я видел издалека: он суров, внутри него — нагромождение странных скал, вершины которых все наклонены в одну сторону. Вершины — острые, цвет скал — очень тёмный, местами чёрный. Но самого Иуду не видит в Олирне никто: видят по ночам только зарево его молитв над островом. В грядущем, когда в Энрофе наступит царство того, кого принято называть антихристом, Иуда, приняв из рук Преданного великую миссию, родится на земле вновь и, исполнив её, примет мученическую кончину от руки князя Тьмы.

Но объяснить, какими именно усилиями была достигнута моя собственная трансформа и что, собственно, совершалось в ту минуту с моим телом, я бы не мог. Теперь я припомнить в силах только то, что стало тогда перед моими глазами: множество людей, может быть, сотни, пришедшие проводить меня в высокий путь. Достижение трансформы кем-либо из живущих в Олирне всегда бывает радостью и для других; событие это окружается торжественным, светлым и счастливым настроением. Очевидно, событие происходило днём, на возвышении вроде холма и, как всё в индийской Олирне, под открытым небом. Я помню, как ряды обращённых ко мне человеческих лиц стали мало-помалу делаться туманнее и как бы несколько удаляться в пространстве; вернее, по-

видимому, я сам удалялся от них, приподнимаясь над землёю. Вдали, на горизонте, я видел до сих пор полупрозрачный, будто сложенный из хризолита, горный кряж, вдруг я заметил, что горы начинают излучать удивительное свечение. Трепещущие радуги перекинулись, скрещиваясь, по небосклону, в зените проступили дивные светила разных цветов, и великолепное солнце не могло затмить их. Я помню чувство захватывающей красоты, ни с чем не сравнимого восторга и изумления. Когда же взгляд мой опустился вниз, я увидел, что толпы провожавших больше нет, весь ландшафт преобразился совершенно, и понял, что миг моего перехода в высший слой уже миновал.

Я был предуведомлён, что в этом слое буду совсем недолго, ибо все проходящие его минуют в несколько часов, но в эти часы весь этот слой — название его Файр — будет охвачен ликованием обо мне, его достигшем. Это — великий праздник, уготованный каждой восходящей душе, — о, не человеческой только, но и душам других монад Шаданакара, поднимающимся по ступеням Просветления, даже — высшим животным. В известном смысле Файр — рубеж пути: после него ещё могут совершаться воплощения в Энрофе, но уже только с определённой миссией. Впоследствии не исключены падения, бунт, не исключена даже глубоко сознательная и тем более тяжкая измена Богу, но уже никогда не будет возможен слепой срыв, и на веки веков исключён из числа возможностей тот паралич духовного понимания, который в различные века Энрофа, проявляясь в психике живущих, менял свои разновидности, оттенки и названия, а в наш век преимущественно, хотя и не исчерпывающе, определяется как материализм.

Если искать в знакомых для всех явлениях хотя бы отдалённую аналогию тому, что видишь в Файре, нельзя остановиться ни на чём, кроме праздничной иллюминации. Надо ли при этом говорить, что самые великолепные из иллюминаций Энрофа сравнительно с Файром — не более чем несколько наших ламп в сравнении с созвездием Ориона.

Я видел множество существ в их вдвойне и втройне просветлённых обликах: они явились сюда из более высоких слоёв, движимые чувством сорадования. Чувство сорадования свойственно просветлённым в несравненно большей мере и силе, чем нам; каждая душа, достигшая Файра, порождает это ликующее чувство у миллионов тех, кто миновал его ранее. Как передать состояние, охватившее меня, когда я увидел сонмы просветлённых, ликующих оттого, что я, ничтожный я, достиг этого мира? — Не благодарность, не радостное смущение, даже не потрясение, — скорее оно было похоже на то блаженное волнение, когда

смертные в Энрофе предаются неудержимым и беззвучным слезам.

Минут и форм перехода в следующий слой я не помню. Потрясающее переживание Файра вызвало глубокое изнеможение и как бы размягчение всех тканей души. И всё, что я могу теперь восстановить из пережитого на следующей стадии подъёма, сводится к одному состоянию, но длившемуся очень долго, может быть, целые годы.

Лучезарный покой. Разве не противоречивое, казалось бы, словосочетание? С обилием света у нас связывается представление о деятельности, а не об отдыхе, о движении, а не о покое. Но это — у нас, в Энрофе. Не везде это так. Да и самоё слово «лучезарный» не так точно, как хотелось бы. Потому что сияние Нэртиса лучезарно и в то же время невыразимо мягко; в нём сочетается чарующая нежность наших ночей полнолуния с сияющей лёгкостью высоких весенних небес. Как будто убаюкиваемый чем-то, более нежным, чем тишайшая музыка, я растворялся в счастливой дремоте, чувствуя себя подобно ребёнку, после многих месяцев, полных обид, страданий и незаслуженной горечи, укачиваемому на материнских коленях. Женственная ласка была разлита во всё, даже в воздухе, но с особенной теплотой излучалась она от тех, кто окружал меня, словно ухаживая с неистощимой любовью за больным и усталым. То были взошедшие раньше меня в ещё более высокие слои и нисходящие оттуда в Нэртис к таким, как я, для творчества ласки, любви и счастья.

Нэртис — страна великого отдыха. Неприметно и неощутимо, безо всяких усилий с моей стороны, лишь в итоге труда моих друзей сердца, моё эфирное тело медленно изменилось здесь, становясь всё легче, пронизанное духом и послушнее моим желаниям. Таким, каким является наше тело в затамисах, небесных странах метакультур, оно становится именно в Нэртисе. И если бы меня мог увидеть кто-нибудь из близких, оставшихся в Энрофе, он понял бы, что это — я, он уловил бы неизъяснимое сходство нового облика с тем, который был ему знаком, но был бы потрясён до глубины сердца нездешней светлотой преображённого.

Что сохранилось от прежнего? Черты лица? — Да, но теперь они светились вечной, неземной молодостью. — Органы тела? — Да, но на висках сияли как бы два нежно-голубых цветка — то были органы духовного слуха. Лоб казался украшенным волшебным блистающим камнем — органом духовного зрения. Орган глубинной памяти, помещающийся в мозгу, оставался невидим. Так же невидима была и перемена, совершавшаяся во внутренних органах тела, ибо всё, приспособленное раньше к задачам питания и размножения, было

упразднено или в корне изменено, приспособленное к новым задачам. Питание сделалось похоже на акт дыхания, и пополнение жизненных сил совершалось за счёт усвоения светлого излучения стихиалей. Размножения же — как мы его понимаем — ни в одном из миров восходящего ряда нет. Там есть иное, и об этом я скажу, дойдя до главы о Небесной России.

По истечении долгого времени я стал ощущать всё прибывающее, радостное нарастание сил, как будто раскрытие таинственных и долгожданных крыльев. Не нужно понимать меня слишком буквально: речь не о появлении чего-нибудь, напоминающего крылья летающих существ Энрофа, но о раскрытии способности беспрепятственного движения во всех направлениях четырёхмерного пространства. Это было ещё только возможностью — неподвижность по-прежнему покоила меня, но возможность полёта превращалась из неопределённой мечты в очевидную, открывающуюся передо мной перспективу. От друзей моего сердца я узнаю, что моё пребывание в Нэртисе подходит к концу. Мне казалось, что нечто, схожее с колыбелью, где я покоился, как бы медленно раскачивается вверх и вниз, и каждый взлёт казался выше предыдущего. Это движение порождало предвкушение ещё большего счастья, в которое я должен теперь войти. И я понял, что нахожусь уже в другом слое — в Готимне, последнем из миров сакуалы Просветления. То были как бы колоссальные цветы, размер которых не лишал их удивительной нежности, а между ними открывались бездонные выси и дали девяти цветов. О двух из них, лежащих за пределами нашего спектра, могу здесь только сказать, что впечатление, производимое одним из них, ближе всего к тому, которое оказывает на нас небесно-синий, а впечатление от другого отдалённо напоминает впечатление, которое здесь оказывает золотой.

Огромные цветы Готимны, составляющие целые леса, склоняются и выпрямляются, качаются и колышутся, звуча в непредставимых ритмах, и это их колыхание подобно тишайшей музыке, никогда не утомляющей и мирной, как шум земных лесов, но полной неисчерпаемого смысла, тёплой любви и участия к каждому из там живущих. С лёгкостью и спокойствием, недостижимыми ни для какого существа в Энрофе, мы двигались, как бы плывя в любом из четырёх направлений пространства между этими напевающими цветами, или медлили, беседуя с ними, потому что их язык стал нам понятен, а они понимали наш. Здесь, на небесно-синих полянах или подле огромных, тихо мерцающих золотых лепестков, нас посещали те, кто сходит в Готимну из затомисов, чтобы подготовить нас, младших братьев, к следующим этапам пути.

Садом Высоких Судеб называется Готимна, оттого что здесь

предопределяются надолго судьбы душ. Передо мной представало распутье: оно является всякому, взошедшему в этот слой. Выбранного здесь нельзя уже было бы изменить долгие столетия ни в одном из многих миров, здесь предызбираемых. Я мог свободно выбрать одно из двух: либо подъём в Небесную Индию, конец навсегда пути перевоплощений, замену его путём восходящих преобразений по иноматериальным слоям; либо ещё одно, может быть и несколько, существований в Энрофе, но уже не как следствие неразвязанной кармы — она была развязана, — а как средство к осуществлению определённых, только мне поручаемых и мною свободно принимаемых задач. И хотя слово «миссия» на русском языке звучит книжно и лишено поэзии, я буду употреблять его и впредь для обозначения таких специальных заданий, поручаемых отдельной душе для осуществления в Энрофе. Тяжесть ответственности того, кто принял миссию, возрастает во много раз, так как миссия связана всегда не только с судьбой её носителя, но и с судьбою очень многих душ, судьбою и прижизненной, и посмертной, иногда же — с судьбой целых народов и всего человечества. Того, кто предаст свою миссию добровольно или вследствие слабости, ждёт возмездие и искупление в самых глубоких и страшных слоях. Это не значит, что для прошедшего сквозь сакуалу Просветления невозможны более на земле падения, измены, этические срывы. Невозможен только срыв слепой, основанный на незнании о бытии Бога; но дремлющее на дне души под лучами Нэртиса и Готимны может пробудиться во мраке ночей Энрофа и повлечь носителя миссии в сторону или вниз. Если эти падения не затронут существа его миссии, Провиденциальные силы поднимут его из любого провала, чтобы миссия всё-таки была осуществлена.

Передо мной открылась возможность спуска назад, уже в пределы другой метакультуры, мне до тех пор незнакомой и чуждой, ещё совсем молодой, но с огромным грядущим. Что-то тревожное, бурное, сумрачное излучалось от этого огромного, разнослойного массива, смутно воспринимавшегося мною издалека. Задание же, принятое мною, должно было иметь отношение к великой задаче, выходящей далеко за пределы этой метакультуры и долженствовавшей в далёком грядущем охватить мир. Уже тысячи душ подготавливались для участия в этой задаче.

И я выбрал именно эту возможность. Я теперь понимал, что мною взята на плечи такая ноша, сбросить которую невозбранно уже нельзя.

И из Готимны Индии я был перенесён в Готимну России: там должна была закончиться моя подготовка к исполнению миссии, свыше принятой моим Я. Но падения, акты бунта и измены возможны и после светлых



жизней, потому что тогда может проснуться в душе спавшее при солнечном свете. Были такие падения и на моём пути уже после Готимны. Однако на это придётся бросить луч в некоторых других главах книги. Теперь же наступает время заговорить о затомисах, небесных странах метакультур.

Но если о сакуале Просветления я мог рассказывать как о пережитом на основании того, что удалось вспомнить, то о сакуале затомисов память может хранить лишь редкие, отрывочные образы, запечатлевшиеся гораздо позднее, во время моих трансфизических странствий, совершавшихся в состоянии сна отсюда, из Энрофа России. Эти смутные образы дополнялись другим, неоценимым источником познания — трансфизическими встречами и беседами. Автобиографический метод к изложению этого материала неприменим. И следующие главы будут, к сожалению, протокольны и сухи, подобно главе об исходной концепции.

## Глава 2

### Затомисы

Вершины метакультур, называемые затомисами, до некоторой степени совпадают с географическими контурами соответствующих культурных зон Энрофа. Пространство всех затомисов четырёхмерно, но каждый из них отличается свойственным только ему числом временных координат. Материальность этой сакуалы сотворена одной из ангельских иерархий — Господствами; сами же затомисы медленно строятся совместными усилиями иерархий, героев, гениев, праведников и широчайших, способных к творчеству народных множеств, пока сверхнарод, их выдвинувший, продолжает своё становление в истории, — и позже, когда его исторический путь завершается и миллионы его бессмертных монад продолжают своё восхождение от одной высоты мирового познания и творчества к другой.

Основателем каждого из затомисов является кто-либо из великих человекодухов.

Панорама этих слоёв очень отдалённо напоминает нашу природу. Пожалуй, из элементов земного ландшафта ближе всего к ландшафту затомисов — небо с облаками. Океанам нашим и морям соответствуют зоны как бы светлых паров, легко проницаемых и сияющих: это — души морских стихиалей; рекам Энрофа соответствуют их души, образования невыразимой красоты, на которую даже намекнуть нельзя словами «сияющие туманы».

Растительность мало походит на нашу: это — души стихиалей, о которых речь впереди. Пока достаточно, мне думается, сказать, что в затомисах находятся души некоторых стихиалей в промежутках между инкарнациями.

Смена суток в этих слоях протекает совершенно так же, как у нас, будучи обусловлена тем же самым вращением планеты вокруг оси. Погода меняется в пределах приятного и прекрасного.

Высшее человечество — синклиты метакультур — наша надежда, наша радость, опора и упование. Праведники, некоторые родомыслы и герои вступают сюда почти сразу после смерти в Энрофе, быстро миновав миры Просветления. О подавляющем большинстве таких душ нам не расскажет никакая история: они прошли в глубине народа, не оставив следа ни в летописях, ни в преданиях — лишь в памяти тех, кто их знал или

слышал о них от живых свидетелей. Это незаметные герои нашей жизни; думать иначе, то есть вообразить синклит метакультуры в виде некоего собрания «знаменитостей», значило бы доказать, что наш нравственно-мистический разум спит ещё крепким сном.

Другие, в особенности носители особых даров, даже павшие после смерти в глубину чистилищ., поднимаются оттуда силами Света, сокращающими сроки их искупительного очищения, и вступают в синклит.

Не только иные из художественных гениев, но ещё больше родомыслов и героев, а праведники — все, развязали ещё в Энрофе свои кармические узлы, искупили груз своих вин, и смерть для них была широко распахнутыми воротами затомигов.

Других смерть застигла ещё не подготовленными к высшим ступеням, ещё отягощёнными. Таким приходится сначала миновать ряд ступеней в верхних чистилищах — верхних по отношению к страшным кругам магм и земного ядра, но нижних по отношению к нам. Многие тысячи таких душ, достигнув, наконец, Готимны, избирают не новые спуски в Энроф, но труд и великую борьбу в братствах затомигов.

Третьи не отяготили своих душ в Энрофе никакими падениями, напротив; но кругозор их, объём их знания, их чувство космического, хотя и выросли после Олирны, всё же недостаточно велики. Путь из Олирны означал для них начало странствия, иногда — долгого, даже длящегося, может быть, века, пока они не станут способными вместить задачи и мудрость синклита. Таким образом, между последней смертью в Энрофе и вступлением в синклит такие души не искупают, а только расширяют и обогащают себя.

Путь перевоплощений вообще не есть универсальный закон. Но преобладающая часть монад движется всё-таки по этому пути. Они испытали уже ряд рождений в других народах Энрофа, в других метакультурах, даже в другие тысячелетия и на других концах земли, а до человеческого цикла многие из них проходили свой путь в других царствах Шаданакара; их шельты надстояли, быть может, даже над существами растительного и животного царств. Иные знали в незапамятные времена воплощения в человечестве титанов, среди праангелов или даймонов. Воспоминание об этой гирлянде рождений хранится в их глубинной памяти; и объём духовной личности таких монад особенно велик, пучина воспоминаний особенно глубока, их будущая мудрость отличается особенной широтой. Носители высшего дара художественной гениальности, которым посвящено несколько глав в другой части этой книги, все имели позади себя подобную гирлянду воплощений. И

напротив: праведники метакультур христианских, в противоположность праведникам некоторых восточных метакультур, знают, в большинстве, иной путь восхождения: путь, приводящий в Энроф лишь раз, но зато в странствиях по другим слоям раскрывающий перед глазами такие высоты мира, что память об этом пылает в их душах как звезда, и её лучи во время их единственной жизни в Энрофе распутывают в их сердце все тенёта тьмы.

Деятельность синклитов необозримо многообразна и широка, а во многом для нас и непостижима. Я мог бы указать на три её стороны: помощь — творчество — борьбу.

Помощь — всем, ещё не достигшим затомисов. Ангелы мрака, хозяева чистилищ, не выпустили бы своих жертв ещё века и века, если бы не безостановочные усилия синклитов. Магмы и ужасающие миры земного ядра удерживали бы страдальцев вплоть до третьего мирового периода (ныне подходит к концу ещё только первый). Живущие в Энрофе были бы окружены почти непроницаемым панцирем духовной тьмы, если бы не синклиты.

Но эта работа, избавляющая одних, облегчающая других, предохраняющая третьих, обогащающая четвёртых, просвещающая пятых, — лишь одна сторона. Другая сторона — творчество автономных ценностей, значение которых непреходяще. Однако для нас созерцание творений синклитов, а тем более понимание их, возможно лишь в минимальной степени. Передача же их смысла при помощи наших понятий исключена полностью.

Несколько понятнее третья сторона деятельности синклитов — их борьба с демоническими силами. Можно сказать, что бороться им приходится телесно, но, конечно, оружие их не имеет с оружием Энрофа ни одной точки соприкосновения. Оно разнообразно; оно зависит и от совершенства владения собственным существом, и от того, против кого оно направлено. Однако общий его принцип характеризуется тем, что это — концентрация волевых излучений, парализующих врага. Гибель в бою для братьев синклита невозможна. Возможно другое: в случае поражения — длительный плен в глубине демонических крепостей.

Ландшафты затомисов осложняются неким эквивалентом городов, очень мало, впрочем, походящих на наши, тем более, что жилищ, в строгом смысле этого слова, там нет. Назначение сооружений — совершенно особое; это преимущественно места общения братьев синклита с другими мирами и с духами других иерархий. Здания, где протекает их общение в его высших формах с монадами стихиалей, называются шериталями. И всё

же в архитектуре затомисов угадываются стили, знакомые нам, но как бы возведённые на несравненно более высокие ступени. Это результат параллельных процессов, понять которые нелегко. Нелегко — но следует. Дело в том, что прекрасные архитектурные сооружения Энрофа, насыщаясь излучениями многих человеческих психик, приобретают этим самым душу, точнее — астрал: такие астралы пребывают в затомисах. Но в затомисах есть и такие сооружения, никакого двойника которых в Энрофе нет, например — те же шериталы. Есть и такие, которые были уловлены, поняты творцами Энрофа и намечены ими к воплощению на земле, но история поставила этому непреодолимую преграду.

Братья синклитов могут опускаться в миры нисходящего ряда вплоть до магм и подниматься до весьма высоких слоёв, которые обозначаются как Высшие Аспекты Трансмифов мировых религий.

В каждом затомисе господствует преображённый язык соответствующей страны Энрофа, здесь это не только звуко-, но и светоязык. Нисколько не странно применить к этим языкам и наше понятие словарного «фонда»; при этом надо указать, что фонд этот весьма отличен от нашего, соответственно иному, несравненно более богатому запасу понятий. Наряду с этими языками метакультур есть и общий язык для всех: названия слоёв, существ и иерархий — оттуда. Быстрота и лёгкость усвоения различных языков здесь не может идти ни в какое сравнение с соответствующим процессом в Энрофе: это происходит безо всякого труда, само собой. Общий язык затомисов принято называть языком Синклита Мира, но это не вполне точно: Синклит Мира, о котором речь далеко впереди, знает такие формы общения, какие не имеют ничего общего с какими бы то ни было звуковыми языками. Но, нисходя с высот в затомисы метакультур, братья Синклита Мира направляли создание единого языка затомисов, и только поэтому условное наименование этого языка связано с их именем.

В затомисах, кроме синклитов, обитают ещё и другие существа: будущие ангелы. Это чудеснейшие творения Божии, и если мы вспомним сиринов и алконостов наших легенд, мы приблизимся к представлению о тех, чьё присутствие украшает жизнь в затомисах Византии и России: к представлению о существах, предопределённых стать потом «солнечными архангелами». В других затомисах обитают иные существа, не менее прекрасные.

Итак, я дошёл до перечня затомисов.

Их девятнадцать.

Маиф — древнейший из затомисов, небесная страна и синклит

Атлантической метакультуры, существовавшей в Энрофе приблизительно с двенадцатого по девятое тысячелетие до Рождества Христова.

Атлантида находилась на архипелаге островов, крупнейший и главнейший из которых по размерам напоминал Сицилию. Её населяла красная раса. То было рабовладельческое общество, сперва составлявшее несколько мелких государств, позднее объединившихся в деспотию. Мировоззрение было политеистическим с огромным пластом магии. Пантеон и культ омрачались включённым в него демонопоклонством. Ближе всего из хорошо известных нам культур Атлантида была бы к Египту и отчасти к ацтекам, но сумрачнее и тяжелее. Из искусств доминировали архитектура, скульптура и танец. Цивилизацию ни в коем случае нельзя назвать высокой, хотя атланты, пользуясь наличием цепи мелких островов между Атлантидой и Америкой, поддерживали связь с этим континентом, откуда вели своё происхождение. Позднее им случилось добраться и до Западной Африки, предание об Атлантиде достигло впоследствии до Египта через посредство древней Суданской цивилизации, ныне неизвестной, но следы которой ещё могут быть обнаружены в будущем. Над этическими представлениями атлантов довели образы беспощадных и алчных божеств, и в культе большую роль играло ритуальное людоедство. В поздний период возникли полуэзотерические религиозные движения светлой направленности. Но в общем картина была довольно мрачной вследствие большой активности демонических начал.

Главный остров и окружавшие его мелкие погибли от ряда сейсмических катастроф. Небольшие группы жителей спаслось в Америке, одна — в Африке, где и растворилась в негрском населении Судана. Ныне Маиф, существующий уже около пятнадцати тысячелетий над некоторой зоной Атлантического океана, достиг огромного могущества Света.

Эмблематический образ: красный храм на чёрном фоне; перед ним — четыре фигуры в белом, с воздетыми руками.

Фигуры обозначают культы четырёх светлых божеств: именно через эти культы в Атлантическую культуру сходила духовность.

Линат — затомис так называемой Гондваны, если понимать под этим именем не тот незапамятно древний материк, который, задолго до человека, существовал в Индийском океане, — но метакультуру, очагами которой в Энрофе были Ява, Суматра, Южный Индостан и некоторые города, ныне покоящиеся на дне моря. Время существования Гондванской культуры — шесть и более тысячелетий до Р.Х.

Эта была группа государств — торговых олигархий на рабовладельческой основе, причём сильно развитое мореплавание

Гондваны втянуло в торговый и культурный обмен побережья Индокитайского полуострова, Цейлон и многие острова Индонезии. Господствовали политеизм и, в основном, те же три искусства; танец развился до театра мистерий. Но кровожадность и религиозно-демоническая жестокость атлантов Гондване были незнакомы. Это был чувственный, сангвинический, жадный до жизни народ, богато одарённый художественно, с очень напряжённой жизнью сексуальной сферы. Мистика пола пронизывала и культ, и повседневную жизнь, достигавшую в эпоху расцвета подлинного великолепия; подобной роскоши не знали ни Атлантида, ни даже Вавилон и Египет. Расу Гондваны можно, мне кажется, назвать протомалайской. Во всяком случае, коричневая кожа плотно обтягивала их широкие скулы и полные губы, удлинённые глаза были слегка раскосы, фигуры стройны и мускулисты, с широкими плечами, тонкой талией и очень крепкими икрами ног. Народ был красив полнокровной и страстной красотой юга.

Через несколько тысячелетий в этой же зоне возникла Индомалайская культура, кое в чём повторившая свою предшественник, но гораздо более одухотворённая.

Эмблематический образ Лината: женщина в фиолетовом и мужчина в зелёном, обнявшие друг друга за плечи, на золотом фоне, под красной нижней половиной солнечного диска.

Фиолетовый цвет означает здесь скрещение синего — сил Мировой Женственности, низлияние которых с такою мощью произошло в Гондванской метакультуре впервые за всё время существования нашего человечества, — с красным: он символизирует стихийность, но не в смысле стихийной Природы, а в смысле чрезвычайной активности некоторых стихийных сил, связанных с человечеством. Зелёный обозначает такую же силу активности стихийных сил Природы. Золото — иератический фон, говорящий о развитой уже духовной реальности, стоящей за этим сверхнародом.

Иалу (кажется, он носит также имя вроде Атхеам) — затомис Древнеегипетской метакультуры.

Совершенно затмившая Атлантиду своими масштабами и величавостью, эта культура создала, ещё во времена своего исторического бытия, огромный синклит и ослепительный затомис. Однако демоническим силам удалось одержать серьёзную победу в четырнадцатом веке до н. э., когда через великого родомысла и пророка Эхнатона Провиденциальные силы сделали первый в мировой истории шаг к озарению народных сознаний реальностью Единого Бога. Если бы реформа Эхнатона удалась, встретив достойных преемников и продолжателей, миссия Христа была бы

осуществлена на несколько веков раньше, и не на Иордане, а в долине Нила.

Замечу, что египетская вера в Небесный Нил имела под собой переживание высшей действительности. Текущая через Иалу — мифическую страну Блаженных, то есть через затомис метакультуры, — великолепная река многослойна: это и великая одухотворённая стихияль земного Нила, и Соборная Идеальная Душа египетского народа.

Эмблематический образ: белая ладья с парусами на синей реке, текущей к солнцу.

Занна — затомис древней Вавилоно-ассиро-ханаанской метакультуры, возникшей, по-видимому, в четвёртом тысячелетии до Р.Х. Семиступенчатые храмы-обсерватории, сделавшиеся вершинами и средоточиями великих городов Двуречья, повторяли в Энрофе, как отражения, грандиозный небесный город, сооружаемый синклитом этого затомиса. Но зиккураты в городах Вавилонии и корпорация высокопосвящённого жречества, принимая на этих мистических обсерваториях излучения светлых космических сил, не убереглись от принятия также чрезвычайно деятельного излучения галактического анти-Космоса, центр которого в Энрофе совпадает с системой звезды Антарес. Это всё более замутняло и без того двойственную религию, вливало тонкий яд в существо воспринимающих, оплотняло и утяжеляло их душевный состав грузом сомнения и отрицания.

Вавилонская метакультура была первой, в которой Гагтунгру удалось добиться в подземном четырёхмерном слое, соседнем с вавилонским шрастром, воплощения могучего демонического существа, уицраора, потомки которого играли и играют в метаистории человечества огромнейшую и крайне губительную роль. В значительной степени именно уицраор явился виновником общей духовной ущербности, которой была отмечена эта культура в Энрофе. И хотя богиня подземного мира, Эрешкигаль, побеждалась в конце концов светлой Астартой, нисходившей в трансфизические страдалища Вавилона в порыве жертвенной любви, но над представлениями о посмертье человеческих душ, исключая царей и жрецов, довлело пессимистическое, почти нигилистическое уныние: интуитивное понимание парализующей власти демонических сил.

Эмблематический образ: семиступенчатый белый зиккурат.

Семь ступеней обозначают те семь слоёв, которые были пережиты и ясно осознаны религиозным постижением вавилонского сверхнарода.

Шан-Ти — затомис Китайской метакультуры, существовавшей в Энрофе со второго тысячелетия до н. э. по сей день. Его значительное



усиление началось в последние века перед Христом, когда конфуцианство создало долговечный нравственный кодекс и жизненный уклад, способствовавший поднятию общенародного этического уровня. Однако свободному развитию высших сторон души ставился весьма невысокий потолок. Постепенно окаменев, конфуцианский закон стал не столько путём восхождения, сколько тормозом. Этим объясняется то, что объём и сила китайского затамиса, несмотря на его древность, не так велики, как можно было бы ожидать. Распространение буддизма распростёрло над географическим Китаем другой затамис, сосуществующий с Шан-Ти и в последние века принимавший в себя гораздо больше просветлённых душ, чем национально-китайский затамис.

Эмблематический образ: прекрасное женское лицо в лотосообразной короне.

Сумэра (или Мэру) — которое из этих имён следует считать более правильным, мне неизвестно.

Затамис Индийской метакультуры — самый могучий из всех затамисов Шаданакара. Уже по древней мифологии, вершина горы Сумэры была увенчана городом Брахмы, на её склонах располагались города других божеств индуизма, но Небесная Индия не ограничивалась их числом, а включала несколько больших участков суши, разделённых морями. Ныне Небесная Индия надстоит над географической зоной Энрофа, гораздо более широкой, чем пределы Индийского государства. На протяжении четырёх тысяч лет духовная деятельность исключительно одарённых в религиозном отношении народов Индии привела к тому, что две метакультуры отделились от неё, став самостоятельными системами слоёв, а саму Небесную Индию восполнило столь огромное число просветлённых, что в XX веке влияние её синклита перевесило всю силу демонических начал: Индия оказалась единственной культурой Энрофа, неуклонно развивающейся по высокоэтическому пути. Ещё гораздо раньше мощь Индийского синклита воспрепятствовала созданию силами Гагтунгра, как это сделали они в остальных метакультурах, слоёв безысходных страдалниц. До Христа эта метакультура оставалась единственной, обладавшей чистилищами и не достигавшей своей нижней окончательностью до магм.

Мэру имеет два великих средоточия: над Гималаями и над горами Нильгири в Центральной Индии — и множество меньших. Кроме того, в Энрофе Индийский синклит обладает прочной точкой опоры в лице некоего текучего коллектива людей, эпохально перемещающегося по некоторой географической кривой: до второй мировой войны он находился на Памире,

ныне — в Южной Индии.

Ландшафт Небесной Индии схож с ландшафтом Небесной России, но природа роскошнее: сказываются и тропический характер соответствующих стран Энрофа, и большая длительность существования этого затомиса. Через весь затомис течёт Небесная Ганга: для Индийской метакультуры она имеет то же двойное значение, что Небесный Нил для Египетской.

Эмблематический образ: три белых горных цепи, одна выше другой, увенчанные золотыми городами. Смысл: первая цепь — затомис, вторая и третья весьма высокие миры, наивысший аспект Индуистского трансмифа.

Зерван — затомис Древнеиранской (маздеистской) метакультуры.

Недостаточная чёткость идеи единобожия в этой, впрочем, весьма возвышенной и чистой религии, не позволила создать почву, бывшую необходимой для того, чтобы миссия Христа могла бы осуществиться в Иране. Позднейшая попытка Иранской метакультуры восполнить эту свою неудачу созданием новой международной религии — манихейства — завершилась вторичной неудачей благодаря тому, что демоническая инвольтация получила доступ к творческому сознанию её основателей. К моменту мусульманского завоевания Иранская культура исчерпала своё поступательное движение. В последующие века единственной точкой опоры её в Энрофе оказалась община парсов в Индии. Естественно, что число вступающих через миры Просветления в Зерван теперь чрезвычайно невелико, а сам Зерван почти оторвался от географических зон Энрофа.

Эмблематический образ: жертвенник с пылающим огнём.

Олимп — затомис древней Греко-римской метакультуры.

Этим именем называется и средоточие затомиса, величайший град просветлённых, действительно связанный с географическим районом горы Олимп, и вся небесная страна Греко-римской метакультуры. Бывший в эпоху исторического существования Эллады и Рима обиталищем и ареной деятельности тех нечеловеческих иерархий, которые отразились в образах греко-римского пантеона, этот затомис сделался постепенно в тысячелетие после Христа обиталищем синклита. Иерархии, пребывавшие там некогда, за истёкшие века совершили огромный путь восхождения и ныне обитают и действуют в несравненно более высоких мирах, в то же время, однако, надстоя над Олимпом и действенно инвольтируя его синклит.

Аполлон — имя демиурга Греко-римской метакультуры. Афина Паллада — имя Соборной Идеальной Души этого сверхнарода.

Эмблематический образ: белый античный храм на горе, на фоне голубого неба.

Нихорд — затомис Еврейской метакультуры — нижний, только нижний слой синклита Израиля.

Основателем Нихорда был великий человекодух Авраам. Древние учителя еврейства инвольтировались демиургом этого сверхнарода, но чистоте этой инвольтации мешали воздействия сперва стихийные, связанные с «гением места» горы Синай, потом — еврейского уицраора. Всё же под «Я» библейских книг следует видеть Всевышнего. Монотеизация была необходима для всего человечества как почва, без которой не могла осуществиться в Энрофе задача Христа. Внедрение в сознание народа идеи единобожия было достигнуто ценой колоссального напряжения сил, истощившего Нихорд на долгое время. Отсюда — не всегда победоносная борьба с демоническими силами и трагический характер еврейской истории. В столетие, завершившееся жизнью и смертью Иисуса, эта географически маленькая зона была ареной напряжённейшей борьбы сил Гагтунгра и Божественных сил. Несколько подробнее об этом будет сказано в другом месте. Воскресение Христа было встречено в Нихорде великим ликованием: отношение еврейского синклита к Планетарному Логосу — такое же, как и в остальных затомисах, другого не может и быть. Но тех, кто входит в Нихорд, перед этим в Олирне ждёт открытие истины Христа, не понятой ими на земле — открытие изумляющее, которое многие долго не могут осмыслить. Гибель Иерусалима и еврейского царства отразилась в Нихорде скорбью, но с сознанием логичности происшедшего: с агрессивным, но слабым еврейским уицраором не могло бы случиться ничего другого после того, как он вступил в непримиримую борьбу с демиургом сверхнарода в годы проповедничества Христа на земле. После окончательного разгрома евреев при Адриане еврейских уицраоров больше не было и нет. Но за уицраором стояла ещё одна, более страшная демоническая иерархия — исчадие Гагтунгра, истинный соперник демиурга; он продолжал воздействовать на еврейство и в эпоху рассеяния. Средневековый иудаизм продолжал формироваться под воздействием двух полярных влияний: этого демона и Нихорда. Теперь Нихорд пополняется уже очень малым числом новых братьев, входящих, однако, именно через иудаизм в миры Просветления. Восстановление государства Израиль в XX веке не имеет к Нихорду никакого отношения; восстанавливаемый храм — театральный спектакль, не более. Нового израильского уицраора не возникло, но схожую роль играет одно из существ, о которых будет сказано в главе об эгрегорах; на него оказывается сильнейшее воздействие из главного гнездилища демонических сил.

Географически Нихорд связан до сих пор с районом Палестины.

Эмблематический образ: шатрообразное сооружение, окружённое деревьями с огромными красными плодами. Смысл: шатёр — скиния Завета, символ впервые удержавшегося в истории откровения Единого; деревья с плодами — Земля Обетованная, ожидающая сверхнарод не на земле, а в затомисе.

Рай — условное наименование затомиса Византийской метакультуры. Как и остальные затомисы христианских метакультур, это — одна из лестниц, ведущих с разных сторон к чрезвычайно высокому миру, называемому Небесным Иерусалимом: он есть не что иное, как Высший Аспект Христианского Трансмифа; вопрос о нём будет освещён немного позднее.

Рай — древний, мощный слой, существующий отчасти и над Россией. Его основатель — великий человекодух, бывший в Энрофе Иоанном Крестителем.

Победа Иисуса Христа, хотя осуществившаяся лишь частично, вызвала громадное возбуждение сил в демонических мирах. В частности, их усилия направились на то, чтобы не дать преобразить страдалища Византийской метакультуры во временные чистилища. Эти усилия увенчались успехом, но, в конечном счёте, их жертвой пала Византийская культура в Энрофе. Отсутствием чистилищ и неизбежным для грешников посмертным спуском в безысходные муки магм и Ядра было вызвано то устойчивое ощущение ужаса перед малейшим грехом, которое было свойственно наиболее одарённым духовно людям Византии; в значительной степени именно это привело к крайностям аскетизма.

Южнославянские народы метаисторически находятся в промежуточной области между Византийской, Российской, Римско-католической и Мусульманской метакультурами. Синклиты их — в Раю.

Эмблематический образ: ручей в цветущем саду, люди в золотых одеждах. Одежда символизирует преображённое тело, золотой цвет — пронизанность силами Отца Миров.

Эдем — условное наименование затомиса Романо-католической метакультуры, одна из лестниц, ведущих к Небесному Иерусалиму. К этой метакультуре принадлежит и несколько народов другого этнического корня: поляки, венгры, чехи, ирландцы, хорваты.

Основатель Эдема — великий человекодух, бывший в Энрофе апостолом Петром.

Эмблематический образ — тот же, что у Рая, но преобладающий цвет — голубой. Голубой цвет означает большую пронизанность католичества

началом Мировой Женственности.

Монсальват — затомис метакультуры европейского Северо-Запада, Американского Севера, а также Австралии и некоторых частей Африки: самый географически обширный и расчленённый из всех затомисов. Основатель Монсальвата — великий человекодух Титурэль, связанный с Христом задолго до воплощения Спасителя в Палестине. Так же, как Лоэнгрин и Парсифаль, он является не легендарным героем, а реально существовавшим некогда в Энрофе (хотя и не в Палестине) человеком. Грааль содержит эфирную кровь Христа, пролитую им на Голгофе.

Разграничение слоёв Эдема и Монсальвата основано главным образом на национально-культурных различиях между романскими и германскими народами. Но большая религиозность или светскость деятельности человека вносила в посмертные судьбы людей Западной Европы множество корректив, тем более, что Монсальват возник на несколько веков позже Эдема. Франция находится в промежуточном положении, её трагедия в том, что у неё нет своего синклита. Одни из восходивших монах поднимались из Франции в своём посмертии в Эдем, другие — в Монсальват.

Центр Монсальвата, ранее связанный с системой Альп, в конце средних веков переместился далеко на Восток и теперь находится в связи с Памиром (причины этого очень сложны). Но над Европой и Америкой блещет множество других, меньших метагородов. Некоторые из них надстоят над небольшими по физическому масштабу, но духовно могучими центрами Энрофа, как Гейдельберг, Кембридж, Веймар.

Эмблематический образ: храм готического стиля, но белый, на горном пике; на фоне храма — алая сияющая чаша.

Жюньфлейя — затомис Эфиопской метакультуры, которая две тысячи лет влачила своё существование в исключительно неблагоприятных историко-географических условиях, как островок христианства между двумя враждебными океанами — ислама и примитивного язычества негрских племён. Эта метакультура не смогла осуществить и одной десятой своих потенций. Ныне протекает мучительный метаисторический процесс — Жюньфлейя перемещается в другую сакуалу: сакуалу метакультур, трагически недостроенных в Энрофе. При исключительно счастливом стечении исторических обстоятельств этот процесс ещё может приобрести обратную направленность.

Эмблематический образ: белое круглое здание в развевающихся покрывалах. Смысл: здание — затомис, покрывала — тонкие и тончайшие материальности.

Джаннэт — затомис Мусульманской метакультуры.

От остальных мировых религий ислам отличается тем, что у него отсутствует высший аспект трансмифа, то есть в чрезвычайно высокой сакуале миров высших трансмифов мировых религии нет мира, специально связанного именно с исламом. Это сказало в бедности мусульманской мифологии, в несамостоятельности большинства разработанных в нём трансфизических образов и сюжетов, почерпнутых преимущественно из иудаизма и христианства. Представляя собою во многом по отношению к христианству регресс, ислам, тем не менее, даёт душе возможность восходящего движения, способствует втечению в жизнь сил духовности и за период своего исторического существования создал не столь мощный, но всё же очень яркий затомис и блистающий синклит.

Эмблематический образ: белая мечеть между двух симметрично склоняющихся пальм; люди в зелёном и белом. Смысл: мечеть — затомис, пальмы — два основных вероисповедания ислама.

Сукхавати — «Западный рай Амиабхи-Будды» — затомис метакультуры, связанной с северным буддизмом, так называемой Махаяной. Он господствует над Тибетом и Монголией, а над Японией и Китаем сосуществует с Шан-Ти и с национальным японском затомисом Никисакой.

Сукхавати отделился от материнской Индийской метакультуры в IX веке, когда средоточия буддизма окончательно передвинулись из Индии в Тибет и Китай. Особенно же усилился он три-четыре столетия спустя, когда блистательно начавшая свой путь Гималайская метакультура начала клониться к преждевременному упадку и за тибето-китайскими центрами буддизма закрепились руководящая роль.

Затомис Сукхавати — один из самых многолюдных и сильных. Это — одна из двух лестниц к тому высокому миру «Высшего аспекта буддийского трансмифа», который носит имя Нирваны и о котором мы будем говорить впоследствии.

Эмблематический образ: заря над лотосами.

Айренг-Далян — затомис чудеснейшей, мало известной пока у нас в России Индомалайской метакультуры. Отделившись от метакультуры Индийской около V века, она охватила брахмано-буддийские царства Явы, Индокитайского полуострова и Цейлона, одно время исторически выражалась в объединившей эту территорию империи Сайлендра, но позднее была резко ослаблена отрывом Явы, подпавшей исламу, и в конце XIX века — хищными демонами — уицраорами Европы. Теперь она ещё теплится в индокитайских королевствах, но благоприятный исторический климат мог бы вызвать её новое цветение.

Эмблематический образ: смеющиеся дети в саду храма-дворца.

Небесная Россия — об этом затомисе будет сказано подробнее, чем о других, несколькими строчками ниже.

Затомис Негрской метакультуры. К сожалению, мне о нём неизвестно почти ничего, даже его имя. Известно, что он молод и ещё очень слаб. После крушения Суданской культуры с её религией, допускавшей низлияние духовности не только на верхи, но даже в толщу негрских народов Экваториальной Африки, негры надолго утратили возможность восходящего посмертия. Оно стало приоткрываться им лишь несколько веков назад в связи с тем, что некоторые племена достигли той стадии, когда смутные политеистические системы делаются доступными для вмещения первых проявлений духовности. Ещё в большей степени восходящее посмертие открылось негрским народам вместе с распространением — к сожалению, слабым — ислама и христианства. Метаисторическое значение имелось и в факте образования Либерии, создавшей в Экваториальной Африке небольшой, но прочно защищённый очаг христианской духовности. С негрским затомисом связано также негритянское население Америки. Представители белой расы поднимаются в этот затомис лишь в виде редкого исключения. Гарриэт Бичер-Стоу, например, достигнув Монсальвата, удалилась оттуда в негрский затомис, где её деятельность долгое время имела огромное значение, а положение её было схоже отчасти с положением королевы, отчасти — с положением главы священства.

Эмблематический образ: лестница, ведущая от озера к оранжевому круглому зданию. Смысл: озеро — материальность сверхнарода, здание — затомис. Оранжевый цвет — скрещение солнечного золота с алостью тех стихиаблей, которые связаны не с царствами природы, а с человечеством.

Последний из великих затомисов находится в состоянии творения. Это — Аримойя, будущий затомис общечеловеческой метакультуры, связанной с возникновением и господством грядущей интеррелигии Розы Мира. Материальность Аримойи, как и других затомисов, создаётся одной из ангельских иерархий — Господствами; великий человекодух, бывший в последнем воплощении на Земле Зороастром, руководит созданием того, что я решу условно обозначить выражением «великий чертёж».

Эмблематический образ: белый многобашенный собор, с главной центральной башней, колоннадами и лестницами, окружённый рядом огромных струнных инструментов, похожих на золотые лиры. Смысл: башни — затомисы человечества, центральная башня — Аримойя; колоннады — миры даймонов, ангелов, стихиаблей, просветлённых

животных; лиры — все народы земного шара.

Небесная Россия.

Эмблематический образ: многохрамный розово-белый город на высоком берегу над синей речной излучиной.

Как и остальные затомисы, Небесная Россия, или Святая Россия, связана с географией трёхмерного слоя, приблизительно совпадая с очертаниями нашей страны. Некоторым нашим городам соответствуют её великие средоточия; между ними — области просветлённо прекрасной природы. Крупнейшее из средоточий — Небесный Кремль, надстоящий над Москвою. Нездешним золотом и нездешней белизной блещут его святилища. А над мета-Петербургом, высоко в облаках того мира, высится грандиозное белое изваяние мчащегося всадника: это — не чьё-либо личное изображение, а эмблема, выражающая направленность метаисторического пути. Меньшие средоточия рассеяны по всему затомису; среди них — и метакультурные вершины других наций, составляющих вместе с русской единый сверхнарод. Здесь пребывают синклиты Украины, Грузии, Армении; теперь к этому затомису начинает примыкать и синклит народа болгарского вместе со своими небесными городами. Общая численность обитателей Небесной России мне неизвестна, но я знаю, что около полумиллиона просветлённых находится теперь в Небесном Кремле.

Демиург Яросвет проявляется в небе и воздухе этого мира так, как если бы прозрачный океан могущества проходил от одного небосклона до другого и заливал бы сердца. Это могущество сосредоточивается в храмах демиурга, образ его очерчивается, голос его становится внятным, и возникает общение между ним и просветлёнными — общение, придающее им силу и высшую мудрость.

Так же проявляет себя другая, схожая с демиургом иерархия — великие духи-народоводители отдельных наций, входящих в состав нашей метакультуры. Среди них есть и более древние, чем Яросвет, есть и юный народоводитель Украины.

Но ни Навны — Идеальной Соборной Души народа русского, ни её сестёр — соборных душ других народов, всё ещё нет здесь: пленённые в глыбах государственности, в цитадели великодержавного демона, уицраора, в подземном мире российского античеловечества, они достигают Небесной России лишь отдалёнными звучаниями, ослабленными отблесками.

Моря светящихся эфиров — это души стихиаблей, сияющих красками, непредставимыми для нас, омывают там сооружения, которые отдалённо



можно было бы уподобить громадам лазурных и белых гор.

Об этом мире поёт русская церковь, когда провожает новопреставленных в невозвратный путь, дабы Господь упокоил их в «месте светлом, месте злачном, месте покойном, иде же несть ни печали, ни въздыхания, но жизнь бесконечная».

Новые пришельцы являются в Небесной России в особых святилищах, имея при этом облик не младенцев, а уже детей. Состояние вновь прибывших схоже именно с состоянием детства; смена же возрастов заменяется возрастанием просветлённости и духовной силы. Нет ни зачатия, ни рождения. Не родители, а восприемники подготавливают условия, необходимые для просветлённой души, восходящей сюда из Готимны. В обликах некоторых из братьев синклита можно было бы угадать черты, знакомые нам во времена их жизни в Энрофе: теперь эти черты светозарны, ослепительны; они светятся духовной славой, истончены и облегчены. Производимая преображённым телом, их одежда светится сама. Для них невозбранно движение по всем четырём направлениям пространства; оно отдалённо напоминает парение птиц, но превосходит его лёгкостью, свободой и быстротой. Крыльев нет. Восприятию просветлённых доступно множество слоёв: нисходящие — чистилища, магмы, страшная Гашшарва; восходящие — миры Просветления, круги ангелов, даймонов и стихиалей, миры инвольтаций других брамфатур, миры Высших Аспектов мировых трансмифов. Они вхожи в тёмные шрастры — миры античеловечества, обитатели которых видят их, но бессильны их умертвить; они вхожи и в наш Энроф, но люди способны их воспринять только духовным зрением.

Та любовь между мужчиной и женщиной в Энрофе, которая достойна именоваться великой, продолжается и здесь, освобождённая от всего отягощавшего, возросшая и углубившаяся. Между некоторыми существует и телесная близость, но от задач продолжения рода она совершенно откреплена и вообще не имеет ничего схожего с телесной близостью в Энрофе. Многие органы тела здесь полностью изменили свою структуру, назначение и смысл, в том числе органы, связанные с принятием и усвоением пищи, потому что процесс восстановления жизненных сил здесь схож с дыханием. Возрастание духовности постепенно подводит просветлённого к следующей великой трансформе тела, которая ведёт в более высокие миры, в Небесный Иерусалим и ещё выше — вплоть до Синклита Мира и Элиты Шаданакара.

В затомисах нет ничего схожего с нашей техникой: она заменена другим, крайне трудно поддающимся пониманию. Можно, впрочем,

констатировать, что принцип — не в создании механических приспособлений, сделанных из посторонней материи, а в развитии многообразных способностей собственного существа. Из посторонней материи создаётся здесь лишь то, что сравнимо в какой-то мере с творениями наших пространственных искусств.

Всюду блистают здесь души церквей, существовавших у нас, или таких, которые должны были быть построены. Многие храмы имеют, однако, назначение, трудно понятное для нас. Есть святилища для общения с ангелами, с Синклитом Мира, с даймонами, с верховными иерархиями. Несколько великих храмов предназначено для встреч с Иисусом Христом, временами сходящим сюда, принимая зримый, человекоподобный облик, другие — для встреч с Богородицею. Теперь там воздвигается величайший храм: он предназначен стать обителью того Великого Женственного Духа, который примет астральную и эфирную плоть от брака Российского демиурга с Идеальной Соборной Душой России. Я ещё с детства привык называть этот храм храмом Солнца Мира, но это название неправильно. Закономерно относимо оно к другому сооружению, ещё более грандиозному, тому, что намечается созданием в Аримое. Храм же, создаваемый в Небесном Кремле, именуется обителью Звенты-Свентаны, и впоследствии я объясню, что значит это имя. Эта великая Женственная Сущность ныне стала уже существом одного из высочайших миров Шаданакара. В Энрофе она не примет плоти никогда, но родится в Небесной России, приняв человекоподобный облик. Это будет не царица наша и не богиня — свет, благодать и божественная красота.

Лестница дивных, один сквозь другой просвечивающих миров поднимается из алтаря в храме Женственности, в храмах Христа, в храмах демиурга Яросвета. Лестница поднимается в Небесный Иерусалим и, наконец, к преддвериям Мировой Сальватэрры.

Временами в Небесной России рождаются великие человекодухи — те, кто закончил свой путь в Шаданакаре, достигнув до его наивысших миров и теперь со-творит Планетарному Логосу. Ради помощи нижестоящим они покидают Элиту Шаданакара и, осуществляя миссии, объять которые не в состоянии самый высокий мистический разум человека, сходят путём рождения сюда, в затомисы. Они принимают здесь такие же просветлённые тела, как и у братьев синклита, но несравненно превосходят их быстротою своего вхождения в полноту духовной силы и масштабами своего Я. Их пути в затомисах похожи на пути гениев среди остального человечества, но синклиты предуведомлены об их рождениях и ждут их с радостью и ликованием.

Те же, кто были гениями и вестниками на Земле, продолжают после искуплений, просветлений и трансформ своё творчество здесь, в затомисах.

Возрастает блаженство самих гамаюнов и сиринов, когда они видят те эпопеи, которые творят там великие души, прошедшие в последний раз по земле в обликах Державина и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Толстого и Достоевского, Рублёва и Сурикова, Глинки и Мусоргского, Казакова и Баженова. Светящиеся волны невообразимых звучаний взмывают местами как бы из сердца небесных гор: они водворяют душу в состояние такой духовной отрады, от какого разорвалось бы земное сердце, и, поднимаясь и меняясь, подобно славословящим облакам, опускаются в любви и тишайшей радости.

Великий зодчий, когда-то приступивший к сооружению храма «Тела, Души и Духа» в Москве на Воробьёвых горах, испытавший крушение своего замысла, изгнание, забвение и нищету, теперь творит высочайшее, что есть в Небесном Кремле: внутренние приделы в обители Звенты-Свентаны.

Но среди просветлённых Небесной России лишь ничтожное меньшинство известно нам, знакомым с историей нашей Родины. Имена остальных ничего не скажут нашей памяти.

В монастырях Киевской и Московской Руси, так же как и в обителях более поздних времён, проходили незаметно свою жизненную тропу не светочи святости, но тихие души, менее богатые дарами, молча и смиренно вносявшие свою лепту в религиозное творчество, в соборный труд духа.

Во все эпохи по дорогам России брели странники и искатели, сказители и бандуристы, безымянные творцы сказок и духовных стихов, песен и легенд, никем не записанных утраченных рассказов о героях своего времени и о его идеалах. А чудесные мастера сканного, обронного или иконописного дела, плотники-строители чудесных теремов, смиренных деревянных церквей и весело разукрашенных изб, влюблённые в свой труд каменщики, столяры, гончары, ткачи, ювелиры, переписчики, работавшие в мастерских, приказах, кельях и под открытым небом, чьи создания, отмеченные радостью творчества и горячей любовью к жизни, веселили и радовали целые поколения, — где могут быть их создатели ныне и что они могут создавать теперь, если не вечные ценности Святой Руси?

Во все эпохи русской истории тысячи мужиков — огнищан, смердов, тяглых крестьян, крепостных и вольных, просто и чисто проживших свой век, совершали труд посевов и жатв как возложенный на них Богом долг, с благоговением и благодарностью к Матери-Земле, и умирали простой и ясной смертью, веруя и простив всех.

Во все эти эпохи тысячи матерей несли свой крест, воспитывая людей, достойных имени человека, и в служении этому делу полагавших смысл своей жизни. Разве это не одно из самых высоких творчеств?

Когда начали строиться школы, сотни людей бросали привычный круг и образ жизни и уходили — хочется сказать, спускались — в народные низы, замуровывая себя на всю жизнь в захолустьях, среди непробудного невежества, где не с кем было перекинуться живым словом: всё ради просвещения непросвещённых.

А врачи, работавшие по одному на целый уезд? А герои-доктора на эпидемиях? А те из революционеров, кто был движим не фанатизмом, ненавистью и жаждой власти, а живую любовью к людям и скорбью от созерцания скорбей народа? А те из священников, которые, в меру данных им от Бога даров, являли образец ясной и чистой жизни, возвращая во множестве простых сердец лучшее, что в этих сердцах было?

Нет возможности перечислить те пути на земле, встав на которые, путник приходит, рано или поздно, к синклиту. Вопрос только во времени, в стадиях, которые ещё надо преодолеть по дороге к этой цели. Цели, не проявляющейся в сознании человека с полной отчётливостью, но ведомой её бессмертной монаде и влекущей её.

О, напрасно представлять себе Небесную Русь в виде нескончаемых, однообразно строгих служб и молений. Там такие духовные наслаждения, о каких мы не имеем понятия; там есть и шутки, и смех, и даже игры, особенно среди их детей.

Я мог бы перечислить несколько имён деятелей русской культуры и истории, которые вступили в Небесную Россию за последние сорок лет. Пусть смеется, кто хочет, над этим сообщением. Да и к репутации сумасшедшего мне не приходится привыкать. Итак, имена некоторых из тех, кто не имел нисходящего посмертия и сразу после смерти в Энрофе вступил через миры Просветления в синклит: Лесков, Римский-Корсаков, Ключевский, Гумилёв, Волошин, Рахманинов, Анна Павлова, Сергей Булгаков, Иоанн Кронштадтский, патриарх Тихон, цесаревич Алексей Николаевич, несколько творцов и тысячи героев, погибших от руки Сталина. Очень немногие из имён тех, кто вступил в синклит после кратковременного пребывания в верхних чистилищах: Фет, Л. Андреев, Александр Блок, Шаляпин, Александр II, Константин Романов, академик Павлов.

Из числа просветлённых, взошедших в Небесной России на особенную высоту, мне известно несколько имён: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, Алексей Конст. Толстой, Достоевский, Аксаковы,

Витберг, Кутузов, не пользующийся широкой известностью и рано умерший гравёр XVIII века Чемезов.

Ближе остальных к великой трансформе, уводящей в Небесный Иерусалим и в Синклит Мира, подошли к настоящему времени Лермонтов, Владимир Соловьёв, император Иоанн VI, а также два духа, чьи имена вызвали моё удивление, но были два раза твёрдо произнесены: Шевченко и Павел Флоренский.

За всё время существования русского затомиса через него в Синклит Мира поднялось несколько десятков человек, из которых мне известны следующие имена: Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Антоний и Феодосии Печёрские, летописец Нестор, дружинник Сергей — автор «Слова о полку Игореве», Александр Невский, Сергей Радонежский, Андрей Рублёв, Нил Сорский, Ломоносов, Александр Благословенный, Амвросий Оптинский, Серафим Саровский.

Зрение, разрывающее оковы нашего пространства, различает вдали, за сферу Российской метакультуры, небесные страны других метакультур, такие же лучезарные, исполненные неповторимого своеобразия. Подготовка в любви и взаимопонимании к творению небесной страны всечеловечества священной Аримой, — вот узы, связующие ныне синклиты и грады метакультур. Величайшие из детей человечества, завершив творения в своих священных градах, выходят за метакультурные пределы: поднимаясь в Синклит Мира как бы с разных сторон, они встречаются, наконец, но ещё задолго до его достижения. Мир их встречи — Гридрутства, белый чертог, где творится ими общий план восхождения человечества. Дальнейший подъём приводит в такие слои, где их мудрость и мощь превосходит мудрость и мощь демиургов. Высший провиденциальный план, который мы сквозь историю можем различить иногда как бы за частными планами демиургов, есть отражение их творческого труда. Это — Синклит Мира. Он со-творит, во всей ясности духовного сознания, самому Планетарному Логосу.

Аримойя лишь недавно начата творением в четырёхмерных мирах, а её историческое отображение на Земле будет смыслом и целью наступающего столетия. Для этого и совершилось низлияние сил Приснодевы-Матери из транскосмических сфер в высшие слои Шаданакара — сил, сосредоточившихся в одной божественной монаде; для этого и создается в Небесной России небывалый храм, чтобы принять в него Ту, Чьё рождение в четырёхмерных мирах есть цель и смысл грядущего брака Российского Демиурга и Соборной Души. Исторически же, через осуществление этого великого Женственного Духа в Розе Мира начнётся

преобразование государственности всех народов в братство всех. В этом Российскому синклиту помогают и будут помогать все синклиты метакультур, а Синклит Мира примет от них и продолжит их труд, чтобы завершить его всемирным бого-человечеством.

Однако, кроме великих затомисов, исчисляемых цифрой 19, в Шаданакаре имеется другая сакуала затомисов: это затомисы метакультур, трагически недостроенных в Энрофе. Если становится ясно, что Провиденциальные силы данной метакультуры не могут противостоять натиску демонических начал, её затомис перемещается в слой этой сакуалы. Культурные, а иногда и государственные образования её в Энрофе мало-помалу растворяются в общечеловеческом окружении, уицраоры погибают, подземные шрастры влачат мучительное прозябание, постепенно вырождаясь; но затомис продолжает своё развитие, синклит продолжает и усиливает своё творчество. Души такой метакультуры, ещё не достигшие того уровня, при котором затомис становится для них открыт, могут проходить ступени необходимого совершенствования вне Энрофа либо претерпевать инкарнации в других метакультурах и странах, но в конце концов достигают именно своего затомиса. Бывают и такие случаи, когда культурно-исторический базис в Энрофе ещё длит, постепенно хирея, своё существование и затомис сохраняет с ним активную связь-помощь. В таких случаях ещё возможно, при благоприятных условиях, возвращение затомиса в прежнюю сакуалу, а сверхнарода — к исторической жизни. Нечто подобное происходит теперь с Жюнфлейей, о которой я уже упоминал.

Мне остаётся коротко перечислить пятнадцать затомисов этой второй сакуалы.

Намбата — затомис Древнесуданской метакультуры, в очень неблагоприятных условиях крайне медленно развивавшейся, лучше сказать, теплившейся в долине Нигера, в районе озера Чад и в Кордофане с девятого по пятое тысячелетие до Р.Х. Погибла от центробежных сил, истощавших её нескончаемыми междоусобными войнами. Первая в истории человечества попытка сцементировать антагонистические и притом этнографически пестрые народности общей международной религией (конечно, политеистической) не удалась вследствие усиленного демонического воздействия через весьма двойственный пантеон той же религии. Археологические остатки этой культуры ещё могут быть обнаружены.

Эмблематический образ: хоровод нагих тёмных людей на изумрудно-зелёном фоне.

Цен-Тинь — затомис Прамонгольской метакультуры — прамонгольской не в этнографическом, а в территориальном смысле. Её народ принадлежал к жёлтой расе, но антропологически, да и духовно был ближе к народам Гондваны, чем позднейшей Монголии. Он населял Северный Китай и Приамурье в четвёртом — третьем тысячелетии до н. э. и переходил от кочевого образа жизни к оседлому. Уже возникли небольшие города. Начало этой культуры было замечательное. Ведущей иерархией был не демиург сверхнарода, а некое могучее демоническое существо, которое должно было обратиться и уже обращалось к Свету. Оно было погублено Гагтунгром, а сверхнарод раздавлен ордами, нахлынувшими из Центральной Азии.

Эмблематический образ: крылатый дракон, запрокинувший голову к Солнцу и заливаемый его лучами.

Прэд — затомис Дравидической метакультуры, определяемой этим наименованием условно, так как в ней принимали участие народности различного этнического корня, в том числе близкие к сумерам. К поздним образованиям этой метакультуры относятся города Мохенджо-Даро и Хараппа. Катастрофа (в начале второго тысячелетия до н. э.) явилась следствием как внутренних причин (для меня они не ясны), так и внешних: вторжения арийцев.

Эмблематический образ (я видел его неотчётливо): розовая пагода.

Асгард — неправильно называемый иногда более популярным именем Валгаллы — затомис Древнегерманской метакультуры, парализованной ростом в историческом слое христианства. Катастрофа произошла в двенадцатом веке.

Эмблематический образ: золотой чертог в облаках.

Токка — затомис Древнеперуанской (доинкской) метакультуры, исторически развивавшейся в века перед и после Р.Х. Быть может, не надо печалиться, что это образование погибло в Энрофе, так как воздействие демонических начал было в нём очень сильно.<sup>[12]</sup>

Эмблематический образ: каменная статуя сидящей пумы.

Бон — затомис Древнетибетской культуры, разрушенной буддизмом, но элементы которой органически вошли в культуру Махаяны.

Эмблематический образ: красная и голубая молнии, скрестившиеся над оранжевым шатром царя. Смысл: голубая молния — буддизм с его духовностью, красная — добуддийская, в очень сильной степени отравленная демонизмом, тибетская религия. Шатёр — царская власть, гибнущая в итоге скрещения этих двух сил.

Гаурипур — затомис маленькой, слишком рано отделившейся от

Индии, но с огромными возможностями, Гималайской метакультуры. Именно здесь зажигались когда-то самые яркие очаги буддизма; здесь в лоне этого учения протекали те метаисторические процессы, которые создали из него религию в полном смысле этого слова, то есть учение не только нравственное, но и трансфизическое и духовное. Нравственная же сторона буддизма поднялась в Гималаях на такую ступень, которая знакома лишь чистейшим образцам христианства.

Гималайская метакультура погибла от натиска с двух сторон демонов великодержавной государственности: тюркских уицраоров — с севера и с запада, уицраоров империи Великих Моголов — с юга. Ныне эта метакультура совершенно гаснет в Непале.

Эмблематический образ: коронованная горная вершина под созвездием Ориона.

Юнкиф — затомис Монгольской метакультуры, сразу ставшей добычей необыкновенно могучего уицраора. Катастрофа — в тринадцатом веке.

Эмблематический образ: волнистая линия холмов, и над нею сражение двух стай, белой и красной.

Йиру — затомис Древнеавстралийской метакультуры, две тысячи лет существовавшей в полнейшей изоляции от остального человечества в Центральной Австралии. Общество дошло до рабовладельческой формации. Метакультура погибла вследствие чрезвычайной активности демонических стихий — духов пустынь и непроходимых кустарниковых зарослей. На протяжении многих веков в культуре боролись две религии — «правой и левой руки»: политеистическая и демоническая. Последняя приносила человеческие жертвы именно тем злобным стихиям, которые губили метакультуру. Под конец эта религия взяла верх и борьба против наступления пустыни и кустарников была объявлена грехом. Культура в Энрофе угасла благодаря внутреннему высыханию. Из искусств наиболее развитой была живопись. Она напоминала до некоторой степени Критскую, но была интереснее и ярче. Остатки цивилизации, которые будут обнаружены, не дадут восстановить картину вследствие своей незначительности.

Эмблематический образ: облако над вулканом, но это, в действительности, сверхнарод и его синклит.

Тальтном — затомис Тольтеко-ацтекской метакультуры.

Эмблематический образ: героический лик, увенчанный солнцем.

Кэрту — затомис Юкатанской метакультуры (майя).

Эмблематический образ: голубая змея вокруг золотого древа. Смысл:



змея далеко не у всех народов являлась символом тёмных начал. Золотое древо — духовный (трансфизический) мир. Голубая змея — сверхнарод, спиралеобразным развитием поднимающийся к духу.

Интиль — затомис Инкской метакультуры, гибель которой в Энрофе, как ни странно, уберегла мир от большой опасности (об этом пойдёт речь в одной из других частей книги).

Эмблематический образ: фигура в красном, с митрой на голове и с руками, воздетыми к солнечному диску. (Красный цвет здесь — знак царственности, митра — верховного священства.)

Даффам — затомис Индейской метакультуры области Великих озёр.<sup>[13]</sup>

Эмблематический образ: группа воинов, направляющих копья на серп ущербной луны.

Леа — затомис Полинезийской метакультуры, которую погубила её крайняя географическая расплывённость. Остатки догорают на Гавайях, Таити и других архипелагах.

Эмблематический образ: золотая гора на острове в голубом море.

Никисака — затомис Японской метакультуры, тяжело раненной дважды: буддизмом и европеизмом — и не могущей раскрыть своих потенциалов. Шинтоизм по существу есть поклонение Никисаке как японскому синклиту; богиня Аматерасу, в правильном понимании этого образа, есть не что иное, как Навна Японии. Процесс перемещения Никисаки в сакуалу трагически недостроенных в Энрофе метакультур происходит теперь. Роза Мира сможет существенно помочь укреплению этого затомиса: для него ещё вполне возможен возврат.

Эмблематический образ: Цветущие вишни над водоёмом.

## Глава 3

### Средние слои Шаданакара

Раньше чем пытаться нарисовать панораму демонических сакуал, имеющих для трансфизики и метаистории Шаданакара столь колоссальное значение, а также сакуал стихиалей, некоторые из которых с демоническими началами тесно связаны, целесообразно дать понятие о нескольких сакуалах восходящего ряда, как бы следующих за сакуалами затомисов. Эти сакуалы весьма различны, но все вместе они составляют средние слои Шаданакара.

Естественно, что чем иерархически выше расположены слои, тем затрудненнее их познание, тем меньше аналогий с Энрофом можно найти в их ландшафтах, в облике и форме обитающих там существ, в содержании их жизни. Девять десятых виденного или так или иначе воспринятого остаётся непонятным, и в большинстве случаев приходится ограничиваться протокольными сообщениями об элементарных фактах, не пытаясь вскрыть, ни их закономерностей, ни их углублённого смысла.

Поэтому настоящая глава не сулит читающему почти ничего, кроме сухого перечня нескольких сакуал и составляющих их слоёв.

Мне помнится, например, что в мистике иудаизма фигурирует понятие «эгрегоры»; однако насколько точно совпадает этот термин с тем содержанием, которое вкладывается в него здесь, мне судить трудно, хотя бы вследствие моего более чем поверхностного знакомства с еврейскими теософемами. Так или иначе, здесь под эгрегорами понимаются иноматериальные образования, возникающие из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами. Эгрегоры лишены духовных монад, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности. Свой эгрегор имеет любое государство, даже Люксембург. Эти существа в основном статичны и неагрессивны. В борьбе между демоническими и Провиденциальными силами Шаданакара большинство эгрегоров участия не принимают; впрочем, имеются некоторые, примыкающие к демоническому стану.

С распадением эгрегоров исчезают и эквиваленты их сознаний, рассеиваясь в пространстве. Это не переживается ими как страдание.

Поскольку можно говорить о ландшафте этих слоёв, то для сакуалы эгрегоров характерны желтоватые клубящиеся пространства, в которых эгрегоры представляются несколько гуще окружающей среды.

Семь слоёв, составляющих эту сакуалу, можно перечислить вот в какой последовательности.

Затив — эгрегоры начальных племён, умирающие вместе с растворением племени в нации или вместе с его физическим уничтожением. Здесь же были эгрегоры древнейших культурно-государственных образований человечества, теперь уже рассеявшиеся в пространстве.

Жаг — область эгрегоров государств. Кроме того, тут находятся и эгрегоры некоторых крупных общественно-политических образований современности, например партии Индийский национальный конгресс.

Фораун — эгрегоры церквей. Образуются из тех тёмноэфирных излучений причастного к церквам людского множества, какие вносятся любой, не достигшей праведности душой, примешиваясь к её религиозным состояниям: из мирских помыслов, материальных интересов, стяжательства, страстных состояний — вообще из того, что отцы церкви называли «житейским попечением». Часто эти эгрегоры становятся большим тормозом, грузом на восходящем пути церквей. Со временем в Форауне будет эгрегор и Розы Мира: это неизбежно, поскольку интеррелигиозную церковь будущего составят не одни только святые, а и сотни миллионов людей, находящихся на различных ступенях пути.

Удгрогр — эгрегоры антицерквей, массовых воинствующих партий нового времени.

Слой, название которого мне неизвестно, обитаем эгрегорами, порождёнными психической деятельностью демонического населения шрастров. Точно так же неизвестно мне название слоя, принадлежащего эгрегорам, возникающим в результате психической деятельности мира даймонов — того самого второго, более светлого человечества, о котором будет сказано несколько слов страницей ниже.

Последний из эгрегориальных слоёв называется Цебрумр. Он ещё пуст. Здесь будет со временем эгрегор грядущей антицеркви, в которой осуществится демоническая квазирелигия поклонения Гагтунгру — ядро и основа грядущего (в конце первого эона) дьяволического человечества.

В сакуале, состоящей из трёх-четырёхмерных пространственных слоёв с огромным числом временных координат, обитает другое, высшее человечество Шаданакара. К сожалению, мои сведения о нём крайне скудны. Множество вопросов, возникающих при размышлении о нём, остаются в сложившейся у меня панораме Шаданакара широким пробелом. Это человечество называется даймонами. Оно проходит путь развития, схожий с нашим, но начало его гораздо раньше и совершалось более

успешно. По-видимому, определяющим фактором при этом явилось то, что миссия Иисуса Христа, в Энрофе оборванная усилиями Гагтунгра почти в начале и ознаменовавшаяся лишь частичной победой, в мире даймонов была полностью завершена. Хронологически это совершилось гораздо раньше, чем Христос вочеловечился в облике Иисуса. Его победа в мире даймонов устранила тягчайшие преграды, нагромождённые Гагтунгром на их восходящем пути, и к настоящему времени эти существа далеко нас опередили. Сроки и жертвы их становления были сокращены во много раз. Явлений социальной дисгармонии у них давно уже нет, и силы направлены на духовное и эстетическое совершенствование и на помощь другим слоям, в частности — человечеству Энрофа.

Даймоны — это крылатые люди, схожие своим обликом отчасти с ангелами, от которых, однако, их отличает, кроме многого другого, наличие двух полов. Основной слой их пребывания, соответствующий нашему Энрофу, носит имя Жерам. Природа, схожая с нашей, доведена там до уровня высокого художественного и эстетического совершенства, а машинная цивилизация одухотворена внутренней мудростью о силах и слоях Шаданакара и развитием высших способностей в их собственном существе. О человечестве Энрофа даймонам известно всё существенное.

От посмертных спусков в демонические миры возмездия даймоны освобождены со времён завершения в Жераме задачи Христа. А многоярусная сакуала чистилищ, опытно известная, хотя и забываемая большинством из нас, для них заменена единственным слоем — его имя Урм, — где некоторые из них проходят в посмертии искупляющее очищение. Параллель затомисам нашего человечества составляет для них Картиала — мир просветлённых даймонов, их небесная страна. Оттуда раскрывается подъём в сакуалу Высокого Долженствования и, наконец, в Синклит Мира.

Среди многих задач, встающих перед даймонами Картиалы по отношению к другим мирам Шаданакара, одна заключается в их деятельном участии в борьбе против уицраоров и античеловечества шрастров; другая — во вдохновляющем, творчески направляющем воздействии на творцов нашей художественной культуры. Отнюдь не поэтическим приёмом, а свидетельством о подлинных трансфизических фактах являются обращения одних поэтов к их вдохновителям — даймонам, других — к их музам. Не знаю, существовали ли в затомисе Олимпе девять сестёр Аполлона — весьма возможно и это, — но то, что даймоны женственной природы, музы, или мужественной природы — сократовские даймоны в узком смысле этого слова — способствовали

раскрытию творческих глубин в личности наших художников и мыслителей, не подлежит никакому сомнению. Только материалистическая слепота может заставлять проходить мимо бесчисленных свидетельств об этом со стороны наших поэтов, писателей, музыкантов, философов, начиная с Сократа и ещё раньше, кончая Гоголем и Александром Блоком.

Большинство даймонов-вдохновителей, выполнив свою задачу, отходят от вдохновлявшихся ими. Иногда же получается двуединство — явление крайне редкое и очень сложное для разъяснения.

Нередки и такие случаи, когда человеческие шельты вплетают в свою гирлянду одно воплощение в мире даймонов. Такое воплощение даётся им для того, чтобы закрепить светлые достижения души.

Но в сакуале даймонов обитает ещё и другая раса, меньшая по численности, отставшая в своём развитии и как бы опекаемая ими. История её появления в этих мирах мне не вполне ясна; кажется, это те же даймоны, когда-то в древности сорвавшиеся с пути, утратившие крылья и восполняющие нанесённый себе ущерб на дороге своеобразного искупления. Эти бескрылые существа почти не отличаются от человека. Здесь я подхожу к факту, который неизбежно вызовет почти в каждом, читающем эту книгу, вспышку отрицания и даже возмущения. Но если нельзя выбросить слова из песни, то из этой книги нельзя выбросить мысли. Итак, те существа, о которых я заговорил как о низшей расе даймонов, можно отчасти определить, как метапрообразы некоторых героев мировой литературы и искусства Энрофа. Случается, что интуиция художников Энрофа, свойственная, впрочем, лишь гениям, прозревает в Жерам, созерцает какое-либо из этих существ и приводит к созданию его отражения в человеческом искусстве. Это отражение становится как бы магическим кристаллом, который концентрирует излучения людей, возникающие в часы творческого восприятия; эти излучения, восходя в Жерам, дают метапрообразу силы для развития. Если такого отражения не создаётся, развитие замедляется и в некоторых случаях метапрообразу, быть может, придётся даже покинуть сакуалу даймонов и начать медленный путь в Энрофе.

Большинство живописных и скульптурных портретов, созданных в нашем мире, метапрообразов лишены: это — портреты людей, не более. Но такие произведения, как, например, Джоконда, кроме своего человеческого прототипа, связаны именно с прообразами из Жерама, постигнутыми интуицией гения. Отсюда необычайная значительность этих шедевров и сила их воздействия. Достойно сожаления то, что Джоконда была создана Леонардо таким образом, что прообраз оказался снижен и портрет включил

в себя некоторые элементы из Дуггура — одного из миров демонических стихиаблей, вследствие чего прообраз претерпел падение из Жерама в Урм, ибо этот слой играет роль чистилища не только для даймонов, но и для метапрообразов. Поднятая Леонардо, его посмертными трудами, снова в Жерам и выше, пра-Джоконда теперь находится в одном из слоёв Высокого Долженствования. Венера Милосская находится уже в Синклите Мира, так как душа эллинской женщины, которая послужила художнику в Энрофе натурой для этой статуи, после исторического окончания греко-римской культуры в Энрофе поднялась через Олимп именно в Картиалу даймонов и, воссоединившись со своим метапрообразом, вступила на лестницу восхождения по высшим слоям. То же будет в своё время со всеми душами подобных метапортретов.

С живописными произведениями жанров мифологического, психологического, исторического и бытового дело обстоит ещё сложнее, ещё разнообразнее. Суриковская боярыня Морозова обладала метапрообразом в Жераме, как и некоторые из второстепенных персонажей этого полотна, и благодаря творению художника поднята в Картиалу. Вместе с тем ныне Суриков создаёт в Небесном Кремле ослепительный вариант этой картины.

Изображение Репиным убийства Грозным своего сына завязало такой узел, которого Репин не развязал до сих пор; развязывать его приходится в Друккарге — противостоящем Небесному Кремлю шрастре античеловечества России, где Грозный находится сейчас как пленник и раб.

Ещё хуже с «Поверженным Демоном» Врубеля — поразительнейшим, уникальным случаем демонического инфрапортрета. Для развязывания этого узла Врубель вынужден был спускаться в Гашшарву, к ангелам мрака. Страшно выговорить, но, может быть, было бы лучше, несмотря на гениальность этого творения, если бы оно погибло в Энрофе.

Живопись пейзажная, несмотря на её колоссальное значение культурное и психологическое, приобретает трансфизическое значение очень редко. Это происходит либо в тех случаях, когда художнику удаётся заразить зрителя своим ощущением миров стихиаблей, сквозящих через природу Энрофа, либо же намекнуть своеобразными сочетаниями линий и красок на ландшафты какого-нибудь другого слоя. На мой личный взгляд, это удавалось, из русских художников, наиболее Рериху, а иногда — такому спорному, лучше сказать — отрицаемому, даже беспомощному художнику, как Чюрленис.

Что касается художественной литературы, то никаких метапрообразов за персонажами подавляющего большинства её произведений не стоит. Их

лишена, например, за исключением ничтожных единиц, почти вся советская литература. Не может быть также метапрообразов у персонажей исторического жанра, например, пушкинского Бориса или шекспировского Цезаря. Но у Макбета — есть, так как это не история. Вообще наличие метапрообраза в произведении влечёт за собой резкое уклонение от исторической буквальности в сторону придания персонажу особой глубины и такого масштаба, который не соответствует историческому прототипу. Этого нет ни в драме Пушкина, ни в «Цезаре» Шекспира: доказательство отсутствия в этих вещах метаисторической глубины.

После смерти в Энрофе художника-творца метапрообразы его творений в Жераме видят его, встречаются с ним и общаются, ибо карма художественного творчества влечёт его к ним. Многим, очень многим гениям искусства приходится в своём посмертии помогать прообразам их героев в их восхождении. Достоевский потратил громадное количество времени и сил на поднимание своих метапрообразов, так как самоубийство Ставрогина и Свидригайлова, творчески и метамагически продиктованное им, сбросило пра-Ставрогина и пра-Свидригайлова в Урм. К настоящему моменту все герои Достоевского уже подняты им: Свидригайлов — в Картиалу. Иван Карамазов и Смердяков достигли Магирна — одного из миров Высокого Долженствования. Там же находятся Собакевич, Чичиков и другие герои Гоголя, Пьер Безухов, Андрей Болконский, княжна Марья и с большими усилиями поднятая Толстым из Урма Наташа Ростова. Гётевская Маргарита пребывает уже в одном из высших слоёв Шаданакара, а Дон Кихот давно вступил в Синклит Мира, куда скоро вступит и Фауст.

Я хочу воспользоваться случаем, чтобы сказать несколько слов о трансфизическом значении театрального искусства. Отрицательное отношение к этому искусству со стороны христианской религиозности, как бы ни объясняли его историки культуры и даже религиозные проповедники, вызвано было тем, что христиане древности и средних веков своим, если так можно сказать, религиозным чутьём бессознательно ощущали соседство сценического искусства с древним оргиазмом, который связан отчасти с Лилит, а отчасти с одним, ещё более тёмным демоническим миром: несколькими страницами ниже этот мир, называющийся Дуггур, будет мною охарактеризован полнее. Дуггур связан с сексуальной сферой человечества, и хотя в средние века его не различали отчётливо, но испытывали перед его бесовскими излучениями страх, отвращение и стыд. Театральное же действо в собственном смысле может быть очень различно, даже полярно по своему трансфизическому значению. Шаляпин был глубоко прав, постясь и молясь после исполнения

роли Мефистофеля. Спектакль «Жизнь Человека» был вреден и для автора, и для исполнителей, и для зрителей, потому что лишён того, что древние называли катарсисом. Всё же сценические действия, проводящие актёра и зрителя через катарсис — духовный подъём и хотя бы кратковременное просветление, — глубоко оправданы. Что же касается метапрообразов, то значение спектаклей Энрофа для них таково: пока Смердяков был в Урме, сброшенный туда магически-творческим воздействием Достоевского, исполнение его роли на человеческой сцене было для него отяжеляюще, тормозяще, мучительно, теперь — безразлично. Исполнение же светлых ролей или ролей, проводящих через катарсис, всегда хорошо для всех, в том числе и для метапрообразов.

На сакуале даймонов моё изложение покидает на время четырёхмерные миры: теперь перед нами одинокий, ни в какую сакуалу не входящий, уже пятимерно-пространственный слой, Фонгаранда.

Приходится сделать предупреждение: дело дошло до понятий, весьма непривычных. Ибо Фонгаранда — слой пребывания шельтов великих творений архитектуры. Здесь они обладают способностью движения и роста; их изменение состоит в совершенствовании. Облик их близок к облику просветлённых стихиаблей, но форма не струистая, как у тех, и лишённая способности телесного взаимопроникновения. Следует понять, что создание в Энрофе их отражений гениальными зодчими, интуиция которых уловила отблески Фонгаранды, даёт им эфирное тело: внутри физического сосуда здания возникает оно из многолетних излучений человеческих тысяч и миллионов. Если прошло достаточно времени и такое тело успело создаться, гибель физического сосуда в Энрофе уже не имеет трансфизического значения: шельт, пребывавший в Фонгаранде, облёкся эфирным телом и перешёл в один из затомисов. После смены эонов, мировых периодов, когда затомисы перестанут существовать как таковые, шельты этих монад со своими облачениями, совершенно уже изменёнными, соединятся в одном из слоёв Высокого Долженствования со своими монадами и войдут впоследствии в Элиту Шаданакара.

В Фонгаранде пребывают преимущественно шельты творений храмового и дворцового типа. Имеется, например, один грандиозный прообраз православных монастырей, один прообраз египетских пирамид, зиккуратов, гопуррамов Южной Индии, католических аббатств, рейнских замков. Но есть шельты и некоторых индивидуальных зданий, например — собора св. Петра, Василия Блаженного, китайского Храма Неба, даже Версальского и Царскосельского дворцов. Есть и такие, как шельт лондонского Парламента и петербургского Адмиралтейства.



После таких странных для нас представлений, как мир Фонгаранды, представления, связанные с сакуалами ангелов, покажутся, вероятно, знакомыми и даже привычными. Таких сакуал — две. Первая, низшая, состоит из трёх слоёв; она так и называется: ангелы низшего круга. В сущности, это первое по времени человечество Шаданакара, когда-то обитавшее в слоях более плотной материальности, хотя и не в Энрофе; та эра предшествовала эре титанов. Мы не в состоянии понять и осмыслить содержания их жизни теперь, в просветлённых мирах, только можем уловить ту сторону их деятельности, которая имеет непосредственное отношение именно к нам. Первый из этих слоёв обитаем херувимами, хранителями людей — носителей светлых миссий. Именно хранителями, а не вдохновителями: то — даймоны! Об ангелах же хранителях мы слышим с детских лет, и не наша вина, если мы думали, что такой ангел стоит за правым плечом каждого из живущих. Но облик их действительно таков, каким описывает его предание, а ландшафт их мира — среда прелестных тонов, нами не воспринимаемых, отдалённо напоминающих розовый и сиреневый.

Другой слой — бело-золотистая среда, пронизанная снопами света, принадлежит серафимам — хранителям некоторых человеческих содружеств: церквей, религиозных общин, некоторых этических объединений, очень немногих городов — тех, духовная целостность и нравственная чистота которых имеет особое значение в глазах Провиденциальных начал. Бывают эпохи, когда стража серафимов окружает какой-нибудь город, потому что в нём совершается то или иное метаисторическое событие или протекает тот или иной трансфизический процесс, требующий особой помощи или охраны. После его завершения, со сменой эпох, стража серафимов удаляется. Так было над Киевом при князе Владимире Святом, над Москвою при князе Данииле и Иване Калите, несколько раз над Иерусалимом, Римом и многими другими городами. Редкий случай, когда стража серафимов не покидает города в течение многих веков, представляет собою Бенарес, город колоссального метаисторического значения. Конечно, с узкоконфессиональной христианской точки зрения, сообщения, подобные этому, не могут вызвать ничего, кроме недоумения. Обликом серафимы подобны шестикрылым ангелам.

Сакуала завершается миром так называемых Престолов, чей облик схож с нашим представлением об архангелах, а среда их обитания — синезелёная, пронизанная играющими снопами света. Престолы — хранители наций. Их много: духовное становление каждой нации охраняется целым

сонмом этих блистающих существ.

Переходя ко второй сакуале — Ангелам Высшего Круга — я лишаюсь возможности облегчить её понимание хотя бы такими бедными зрительными образами, как в предыдущей. Могу сказать только, что это — обиталища светлых иерархий огромной силы, именно тех, кем создаётся материальность трёх-, четырёх- и пятимерных слоёв Шаданакара.

Первыми идут Астралы, известные в христианской мистике под названием Властей: это творцы материальности Энрофа. Далее следуют Силы, творцы материальности сакуалы даймонов, и Господства, творцы материальности миров Просветления (кроме Олирны). Сакуала Ангелов Высшего Круга венчается миром Начал, творящих материальность затомисов, и Архангелами — теми самыми, кем становятся после трансформы сирины, алконосты и гамаюны Рая, Эдема, Монсальвата, Жюньфлейи и Святой России — всех затомисов христианских метакультур. Они творят материальность миров Высокого Долженствования. Материальность же самих ангельских миров, так же как и материальность высших слоёв Шаданакара, творится иерархиями метабрамфатуры.

Знаю, что излагаемое совершенно не совпадает с традициями христианской ангелологии, несмотря на общность названий. Мне жаль, что это так. Но я пишу не от себя и не могу вносить изменений до тех пор, пока на это не укажет единственный Голос, которому я доверяю полностью.

Изложение дошло до сакуалы «Высокого Долженствования». Эти миры общи и для людей, и для ангелов, и для даймонов, и для стихииалей, и даже для просветлённых животных. Они парят высоко над теми сегментарными членениями Шаданакара, которые называются метакультурами. Понятно, что мои сведения о них бедны, чтобы не сказать нищи.

Я не уверен даже в имени первого из них — оно звучит похоже на Уснорм, но мне никак не удаётся расслышать его точнее. Вращение планеты вокруг оси проявляется и здесь, и, по-видимому, тогда там стояла ночь, потому что я смутно помню исполненную потрясающего великолепия светящуюся туманность, как если бы предо мной впервые раскрылось явно для зрения творящее лоно нашей вселенной. То был Астрафайр, великий центр нашей Галактики, скрытый в Энрофе от нас тёмными облаками космической материи.

Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас: то были не звёзды, а брамфатуры. Не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной,

точно приблизившись; мне кажется теперь, что все они медленно вращались, гармонически звуча и перекликаясь многозвенными голосами. Но, может быть, это мне кажется теперь, и в этом — влияние представлений о гармонии сфер, пришедших ко мне не изнутри, а из человеческого предания. Во всяком случае, гармонии эти лишь проступали сквозь волны невообразимого хора, звучавшего вот здесь, вокруг меня, и вздымавшихся из такой глубины и до такой высоты, каких я не мог ни понять, ни измерить взглядом. Это — воспоминание о слое, являющем собою всеобъемлющий храм, предназначенный для вечного богослужения человечества.

О, не только человечества! Здесь присутствовали, кажется, миллионы существ и — не знаю сколько — вероятно, больше половины из них никогда не были людьми и не должны были становиться ими. Здесь были просветлённые души стихий и просветлённые души животных, здесь были дивные даймоны и ангелы разных кругов. Когда мы читаем в Апокалипсисе пророчество о высокоразумных животных, обступивших алтарь иного мира и совершающих служение, — это, быть может, и символ, но это также намёк на реальность — ту реальность, которой во времена автора Апокалипсиса ещё не было. Потому что Уснорм, как всеобщий храм, есть осуществление замысла именно того великого человеко-духа, который в последнее своё воплощение на земле был апостолом Иоанном Богословом.

И если молящихся там были миллионы, то предстоящие у престола Храма исчислялись тысячами, потому что каждый, достигший сакуалы «Высокого Долженствования», делается в Уснорме одним из предстоящих, будучи затем сменяем следующим.

Самые возвышенные, самые благодостройные служения в храмах верховных религий — лишь слабые отблески, отзвуки вечной литургии Уснорма. Да, в этой литургии участвует слово, но это — невоспроизводимый у нас язык Синклита Мира, где слова — не просто отдельные звуки, но как бы смысловые аккорды, а иные их них являются в то же время вспышками и переливами света. В этой литургии участвует, как элемент, движение, небесный прообраз священного танца, но в Уснорме — пять измерений, и движение совершается не по горизонтальной плоскости, как у нас, а по всем пяти измерениям пространства. В литургии участвуют, как элементы, свет и цвет, но дать понятие о цветах, сверх семи цветов, воспринимаемых нами, нет никакой возможности. Что можно сказать о тех световых симфониях, перед которыми кажется однообразной и бедной даже иллюминация Файра? Что можно сказать о духовных

благоуханиях? О фимиамах Уснорма, которые восходят из гигантских, плывущих и раскачиваемых кадьниц, чтобы подняться к самому Астрафайру?.. Это — первый мир, где восходящий воспринимает не материальные уже, а чисто духовные излучения: они исходят из наивысших транскосмических сфер, которые можно было бы назвать эмпиреем, если под этим старинным словом понимать не фантастический «мир неподвижных звёзд», но объемлющую космос обитель чистого Духа, то есть Пресвятой Троицы.

Миры «Высокого Долженствования» — остановки между затомисами, Картиалой даймонов и Хангвиллой просветлённых животных, с одной стороны, мирами Высших Трансмифов Верховных Религий — с другой. Над Уснормом расположена Гридруттва — тот белый чертог, где создаётся великий творческий план человечества. За ней идут: Аликанда, похожая на сердцевину цветка, Товия, похожая на пену, на иней, на белый сад, на падающий снег, и Ро — огромные поющие кристаллы: их эхо — прекраснейшие произведения музыки в Энрофе, в Олирне, у даймонов, даже в затомисах. Эти три слоя — обиталища человеческих монад, воссоединившихся со своими ставшими душами.

Похожий на глубину озарённых морей слой Магирн — обитель монад метапрообразов, воссоединившихся со своими шельтами и с преображёнными астральными облачениями. В Каэрмисе, который можно определить как «расколдованные сфинксы», со своими ставшими душами соединяются монады животных, в Дейтрасте — монады даймонов, а в Сибране, о котором я не могу сказать ни слова, кроме того, что это — невероятные хоры ликования, — монады ангелов. Во Фляуресе, намёк на который может дать слово «протуберанцы», пребывают монады стихиаелей. В сакуалу мира «Высокого Долженствования» входит также Ниатос: это фиолетовая вершина, где соединяются со своими шельтами монады наших бывших врагов — демонов, обратившихся к Свету. Я упоминал о могучем демоническом духе, великом «драконе» Прамонгольской культуры: сброшенный Гагтунгром в один из страшных слоёв, носящий прозвище Дождя Вечной Тоски, он давно поднят Провиденциальными началами оттуда и теперь блистает в мире фиолетовой вершины как одно из её прекраснейших светил.

И, насколько я понимаю, к этой сакуале относится лишь отчасти колоссальный и великолепный Ирольн: монады людей до их соединения со своими ставшими душами. Это — первый мир, куда спускается личный дух каждого человека, вступая в Шаданакар из Отчего лона. Он похож на течение и вращение множества солнц. И мне не ясно: мне кажется, что это

мир не пяти уже, а шести измерений пространства, а включение его в сакуалу Высокого Долженствования — моя ошибка, плод аберрации.

Выше по иерархической лестнице Шаданакара располагаются, одна за другой, сакуалы космических инвольтаций. Что это значит? В длящейся много миллионов лет истории Шаданакара имели и имеют место активные воздействия других брамфатур: или более мощных, чем наша, или стоящих впереди нас в своём развитии, или, наконец, соизмеримых с нашей по своим масштабам и ступени восхождения, но находящихся пространственно не так далеко от нас, следовательно, взаимодействующих с Шаданакаром. Материальность миров инвольтаций создана светлыми силами других брамфатур; обитаемы же они теми высочайшими существами, которые без труда преодолевают космические пространства: это — пришельцы с других брамфатур, великие помощники и друзья светлых сил Шаданакара.

О некоторых сакуалах инвольтаций я не могу сказать буквально ничего, кроме нескольких названий. Так, например, существует сакуала инвольтаций Ориона. Орион — система брамфатур гигантской силы, полностью освободившихся от демонических начал; она играет в жизни Галактики колоссальную роль. Конечно, перечень названий десяти слоёв, из которых состоит эта сакуала, не может своею бедностью вызвать в читающем ничего, кроме разочарования. Но я не знаю — может быть, даже эти имена пригодятся когда-нибудь: Юмаройя, Одгиана, Рамн, Вуальра, Лигея, Фианна, Эрамо, Вэатнор, Заолита, Натолис.

При всей несхожести условий, царствующих в физическом слое Юпитера или Нептуна, с нашими условиями, надо свыкнуться с мыслью, что многие из планет и их спутников обладают брамфатурами. Юпитер даже и в нашем слое, в Энрофе, обитаем высокоразумными существами, но столь отличными от нас и живущими в таких невыносимых для нас условиях, что в плане Энрофа никакого общения между нами не возникает никогда. Но общение существует в пятимерных слоях обеих брамфатур. Элита Юпитера и его спутников создала внутри Шаданакара два слоя своих инвольтаций, один слой создан Сатурном и его спутниками, один — Ураном и один — Нептуном. Все они составляют сакуалу планетных инвольтаций.

Особое место занимают три слоя — Иора, Ахнос и Гебн: это — сакуала инвольтаций преобразившейся планеты Дайи, которой в Энрофе больше нет. Эта планета вращалась некогда между Марсом и Юпитером. Демиургическая деятельность на ней привела, уже очень давно, к изгнанию демонических сил на противостоящую ей брамфатуру её спутника. Дайя

вступила в свой третий эон, то есть была физически преобразена и исчезла из мирового Энрофа. Спутник же подвергся катастрофическому распаду (астероиды — его обломки), и демонические полчища развеялись в космическом пространстве. Когда наш научный инструментарий будет достаточно силён, чтобы наблюдать планеты других звёздных систем, мы иногда будем свидетелями внезапного, всего на протяжении нескольких часов, исчезновения некоторых из этих планет. Вероятно, учёные построят для объяснения этого явления ряд остроумных гипотез прежде, чем признают, что в этих случаях происходит то же, что некогда произошло с планетой Дайей.

Сакуала солнечных инвольтаций насчитывает девять слоёв.

Опять-таки, одни только названия: Раос, Флермос, Трамнос, Гимнос, Арэя, Нигвэя, Тримойя, Дерайн, Иордис.

И четыре названия для слоёв инвольтаций Центра Галактики — Астрафайра: Грезуар, Малейн, Вируана, Люварн.

К числу сакуал инвольтаций лишь частично относится система, которую правильнее назвать брамфатурой, хотя ныне она входит в Шаданакар, объёмлясь его пятимерными и шестимерными слоями. Это — Лунная брамфатура.

Я не знаю точно, когда закончилось в Энрофе развитие лунного человечества — селенитов; во всяком случае, это произошло чрезвычайно давно, почти миллион лет назад. Но развитие там шло гораздо более медленными темпами, хотя от появления органической жизни на поверхности Луны до возникновения там высокоразумных существ потребовалось значительно меньше времени, чем для аналогичного процесса у нас. Вообще, идея, будто миры физически меньшего масштаба должны непременно эволюционировать быстрее, не всегда применима к отдельным периодам развития органической жизни на них, а тем более к темпам развития разумных существ. Но интуиция Уэлса о внешности этих существ, описанных в его увлекательном романе, поразительна, в особенности если учесть рационалистическую окраску и наукообразную плоскостность его мышления. Он угадал и общую насекомообразность их облика, и мягкоэластичный характер их физических тканей, и способность их тел к видоизменению формы в зависимости от рода деятельности, и высоту их технических достижений, и даже то, что к концу была отчасти использована и внутренность планеты.

Трагедия селенитов заключалась в победе Воглеа — лунного демона женственной природы. Может вызвать недоумение, каким образом в этой рассудочной цивилизации проявилась деятельность именно женственно-

демонического начала? Но существует особая разновидность рассудочности, именно женская, и далеко не везде она выражена так слабо, как в нашем человечестве. У селенитов она проявилась с особой силой и сказалась, в частности, в том, что их техника была по своим принципам гораздо магичнее, чем человеческая.

Этапы духовного и культурного спуска селенитов были таковы: дьяволочеловечество — вырождение — гибель под грузом техники. Прогрессирующая бездуховность привела к тому, что селениты, дичая, не могли справляться с собственными машинами и погибли от холода и голода. Но в состав Лунной брамфатуры мир Воглеа входит до сих пор. Чрезвычайно долго он находился в своеобразной полуизоляции, враждуя и с силами Света, и отчасти с Гагтунгром. Но в последнее время между ним и планетарным демоном Шаданакара намечается компромисс и даже союз — консолидация сил ради изгнания из Шаданакара начал Света. Один демонический слой Шаданакара, так называемый Дуггур — о нём речь впереди, — тесно связан с эманациями Воглеа. Теперь эта сине-серая, обольщающая и засасывающая демоница восстанавливает особый слой — лунный ад, куда будут низвергаться, с согласия Гагтунгра, жертвы Дуггура; до сих пор некоторые из этих жертв пожинали ещё более страшный удел — выбрасывание из Шаданакара в пустоты Галактики.

Миру Воглеа противостоят три остальных слоя Лунной сакуалы. Сольдбис — видимый из затомисов на лике Луны: это мир обитания множества просветлённых — тех, кто в своё время трагически отстал; их последняя инкарнация в Энрофе пришлась на эпоху лунного дьяволочеловечества и вырождения; весь огромный последующий период ушёл на исправление и постепенное просветление в Сольдбисе. Другой мир — Лаал, лунная элита. Очень много селенитов поднялось уже ещё выше, в Элиту Шаданакара. И, наконец, третий, светлейший из лунных миров — Танит, обитель лунной богини.

Если тонким анализом разложить на составные пряди то, что мы чувствуем в лунные ночи, то мы убедимся в наличии следующих компонентов нашего переживания. Первый: предчувствие гармонии; это действуют на нас Сольдбис и Лаал. Второй: тончайшая тоска о горнем; это зовёт нас к себе Танит. И третий: тяготение к сексуальным провалам; это томит нас и искушает Воглеа. Она боится Солнца и всегда отступает от его сияния на неосвещённую сторону Луны. Во время полнолуния нас достигают лишь ослабленные эманации Воглеа — те, что простраиваются сквозь толщу земного спутника. Но когда Луна идёт на ущерб, Воглеа перемещается вместе с мраком на ту её сторону, которая обращена к Земле;

вот почему так болезненно, мрачно и тяжело действуют на подсознательную сферу многих из нас лунный ущерб и ночи новолуния.

Изложение структуры Шаданакара достигло, наконец, той грандиозной сакуалы, которую мне приходится обозначить такими мучительно громоздкими определениями, как миры того, что можно было бы назвать Высшими Аспектами верховных религий, их чистейшими трансмифами.

Много лет назад, задолго до Отечественной войны, когда я был ещё совсем молод, мне явился непонятный, прекрасный и неотступно настойчивый образ: как бы видимая из бесконечного отдаления голубоватая пирамида из хрусталя, сквозь которую просвечивает солнце. Я чувствовал огромность его значения, волны благодати, силы и красоты, изливаемые этим светящимся средоточием, но понять смысл этого образа не мог. Позднее я думал даже, что это преломлённый моим ограниченным человеческим сознанием отблеск Мировой Сальватэрры. Детская мысль! Тот, чьей души коснётся отблеск Мировой Сальватэрры, становится праведником и пророком. И уж конечно, её отблеск лишён всякого подобия чему бы то ни было земному.

Лишь много лет спустя и, в сущности, совсем недавно уяснилось для меня, что эта пирамида — не одинока, что с нею как бы согласованы другие, и всего их пять, а шестой в Шаданакаре никогда не будет. Но голубая — действительно одна: остальные — других цветов, и невозможно сказать, которая прекраснее. О, конечно, трансмифы «в себе» трансцендентны для нас; возможно, что «в себе», они не имеют сходства ни с какими геометрическими формами. Но моего сознания они коснулись именно как исполинские хрустальные пирамиды, и, по-видимому, в наличии именно таких образов есть глубокий смысл.

Позднее меня поразило другое: что одна из пирамид, меньших размеров, но удивительной, какой-то нездешней белизны, есть наивысший трансмиф религии, которую я лично никогда бы не мог отнести к числу мировых или верховных: трансмиф зороастризма. Недоумение это до сих пор не рассеяно. Я до сих пор не могу уяснить, каким образом эта локальная религия, исторически давно угасшая в Энрофе и, как мне кажется, не столь уж богатая мифологией, оказывается отражением такой колоссальной и только ею исповедуемой реальности. Называется этот мир Азур.

Другая пирамида, тоже небольших сравнительно масштабов, но золотая, мне понятнее. Это — наивысший аспект иудейства, — тот аспект, который оставляет далеко внизу антихристианскую непримиримость



своего земного двойника, тусклого и мутного. Это тот золотой мир небесной славы, который сквозил в видениях великих мистиков Каббалы, в прозрениях пророков и для которого кропотливая пряжа Талмуда — как пыль долин для владык горных высот. Имя золотой пирамиды — Аэ.

Исполинская пирамида, цвет которой напоминает наш сиреневый — наивысший аспект индуистского трансмифа. Сложный этот мир слоится, и внешний из его слоёв — конечная цель Веданты и Йоги, высший слой Синклита Индии, намёк на который мы нашли бы в индийской философии под именем Нируддхи. О другом слое — Эроие — и ещё об одном, имя которого я не имею права произносить, могу сказать только, что хотя в этих мирах обитают также и те, кто были когда-то людьми, но они здесь скорее гости. Последний из слоёв сиреневой пирамиды — Шатриттва, обителище многих иерархий индуистского пантеона. Но говорить о точном соответствии образов этого пантеона иерархиям трансмифа можно только отчасти, в отдельных случаях. Под одним и тем же именем Кали-Дурги, например, в Энрофе почитаются инстанции совершенно различных высот, масштабов, ступеней космической иерархии: от «Всенародной Афродиты» Индии до Приснодевы-Матери Вселенной.

Не менее велика и зелёная пирамида — состоящий из двух слоёв мир наивысшего аспекта буддизма. Распространено заблуждение о том, что будто бы буддизм, по крайней мере южный, атеистичен. В действительности, на высших ступенях Хинаяны, как и джайнизма, никакого атеизма, конечно, нет. Но, начиная с Гаутамы и Махавиры, мыслители и проповедники считали, что для масс лучше подчёркивать несущественность вопроса о Боге в деле духовного спасения, чтобы на Бога не перекладывались те усилия, к которым обязан сам человек. Да и как иначе могли бы мыслить о Боге те, чья Нирвана — первый из двух слоёв великой зелёной пирамиды? Второй же слой принадлежит дхиани-бодхисаттвам, иерархиям, осуществляющим водительство людьми буддийских метакультур. С предельной серьёзностью следует относиться к утверждению духовных пастырей Тибета о том, что большинство далай-лам — перевоплощения дхиани-бодхисаттвы Авалокитешвары. Буквальное понимание этого утверждения показало бы, что ясность нашего сознания ещё не превысила той ясности, которая достижима в определённых конфессиональных рамках; но если бы мы поняли, что тезис о перевоплощении Авалокитешвары в преемственном ряду далай-лам есть подогнанная под уровень народного понимания форма намёка на факт инспирации большинства далай-лам этой великой иерархией, — мы были бы недалеко от истины. Предпоследний из тибетских далай-лам был

инспирирован не вполне, а ныне правящий — не что иное, как подмена; отсюда и его поведение.

Голубая же пирамида, манящая меня двадцать лет, — Небесный Иерусалим — высший трансмиф христианства. Это — то, что стоит за такими утверждениями христианского учения, которые общи и для католиков, и для православных, и для лютеранина, и для абиссинца, и для будущих последователей Розы Мира. «Утверждения», — сказал я, но это не точно; потому что это единое для всех, общее для всех почти невозможно выразить в словесных формулах. Небесный Иерусалим — высший слой синклитов христианских метакультур; и всё же это ещё не Церковь. Церковь — это высшие миры Шаданакара. И прежде чем приблизить к ним это изложение, придётся обратиться вспять, глубоко вниз, в огонь и мрак, ибо без понимания устрашающих и грозных в своём могуществе демонических сакуал нельзя правильно приблизиться мыслью также и к высшим слоям Шаданакара.

**КНИГА IV. СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА.  
ИНФРАФИЗИКА**

## Глава 1

### Основа

Один из фактов, в которых религиозное сознание до сих пор не отдавало себе отчёта, заключается в том, что Троичность Единого Существа, присущая Богу, как бы повторяется или воспроизводится и в некоторых из сотворённых Им монад. Грубое выражение «Дьявол — обезьяна Бога» имеет глубокий и многообразный смысл; одно из важнейших его значений состоит именно в искажающем, перевёрнутом повторении великими демоническими монадами внутренней тайны Божества: Его Троичности. О сущности триединства Люцифера я, конечно, не могу сказать ничего: эти инстанции столь безмерно превышают все возможности нашего понимания, что вряд ли вообще можно осознать о них что-либо, кроме самого факта их существования, факта их отпадения в незапамятные времена и ещё одного факта: их постоянной богоборческой деятельности.

Сущность Гагтунгра, великого демона Шаданакара, несмотря на его исполинские, сравнительно с нами, масштабы, может быть, при благоприятных условиях, осознана в несколько большей степени. Главное, становится ясной его троичность, хотя причины этой троичности, её происхождение и цель — если в ней есть цель — остаются нераскрытыми.

Прежде всего уясняется, что здесь налицо какой-то кощунственный параллелизм ипостасям Пресвятой Троицы. Но вопрос о сущности Божественного Триединства — едва ли не глубочайшая из проблем богословия — может быть хотя бы немного затронут лишь в другой части книги; поэтому и сущность параллелизма, о котором я упоминаю, осветить в настоящей главе ещё невозможно. Можно только сказать, что Первой ипостаси Божественного Триединства Гагтунгр стремится противостоять своим первым лицом — Великим Мучителем, Второй ипостаси — вторым лицом, которое точнее всего охарактеризовать наименованием Великой Блудницы, а Третьей ипостаси Троицы противостоит антипод, именуемый Урпарп: это осуществитель демонического плана; в некотором смысле его можно назвать принципом формы, это — та сторона великого демонического существа, которая открывается в жизни различных слоёв Шаданакара как начало, активно переделывающее их данность согласно замыслам и целям Мучителя, начало формирующее. Великая Блудница — её имя Фокерма — сторона демонического существа, втягивающая,

всасывающая души и судьбы в орбиту Гагтунгра. Первое же лицо, Гистург, Великий Мучитель — последняя глубина демонического Я, носитель высшей воли, власти и желания.

Безмерно жуток его облик, каким видели его духовные очи немногих людей, проникших в тёмные высоты Дигма — мира его обитания. Как бы возлежащий на бушующем лиловом океане, с чёрными крыльями, раскинутыми от горизонта до горизонта, он поднимает своё тёмно-серое лицо в зенит, где полыхают инфралиловые зарева, раскачиваются и гаснут протуберанцы, а в самом зените блещет светило непредставимого цвета, отдалённо напоминающего фиолетовый. Горе тому, на кого Гагтунгр опустит свой взор и кто этот взор встретит открытыми очами. Из всех носителей тёмных миссий среди людей, восхищенных позднее в Дигм, кажется, только один (Торквемада) нашёл в себе силы вспомнить в этот миг Божье имя. Остальные монады стали рабами дьявола на неисчислимые века.

Кроме Гагтунгра, в Дигме находятся также избранники зла: монады немногих людей, слившихся со своими демонизированными шельтами, и столь же немногие души некоторых существ демонической природы, в том числе — великих игв, тёмных водителей античеловечества, уже закончивших свой путь в различных, более плотных материальных слоях. Здесь они творят богоборческий план, здесь простираются перед Гистургом, наслаждаются близостью Великой Блудницы и приобщаются пучинам познания через лицезрение Урпарпа.

Имеется в Шаданакаре и ещё более высокий демонический слой: это многомерный Шог, материальность которого создана великими демонами макробрамфатур. Сюда втекают мощные потоки инспирирующих, инвольтирующих богоборческих сил из глубины Вселенной, и никто, кроме Гагтунгра, не может вступить в этот слой; остальные, и то в редчайшие минуты, способны видеть его лишь извне. В эти минуты они воспринимают то светило невыразимого цвета, которое пылает в зените Дигма, уже не как сферу, но как пульсирующую арку, перекинутую от края и до края, а цветом схожую опять-таки с фиолетовым. Это — антикосмос Галактики, средоточье в ней сил самого Люцифера. Временами арка как бы прогибается вовнутрь и силы Люцифера льются в Шог. Тогда Гагтунгр, приемля их в себя, воздевает свои крылья в чёрное небо. Так, по крайней мере, воспринимают те, кто видит Шог снаружи. Сами же по себе явления и формы этого мира для нас трансцендентны.

Есть, впрочем, в Шаданакаре и другие слои, откуда может быть зрим антикосмос Галактики, хотя и в ином аспекте. Антикосмосы всех

брамфатур, и Шаданакара в том числе, — двухмерны: это как бы бесконечные плоскости. Все они пересекаются между собой в одной и той же линии; её можно было бы назвать демонической осью Галактики. Для облегчения понимания я привлеку на помощь некоторую условную пространственную модель. Возьмём книгу, поставим её вертикально на корешок, развернув её и растрепав страницы, и двухмерную плоскость каждой из её страниц продолжим мысленно в бесконечность. Все эти плоскости окажутся пересекающимися друг с другом под различными углами, но все — в одной вертикальной линии, находящейся внутри корешка. Космический прообраз этой линии пересечения всех плоскостей и есть демоническая ось Галактики, её антикосмос. Естественно, что он будет зрим для любого существа, обитающего в любом из этих двухмерных плоскостных миров, в том числе и из соответствующего слоя Шаданакара.

Двухмерный слой Шаданакара иногда именуется адом, но этот термин здесь не вполне уместен: слой этот — не страдалище человеческих душ в их посмертии, но обителище большинства демонических существ нашей планеты. Можно называть его антикосмосом Шаданакара, но и это не совсем точно, потому что Божественному Космосу противостоит не один этот слой, а все демонические миры, он же является лишь, так сказать, главной демонической цитаделью. Настоящее имя его Гашшарва.

Существа, пребывающие там, можно, если угодно, считать находящимися в состоянии воплощения; впрочем, понятие воплощения вообще крайне относительно. Монады этих существ всегда находятся высоко в Дигме и Шогге, шельты же их влачат своё существование между воплощениями, по большей части, на одномерном Дне Шаданакара — в ужасном мире.

Гашшарва — ядро системы, создаваемой демоническими силами Шаданакара в противовес Божественному Космосу, в предполагаемое ему замещение. Не лишённый торжественности, но угрюмый, этот мир любому из нас не мог бы не показаться жутким. Большое число временных координат при наличии лишь двух пространственных создаёт особую духовную духоту. Для всякой монады процесс вхождения её шельта в этот мир мучителен: он напоминает ощущение, возникающее при затягивании тела в тесный железный корсет. Чем меньше пространственных координат, тем материальность мира плотнее. Однако среда этого мира всё-таки схожа с воздухом, а почва, совершенно плоская и однородная, более твёрдая, чем любой материал Энрофа. Никакого эквивалента растительности нет. Источник света состоит в самоизлучении существ и некоторых искусственных сооружений, причём синего и зелёного цветов здесь не

воспринимают, но зато воспринимают два инфракрасных. Один из них я буду условно именовать инфралиловым, подчеркнув, что к ультрафиолетовому он не имеет отношения, а впечатление, производимое им, ближе всего к тому, какое оказывает на нас очень густой, тёмный и в то же время интенсивный лиловый цвет.

Антикосмос Галактики, видимый из Дигма как светило совершенно невообразимого и непередаваемого цвета, а из Шога — в виде титанической, пылающей и пульсирующей инфралиловой арки, перекинутой через зенит, из Гашшарвы представляется как бы участком горизонта, посылающим равномерное инфралиловое свечение из бесконечно удалённых пространств.

Всех обитателей Гашшарвы связывает между собой тирания Гагтунгра и, вместе с тем, нечто вроде союза общих интересов. Гагтунгра они ненавидят, но, конечно, всё же не так, как Бога. Здесь обитают хозяева нижних чистилищ, магм и ядра — трёх сакуал Возмездия.

«Поверженный Демон» Врубеля двуслажен, двуслоен: это и память о прозрении в Дигм, о Гагтунгре, раскинувшем крылья до горизонта; это и метапортрет, правильнее — инфрапортрет, одного из демонов, мелких сравнительно с ним: хозяев чистилищ. Ангелами мрака именуются они, и это наименование соответствует вполне их облику: в них есть некоторое человекоподобие, у них широкие крылья удивительной красоты, а в пурпуровой и багряной окраске этих крыльев чудится нечто царственное. Но на врубелевском полотне эти дивные крылья поломаны: гениальная интуиция художника этой деталью передала роковую ущербность обитателей Гашшарвы. В действительности их крылья не повреждены, но самая возможность пользования ими мучительно сужена, так как в плотной, хотя и прозрачной среде этого слоя возможно только медленное продвижение сквозь материальность, а не полёт. Серый, как пепел, цвет лиц ангелов мрака отталкивающий и ужасен, а в чертах совершенно обнажена их хищная и безжалостная природа. Будучи хозяевами нижних чистилищ, они восполняют убыль своих жизненных сил тем, что впивают гаввах людей, вовлечённых в чистилища своею кармой. Проникая из Гашшарвы в эти чистилища, они находят там менее плотную среду, в которой полёт угловатый, неровный, как бы рывками и зигзагами, всё-таки возможен.

Совершенно лишены человекоподобия другие обитатели Гашшарвы, хозяева магм: их называют рыфрами. Более всего каждая из них подобна движущейся гряде холмов. Есть нечто вроде лица, но очень размытое.

Может быть, читающий эту книгу упрекнёт меня в недостатке воображения или в том, что я верен христианской традиции как раз в самых

неубедительных её частностях. Но ведь именно игру воображения я стремлюсь изгнать с этих страниц, и чем беднее они фантазией — тем лучше. А из христианской традиции здесь остаётся не то, что лично я предпочёл бы, но то, что получило подтверждение в моём духовном опыте. К сожалению, такое подтверждение получили и образы некоторых существ, возвещённых христианской демонологией. Как ни странно, но существа, похожие на пресловутых чертей, действительно есть, и, представьте себе, даже с хвостом и рогами. Они обитают в Гашшарве и пользуются сомнительным удовольствием быть хозяевами Ядра — сакуалы, состоящей из самых ужасающих страданиц Шаданакара. Вообще оказывается, что многие из легенд, к которым мы привыкли относиться с улыбкой либо же, в лучшем случае, усматривая в них символический смысл, следует понимать вполне буквально. Испытание для рассудка нашего века воистину непосильное!

Круг обитателей Гашшарвы причудлив и пёстр. Из них я знаю ещё могучих демонов женственной природы, которых условно привык называть велгами. Это — гиганты. В истории человечества они проявляются иногда как умножательницы жертв и вдохновительницы анархий. О каком бы то ни было их подобии не только людям, но даже чудовищам нашего мира здесь надо забыть совсем: это скорее огромные, свивающиеся и развивающиеся покрывала, чёрные и лиловые. У каждого народа Велга, кажется, только одна; во всяком случае, в России — одна, очень древняя. Сроки их инкарнаций в Гашшарве — если это считать инкарнациями — исчисляются, по-видимому, многими веками.

Некогда все эти существа обитали на поверхности земли, но не в Энрофе, а в слое приблизительно такой же плотности и даже похожем на него отдалённо. Созданный Гагтунгром в самом начале истории Шаданакара, слой этот уже давно перестал быть. Внешние формы демонических существ были в том мире мельче и вообще несколько иными. Но они не могли чувствовать себя там хозяевами: они были сжаты, стеснены светом. Под его влиянием их естество должно было измениться; оно переставало соответствовать их демонической сущности. Теперь в Гашшарве им жизнь даётся нелегко, но там они всё-таки остаются самими собою.

Есть ещё и другие существа, гнездящиеся там, но мне они неизвестны. Зато известно, что там находятся некоторые из числа тех, кто были в Энрофе людьми: носители специальных тёмных миссий. Впрочем, здесь они почти не страдают. Задача в другом: в Гашшарве они заботливо подготавливаются силами Гагтунгра к очередному воплощению в



человечестве.

Из каких побуждений подобная миссия может быть принята человеческим шельтом? — Дантес принял её из страха. После смерти низвергнутый сквозь все слои на Дно Шаданакара, он был взят оттуда в Гашшарву силами Урпарпа и некоторое время спустя вновь родился в Энрофе. Не знаю, умер ли он уже опять, но совсем недавно он существовал в России, где, выполняя новую тёмную миссию, погубил несколько крупных дарований. Иногда же тёмную миссию принимают и добровольно, из жажды власти, из жажды крови, из врождённого тяготения ко злу. Так было, например, с Тимуром, прошедшим в посмертии те же круги, что и Дантес, но гораздо медленнее. Поднятый наконец в Гашшарву, он принял новую миссию в силу безвыходности. Миссия эта была несравненно мельче, чем первая: Гагтунгр любит издеваться надо всеми, в том числе и над своими марионетками.

Силам Света нередко приходится спускаться в Гашшарву. Эти спуски мучительны, но они вызываются необходимостью: этого требуют обстоятельства борьбы с ратями Гагтунгра. Обитатели Гашшарвы видят своих проникающих сюда врагов, но воспрепятствовать их проникновению бессильны.

Демоническая Основа включает ещё один мир: мир одномерного пространства и одномерного времени. Это Дно Шаданакара, страдалище демонических шельтов и немногих людей — носителей тёмных миссий.

Дно возникло в самом начале существования нашей брамфатуры усилиями Гагтунгра и ещё более могучих, чем он, тёмных сил. Эта материальность самая плотная из всех возможных. Материальность Энрофа до какой-то степени уподобляется ей только во внутренностях звёзд или в таких чудовищных телах нашей Галактики, как «белые карлики». Трудно представить, как в подобных условиях может всё-таки осуществляться движение. Однако оно на Дне Шаданакара есть, для сознающего существа мучительное в высочайшей степени. Вызывается же оно необходимостью поддерживать жизненные силы, так как в противном случае существо будет затянато в некий провал, ведущий в места, ещё более печальные: на Дно Галактики.

Всё это помогает окончательно уяснить относительность понятия «воплощение». Демоны, воплощённые в Гашшарве или в некоторых других слоях трёх и даже четырёх измерений, после смерти погружаются на Дно, где их ждёт новое тело, самое плотное из возможных. Таков закон кармы, обращающийся вторым остриём против самих демонов. Излучениями их страданий на Дне восполняет убыль своих жизненных сил сам Гагтунгр.

Бунтовать против закона кармы? Но ведь во время их воплощений во всех других слоях именно этот закон является для них источником сил жизни. Восставать против него — значит отвергнуть гаввах как пищу, значит противопоставить себя всему демоническому стану, всему антикосмосу, — то есть перестать быть демонами.

Подобным Дном обладает всякая брамфатура нашей Галактики, кроме тех, которые свободны от демонических сил; следовательно, таких «днищ» в Галактике — миллионы. И подобно тому, как двухмерные космические плоскости многих антикосмосов или гашшарв скрещиваются в общей линии, точно так же скрещиваются в единой точке схода все космические линии галактических днищ. Точка эта находится в системе звезды Антарес. Отнюдь не случайно эта звезда, именуемая иначе Сердцем Скорпиона, служила во многих мифологемах древности и средних веков олицетворением зловещих, даже дьявольских сил. Огромная планетная система этой звезды — средоточие богоборческих полчищ Галактики, их обиталище в трёхмерном мире; это также титаническая метабрамфатура демонов, антикосмос нашего Млечного Пути в той мере, в какой этот антикосмос вообще проявляется в Энрофе. Я уже говорил, что брамфатуры, в которых победили демоны, — недолговечны, и великая планета — спутник звезды Антарес, инвольтирующая на Дно Шаданакара теперь, скоро распылится, но её место займёт другая. Та же, которая инвольтировала в эпоху создания Шаданакара, погибла миллионы лет назад.

В наших широтах звезда Антарес бывает видна поздней весной и летом низко над южным горизонтом, и многие хорошо помнят яркую пульсацию её виннокрасных лучей. Со Дна же Шаданакара не видно ни Солнца, ни других небесных тел — ничего, кроме неподвижной Антарес, в которую Дно упирается одним концом. Оттуда она кажется инфракрасной. В противоположном направлении пространство этого одномерного мира гаснет вместе с приближением к поверхности земной сферы. В ту сторону не видно ничего. Там-то и таится провал на лишённое времён Дно Галактики.

Трудно представить, каким образом тело, самое плотное из всех, являет собою нечто вроде самого простого, что мы в силах представить: нечто вроде чёрной линии. Ещё труднее понять, что у этих существ сохраняется эквивалент зрения и даже осязания. Самое же непонятное, пожалуй, то, как они вообще в состоянии видеть сквозь предельно плотную среду. Из этой среды они восполняют свои жизненные силы. Общение их между собою возможно, но крайне ограничено. Страдание неопишимо.

Не только Дно, но и все миры демонической Основы возникли, как я уже говорил, в период остывания физического тела Шаданакара. До появления органической жизни в Энрофе деятельность Гагтунгра клонилась к попыткам создать для демонических сил слой обитания на поверхности земли, а когда это не удалось — к укреплению и развитию Гашшарвы и других слоёв, связанных с нижними слоями коры, с магмами и ядром планеты. Когда же в Энрофе возникла органическая жизнь, его деятельность направилась на завладение царством животных — это отчасти удалось — и на утяжеление законов демиургов. В итоге равнодействия этих двух сил сформировались основы тех законов Природы и Кармы, в которых мы живём.

Религиям семитического корня свойственно стремление возложить ответственность за жестокость законов на Божество. Как ни удивительно, но не вызвала протеста, даже просто не осознавалась самая их жестокость, по крайней мере жестокость законов возмездия. С непостижимым для нас спокойствием даже праведники христианских метакультур мирились с представлением о вечных страданиях грешников. Абсурдность вечного воздаяния за временное зло не волновала их разума, а совесть — непонятно как — удовлетворялась идеей о предвечной неизблемости, то есть безвыходности этих законов. Но то состояние разума и совести миновало давно. И нам кажется кощунственной мысль, будто этот Закон, в том виде, как он существует, создан по божественному произволению.

Да, ни единый волос не упадёт без воли Отца Небесного, не шелохнётся ни единый лист на дереве. Но это следует понимать не в том смысле, что весь мировой Закон в его совокупности есть проявление Воли Божией, а в том, что становление свободных волей, которое представляет собой Вселенная, санкционировано Богом. Из наличия множества свободных волей проистекла возможность отпадения некоторых из них; из их отпадения проистекла их борьба с силами Света и создание ими антикосмоса, противопоставляемого Космосу Творца.

С самого начала возникновения живой жизни в Энрофе Гагтунгр и его стан наложили свою лапу на законы этой жизни. Изменить законы средних слоёв Шаданакара им не удалось, но многие виды и классы животного царства и некоторые слои стихиаблей подпали их владычеству — полностью или частично. Отсюда и двойственность того, что мы называем природой: красота, одухотворённость, гармоничность, дружелюбность — с одной стороны, всеобщее взаимопожирание живых существ — с другой. Неужели не очевидно, что и та, и другая сторона одинаково реальны? Неужели хоть

один человек с совестью и умом, сколь горячо он ни любил бы природу, дерзнёт сказать, что её гармония покрывает и снимает то безбрежное море страданий, какое являет эта самая природа непредубеждённым очам? И неужели найдётся хоть один человек, который, вопреки этому морю страданий, столь явному, столь неоспоримому, так неумолчно оглушающему нас стопами и криками живых созданий, хоть изредка не переживал бы природу, как необъяснимую, вопреки всему пребывающую гармонию и несравненную красоту? Почему же случилось так, что это роковое противоречие до сих пор не понято и не разрешено? Не потому ли, что религиозная мысль на Западе свыше двадцати веков находится в плену идеи абсолютного всемогущества Бога и вытекающих отсюда предрассудков о единстве Природы, а на Востоке устоявшийся философский монизм не даёт приблизиться к пониманию её двойственности?

## Глава 2

### Миры возмездия

В эпоху первобытных обществ демонические силы были заняты торможением их развития и подготовкой слоёв трансфизических магм и ядра к приёму миллионов душ грядущего человечества. Несколько позднее, уже в исторические времена, были созданы шрастры и сакуала уицраоров. Большинство чистилищ возникло в ещё более поздние эпохи.

Изложение миров возмездия начинается с чистилищ потому, что они ближе к нам, чем другие; они соизмеримее с понятиями, привычными для нас, а в случаях нисходящего пути после смерти спуск начинается именно с чистилищ. В большинстве случаев чистилищами он и ограничивается.

Слово «чистилище» взято из католичества, но с католическими представлениями панорама того, о чём пойдёт речь, совпадает далеко не во всём. Можно было бы применить к этим слоям также термин «шеолы», но иудаистические картины этих теневых стран умерших тоже отнюдь не будут повторены в моём изложении.

Чистилища различных метакультур несколько отличаются друг от друга; даже отдельно взятое, каждое из них претерпевает значительные изменения на протяжении веков. Сформировались они тоже в различные эпохи. В метакультурах древности, включая Византию, их не было вообще. Точнее — на их месте были миры безысходного страдания; отголосок мистического знания о безвыходности страданий явственно слышен в большинстве древних религий.

Древнейшие из чистилищ принадлежат к метакультуре Индийской: именно этот синклит первым в истории человечества достиг такой мощи Света, какая была необходима для того, чтобы воспрепятствовать силам Гагтунгра превратить в страдания сакуалу некоторых слоёв искупительного посмертия, которую Индийская метакультура унаследовала от древнейших человечеств — даймонов и титанов. Позднее в чистилища были превращены некоторые слои метакультур еврейства, христианства и ислама: здесь решающее значение имело воскресение Иисуса Христа, Его сходжение в демонические миры и последовавшая затем, в течение ряда веков, борьба христианских синклитов с демонами за смягчение Закона Возмездия. Но в Византийской метакультуре эта борьба победой не увенчалась. Вражеский стан оказал непреодолимое сопротивление; в итоге этой борьбы Византийская метакультура оторвалась от Энрофа. Я

мимоходом упоминал уже о многозначительности того обстоятельства, что византийское православие не приняло идеи чистилищ, когда она появилась в западной Церкви. В ужасающих перспективах вечных мук, ожидающих грешную душу, следует искать и горючее вещество того аскетического максимализма, которым пламенел византийский религиозный дух до самого конца своей истории. Да, перед духовидцами Византии эсхатологическая глубь разверзлась со всеми крайностями своей демонической жестокости. Приходится удивляться не отчаянным эксцессам аскетизма в этой стране, а скорее тому, что не во всех метакультурах, лишённых чистилищ, подобные эксцессы имели место.

В Российской метакультуре первый шеол был создан в XII веке, будучи преобразован из страдальца силами Христа. С течением времени он несколько изменил свой вид; изменились и те кармические грузы, которые влекут умерших в этот мир. Впрочем, механическая сторона действия Закона Возмездия остаётся, конечно, неизменной, всегда и везде: она состоит в том, что нарушение нравственных законов влечёт за собой утяжеление эфирного тела совершившего. Пока он жив, утяжелённое эфирное тело остаётся как бы на поверхности трёхмерного мира: при этом тело физическое играет роль спасательного круга для утопающего. Но как только связь между ними разрывается смертью, эфирное тело начинает погружаться глубже и глубже, из слоя в слой, пока не достигнет равновесия с окружающей средой. Таков, в основном, механизм. Но есть и существа, которые следят за его безотказным действием: блюстители кармы. Это совсем особая категория; среди разнообразных демонов Шаданакара это — пришельцы. Когда демонические полчища планеты Дайи были изгнаны из её брамфатуры прочь, в брамфатуру её спутника, а спутник вскоре за тем погиб и превратился в стаю мёртвых кусков — астероидов, его демонические обитатели рассеялись в мировом пространстве в поисках новых пристанищ. Часть их вторглась в Шаданакар, заключив некое подобие договора с силами Гагтунгра. Это существа высокого интеллекта, но с холодной, как лёд, сферой чувств. Им равно чужды ненависть и любовь, злоба и сострадание. Они взяли на себя заботу о механизме кармы, восполняя убыль своих жизненных сил эманациями душевных мук тех людей, что после жизни в Энрофе принуждены опускаться в Скривнус, Ладрэф и Мород — верхние слои чистилищ. Размеры этих существ огромны; они полупрозрачны и серы, как мутное стекло, тела их прямоугольны, а в мордах, как это ни странно, есть сходство с мордами сторожевых собак: торчащие уши и зорко наблюдающие глаза. С силами Света они вступают в борьбу только тогда, когда эти силы предпринимают

труд по смягчению законов кармы и преобразованию чистилищ.

Первое из чистилищ именуется Скривнус. Это — картина обезбоженного мира и обезбоженного общества без всяких прикрас. Бесцветный ландшафт; свинцово-серое, никогда не волнующееся море. Чахлая трава, низкорослые кустарники и мхи напоминают до некоторой степени нашу тундру. Но тундра хотя бы весной покрывается цветами; почва же Скривнуса не взрастила ни одного цветка. Обиталищами миллионных масс тех, кто были людьми, служат здесь котловины, замкнутые среди невысоких, но неприступных откосов. Скривнус не знает ни любви, ни надежды, ни радости, ни религии, ни искусства; никогда не видал он и детей. Нескончаемый труд прерывается лишь для сна, но сны лишены сновидений, а труд — творчества. Какие-то огромные пугающие существа бодрствуют по ту сторону откосов; время от времени они швыряют оттуда груды предметов, как бы скользящие по воздуху. Каждый из предметов сам находит того, кто над ним должен работать: чинить никому не нужную ветошь, мыть что-то вроде измазанных маслом и грязью склянок, надраивать металлические обломки. И работа, и сон протекают преимущественно в баракообразных домах, длинных, перегороженных внутри барьерами высотой до пояса.

Облик обитателей сохраняет полное человекоподобие, но черты смыты и разглажены. Они напоминают блины, почти полностью схожие друг с другом. Впрочем, память о существовании в Энрофе не только сберегается в душе обитателей, но и гложет их, как мечта об утраченном рае. Самое неотступное из мучений Скривнуса — это скука безысходного рабства, это нудность труда, это отсутствие перспектив, каких бы то ни было.

Ибо не перспективой, а кошмаром вечно нависающей угрозы представляется единственно реальный выход отсюда. Выход этот заключается в том, что на море показывается чёрный, похожий на ящик корабль, быстро и бесшумно скользящий к берегу. Его появление повергает обитателей в панический ужас, так как ни один не знает, застрахован ли он от поглощения кромешной темнотой трюма. Забрав некоторое число их — тех, кого груз кармы обрекает на страдание в более глубинных слоях, — корабль отчаливает. Заключённые в трюм не видят совершаемого пути. Они чувствуют только, что движение по горизонтали сменяется спиральным спуском, как если бы корабль увлекался в закручивающийся Мальстрём.

Скривнусом ограничиваются искупительные страдания тех, чья совесть не омрачена памятью ни о тяжких пороках, ни о преступлениях, но чьё сознание в Энрофе было отделено от воли и влияния его шельта глухой стеной житейских забот и попечений только о материальном.

Следующий слой похож на предыдущий, но он темней: как будто он застыл в неопределённом сумраке на границе вечной ночи. Здесь ни строений, ни человеческих толп; однако каждый ощущает невидимое присутствие множества других: следы движений, схожие с отпечатками ног, выдают их присутствие. Чистилище это называется Ладреф, и кратковременное пребывание в нём испытывают десятки миллионов. Это — следствие маловерия, не дававшего силам духовности проникать в естество человека и облегчать его эфирное тело.

Тот, кому предстоит дальнейший спуск, субъективно воспринимает его так, как если бы он заснул и внезапно проснулся в изменившейся обстановке. В действительности же демонические существа — осуществители кармы — переносят его во время забытья в другой поток времён, хотя число пространственных координат — три — остаётся неизменным во всех шеолах.

Искупающий свою карму оказывается среди полного мрака, где слабо фосфоресцируют только почва да редкие эквиваленты растений. Благодаря светящимся скалам ландшафт не лишён кое-где мрачной красоты. Это последний слой, где ещё имеется то, что мы обобщённо называем Природой. Следующим слоям будет свойственен только урбанистический ландшафт.

Здесь, в Мороде, царствует абсолютная тишина. Каждый пребывающий в этом мире других обитателей не воспринимает совсем и уверен в своём полном одиночестве. Тоска великой покинутости охватывает его, как железный панцирь. Напрасно метаться, молиться, звать на помощь, искать — каждый предоставлен общению только с собственной душой. А душа преступна, её память запятнана совершённым на земле злодеянием, и для такой души нет ничего более пугающего, чем уединение и тишина. Здесь каждый уразумевает смысл и масштабы совершённого на земле зла и выпивает до дна чашу ужаса перед своим преступлением. От этого бесконечного диалога с самим собой несчастного не отвлекает ничто, даже борьба за существование. Потому что никакой борьбы тут нет, пища кругом в изобилии, ею служат некоторые виды почв. Одежда? Но в большинстве слоёв, в том числе и в Мороде, эфирное тело само излучает облегающую его ткань: ту, которую мы заменяем одеждой. И если в мирах Просветления она прекрасная и светящаяся, то в Мороде творческая ущербность его обитателей позволяет создавать только эфирные клочья. Впрочем, подобное нищенское рубище облекало астрально-эфирное существо искупающего уже в Ладрефе.

Того, чью совесть не может очистить и Мород, ждёт уже не спуск в



следующий слой, а внезапный и устрашающий провал в него: это схоже с трясинной, в которую несчастный попал неожиданно для себя и которая засасывает его: сперва ноги, потом туловище, наконец, голову.

Повествование достигло Агра, слоя чёрных паров, между которыми вкраплены, как острова, чёрно-зеркальные отражения великих городов Энрофа. Этот слой, как и все чистилища, не имеет космической протяжённости. Поэтому здесь ни солнца, ни звёзд, ни луны: небо воспринимается как плотный свод, окутанный постоянной ночью. Некоторые предметы светятся сами, тускло светится и земля, точно пропитанная кровью. Цвет здесь преобладает один: в Энрофе мы не способны видеть его, и по впечатлению, производимому им, он скорее всего напоминает тёмно-багровый. Кажется, это тот самый невидимый свет, который в физике называется инфракрасным.

Я очень немного, едва-едва, знаком с инфра-Петербургом. Помню, что там тоже есть большая, но чёрная, как тушь, река и здания, излучающие кроваво-красное свечение. Это подобно отчасти иллюминациям наших праздничных ночей, но жутким подобием. Внешний облик тех, кто пал в этот мир, напоминает, до некоторой степени, облик гномов: человекоподобие ещё сохранено, но формы уродливы и убоги. Рост уменьшен. Движения замедлены. Никакой материальности, заменяющей одежду, их тело уже не излучает; царствует беспомощная нагота. Одно из мучений Агра — чувство бессильного стыда и созерцание собственного убожества. Другое мучение в том, что здесь начинает впервые испытываться терпкая жалость к другим подобным и приходит понимание своей доли ответственности за их трагическую судьбу.

Третья же мука этих несчастных — страх. Он порождается наличием в Агре ещё других существ, хищниц демонической природы: они называются волграми. Когда мы приблизились к зданию, составлявшему тёмноэфирное тело Инженерного замка, я различил неподвижно сидящее на его крыше существо, огромное, величиной с ящера мезозойской эры. Оно было женского пола, мешковатое и рыхлое, с серою, ноздреватою кожей. Сиротливо прижавшись щекой к башне и обняв её правую лапой, бедняга неподвижно смотрела перед собой совсем пустыми, как мне показалось, глазницами. Она была глубоко несчастна. По-моему, ей мучительно хотелось кричать или выть, но ни рта, ни пасти у неё не было. Впрочем, чревато опасностями могло быть самоё чувство жалости к ней: лукавая хищница подстерегала жертву, и жертвой мог сделаться всякий из тех, кто были людьми. В зверином страхе перед волграми бедные гномы прятались по углам или прокрадывались, затаив дыхание, у подножия зданий,

облюбованных этими чудищами. Быть пожраным, вернее, всосанным волгрою через её пористую кожу значило умереть в Агре, чтобы затем возникнуть ещё ниже, в Буствиче или в страшном Рафаге. Позднее я увидел, что волгр — множество, что они отчасти разумны и что грубая, мрачная цивилизация, которая отличает Агр, — именно их творение. Механических приспособлений, облегчающих труд, у них ещё почти не было. Они вручную громоздили из какого-то материала, похожего на стволы гигантских деревьев Калифорнии, здания, которые я видел кругом, и каждый кусок этого материала, плотно примыкая к остальным, начинал светиться тускло-багровым, почти ничего не озарявшим излучением. В чём заключалась связь между зданиями человеческих городов в Энрофе и сооружениями волгр в Агре, для меня осталось неясным.

Звуковым языком они, конечно, не обладали, но у них было нечто вроде языка жестов. Здания они строили, по-видимому, для того, чтобы укрыться в них от коротких проливных дождей, налетающих поминутно. Дожди были чёрные.

Странно, разумеется, и то ещё, что у волгр существует не два пола, а три. Мужская особь оплодотворяет особь среднего пола, которая некоторое время вынашивает зародыш внутри себя, а затем передаёт его будущей матери.

Но кое-где в эту цивилизацию вкрапливались, как острова, безмолвные, совсем не светящиеся здания. Волгры даже не приближались к ним: по-видимому, им мешало нечто, мною невидимое. Такие здания возвышались на месте Исаакия и некоторых других храмов Петербурга: единственные убежища от волгр, где мученики Агра хоть на краткое время могли ощутить себя в безопасности. Кто их воздвиг? когда? из какого материала? Не знаю. Голод не давал несчастным таиться в этих приютах: он гнал их в поиски за съедобной плесенью, покрывавшей фундаменты этого безрадостного города.

Если тяжёлая карма не сделает того, кто попал сюда, жертвою волгры и он не очнётся в следующем из миров нисходящего ряда, рано или поздно ему суждена трансформа, поднимающая вверх. Кончающий своё искупление постепенно меняется телесно. Он увеличивается ростом, у него начинают снова проступать черты лица, напоминающие черты, которыми он обладает прежде, и волгры не дерзают подступать к нему. Самая трансформа происходит с помощью братьев из Небесной России: спустившись в Агр, они окружают окончившего искуса. Присутствовать при этом событии из числа гномов могут лишь те, кто скоро будет поднят отсюда таким же образом. Но пока они смотрят на совершающееся со

стороны, им кажется, будто братья синклита поднимают освобождаемого на своих крыльях или на складках светящихся покрывал. Волгры, охваченные мистическим трепетом и страхом, смотрят на это событие издали, но не в состоянии понять ничего.

Лестница восхождения не закрыта ни перед одной демонической монадой, даже перед волграми. Но для подобного обращения требуется столь острая ясность сознания, какая не встречается здесь почти никогда.

Иногда встречается здесь совсем иное: местами ландшафт разнообразится светящимися пятнами, похожими на огромные гнилушки. Что-то от трупной зелени есть в них... Это в Агр просвечивает другой слой, расположенный ниже: Буствич. Там всё гниёт, но никогда не сгнивает до конца; в состоянии, сочетающем гниение заживо с духовной летаргией, и заключается мука Буствича. В Буствиче развязывают узлы своей кармы те, чья душа, отяжелённая тяготением к ничем не озарённому плотскому, не выработала за свою жизнь на земле никакого противовеса. Здесь пленника гложет удручающее отвращение к самому себе, потому что эфирное тело его превратилось в подобие кала. Ибо, как это ни страшно и ни омерзительно, но Буствич, в сущности, не что иное, как нечистоты волгр.

К душевным мукам здесь начинает присоединяться и телесная: способность пленников к движению крайне ограничена, как и их способность к самозащите. А самозащита насущно необходима любому из них, ибо рядом с ними здесь обитают, между двумя воплощениями в одном из демонических стихийальных миров, облачённые в тёмноэфирные тела души мелких человекоподобных демонов: здесь они имеют вид человеко-червей, а размерами напоминают кошку. Заживо, медленно, понемногу пожирают они в Буствиче тех, кто когда-то были людьми в Энрофе.

В очередном двойнике Инженерного замка (такой есть и в Буствиче) находился в то время, то есть в 1949 году, император Павел I. Он миновал уже цикл мучений в слоях более глубоких и теперь был медленно поднимаем в Друккарг — шрастр российского античеловечества. Суровость постигшего его несчастья поразила меня. Но мне было объяснено, что, если бы часть груза не была снята с него мукой его умерщвления в ночь на 12 марта и вместо этого он продолжал бы тиранствовать вплоть до своей естественной кончины, груз содеянного повлёк бы его ещё глубже, вниз, пока не был бы достигнут Пропулк — одно из самых ужасающих страдалищ.

За Буствичем следует чистилище, носящее имя Рафаг: здесь изживаются кармические следствия предательств и корыстной преданности тираниям. Рафаг — мука непрерывного самоистощения, нечто, на что

могут намекнуть такие явления нашего слоя, как страдания холеры. Это последний слой, ландшафт которого хотя бы отдалённо напоминает наши города; убежищ, маячивших в Буствиче и Агре, здесь, однако, уже нет. Покров соборных молитв человечества не распространяется до Рафага: глубже могут достигать лишь силы синклитов и высших иерархий Шаданакара.

Над тремя последними, нижними чистилищами, господствуют ангелы мрака.

Первый из этих слоёв — Шим-биг — являет собой медленный поток, движущийся по невыразимо мрачному миру, заключённому под высокий свод. Трудно понять, откуда исходит полусвет, мертвенный и бесцветный. Мельчайший дождь сеется на поток, вскипая на его поверхности маленькими пузырями. И уже не одежда мучающихся здесь душ, но сами души в их деградировавших эфирных телах похожи на дымно-бурые ключья. Они мечутся взад и вперёд, цепляясь за что попало, лишь бы не пасть в поток. Их томит не только ужас: ещё большее мучение заключается в чувстве стыда, нигде не достигающем такой силы, как в Шим-биге, и жгучая тоска по настоящему телу, по мягкому тёплому миру — воспоминания о радостях жизни на земле.

Здесь же усиливается сострадание.

А устье потока видится совсем вблизи. И сам поток, и весь этот туннелеобразный мир обрываются там подобно тому, как обрывается туннель метро при выходе на эстакаду. Но воды не впадают ни во что: и они, и берега, и свод — всё растворяется в серой беспредметной пустынности. Там не может быть никакого тела, там и намёка нет на какую-либо почву или среду. Только одно не гаснет там: искра самосознания. Это чистилище называется Дромн: иллюзия страшного небытия.

И если в Шим-биге себя искупали те, на ком ответственность за несколько человеческих смертей, хотя бы даже смертей преступников, кому подписывался смертный приговор или на кого составлялся предательский донос, — в Дромне находятся те, чьё нарушение Закона кажется, на наш взгляд, несравненно меньшим. Да, арифметика кармы — странная арифметика! И в Дромн увлекают не злодеяния, не кровопролития, но всего лишь кармическое следствие активного безверия, воинствующее отрицание духовности, деятельное утверждение ложной идеи о смертности души. Тайна этой удивительной, непропорциональной, казалось бы, кары в том, что все эти волевые акты ещё при жизни в Энрофе как бы наглухо забили пробками дыхательные пути души; итогом явилось ещё большее отяжеление эфирного естества, чем даже бывает в результате отдельных

преступлений, если взять их изолированно, самих по себе. Пленнику Дромна кажется, что нигде нет ничего, нет и его самого — именно так, как это ему рисовалось при жизни. И он с величайшим усилием, очень не скоро может справиться с поражающим фактом — неугасанием самосознающего «я» даже здесь, в абсолютной пустоте, вопреки рассудку и здравому смыслу. При этом он начинает смутно понимать, что всё могло бы быть иначе, если бы это небытие — или полунебытие — он не выбрал сам.

Но тоска добровольной покинутости, окрашивающая пребывание в Дромне, мало-помалу начинает уступать место тревоге. «Я» чувствует, что его куда-то влечёт, как бы вниз и вкось, и само оно из точки превращается в вытянутую фигуру, устремлённую книзу. Отсутствие всяких ориентиров не даёт понять, падает ли он медленно или низвергается с большой быстротой. Только внутреннее чувство вопиет громче всяких доказательств логики, что он движется не вверх и не в сторону, но именно вниз. Вот внизу уже обозначилось и розоватое пространство. Несколько мгновений этот цвет может казаться падающему даже радостным. Но затем леденящая догадка пронизывает несчастное «я»: оно поняло, что непреодолимо опускается в раскалённое, тихое, как бы железное море. Вес опускающегося стремительно возрастает; вот он прикасается к раскалённо-красной поверхности Фукабирна и погружается в его среду. Мука состоит, кроме жгучего телесного страдания, именно в ужасе опускания в вечные пытки — опускания, которое представляется невозвратным.

Фукабирн — последний в сакуале чистилищ. Теперь начинается сакуала трансфизических магм: эти локальные миры сосуществуют в трёхмерном пространстве, но в других потоках времени, с поясами раскалённого вещества в оболочке планеты. Повторяю, подчеркиваю: во всех метакультурах, кроме Индийской, страдания этих миров не имели конца, пока Иисус Христос не совершил того освободительного спуска в них, который в церковном предании называется схождение Спасителя в ад. С этого мгновения для сил Света становится возможным, хотя и требующим огромных усилий, извлечение страдальцев из этих пучин после известного срока, необходимого для развязывания узлов личной кармы.

Первая из магм — это Окрус, вязкое дно Фукабирна.

Вокруг шельта уже в Дромне не осталось никаких старых оболочек и начало образовываться новое телесное существо. В Окрусе его формирование подходит к концу, но ничего, хотя бы отдалённо напоминающего человеческий облик, нет в нём: это шарообразное нечто из оживлённого инфраметалла.

За что же муки Фукабирна и Окруса, за что? О, этих страдальцев уже

немного. В Скривнусе и Ладрефе томились миллионы, здесь — сотни, может быть, даже десятки. Осуждение идейного врага на великие мучения, осуждение невинных, терзание беззащитных, мучительство детей — всё это искупается страданиями здесь, в Окрусе и Фукабирне.

Здесь мучающийся вспоминает отчётливо о религиозных учениях, слышанных на земле, и о том, что он был предупреждён. Телесные муки субъективно ощущаются здесь, как воздаяние, но уже начинает осознаваться двойственная природа Закона и ответственность за его жестокость не Бога, а демонических сил. Сознание яснее: в этом — проявление Провиденциальной стороны Закона, той его древней основы, которая была создана демиургами ещё до вторжения Гагтунгра в Шаданакар. Прояснение сознания, прояснение совести, возрастание духовной жажды — это та сторона Закона Возмездия, которую светлые силы отстояли от тёмных и благодаря которой Закон всё-таки не сделался абсолютным злом.

Инфрафизическая субстанция магм очень похожа на их физическую субстанцию. Их пленники сначала сохраняют свободу движения, но в действиях для поддержания существования здесь пока нет нужды: силы впитываются из окружающей среды механически. Всё это относится и ко второму из поясов магм — Гвэгру, представляющему собой раскалённую докрасна неподвижную среду.

Однако я хотел бы напомнить, что страдание в Энрофе — какое бы то ни было — ослабляет посмертную муку, преимущественно в смысле сокращения сроков её, но иногда и в смысле её «качества». Длительность искупительного наказания души после смерти определяется, в основном, масштабами тех жертв, которые пострадали от его деяний в Энрофе. Массовый характер преступлений влечёт за собой понижение слоёв возмездия: Окрус может быть заменен, например, Укарвайром, Гвэгр — Пропулком. При этом суть дела в том, что телесные муки, начавшиеся в Фукабирне и возросшие в Окрусе и Гвэгре, апогея достигают в следующем слое, называемом Укарвайр: это магма бушующая. Там искупают себя извратители высоких и светлых идей, несущие ответственность за калечение трансфизических путей тысяч и миллионов. Там же и те, кто повинен в гнусных деяниях, называемых на нашем сухом, мёртвом языке осознанным садизмом, — то есть таких поступков, при которых страдания других не только вызывали чувство наслаждения, но и недолжность этого наслаждения была совершенно ясно осознана преступником тогда же. Осознана — но не помешала наслаждению, не воспрепятствовала испытывать его опять и опять.

К счастью, время здесь течёт гораздо быстрее. Весьма известному писателю наших дней, виновному, конечно, не в осознанном садизме, а в подмене идеалов, в извращении идей, в отравлении множества сознаний ложью, казалось, например, что он здесь пробыл не десять лет, как это было по времени Энрофа, а всего несколько дней.

Далее идёт Пропулк — магма твёрдая: мир искупительных страданий массовых палачей, виновников кровопролитных войн и мучителей народных множеств. Свобода движения утрачивается. Тело как бы замуровано в твёрдый состав, сдавлено со всех сторон. Но даже страшнейшую телесную муку здесь перерастает страдание души. Это такое жгучее раскаяние и такая тоска о Боге, какие невозможны ни в одном из высших слоёв. К счастью, до Пропулка спускаются немногие. Нужно ли говорить, что здесь такие существа, как Ежов или сподвижники Берии? Удивительно то, что здесь совсем ещё недавно продолжал томиться Малюта Скуратов, а в Пропулке Западных метакультур всё ещё не развязали своей кармы не только Робеспьер и Сен-Жюст, но даже некоторые из инквизиторов XVI века.

Сакуала магм завершается слоем, носящим название Ёрл: это магма сверхтяжёлая. Здесь телесные страдания совершенно меркнут перед духовною мукой. Ёрл создан для возмездия тем, кого на нашем юридическом языке мы назвали бы рецидивистами: тем, кто, уже раз испытав падение в магмы и возвратившись в Энроф, вновь отягчил себя великими злодеяниями.

Магмы кончились.

Ниже начинается сакуала миров, соотносимых с физическим ядром планеты, общая для всех метакультур.

Первым идёт Биаск, инфракрасные пещеры, худшая из алых преисподних, если так определить всю лестницу слоёв от Фукабирна до Биаска. Форма здесь меняется, появляется подобие головы и четырёх ног. Но зато дар речи утрачен, так как разговаривать не с кем: каждый из узников изолирован от остального мира и видит только своих мучителей — именно тех, которые похожи, как это ни странно, на пресловутых чертей. Сидя здесь, в Энрофе, в относительной безопасности, можно сколько угодно посмеиваться над верой в существование этих рогатых безобразников, но не стоит желать даже смертельному врагу более близкого с ними знакомства. А так как жертв, павших в Биаск, насчитывается всего десятки, чертей же, нуждающихся в их гаввах, — многое множество, то они выколачивают гаввах из своих жертв всеми способами, какие в состоянии измыслить. Жертвы Биаска — это те, кто был в Энрофе

растлителями духа. Такие преступления расцениваются столь сурово потому, что они приносят больше кармического вреда для тысяч человеческих душ. Даже палач, от руки которого погибли физически сотни людей, не принёс такого ущерба, как те, про кого сказано в Евангелии: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской» (Матф. 18, 6). И даже если бы Ярославский или Бедный были в своей частной жизни добрыми людьми, это не спасло бы их от посмертной судьбы, ждущей растлителей духа.

Ниже Биаска зияет Амиуц: вертикальные щели. Падающий как бы застревает, подвешенный в полной беспомощности. А так как щели ведут в Гашшарву, то несчастный оказывается висящим прямо над гнездилищем демонических сил Шаданакара. Здесь те, кто сочетал сознательный садизм с огромностью злодеяний.

Но из вертикальных щелей Амиуца есть и боковые ходы-тупики. Это Ытрэч, планетарная ночь, длящаяся от начала формирования Шаданакара до конца существования нашей планеты в Энрофе, то есть до истечения второго (будущего) эона. Здесь были очень немногие, например Иоанн Грозный. А дальше есть ещё один слой, совсем особый: деянию Иуды Искарота соответствовал только он. Называется он Журц, и никто никогда, кроме Иуды, в этот слой не вступал.

Ясно, конечно, что о страданиях, переживаемых в слоях ядра, мы не можем себе составить даже отдалённого представления.

И вот описание подошло к последнему из слоёв — кладбищу Шаданакара. Мне никак не удавалось расслышать точно его наименование: иногда казалось, что оно звучит как Суфэл, иногда же более правильным мне казалось Суфэтх, и вопрос остался нерешённым. Сюда из нижних страдалищ опускаются упорствовавшие во зле. Здесь их скорлупы — остатки шельта — покидаются монадами. Монады выпадают из Шаданакара вообще, чтобы начать всё сначала в непредставимых пространствах, временах и формах. И всё же это лучше, чем провал сквозь Дно Шаданакара на Галактическое Дно: здесь монада не выпадает, по крайней мере, из Космического Времени.

Но шельт — живой, это самосознающее, хотя и низшее «я»; в Суфэтхе он едва шевелится, постепенно выдыхая остатки жизненных сил. Это и есть та смерть вторая, о которой говорится в Священном писании. Искра сознания теплится до конца, и мера её мук превышает воображение самих демонов. Сюда до сих пор не может достигнуть никто из Света, даже Планетарный Логос. Братьям синклитов Суфэтх может быть виден иногда,



но не изнутри, а из соседних слоёв. Тогда они различают пустыню, над которой стоит тускло-лиловым солнцем Гашшарва — антикосмос Гагтунгра.

К счастью, за всю человеческую историю набралось лишь несколько сотен монад, падавших до Суфэтха. Из них только несколько единиц оставили след в истории, ибо все крупные монады нисходящей направленности затягиваются в Гашшарву. В Суфэтхе — те, кто не нужен и Гагтунгру. Из исторических деятелей я знаю только об одном — о Домициане, в следующем воплощении, после падения в Пропулк, ставшем маршалом Жюлем де Рэцем, тем самым, который сперва был сподвижником Жанны д'Арк, а потом — злодеем и садистом, купавшимся в ваннах, устроенных из внутренностей убитых им детей. Сброшенный в Ырл, он в следующей инкарнации в Энрофе опять запятнал себя великими злодеяниями в эпоху инквизиции. После третьей кончины он в третий раз прорезал все слои преисподней, достиг Суфэтха и был выброшен из Шаданакара, как шлак.

Я хорошо знаю, что гуманистическому сознанию нашего века хотелось бы встретить совсем другие картины, чем те, какие намечены мною в этой главе. Одних отпугнёт то, что мои свидетельства покажутся им слишком напоминающими, несмотря на все отличия, популярные образы, исток которых — в историческом христианстве. Других будет шокировать дикарская суровость законов и материальный характер ужасающих мук в страдалищах. Но первых я готов спросить: неужели они думали всерьёз, что учение отцов церкви не содержит ничего, кроме игры испуганного воображения? Только сознание, безрелигиозное, как трактор или прокатный стан, может полагать, например, что «Божественную комедию» мы в силах исчерпать, толкуя её как сумму художественных приёмов, политической ненависти и поэтических фантазий. В первой части Данте показал лестницу нисходящих слоёв, наличествовавших в средние века в инфрафизике Романо-католической метакультуры. Нужно учиться отслаивать примесь, внесённую в эту картину ради требований художественности либо вследствие aberrаций, присущих эпохе, от выражения подлинного трансфизического опыта, беспримерного и потрясающего. И не лишним будет, мне кажется, указать, что ныне тот, кто был Дантом, входит в число нескольких величайших духов человечества, таких, которые властны проникать невозбранно до самого Дна Шаданакара.

А тем, которые возмущены суровостью законов, можно ответить одно: так работайте же над их просветлением! Конечно, с умственными привычками гуманистического века легче бы сочеталось представление не

о материальных муках, но о, так сказать, духовных: угрызениях совести, тоске от невозможности любить и тому подобное. К сожалению, варварские эти законы создавались, очевидно, без учёта настроения интеллигенции XX столетия. Правда, духовные страдания тоже имеют в нисходящих слоях немалое значение. В сущности, лишь великие преступники истории подвергаются страданиям материальным по преимуществу, и к тому же таким, которые тяжелее, чем любая наша физическая боль, потому что физическая боль уступает эфирной в силе и длительности. Но и то сказать: представив себе объём мук, причинённых этими людьми своим жертвам в Энрофе, какими угрызениями совести или, как думал Достоевский, тоскою от невозможности любить уравнивается эта гора мук на весах бесстрастного закона кармы?

А примкнуть к тем, кто трудится над смягчением этого закона, волен каждый из нас.

## Глава 3

### Шрастры и уицраоры

Я подхожу к описанию миров, имеющих для человечества с его историей и для всего Шаданакара совершенно особое значение, так как именно эти миры созданы демоническими силами как непосредственное орудие осуществления мирового плана Гагтунгра.

Это, собственно, два ряда, две сакуалы инфрафизических слоёв, тесно связанные между собой.

Я уже мельком говорил о том, что каждая из метакультур включает в себя некий антиполюс своему затомису, некую цитадель демонических сил, где как бы перевёрнуто отражаются чёрными зеркалами священные грады синклитов. Речь идёт о шрастрах, обиталищах античеловечества.

Шрастры — различные области единого четырёхмерного пространственного мира; каждый из них обладает, однако, своим неповторимым числом временных координат. Кольцо шрастров метагеологически связано с нижними слоями земной коры, с её компенсационными выступами, и противостоит тёмными двойниками-антиподами Эанне, Олимпу, Раю, Монсальвату, Небесной России и остальным затомисам. Компенсационные выступы, уравнивающие горные массивы на поверхности земли, обращены своими остриями и гребнями к центру планеты. В Энрофе эти области безжизненны и мертвы: базальт, лава и ничего более. Но в четырёхмерном мире не так. Ниже, к центру, под ними лежит пустота — рыжая, полыхающая перебегающими волнами света и жара, тускло-оранжевая полость. На изнанке коры господствует равнодействующая двух притяжений: к толще коры — и к центру земли; понятия верха и низа не совпадают с нашими. В подземном оранжево-рыжем небе там неподвижно стоят инфралиловые и инфракрасные, почти чёрные светила: так воспринимаются оттуда Гашшарва и страдалища земного ядра. В лучах этих лун живут и укрепляют свои цитадели те многомиллионные общества и те чудовищные иерархии, которые на наших глазах проявляют себя в великих державах, в государственных тираниях, в безликих вампирах мировой истории.

Что за природа, какой ландшафт господствуют на этой изнанке мира? Синего и зелёного цветов здесь нет: они не могли бы восприниматься зрением обитателей. Зато имеются два, к восприятию которых не приспособлен наш глаз. Имеется и некое подобие растительности, но

жгучее и жуткое: купы массивных тёмно-багровых кустов, а местами большие, отдельные, шевелящиеся цветы из пламени. Рельеф очень неровен; в массивы суши вкраплены озёра и моря белой и розовой лавы. В целом ландшафт имеет своеобразный геолого-урбанистический характер: гигантские многомиллионные города; в инфра-России, например, главный из них связан почти со всем компенсационным выступом анти-Урала, другой соответствует Кавказу, а теперь создаются ещё города на компенсационных выступах гор Казахстана и Тянь-Шаня. Имеются города и под нашими низменностями, но реже, так как эти районы по большей части заполнены лавой.

Античеловечество состоит в основном из двух рас или пород, весьма отличных друг от друга. Главнейшие из них мелкие, но высоко разумные существа, двигающиеся по кругу перевоплощений в шрастрах, где они принимают четырёхмерную форму, несколько напоминающую нашу. Это тело, соответствующее нашему физическому, называется каррох: оно формируется из материальности этих слоёв, созданной высшими демоническими иерархиями. Жители шрастров обладают парой верхних и парой нижних конечностей, хотя и с иным, чем у нас, числом пальцев; кроме того, они снабжены чем-то вроде кожных летательных перепонок. Их красные стебельчатые глаза, выдающиеся по сторонам цилиндрической головы, их мышино-серая кожа и вытянутый трубкообразный рот могли бы вызвать в человеке отвращение. Но эти существа — обладатели острого интеллекта, создатели высокой цивилизации, в некоторых отношениях опередившей нашу. Они называются игвами.

Игвы появились впервые в шрастре Вавилоно-ассирийской метакультуры. В более древних шрастрах существовала другая раса, предки нынешних раруггов, о которых я скажу потом. Но самое происхождение игв для меня не вполне понятно: приходится иметь дело с такими странными представлениями, что рассудок не может их принять. Дело в том, что хотя среди людей нет монад, демонических по своей природе, но бывали случаи — исключительно, впрочем, редкие, — когда человек в дальнейшем своём пути добровольно становился игвой. Для этого необходимы, кроме желания, колоссальная ясность сознания и уникальное развитие специфических способностей. Таков и был основатель античеловечества, личность, совершенно реально существовавшая в Эрехе и Вавилоне, где он был жрецом Нергала, а позади имел длинную цепь воплощений в более древних культурах и в человечестве титанов.

Игвы произошли от сочетания этого существа с Лилит. Она способна

обретать иногда — очень редко и лишь по воле Гагтунгра — женские облики в более плотных мирах. Когда она явилась в Вавилонии, для глаз людей это произошло так, как если бы она внезапно возникла из ничего. Её видели трое: будущий отец игв и ещё двое, один из которых сошёл с ума, а другой был казнён. Тот, ради кого она приняла этот призрачный физический облик, сочетался с ней своим астральным, а потом и эфирным телом. Потом она сошла, вся объятая пламенем, в пустынный инфрафизический слой, где извергла из чрева первую чету игв. Основоположник же этой расы не воплощался более ни в шрастрах, ни в Энрофе. Теперь он в Дигме, и его участие в разработке и осуществлении демонического плана весьма велико.

Игвы обладают звуковым языком односложного строения. Из наших языков он фонетически ближе всего, пожалуй, к китайскому, но, благодаря трубчатому строению рта, среди гласных у игв доминируют звуки вроде «о», «у», «ю».

Они употребляют иногда и одежду, но чаще ходят обнажёнными. Чрезмерный интеллектуализм этих существ выхолостил их сексуальную сферу. Способ размножения похож на человеческий, но непригляднее. Они совокупляются почти на ходу, никакой потребности в уединении при этом не испытывая, так как лишены стыда. Чувства любви, привязанности, жалости находятся в зародыше. Вместо семьи — кратковременные союзы, а для детёнышей — тщательно оборудованные и скрупулезно продуманные воспиталища.

Мораль — рабская. Общество состоит из двух классов: высшая интеллигенция, в которую входят учёные, инженеры, жрецы и, если применимо здесь это слово, администраторы; и подчиняющееся большинство, действующее только по заданиям руководства. Впрочем, и само руководство строго подчинено воле так называемых «великих игв» (это нечто вроде преемственно следующих друг за другом верховных жрецов-императоров) и воле страшилищ соседнего слоя — уицраоров.

Почти неограниченным владыкой в каждом из шрастров фактически является великий игва. Шрастр — не монархия и, конечно, не теократия: это — сатанократия. Принцип династического наследования власти игвам совершенно чужд. Преемник избирается и подготавливается десятками лет, с изумительной рациональностью и дальновидностью. Ясность сознания великих игв огромна, хотя воспринимают они весь мир перевернуто, под демоническим углом зрения. Они способны прозревать даже до антикосмоса Галактики; их постоянно инволютирует сам Гагтунгр. После смерти великие игвы поднимаются прямо в Дигм.

Неправильно было бы сказать, что в шрастрах налицо эквивалент нашей науки и техники: скорее, наша наука и техника — эквивалент науки и техники игв. Иные условия и законы тех слоёв определили иное, сравнительно с нашим, содержание их науки, но методы научного исследования и принципы техники весьма схожи с нашими. Правда, им, далеко опередившим нас на этом пути, ведомы такие приёмы и способы, которые перекликаются с нашей магией и многим из нас показались бы колдовством. Но они пользуются даже принципами винта, колеса, ракеты. Есть суда для плавания по озёрам инфралавы. Сколь ни дико это представить, но между шрастрами практикуются давно регулярные рейсы, весьма развит даже туризм — конечно, не с эстетическими, а только с познавательными целями. На высоте находится и авиация, хотя сами игвы способны передвигаться с большой скоростью, балансируя часто вниз головой и садясь на потолки и стены зданий, как мухи.

Наука дала игвам возможность проникнуть и на поверхность Земли. В их инфрафизическом слое эта поверхность мертва и пустынна, как в нашем — поверхность Луны. А так как пространство сакуалы шрастров гаснет на границах Солнечной системы, то звёзд в этом небе нет. Но планеты и Солнце игвы увидели, хотя и совсем иначе, чем видим мы. Температура в шрастрах очень высока (для нас она была бы непереносима), и поэтому Солнце, показавшееся игвам тусклым инфракрасным пятном, излучает тепло, для них отнюдь не недостаточное. Несмотря на все меры самозащиты, принятые против холода, игвы-пионеры на поверхности Земли жестоко страдали; эта поверхность пока что столь же мало пригодна для их существования, как для нас глубина Антарктиды. Однако у них имеются виды на некий способ освоения этой поверхности, и притом не в их собственном слое, а в нашем.

Научная аппаратура уже позволила им уловить тени Энрофа. Возможно, даже почти неизбежно, что со временем они дадут нам о себе знать, возникнут обмен и контакт, но этим, конечно, они будут влиять на человечество в желательном для них направлении. Ведь их заветнейшее чаяние, объединяющая их мечта — распространение их владычества с помощью уицраоров и Гагтунгра на все слои Шаданакара. Представляется, что великий противобог Грядущего, подготавливаемый в Гашшарве к рождению среди человечества в недалёком уже будущем, создаст в Энрофе чету полулюдей-полуигв. Отсюда пойдёт раса игв в нашем слое. Размножаясь быстро, как, рыбы, они должны будут постепенно заменить людей, превратив поверхность земли в обиталище дьяволического человечества.

Игвы движутся по кругу воплощений в шрастрах, а в промежутках

между ними претерпевают одно и то же: их шельг вместе с астралом падает на Дно (воплощение в сверхтяжёлом теле Дна невозможно без астрала), проносясь как бы по касательной через магмы и Гашшарву, едва задевая их. При этом спуске их эфирные тела стремительно разлетаются по каплям. Случаи просветления среди игв редки до единичности, и тогда их посмертье, конечно, меняется. О Боге, все они, кроме, отчасти, великих игв, имеют перевёрнутое понятие как о мировом тиране, более страшном, чем Гагтунгр. Христос, о Котором они слышат от великих игв, в их представлении оказывается в положении антихриста — как бы мятежным и крайне опасным деспотом; вообще всё опрокинуто вверх дном. Поэтому естественно, что культ их состоит, главным образом, в экстатическом демонослужении, излучения которого восходят к Гагтунгру.

О, цивилизация игв не ограничивается наукой и техникой: она включает и некоторые искусства. Перед грандиозным конусообразным капищем в Друккарге, главном городе российского античеловечества, представляющем собою гору, выдолбленную изнутри, высится монструозное изваяние: праигва верхом на раругге. Если переходить на наши меры длины (а это во многих случаях вполне законно), то можно сказать, что глаза игвы на этом изваянии изображены киноварно-красными камнями величиной с наш двухэтажный дом, а тёмно-багровые глаза раругга ещё во много раз больше.

Но развитию искусств препятствует рассудочный склад психики игв и их слабая эмоциональность. Вместе с общей уродливостью их представлений, всё это направило их искусство по таким путям, на которых наши эстетические критерии оказываются неприменимыми. Наибольшее развитие в шрастрах получила архитектура. Города сформировались из сооружений сверхчеловеческих размеров, но голых геометрических форм. Частично — это скалы, выдолбленные изнутри и облицованные снаружи. Кубы, ромбы, усечённые пирамиды блистают облицовками красного, серого и коричневого цветов. Стиль конструктивизма в человеческой архитектуре — вот некоторый намёк на стиль шрастров. Потребовалась усиленная инспирация творческого подсознания людей светлыми силами Фонгаранды, чтобы человеческое зодчество не подчинилось внушениям, поднимавшимся из шрастров, и не превратило города Энрофа в жалкие подобия стереометрических городов игв. А там, в этих городах, бушует и музыка, преимущественно шумовая, для нашего уха звучащая какофонией, но иногда поднимающаяся до таких ритмических конструкций, которые способны заморозить и некоторых из нас. Ещё большую роль в жизни игв играет танец, если допустимо применение этого слова к их безобразным

вакханалиям. И их демонослужения, сочетающие поразительные световые эффекты, оглушительное звучание исполинских инструментов и экстатический пляс-полёт в пространстве четырёх координат, превращаются в массовые беснования: этим привлекаются ангелы мрака, а излучаемую при этом энергию впивает Гагтунгр.

Кроме игв, в шрастрах обитают ещё другие существа, аборигены этого перевернутого мира — раругги, древняя порода, обликом напоминающая отчасти кентавров, отчасти ангелов мрака, а больше всего, пожалуй, мезозойских ящеров, поднявшихся на воздух. Поднявшихся на воздух — но не так, как поднялись когда-то в Энрофе птеродактили с их мышиноподобными крыльями: крылья раруггов могучи и выпрямлены по сторонам непомерно огромного тела. При законах тяжести, действующих в Энрофе, столь массивный летающий организм был бы невозможен.

Их сходство с ящерами не случайно: раругги и есть эти ящеры. После длительных инкарнаций в телах аллозавров, тиранозавров и птеродактилей, некоторые — наиболее хищные виды их — вступили на путь дальнейшего развития в слоях инфрафизики. За истёкшие миллионы лет они достигли ступени разумности, но эта разумность ещё очень далека от изошрённого интеллектуализма игв. Зато телесная мощь и невероятный эмоциональный накал их душевной жизни таковы, что после длительной борьбы за этот слой бытия игвы принуждены были примириться с тесным соседством раруггов. Вскоре был выработан между обеими расами своеобразный модус вивенди, перешедший затем в союз. Теперь раругги — нечто вроде разумной конницы шрастров, их армия. Сами игвы участвуют в войнах лишь в крайнем случае; обычно же им принадлежит лишь руководство, особенно технической частью. Неповоротливые мозги раруггов всё ещё не в силах справиться с задачами военной техники. Но их неимоверная кровожадность, их воинственность и бесстрашие — необходимые условия победоносных войн в этом слое. Старинные представления об адских крылатых конях — отзвук знания о бытии раруггов.

А войны на изнанке мира бывают двойкие. В прошлом история этих сатанократий сводилась в значительной степени к взаимному соперничеству и вооружённой борьбе. Конечно, не все войны человечества находились в связи с бойнями в этом мрачном мире, но наши великие войны — безусловно. В ходе сильнейших из этих войн некоторые шрастры претерпевали катастрофические изменения и даже гибель. Теперь стало сложнее: высшие демонические инстанции прилагают все усилия к тому, чтобы упрочить между шрастрами мир. Причины этого очень сложны и будут постепенно изложены в дальнейшем. Воистину же непримиримая



борьба ведётся не между шрастрами, а между игвами, раруггами и уицраорами — с одной стороны, и синклитами затомисов, ангелами, даймонами и самими демиургами сверхнародов — с другой.

После того как метакультура завершает цикл своего существования в Энрофе, её шрастр влачит унылые дни, похожие на постоянную голодную агонию. Такие шрастры больше не нужны Гагтунгру, брошены на произвол.  
[\[14\]](#)

Игвы и раругги деградируют, поступательное движение науки и техники прекращается. Уничтожение соответствующих агрессивных государственных образований в Энрофе влечёт за собой прекращение притока основного вида пищи уицраоров и игв, — пищи, о которой я подробнее скажу чуть-чуть ниже. Вырождающиеся обитатели шрастров вынуждены перебиваться мелким хищничеством, попросту выкрадывая пищу у более удачливых соседей, либо прозябать на «вегетарианском столе». Такова же судьба некоторых шрастров, метакультуры которые ещё существуют в Энрофе, но уицраоры которых уничтожены в ходе взаимной борьбы, а великие подземные города разрушены.  
[\[15\]](#)

Сильные и активные шрастры ныне существуют в числе четырёх. Это Фу-чжу, шрастр Китая, древний, но недавно получивший новый импульс к развитию; Юнукамн — шрастр Романо-католической метакультуры, правда, сильно ослабевший и отставший, но ещё активный;  
[\[16\]](#) Друккарг — шрастр Российской метакультуры и Мудгабр — самый мощный из всех шрастров, изнанка великой культуры Северо-Запада. Основателем Мудгабра был человеко-игва Клингзор; в последнем своём воплощении в Энрофе он был одним из анонимных инспираторов казни Иисуса Христа, сознательным сторонником Гагтунгра под личиной фарисея и патриота. Основанный им впоследствии анти-Монсальват ныне уже ничем не напоминает те наивно-патриархальные образы, которые из легенд средневековья с запозданием перешли в музыкальные драмы Вагнера. Наука и цивилизация игв нигде не шагнула так далеко, как именно в Мудгабре. Отмечу, что именно игвы этого шрастра первыми сумели проникнуть на пустынную и мертвенную в их мире поверхность земли.

Но жизнь шрастров теснейшим образом переплетена с бытием совсем иного рода и масштаба демонических существ, слои обитания которых составляют соседнюю сакуалу, — соседнюю, но активно взаимодействующую с сакуалой шрастров. Игвы и раругги ещё не в состоянии переходить в эти слои, но обитатели соседней сакуалы — уицраоры — могут вступать и вступают, вернее, вползают в города игв.

Это могущественные существа, играющие в истории и метаистории роль столь же огромную, как и их телесные размеры. Если бы голову этого создания вообразить на месте Москвы, щупальцы его дотянулись бы до моря. Они передвигаются с захватывающей дух быстротой, обладают даром речи и немалой хитростью. Происхождение их сложно и двойственно. Каждый род уицраоров появился на свет как плод сочетания каросс, то есть локальных, национальных проявлений Лилит, «Всенародной Афродиты» человечества, с демиургами сверхнародов. В большинстве метакультур эти существа были порождены по воле демиургов как защитники сверхнарода от внешних врагов. Впервые они появились в метакультуре Вавилонии: её демиург попытался это своё порождение противопоставить воинствующим эгрегорам Египта и Мидии, грозившим самому существованию вавилонского сверхнарода. Но кароссы несут в себе проклятое семя Гагтунгра, в глубокой древности заброшенное им в эфирную плоть Лилит, отдельными национально-культурными выражениями которой они являются. И семя Гагтунгра предопределило то, что первый же уицраор, сначала выполняя волю демиурга, вскоре затем переродился в трансфизического носителя великодержавной государственности Вавилона. Его агрессивность толкнула демиургов других сверхнародов на крайние меры защиты своих стран в Энрофе против завоевателя. Меры эти состояли в порождении ими подобных же существ, способных оказать сопротивление Вавилонскому уицраору. Таким образом, эти чудовища появились в Иранской и Еврейской метакультурах, а затем и во всех остальных.

Размножение этих крайне агрессивных и глубоко несчастных существ происходит путём, напоминающим почкование. Пола они лишены. Каждое детище становится тотчас смертельным врагом своего родителя и потенциальным его убийцей. Так возникли в метакультурах как бы династии уицраоров, преемственно наследующих друг другу после того, как умерщвлён родитель и пожрано его сердце. В большинстве метакультур существует одновременно лишь один уицраор либо один уицраор-родитель и одно или несколько его детищ, ведущих с отцом отчаянную борьбу. Борьба и уничтожение уицраорами друг друга — одно из самых чудовищных зрелищ метаистории.

На протяжении исторического существования России сменилось три царствовавших уицраора, но у каждого из них раньше, чем он погибал, появлялись сперва детища, которых ему удавалось пожрать самому. В метакультуре же Северо-Запада создалось иное положение: там были и есть одновременно несколько династий уицраоров, и это обстоятельство

породило громадные исторические последствия для всего мира, так как наличие нескольких подобных династий препятствовало и препятствует объединению Северо-Западного сверхнарода в единое целое. Оно же явилось предпосылкой ко всем великим европейским войнам, а также к обеим мировым.

Уицраоры обитают в пустынном мире, похожем на горячую тундру; он распадается на отдельные зоны соответственно границам метакультур. Каждый уицраор может быть вхож не только в соседние зоны (конечно, только победив соседних уицраоров), но и в шрастры: туда он вползает как туманная гора. Игвы и раругги трепещут, слыша его голос, как перед властелином и деспотом, но вместе с тем видят в нём великого защитника и против других шрастров, и против сил Света. Как без него боролись бы они с воинствами синклитов и с самим демиургом? — Именно различные коллизии борьбы уицраоров между собой, а также каждого из них — с демиургом и синклитом данной метакультуры — вот, в значительной степени, трансфизическая сторона того процесса, который мы воспринимаем как политический и исторический.

Уицраоры видят Энроф смутно, людей и наш ландшафт — туманно и искажённо, но любят наш мир горячей, неутолимой страстью. Они хотели бы воплотиться здесь — и не могут. Гагтунгра видят воочию и трепещут перед ним, как рабы. Великих игв они считают, в своей ограниченности, лишь исполнителями своей воли; в действительности великий игва видит выше и глубже, чем они, знает больше и стремится использовать алчность, воинственность и мощь уицраоров в интересах античеловечества.

Что же поддерживает жизненные силы уицраоров? Механизм этого процесса весьма непрост. Уицраор излучает в гигантских количествах своеобразную психическую энергию, проникающую в Энроф. Воспринятая сферой бессознательного в человеческой психике, она проявляется среди человеческих обществ в виде комплекса национально-государственных чувств. Благоговение перед своим государством (не перед народом или страной, а именно перед государством с его мощью), переживание самого себя как участника в грандиозной деятельности великодержавия, культ кесарей или вождей, жгучая ненависть к их врагам, гордость материальным преуспеванием и внешними победами своего государства, национальное самодовольство, воинственность, кровожадность, завоевательный энтузиазм — все эти чувства, выявляющиеся уже в пределах человеческого сознания, могут расти, распухать, гипертрофироваться лишь благодаря этой уицраориальной энергии. Но при этом психика людей обогащает эти, если можно так выразиться, разряды энергии своими собственными

привнесениями, свойственными лишь ей. Возникает своеобразное психоизлучение человеческих масс, психоизлучение двойственной природы и обратной направленности. Оно опускается сквозь земную кору, проникает в соседние инфраслои и проступает в виде вязкой красной росы на почве шрастров. Игвы собирают её для уицраоров — в этом и состоит их главная обязанность по отношению к ним, — а остатками лакомятся сами: прозябание на растительной пище не только угнетает их и тяготит, но и не может предохранить от деградации.

Весьма возможно, что я упрощаю или не вполне правильно излагаю механизм этого процесса; но суть его — питание уицраоров психоизлучениями народов, и притом излучениями, связанными именно с эмоциями государственного комплекса, — это не только серьёзнейший факт, но и причина неисчислимых бедствий.

Игвы не вхожи в слои уицраоров, но видят их как бы извне, смутно, тенями. Притаясь в шрастрах, наблюдают они битвы между уицраором и демиургом, изо всех сил стараясь влить в разъярённую тушу демона побольше питательной росы. При этом демиурга они не видят, но эта незримость кого-то могучего и светлого, способного бороться с самим демоном великодержавия, внушает им чувства ужаса и острой враждебности. Они знают, что гибель уицраора влечёт за собой, вместе с гибелью государственного образования в Энрофе (это могло бы вызвать даже их ликование, если б на месте старого государства должно было возникнуть молодое, более сильное), гибель всей династии уицраоров или разрушение шрастра. Этим предопределяется гибель воинствующих государств данной метакультуры, во всяком случае на многие века.

Так как я стремлюсь поделиться всем, что мне известно, даже не имеющими, казалось бы, значения мелочами, то в сноске я перечисляю имена погибших династий уицраоров<sup>[17]</sup> а в тексте — династии ныне существующие. Итак: Истарра — уицраор Испании; Ниссуш — монголо-маньчжуро-японская династия; с ним сосуществует пока Лай-Чжой, помесь Ниссуша с российским Жругром; сам Жругр; и, наконец, Ваггаг — общее имя для уицраоров Северо-Запада, обитающих в своём слое, как я уже говорил, по несколько одновременно. Сейчас их трое: английский (Устр), французский (Бартрад) и заброшенное в их слой отпочкование Жругра — югославский Чармич. Все эти уицраоры — уже не первые в своём роду: династии их появились в прошлые столетия. Но в XX веке возникли и совсем новые династии как итог сочетания демиургов с кароссами метакультур, имевшего место в современности. Таковы: Шостр — уицраор новоарабский, рождённый после разгрома Оттоманской империи и

ищущий проявить себя то в одном, то в другом из мусульманских государств, начав с кемалистской Турции; Авардал — уицраор новоиндийский, родившийся несколько лет назад в силу всё той же роковой необходимости защиты метакультуры; Стэбинг — уицраор Соединённых Штатов Америки, во внешнем облике которого есть нечто от тигра, а на голове — золотой конус; и ещё Укурмия — уицраор новогерманский, рождённый после крушения Третьей империи и гибели старой династии уицраоров. Демиург Северо-Запада был вынужден повторить роковой шаг, так как другого выхода не было. Новое создание менее свирепо, чем его предшественник: прилагаются неслыханные усилия, чтобы инспирировать его из очень высоких миров Света. Перед ним открывается — впервые перед уицраорами — возможность восходящего пути, и в облике его есть нечто царственное, скорее всего — львиное. Ведь до сих пор ни один из уицраоров не знал иного посмертия, кроме падения в Уппум, особый ад уицраоров — Дождь Вечной Тоски, созданный некогда Гагтунгром для обратившегося к Свету дракона Прамонгольской метакультуры. Позднее Уппум был замкнут наглухо, и освобождения оттуда не может быть, по крайней мере в этом зоне.

Мне остаётся сказать несколько слов о Друккарге — единственном из шрастров, воспоминания о котором поднимаются в круг моей дневной памяти. Центр главного из городов Друккарга составляет сооружение высотой около километра: капище. О статуе праигвы, мчащегося верхом на распростёршем крылья раругге, я уже говорил; и если отдалённым подобием этой статуи нужно считать в Энрофе Медного Всадника, то с капищем трансфизически связано совсем иное, знакомое нам здание: мавзолей.

Главный город опоясан кольцевой цитаделью, состоящей из концентрических кругов. В одном из них томится Навна, Идеальная Соборная Душа России. При третьем Жругре положение ухудшилось: над нею воздвигнут плотный свод. Теперь её сияющий голос едва проступает местами, как голубоватое, невидимое игвам и раруггам, свечение на поверхности циклопических стен. А вне Друккарга лишь верующие в России земной и просветлённые в России Небесной слышат её голос. — Кто она, Навна? То, что объединяет русских в единую нацию; то, что зовёт и тянет отдельные русские души ввысь и ввысь; то, что овекает искусство России неповторимым благоуханием; то, что надстоит над чистейшими и высочайшими женскими образами русских сказаний, литературы и музыки; то, что рождает в русских сердцах тоску о высоком, особенном, лишь России предназначенном долженствовании, — всё это Навна. Соборность

же её заключается в том, что нечто от каждой русской души поднимается к Навне, входит в неё, оберегается в ней и сливается с её собственным Я. Можно сказать и так: некоторого рода духо-энергия, имеющаяся у каждого человека, входящего в организм нации, пребывает в Навне. Навна — невеста демиурга России и пленница Жругров.

Жругр, как и остальные уицраоры, не может иметь никаких детей, кроме отпочковывающихся иногда жругритов. Но некое отдалённое подобие брака между ним и кароссой России по имени Дингра состоит в том, что он, всасывая индивидуальные русские души, точнее — шельты, во время их человеческого сна, ввергает их в лоно кароссы Дингры, где они трансформируются, калечась и духовно обеспложиваясь. Результаты этого воспринимаются нами как психическое перерождение тех из наших соотечественников, кто стал активным строителем цитадели.

Кроме раруггов и игв, в Друккарге есть и ещё обитатели: те, чья жизнь и деятельность в русском Энрофе были накрепко связаны с великодержавным строительством, кто пользовался большой властью и влиял на судьбы миллионов душ. Здесь они находятся как узники и рабы, без отдыха строящие цитадель игв. Кроме гибели Жругров и разрушения Друккарга, их не освободит ничто. Здесь находятся, например, с самого начала своего посмертия Иоанн III и почти все остальные монархи, полководцы, деятельные строители государственности. Исключения? Да, есть и исключения. Это, с одной стороны, тираны: прежде чем вступить в Друккарг, им приходится веками искупать свою личную карму в глубоких страданиях. Некоторые из них уже миновали эти круги и теперь находятся здесь, например, Иоанн Грозный. Другие, как Павел I или Аракчеев, ещё только поднимаются из глубины магм. Но есть и иные исключения, ничтожные по своему числу: те, кто, будучи монархом, создал ещё при жизни противовес своей лично-державной карме, создал его горячею верой, высоким милосердием и добротой либо даже страдальчеством. Вспомним Владимира Святого, Владимира Мономаха, Александра Невского, Фёдора Иоанновича. Вспомним тех, для кого власть, едва принятая в руки, оказалась источником только страданий, утрат и даже гибели: Фёдора Годунова, Иоанна Антоновича. Многих удивит подобное утверждение, но Николая II избавила от Друккарга трагедия, пережитая им в Екатеринбурге. Совсем особое значение имеет одна из колоссальнейших фигур русской метаистории — Александр Первый. Ему в этой книге посвящена отдельная глава.

В Друккарге таких пленников около трёхсот. Это человекоподобные существа громадных размеров, напоминающие фигуры древних титанов.

Но в обликах нет ничего светящегося. Напротив: лица их кажутся испепелёнными глубинным огнём, тела облачены в грубые, тёмно-багровые ткани. Они скованы между собой, а труд их схож с кладкой камней, с возведением новых и новых ярусов цитадели. Короткий полусон. Пища — инфрарастительность. Над ними довлеет страх перед уицраором: в случае ослушания или бунта он может сбросить их, как и игвы, на Дно Шаданакара. История Друккарга уже знает такие случаи.

Аналогично Друккаргу, такими же пленниками-титанами пребывают в Мудгабре Карл V, Наполеон, почти все монархи, полководцы, государственные деятели Северо-Западной Европы и Северной Америки. В Юнукамне работают камненосцами Григорий VII, Лойола, большинство пап. Торквемада, пробыв в Биаске и Пропулке много веков, поднят ещё только до нижних чистилищ.

А в особом, уже совсем недоступном застенке содержат властители Друккарга тех из братьев Синклита, кто был взят ими в плен во время битв между силами шрастров и силами Света. Уничтожить их не может никто — ни уицраоры, ни игвы. Они как бы томятся в бессрочном заключении, ожидая неизбежной — рано или поздно — гибели этой крепости античеловечества.

**КНИГА V. СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА.  
СТИХИАЛИ**



## Глава 1

### Демонические стихии

В числе разнозначных и разноматериальных слоёв, составляющих Шаданакар, имеется четыре сакуалы, связанные с тем, что мы называем стихиями Природы. Как связанные? через что?

Здесь мы касаемся тезиса, поддающегося изложению с некоторым трудом. Дело в том, что смысл и значение некоторой зоны трёхмерного мира, объемлющего, скажем, снежные вершины гор, отнюдь не исчерпываются тем, что схватывается восприятием наших пяти чувств, то есть вот этими вершинами, состоящими из гнейса, гранита и других пород и покрытыми фирном и ледниками. Трёхмерная зона эта оказывается, сверх того, как бы полусферой, соотносимой с другою зоной, условно выражаясь — полусферой, но обладающей иным числом пространственных координат. Снежные хребты, безжизненные, бесприютные и бесплодные в своём мёртвом великолепии, — это только одна из двух полусфер или двух слоёв тесно связанной системы. Другая полусфера или, точнее, другой её слой — иномерен. Этот слой являет страну воплощённых духов потрясающего величия, подобных царям снежных вершин. Называется он Орлионтана. Именно просвечивание Орлионтаны сквозь кору трёхмерного вещества вызывает то впечатление царственного спокойствия, могущества и лучезарности, которое снежные хребты вызывают в каждом, кто хоть немного способен принимать инспирацию сил трансфизического мира через красоту. Орлионтана, созерцаемая духовным зрением, — это горные вершины в духовной славе. Вершины же, доступные нашим физическим очам, — не более как плоды могучего, миллионы лет охватывающего творческого бытия этих существ — стихии Орлионтаны. Когда человеческая душа, несущая внутри себя последствия долгого пребывания в состоянии безверия, уединяется в Олирне среди её полупрозрачных гор, именно прозрение в слой Орлионтаны способствует устранению последних следов слепой замкнутости и косности в душевном существе и приобщает человеческую душу пониманию многослойности и духовного величия Вселенной.

Но, в противоположность Орлионтане, большинство слоёв стихии локальны, то есть пространство их не обладает космическим протяжением. Точнее, оно лишено даже той протяжённости до границ Солнечной системы, какой обладают миры шрафтов. Поэтому в большинстве этих

слоёв неба нет. Сами же слои стихиалей подобны своего рода оазисам, а между ними — пустынность. Друг от друга они отграничиваются, как и шрастры, различиями в цифрах временных координат.

Стихиалиями называются те монады, которые проходят свой путь становления в Шаданакаре преимущественно сквозь царства Природы. При этом нельзя забывать, что аспектом своеобразного царства Природы является и человечество. Стихийные, именно стихийные силы, кипящие в нём и без которых немислимо его существование, выражают, хотя и не исчерпывают, этот его аспект. Неудивительно поэтому, что есть и такие стихиали, которые связаны не с природой в общепринятом смысле слова, а с человечеством, с его стихийным, природным аспектом.

Есть среди стихиалей множество духовных «Я» светлой природы, есть демонической, есть и такие промежуточные группы, сущность которых была временно омрачена в ходе их развития. Но всех их объединяет одно: путь их так тесно связан с царствами Природы, как ни у кого более. Это не значит, впрочем, что монада никакой стихиали, ни на одном из отрезков своего пути не может принять инкарнацию в плоти человека, даймона или ангела. Может вполне. Так же, как и некоторые человеческие монады начали создавать для себя форму из более плотных материальностей в незапамятные времена не в человеческих слоях, а в сакуале стихиалей или в сакуале ангелов. Но для них это явилось кратковременным сравнительно этапом. Столь же кратковременны для отдельных стихиалей их инкарнации в человеческих или любых иных формах.

Если исключить из круга тех, о ком мы говорим, животное царство, а также мир деревьев, то следует считать, что наиболее плотную форму, истинное своё воплощение стихиали принимают в тех сакуалах, которым присвоено их имя. Стихии природы в Энрофе — вода, воздух, земля, растительный покров, минеральные слои магмы и, наконец, та «жизненная сила», арунгвильта-прана, присутствие которой — неперемное условие всякой органической жизни в Энрофе, — всё это, по большей части, не плоть стихиалей, а скорее внешний концентрический круг среды их пребывания, пронизанный ими, движимый ими и преобразуемый, — арена и материал их творчества, их веселия и гнева, их борьбы, игры и любви. Собственная же плоть стихиалей имеет, в большинстве, струящийся характер: границы формы непостоянны и способны к взаимопроникновению. Однако так обстоит дело далеко не со всеми стихиалиями, и в каждом подобном случае это будет оговорено.

Со стихиалей демонической природы я начинаю лишь потому, что этой самую демоничностью они примыкают к слоям инфрафизики,

панораму которых мы, слава Богу, собираемся покинуть. Потом, сказав несколько слов о промежуточной группе, можно будет с лёгкой душой поставить точку на описании горестных или омрачённых слоёв и закончить обзор брамфатуры, после характеристики светлых стихиальных слоёв, мирами наивысшими, духовно блистающими в её недостижимой высоте, в святая святых Шаданакара.

Существует область буйных и страшных стихиалей магмы, подлежащих просветлению едва ли не позже всех: Шартамахум. Область эту следует понимать как зону воплощения существ, чьи шельты между инкарнациями находятся в инфражелезном океане Фукабирна, не испытывая при этом тех страданий, какие становятся уделом павших туда человеческих душ. Магмы же физические — это, как я говорил, внешний круг среды их пребывания в периоды их воплощения в Шартамахуме, арена и материал их творчества, их гнева и борьбы. Во время вулканической деятельности, землетрясений, геологических катастроф стихиали Шартамахума вырываются из подземных глубин того слоя как бы на его поверхность; этим самым они увлекают потоки лавы в Энрофе из-под земли наверх, неся живому только погибель. Но это — лишь косвенный, почти случайный результат их деятельности. До живых существ в Энрофе им нет никакого дела, они их просто не воспринимают, а если бы и восприняли, то не поняли бы. Прямой смысл их деятельности следуют искать совсем в другом плане, и он нам станет яснее, если мы представим себе, что случилось бы с земным шаром, если бы деятельность Шартамахума прекратилась миллионы лет назад. Субъективно деятельность этих стихиалей — только мятежный разгул, дикое беснование, не знающее никакого контроля и доставляющее им наслаждение именно сознанием своей силы и безнаказанности. Объективно же получается так, что этим буйствованием вызываются изменения лика земли в Энрофе, вызываются процессы горообразования, смена преобладающих режимов — морского и континентального, соответствующая эволюция растительного и животного царств и, в конце концов, создание предпосылок к появлению человека. Злобное и неистовое действование демонических стихиалей Провиденциальные силы отчасти обращают во благо, извлекают из него некий положительный итог.

Но есть и такие стихиали, из чьей деятельности извлечь положительный итог не удалось доньше. Таковы, например, стихиали трясин, болот, тропических зарослей. Слой их пребывания, называемый Ганникс, подобен подводной черноте. Между же инкарнациями в Ганниксе души их находятся в темнейшем из миров земного ядра — в Ытрэче. А что

до Ганникса, то его бытие разве не ощущали многие народы на заре своей истории, пока иные устремления духа не заслонили, не загасили в них это переживание? А некоторые разве не ощущают бытие Ганникса и поныне? Сказания о разноликих, вернее безликих, только личины на себя принимающих коварных существах, заманивающих человека в гибельные места, связаны именно с этим миром. Он таится не только за трёхмерными зонами трясин и болот, но и в наледях сибирской тайги, в чарусах и немеречах средней России. В трагической гибели Австралийской культуры повинны, наряду со стихиями пустынь, и чёрные, клубящиеся, засасывающие в темноту стихии Ганникса.

Не менее враждебны человеку, да и всему живому стихии песчаных массивов, чей слой воплощения называется Свикс и похож на пустыню в состоянии самума. Между воплощениями в этом слое стихии пустынь находятся в Шим-биге, где усугубляют мучения проходящих через этот инфрафизический туннель человеческих душ, терзая их в виде присасывающих к ним вихрей. Пустыня в состоянии покоя, когда стихии Свикса утомлены или погружены в забытье, являет человеческим очам такой величавый простор, такие мирные и чистые дали, а небо зияет над ней с такой очевидной божественностью, что, вероятно, нигде в Энрофе нет областей, более способствующих созерцанию Единого. Легко понять, почему чёткое единобожие возникло и утвердилось именно в странах с великими пустынями. Но пустыня двойственна. И следы замутняющих лик неба песчаных смерчей, следы затемняющих лик Единого стихий Свикса можно разглядеть даже на страницах таких памятников мирового откровения, как Библия и Коран.

В непроглядных мирах земного ядра находятся между инкарнациями души ещё и других стихий: угрюмых, косных, мрачных и алчных стихий морских глубин. Область их воплощений, Нугурт, дождётся просветления очень, очень не скоро, лишь к концу второго зона. Но если силы Шартамахума вырываются на поверхность в часы извержения, то излучения Нугурта поднимаются, напротив, исподволь, из глубинной тьмы, сквозь пронизанный светом мир прекрасных стихий верхних слоёв моря. В открытом океане излучения Нугурта сильнее, потому что там толща глубинных тёмных слоёв массивнее, чем в мелководных морских бассейнах. Для нас это излучение физически не опасно, но его опустошающему, отягчающему действию подпадает душевный состав нашего существа. Это могли бы проследить на самих себе многие моряки, если бы мысль их была вооружена трансфизическим анализом.

И есть ещё один мир демонических стихий, стоящий как бы

особняком, так как он связан не со стихиями Природы, а со стихией человечества. Слой этот называется Дуггур, и запомнить это название необходимо, ибо там царят демоны великих городов Энрофа, в высшей степени опасные для нашего душевного существа.

Подобно Агру и Буствичу, в структурном отношении Дуггур представляет собой океанообразную сферу тёмных паров, не обитаемую никем, и редкие острова, пространственно связанные с городами-гигантами трёхмерного мира. Ландшафт резко урбанистичен, даже более урбанистичен, чем в шрастрах, потому что здесь нет ни гор, ни лавовых морей, ни растительности, но зато и колорита тьмы и багровых свечений тоже нет в нём. Весь спектр нашего мира наличествует и там, преобладают же тона мутно-синие, сизые, серые, голубовато-лунные. Из Дуггура видно даже небо, но из всех небесных светил — только Луна, ибо его пространство гаснет вскоре за пределами лунной брамфатуры. Впрочем, и Луна там имеет совсем не такое обличье, к которому привыкли мы, потому что из всех слоёв её брамфатуры обитатели Дуггура видят лишь тот, где обитает Воглеа — великий лунный демон. В русском языке нет соответствующего слова женского рода; но, говоря о мирах, подобных Дуггuru, потребность в таком слове переходит в необходимость. И хотя слово «демоница» непривычно и немзыкально, мне придётся его употреблять.

Демоницы великих городов нашего слоя обременены в Дуггуре гигантскою материальностью. Эти воплощения их отчасти человекоподобны, но лишь настолько, насколько могут походить на человека необъятные туши, почти не способные к передвижению. В каждом из городов Дуггура такая демоница только одна; население же городов состоит из мелких демонов обоего пола, и по размерам своим, и по форме едва отличающихся от человека. Как пчёлы вокруг матки, кишат они вокруг своей владычицы; но цель их — лишь отчасти помощь ей, главное же — наслаждение, а её смысл и цель — не продолжение рода (он продолжается и без неё), а удовлетворение похоти своих подданных. Для демониц созданы грандиозные обиталища; в каждом из городов Дуггура такое обиталище — одно, в форме усечённой пирамиды: оно напоминает чудовищный жертвенник. Дуггур не только грандиозен, он по-своему даже величав и, во всяком случае, роскошен. Как и в шрастрах, там имеется эквивалент человеческой техники, хотя по уровню его можно было бы сравнить с техникой в наших великих городах древности.

Организация общества развивается очень медленно, мало-помалу начиная проявлять некоторые признаки того, что на языке человеческих

понятий называется самоуправлением. Но социально-экономической основой остаётся рабство, причём рабами здесь оказываются те, кто сорвался сюда из человечества или из некоторых миров других стихий. Положение мелких демонов Дуггура напоминает положение патрициев и всадников в Древнем Риме. Нельзя сказать, чтобы они были как-нибудь особенно жестоки, но сладострастны они свыше всякой меры, как не сладострастно ни одно существо в Энрофе. Основ владычества великих демонов здесь не могли бы потрясти никакие мятежи, ибо оно основано не на страхе, а на похоти, которую испытывают к ним миллионы подданных, и на наслаждении, которое им даруется в награду за их послушание и любовь.

Демоницы Дуггура телесно отдаются одновременно целым толпам, и в их обиталищах, полудворцах-полукапищах, идёт непрерывная, почти непонятная для нас оргия во славу демонической царицы Луны, той самой, чьё влияние испытываем иногда и мы, люди, в городские лунные ночи: оно примешивается к маняще возвышенному и чистому влиянию светлой Танит, возбуждая в человеческом существе тоску по таким сексуальным формам наслаждения, каких нет в Энрофе. В Дуггуре эти формы есть. В Дуггуре выработана почти необозримая шкала этих форм, столь разнообразных, как нигде в Шаданакаре. Влияние Танит сюда не достигает совсем, о солнечном свете здесь не имеют даже представления, всё погружено то в сизый сумрак, то в бледно-синеватое, фиолетовыми вспышками играющее освещение Луны, и ничто не мешает бушеванию страстей, вызываемых лунною демоницей Воглеа. От непрерывных оргий во дворцах-жертвенниках Дуггура клубы испарений восходят к ней, и она пьёт их, но бесчисленных обитателей этих городов не может удовлетворить ничто, ибо их томит ещё более глубокий, мало кому из нас понятный вид сладострастия — сладострастие мистическое, тянущее их к недостижимому даже для них: к Великой Блуднице. Она — их божество, их тоска и грёза. Ей посвящён их высший культ. В дни её праздников демоницы-правительницы отдаются рабам. Но получить удовлетворение это мистическое сладострастие может лишь в Дигме, в обиталище Гагтунгра, и достойным его оказываются лишь избранные.

Восполнение жизненных сил бесчисленного населения Дуггура совершается за счёт нашего слоя: излучение человеческой и отчасти звериной похоти, так называемый эйфос, беловатыми ручьями медленно и вязко движущееся вдоль улиц Дуггура; они его впивают в себя. Такая пища соответствует их собственному существу: похоть — смысл, цель, содержание и пафос их жизни. Острота наслаждений, испытываемых ими,

во много раз сильнее, чем способны испытывать мы. Они движутся по кругу перевоплощений, и для них это действительно безвыходный круг: каждый раз между инкарнациями их души погружаются в Буствич, приобретая облик человеко-червей и заживо пожирая людей-страдальцев в этом вечно гниющем мире. И всё же наслаждение, доставляемое похотью, даже неутолимым мистическим сладострастием к Великой Блуднице, в их глазах так велико, что они готовы платить пребыванием в Буствиче за беснование и оргии в Дуггуре.

Единственным светилом в Дуггуре, его солнцем, служит Луна, поэтому большую часть времени этот слой погружен в глубокий сумрак. Тогда вступает в свои права искусственное освещение — длинные цепи мутно-синих и лиловатых фонарей: они тянутся нескончаемыми гирляндами вдоль пышных, массивных зданий. В архитектуре господствует закруглённая линия, но это не избавляет её форм от тяжеловесности. Внутреннее и внешнее убранство зданий аляповато и грубо, но поражает своим богатством, своим бьющим в глаза великолепием. Зодчие, художники, даже учёные, не говоря уже о рабочих, принадлежат к классу рабов. Основное, демоническое, население Дуггура столь же импотентно умственно и художественно, насколько одарено похотью.

Для человеческой души срыв в Дуггур таит грозную опасность. Срыв происходит в том случае, если на протяжении жизни в Энрофе душу томило и растлевало сладострастие к потустороннему — то самое мистическое сладострастие, которое испытывают мелкие демоны Дуггура к Великой Блуднице. Даже пребывание в Буствиче не может для такой души восстановить должного равновесия между отягчённым эфирным телом и окружающей средой. Душа со своими облачениями проваливается в Рафаг, где ждёт её новый провал: в тот самый мир, о котором ей смутно мечталось на земле. Там, в Дуггуре, на неё надевается каррох — плотноматериальное тело, схожее с физическим, но созданное из той материальности демонических миров, которая порождена тёмными иерархиями метабрамфатуры и Гагтунгром. Спасение души из рабства в Дуггуре силами Света наталкивается на исключительные трудности. Есть, однако, один акт, зависящий от самой человеческой души, который может открыть перед ней путь к спасению: самоубийство. Греховное в Энрофе, где материальность сотворена Провиденциальными силами и предуготовляется к просветлению, самоубийство в демонических слоях оправдано, так как влечёт за собой разрушение карроха и освобождение души. Но если этого акта не совершено, а светлые силы помощи побеждены, душа после смерти в Дуггуре попадает в Буствич опять, потом снова в Дуггур — уже не в

качестве раба, а привилегированного. Шельт постепенно демонизируется, застревает в колесе инкарнаций от Дуггура до Буствича и обратно, и может статься, что монада, в конце концов, отказывается от него. Тогда он падает в Суфэтх, кладбище Шаданакара, и умирает там навсегда, а монада покидает нашу брамфатуру, чтобы начать наново свой путь где-нибудь на других концах Вселенной. Из тех немногочисленных, впрочем, душ, что погибли навеки в Суфэтхе, большинство были жертвами именно Дуггура.

Описание Дуггура можно закончить небольшим штрихом. В Дуггуро-Петербурге, так же, как в Друккарге, так же, как в Небесной России, есть двойник — лучше сказать, тройник — огромной статуи Всадника. Но здесь этот Всадник мчится не на раругге, как в столице российского античеловечества, и, конечно, не на заоблачном белом коне, как в небесном Петербурге. Здесь — это изваяние первооснователя этого преисподнего города с бурно пылающим и дымящимся факелом в простёртой руке. Отличие этой фигуры ещё и в том, что она мчится не на коне, а на исполинском змее. Может быть, теперь поймёт читающий эту книгу, о чём и о ком говорил Александр Блок в стихах, исполненных настоящего прозрения:

Сойдут глухие вечера,  
Змей расклубится над домами.  
В руке протянутой Петра  
Запляшет факельное пламя.  
Зажгутся нити фонарей,  
Блеснут витрины и тротуары  
В мерцаньи тусклых площадей  
Потянутся рядами пары.  
Плащами всех укроет мгла,  
Потонет взгляд в манящем взгляде.  
Пускай невинность из угла  
Протяжно молит о пощаде!  
Там, на скале, весёлый царь  
Взмахнул зловонное кадило,  
И ризой городская гарь  
Фонарь манящий облачила!  
Бегите все на зов! на лов!  
На перекрестки улиц лунных!  
Весь город полон голосов,  
Мужских — крикливых, женских — струнных.



Он будет город свой беречь,  
И, заалев перед денницей,  
В руке простёртой вспыхнет меч  
Над затихающей столицей.

Что в руке первооснователя Дуггура рано или поздно, вместо факела, вспыхивает меч кары, меч кармы — это понятно. И каждая душа человеческая, побывавшая в этом тёмнолунном городе, не может не помнить этого, хотя бы и совсем смутно. Не вполне понятно другое: в какой мере самому Блоку были ясны взаимосвязи между Дуггуром и нашим миром. Об этом я попытаюсь высказать некоторые наблюдения в тех главах книги, которые посвящены проблеме метаисторического смысла художественной гениальности.

В некотором сочетании с Дуггуром находятся слои стихиалей, принадлежащих уже не к демонической, а к промежуточной группе. Монады их, как и других стихиалей светлой природы, — в одном из прекрасных миров Высокого Долженствования, во Фляуресе. Но вследствие того, что природа их омрачена в ходе их развития, путь их инкарнации приводит в слои Нибрусков, Манику, Каттарам и Рон, а чистилища и страдалища заменены для них Дуггуром, где они влачат свои дни в состоянии рабства. Восходящее же посмертно приводит их сперва в Шалем — для них он сходен с нашей Олирной, и далее, через Файр и Уснорм, во Фляурос, где они соединяются со своими монадами.

Нибруски представляют собой существа, как бы средние между мелкими демонами Дуггура и тем, что древние римляне представляли себе под именем «гениев места». Без нибрусков не обходится ни один человеческий посёлок. Мне ещё неясно, как и почему эти существа заинтересованы в физической стороне человеческой любви и особенно в нашем деторождении. Может быть, какие-то излучения человеческой души в состояниях, свойственных младенчеству и раннему детству, имеют известное отношение к восполнению нибрусками своих жизненных сил. Во всяком случае, их заинтересованность не вызывает сомнений. Они по-своему хлопочут, споспешествуя сближению в нашем слое мужчин и женщин между собой, шумно радуются нашим детям, суетливо снуют вокруг них, стараясь даже предохранить их от невидимых нам опасностей. Но они капризны, импульсивны и мстительны. Доверять им можно не всегда.

И пусть мудрецы нашего века, посадившие сами себя в

материалистический карцер, иронизируют с высоты своего невежества над суевериями дикарей, но только в сказках о домовых, о пенатах и ларах, о добрых и шаловливых маленьких духах домашнего очага заключается глубокая правда. Древнее язычество знало её куда лучше нас, лучше евреев и магометан, лучше христиан, возводивших на эти безобидные существа поклёпы и небылицы. Сплетни про домовых удивляют своей несправедливостью. Подобные рассказы бывают порождены только одним духом — тем самым, который свойственен фанатикам монотеизма, ханжам и сухим моралистам, объявляющим всё, что не входит в их канон, нечистью. Куда объективнее относились к этим существам древние, видевшие в них верных друзей — лар и пенатов!.. Область этих мелких стихиалей, уютящихся у человеческих жилищ, называется Манику. Ландшафты этого мира похожи на комнату и не лишены уюта. Но снаружи — мрак и холод, и не дай Бог этим существам быть изгнанными из их тёплых убежищ. А формы их воплощений не таковы, как у большинства стихиалей: в них нет ничего струистого, переливающегося — наоборот: как и нибрусски, как жители Дуггура, они обладают плотным, чётко очерченным телом, хочется сказать — тельцем. Они миниатюрны, веселы и проказливы, а некоторые активно добры. Это своего рода филантропы, любящие делать людям мелкие услуги так, чтобы этого никто не знал. Впрочем, другие из них позволяют себе с людьми более или менее безобидные шутки. Вообще же, они относятся к нам избирательно, но дом стараются хранить и оберегать, как могут. Потому что в случае его разрушения разрушаются и их приюты в слое Манику, и бездомные малютки в большинстве случаев погибают. Лишь немногим удаётся добраться до другого убежища.

О Каттараме, области стихиалей минерального царства, связанных с верхней частью земной коры, я почти ничего не могу сказать: соответствующего личного опыта у меня нет, а мои невидимые друзья сказали мне об этом мире лишь несколько слов. Я узнал только, что ландшафт Каттарамы — подземные пустоты среди самосветящихся метаминералов — красив сказочной красотой, но нам это всё-таки казалось бы мертвенным. Население Каттарамы разнообразно (вспомним «Хозяйку Медной горы», с одной стороны, троллей — с другой), и общение с этими стихиалями может быть чревато, хотя и не всегда, потусторонними опасностями. Ещё менее знаком мне Рон: его ландшафт схож с Каттарамой, но обогащён отражением неба — именно только отражением. Это область горных стихиалей, пёстрый мир существ, часто враждующих между собой.

Последним или, вернее, высшим из слоёв этой сакуалы нужно считать Шалем — своеобразную Олирну для стихиалей четырёх предыдущих

слоёв. Ландшафт его сравним отчасти с колоссальными дубами среди пустыни. В средоточиях ландшафта преобладают сине-зелёные тона, к окраинам — желтоватые и серые. Здесь стихии становятся вполне светлыми, царственными, и здесь их ждёт не смерть, а трансформация, ведущая в Файр и Уснорм; они её покупают ценой почти полной телесной неподвижности. Неподвижность возмещается глубиной и сосредоточенной проникновенностью духовного созерцания, в которое они погружены. Некоторые народы нашего мира, ощущая бытие этих существ, понимали их как духов отдельных гор, водопадов, источников, урочищ. В действительности это не духи, а вполне воплощённые существа, а неразрывная связь между ними и урочищами Энрофа — лишь кажущаяся. Она обусловлена их неподвижностью, которую древние толковали сообразно уровню своего понимания подобных истин. Правда же в том, что, если источник иссякнет, водопад будет перекрыт, гора разрушена землетрясением, стихии Шалема останутся неизбежно на своих местах, пока их внутренняя работа над собственным существом не подведёт их к мгновению трансформации.

## Глава 2

### Светлые стихиаали

Я утомил перечислением всё новых и новых слоёв, введением новых и новых названий. Теперь их осталось впереди, правда, уже немного — обозрение структуры Шаданакара близится к концу, — но мне бы хотелось дать понять, что не ради забавы или причуды я ввожу все эти имена. Сколь бы непривычно ни звучали они сейчас и сколь бы ни казались подавляющему большинству праздной игрой воображения, но придут времена, когда каждый школьник старшего возраста будет знать эти имена столь же твёрдо, как теперь знает он названия латиноамериканских республик или провинций Китая. Если бы я думал иначе, я бы никогда не дерзнул приковывать к этим именам и названиям внимание читающих. Какой смысл составлять «географию» и «геологию» какой-нибудь планеты из системы Альдебарана, если на неё никто никогда не попадёт и даже наши потомки, может быть, разглядят её лишь в виде слабой звёздочки? Кому нужна такая выдумка? Но метагеография Шаданакара сейчас нужна единицам, скоро понадобится сотням, а когда-нибудь, вероятно, миллионам. Ведь и обыкновенная география была нужна лишь единицам всего каких-нибудь двести лет назад, во времена госпожи Простаковой.

Как счастлив я, что окончился наш спуск в демонические миры и что перед нами — слои существ прекрасных, для человека безусловно благоприятных. Но описывать светлое, тем более потустороннее, всегда значительно труднее, чем тёмное или чудовищное. Опасаюсь, что и я не избегну удела большинства тех, кто пишет: находя краски и слова для образов омрачённых и скорбных, томиться от недостатка изобразительных средств, когда дело доходит до заоблачных сияний.

Именно сияя и блистая в возвышенном Фляуресе, монады светлых стихиаалей протягивают оттуда свои шельты, подобно лучам — в затомисы, чтобы там сосредоточивать вокруг себя просветлённую материю: это их души, облачённые в астральные покровы. В промежутках между воплощениями эти души остаются там. Воплощаясь же в мирах светлых стихиаалей, они, в свою очередь, концентрируют вокруг себя материальность более плотной субстанции: эфирную. Именно эти миры и перечисляются в настоящей главе. Ни одна из светлых стихиаалей, исключая стихиаали Арашамфа, не знает размножения, как не знает воплощения в Энрофе. Каждая из них самостоятельно облекает себя тканями

четырёхмерного мира: такова инкарнация, не нуждающаяся в размножении. А после цепочки инкарнаций каждая стихияль, вместо очередного умирания, переживает трансформу, уводящую в Файр и Уснорм.

Энроф и, в частности, людей они воспринимают осязанием и одним из чувств, которых у нас нет. И, уж конечно, человек для них не безразличен: их отношение к каждому из нас определяется его отношением к Природе. А о том, что стихии Энрофа правильнее всего понимать как внешний, концентрический круг среды их пребывания, я уже говорил. Кажется, только поэзии и музыке удавалось до сих пор выразить эту взаимосвязь стихиялей и стихий, эту дивную жизнь их в веселье, игре, любви и радости. Достаточно вспомнить гениальные страницы Вагнера — так называемый «Шелест леса», где не ветер уже проносится над морем деревьев и зацветающими лугами, но сами стихияли целуют этим ветром друг друга и прекрасную землю.

Немецкие сказки об эльфах — совсем не сказки: слой обитания добродушных, очаровательных маленьких существ, похожих на эльфов, действительно есть. Можно так и называть его: Страна Эльфов.

Верхний тоненький слоёк земной коры, где таятся корни и семена растений, имеет в трансфизических мирах своё соответствие — чудесную страну Дараинну, область благих духов, пестующих корни и семена. Её ландшафт может показаться волшебным: семена и корни тихо светятся нежнейшими оттенками голубоватого, серебристого, зеленоватого цвета; вокруг каждого зерна мягко мерцает живая аура. Обитатели Дараинны — крошечные существа, похожие на белые колпачки; сверху у каждого ещё один колпачок, поменьше, вроде головки; имеется пара нежных и ловких конечностей — среднее между руками и крыльями. Они тихо переплывают по воздуху, шелестя складками своих колпачков — это их речь, их форма общения между собою, — и ворожат над семенами и корнями, как над колыбелями. Им ведомы те загадочные процессы, благодаря которым из крошечного семени вырастает большое дерево со всей сложностью своих форм. Если бы не их помощь, тёмные силы получили бы доступ к этим колыбелям и давно уже превратили бы земную поверхность в непроходимые заросли кошмарных форм — вампирически хищных и безобразных эквивалентов растительности.

Если углубляться в почву Дараинны, в конце концов достигнешь Рона или Каттарамы.

Нижнему ярусу лесов — мхам, травам, кустам, всему, что мы называем подлеском, — соответствует слой по имени Мурохамма, а обиталище стихиялей деревьев именуется Арашамф.

Нет, это не дриады. Может быть, и были существа, подобные тем, кого так называли древние греки, но я их не знаю. Стихиали Мурохаммы и Арашамфа несколько не походят на людей, да и ни на одно существо нашего слоя. Души отдельных деревьев существуют в затомисах, они там разумны, высокопрекрасны и мудры. Братья синклитов общаются с ними в полной мере: это взаимный обмен идеями, чувствами, жизненным опытом. Но в Арашамфе они облакаются эфирными телами и погружаются в полудремоту. Деревья Энрофа — их физические тела. Каждая стихиаль Арашамфа прошла через множество воплощений; общую сумму лет существования в Энрофе можно исчислять для многих из них громадными цифрами, приближающимися к миллиону. Ландшафт же Арашамфа напоминает зеленоватые, тихо покачивающиеся языки благовонного негорячего пламени. Некоторые из них благи, подобно праведникам, и благосклонны к нам. Они терпеливы, спокойны и смиренномудры. Иногда между ними совершается нечто торжественное: они склоняются друг к другу, все в одну сторону. Весь эфирный лес превращается в тихо сгибающиеся и выпрямляющиеся, друг в друга переливающиеся пламена; они возносят хором нечто вроде славословия. В этом принимает участие иногда и слой Мурохаммы: он являет собой то же зеленоватое пространство, но ещё гуще, темнее, теплее и ещё ласковее.

Всякий легко припомнит, как на летней заре или весенним полднем проносятся тихие ветры, целующие землю. Они целуют землю с её травами, нивами и дорогами, деревья, поверхность рек и озёр, людей и животных. Эти стихиали слоя, называемого Вайита, радуются жизни. Они радуются нам и растениям, водам и Солнцу, радуются прохладной, горячей, мягкой, твёрдой, освещённой или полутёмной земле, гладят её и ласкают. Если же нам удалось бы увидеть Вайиту собственными очами, нам показалось бы, что мы погружены в зеленоватые, благоухающие, играющие волны, совершенно прозрачные, прохладно-тёплые, а главное — живые, разумные и радующиеся нам.

Когда жарким днём окунаешь лицо в траву цветущего луга и от медовых запахов, от дыхания нагретой земли и листьев кружится голова, а еле слышные дуновения света и тепла проносятся над лугами, — это стихиали Вайиты играют и празднуют вместе с детьми Фальторы — области стихиалей лугов и полей. В нас не остаётся ни единого мутного помысла — может показаться, что это и есть утраченный рай, пыль «житейского попечения» сдувается с души чистыми дыханиями и, кроме всепоглощающей любви к Природе, мы не в состоянии испытывать ничего.

Сквозь бегущие воды мирных рек просвечивает мир воистину

невыразимой прелести. Есть особая иерархия — я издавна привык называть её душами рек, хотя теперь понимаю, что это выражение не точно. Каждая река обладает такой «душой», единственной и неповторимой. Внешний слой её вечнотекущей плоти мы видим, как струи реки; её подлинная душа — в Небесной России или в другой небесной стране, если она течёт по землям другой культуры Энрофа. Но внутренний слой её плоти, эфирной, который она пронизывает несравненно живей и где она проявляется почти с полной сознательностью, — он находится в мире, смежном с нами и называемом Лиурною. Блаженство её жизни заключается в том, что она непрерывно отдаёт оба потока своей струящейся плоти большей реке, а та — морю, но плоть не скудеет, всё струясь и струясь от истока к устью.

Невозможно найти слова, чтобы выразить очарование этих существ, таких радостных, смеющихся, милых, чистых и мирных, что никакая человеческая нежность не сравнима с их нежностью, кроме разве нежности самых светлых и любящих дочерей человеческих. И если нам посчастливилось воспринять Лиурну душой и телом, погружая тело в струи реки, эфирное тело — в струи Лиурны, а душу — в её душу, сияющую в затомисе, — на берег выйдешь с таким чистым, просветлевшим и радостным сердцем, каким мог бы обладать человек до грехопадения.

Воздействием на человеческую душу с Лиурною отчасти схож Вланмим — область стихиалей верхних слоёв моря. Ландшафт этого мира — ярко-синий, ритмически волнующийся океан, — такой нежно-яркой, упоительной синевы в Энрофе не существует, — а волны его зацветают не пеной, но молочно-белыми ажурными сферами, похожими на большие цветы: цветы распускаются и тают на глазах, распускаются и снова тают. Стихиали Лиурны — женственной природы, Вланмима — мужской, но это не имеет никакого отношения к размножению, хотя соединение реки с морем есть выражение любви стихиалей этих двух миров между собою. Вланмим тоже способен делать нас более мудрыми и чистыми, но он открыт снизу воздействиям мрачных стихиалей морских глубин — Нугурта, а потому он суровее. Воздействие его заметно на душевном складе и даже физическом облике людей, повседневно соприкасающихся с ним, хотя бы и за порогом своего сознания: на рыбаках и, отчасти, моряках. На последних, впрочем, слишком заметна печать ещё других, не светлых стихиалей: хозяев Нугурта — с одной стороны, Нибрусков и Дуггура — стихиалей больших портовых городов — с другой. Рыбаки же получили от излучений Вланмима черту, отличающую их от остального народа: сочетание чистоты, мужества и грубоватой, немного жестокой силы с

детскою цельностью души.

Повсюду над землёй и морями простёрт Зунгуф — область стихиалей воздушной влаги, творящих облака, дождь, росу и туман. Зунгуф не отделён определённой границей от Ирудраны — области стихиалей, чья деятельность проявляется в Энрофе грозами, отчасти ураганами; оба эти слоя переливаются друг в друга, как и их существа. Приоткрывается тот самый трансмиф, что брезжил в древних мифологемах народов, вызывая в их творческом воображении титанические образы громовников: Индра, Перун, Тор. О, если бы древние, привнося в эти образы, как и во всё, человеческие черты, могли знать, как бесконечно далеки эти существа от малейшего сходства с человеком! И когда струи ливня обрушиваются на землю и бурные, весёлые дети Зунгуфа ликут, то припадая к земле и поверхности вод, то отпрядывая вверх, в бурлящий водяной стихией воздух — выше, в Ирудране, бушуют рати существ, не похожих на Тора и Индру ничем, кроме весёлой воинственности: для них гроза есть творчество, а ураган — полнота их жизни.

Если при лёгком морозце тихо падает мягкий снежок или если деревья и здания стоят, убелённые инеем, бодряя, резвая, почти восторженная радость, которую испытываем мы, свидетельствует о близости дивных стихиалей Нивенны. Белые просторы, безгрешные особою, невыразимой чистотой, — вот что такое Нивенна, страна стихиалей инея, падающего снега, свежего снежного покрова. Резвящиеся в нездешнем веселии, похожем на весёлость эльфов, они укрывают возлюбленную землю своей фатой. Почему такая радость жизни пронизывает нас, когда мириады бесшумных белых звёзд тихо опускаются вокруг? И почему, когда мы видим леса или городские парки, убелённые инеем, мы испытываем чувство, соединяющее в себе торжественность и лёгкость, прилив жизненных сил и восхищение, благоговение и детский восторг? А тех из нас, кто сохранил в душе вечно детское начало, стихиаля Нивенны любят особенно нежно, они приветствуют его и пробуют с ним играть: даже возбуждение, мальчишеский азарт, быстрый бег крови в жилах у ребят во время игры в снежки или катания на салазках с гор, для них приятны.

С Нивенной соседствует суровый и хмурый Ахаш — связанный с полярными областями нашей планеты слой арктических и антарктических стихиалей. Ахаш обладает космической протяжённостью, из него виден Млечный Путь. В соответствующие времена года границы обеих полярных зон придвигаются к тропикам.

Необузданная душа этих существ, с её склонностью к переходам от кристально-ясного созерцания к неистовству, с её порывами строить целые



миры из трансфизических льдов, с её любовью взирать, глаза в глаза, в бездонные провалы метагалактики — наложила разительную печать на воспринимаемую всеми нами природу полярных бассейнов. Когда обращение Земли вокруг Солнца вызывает в северном полушарии наступление зимы и делает доступными для стихиалей Ахаша обитаемые людьми области материков, они вторгаются туда, увлекая за собой физические массы арктического воздуха, воинствуют метелями и буранами по полям и тайге, ликуют в вышине антициклонами. Они не видят Энрофа так, как видим его мы. Они не воспринимают зрением также и человека. Но есть среди них более хищные и душевно холодные, как андерсеновская Снежная Королева — они опасны для человека; есть и другие, улавливающие атмосферу души тех из нас, кто родствен им мужеством, удалью и бесстрашием. Таких они могут любить странно, несоизмеримо с нами любовью. Они баюкают его на своих снежных коленях, открывают ему пути в глубину своих стран, показывают ему жуткое великолепие физических покровов своего царства и, не соразмерив своей грандиозности с нашей телесной малостью, готовы укутать его белым саваном под песни вьюг.

И подобно тому, как обладает космической протяжённостью пространство Ахаша, обладают ею и два последних слоя стихиалей: Дирамн, связанный со стратосферным воздушным океаном пояса низких температур, и Сианна — мир, просвечивающий внутреннему зрению сквозь те высокотемпературные зоны, которые объемлют нашу планету на большой высоте. Однако обитающие там стихиаля столь огромны и столь чужды нашему душевному складу, что понять их сущность чрезвычайно трудно. Они светлы, но опаляющим, грозным светом. Только уже взошедшему на исключительную высоту человеческому духу возможен доступ в их царство.

Такова сакуала Малых Стихиалей. Малых, конечно не в сравнении с людьми — многие из них гораздо могущественнее отдельного человека, — но в сравнении с сакуалою других, с восходящей лестницей Стихиалей Верховных, с рядом подлинных планетарных божеств. Это властелины. Малые стихиаля радостно трепещут от их дыхания. Большинство из них — прекрасные, высокоблагие существа невыразимого величия. Но о ландшафтах этих слоёв говорить почти невозможно, как и о форме этих великих существ: каждый из них присутствует одновременно во множестве точек своего слоя.

«Царь Благословляющих Крыльев», Ваюмн, воплощённый дух воздушного океана, распространяет своё владычество от крайних пределов

атмосферы до самых глубоких пропастей. Его брата «Царя Оживляющих Вод» Эа (кажется, его другое имя Вларол), почитали ещё греки под именем Посейдона, римляне под именем Нептуна, но глубже всего поняли благость и космичность его существа вавилоняне, почитавшие хранителя и хозяина мировых вод великолепным культом. Оба духа несут вечную стражу у истоков жизни на всей земле — не только в Энрофе, но и во многих других сакуалах. Оба древни, как вода и воздух, и безгрешны, как они.

Ещё древнее третий из братьев — Повурн, «Царь Пылающего Тела», ибо под верованиями в Плутона и Яму древних таится глубочайшая реальность. Этот устрашающий властелин подземных магм не есть слуга Гагтунгра; однако его преобразование предстоит, кажется, позже всех, в конце второго эона.

Есть и четвёртый великий брат, младший: Заранда, воплощённый в своём иноматериальном слое — «Царь Всех Животных Царств». Трагическая история животного царства в Энрофе наложила отпечаток глубокой, воистину мировой скорби на его лик. И как ни объясняли бы историки символику египетского сфинкса, метаистория всегда будет видеть в нём эмблему того, кто совмещает в себе природу Великого Зверя с мудростью выше человеческой.

Верховных стихиалей — семь. Две божественные сестры делят между собой остальные сферы могущества: Эстира, «Царица Вечного Сада» — госпожа растительных царств Шаданакара, и Лилит — «Всенародная Афродита» всех человечеств.

Значение Лилит в нашем существовании необозримо велико. Как и у всех Верховных Стихиалей, мир её обитания несоизмерим ни с какими нашими формами и неопишем, а её собственный облик необозрим. Её иноматериальное тело единоприсутствует во множестве мест её слоя, и лишь в отдельных случаях она принимает образ, который может быть воспринят духовным зрением человека. Хотя я не знаю механизма этого процесса, но знаю, что без участия Лилит невозможно формирование ни одного тела в мирах плотной материальности: исключение составляют животные, виды которых формируются Зарандой. Во всех же остальных царствах эта деятельность выполняется Лилит: она формирует цепь рода как в человечестве Энрофа, так и у даймонов, и в мирах демонических — у раруггов и игв, и у обитателей Дуггура. Каждое плотноматериальное тело, создаваемое при её участии в мирах тёмных, есть каррох.

Вот почему она заслуживает вполне наименование ваятельницы нашей — и не только нашей — плоти. Потому же с её бытием и воздействием неразрывно связана у человека сфера половых чувств. Она ли сама или её

кароссы, но это начало всегда надстоит над всяким актом человеческого соития, и пока плод вынашивается во чреве, она всегда здесь.

Некогда, в глубочайшей древности, эта стихия стала супругою Первоангела — того величайшего Духа, что сделался Логосом Шаданакара. Это было во времена творения ангельских слоёв, и Лилит стала праматерью этого первого человечества. Но Гагтунгр сумел проникнуть в мир Лилит, и её тончайшее материальное тело восприняло в себя некий демонический элемент. Это была катастрофа. С тех пор все цепи рода, формируемые ею, будь то в мирах титанов, даймонов или людей, воспринимают в себя нечто от этого элемента. Еврейская мистика знает термин «эйцхоре» — семя дьявола в человеке. Попробуем пользоваться им для обозначения этого проклятого семени и в человеке, и в самой Лилит, несущей его в себе по сей день, и в её кароссах.

Монадой и всей полнотой сознания обладает только Лилит: её локальные проявления, кароссы, в том числе и Дингра России, при всей своей мощи и вековой устойчивости, имеют лишь эквивалент сознательности и лишены монад. Этим ваятельницам физической плоти народов мы обязаны, между прочим, теми, подчас явными, иногда почти неуловимыми чертами сходства, видимого физического родства, которыми отмечена масса индивидуальных обликов какого-либо народа. Известно, что в античной древности, на Кипре, культ богини любви распался в своё время на две противоположности: возвышенный культ Афродиты Урании, духовной, творческой, поэтизируемой и поэтизирующей любви, и культ Афродиты Пандемос (Pandemios), что можно приблизительно перевести выражением «Афродита Всенародная». Он широко разлился в народных низах, проявляясь в оргиастических празднествах и благословляя разврат как священную дань богине. Аналогичный процесс раздвоения и поляризации когда-то слитных начал знают и некоторые другие культуры. Ещё больше таких культур, где взору историка отчётливо предстаёт уже более поздний этап: культ разврата и хаотическое смешение демонического и стихийного элементов под лживой личиной божественного. Ритуальная проституция в Ханаане, Вавилонии, Индии и других странах — явление этого порядка. Над подобными институтами, над радениями оргиастических сект, над массовыми совоккуплениями и доньше надстоят кароссы наций или сверхнародов. Ясно также, что такие явления не могут обойтись без вмешательства лунной демоницы и тёмных сил Дуггура. Но когда в борьбе с теми, кто грозит уничтожением физического существования народа, его демиург изыскивает пути к созданию могучего и воинственного защитника, он принуждён сходить к кароссе и сочетаться

с ней. Проклятое эйцехоре неминуемо входит в их общее порождение, и отравленная плоть кароссы создаёт двойственное чудовище. Таково происхождение всех первых членов в каждом роде уицраоров. Освобождение каросс и самой Лилит от эйцехоре будет возможно, по-видимому, лишь во втором эоне.

Первая и последняя из Верховных Стихиалей — мать всем остальным, и не только им, но и всему, существующему в Шаданакаре: всякой стихиали, всякому зверю, человеку, даймону, ангелу, демону и даже великим иерархиям. Неоскудевающее лоно, она есть то, что творит эфирные тела всех существ, а в творении их астральных тел участвует наряду с их личными монадами. Ей свойственна неистощимая тёплая любовь ко всем, даже к демонам: она тоскует и скорбит о них, но прощает. «Мати» называют её все, даже ангелы мрака и чудовища Гашшарвы. Она любит всех, но благоговеет лишь перед наивысшими иерархиями Шаданакара, в особенности перед Христом. Оплодотворяет же её Солнце: и в Энрофе, и в собственном неопишемом мире её оплодотворяет этот великий, ослепительный дух. Людей, их душевное состояние, их внутренний образ она воспринимает, она слышит, она отзывается на призыв нашего сердца, отвечает через природу и любовь. Да благословится её имя! Ей можно и должно молиться с великим смирением.

Да благословится дочь Земли и Солнца, прекрасная Луна, и трижды благословится Солнце. Все мы когда-то пребывали — и будущим нашим телом, и будущей нашей душой, вместе со всем Шаданакаром — в его пречистых недрах. О великий бог-светоносец! Тебя славили в храмах Египта и Эллады, на берегах Ганга и на зиккуратах Ура, в стране Восходящего Солнца и на далёком Западе, на плоскогорьях Анд. Мы любим тебя все, и злые, и добрые, мудрые и тёмные, верующие по-разному и неверующие — те, кто чувствует твоё сердце, неизмеримое в своей благодати, и те, кто просто радуется свету твоему и теплу. Твоя ослепительная Элита уже сотворила в Шаданакаре лестницу лучезарных слоёв и по ней изливает ниже и ниже, в миры ангелов, в миры стихиалей, в миры человечества каскады духовных благ. Прекрасный дух, зачинатель и отец всякой плоти, зримый образ и подобие Солнца Мира, живая икона Единого, позволь и мне влить никому, кроме тебя, неслышимый голос во всеобщую тебе хвалу. Люби нас, сияющий!

## Глава 3

### Отношение к животному царству

Мы сами часто не осознаём, что утилитарный угол зрения на всё существующее стал для нас чем-то вроде нашего второго «я». Всё на свете расценивается исключительно сообразно тому, в какой мере оно полезно для человека. Но если нам давно уже кажется диким тот историко-культурный провинциализм, который возводится в политическую теорию и именуется «национализмом», то космический провинциализм человечества покажется столь же смешным нашим потомкам. Легенда о «венце мироздания», это наследие средневековой ограниченности и варварского эгоизма, должна будет, вместе с господством покровительствующей ей материалистической доктрины развеяться как дым.

Приходит новое мироотношение: для него человек есть существо в грандиозной цепи других существ, он совершеннее многих, но и ничтожнее многих и многих, и каждое из этих существ имеет автономную ценность, безотносительно к его полезности для человека.

Но как же эту ценность определить в каждом конкретном случае? какой критерий для этого взять? какую иерархию ценностей установить?

Можно констатировать прежде всего, что ценность, материальная или духовная, какого-либо объекта, материального или духовного, возрастает вместе с суммой усилий, затраченных на то, чтобы он стал таким, каков он есть. Конечно, когда мы применяем этот принцип к оценке живых существ, мы легко убеждаемся, что подсчитать сумму этих усилий для нас невозможно. Но возможно другое: возможно отдавать себе отчёт в том, что чем выше ступень, достигнутая существом на космической лестнице, тем сумма затраченных на это усилий (его личных, природы или Провиденциальных сил) должна быть больше. Развитие интеллекта и всех способностей человека, отличающих его от животного, потребовало невероятного количества труда — и его собственного, и Провиденциальных сил — сверх того труда, который был затрачен ранее на возведение животных от простейших форм до высших. На этом и основывается космическая иерархия ценностей, насколько мы можем её понять. Из неё следует, что ценность инфузории меньше ценности насекомого, ценность насекомого меньше ценности млекопитающего, ценность этого последнего ещё далека от ценности человека, ценность

человека невелика сравнительно с ценностью архангела или демиурга народа, а ценность этого последнего, при всём её масштабе, теряется рядом с ценностью Владык Света, демиургов Галактики.

Если взять этот принцип изолированно, можно сделать вывод о фактической безответственности человека по отношению ко всем, ниже его стоящим: раз его ценность выше, значит, ему самой природой указано пользоваться их жизнями так, как ему это полезно.

Но никакой этический принцип не должен рассматриваться изолированно: он не самодовлеющ, он — частность в общей системе принципов, определяющих ныне бытие Шаданакара. Противовес принципу духовной ценности можно назвать принципом нравственного долга. На стадиях ниже человека и даже на ранних стадиях человечества этот принцип ещё не был осознан; теперь же его можно формулировать с точностью уже довольно значительного приближения. Вот эта формула: начиная со ступени человека, долг существа по отношению к ниже стоящим возрастает по мере восхождения его по дальнейшим ступеням.

На первобытного человека уже возлагался долг по отношению к приручаемым животным. И не в том он состоял, что человек должен был их кормить и охранять: это был ещё простой обмен, долг в низшем, материальном, а не в этическом смысле, потому что за корм и кров человек брал у домашнего животного либо его труд, либо молоко и шерсть, либо даже его жизнь (в последнем случае он, конечно, уже нарушал естественную пропорцию обмена). Этический же долг первобытного человека заключался в том, что он был должен то животное, которое приручал и которым пользовался, любить. Древний наездник, питавший глубокое чувство к своему коню, пастух, проявлявший к своему скоту не только заботу, но и ласку, крестьянин и охотник, любивший свою корову или собаку, — все они выполняли свой этический долг.

Этот элементарный долг оставался общечеловеческой нормой до наших дней. Правда, отдельные высокие души — те, кого мы называем праведниками, а индусы называют более точным словом — махатма, высокий духом, — понимали новый, гораздо более высокий уровень долга, естественно вытекавший именно из их духовного величия. Жития святых полны рассказами о дружбе иноков и отшельников с медведями, волками, львами. В иных случаях это, может быть, легенды, но в других факты этого рода запротоколированы исторически точно, например — в свидетельствах о жизни св. Франциска Ассизского или св. Серафима Саровского.

Разумеется, подобный уровень долга по отношению к животным свойствен лишь ступени святости; уделом большинства человечества он не

может быть так же, как и три тысячи лет назад. Но три тысячи лет — срок немалый. И ничем не оправдан тезис, будто мы и теперь обречены оставаться на том же уровне примитивного долга, что и наши далёкие предки. Если человек, блуждавший в тесном и мутном анимистическом мире, уже мог любить своего коня или пса, для нас это, по меньшей мере, недостаточно. Неужели колоссальный путь, проделанный нами с тех пор, не обязывает нас к большему? Разве мы не в состоянии любить и тех животных, от которых не получаем непосредственной пользы, — диких животных, по крайней мере тех из них, которые не приносят нам вреда?

Тем, что мы условно называем шельтами или, если угодно, душами, то есть тончайшим иноматериальным покровом, созданным для себя бессмертной монадой, обладают все существа, включая инфузорию: без шельта невозможно никакое материальное существование, как без монады невозможно никакое существование вообще. Но монады животных находятся в одном из миров Высокого Долженствования — в Каэрмисе, души же совершают длительные пути по восходящей спирали сквозь особую сакуалу, состоящую из нескольких слоёв. Они воплощаются здесь, в Энрофе, но нисходящего посмертия у многих из них нет. Закон кармы довлеет и над ними, но для них он другой; развязывание узлов происходит только в Энрофе, на путях бесчисленных инкарнаций в пределах класса, с чрезвычайно медленностью.

По начальному замыслу Провиденциальных сил, Энроф был предназначен именно для животного царства, то есть для множества монад, сходявших своими шельтами сюда для того, чтобы приступить к великому творческому деянию: просветлению материальности трёхмерного слоя. Вмешательство Гагтунгра исказило этот замысел, усложнило пути, изуродовало судьбы, ужасающим образом растянуло сроки. Достигнуто это было главным образом тем, что с самого начала органической жизни в Энрофе она была подчинена закону взаимопожирания.

Почему так очаровательны, так милы детёныши почти всех животных? Почему, не говоря уже о волчатах и лъвятах, даже поросята и маленькие гиены не вызывают в нас ничего, кроме доброго и трогательного чувства? Потому что проявление демонического начала в животном начинается лишь с той минуты, когда ему приходится вступить в борьбу за жизнь, то есть подпасть закону взаимопожирания. Маленькие зверёныши Энрофа напоминают те образы зверей, которыми они обладали в смежном мире, откуда впервые попадали в Энроф. Даже змеи в том слое были прелестными существами, весёлыми, очень резвыми. Они танцевали, славя Бога. И ещё прекраснее, разумнее и мудрее они должны были бы стать в

Энрофе, если бы не Гагтунгр.

Его деятельность провела между двумя половинами животного царства резкую черту. Одну половину ему удалось демонизировать очень сильно, поставив духовному развитию этих животных крайне низкий потолок тем, что они могли существовать не иначе, как за счёт своих собратьев. Вообще, хищное начало демонично по своей природе, и в каком бы существе мы его ни встретили, это значит, что демонические силы уже основательно поработали над ним. Другая половина животного царства была предназначена в жертву первой. Хищное начало не было в неё заброшено, эти виды ограничились растительной пищей, но прозябание в условиях почти непрерывного бегства или прятания от опасностей страшно затормозило их умственное развитие.

Цель просветления трёхмерной материальности продолжала стоять перед Провиденциальными силами. Так как животное царство оказалось к этому неспособным, по крайней мере на обозримый вперёд отрезок времени, были созданы предпосылки к тому, чтобы из него выделился один вид, могущий скорее и успешнее справиться с этой задачей. Выделение этого вида имело характер стремительного рывка вперёд. При этом тот родительский вид, от которого отделился новый, прогрессирующий, послужил ему как бы трамплином для прыжка. И чем стремительнее был рывок вперёд человеческого рода, тем дальше откатился назад родительский вид, служивший трамплином. Позднее этот вид сформировался в отряд обезьян — трагический образец регресса. Таким образом, наш скачок от зверя к человеку был оплачен остановкой развития бесчисленного множества других существ.

Животные демонизированы тем сильнее, чем более они хищны. Конечно, эта демонизация ограничивается их шельтами и более плотными материальными облачениями: монаду она затронуть не может. Но демонизация шельта может достигать ужасающих степеней и вызывать страшнейшие последствия. Достаточно вспомнить то, что произошло со многими видами из класса пресмыкающихся. Мезозойская эра ознаменовалась тем, что этот класс, достигший к тому времени гигантских форм, был рассечён пополам: одна половина, оставшаяся травоядной, получила в дальнейшем возможность развития в других слоях, и теперь имеется некий материальный мир, называемый Жимейрой, где прошедшие через бесчисленные инкарнации бронтозавры и игуанодоны обитают в виде вполне разумных, добрых и необыкновенно ласковых существ. Другая же половина гигантских ящеров, хищники, эволюционировали в других слоях в противоположную сторону. На них давно уже не физическое тело, а



каррох, и не кто иной, как они свирепствуют в шрастрах в виде раруггов.

Жимейра, нынешнее обиталище лучшей части животных древних геологических эр, уже исчезает: они переходят в более высокие слои. Полны мириадами существ два других слоя: Исонг — мир душ большинства животных, существующих ныне, сквозь который они мелькают очень быстро в промежутках между инкарнациями, и Эрмастиг — мир душ высших животных: туда поднимаются после смерти лишь представители немногих видов, да и то далеко не все. Задерживаются они в этом мире гораздо дольше, чем в Исонге.

Мне вспоминаются замечательные по своей глубине слова старца Зосимы: «Посмотри на коня али на вола... понурого и задумчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему их безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике!» Дерзнуть сказать о лошадиной или коровьей морде «лик» — для этого нужно обладать силой подлинного прозрения.

Привычная для нас поверхность вещей засквозила перед вещим взором — не Зосимы, а Достоевского, и он сквозь данность увидел долженствование. Долженствование животных. Ибо уже есть мир, где ставшие души многих из них, облечённые в просветлённые тела, прекрасны и мало сказать — высокоразумны, но духовно-мудры. Этого мира, Хангвиллы, высшего в сакуале, они должны со временем достигнуть все, чтобы подниматься дальше, в Файр, Уснорм и Каэрмис.

О, гнусные следы Гагтунгровой лапы видны и на многом другом в царстве животных! Ему удалось, например, надавив на некоторые шельты животных, совершить над ними насилие, которому трудно найти аналог в нашем слое. Он не то что расплющил их или раздробил, но он сделал их из индивидуальных коллективными. Индивидуальные шельты многих низших существ суть кратковременные проявления именно такого коллективного шельта. Таковы, например, большинство насекомых, не говоря уже о простейших. Индивидуальный шельт мухи или, например, пчёлы — это, если так можно сказать, только малюсенькое вздутие на поверхности сферы коллективной души; умерла пчела или муха здесь, в Энрофе, — и вздутие это втянулось опять в общую сферу, влилось в шельт роя или мушиного множества. Мир коллективных душ насекомых и простейших называется Нигойда: там эти коллективные души, особенно пчел и муравьёв, разумны, видом же схожи с обликом существ, их воплощавших в Энрофе, но больше и светлее. Некоторые из них — правда, пока немногие — поднимаются выше, в Хангвиллу, и там становятся прекрасны и мудры; у них появляются даже царственность и великолепие. Хангвилла —

своеобразный великий общий затомис всего животного царства, и оттуда звериные просветлённые души поднимаются через Файр уже в самый Уснорм, где принимают участие в вечном богослужении Шаданакара.

Ещё более странным покажется то, что касается не живых зверей, а некоторых детских игрушек. Я имею в виду всем известных плюшевых мишек, зайцев и тому подобные безделушки. В детстве их любил каждый из нас, и каждый испытывал тоску и боль, когда начинал понимать, что это — не живые существа, а просто человеческие изделия. Но радость в том, что правее не мы, а дети, свято верящие в живую природу своих игрушек и даже в то, что они могут говорить. Нашим высшим разумом мы могли бы в этих случаях наблюдать совершенно особый процесс творения. Сначала у такой игрушки нет ни эфирного и астрального тела, ни шельта, ни, само собой разумеется, монады. Но чем больше любим плюшевый медвежонок, чем больше изливается на него из детской души нежности, тепла, ласки, жалости и доверия, тем плотнее сосредоточивается в нём та тончайшая материя, из которой создаётся шельт. Постепенно он создаётся и в самом деле, но ни астрального, ни эфирного тела у него нет, и поэтому тело физическое — игрушка — не может сделаться живым. Но когда игрушка, полностью насыщенная бессмертным шельтом, погибает в Энрофе, совершается божественный акт, и созданный шельт связывается с юной монадой, входящей в Шаданакар из Отчего лона. В Эрмастиге, среди душ высших животных, облечённых в астрал и эфир, появляется изумительное существо, для которого именно здесь должны быть созданы такие же облачения. Существа эти поражают не красотой и тем более не величием, а той невыразимой трогательностью, какой размягчает наши суровые души вид зайчонка или олененочка. В Эрмастиге эти существа тем прелестнее, что даже в соответствовавших им игрушках никогда не было ни капли зла. Они чудесно живут там вместе с душами настоящих медведей и оленей, получают там астральное тело, а потом поднимаются в Хангвиллу, как и все остальные.

Я имею возможность едва наметить путь к решению проблем, связанных с трансфизикой и эсхатологией животного царства. Но и этого достаточно для того, чтобы понять, насколько эта проблематика сложнее, чем представлялось мыслителям старых религий. Упрощённая формула «животные не знают греха» несколько не отвечает существу дела. Если под грехом в данном случае подразумевается такое состояние сексуального сознания, при котором отсутствуют чувство стыда и идея о запретности некоторых проявлений половой сферы, то животные, действительно, греха «не знают». Но правильнее было бы сказать, что для них эти проявления —

не запрещённое, не наказуемое кармой, не грех. С другой стороны, понятие греха неизмеримо шире половой сферы. Злоба, жестокость, необоснованный и необузданный гнев, кровожадность, ревность — вот грехи животного царства, и у нас нет никаких данных судить о том, в какой мере те или иные животные осознают эти проявления и их недолжность. К тому же это и не решает вопроса о самом наличии или отсутствии для них такого запрета. Нелепо думать, что закон становится действен только тогда, когда он осознан. Закон тяготения был осознан только Ньютоном, но подвержены ему были все и всегда. Сознают ли животные некий высший закон или нет, смутно ощущают его или никак не ощущают — всё равно: причинность есть причинность, карма есть карма. Насколько я понимаю, голодный лев, умерщвляющий антилопу, не несёт личной вины, поскольку для него это необходимость, но несёт вину своего вида или класса — древнюю вину всех хищников. Сытый же тигр, нападающий на антилопу только от избытка личной кровожадности и злобы, кроме общевидовой вины несёт и личную, ибо он не принуждён к умерщвлению своей жертвы необходимостью. Волк, обороняющийся против собак и загрызающий одну из них в борьбе, не виновен лично, но виновен как представитель хищного вида, предки которого некогда сделали выбор в этом направлении. Здесь своего рода первородный грех. Но упитанная и откормленная кошка, играющая мышью ради развлечения, виновна и первородной виной, и своей личной, так как в её действии не было необходимости. Скажут: перенесение человеческих, даже юридических, понятий на мир животных. Но понятие вины есть понятие не юридическое только, а трансфизическое, метаисторическое, онтологическое. В различных царствах природы, для различных иерархий меняется содержание понятия вины, но решительно ни из чего не следует, что понятие это и стоящая за ним реальность кармы присуши только человечеству.

Ни крупницы новых идей не внесла в эту область и безрелигиозная эпоха мысли. Напротив: преобладающий в современности взгляд на животных стал слагаться из двух противоречивых начал: утилитарного и эмоционального. При этом животный мир был расчленён на категории в зависимости от того, каково отношение данного вида к человеку. Прежде всего, конечно, животные домашние: за ними ухаживают, иногда даже любят, если коровка заболит — над ней проливают слезу, но если она перестанет доиться, её отводят, скорбно вздыхая, в некое место, где любимое животное будет превращено во столько-то пудов мяса. Этим мясом хозяин, с детски невинным самочувствием, будет кормиться сам и кормить своё семейство. Вторая категория — значительная часть диких

животных, включая и рыбу: их не приручают, не осчастливливают заботой, их просто ловят или убивают на охоте. В-третьих — хищники и паразиты: с ними разговор прост, их уничтожают, где и как могут. И ещё можно выделить четвёртую группу: это некоторая часть животных диких, в особенности птиц, полезная тем, что она уничтожает вредителей. Этой категории предоставляется жить и размножаться, а в иных случаях, как, например, к скворцам или аистам, проявляется даже покровительство. Что касается остальных животных, от ящериц и лягушек до галок и сорок, то их иногда ловят для научных опытов или просто для забавы, мальчишки швыряют в них камнями, но чаще их просто не замечают с высоты своего величия.

Такова схема, конечно, очень грубая, утилитарного отношения к животным. Эмоциональный же элемент заключается в том, что большинство из нас способно испытывать к тем или другим видам и особям род симпатии либо настоящей привязанности или эстетического восхищения. Кроме того, многим ещё свойственно, слава Богу, общее сострадательное сочувствие к животным: отчасти этому сочувствию звериный мир обязан тем, что во многих странах имеется даже законодательство по вопросам их охраны и функционирует сеть добровольных обществ, этой охране себя специально посвятивших. В соединении с таким могучим союзником, как утилитарная забота о том, чтобы ценные в промысловом отношении виды не были совершенно истреблены, это эмоциональное отношение сделало возможным учреждение заповедников. А в порядке исключения некоторые заповедники и вовсе не имеют утилитарного смысла — например, существующие во многих местах питательные пункты для голубей.

Я говорю, разумеется, об отношении к животным в Европе, Америке, многих странах Востока. Но Индия являет собою совсем иную картину. Брахманизм, как известно, издавна запретил вкушение различных сортов мяса, свёл фактическое питание человека к молочной и растительной пище, обработку кож и мехов объявил греховным и нечистым делом, а корову и некоторые другие виды провозгласил священными животными.

И прекрасно сделал.

Европейца, конечно, смешит и возмущает зрелище коровы, невозбранно разгуливающей по базару и берущей с любого лотка всё, что ей приглянется. Не буду оспаривать, что религиозное поклонение корове — специфика только индийского мироотношения и быть предметом подражания в наш век не может. Но чувство, лежащее в основе этого поклонения, так чисто, возвышенно, так свято, что само заслуживает

преклонения перед ним. Это психологическое основание культа коровы хорошо разъяснил Ганди. Он указал, что корова в данном случае есть олицетворение всего живого, стоящего ниже человека; смиренное преклонение перед ней, служение ей в виде бескорыстного за ней ухода, ласки и украшения выражает религиозную идею и этическое чувство нашего долга перед этим миром живых существ, идею покровительства и помощи всему слабому, нижестоящему, всему, не успевшему ещё развиться до высших форм; больше того: это есть ещё и выражение иррационального чувства глубокой общечеловеческой вины перед звериным царством, ибо человек выделился из этого царства ценой отставания и деградации более слабых. Выделился — и, выделившись, усугубил свою вину беспощадной эксплуатацией слабейших; с течением веков эта общечеловеческая вина росла, как снежный ком, и наконец достигла необозримых, неохватываемых размеров.

Слава тому народу, который сумел возвыситься до такого понимания, не в уме единиц, а в совести множества!

Что, какую идею, какую этику можем противопоставить этой этике мы, мы, кичащиеся тем, что столько веков исповедуем христианство?

В моей жизни был один случай, о котором я должен здесь рассказать. Это тяжело, но я бы не хотел, чтобы на основании этой главы о животных у кого-нибудь возникло такое представление об авторе, какого он не заслуживает. — Дело в том, что однажды, несколько десятков лет назад, я совершил сознательно, даже нарочно, безобразный, мерзкий поступок в отношении одного животного, к тому же принадлежавшего к категории «друзей человека». Случилось это потому, что тогда я проходил через некоторый этап или, лучше сказать, зигзаг внутреннего пути, в высшей степени тёмный. Я решил практиковать, как я тогда выражался, «служение Злу» — идея, незрелая до глупости, но благодаря романтическому флёру, в который я её облёк, завладевшая моим воображением и повлёкшая за собой цепь поступков, один возмутительнее другого. Мне захотелось узнать, наконец, есть ли на свете какое-либо действие, настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости. У меня нет смягчающих обстоятельств даже в том, что я был несмышлёным мальчишкой или попал в дурную компанию: о таких компаниях в моём окружении не было и помину, а сам я был великовозрастным багагаем, даже студентом. Поступок был совершён, как и над каким именно животным — в данную минуту несущественно. Но переживание оказалось таким глубоким, что перевернуло моё отношение к животным с необычайной силой и уже навсегда. Да и вообще оно

послужило ко внутреннему перелому. И если бы на моей совести не было этого постыдного пятна, я, может быть, не испытывал бы теперь ко всякому мучению или убийству животного такого омерзения, иногда даже до полной потери самообладания. В ряду аксиом, ясных для меня как дважды два, одно из первых мест занимает вот эта: в подавляющем большинстве случаев (исключая только самозащиту от хищников, паразитов да случай отсутствия других источников питания) умерщвление и тем более мучительство животных безобразно, недопустимо, недостойно человека. Это — нарушение одной из тех этических основ, лишь твёрдо стоя на которых человек имеет право именоваться человеком.

Конечно, охота, как основное средство существования некоторых отсталых племён, никакому нравственному осуждению быть подвергнута не может. Надо быть фарисеем от вегетарианства, чтобы «изобличать» готтентота или гольда, для которых отказ от охоты равносителен смерти. Да и каждый из нас, попав в подобные условия, может и должен поддерживать жизнь свою и других людей охотой: жизнь человека ценнее жизни любого животного.

По этому же самому человек имеет право на самозащиту от хищников и паразитов. Хорошо известно, что многие джайны и некоторые последователи крайних течений буддийской этики вкушают воду не иначе, как сквозь марлю, а при ходьбе на каждом шагу подметают перед собой дорогу. В Индии даже находились, кажется, такие аскеты, которые давали себя заедать паразитам. Ярчайший пример того, как любую мысль можно довести до абсурда! А ошибка здесь в том, что ради сбережения жизни насекомых и даже простейших — то есть существ наименьшей ценности — человек ставится в условия, при которых и его социальный, и его технический прогресс делаются невозможными. Отбрасываются все виды транспорта как источник гибели множества мелких существ, запрет налагается даже на сельское хозяйство, вообще на обработку почвы, так как и она влечёт за собой гибель миллиардов маленьких жизней. В современной Индии джайны занимаются по преимуществу свободными профессиями и торговлей. Но что стали бы они делать, если бы к этому воззрению примкнуло большинство человечества? Конечно, такое отношение к вещам, при котором восходящему движению человеческого рода ставится непроницаемый потолок, не может быть признано правильным.

Но что же такое паразиты и простейшие — не с материалистической, а с трансфизической точки зрения? Это существа, имеющие, как и большинство других насекомых, коллективные души, но крайне отстающие

в своём пути. Собственно, тут даже не простое отставание, а активная демонизация Гагтунгром коллективных шельтов. В Нигойде эти шельты находятся в состоянии рабствования, разумны лишь отчасти, и им предстоит дорога становления, исключительная по своей медлительности и длине. Просветление им принесёт только момент перехода нашей планеты в третий эон. Теперь же паразиты, то есть существа наименьшей ценности, прозябают и жиреют за счёт существ высшей сравнительно ценности: животных и человека. Поэтому мы вправе их истребить, ибо другого выхода на данном этапе нет.

Хищники существуют за счёт смертей существ той же ценности, то есть животных, и за счёт человека, существа высшей ценности. Те виды хищников, изменить хищную природу которых мы не в состоянии, постепенно должны быть в Энрофе истреблены. Постепенно — не потому только, что иначе это неосуществимо, но и потому, что за такой период времени могут обнаружиться средства к изменению даже их природы. Безусловно, природа многих хищных видов, особенно среди высших млекопитающих, может быть совершенно изменена. Достаточно вспомнить собаку, этого бывшего волка, ныне способного обходиться без мясной пищи совсем, и это даже несмотря на то, что человек никогда не ставил себе задачи сделать собаку вегетарианцем. На полурастительную пищу собака была переведена вследствие чисто хозяйственных соображений человека, но успех этого мероприятия указывает на перспективы в этой области, едва ещё приоткрывающиеся нашему опыту. Таким образом, охота на хищников есть второй вид охоты, который на настоящем этапе человечества ещё не может быть осужден. Необходим только, наряду с ней, другой ряд мероприятий: о них я скажу ниже.

Но что подлежит безоговорочному упразднению, даже строгому запрету, так это охота-спорт. Превосходно отдаю себе отчёт в том, какой вопль поднимут любители избиения косуль и куропаток, если требование, высказанное здесь, получит распространение в обществе и превратится из утопических мечтаний отдельных чудаков в настоящий призыв всей передовой части человечества. Доводы нетрудно предсказать наперёд. Будут привлечены на помощь все аргументы, какие только способен измыслить изворачивающийся ум, когда он мобилизуется на подмогу ущемлённому инстинкту. Закричат, например, о пользе охоты, закаляющей наш организм (как будто его нельзя закалять другими способами), укрепляющей характер, волю, находчивость, мужество (как будто при охоте на дичь человек имеет дело с какой-нибудь опасностью). Посыплются уверения, что охота, в сущности, только предлог, только средство, истинная

цель которого — наслаждение природой: как будто ею нельзя наслаждаться без дополнительного удовольствия — зрелища зайца, настигаемого псом. Будут сооружаться блестящие психологические построения а la Кнут Гамсун в доказательство того, что охотничье чувство есть нечто неотъемлемо присущее человеку и что прелесть охоты именно в том, что удовлетворение этого чувства соединяется с ощущением «себя в природе»: дескать, не глазами праздношатающегося горожанина, не «извне» я на неё смотрю, а я сам — природа, поелику прячусь за деревом и подкарауливаю. Но сколько бы ты ни воображал себя, голубчик, частью природы, все твои ощущения не стоят одного взгляда угасающих глаз подстреленного тобой гуся. И все эти увертки лукавствующего ума опровергаются одной короткой фразой Тургенева. Сам страстный охотник, он был честен и с читателем, и с самим собой; он понял и высказал твёрдо и ясно, что охота не находится с любовью к природе ни в какой связи. Вот эта фраза:

«Природой на охоте я любоваться не могу — всё это вздор: ею любишься, когда лежишь или присядешь отдохнуть после охоты. Охота — страсть, и я, кроме какой-нибудь куропатки, которая сидит под кустом, ничего не вижу и не могу видеть. Тот не охотник, кто ходит в дичные места любоваться природой» (Д. Садовников. Встречи. О Тургеневе).

Сказано открыто и ясно. Зачем же другие морочат себя и окружающих, оправдывая охоту любовью к природе?

Ах, знаю, знаю этот тип: храбрость, честность, прямота, зоркий глаз, широкие плечи, обветренное лицо, обстоятельная речь, иногда солёная шутка — ну чем не образец человека-мужчины? И уважают его кругом, и сам себя он уважает — за крепость нервов (она кажется ему силой духа), за трезвый взгляд на вещи (он принимает это за разум), за объём бицепсов (это представляется ему достойным «царя природы»), за орлий, как ему кажется, взор. А изучишь попристальней, заглянешь за этот импозантный фасад — а там только клубок из всех разновидностей эгоизма. Он мужествен и храбр — потому что он физически крепкий самец и потому, что трусить не позволяет ему влюблённость в собственное великолепие. Он прям и честен — потому что сознание этих достоинств позволяет ему разумно обосновывать собственное поклонение себе. А что глаза его, видевшие столько содроганий убитых им существ, остались ясны и чисты, яко небеса — так это не к украшению его, а к позору.

О, этот тип найдёшь вовсе не среди обитателей тайги или пампасов. Ему только хочется походить на подлинных таёжников, ему хочется, чтобы все поражались, как это он сумел так гармонически соединить в себе высококультурного европейца с гордым сыном природы. А правда в том,



что это — продукт городской цивилизации, рассудочный, себялюбивый, жестокий и чувственный, как она, но одной половиной своего существа атавистически оттягиваемый назад, на давно минованные стадии культуры. Таких встретишь больше, чем захочешь, и среди физиков, и среди биологов, и среди журналистов, и среди хозяйственников и администраторов, и среди художников, и даже среди академиков. В мировой литературе есть мощное течение, созданное такими людьми или теми, кто примыкал к этому типу некоторыми существенными чертами натуры. Оно плещет в романах Гамсуна, врывается в рассказы Лондона, клокочет уже безо всякого удержу в стихах и повестях Киплинга, отравляет ядовитой струйкой настоящую любовь к природе в прелестных очерках Пришвина. Оправдание жестокости как якобы неизбежного закона жизни, культ зоологического эгоизма, идеал сильного хищника, бессердечие к живому, прикрытое романтикой приключений и путешествий и подслащённое поэтическими описаниями картин природы, — давно пора бы назвать всё это собственными именами!

Нет права, у нас нет абсолютно никакого права покупать наши удовольствия ценою страданий и смерти живых существ. Если не умеешь иными путями ощущать себя частью природы — и не ощущай. Лучше оставаться совсем «вне природы», чем быть среди неё извергом. Потому что, входя в природу с ружьём и сея вокруг себя смерть ради собственного развлечения, становишься жалким игралищем того, кто изобрёл смерть, изобрёл закон взаимопожирания и кто жиреет и разбухает на страданиях живых существ.

И ещё будут говорить: «Ха! что — звери: люди гибнут миллионами в наш век — и от войн, и от голода, и от политических репрессий, — нашёл, дескать, время, рыдать по поводу белок и рябчиков!» — Да, нашёл. И никак не могу понять, какое отношение имеют мировые войны, репрессии и прочие человеческие безобразия к вопросу о животных? Почему животные должны погибать ради забавы лишённых сердца бездельников, пока человечество утрясёт, наконец, свои социальные дела и займётся на досуге смягчением нравов? Какая связь одного с другим? Разве только та, что, пока человечество терзает само себя войнами и тираниями, общественная совесть будет слишком оглушённой, пришибленной и суженной для того, чтобы чувствовать всю гнусность охоты и рыбной ловли.

Да, и рыбной ловли. Той самой рыбной ловли, которой мы так любим предаваться на поэтическом фоне летних зорь и закатов, умиляясь и отдыхая душой среди окружающей идиллии, а пальцами ухватывая извивающегося червяка, прокалывая его тельце крючком и в ребяческом

недомыслии не понимая, что он испытывает теперь то же, что испытывали бы мы, если бы чудовище величиной с гору ухватило нас за ногу, проткнуло наш живот железным бревном и бросило в море, навстречу подплывающей акуле.

«Хорошо, — скажут, — но ведь ловить рыбу можно и не на червяка, — на хлеб, на блесну и т. п.» — Да, можно. И для пойманной рыбы, безусловно, великим утешением послужит мысль, что она гибнет, одуроченная не червяком, а блестящей жестянкой.

Находятся ещё и такие осколки далёкого прошлого, которые продолжают верить всерьёз, будто рыба или рак не могут испытывать страдания, потому что у них, мол, холодная кровь. Действительно, во времена оны, человечество, не имея понятия о физиологии животных, воображало, что чувствительность есть функция температуры крови. Между прочим, вследствие именно этого заблуждения рыба была семитическими религиями включена в список постных блюд и ею не брезговали лакомиться даже праведники. Боже упаси их осуждать: религиозный опыт души, как велик и высок он ни был бы, не покрывает опыта науки (как и наоборот); наука же тогда находилась в детском возрасте, и никто, даже праведники, не ответственны за мысль, будто холоднокровные животные не испытывают боли. Но ведь теперь-то мы знаем, что это чушь. Теперь-то ведь понимаем, что рыба, болтающаяся на крючке или извивающаяся на песке, корчится от боли, а не от чего другого! Ну, так как же? Белые ризы поэтического созерцания, которыми мы облакаемся в буколические часы сидения с удочкой — не забрызгиваются ли они до омерзения кровью, слизью, внутренностями живых существ, тех самых, которые резвились в прозрачной воде и могли бы жить и дальше, если бы не наша, с позволения сказать, любовь к природе?

Встречаются ещё рассуждения такого рода: в животном мире всё основано на взаимопожирании, с какой же стати человеку быть исключением? — Что среди животных на взаимопожирании основано всё — это ложь. Или мало животных, питающихся растительной пищей? Или не вырвали Провиденциальные силы из лап Гагтунгра сотни видов животных хотя бы в этом одном отношении? Разве мало среди природы совершенно безобидных существ, даже физически не приспособленных к мясной пище? Главное же — как под человеческим черепом смеет вообще шевелиться мысль, будто нравы животных могут нам служить образцом поведения? А если наших охотников восхищает «мужественность» в поведении хищников (кстати, это не столько «мужественность», сколько просто уверенность в своей физической силе и безнаказанности), то почему

же не подражать этому хищнику, например волку, и в другом — ну, скажем, в растерзывании раненого или ослабевшего члена собственной стаи? Да и на каком основании останавливаться в своём подражательстве именно на хищных млекопитающих? Почему бы не взять за образец ещё более разительные обычаи — например, те, что царят у пауков: ведь там самец пожирается самкой сразу после оплодотворения? Думаю, что эта блестящая идея не приходит в голову нашим апологетам «звериного начала» лишь потому, что они, как правило, принадлежат к мужской половине человеческой рода. Если бы у пауков самку пожирал бы после родов самец, уж нашлись бы, вероятно, среди нас адепты столь мужественного образа действия.

Но при всей своей уродливости, охотничий спорт не приносит теперь столько зла, сколько другой его источник, открывшийся, увы, лишь недавно, с развитием науки и просвещения.

Беру «Практическое руководство для учителей средней школы», принадлежащее перу некоего Я. А. Цингера и выпущенное Учпедгизом в 1947 году под заглавием «Простейшие». Раскрываю на стр. 60 и читаю наставление о том, как на уроке естествознания следует ставить опыт по извлечению паразитов грегаринов из кишечника мучного червя: «Червя вскрывают со спинной стороны и выделяют участок кишечника. Можно и просто отрезать у червя голову и задний участок и затем пинцетом вытащить кишечник сзади... Содержимое кишечника выдавливают на предметное стекло и, смочив водой, рассматривают при малом увеличении».

А что, рвоты у зрителей при этом не случается? уже привыкли? уже научились, с помощью педагога, подавлять в себе ужас и отвращение? уже умеют называть сентиментальностью естественную жалость? Пожалуй, даже «девчонкой» назовут мальчика, у которого при этом дрогнут руки или в глазах появятся боль, гадливость и стыд.

Переворачиваю две страницы. «Лягушку усыпляют эфиром... Можно и проще: взяв лягушку за задние ноги и держа брюшком кверху, сильно и быстро ударяют головой о выступ стола. Затем лягушку вскрывают с брюшной стороны...»

Может быть, действительно, таким способом дети получают наглядное представление о паразитах в кишечнике лягушки: представление, конечно, насущно необходимое каждому, без него невозможно жить. Но не менее наглядно демонстрирует педагог, любитель действий «попроще», также и человеческую гнусность.

Я ещё не затрагиваю принципиального вопроса о том, могут ли

естественные науки обходиться без опытов на «живом материале». Но даже если бы эти опыты были печальной необходимостью, где же аргументы в пользу того, чтобы к ним приучать всех детей школьного возраста? Из этих детей не более 20 % изберут какую-либо естественнонаучную или медицинскую специальность. Ради чего же глушить элементарное чувство жалости, калечить самые основы совести у остальных 80 %? Ради какого ещё выдуманного «блага человечества» уничтожать лишние десятки и сотни тысяч подопытных животных? Для чего и зачем, по какому, наконец, праву уроки естествознания в школе превращать в уроки убийства и мучительства бессловесных? Как будто нельзя заменить эту кровавую кухню диапозитивами, моделями, муляжами! А если идти по старой дороге, то ведь сказав А, надо говорить и Б. Коли принять к руководству наглядный метод обучения, то почему бы учителю истории, рассказывающему об инквизиции, не устроить поучительную инсценировку, чтобы доходчиво растолковать ребятам, как применялись испанские сапоги, гаррота, дыба и прочие достижения науки и техники того времени?

А теперь ещё несколько слов о «живом материале» вообще. Кстати, естественники так привыкли к своей терминологии, что уже не замечают, конечно, какое моральное убожество, какое одеревенение совести слышится в этом противоестественном тупоутилитарном словосочетании: «живой — материал». — Так вот: о живом материале в научных лабораториях, вообще об этой методике в естественных науках. Сделанного не воротишь, умерщвлённых не воскресишь, и дискутировать о том, могла ли бы наука в предыдущие эпохи двигаться вперёд без этого — дело праздное. Но может ли она это теперь? Инстинкт экономии усилий виновен в том, что на эту методику, прямой и дешевле ведущую к цели, обратились взоры всех естественников. Став узаконенной, она кажется теперь многим единственной и незаменимой. Вздор! Лень тратить силы и время на разработку другой методики, да ещё государственная и общественная скупость — и ничего больше. Лень и скупость вообще качества малопочтенные, а когда они оказываются повинны в таких горах жертв — как по достоинству оценить их?.. Конечно, изыскание новой методики в одиночку — дело несбыточное. Тысячи молодых врачей, педагогов, научных работников, вступая на свой профессиональный путь, испытывают естественное отвращение к тем научным приёмам, которые связаны с мучительством и умерщвлением живых существ. Но дело обстоит так, что перед каждым таким работником встаёт дилемма: либо заглушить в себе сострадание рассуждениями о благе человечества, либо покинуть дорогу

естественника совсем, ибо другой методики не существует. Понятно, что подавляющее большинство избирают первое и постепенно втягиваются в практикование этих бесчеловечных приёмов. Изыскание новой методики реально возможно только как результат длительных усилий большого коллектива — союза работников в различных отраслях естественных наук, посвятившего себя этой цели. А подобное предприятие может быть осуществлено лишь в том случае, если его будет финансировать экономически сильная инстанция, общественная или государственная.

Но и жертвы нашей «любви к природе», и жертвы нашей «жажды знания» — всё это лишь холмики, бугорки рядом с Монбланами, с Эверестами рыбьих трупов, вытаскиваемых на промыслах, и трупов коров и свиней, громоздимых на бойнях, — короче говоря, трупов, покупаемых нами в магазинах и поглощаемых за культурно сервированным столом. И ещё хуже того: утилитаризм технического прогресса достиг, наконец, вершин, на которых выяснилось, что экономичнее делать крабовые, например, консервы, не умерщвляя крабов, а с каждого из них сдирая панцирь заживо, отсекая клешни и полуживые останки выбрасывая назад, в море, на съедение кому попало. Хорошо бы изобретателю такой крабоконсервной машины дать отдохнуть несколько лет в одиночной камере: пусть на досуге поразмыслит над вопросом — человек ли он вообще. А ещё отрадней было бы, если б по другую сторону стены, в соседней камере отдохнул от забот об интересах казны тот премудрый хозяйственник, чьей рачительностью эти пытки для крабов и раков были внедрены в нашу промышленность.

Но — хорошо, пусть безобразия подобного рода — крайности и скоро будут изжиты. А как же быть с мясом и рыбой как продуктами массового питания? как с производством кож? как с выделкой мехов? Если всё это даже не очень морально, разве это не необходимость?

Действительно, элемент необходимости здесь ещё налицо, но, по правде говоря, его уже гораздо меньше, чем думают. Можно сказать, что научный и социальный прогресс приближается, слава Богу, к такой ступени, когда от этой необходимости останется лишь тягостное воспоминание.

В самом деле: прикладная химия с каждым годом усовершенствует заменители кож; искусственные меха становятся дешевле и доступнее естественных и если ещё уступают им в качестве, то со временем будет восполнен и этот пробел. Следовательно, создаются предпосылки к тому, чтобы употребление животных тканей в промышленности могло быть запрещено. Самый же трудный, действительно трудный вопрос —

проблема рыбо-мясной пищи, которую многие считают необходимой для нашего организма.

Но, собственно, почему же необходимой? Необходимы не мясо и рыба как таковые, а определённое количество углеводов и белков. Необходимо определённое количество калорий. Эти количества могут быть введены в наш организм и через другие виды пищи: блюда молочные, мучные, фруктовые, овощные. Притворяться, будто нам неизвестно, что на свете существуют миллионы вегетарианцев, и притом существуют совершенно благополучно, — приём несерьёзный, чтобы не сказать резче. Всем нам отлично известно даже то, что на свете вот уже тысячи лет существует многомиллионный народ, почти не употребляющий мяса, — факт, неприятный, конечно, для нашей совести, но неоспоримый. Правда, в условиях северного климата для компенсации мясных и рыбных блюд потребуется больше других питательных веществ, чем в тропической Индии. Правда и то, что компенсация эта пока обходится дороже и, следовательно, не всем доступна. Вопрос, таким образом, в повышении общего материального уровня жизни. Но ведь то, что благосостояние человечества растёт в прогрессии, стало трюизмом. И время, когда компенсация эта станет общедоступна, — не за горами.

Вырисовывается, следовательно, некоторая программа, цепь хронологически последовательных мероприятий, которые после прихода к власти Розы Мира станут реально осуществимыми.

Первая группа — мероприятия, проводимые без промедления:

1. Запрет мучительных для животного способов его умерщвления — в промышленности и где бы то ни было.

2. Запрет опытов на «живом материале» в школах и где бы то ни было, кроме специальных научных учреждений.

3. Полный запрет опытов над животными без их усыпления или обезболивания.

4. Создание и финансирование мощных научных коллективов для изыскания и разработки новой экспериментальной методики в естественных науках.

5. Ограничение охоты как спорта и рыбной ловли, как развлечения задачей борьбы с хищниками.

6. Такая перестройка воспитательной системы, которая способствовала бы развитию в детях дошкольного и школьного возраста любви к животным, любви бескорыстной, обусловленной не сознанием полезности данного вида, а органической потребностью любить и помогать всему слабому и отсталому.

## 7. Широкая пропаганда нового отношения к животным.

Но суть этого отношения состоит ещё не в том, чтобы уберечь животных от мучительства и убийства человеком.

Это только негативная его сторона, и ничего нового тут нет. Позитивная же его сторона, действительно новая, заключается в том, чтобы оказать животному царству активную помощь в деле его совершенствования, в сокращении путей и сроков этого совершенствования. Что это значит?

Это значит: установление «мира» между человеком и всеми животными, исключая хищников; изыскание средств к перевоспитанию некоторых хищных видов; отказ от использования каких-либо животных для нужд охраны; искусственное убыстрение умственного и духовного развития некоторых высших видов животного царства.

На развитие зоопсихологии придётся бросить немалые средства. Ничего! Никакие средства, даже в тысячу раз большие, не окупят зла, принесённого нами звериному царству на протяжении тысячелетий. Возникнет новый отдел знания — зоогогика, то есть педагогика животных. В итоге тщательного изучения будут выделены такие виды хищников, которые, подобно собаке и кошке, могут быть перевоспитаны. Ведь я напоминал уже о том, что на наших глазах бывший волк стал способен к усвоению растительной пищи, и это даже несмотря на то, что человек не заглушал, а, напротив, развивал в нём кровожадный инстинкт в интересах охотничьей и сторожевой службы. Если бы не это, какую весёлость, кротость, доброту наблюдали бы мы теперь в собаке в придачу к её преданности, отваге и уму! И какие могут быть сомнения в том, что подобная работа над многими хищными видами, работа людей, вооружённых знанием психологии и физиологии животных, педагогики, а главное — силой любви, сможет перевоспитать, физически и умственно усовершенствовать, смягчить, преобразить их?

Уже теперь собака в состоянии запомнить до двухсот слов. И запомнить не механически, как попугай, но вполне отдавая себе отчёт в их смысле. Это существо воистину колоссальных возможностей. Её развитие достигло того рубежа, когда вид совершает стремительный рывок вперёд. От нас самих зависит, чтобы этот коренной сдвиг произошёл на наших глазах, чтобы неприспособленность некоторых органов собаки не затормозила его на столетия. Появление речи у собаки тормозится не общим её интеллектуальным уровнем, а чисто механическим препятствием в виде неблагоприятной структуры органов, для речи необходимых. Общее её развитие тормозится ещё одним препятствием: отсутствием у неё

хватательных конечностей, вернее — неприспособленностью её лап к тем функциям, которые у нас выполняют руки. Разовьётся ещё одна отрасль физиологии животных: наука о средствах биохимического воздействия на зародыш в направлении таких структурных его изменений, которые необходимы для ускоренного развития органа речи и для превращения передних лап в руки. Овладение же речью, хотя бы в объёме нескольких десятков слов, обратно воздействует на темп общего умственного развития, и через сотню лет люди будут иметь поразительного друга, сократившего, благодаря их помощи, предназначенный ему путь до расстояния в несколько генераций вместо сотен тысяч лет.

Следующими кандидатами на путь ускоренного развития будут, вероятно, кошка, слон, медведь, может быть, некоторые виды грызунов. Лошадь, в умственном отношении продвинувшаяся весьма далеко, а в этическом имеющая несомненные преимущества перед кошкой и даже собакой, обладает, к сожалению, свойством, мешающим её скорому вступлению на этот путь: копытностью. То же самое относится к оленю и буйволу. У слона, обладающего изумительным хватательным органом, имеется другое тормозящее свойство: его размеры, требующие громадного количества пищи. Возможно, впрочем, что наука найдёт способы уменьшения его размеров и этим устранил основное препятствие к его стремительному умственному развитию. Можно полагать, что необыкновенное обаяние слона не убавится, если он, обладая даром речи, размерами не будет превышать нынешнего слонёнка.

Итак, по прошествии некоторого периода Роза Мира сможет осуществить вторую группу мероприятий:

1. Запрет убийства животных для каких бы то ни было промышленных или научно-исследовательских целей.
2. Резкое ограничение их убоя в целях питания.
3. Выделение обширных заповедников во всех странах для жизни в привычных условиях тех животных, которые ещё не приручены.
4. Свободное существование — и среди природы, и в населённых пунктах — давно одомашненных и новых прирученных видов.
5. Планирование работы зоопедagogических учреждений во всемирном масштабе, перевод этого труда на высшую ступень, изучение проблем, связанных с обогащением высших животных даром речи.
6. Особо внимательное изучение проблем, связанных с искусственным ослаблением в животных хищного начала.

Так будет возрастать этот творческий труд совершенствования зверей — труд бескорыстный, вдохновляемый не нашими узкими материальными



интересами, а чувством вины и чувством любви. Возрастающей любви, слишком широкой, чтобы замкнуться в рамках человечества. Любви, которая сумеет разрешить проблемы, кажущиеся неразрешимыми теперь; например: где же разместятся все эти животные, если человек прекратит их массовое убийство? Не повторится ли во всемирном масштабе то, что случилось с кроликами в Австралии, где они, размножаясь в непомерных количествах, превратились в бич сельского хозяйства? Но эти опасения похожи на мальтузианство, перенесённое в мир животных. Сейчас нельзя, конечно, предугадать тех мер, какие найдут и осуществят в этом направлении наши потомки. Наихудшим представляется установление определённой квоты: превышение её будет вынуждать общество конца XXI столетия прибегать к искусственному ограничению рождаемости животных. Однако не лишено вероятия, что этот вопрос будет разрешён иначе — путём, который на современном уровне естественных наук, техники, экономики и этики предвосхитить невозможно. Но даже в случае установления квоты, всё же это будет неизмеримо меньшим злом, чем совершающееся поныне. Сумма страданий, приносимых человеком, уменьшится колоссально, а ведь именно в этом и состоит задача.

Соответственно увеличится сумма приносимого добра, выражаясь по-индусски — прэм сагар, океан любви. Лев, возлежащий рядом с овцой или ведомый ребёнком — отнюдь не утопия. Это будет. Это — провидение великих пророков, знавших сердце человечества. Не в вольерах, даже не в заповедниках, а просто в наших городах, парках, рощах, лугах, не страшась человека, а ласкаясь к нему и с ним играя, работая с ним вместе над совершенствованием природной и культурной среды и над развитием своего собственного существа, будут обитать потомки современных зайцев и тапиров, леопардов и белок, медведей и воронов, жирафов и ящериц. Изобилие средств к жизни уже в следующем столетии достигнет размеров, кажущихся почти невероятными, и питание этих милых, мирных, ласковых и высокоразумных существ не будет составлять никакой проблемы. И придут поколения, которые будут с содроганием узнавать из книг, что не так ещё давно человек не только питался трупами умерщвляемых им животных, но и находил удовольствие в подлом их подкарауливании и хладнокровном убийстве.

**КНИГА VI. ВЬСШЕ МИРЫ  
ШАДАНАКАРА**

## Глава 1

### До мировой сальватэрры

Никого не может удивить, что именно об этих сферах сведения не только скуднее, чем о каких-либо других, но, в сущности, почти отсутствуют. Причин — две. Неадекватность действительности этих сфер каким бы то ни было нашим представлениям и понятиям, а тем более попыткам выразить их словами — причина первая. Вторая — исключительная высота духопрозрения, требующаяся для прикосновения к этим мирам через личный опыт. Почти всё, сообщаемое о них здесь, почерпнуто не из личного непосредственного опыта, нет, это только передача словами нашего языка того, что я воспринял от невидимых друзей. Да простят они мне, если я в чём-нибудь ошибся, если моё сознание внесло нечто низшее, чисто человеческое и замутило субъективными примесями эту весть.

Все слои, о которых здесь сначала пойдёт речь, пятимерны; число же временных координат, то есть потоков параллельно текущих времён, превышает в этих слоях цифру 200. Этого одного уже довольно, чтобы понять, насколько бессильны попытки выразить содержание и смысл этих сфер в человеческих образах. Привычные представления о формах придётся оставить совершенно; но и попытка компенсировать этот ущерб представлениями об энергиях, зонах воздействия и т. п. тоже обречена на неудачу.

Превыше сакуалы Трансмифов пяти верховных религий — о них я уже говорил как о пяти исполинских пирамидах как бы из светящегося хрустала разных цветов — вздымается, объёмля весь Шаданакар, неопикуемая сакуала Синклита Человечества, состоящая из семи сфер. Моря сияющих эфиров — беру это слово за неимением более соответствующего, — блистающих красками, непредставимыми даже для синклитов метакультур, омывают в этих мирах сооружения, которые так же отдалённо можно было бы уподобить светящимся громадам гор, как и сооружениям невообразимой архитектуры. Исконное несходство между великими творениями человеческого гения и великими созданиями Природы там уже не имеет места, ибо оба начала слились, наконец, в непостижимом для нас синтезе. Что можем мы помыслить о тех ликующих, переливающихся светом эпопеях, в которые облеклись там прекраснейшие духи ставших стихиалей? Или о лучезарных волнах звучаний, взмывающих местами как

бы из блаженствующего лона небесных гор? Я достигну своей цели, если хотя бы немногие из читающих эту книгу почувствуют сквозь необычные сочетания слов, сквозь эти образы, почти лишённые очертаний, наличие такой реальности, к которой может стремиться наш дух, но прикосновение к которой недоступно почти ни для кого из живущих на нашей скудной и тёмной земле.

Избранные из избранных, составляющие ныне Синклит Человечества, числом своим не превышают, кажется тысячу человек. Уже не имея человеческого, в нашем смысле слова, облика, они добровольно принимают высшее, просветлённое его подобие, когда спускаются в нижележащие слои. Пространство же между брамфатурами Солнечной системы они способны преодолевать со скоростью света, несомые его лучами.

Об отдельных сферах Синклита Человечества я не знаю ничего, кроме их наименований, и то лишь в той мере, в какой мне удалось перевести их в звуки человеческого языка.<sup>[18]</sup>

Из Монсальвата и Эдема в Синклит Мира вошли к нашему времени уже многие, свыше ста человек. Ещё больше дала древняя и огромная метакультура Индии. Кажется, последним взошедшим в Синклит Мира до 1955 года был Рамакришна; таким образом, от момента его смерти в Энрофе до вступления в эти наивысшие сферы протекло около 70 лет. Но чаще на такой подъём уходят целые столетия. Например, пророк Мухаммед, хотя его посмертие не было осложнено никаким движением по Нисходящему ряду, достиг Синклита Мира лишь сравнительно недавно. Ещё выше этих сфер скоро поднимутся из Синклита Человечества пребывающие там давно пророки Иезекииль и Даниил, а также Василий Великий.

Этим исчерпывается всё, что я в состоянии сказать о сферах этой сакуалы. Однако об одиннадцати сферах следующей сакуалы, сакуалы Великих Иерархий, придётся сказать ещё меньше, ещё суше, протокольнее.

Да, это миры именно тех высоких существ, которые мы не имеем возможности назвать иначе, как великими иерархиями: многие из них были в своё время объектами почитания в древних религиях различных стран. В образах египетского, вавилонского, греческого, древнегерманского, ацтекского, в некоторых аспектах верховных божеств пантеона индийского отразились — хотя лишь до известной степени — эти возвышенные существа, но не такими, каковы они теперь, а такими, какими они были, вернее, какими представлялись сознаниям постигавших их народов в те далёкие времена. За века, протёкшие со дней возникновения и расцвета их культов в Энрофе, эти иерархии поднялись на наивысшую высоту.

Могу сказать, что сферы этой сакуалы слоются уже не по принципу связи той или иной иерархии с определённой метакультурой: те нижние слои Шаданакара, которые членятся вертикальными разрезами, образуя сегменты метакультур человечества, остались далеко позади, вернее, внизу. Слоение между сферами сакуалы Иерархий обусловлено принципом силы и высоты, достигнутых каждой из этих сущностей.

Опять-таки мне известны лишь названия этих слоёв. Но и адекватность их фонетической физиономии, выраженной буквами, подлинному звучанию этих имён не рождает во мне никакой уверенности. Нет сомнения, что к наименованиям этим следует относиться лишь как к самому грубому приближению: Аолинор, Рамнагор, Плейрагор, Форайгор, Странганор, Целирор, Лиханга, Девенга, Сирина, Хранга, Ганга.

Если на стадии метаисторического размышления дать полную свободу рассудку, он по природе своей устремится ко внесению в размерности, соотношения и — да простится мне это выражение — в специфику метаистории привычных для него категории физического и исторического слоя и логических наукоподобных норм. В частности, его склонность к единообразию и порядку, наивно понятому как симметрия, проявится на этот раз в том, что ему покажется естественным, чтобы над всеми сверхнародами надстояли — в метаисторическом плане — идентичные группы участвующих в его жизни иерархий. В действительности же это не так.

Правда, нет сверхнарода (именно сверхнарода, а не нации), над которыми не надстоял бы его демиург, ибо тогда это был бы не сверхнарод, а случайное соседствование нескольких, никакой общностью не связанных между собой народностей. И нет нации, которая не обладала бы Идеальной Соборной Душой (ибо тогда это была бы арифметическая сумма личностей, минутно и случайно сблизившихся между собой). Но, прежде всего, Идеальная Соборная Душа отнюдь не есть совокупность каких-либо психологических или иных, очевидных для нас, свойств данного народа, определяющих его историческую, от всех отличную физиономию. Идеальная Соборная Душа есть существо, обладающее единой великой монадой, которая таит в себе прообразы высших возможностей нации и облечена в материальную ткань многомерных пространств. По мере исторического становления нации и личной зрелости человеческих индивидуумов всё большая и большая тонкоматериальная часть каждого из них приближается к ней и объёмлется ею, сообщая ей характер соборности.

Почти в каждой метакультуре есть несколько национальных соборных душ, но, как правило, одна из них принадлежит к иной иерархии, чем

остальные. Только она является богорождённой, как и демиург сверхнарода, и только она связана с ним особыми, таинственными, духовными и материальными узами любви. Такие соборные души составляют иерархию Великих Сестёр; в земной брамфатуре их около сорока. Соборная Душа есть у каждой определившейся нации, но остальные из них принадлежат к монадам богосотворённым. Им, этим Младшим Сёстрам, соответствуют духи-народоводители, инспираторы тех наций, которые входят в состав сверхнарода, но не играют ведущей роли в его истории. Впрочем, некоторые из Младших Сестёр проходят свою метаисторическую дорогу без спутников-народоводителей; случаются также промежуточные состояния, длящиеся иногда столетие и больше, когда нация вместе со своей Соборной Душой и своим духом-народоводителем остаётся вне метакультур, как бы между ними. В качестве примера можно привести народы Балканского полуострова, когда-то входившие, в состав метакультуры Византийской. Греки, сербы и хорваты были поработаны одним из уицраоров Мусульманской метакультуры, а ныне пребывают в промежутке между метакультурами Романо-католической и Российской. Не менее трагична судьба нации Болгарской, тоже входившей в византийский сверхнарод и предназначавшейся к огромному будущему — к первенствованию, духовному и культурному, в восточнохристианском мире. Уицраор Турции навсегда лишил болгарскую нацию подобных перспектив, изуродовав и как бы укоротив её духовные крылья. Теперь она начинают входить в состав сверхнарода Российского. Что же касается румын, то они в качестве нации только ещё формируются. Их Соборная Душа и дух-народоводитель надстоят ещё весьма высоко, едва поддерживая связь с этой народностью в Энрофе, и ещё не скоро войдут в полноту своих сил.

Великой богорождённой монадой является и демиург сверхнарода, более могучий, более действенный, но чуждый соборности. Он един.

Ему в метакультуре соответствует одна из Великих Сестёр — Соборная Душа ведущей нации. Бывают, однако, и более сложные коллизии. В метакультуре Северо-западной, например, демиург сверхнарода был связан до XIX века с одной из Сестёр — Соборной Душой Германии. Но в этом столетии второй германский уицраор стал настолько силен, что плен этой Соборной Души в одной из цитаделей Мудгабра превратился в почти полное поработание её воли, и демиург вступил в союз с другой Великой Сестрой, Соборной Душой Англии.

Рождение монад обеих иерархий — демиургов сверхнародов и Великих Сестёр — предвечным Солнцем Мира не может быть нами ни

понято, ни вообразено, и любые логизирования на эту тему обречены оставаться пустою спекуляцией. Спекуляциями, на мой взгляд, останутся и попытки заполнить пробел в наших представлениях о тех ступенях космического становления этих монад, которые предшествовали их появлению в Шаданакаре. В каких брамфатурах, в каких формах, по каким ступеням странствовали и воплощались они, прежде чем вступить в пределы нашей планеты? Быть может, я заблуждаюсь, но мне кажется, что подобные инобрамфатурные тайны для нас трансцендентны. В круг возможностей нашего постижения (и то постижения не в виде метаисторического озарения, а лишь в форме пассивного восприятия сведений об этом из уст наших невидимых друзей) обе эти иерархии вступают в момент метаэфирного рождения. Таким термином условно обозначим событие, заключающееся в том, что их монады вступают в пятимерную материальность Шаданакара. От Планетарного Логоса, Который можно понимать и как Существо, ставшее высшим демиургом нашей брамфатуры, они получают некий импульс: этот импульс есть *творческое воление к осуществлению и выражению себя* в трёхмерной и четырёхмерной субстанциях грядущего сверхнарода, которого ещё не было и которого без них не могло бы быть. Именно этот импульс влечёт за собою их спуск, облечение их тканями более плотной материальности, уже четырёхмерной, и начало, таким образом, их планетарного цикла. Это есть их второе в Шаданакаре, их астральное рождение. Физического, конечно, они не испытывают никогда. Я знаю, что понять эту мысль не очень легко, но вряд ли она может быть выражена проще.

Миры, где эти иерархии пребывают между двумя этими рожденьями, а монады их — на протяжении всего их цикла в Шаданакаре, составляют сакуалу Демиургов. Она состоит из трёх сфер. Родина демиургов и Великих Сестёр — Идеальных Душ сверхнародов — называется Рангарайдр. Названия остальных — Астр и Оамма. Астр — родина и обиталище монад Младших Сестёр и духов-народоводителей. О содержании Оаммы я не в состоянии сообщить ничего.

Однако можно говорить о том, что в течение последних пятисот лет из числа демиургов выделился один, не только получивший миссию всемирного, а не лишь сверхнародного значения, но и осуществлявший её: это — демиург Северо-Запада. Создание некоторых предпосылок к объединению человечества в единое целое — плод именно его творчества за последние века. В близком будущем мировое водительство такого рода перейдёт, вероятно, на короткое время к демиургу сверхнарода Российского, а затем к демиургу Индии. Позднее единоличного

водительства, по всей видимости, не будет.

Яросвет и Навна суть имена, условно и произвольно взятые мною для обозначения иерархий Российской метакультуры. Подлинные имена демиургов и Великих Сестёр мне неизвестны. Впрочем, на человеческом языке они вообще не могут быть произнесены.<sup>[19]</sup>

Метаисторическая миссия будущего брачного союза и всей, вообще, жизни в Шаданакаре Яросвета и Навны — миссия планетарного значения — может быть приближённо очерчена как рождение ими, точнее, эфирное воплощение через них некоей Великой Женственной Монады.<sup>[20]</sup> Немыслимая, конечно, ни в каком личном воплощении физическом, она готова излиться со временем в эфирное вместилище, просветлённое, личное, живое и непорочное; оно же мыслимо возникающим лишь единовременно со своим овестествлением в Энрофе — всемирным Братством. Народ же российский мыслится своим демиургом как непросветлённая ещё в Энрофе, но просветляемая уже в Небесной России эфирно-физическая субстанция, из которой будет создано это двойное — физическое и эфирное — вместилище Света, и в то же время как арена, на которой совершится этот теургический акт.

Выше сакуалы Демиургов и Великих Сестёр парит сакуала, которую я могу определить лишь словами: Волны Мировой Женственности. Первая из её сфер, Лимуарна, есть женственный Синклит Человечества, а вторая — Баюшми — местопребывание Великой Женственной Монады в настоящее время. Об остальных сферах этой сакуалы мне известны только их имена: Фаолеммис, Саора, Наолитис. Имя последней из сфер, шестой, останется тайной.

Эта сакуала объёмлется ещё одной — мирами общения иерархий Шаданакара с иерархиями макробрамфатуры и Вселенной. Из этих трёх миров могу назвать лишь средний — Раорис — местопребывание Великой Женственной Монады вначале, когда Она эманировала в Шаданакар.

Отсюда начинаются слои пребывания Единой Церкви нашей брамфатуры. Они охватывают как ту сакуалу, о которой я только что сказал, так и три сферы сакуалы ещё более высокой: Элиты Шаданакара. Океаны многократно просветлённой и одухотворённой материи колышатся вокруг неё; светящиеся гребни их не встречают препон в её прозрачных гранях, плавно входят внутрь и, разливаясь по этому обиталищу Совершенных, сообщают ему всю полноту жизни. И человечество Энрофа, и человечество даймонов, и человечество Луны, и ангелы, и стихии, и даже животное царство, чей метафизический смысл являл собой столь глубокую



загадку, — находят своё наивысшее оправдание, своё окончательно преображённое бытие в лоне этого высшего рая, совмещающего покой и могущество, блаженство и творчество, совершенство и беспредельное движение дальше и дальше по ослепительному пути. Это — все те, кто воочию видит Мировую Сальватэрру; наивысшая ступень лестницы Шаданакара для любой из его монад, как богорождённых, так и богосотворённых, кроме Планетарного Логоса, Пресвятой Девы и Великого Женственного Духа. Единственное, что я могу, говоря об Элите Шаданакара, это перечислить некоторых из тех великих человекодухов, которые достигли Элиты, — их последние человеческие имена: Эхнатон, Зороастр, Моисей, Осия, Лао-цзы, Гаутама Будда, Махавира, Ашока, Чандрагупта Маурья, Патанджали, Нагарджуна, Самудрагупта, Канишка, Шанкара, Аристотель, Платон, все апостолы, кроме Павла, Титурэль, Мария Магдалина, Иоанн Златоуст, Августин, Франциск Ассизский, Жанна д'Арк, Данте, Леонардо да Винчи.

Так довели мы обозрение структуры Шаданакара до его конца — до наивысшей из сакуал, тремя сферами объемлющей всю нашу брамфатуру: сферой Планетарного Логоса, сферой Приснодевы-Марии и сферой Великой Женственной Монады.

В силу чисто субъективных причин я привык к именованию этого средоточия и вершины Шаданакара Мировой Сальватэррой — имя, конечно, совершенно условное, даже случайное, не имеющее к Сальватэрре средневековых крестоносцев, Палестине, даже отдалённого отношения. Я не настаиваю на нём ни в малейшей степени, но принуждён им пользоваться за неимением лучшего.

Мировая Сальватэрра пронизывает весь Шаданакар, кроме четырёх миров демонической Основы и Суфэтха, но в различной степени. Её наибольшая полнота связана с высокими слоями атмосферы. Религиозный смысл слова «Небо» — не плод аберрации тёмных сознаний древности, а выражение реальности, которую предчувствовали высокие души уже тысячи лет назад.

Всё Провиденциальное в истории Шаданакара, в истории человечества и отдельной души — от Сальватэрры. Здесь сосредоточивается низлияние высших космических Сущностей, выражающих себя как в становлении звёздных миров, так и в нашем становлении. «Небесных воль блистающий кристалл» — формула, применимая к Мировой Сальватэрре не только поэтически. Непрерывные волны благодати и силы изливаются с этих высот, из этих глубин. Чем помогут нам приблизиться к представлению о них такие слова, как сияющий благовест или звучащее сияние? То, на что

могли намекать подобные полуобразы, осталось глубоко внизу, в мирах ангелов, в сакуале Высокого Долженствования, в Синклите Мира. Даже то, что пыталась выразить библейская легенда о лестнице Иакова, заканчивается здесь, пройдя сквозь весь Шаданакар. Великие сущности и великие существа восходят и сходят ступенями материального бытия от Сальватэрры к земле и от земли к Сальватэрре. Она есть сердце планеты и её внутреннее Солнце. Сквозь неё и только сквозь неё раскрываются выси, шири и глубины Духовной Вселенной, объемлющей и звёздные архипелаги, и океаны метagalактики, кажущиеся нам столь пустынными.

Духовная Вселенная невыразима ни на каком языке и может быть пережита, конечно, лишь в отдалённых предчувствиях. Наивысшие духовные восхищения у мистиков христианства, высшая ступень экстаза у индуистов, «абхиджня» Будды — всё это суть состояния именно этих отдалённых предчувствий. Систематизирующий разум пытается влить их в твёрдые формы учений, чтобы приобщить к ним многих, и создаёт тусклые отблески, подобно учениям о Дао, о Плероме, об Эмпирее, о дыхании Парабрамы.

Когда же странники по мирам иным говорят об Эдеме, как учителя семитических религий, либо о чертогах Браммы и Вишну, о небесах иранских азуров или индуистских дэвов, о блаженной стране Сукхавати, даже о Нирване — они принимают за последнюю цель лишь отдельные ступени внутри Шаданакара, отдельные вершины метакультур и наивысшие трансмифы религий, либо, наконец, реальность Мировой Сальватэрры.

Когда человечество — физическое и уже внефизическое — закончит свой колоссальный цикл, когда закончат его и все царства планетарной Природы, они полностью совпадут с этим планетарным раем. Тогда начнётся раскрытие Мировой Сальватэрры, как цветка, в готовый принять её простор Духовной Вселенной. Солнце Мира будет сиять над этим цветком, принимая в свои небеса его благоухающее излучение.

Но последняя цель будет и тогда ещё безмерно далека; ныне же она лежит за пределами какого бы то ни было самого ослепительного предчувствия.

## Глава 2

### Логос Шаданакара

Все неисчислимые мириады монад распадаются, насколько я знаю теперь, на две онтологически различные категории. Одна — монады богорождённые. Их немного. Они крупнее масштабно, они непосредственно вышли из непостижимых глубин Творца, они предназначены к водительству мирами и с самого начала приступают к нему, не зная ни падений, ни срывов и в дальнейшем только возрастая от славы к славе, от силы к силе. Тайну их божественного рождения не постигает и никогда не постигнет никто, кроме них самих. В Шаданакаре к числу богорождённых монад принадлежат Планетарный Логос, Звента-Свентана, демиурги сверхнародов, Великие Сёстры и некоторые из Верховных Иерархий. Ни одна демоническая монада Шаданакара не входит в их число, хотя следует знать, что Люфицер является монадой богорождённой — единственной из всех богорождённых монад, совершившей богоотступничество.

Другая категория — все остальные монады мира, монады богосотворённые. Тайна их творения Богом может быть постигнута каждой из них, хотя, конечно, на чрезвычайно высокой ступени восхождения.

Планетарный Логос — великая богорождённая монада, божественный разум нашей брамфатуры, древнейшая, самая первая из всех её монад. Её отличие от всех остальных заключается в том, что она выражает собою, как Слово выражает Говорящего, одну из ипостасей Троицы: Бога-Сына. Логос Шаданакара совершает абсолютно непостижимый для нас путь восхождения и творчества по космической лестнице, и ни одной брамфатуры, исключая демонические, нет и не может быть без такой монады. Ибо одна такая монада появляется в каждой из брамфатур на заре её и на всем протяжении становления всех её сакуал остаётся средоточием Провиденциальных сил и Божественного Духа.

Планетарный Логос сошёл в Шаданакар, как только созданная иерархиями материальность брамфатуры стала способна вместить Его. Слой, в который он сошёл сперва, стал впоследствии Ирольным. Творчеством Логоса этот слой был подготовлен к тому, чтобы принять множество юных богосотворённых монад: однако это творчество не смогло предохранить Шаданакар от вторжения Гагтунгра; Планетарный Логос и сонмы светлых монад принуждены были вступить с ним в борьбу.

Творились прекрасные законы мира, чуждые страданию, смерти и какой бы то ни было тьме. Начало первому человечеству — ангельскому — было положено Самим Планетарным Логосом и Лилит, существо которой было ещё свободно тогда от демонического эйцехоре. Одновременно с неустанной борьбой против демонического стана создавалась Олирна, создавались сакуалы Высокого Долженствования, Великих Иерархий, Верховных Стихиалей и подготавливались те слои, которые стали сакуалами инвольтаций других планет, Солнца и Астрафайра. Некоторых слоёв, созданных тогда, теперь уже нет: например, тех, куда поднимались в те времена, достигнув просветления, человекоангелы. И так как материальность этих существ не была отравлена никаким эйцехоре, восхождение ангелочеловечества не было омрачено никаким срывом.

Под представлением о первородном грехе следует понимать то, что произошло между Лилит и вторгшимся в её мир Гагтунгром, — то, вследствие чего сатанинское семя — эйцехоре — несут с тех пор все существа, в создании чьих плотноматериальных цепей рода принимала или принимает участие Лилит. В демонических существах эйцехоре господствует даже над монадами, у остальных — в худшем случае над шельтами. Что касается легенды об Адаме и Еве, то в ней до того перепутаны все слои, эры и иерархии, что лучше совсем не трогать этого предания. Во всяком случае, общее искупление, то есть высветление всех эйцехоре, было бы в конце концов совершено Христом, если бы Его миссия в Энрофе не была оборвана.

Зеркально отображая схождение ангельских монад в Шаданакар, Гагтунгр создал плотноматериальный слой, где обрели свою инкарнацию более мелкие демонические существа — те самые, что со временем превратились в чудовищ наших дней: уицраоров, велг, рыфр, игв, ангелов мрака. А параллельно восхождению ангелочеловечества стала возникать органическая жизнь в Энрофе, предназначенном царству животных. Это царство было задумано как грандиозное сообщество новых, юных, сотворённых и творимых Богом монад, призванных сойти в наиболее плотные слои материальности, чтобы просветлить их. Когда же Гагтунгру удалось исказить законы жизни в Энрофе, наложить свою руку на животное царство и этим опрокинуть Провиденциальный замысел, силами Планетарного Логоса было создано второе человечество — титаны, назначение которых состояло в том же, что и у всех сообществ Света: в просветлении материи. Со временем они должны были перейти в Энроф и руководить там процессами просветления животного царства и некоторых стихиалей — демонических или отставших. Новой катастрофой явились

бунт и падение титанов. Крушение второго человечества послужило Гагтунгру источником такого возрастания его мощи, какого он не испытывал ещё никогда. И если животное царство было только заторможено им в своём развитии, а титаны сброшены в миры Возмездия и позднее вырвались оттуда, то Лунное человечество, созданное Планетарным Логосом и Его силами после титанов, претерпело ещё более сокрушительный удар и, пройдя через фазу демонизации почти всех своих шельфов, исчезло с лица Энрофа совсем. Это совершилось около 800 000 лет назад, когда в земном Энрофе человек начал выделяться из животного царства, а в других трёхмерных слоях Планетарным Логосом и Его станом было сотворено человечество даймонов. Его творение было вызвано настоятельной необходимостью усиления стана Света и тем, что вытекающие из Отчего лона новые и новые мириады монад искали путей к спуску в плотноматериальные слои для их просветления. Задача просветления животного царства на даймонов возложена не была — их слои никак не связаны с животными, — но просветление отставших стихиаблей было и остаётся одной из их задач.

Что касается так называемой зари человечества, то есть эры выделения человеческого вида из царства животных, то это была необычайно унылая и угрюмая заря. Человечество пещерного века можно и должно жалеть, но не надо его идеализировать: оно было жестоко, низменно и грубо утилитарно. Оно не знало абсолютно ничего духовного, кроме магии, а магия утилитарна и корыстна по самому своему существу. Микроскопическое меньшинство медленно вынашивало непонятное никому чувство Великих Стихиаблей и первые побегі чувства красоты. Первым же массовым ощущением трансфизической стороны вещей было переживание разлитой везде арунгвильты-праны.

Процесс медленного просачивания духовного в сферу сознания шёл тысячелетие за тысячелетием, капля за каплей; временами накапливался в подсознании, по прошествии веков, как бы известный заряд энергии, некий духовный квант, и прорывался сразу в душу и разум личности. Это были первые люди светлых миссий, своего рода вестники. Вокруг них создавались маленькие содружества, открывались ближайшие отрезки дорог совершенствования. Определённый рубеж во времени, когда это началось, указать трудно, но, во всяком случае, проблески заметны уже к концу Кроманьона. Затем наступил долгий регресс, потом новые вспышки на Американском континенте, и, наконец, накануне образования Атлантической культуры они слились уже в непрерывные цепочки света.

Гибель Атлантиды поставила под угрозу всю духовность, достигнутою

за эти невесёлые столетия. Тончайшую ниточку удалось унести в Африку и через Суданскую культуру передать Египту. Другую ниточку перебросили в Америку. Наступили века мучительного волнения для всех сил Света, ибо натиск тьмы бывал таков, что нить порою воплощалась в единственном человеке на земле. Легко ли представить себе его беспримерное одиночество и бушевание мрака, жаждущего погубить его? Можно было бы назвать несколько странных, неизвестных имён, но лучше сказать, что эти вестники и герои духа на кровавой заре человечества впоследствии вплели в дальнейшие свои гирлянды те прекраснейшие и ярчайшие цветы, чьи имена известны теперь каждому. Это Эхнатон, Зороастр, Моисей, Осия, Будда, Махавира, Лао-цзы, апостол Иоанн. Особенно жаркую борьбу выдержал будущий Гаутама Будда. Это было среди негритянского племени в области озера Чад, когда Суданской культуры ещё не существовало, а уже тускнеющий огонь Атлантической мудрости и духовности теплился в душе этого единственного человека. Нить, переданная в Америку, оборвалась, и он оставался единственной свечой духа в Энрофе земного шара. С точки зрения позднейших мерил, прилагаемых к пророкам и вестникам, он был ещё не так ярок, но он был один, и этим всё сказано. Синклит Атлантиды был слишком географически далёк, чтобы оказывать ему действительную помощь; воспринять же помощь других сил Света своим бодрствующим дневным сознанием он ещё не умел, и ему казалось, что он выдерживает нескончаемую битву во мраке абсолютно один. К счастью, на исходе той его инкарнации у него появилось несколько достойных учеников, и дело было спасено. В этом-то и невероятность его подвига: без Синклита!

В соответствующем нашему Энрофу мире даймонов, Жераме, Планетарный Логос воплотился около 10 000 лет назад, когда у нас переживала свой расцвет Атлантида. Прервать или исказить Его миссию в мире даймонов Гагтунгру не удалось, физически умертвить Его воплощение раньше, чем оно исполнилось всей полнотой сил Логоса — тоже; путь Логоса в мире даймонов превратился в Его апофеоз, и вся эта сакуала вступила на путь последовательных просветлений. Миссия Логоса по отношению к миру даймонов была подобна Его позднейшей миссии по отношению к нашему человечеству, но там она была доведена до победоносного конца, и это повлекло за собой ускоренное развитие этой сакуалы.

Прежде чем достичь вочеловечивания, которое бы вполне отразило Его сущность, Великий Дух исполнил подготовительный спуск, воплотившись около 7000 лет назад в Гондване. Там Он был великим

учителем. Однако человечество ещё не было готово принять духовность, низливавшуюся через воплощённый Логос. Было основано лишь глубокое и чистейшее эзотерическое учение, брошены первые семена, перенесённые ветрами истории на почву других стран и культур: в Индию, Египет, Китай, Иран, Вавилонию. Воплощение Логоса в Гондване ещё не носило характера такой полноты, какая позднее проявилась в Иисусе Христе; оно было, в сущности, подготовкой.

Народ, культура, страна, долженствовавшие стать ареной жизни Христа, определились, конечно, не сразу. Как необходимое условие нужен был чёткий монотеизм, исповедуемый не единицами, а воспринятый уже массой народа. Без этого отсутствовала бы психологическая почва, необходимая для откровения Бога-Сына. Но географические и исторические условия, определившие культурный и религиозный характер народов Индии и Китая, не дали монотеистической идее способов проникновения в сознание народных масс. И монотеистическое учение Лао-цзы, и такие же тенденции в брахманизме остались почти эзотерическими доктринами. Всё ограничивалось духовными восхищениями отдельных высоких душ и уединёнными теософскими спекуляциями. Беспримерная религиозная одарённость народов Индии обусловила восприятие ими откровения многих Великих Иерархий и создание синклита, не сравнимого ни с одним другим по своей численности. Но могучий пантеон Индии как бы заслонял собою ещё более высокую реальность Мировой Сальватэрры. Индийское религиозное сознание издавна привыкло к представлению о воплощении иерархий в облике людей и даже животных; поэтому оно не в состоянии было бы воспринять совершенную исключительность и особенность вочеловечивания Планетарного Логоса, его полную принципиальную несхожесть ни с аватарами Вишну, ни с инкарнациями каких бы то ни было других светлых сил. Буддизм, мощный своей этической стороной, избегал чёткой постановки проблемы Абсолюта. Будда, как и Махавира, считал, что в деле спасения человек должен полагаться только на самого себя. В этом заблуждении сказалась отрицательная сторона того страшного духовного опыта, который он приобрёл во время своего одинокого горения среди планетарной ночи, — опыта, который он вспомнил, став Гаутамой, но который он не смог, очевидно, осмыслить до конца. Так или иначе, буддийское учение, уклонявшееся от прямого обращения к Единому, своим широким распространением в Индии окончательно вычеркнуло эту страну из числа возможных арен воплощения Планетарного Логоса.

В XIV веке до нашей эры была произведена первая в мировой истории

попытка сделать отчётливо формулированный солнечный монотеизм всенародной религией. Это произошло в Египте, и исполинская фигура фараона-реформатора до сих пор возвышается над горизонтом минувших веков как образ одного из первых пророков в истории. Какое полное одиночество должен был испытывать этот гениальный поэт и провидец, заканчивая свой вдохновенный гимн Единому Божеству трагической жалобой: «И никто не знает Тебя, кроме сына Твоего, Эхнатона!»

Впрочем, понимать эту жалобу с абсолютной буквальностью нельзя: был, по крайней мере, один человек, разделявший его одиночество. Роль царицы Нефертити, его жены, как вдохновительницы и участницы религиозной реформы вряд ли может быть кем-либо преувеличена. Эта изумительная женщина прошла по золотистым пескам своей страны посланницей того же Небесного Света, что и её супруг, и уже давно они оба, неразрывно связанные творчеством и божественной любовью на всех путях, достигли высочайших миров Шаданакара.

Попытка Эхнатона претерпела, как известно, крушение. Не только основанный им культ, даже само имя реформатора было стёрто с анналов египетской историографии; историческая истина восстановлена лишь в конце XIX века усилиями европейских археологов. Вместе с крушением этого замысла и с длительным, устойчивым господством многобожия выпал из числа возможных арен воплощения Христа также и Египет.

До ясного единобожия не смог развиваться и маздеизм в Иране. Колоссальный трансмиф этой религии не был вмещён её мифом даже в малой доле. Ответственность за это падает, конечно, не на её основателей, ибо они, и в первую очередь сам Зороастр, подготовили религиозную форму, достаточно ёмкую для вмещения огромнейшего содержания. Ответственность несут уицраоры Ирана и его шрастр. Их отображение в Энрофе — империя Ахеменидов — сумела затормозить всякое духовное развитие, вызвать окостенение религиозных форм маздеизма, заглушить его мистику, окаменить этику, направить не на религию, а на себя поток эстетики, а душевную энергию сверхнарода переключить на создание великодержавной государственности. Когда эта империя, наконец, пала и Соборная Душа Ирана была на краткое время освобождена, сроки были упущены. Религия Митры, распространившаяся тогда, носит на себе отпечаток творчества слишком поспешного, откровения слишком неотчётливого. Взор Избирающего остановился, наконец, на еврействе.

Метаисторическое исследование Библии дало бы возможность проследить, как инспирировались пророки демиургом этого народа; как искажённо, но всё-таки его голос улавливали создатели книг Иова,



Соломона, Иисуса Сираха; как вначале примешивалась к этому откровению, снижая его, инспирация из Шалема, от стихии горы Синай, духа сурового, жёсткого и упорного; и как потом книги Ветхого Завета начинают всё более омрачаться нотами гнева, ярости, воинственности, безжалостной требовательности: характерными интонациями уицраоров. Но монотеизм, как всенародная религия, был необходим, и здесь, именно здесь он был всё-таки дан; в этом историческая и метаисторическая заслуга еврейства. Важно то, что, несмотря на бесчисленные подмены, вопреки спутанности инстанций, вдохновлявших разум и творческую волю создателей Ветхого Завета, монотеистическая религия сокрушена не была и под «Я» библейских книг можно, хотя, конечно, не всегда, понимать Всевышнего.

Насколько метаисторическое познание допускает понимание задач Христа, стоявших перед Ним в Его земной жизни, настолько их можно определить пока следующим образом. Приобщение человечества Духовной Вселенной вместо догадок о ней при помощи спекулятивной философии и одиноких предчувствий; раскрытие в человеке органов духовного воспринимания; преодоление закона взаимной борьбы за существование; разгибание железного кольца Закона кармы; упразднение в человеческом обществе закона насилия и, следовательно, государств; превращение человечества в братство; преодоление закона смерти, замена смерти материальным преображением; возведение людей на ступень богочеловечества. О, Христос не должен был умирать — не только насильственной, но и естественной смертью. После многолетней жизни в Энрофе и разрешения тех задач, ради которых Он эту жизнь принял, Его ждала трансформа, а не смерть — преображение всего существа Его и переход Его в Олирну на глазах мира. Будучи завершённой, миссия Христа вызвала бы то, что через два-три столетия на земле вместо государств с их войнами и кровавыми вакханалиями установилась бы идеальная Церковь-Братство. Число жертв, сумма страданий и сроки восхождения человечества сократились бы неизмеримо.

Основанию Христом Церкви в Энрофе предшествовало низлияние сил Приснодевы-Матери, другой ипостаси Троицы, в высшие миры Шаданакара. Это низлияние не носило характера личного, не заключалось в нисхождении какой-либо богорождённой монады. Не было это низлияние Женственности и первым по времени. Первое низлияние Женственности за период существования нашего человечества имело место на четырнадцать или двенадцать веков ранее, и отголоски интуитивного понимания этого факта можно найти в некоторых мифах, где он, впрочем, нерасчленимо

сливается с преданиями о жертвенных нисхожденьях соборных душ сверхнародов в тёмные слои, как это мы видим, например, в Вавилонии. Но два раза именно в Вавилонии, и второй раз именно в эпоху первого низлияния Женственности принимала воплощение в человеческом облике та светлейшая из богосотворённых монад, которой впоследствии предстояло стать Матерью Планетарного Логоса на земле. Её жизненный путь в тот раз не вывел Её из пределов небольшого города в Сеннааре; Она была там великой праведницей и претерпела казнь. В момент Её смерти Мировая Женственность просветлила всё Её существо, и это предопределило то, что Она впоследствии стала Богородицей. Ещё же раньше, до Вавилонии, Она жила в Атлантиде, где была простою прекрасной женщиной, матерью многих детей, а до Атлантиды, на самой заре человеческой цивилизации — в маленьком городке Центральной Америки. Городок этот совершенно забыт, и его бедные останки никогда не будут извлечены из-под тропических зарослей Гондураса или Гватемалы. Раньше, в эпоху первобытных обществ, монада грядущей Богородицы в человеческом облике не рождалась.

Второе низлияние сил Мировой Женственности в Шаданакар вызвало, как эхо, в Энрофе как бы смягчение душевной каменности в существе многих людей: без этого образование Церкви на земле Иисусом Христом было бы вообще невозможно. Христианские церкви в том прерванном, незавершённом виде, в каком они знакомы нам по истории, суть бледные, зачаточные, ограниченные и искажённые отображения Церкви Шаданакара, пребывающей в наивысших слоях.

В возрасте от четырнадцати до тридцати лет Иисус находился в Иране и Индии, где Он прошёл сквозь наиболее глубокую мудрость, достигнутую тогда человечеством, и оставил её далеко за Собою.

Почему Иисус не облёк в письменную форму изложение Своего учения? Почему предпочёл доверить эту задачу Своим ученикам? Ведь, даже будучи боговдохновляемыми, евангелисты оставались людьми, а великий враг не дремал, и даже на книгах Нового Завета явственно различается местами его искажающее прикосновение. Но Христос не мог изложить Своего учения в книге потому, что учением были не только слова Его, но вся Его жизнь. Учением было непорочное зачатие и Его рождение в тихую вифлеемскую ночь, озарённую пением Ангелов; Его беседа с Гагтунгром в пустыне и Его странствия по галилейским дорогам; Его нищета и Его любовь, исцеления больных и воскрешения мёртвых, хождение по водам и преображение на горе Фавор; Его мученичество и воскресение. Такое учение могло быть изложено, хотя бы с пробелами и

ошибками, только живыми свидетелями этого божественного жизненного пути. Но в пробелы вкрался исконный враг; проникая в человеческое сознание авторов Евангелия, он сумел извратить многие свидетельства, исказить и омрачить идеи, снизить и ограничить идеал, даже приписать Христу слова, которых Спаситель мира не мог произнести. У нас ещё нет способов отслоить в Евангелии подлинное от ошибочного, нет точных критериев, нет очевидных доказательств. Каждому, читающему Новый Завет, следует помнить лишь, что учение Христа — это вся Его жизнь, а не слова только; в словах же, Ему приписываемых, истинно всё, что согласно с духом любви, ошибочно всё, отмеченное духом грозным и беспощадным.

Трудно сказать, с какого момента земной жизни Иисуса в душе Его возникла тревога, сомнение в исполнимости Его миссии во всей её полноте. Но в последний период Его проповеднической деятельности всё отчётливее сквозит в Его словах — насколько мы знаем их по Евангелию — готовность к тому, что господин тёмных сил может оказаться временным, частичным победителем. Действительно, видимой формой такой частичной победы явились предательство Иуды и Голгофа.

Субъективный мотив предательства Иуды заключался в том, что Христос Своим вочеловечением разрушил в душе Иуды еврейскую мечту о Мессии как о национальном царе, владыке мира. Эта мечта горячо пылала в сердце Иуды всю его жизнь до самого дня его встречи с Иисусом, и её крушение было для него великой трагедией. В божественности Иисуса он не испытывал ни малейшего сомнения, и предательство явилось актом смертельной ненависти, отчётливо осознанным богоубийством. Тридцать сребреников, вообще мотив жадности был лишь наскоро предпринятой маскировкой: не мог же он обнажать перед людьми истинных мотивов своего преступления! Именно характер этих истинных мотивов вызвал такую беспримерно тяжёлую форму кармического возмездия, какую было его ниспадение в Журщ.

Отсюда ясно, какое необъятное значение имели события, развернувшиеся в Иерусалиме после торжественного вступления Иисуса Христа в этот город. К этому моменту Планетарный Логос ещё не мог подготовить Своё воплощение к трансформе; Голгофа обрекала Его на мучительную человеческую смерть. Избегнуть казни Он не хотел, хотя и мог: это было бы отступлением, да и всё равно Гагтунгр умертвил бы Его несколько позже. Но после смерти для Него оказалась возможной трансформа иного рода: воскресение. А между этими двумя актами совершилось то потрясшее Шаданакар нисхождение Его в миры Возмездия и раскрытие вечно замкнутых врат этих миров, воистину стяжало Иисусу

имя Спасителя. Он прошёл сквозь все слои магм и ядра; непреодолимым оказался только порог Суфэтха. Все остальные пороги были сдвинуты, запоры сорваны, страдальцы подняты — одни в миры Просветления, другие в шрастры, третьи в верхние слои Возмездия, начавшие преобразовываться из вечных страдалищ во временные чистилища. Так было положено начало великому, позднее всё возраставшему смягчению Закона кармы.

Физическое тело Спасителя, покоившееся во гробе, просветлилось и, будучи возвращено к жизни, вступило в иной, более высокий слой трёхмерной материальности — в Олирну. Те свойства плоти Его, которые были замечены апостолами между Его воскресением и вознесением — способность прохождения сквозь предметы нашего слоя и, вместе с тем, способность принимать пищу, способность необычайно быстрого преодоления пространства, — объясняются именно этим. Та же новая, вторая, трансформация, которая описана в Евангелии как вознесение, была не чем иным, как переходом Спасителя из Олирны ещё выше, в следующий слой из числа тогда существовавших. Спустя некоторое время Он провёл через трансформу Богоматерь Марию, а ещё несколькими десятилетиями позднее — апостола Иоанна. Впоследствии совершались трансформации и некоторых других великих человеческих душ.

Постепенно восходя от силы к силе, уже девятнадцать веков возглавляет Воскресший борьбу всех светлых начал Шаданакара против демонических начал. В первые века христианства были созданы новые просветляющие слои — Файр, Нэртис, Готимна, потом Уснорм, и движение многих миллионов просветляемых через эту сакуалу было убыстрено. Через христианские церкви низливался могучий поток духовности, истончая и просветляя всё больше человеческих душ; возникли и расцвели блистающие затомисы христианских метакультур с их многолюдными, всё светлее и светлее становившимися синклитами. Грандиознейший процесс превращения страдалищ в чистилища к нашему времени достиг едва ли половины своего пути; ждёт преобразования сакуала магм, а самые чистилища должны постепенно измениться ещё более. Элемент возмездия из них будет устранён совсем; для душ с отягчённым эфирным телом его заменит такая духовная помощь им со стороны синклитов, которую можно уподобить не наказанию, а только врачеванию.

За эти века Богоматерь Мария исполнила Своё восхождение из мира в мир. Помощница всех страждущих, особенно всех мучающихся в преисподних, всеобщая Заступница и великая Печальница за всех и за вся, Она, так же как Её Сын, пребывает в Мировой Сальватэрре, принимая для

нисхождения в другие слои светозарно-эфирное облачение. Спаситель, пребывающий, как Планетарный Логос, во внутреннем чертоге Сальватэрры, уже много столетий обладает властью облекаться в создаваемые Им светоносно-эфирные тела: таким Он нисходит в затомисы, общаясь там с синклитами метакультур. Его мощь возросла неизмеримо; однако смысл процессов, совершавшихся в эти два тысячелетия в наивысших мирах Шаданакара, мы воспринять сейчас ещё не в состоянии, хотя с точки зрения метаистории в них заключается, очевидно, самое главное.

Но если потусторонняя борьба Иисуса Христа с демоническими силами ознаменовалась рядом мировых побед, то недовершённость Его миссии в Энрофе сказалась в неисчерпаемом множестве трагических следствий.

Самое учение оказалось искажённым, перепутанным с элементами Ветхого Завета — как раз теми элементами, которые преодолевались жизнью Христа, а если бы эта жизнь не оказалась оборвана, были бы преодолены окончательно. Основная особенность этих элементов — привнесение в образ Бога черт грозного, безжалостного судьи, даже мстителя, и приписывание именно Ему бесчеловечных законов природы и нравственного возмездия. Эта древняя подмена служит немалым тормозом на восходящем пути души: спутанность в сознании божественного с демоническим заставляет свыкнуться с идеей оправданности, предвечности и неизменности тех самых законов, ответственность за которые несёт Гагтунгр и которые должны быть облегчены, одухотворены, изменены в корне. Такое снижение уровня этического понимания естественно ведёт к сосредоточению внимания на своём личном спасении, а импульс социального сострадания и активное стремление к просветлению мира оказываются в параличе.

Недовершённость миссии Христа сказывается и в том, что материальное начало в природе и плотское в человеке не дождалось предназначенного им просветления во всеобщих масштабах, а не в одном только естестве Самого Христа. И, оставшись непросветлёнными, они были выброшены христианской церковью за пределы того, что обнималось ею, что ею принималось и благословлялось. Таинства крещения и причащения отрезали неофита от языческого оправдания самодовлеющего плотского начала; никакого же иного осмысления, высшего, не давалось. Эта аскетическая тенденция христианства, едва смягчённая компромиссным институтом таинства бракосочетания, эта поляризация понятий «духа» и «плоти», которую влекло за собой христианство во всех

охваченных им культурах и которая привела в конце концов к безрелигиозной эре цивилизации, — всё это не было простой случайностью или хотя бы явлением только одного исторического плана. Напротив, в этом отразилась особенность, свойственная христианству в его метаисторической судьбе, — особенность, предопределённая именно оборванностью миссии Христа в Энрофе.

Главное же, в Энрофе вообще не совершилось коренного сдвига. Законы остались законами, инстинкты — инстинктами, страсти — страстями, болезни — болезнями, смерть — смертью, государства — государствами, войны — войнами, тирании — тираниями. Образование церкви в человечестве, обременённом прежней самостью и не ограждённом от тёмных инспираций, не могло вызвать того стремительного прогресса — духовного и нравственного, который совершился бы, если бы Гагтунгр не оборвал жизнь Христа. Поэтому девятнадцать веков человечество двигалось по изломанному, зигзагообразному, неравномерному и односторонне суженному пути: он — равнодействующая между работой Провиденциальных начал и яростным воздействием Гагтунгра.

Половинчатый характер победы великого демона поверг его в длительное состояние, которое ни с каким человеческим, кроме предельной ярости, сравнить невозможно. Это неистовое бушевание доносилось и в Энроф, порождая небывалые волнения на поверхности всемирной истории. Ряд тиранов-чудовищ на престоле Римской империи, которым ознаменовался I век новой эры, их злодеяния, не сравнимые ни с чем, бывшим до или после них, их неподдающаяся рациональному толкованию кровожадность, гордыня, бешенство, их нечеловеческая изобретательность в области придумывания новых способов мучительства, уродливая искажённость их творческого импульса, побуждавшая их воздвигать сооружения, неслыханные по своей грандиозности, но либо потакавшие самым низменным инстинктам масс, как Колизей, либо совершенно бессмысленные, как абсурдные начинания Калигулы, — всё это отголоски неистовства того, кто увидал, что извечный враг его хотя и задержан на своём пути, но стал могущественнее и теперь будет возрастать от славы к славе.

Уже за несколько веков до Христа Гагтунгром было найдено внушительное оружие: удалось воплотить в соответствующих слоях некие огромные по масштабу демонические существа и начать в Вавилоно-Ассирии и Карфагене первую династию уицраоров. Один из её отпрысков, уицраор еврейства, добросовестно помог своему господину в его борьбе с Христом во время жизни Спасителя в Энрофе: без этого уицраора вряд ли

оказалось бы возможным захватить полностью волю Иуды Искарриота и многих пастырей еврейства, вообразивших, что преследованием и казнью Христа они защищают интересы своего народа. Но и помимо этого, «Умный дух» хорошо понимал, что создание двух, трёх, нескольких хищных существ одного плана, одного слоя приведёт, по закону борьбы за существование, к победе сильнейшего из них, пока сильнейший из сильнейших не распространит в будущем на все шрастры власть свою, а на весь земной Энроф — власть своих человекоорудий. Так будет подготовлено всё для абсолютной тирании. Именно в осуществление этой мысли были созданы династии уицраоров также в Иране и Риме, и римская оказалась сильнее других.

Похоже на то, что в I веке, уже после воскресения Христа, главная надежда Гагтунгра возлагалась именно на Форсуфа — уицраора Римской мировой державы. Более того: кажется, что даже силы синклитов тогда не обладали уверенностью в том, что бешенство Гагтунгра, удваивавшее его силы, не приведёт в близком будущем к явлению антихриста и не сократит сроков первого эона, умножив тем самым число духовных жертв до непредставимых размеров, а задачи второго эона усложнив до крайности. Этой тревогой объясняется та апокалиптическая, правильнее сказать эсхатологическая, настроенность, то ожидание конца мира в недалёкие дни, которое охватило христианские общины и еврейство в первые десятилетия после воскресения Христа. К счастью, эти опасения не оправдались: сил Гагтунгра в ту пору хватило лишь на фантастически нелепые кровавые безумства кесарей да на попытки истребить христианскую церковь физически. Однако уже в середине I века намечается и другая линия в деятельности Гагтунгра. Пользуясь тем, что миссия Христа в Энрофе осталась недовершённой и поэтому основанная Им церковь, вместо всемирного апофеоза, едва теплится в виде нескольких маленьких общин под грузными пластами государственных институтов, созданных уицраорами, и под косными толщами инволютированных ими психологий, — силы Гагтунгра начинают вмешиваться в жизнь самой церкви. Выдвигается высокоодарённая и глубоко искренняя в своём порывании к Христу волевая личность, в которой еврейская навязчивость и агрессивная еврейская суровость сочетаются с рассудочно-правовым сознанием римского гражданина. Этот человек был носителем некоей миссии, безусловно светлой, но указанные личные и наследственные черты его извратили понимание этой миссии им самим. Вместо продолжения Христова дела, вместо укрепления и высветления церкви духом любви, и только одним этим духом, тринадцатый апостол развёртывает громадную,

широчайшую организационную деятельность, цементируя разрозненные общины строгими уставами, неукоснительным единоначалием и даже страхом, так как опасность быть выброшенным, в случае послушания, из лона церкви порождала именно духовный страх. То обстоятельство, что апостол Павел никогда не встречал Иисуса Христа при Его жизни и был, следовательно, лишён всего того благодатного, что исходило непосредственно от Иисуса, — это обстоятельство не менее многозначительно, чем и другое: то, что Павел не испытал, как остальные апостолы, схождения Святого Духа. И однако остальные апостолы как бы отодвигаются на второй план, каждый из них сужает свою деятельность до локальных задач, до создания христианских общин в той или другой стране, а лишённый благодати Павел постепенно оказывается центральной фигурой, возвышающейся надо всеми общинами, все их объединяющей и всем им диктующей то, что ему кажется продолжением Христова дела.

Это, быть может, первое явственное проявление решимости Гагтунгра в корне изменить демонический план. К концу I века внезапно меняется обстановка и вся атмосфера на верхах римской государственности. Последний изверг на престоле, Домициан, падает жертвой заговорщиков. Эра кесарских безумств резко прерывается. Дальше на протяжении целого столетия сменяются на престоле вполне достойные монархи. Они, конечно, выполняют то, к чему обязывает их логика власти, то есть воля уицраора Форсуфа, стараются укрепить ту государственную систему, которая обеспечивала уицраору такой неисчерпаемый приток красной питательной росы (она называется шавва), но не видно уже ни прежних воспалённых мечтаний о всемирном единодержавии, ни бредовых строительных замыслов, ни «живых факелов», то есть облитых смолой и подожжённых христиан, которыми озарял свои оргии Нерон. Государственная жизнь входит в более или менее нормальное русло. Другими словами, Форсуф заботится о продлении своего существования, но стремлений ко всемирной власти ему более не внушается. Ось высшего демонического плана изменилась. Идея довести Римскую империю до стадии планетарного владычества — отброшена. Во главу угла кладётся другая: захватить христианскую церковь изнутри.

При всех искажениях, вызванных в христианстве духовной ограниченностью человеческих тысяч, его создававших, христианская церковь (а позднее — церкви) являла собой устье могучего духовного потока, низливавшегося с планетарных высот. В глазах «Умного духа» церковь стала фактором первостепенной важности и для захвата её изнутри были использованы все средства. Семитическая религиозная



исключительность, греческий духовный сепаратизм, римская безжалостность и жажда политической гегемонии во что бы то ни стало — всё было привлечено на помощь во втором, третьем, четвертом, пятом веках христианской эры. Для достижения основной цели этого было, конечно, мало, но отвлечь церковь от её прямых задач, замутить её духом ненависти, увлечь её в океан политических волнений, подменить непреходящие духовные цели злободневно-житейскими, подчинить восточную её половину власти императоров, а западную — идеям ложно понятой теократии удалось вполне. Церковь становится миродержавной силой — тем хуже для неё! Человечество ещё далеко от той нравственной высоты, на которой возможно сочетать миродержавное водительство с этической незапятнанностью.

Моя неосведомлённость мешает мне — не говорю уж, нарисовать панораму девятнадцативековой борьбы Гагтунгра с силами Воскресшего, — но даже наметить хотя бы главные её этапы. Более или менее ясны для меня только отдельные, очень немногие её звенья.

Так, например, уясняется мало-помалу метаисторическое значение личности и деятельности Мухаммеда. Стоя на точке зрения какой-либо ортодоксии, мусульманской или христианской, сравнительно легко дать ту или иную, положительную или отрицательную оценку этой деятельности. Но, стремясь сохранить объективность, неизбежно наталкиваешься на такие соображения и доводы, противоречивость которых не позволяет вынести окончательного суждения. Казалось бы, не подлежат сомнению ни религиозная гениальность Мухаммеда, ни его искренность, ни его вдохновлённость высокими идеалами, ни та особая огненная убедительность его проповеди, которая заставляет признать в нём подлинного пророка, то есть вестника мира горнего. С другой стороны, непонятно, в чём же, собственно, можно усмотреть прогрессивность его учения сравнительно с христианством; если же такой прогрессивности в его учении не заключено, то зачем оно было нужно человечеству? Отношение к Мухаммеду как к пророку ложному тоже не помогает уяснению дела, так как остаётся совершенно непонятно, каким образом религиозное лжеучение смогло всё-таки сделаться неким каналом, по которому духовность изливается в толщу многочисленных народов, пламенным поклонением Единому Богу поднимая ввысь миллионы и миллионы душ.

Метаисторическое познание даёт на эти вопросы неожиданный ответ, одинаково неприемлемый, к сожалению, ни для христианской, ни для мусульманской ортодоксии. Дело в том, что правильный ответ может быть

нами найден, только если мы убедимся, что Мухаммед явился в тот исторический момент, когда Гагтунгром было уже подготовлено появление на исторической арене подлинного лжепророка. То была фигура огромного масштаба, и столь же огромна была бы духовная опасность, в лице этого существа нависшая над человечеством. Лжепророк должен был оторвать от христианства ряд окраинных народов, воспринявших эту религию поверхностно, увлечь за собой ряд других наций, к христианству ещё не примкнувших, а в самом христианстве возбудить сильнейшее движение прямой демонической направленности. Несовершенство христианской церкви было почвой, на которой подобное ядовитое семя могло бы дать богатейший плод, завершившись водворением у кормила духовной и государственной власти группы явных и тайных приверженцев Гагтунгра.

Пророк Мухаммед был носителем высокой миссии. Смысл её сводился к тому, чтобы, вовлекая в движение молодой и чистый арабский народ, едва-едва прикоснувшийся к христианству, вызвать его силами в христианской церкви пламенное движение в сторону религиозной реформации, в сторону очищения христианства от крайностей аскетизма, с одной стороны, от подчинённости церкви государственным властям — с другой, от теократического единовластия, которого уже добивалось папство, — с третьей. Но Мухаммед был не только религиозным проповедником, он был гениальным поэтом, даже больше поэтом, чем вестником мира горнего: он был одним из величайших поэтов всех времён. Эта поэтическая гениальность, в сочетании с некоторыми другими свойствами его натуры, увлекала его в сторону от неукоснительного прямого религиозного пути. Струя могучего поэтического воображения вторглась в русло его религиозного творчества, искажая и замутняя то откровение, которое было ему дано. Вместо реформы христианства Мухаммед позволил себя увлечь идеей создания новой, чистой религии. Он и создал религию. Но так как откровения достаточно для того, чтобы сказать воистину новое слово после Христа, у него не было, то созданная им религия оказалась не прогрессивной, сравнительно с учением Христа, а регрессивной, хотя и не ложной, и не демонической. Эта религия действительно вовлекла в свой поток те народы, которые без Мухаммеда стали бы добычей того, кого подготавливал Гагтунгр. Поэтому окончательная оценка роли Мухаммеда не может быть ни полностью отрицательной, ни полностью положительной. Да, это был пророк, и религия, им созданная, — одна из великих религий правой руки; да, появление этой религии убергло человечество от больших духовных катастроф. Но, отрицая многие основные идеи христианства, эта религия

регрессировала к упрощённому монотеизму; она, в сущности, не даёт ничего нового, и теперь понятно, почему в числе Великих Трансмифов, в числе пяти хрустальных пирамид, блистающих на высотах Шаданакара, нет трансмифа ислама.

Здесь я укажу ещё лишь на одну линию демонического плана, без знания которой нельзя понять дальнейшего и которая должна превратиться в своё время — и в истории, и в метаистории, — если можно так сказать, в основную магистраль.

Говоря о том, что никакой демон, сколь масштабно-грандиозен он ни был бы, не в состоянии породить ни одной монады, я надеялся, что на это обстоятельство будет обращено должное внимание. После вочеловечения Планетарного Логоса решающей ареной борьбы сделалось человечество, и в демоническом разуме выкристаллизовалась мечта: создать, пусть медленно, такое человекоорудие, которое в силах было бы осуществить в историческом плане абсолютную тиранию и превращение населения земли в дьяволочеловечество. Опять проявилась творческая скудость демонических начал: ничего самостоятельного измыслить не удавалось; можно было только отдаться законам мышления «по противоположности» и рисовать себе картины, зеркально-искажённо противопоставляемые силам и путям Провидения. Космосу противопоставлялся антикосмос, Логосу — принцип формы, Богочеловечеству — дьяволочеловечество, Христу — антихрист.

Антихрист! Введением этого понятия в круг настоящей концепции я отпугну больше читающих, чем, может быть, отпугнул всем рядом предшествующих глав. Понятие это дискредитировано многократно: и плоским, мелким, вульгаризированным содержанием, влагавшимся в него, и злоупотреблениями тех, кто своих политических врагов провозглашал слугой антихриста, и неоправдавшимися прорицаниями тех, кто в чертах давно промчавшихся исторических эпох уже усматривал черты наступающего антихристового царства. Но если бы введением этого воскрешаемого понятия я отпугнул в десять раз больше человек, чем отпугну — всё равно понятие антихриста сюда введено, крепчайшими нитями со всей концепцией связано и не будет из неё устранено до тех пор, пока она сама существует.

Так как Гагтунгр не в состоянии творить монад, а демонические монады быть воплощёнными в человечестве не могут, то ему оставалось воспользоваться для своего замысла одной из монад человеческих. Какую тёмную миссию ни осуществлял бы человек, какой страшный след ни оставил бы он в истории, всё это тёмное исходит не от его монады, а от его

шельта. Демонизироваться может только шельт, но не человеческая монада. В тех редчайших случаях, как с родоначальником царства игв или с Клингзором, когда личность, достигнув предельно ясного сознания, совершает богоотступничество, совершает его не монада, а только шельт. При этом совершается нечто воистину жуткое: отказ от собственной монады именно потому, что она не может санкционировать богоотступничества, и полное вручение себя — то есть шельта и всех его материальных облачений — воле и власти Гагтунгра. Связь между монадой и шельтом прерывается. Монада удаляется из Шаданакара, чтобы начать свой путь сызнова где-то в иных брамфатурах, а шельт или отдается какой-либо демонической монаде, по каким-нибудь причинам ещё не имеющей шельта, или становится непосредственным орудием Гагтунгра, причём отсутствие монады восполняется отчасти воздействием его собственного духа. В обоих случаях шельт демонизируется окончательно, то есть происходит постепенное перерождение его материальной субстанции: сийра — материальность, созданная светлыми силами брамфатуры, заменяется так называемой аггой — материальностью демонического происхождения; то же происходит и с астральным телом. (Структурно агга отличается от сийры тем, что она лишена микробрамфатур, а составляющие её элементарные частицы — не одушевлённые и даже частично разумные существа, как в сийре, но мёртвые неделимые материальные единицы. Агга состоит всего только из одиннадцати типов таких тёмных антиатомов, представляя собой бесчисленное множество их комбинаций.) — Естественно, что существа с подобными демонизированными шельтами и астралами не могут более рождаться ни в каких слоях, кроме демонических. Таким образом, возможность инкарнации в человечестве для них оказывается исключённой.

А так как замысел создать антихриста имел в виду именно воплощение его в человечестве, то Гагтунгру оставалось одно: захватить одну из человеческих монад, оборвать с неё все одевающие её покровы сийры, то есть шельт, астрал и эфир, и постепенным трудом создать для неё другие покровы из агги. Уничтожение её прежнего, светлого шельта не находилось во власти Гагтунгра, но, лишённый монады, как бы духовно обезглавленный, он мог бы пребывать в состоянии неограниченно долгой духовной летаргии где-то в своеобразном трансфизическом склепе, в закоулках Гашшарвы. Похищение монады требовало невероятных усилий и длительной подготовки. Оно удалось только в IV веке нашей эры, когда Гагтунгр сумел вырвать из Ирольна одну человеческую монаду, в прошлом проходившую некогда через инкарнацию ещё в человечестве титанов, а

теперь связанную с шельтом, едва успевшим закончить путь по Энрофу в облике одного из императоров Рима. Но единственность подобного существа вызвала у Противобога опасение, что непредугаданное вмешательство Промысла сорвёт демонический план. И в дальнейшем было похищено ещё несколько монад — своего рода «резерв», или, если можно так выразиться, кандидаты в антихристы. В исторической перспективе между ними вырисовывались жесточайшие схватки, победа сильнейшего, удачнейшего, и сосредоточение демонической работы именно над ним.

Шельты, у которых были похищены их монады, действительно лишились возможности родиться где бы то ни было. Как бы замурованными в глубине Гашшарвы они остаются и по сей день. А похищенные монады, отягчённые материальными покровами из агги, как бы связанные по рукам и непосредственно направляемые Гагтунгром, двинулись по пути демонического совершенствования, от века к веку воплощаясь в человечестве.

Вскоре одна из них, а именно бывшая монада императора, стала опережать других. От инкарнации к инкарнации вёл её похититель, преодолевая её сопротивление и добившись под конец почти полного угасания её светлой воли. Во время воплощения этого поразительного существа уже в XV веке оказалось, что монада как автономная сила окончательно парализована, а созданные для неё материальные покровы всё лучше выполняют веления демонической инспирации. Хотя от осуществления всех возможностей, в них заложенных, они ещё очень далеки. Инкарнация эта пришлась на кульминационный момент метаисторической борьбы Романо-католической метакультуры. Оно было связано с одной из наиболее очевидных, драматических и жутких попыток Гагтунгра захватить церковь изнутри — попыткой, которая остаётся до сих пор исторически последней. Я уже упоминал в другом месте, что за тем крайним течением в католицизме, которым был омрачён конец средних веков и которое нашло своё наиболее законченное выражение в институте инквизиции, стояло одно из кошмарнейших исчадий Гагтунгра, а борьба против него сил Света закончилась победой только в XVIII столетии. Что же касается дьявольского человекоорудия, то оно появилось на исторической сцене раньше, внешне приобретя облик активного борца за всемирную теократию. В русской художественной литературе есть поразительное творение, автор которого, без сомнения, не мог не обладать духовным знанием об этом событии, хотя знание это не стало полностью достоянием его дневного, бодрствующего «я». Я имею в виду «Легенду о

Великом Инквизиторе». Тот, кто должен стать антихристом в недалёкие теперь уже времена, был, можно сказать, схвачен за руку Достоевским на одном из важнейших этапов своего предсуществования. Правда, эта историческая личность не оставила по себе громкого имени: оно известно теперь лишь специалистам-медиевистам, как имя одного из довольно заметных тогда деятелей испанской инквизиции. Примерно тогда же стала уясняться Гагтунгру неудача его общей попытки обратить исторический католицизм в своего слугу, да и вообще невозможность объединения всего мира на основе римской космополитической иерократии. Без объединения человечества абсолютная тирания была неосуществима, но для этого объединения, на какой бы то ни было основе, не имелось ещё множества необходимых предпосылок.

Я в других местах остановлюсь на некоторых важнейших метаисторических коллизиях, имевших место в течение последних веков. Как и предвидел Иисус Христос, этот ход развития привёл к близости теперь уже решительного сражения, неизбежного в силу исконной агрессивности демонического начала и его стремления к универсальной тирании.

Всемирная мощь Того, Кто был Иисусом Христом, возросла за эти века неизмеримо. Если бы Он опять явился в Энрофе теперь, перед чудесами, которые Он мог бы совершить, померкли бы все чудеса Евангелия, все чудеса индийских и арабских легенд. Но это пока не нужно. До Его второго пришествия осталось ещё два или три столетия, и за это время Он сможет достичь такой мощи, чтобы совершить величайший акт истории и метаистории — смену эонов. Смена эонов будет качественным изменением материальности человечества, рождением всех синклитов метакультур в просветлённых физических телах здесь, в Энрофе, вступлением тех, из кого будет состоять дьяволочеловечество, на длительный искупительный путь в иных слоях, и наступление в Энрофе того, что в Священном Предании называется тысячелетним царством праведных. Акт второго пришествия должен совершиться одновременно во множестве точек земного Энрофа, чтобы ни одного существа не осталось Его не видящим и не слышащим. Другими словами, Планетарный Логос должен достичь таких невообразимых сил, чтобы явиться одновременно во стольких обликах, сколько будет тогда в Энрофе воспринимающих сознаний. Эти эфирно-физические облики, однако, останутся лишь кратковременными выражениями Его единственного Образа, и с Ним сольются они для постоянного пребывания в просветлённом Энрофе. Именно об этом говорит пророчество Христа о Его втором пришествии, которое будет как

молния, блистающая от востока до запада, дабы все народы и страны земли увидели Грядущего на облаках небесных.

## Глава 3

### Женственность

Я подхожу к решающему тезису. И всё же, сколь бы ни был он важен, я едва смею сказать о нём несколько слов.

Почти 2000 лет существует догмат христианского учения, которого сейчас придётся коснуться. Подвергались сомнению самые различные догматы Символа веры, из различных их пониманий возникали расколы, секты, ереси; даже ничтожнейшие обрядовые различия перерастали порой в настоящую пропасть, отделявшую схизматиков от господствующей церкви. Но за все девятнадцать веков никогда, кажется, не появлялось разногласий о том, что считалось основой основ: о трёх ипостасях Пресвятой Троицы — Боге-Отце, Боге-Сыне, Боге-Святом Духе.

Подвергать историческому или психологическому разбору факт возникновения в христианской церкви именно такого понимания Троичности мне не хотелось бы. Ни необходимых материалов, ни нужной для этого эрудиции у меня нет. И даже если бы я обладал тем и другим, мне страшно было бы коснуться ланцетом рассудочного анализа таинственнейших духовных глубин, где возникала и определялась в первые века после Христа эта идея.

Позволю себе только напомнить одну страницу евангельской истории, которая указывает, как мне кажется, не в сторону такого понимания тайны Троичности, а в иную. Каноническими евангелиями (от Матфея и от Луки) утверждается ясно и отчётливо зачатие Младенца Иисуса Девой Марией от Святого Духа. Таким образом, можно заключить, что не Бог-Отец был Отцом Христа как человека, но Святой Дух. Однако как же это? Предвечное рождение Бога-Сына от Бога-Отца могло ли иначе выразиться мистериально в историческом, человеческом мире, как только рождением человека Иисуса от сил Той же ипостаси? — Но нет, евангельский рассказ совершенно отчётлив. Неотчётливо другое: понимание третьей ипостаси церковью христианской. За всю историю церкви догмат о третьей ипостаси так и не был разработан. Даже поражает контраст между подробнейшей — может быть, даже слишком подробной — разработкой учения о Боге-Сыне — и почти пустым местом, каким являются догматические формулы о Святом Духе. Но ничего странного, в сущности, тут нет. Не случайно христианская религия сама именовала себя именно христианской: кроме указания на её происхождение от Христа, в этом наименовании заключено



было отражение того факта, что эта религия есть откровение Бога-Сына по преимуществу, то есть не столько религия Троицы, сколько именно Сына. Отсюда и эта чрезмерно туманная обобщённость, неясность, отсутствие полноты, а иногда и противоречивость в догматах, касающихся других ипостасей.

Ведь кем может быть Сам Бог-Отец, как не Духом? Только Духом. И притом именно Святым, в отличие от всех других духов, им сотворённых, ибо каждая из богосотворённых и даже богорождённых монад может совершить — и многие совершили — отрицательный выбор, богоотступничество; Отец же — совершенно очевидно — не может отпасть от Самого Себя. Он первичен, неизменяем, незамутним и неомрачим, и именуется Святым именно в этом смысле. Какое же положительное содержание можно вложить в отвлечение от Бога-Отца двух Ему изначально присущих свойств — Его духовности и Его святости? Где основания для того, чтобы этому отвлечению придавать совершенно автономное значение в качестве третьего лица Троицы? Вообще, почему, на каких словах Христа, на каком свидетельстве четырёх евангелий можно основать учение о том, что Бог-Отец есть одна ипостась Троицы, а Святой Дух — другая? В евангелиях на это указаний нет. Слова Иисуса, приводимые в качестве обоснования, это Его известное пророчество: «Пошлю вам духа утешителя, он же наставит вас на всякую истину». Из различного толкования именно этих слов возник даже великий раскол, что расщёл единое тело христианской церкви на восточную и западную половины; но при этом оба толкования исходили из общего постулата: из неоспоренного почему-то никем положения, будто здесь Иисус подразумевает под духом-утешителем именно Третью ипостась. Но ведь в этих словах нет и тени указания на то, что утешитель, которого пошлёт Воскресший Спаситель, есть Третья ипостась и вообще ипостась. Нет здесь указания и на то, что под выражениями «дух утешитель» и «Бог Святой Дух» следует понимать одно и то же. Разве не естественнее и не последовательнее, не понятнее со всех точек зрения совсем другое решение: именно, решение в том смысле, что Бог Святой Дух именно и есть Бог-Отец, ибо Бог-Отец не может быть кем-либо иным, как Святым и Духом.

Опять-таки, я касаюсь здесь таких корней великого учения, противопоставляю одинокий голос такому могучему, необозримому хору, звучащему столько веков, что не может быть сомнения в характере отзвонившего на него, даже если он будет кем-либо услышан. Я даже понимаю, что в глазах некоторых окажусь повинен в великом духовном преступлении и

мне будет приписан единственный непрощаемый (по Евангелию) грех: хула на Святого Духа. Заявляю торжественно: поклоняюсь Святому Духу, чту Его и молюсь Ему с таким же благоговением, как другие христиане; и не могу видеть не только хулы на Него, но ни малейшего принижения Его образа в той идее, что Он есть Бог-Отец и что Бог-Отец есть Бог Святой Дух, что это — два именованья одного и того же — Первого — Лица Пресвятой Троицы.

И подчеркиваю, что высказываю здесь своё личное мнение, ни на что не претендующее. Правда, мнение это представляется мне выводом, к которому со временем должны будут прийти многие и многие. Подтверждено оно было и той высшей инстанцией, которая остаётся для меня единственным решающим авторитетом. Но я считаю, что никто не уполномочен настаивать на единственной и абсолютной правильности этой идеи, на её догматической обязательности. Законной, общезначимой инстанцией, полномочной разрешить такой вопрос, мог бы быть Восьмой Вселенский собор, где представители всех ныне существующих христианских вероисповеданий и Роза Мира подвергли бы обсуждению этот тезис, равно как и тезис об абсолютной истинности и неотменимости постановлений вселенских соборов вообще, и, быть может, пересмотрели бы некоторые пункты ортодоксальной догматики. Пока же этого не свершилось, никто в Розе Мира не может утверждать полную ошибочность старого догмата: можно только верить так, как подсказывает совесть и собственный духовный опыт, и работать для воссоединения церквей, для разрешения всех недоумений.

Однако высказанная здесь идея открывает путь к решению другой, не менее кардинальной проблемы.

Известно, что от гностиков до христианских мыслителей начала XX века в христианстве жило смутное, но горячее, настойчивое чувство Мирового Женственного Начала — чувство, что Начало это есть не иллюзия, не перенесение человеческих категорий на план космический, но высшая духовная реальность. Церковь намеревалась, очевидно, дать выход этому чувству, освятив своим авторитетом культ Богоматери на Востоке, культ Мадонны — на Западе. Действительно, перед благоговейным почитанием Материнского Начала — почитанием, иррационально врождённым народной массе, — возник конкретный образ, к которому оно и устремилось. Но то мистическое чувство, о котором я говорю, — чувство Вечной Женственности как начала космического, божественного, — осталось неудовлетворённым. Ранняя и непререкаемая догматизация учения об ипостасях поставила носителей этого чувства в своеобразное

положение: дабы не отпасть в ересь, они принуждены были обходить коренной вопрос, не договаривать до конца, иногда отождествлять Мировую Женственность со Вселенской Церковью или же, наконец, совершать отвлечение одного из атрибутов Божества — Его Премудрости — и персонифицировать это отвлечение, наименовав его Святой Софией. Высшие церковные инстанции избегали высказываться по этому вопросу сколько-нибудь определённо, и это не может быть поставлено им в вину, ибо идея Мировой Женственности не может не перерасти в идею Женственного аспекта Божества, а это, естественно, грозит ломкой догматизированных представлений о лицах Пресвятой Троицы.<sup>[21]</sup>

Я встречал немало людей, в культурном и умственном отношении весьма утончённых и обладающих несомненным духовным опытом и, однако же, удивлявшихся и даже оскорблявшихся самым принципом: переносом, как им казалось, различий пола и вообще человеческих категорий на миры высочайшей реальности и даже в тайну Самого Божества. Им это представлялось следствием древней склонности к антропоморфизации духовных сфер нашим ограниченным человеческим сознанием. Из весьма схожих (психологически) источников вытекает, между прочим, протест строгого магометанского монотеизма против идеи Троичности и против культа Богоматери. И потому же с такой нетерпимостью отталкиваются деизм и современный абстрактный космополитический монизм от представлений о Троице, от веры в иерархии и, конечно, от идеи Вечной Женственности. Повторяется, как это ни смешно, даже обвинение в многобожии, брошенное христианству Мухаммедом 1300 лет назад.

В основе подобных обвинений лежит либо слишком упрощённое понимание христианских идей, либо нежелание вникнуть в глубину вопроса. Ни в историческом христианстве, ни тем менее в данной концепции, никакого переноса человеческих категорий на Божество нет, а есть нечто принципиально обратное. Единство Божие не подвергается, разумеется, ничьему сомнению: наивно было бы искать здесь возвращения ко временам Карфагена, Ура или Гелиополиса. Ипостаси — это различные выявления Единой Сущности вовне; это — то, как открывается Она миру, а не какую пребывает в Себе. Но выявления вовне столь же абсолютно реальны, как и пребывание в Себе; поэтому ипостаси не могут быть приняты ни в коем случае за иллюзии или за аберрации нашего сознания.

Выявляясь вовне, Единый проявляет некую присущую Ему внутреннюю полярность. Сущность этой полярности внутри Божества для нас трансцендентна. Но, выявляясь вовне, она воспринимается нами, как

полярность двух друг к другу тяготеющих и друг без друга не пребывающих начал, извечно и присно соединяющихся в творческой любви и дающих начало третьему и завершающему: Сыну, Основе Вселенной, Логосу. Истекая во вселенную, божественность сохраняет эту присущую ей полярность; ею пронизана вся духовность и вся материальность вселенной. На различных ступенях бытия она выражается различно. В слое неорганической материи, который доступен всеобщему человеческому восприятию, её можно усмотреть, вероятно, в основе того, что мы именуем всеобщим законом тяготения, в полярности электричества и во многом другом. В органической же материи нашего слоя, здесь, эта полярность Божественного проявляется в противозначности мужского и женского начал. Повторяю и подчеркиваю: здесь, ибо лежащая в основе этой противозначности полярность Божества, сама в себе, в своей сути, не может быть понятна.

Вот почему Божественную Женственность мы именуем Матерью Логоса и через Него всей вселенной. Но извечный союз между Отцом и Матерью не изменяет Её предвечной сущности; именно поэтому мы именуем Матерь миров Приснодевою.

Таким образом, в учении о Троице и о Женственном аспекте Божества наличествует не перенесение «слишком человеческого» на сферы горние, а, напротив, понимание объективной полярности наших слоёв — мужского и женского начал — как проекции непостижимой для нас полярности в существе Бога. «Бог есть любовь», — сказал Иоанн. Будут сменяться века, потом зоны, наконец, брамфатуры и галактики; каждый из нас, рано или поздно, достигнет Плеромы — божественной Полноты и вступит в родимое Лоно уже не только как дитя, но и как брат Божий; наши нынешние представления о Божестве исчезнут из памяти, как бледные, отцветшие, ненужные больше тени; но и тогда истина о том, что Бог есть любовь, не утратит своей истинности. Бог любит не Себя (такое предположение было бы кощунственно), но Каждая из таящихся в Нём Непостижимостей обращена любовью на другую, и в этой любви рождается Третье: Основа Вселенной. Отец — Приснодева-Матерь — Сын.

Высочайшая из тайн, внутренняя тайна Божества, тайна любви Отца и Матери, отнюдь не «отражается» в человеческой любви, какой бы то ни было: ничто в мире конечном не может быть соизмеримо или подобно сущности этой тайны. Но и ничто в мире, за исключением того, что исходит от начал богоотступнических, не может быть сторонним по отношению к этой тайне. В человеческой любви вообще, то есть в любви ко всему живому, выражается (а не отражается) существо Троицы —

существо, которое есть любовь. В любви же мужчины и женщины выражается (а не отражается) внутренняя тайна союза Отца и Матери в той мере, в какой она нас достигает, будучи преломлённой множеством слоёв космического ряда. В этом и заключается коренное, онтологическое различие двух областей нашей духовной жизни, не имеющих между собой почти ничего общего, но на нашем нищем языке выражаемых одним и тем же словом.

Любовь ко всему сущему давно уже стала — если не на практике, то в идее — религиозной основой, и даже не в одном только христианстве. От грядущего надо ожидать всё большего расширения того, что охватывается любовью. Правда, в безрелигиозных учениях современности явно выражено отступление вспять, к любви в крайне суженном смысле: к своему государственному коллективу, к его союзникам и сторонникам за рубежом, к своей семье и своим друзьям — и только. Но это явление сугубо временное, обусловленное всем характером безрелигиозной эпохи с её ограниченной и сниженной моралью, и срок ему — тот же, что и всему безрелигиозному этапу развития. Следующая же религиозная эпоха потому и будет новой, что провозгласит и будет стремиться осуществить охват любовью всего человечества, всех царств Природы и всех восходящих иерархий.<sup>[22]</sup> В далёком будущем откроются ещё большие духовные возможности. Станет доступной и необходимой даже любовь к демонам. Уже и в прошлом некоторые из святых возвышались до такой любви. Но опережать самих себя, воспитывать в своей душе, ещё несвободной от соблазнов, ещё не охватившей любовью даже человечества и царства животных, любовь к исконным врагам Бога и всего живого — значит подвергать угрозе восходящий путь собственной души. Демоны только и ждут, чтобы их пожалели. Но ждут, конечно, не потому, что им эта жалость нужна (они одержимы гордыней и человеческую жалость презирают), но потому, что от такой жалости к ним человека — один шаг к его сомнению в их неправоте, а от подобного сомнения — рукой подать до богоборческого искушения и до бунта; бунт же предопределяет подпадение души жестокому воздаянию и порождению душой излучений страдания, гавваха, в том именно избытке, о каком мечтают демоны для поддержания своих жизненных сил. Поэтому любовь к демонам в высшей степени опасна для всякого, кроме уже просветлённой души. Просветлённая же душа будет понимать сама, как можно любить, не испытывая при этом ни сочувствия (потому что сочувствие кому-либо невозможно без сочувствия его основной деятельности, а деятельность демонов направлена только ко злу), ни сорадования (потому что они радуются только тому, что противно

Провидению). Эта любовь может выражаться только в чувстве величайшей жалости, в вере в их конечное просветление и в готовности отдать всё, кроме своей верности Божеству, ради этого просветления.

Но ведь любовь ко всему сущему — это практически только одна сторона проблемы. Как же быть с другой стороной нашей жизни — и внешней и внутренней — той, которая включает в себя всё, именуемое любовью между мужчиной и женщиной?

«Раскалённый уголь» внутри каждого существа, неумолимый инстинкт воспроизведения рода, источник самопожертвований, неистовых страстей, чистейших вдохновений, преступлений, подвигов, пороков и самоубийств — странно ли, что для подвижников и святых именно эта любовь была величайшим камнем преткновения? Пытались различать двойственность внутри неё самой: телесной любви противопоставляли платоническую, мимолётной страсти — любовь неизменную, свободной связи — труд и долг деторождения, разврату — романтическую влюблённость. Иногда различали двойственность трансфизических истоков любви: Афродиту Уранию и Афродиту Простонародную. Но в конкретной данности, в живом чувстве, в повседневных отношениях всё переплеталось, спутывайтесь, переходило одно в другое, уплотнялось в узел, который невозможно развязать; начинало казаться, что лучше выкорчевать самые корни этой любви, чем заслонить её буйными зарослями путь для себя в небо.

Так начиналась в религии великая аскетическая эра. Незачем, я думаю, повторять истины о том, на какие сделки с собственным духом должны были пойти христианство и буддизм, чтобы не выродиться в аскетические секты, ненавидящие жизнь и сами ею ненавидимые. Брак был освящён таинством, деторождение благословлено, но высшим состоянием продолжало считаться — и совершенно последовательно — иночество.

Особенность любви как источника разнообразных человеческих трагедий заключается в том, что любовное влечение может быть и односторонним. Эту свою особенность любовь не утратит, конечно, долго — вплоть до второго эона. Но кроме трагедий этого рода, если можно так выразиться — трагедий первичных, человечество, стремясь нормализовать усложнявшуюся жизнь, создало предпосылки и для других трагедий: они происходят тогда, когда любовь двоих вступает в конфликт с установившимся обычаем, общественными воззрениями или государственным законом. Когда мужчина или женщина любит, но не встречает ответа, это — трагедия первого типа, и с этим нельзя сделать ничего, пока человечество, как говорил Достоевский, «не переменится физически». Когда же оба любят друг друга, но их всестороннее

гармоническое соединение, ничем не омрачённое, нельзя осуществить вследствие семейного или общественного положения одного из них — это трагедия второго типа; обычай и законодательство должны быть со временем перестроены так, чтобы свести трагедии этого рода к минимуму, если не к нулю.

Задача колоссальной сложности. Даже вряд ли может быть выработана единая для всего человечества система узаконений в этой области: уровень социального и культурного развития, традиции и национальные психологии слишком различны. Не центральный законодательный орган Розы Мира, но, вероятно, её законодательные органы в отдельных странах должны будут заняться этим. Достаточно ясно, кроме того, что здесь придётся вести общество, как и во всём другом, через ряд последовательных стадий, потому что односторонне отрицательное решение вопроса, то есть внезапная отмена ограничений закона, приводит, как это показал опыт России, к моральной анархии, вынуждающей государство к отмене отмен и к восстановлению запретов. Это потому, что отмены производились механически, без предварительного воспитания в поколениях такого взгляда на брак и любовь, какой необходим для умения пользоваться столь широкой свободой.

Думается, что правильный религиозный ответ на вопрос о любви между мужчиной и женщиной может быть только один: эта любовь благословенна, прекрасна и свята в той мере, в какой эта любовь творческая.

Что под этим разумеется?

Разумеется то, что наиболее распространённым видом творческой любви в нашем эоне является рождение и воспитание детей, но что это отнюдь не единственный вид творческой любви и любовного творчества. Совместный труд в любой из областей культуры, воспитывание друг в друге лучших сторон личности, обоюдное самосовершенствование, вдохновение друг друга на художественный, религиозный и любой другой творческий труд, наконец, даже простое счастье молодой, свежей, страстной любви, обогащающее, усиливающее и поднимающее обоих, — всё это богосотворчество, потому что ведёт к возрастанию их и просветлению, к увеличению мирового океана любви и радости. Излучения прекрасной любви между мужчиной и женщиной поднимаются в высочайшие миры, их укрепляя, — в те миры, которые были охарактеризованы в одной из предыдущих глав как Волны Мировой Женственности. Даже если оба любящих направляют свой совместный творческий труд в ошибочную сторону, если оба они, например, трудятся в

таком направлении, которое имеет общественно вредный смысл, — даже в этом случае заслуживает осуждения только направленность этого труда; импульс же сотворчества, которым отмечена их любовь, дух товарищества, спутничества и дружбы, которым она пронизана, — благословенны свыше.

Пока человечество физически не преобразено, до тех пор любовь между мужчиной и женщиной останется как бы прикреплённой к инстинкту физического размножения. Со временем это станет не так. Творчество любви изменит своё содержание. Понятие физического размножения окажется к преобразённому человечеству неприменимым вообще. Тогда будет иметь место воплощение монад в просветлённых телах, осуществляющееся совершенно иначе. Но, конечно, в условиях нашего эона основным видом любовного творчества остаётся всё-таки рождение детей и их воспитание.

Проблеме воспитания посвящены главы в конце книги. Здесь же мне кажется своевременным отметить некоторые особенности тех исторических задач, которые не только в воспитании, но и вообще в жизни ставит именно перед женщиной начинающийся ныне цикл эпох.

И от мужчин, и от некоторых женщин, не обладающих глубиной понимания как раз именно женственного начала, случается слышать решительное утверждение, будто бы культурные и творческие задачи обоих полов — одни и те же, а если до сих пор в общественности, политике, науке, технике, философии, даже в искусстве женщина уступала мужчине в объёме и значительности создаваемого, то это объясняется лишь тем, что женщина всегда находилась в положении подчинённом и угнетённом.

Такое мнение распространено шире, чем можно было бы думать. Допустимо даже назвать его ходячим.

Однако разве женщина всегда и везде находилась в угнетённом положении? Уже двести лет в Европе и России двери творческого труда в области литературы и искусства были открыты — конечно, в привилегированных классах — перед женщинами так же, как перед мужчинами. Нужно ли напоминать, что, проявив бесспорную одарённость и выдвинув немалое число музыкантов-исполнителей, женщины за эти два столетия (равно, впрочем, как и за весь предшествующий период всемирной истории) не обогатили пантеон музыкальных гениев ни единым именем? Грустно, что приходится указывать на то, что среди корифеев мировой литературы на двести или триста мужских имён приходится шесть или семь женских. Уже около столетия назад женщина добилась во многих странах права на высшее образование. И она с успехом заменила мужчину на широких участках профессиональной деятельности: в больницах,



лабораториях, за школьными кафедрами, даже иногда в научных экспедициях. Но где же те сотни имён выдающихся женщин-учёных, которые могли бы уравновесить сотни мужских имён, ставших известными всему миру за тот же период времени? Мировой театр блещет, как звёздное небо, именами замечательных актрис. Но приобрела ли хоть одна женщина-режиссёр действительно всемирную известность? Слыхал ли кто-нибудь о женщине — великом философе? великом архитекторе? великом государственном деятеле? знаменитом металлурге, мудром критике, замечательном организаторе производства, прославленном шахматисте? — Отрицать или игнорировать эти факты значит расписываться в полной потере объективности. Вместо отрицания фактов было бы плодотворнее изменить на них угол зрения. Одарена ли женщина менее, чем мужчина? Совершенно бесспорно, что в некоторых отношениях — да. И столь же бесспорно, что в других отношениях она обладает дарами, которых мужчина не имеет и никогда не будет иметь.

Было бы, разумеется, реакционным абсурдом отрицание того, что женщина может быть хорошим геологом, добросовестным инженером, талантливым художником, квалифицированным химиком или биологом, или сомневаться в полезности или ценности её работы в таких областях. Но можно и должно усвоить два бесспорных факта: во-первых, то, что список гениальных деятелей в этих областях не обогатился и вряд ли когда-нибудь обогатится женскими именами, а во-вторых, то, что незаменима и высокоодарена женщина — в другом.

Материнство. Воспитание детей. Творчество домашнего очага. Уход за больными и лечение. Этическое врачевание преступников. Преобразование природы. Совершенствование животных. Некоторые русла религиозной жизни. Творчество любви. И, наконец, творческое оплодотворение души того, кого она любила. Вот в чём женщина незаменима и безгранично одарена.

В первом и в последнем из этих видов творчества она незаменима абсолютно. В остальных же — мужчина уступает ей в той же мере, в какой она уступает ему на поприще государственной деятельности или технических наук. Ибо здесь требуется именно женское, женственное душевное качество: мягкость, любовная нежность, самоотдача, терпеливая настойчивость, бережность, чуткость, сердечность, внимательность.

В областях высшего творчества совершается нечто обратное тому, что мы видим в мире физическом: там оплодотворяющее начало — женщина, оформляющее и воплощающее — мужчина. «Божественная комедия» есть плод двоих, и без Беатриче она так же не появилась бы на свет, как и без

Данте. А если бы мы вникли в глубину творческого процесса большинства великих художников, мы убедились бы, что духовное семя их бессмертных творений именно женщиной брошено в глубину их подсознания, в сокровенные творческие тайники. Мысль о постановке в Веймаре памятника Ульрике Левенцоф, вдохновившей Гёте на прекрасные стихи, — справедлива и глубока. И не нужно смущаться тем, что в большинстве биографий художников трудно доискаться внешними приёмами до тех женских имён, которые заслуживают благодарности потомков в той же мере, как имена самих художников: художники и сами не знают порой, кому они обязаны семенами своих творений. Каждый из них это узнает в своё время и в своём месте — уже за пределами Энрофа.

Тысячи лет в человечестве преизбыточествовало мужское, мужественное начало: сила, дерзость, гордыня, отвага, стремление вдаль, жестокость, воинственность. Существует испанская поговорка, удручающая сознание и возмущающая совесть: «Мужчина должен быть свиреп» Увы: народ, создавший эту поговорку, вполне её оправдал. Бесчеловечность конквистадоров и зверства испанской инквизиции украсили страницы всемирной истории картинами такой свирепости, что зло, от них излучающееся, не перестаёт воздействовать на души до сих пор.

Впрочем, и многие другие народы мало уступали испанцам на этом поприще. Тысячелетие за тысячелетием перекатывались и перекатываются по лицу земли волны войн, мятежей, революций, террора, бешеных и беспощадных расправ: бесчисленные капли, составляющие эти волны — мужские воли и мужские сердца. Говорят иногда о женской жестокости. Но, Боже мой, разве кровопролития Чингиз-ханов, Тимуров, Наполеонов, пытки застенков, ярость якобинского террора, неистовства колониальных захватов, массовые репрессии фашистских и иных диктатур начинались и возглавлялись женщинами?.. История знает женщин-отравительниц, братоубийц, детоубийц, изошрённых садисток, но не знает ни одной, чьё историческое значение сопоставимо со значением Тиберия и Нерона, Ассаргадона и Алла-эд-Дина, Торквемады и Пизарро, герцога Альбы и Робеспьера, Грозного и Скуратова, Гиммлера и Берия.

Робкое, загнанное в глубь семейных ячеек, женственное начало убереглось от уничтожения лишь потому, что без него сам мужчина бесплоден, как свинец, и потому что физического продолжения человечества без женщины не может быть.

До сих пор провозглашалось, что не только мужчина, но и женщина обязана быть мужественной. Если под мужественностью понимать смелость и стойкость в жизненной борьбе, то это, конечно, так. Но если под

женственностью понимать не стиль манер и поведения, не жеманство и сентиментальность, а сочетание сердечной теплоты, внутреннего изящества, нежности и способности повседневно жертвовать собой ради тех, кого любишь, то не только женщина, но и мужчина должен быть женствен. Когда, наконец, человечество дождётся эпох, в дни которых ложно понятая мужественность не будет превращать мужчину в свирепого захватчика, в кичащегося своей грубостью драчуна, в помесь индюка с тигром? когда не будет больше воспитываться в нём фальшивый стыд перед собственной затаённой нежностью, попираемой и насилуемой им же самим?.. Трудно будет преодолевать этот тысячелетний комплекс предрассудков, предубеждений, душевной искалеченности и атавистических инстинктов, но их преодолеть нужно. Во что бы то ни стало.

В метаистории новейшего времени совершается таинственнейшее событие: низлияние в нашу брамфатуру новых божественно-творческих сил. Об этом событии мечтали с древних времён сердца самые возвышенные, умы самые истончённые. И вот оно совершается. Первое звено этого события — события такого значения, что его можно сопоставить лишь с вочеловечением Планетарного Логоса — имело место на рубеже XIX столетия: то было низлияние сил Приснодевы-Матери, но не безличное, как это имело место уже дважды в истории человечества, а несравненно усиленное личным своим характером. С высот Вселенной нисходила в Шаданакар великая богорождённая монада. Прозрение в Раорис — один из высочайших слоёв нашей брамфатуры, в который Она вошла тогда, — было дано почти столетие спустя Владимиру Соловьёву, когда он в Египетской пустыне звёздной ночью пережил потрясающий прорыв сознания и воочию узрел это Великое Женственное Существо. Её, Пресветлую и Благоую, выражение Женственной ипостаси Троицы, мы зовём Звентой-Свентаню. Теперь Её обителище — в Баюшми, в одной из сфер, входящих в сакуалу Волн Мировой Женственности. Близится день Её долгожданного спуска в один из верховных градов метакультур. Там должна Она родиться в теле из просветлённого эфира — дитя демиурга и одной из Великих Сестёр. С Нею спустится в этот затомис из Элиты Шаданакара сонм высочайших душ. Вот Она, надежда наша и упование, Свет и Божественная красота! Ибо это рождение отразится в нашей истории тем, что увидят наши внуки и правнуки: основанием Розы Мира, её распространением по человеческим кругам всех стран и, если страшный срыв человечества не отбросит его вниз, в глубь мрака, — приходом Розы Мира к верховной власти над всей землёй.

О, это ещё не будет означать окончательной победы сил Света: вспомним всадников Апокалипсиса! Лишь последовательность всадников в истории не та, что предсказал провидец на острове Патмосе: первым промчался Чёрный — эра господства иерократии на феодальной основе. Теперь довершает свой путь всадник второй, Красный: каждый поймёт, что таится за этим символом. Ждём и уповаем на всадника Белого — Розу Мира, золотой век человечества! Появления последнего всадника, Бледного, не отвратит ничто: Гагтунгр добьётся рождения в человеческом облике того, кого он пестует уже столько веков. Но эпоха господства Розы Мира вызовет такое сокращение духовных жертв, какое невозможно исчислить. Она успеет воспитать ряд поколений облагороженного образа. Она укрепит силу духа в миллионах, даже в миллиардах колеблющихся. Предупреждая о приближающемся антихристе, а когда он явится — указывая на него и разоблачая его, возвращая в сердцах человеческих незыблемую веру, а в разуме — понимание метаисторических перспектив и мировых духовных панорам, она сделает недоступными для искушений грядущего исчадия Тьмы роды и роды.

И не только Роза Мира отразит в Энрофе мистерию рождения Звенты-Свентаны<sup>[23]</sup> в одном из затомисов: возрастание женственных сил и их значения в современности сказывается и везде вокруг. Этим и прежде всего этим обусловлено всеобщее стремление к миру, отвращение к крови, разочарование в насильственных методах преобразований, возрастание общественного значения женщины, усиливающаяся нежность и забота о детях, жгучая жажда красоты и любви. Мы вступаем в цикл эпох, когда женская душа будет делаться всё чище и шире; когда всё большее число женщин будут становиться глубокими вдохновительницами, чуткими матерями, мудрыми водительницами, дальновидными направительницами людей. Это будет цикл эпох, когда, женственное в человечестве проявит себя с небывалой силой, уравновешивая до совершенной гармонии самовластие мужественных начал. Имеющий очи да видит.

**КНИГА VII. К МЕТАИСТОРИИ  
ДРЕВНЕЙ РУСИ**

## Глава 1

# Киевская Русь как явление метаисторическое

Я уже говорил, что подразумевается здесь под словом сверхнарод, и напомним ещё раз: это группа наций или национальностей, объединённых общено, совместно создаваемой культурой, физиогномически отличной от других. Этнический признак не имеет при этом значения. Достаточно вспомнить случаи, когда из числа наций, составляющих сверхнарод, сразу же выделялась одна как ведущая (например, древнеегипетская; национальности ведомые — принадлежащие к другому этническому корню — народности Нубии, Напаты, Мероэ), равно как и случаи противоположные: несколько этнически различных наций сочетались в единый сверхнарод так, что передавали друг другу в различные века ведущую роль или же делили её между собой (сверхнарод Индийский, Северо-западный, Дальневосточный, Романо-католический).

Совпадая в основном с вековыми очертаниями России, наш народ принадлежит скорее к образованиям первого типа. Полиэтническое происхождение русской нации этому не противоречит: важно то, что на протяжении её истории ведущее значение в сверхнароде, значение мировое, оставалось до сих пор именно за ней, не переходя ни к украинцам, ни к белорусам, ни к народностям Поволжья или Сибири. Сложившись из пёстрых этнических элементов, как в своё время народ Египта, русская нация оказалась, как и он, сильнейшей творческой силой в кругу сочетавшихся с ней в единой культуре меньших народов. (Речь идёт о прошлом и настоящем. Не исключена возможность, что в будущем положение изменится.)

Это великое образование последнего тысячелетия было издавна predetermined творческим замыслом народоводительствующих иерархий — российского демиурга и Навны, — замыслом, возникшим в их сознании ещё как смутная мечта, как приковавший их волю образ. Так было когда-то в Рангарайдре, родине демиургов и Великих Сестёр. О, Яросвет тогда вовсе не напоминал ещё «духа снегов и пламени»: то было радостное солнечное дитя, мудрости Шаданакара ещё не приобретшее, а если и предчувствовавшее огромные дали своего долженствования, то лишь в неясных очертаниях грандиозных прообразов. Созерцая из отдаления становящиеся вершины других метакультур, творения других демиургов и синклитов, он начинал сознавать масштабы своего духа, пропорции своего

собственного будущего творения. К постепенно уяснявшемуся долженствованию он пытался приблизиться своей вдохновенной отроческой игрой; эта игра стала перерастать в священнодействие, в миротворчество, когда высокий человекодух, бывший за несколько веков перед тем в Энрофе апостолом Андреем Первозванным, отдал свои силы Яросвету. В сакуале Демиургов начал возникать как бы туманный ещё чертёж Небесной России. Церковное предание считает апостола Андрея первопророком наших далёких предков. Это верно в том смысле, что апостол Андрей в конце I века христианской эры принял мученический венец в землях Скифии. Но в предании этом таится, по-видимому, и отголосок интуитивного знания о том, что первооснователем Небесной России был именно этот человекодух, достигший за тысячелетие между своей кончиной и своим участием в миротворческом акте Яросвета огромных сил и высот.

Своё долженствование, заключающееся в браке с Соборной Душой народа и в рождении ими Звенты-Свентаны, демиург Яросвет уже понимал; но подготовка к этому ещё не могла представляться ему в тех формах и временных масштабах, какие она в действительности приняла. Он не предугадывал, что одно из его собственных созданий фатальным образом должно будет подняться против него и стать величайшим метаисторическим его соперником, узурпатором и искажителем его замысла. Он не мог предвидеть, что постоянная борьба враждебных иерархий с ним самим и с Навной сделается содержанием метаисторической драмы России с XI по XXI столетие. Наконец, ему не могло быть ясно, что для осуществления его миссии должны завершиться огромные процессы так же и в лоне других культур, ибо лишь при условии объединения всего человечества в единое социально-политическое целое возможно постепенное превращение этого целого во всемирное братство.

Срок спуска Навны в четырёхмерные слои наступил несколько раньше, когда Яросвет ещё впитывал в Рангарайдре творческие излучения Планетарного Логоса.

Внизу простирались безбрежные пустынные пространства четырёхмерных сакуал. В отдалении, на Востоке и Юге, вздымались созидающиеся громады других, старших метакультур. На Западе уже возникло туманное, медленно кристаллизовавшееся сооружение, увенчанное пиком ослепительной белизны, — мистический Монсальват Германии, Англии, Бургундии и Скандинавии. На Юге трепетал и переливался золотом и пурпуром Византийский затомис, и, казалось, он уже готов оторваться от земли и подняться, подобно блистающему ковчегу,

к подножию занебесной обители Христа. Но обширное пространство, открытое к Ледовитому океану, было пустынно. Только прозрачные клубы бушующих стихий пронеслись там, над нехоженными лесами и исполинскими реками Энрофа, да слабые сгущения племенных эгрегоров пульсировали кое-где, усиливаясь на открытых степях Юга.

Конечно, набросанную мною картину не следует понимать с буквальной точностью. Это лишь намёк, поэтическое обобщение, предельно упрощающее истинную картину многих сакуал, открывшихся очам нисходившей Навны. Но все они были связаны с той единственной областью древнего Евразийского материка, которая тогда ещё оставалась свободной от каких бы то ни было наслоений великих цивилизаций человечества. Скучные материальные останки нескольких исчезнувших племенных групп, так никогда и не создавших ни нации, ни письменной культуры, покоились в почве, не нарушая её первичной девственной чистоты. Леса и степи будущей Европейской России представлялись достаточно ёмкими для расселения в грядущем громадных человеческих массивов, а к Востоку открывался ещё другой неисчерпаемый пространственный резерв, тянувшийся до Тихого океана. Запасы всевозможных ископаемых могли обеспечить материальную основу жизни колоссальному коллективу на тысячелетия вперёд. Очаги же великих старших культур были достаточно удалены, чтобы уберечь юную культуру будущего от потери самой себя до тех пор, пока задача преодоления пограничных вакуумов сможет стать по плечу её собственному мужающему гению. Только демиург Византии длил ещё поблизости свой трагический, отрывающийся от земли труд, готовясь передать Яросвету бремя задач, обречённых оставаться в недовершённости.

Это была не страна, но целая часть света, и от предчувствия событий, соразмерных с её масштабами, могло бы захватить дух — не только человеческий.

Смысл спуска или второго в Шаданакаре рождения Навны заключался в том, что она стала облекаться мало-помалу в материальные ткани того четырёхмерного слоя, где демиургом и великими человекодухами, отдававшими ему свои силы, начали закладываться материальные (не физические, конечно, а эфирные) основы Небесной Руси. С этого времени, соответствующего, по-видимому, VIII–IX векам нашей эры, в историческом плане обозначился медленный процесс: формирование восточнославянского племенного единства.

Если бы мы захотели, по аналогии с явлениями человеческой жизни, определить метаэфирный возраст Навны в ту историческую эпоху, нам



пришлось бы остановиться на том, который мы привыкли отождествлять с переходом от детства к юности.<sup>[24]</sup> Её пестовала Мать Земля, а души стихиалей, суровые и нежные, одна за другой вступали в творимый затемис Святой Руси и облекали текучевающую субстанцию Навны своими струящимися тканями. В те времена состояние Навны знаменовалось единством первоначальной гармонии, непосредственной радостью впервые вкушаемого воплощения. Женственно-вещное предощущение гроз будущего смягчалось воспоминанием о наднебесной родине, Рангарайдре, и ожиданием оттуда брата — друга — жениха. И в России Небесной, и в России земной на всем ощущался его отдалённый, но неотступно прикованный взор. И если сама Навна едва начинала уяснять народному сознанию детски смутные отражения окружающих стихиалей, то разум демиурга эти образы прояснял, очерчивал, определял, кристаллизируя их в именах славянских божеств: Перуна, Ярилы, Стрибога, Лады.

На языке историков это перекрёстное влияние демиурга и Идеальной Соборной Души называется мифологией, религией, искусством и бытом древних славян — всем тем, что теперь обнимается понятиями духовной и материальной культуры.

Событие, которое антропоморфным шифром наших понятий может быть отмечено как первое явление Яросвета во плоти в Небесной России и его встреча с Навною там, имело место в X столетии. Буря, вызванная этим в метаисторическом мире, трудно поддается сравнениям, ибо уже само понятие радостной бури кажется нам искусственным. То было низлияние метаэфирных потоков и потоков астрала, подобных kloкочущим водопадам света. Демиургу сопутствовали нисходившие из Ирольна или притекавшие из других метакультур ликующие человекодухи — те, кому предстояли потом воплощения на Русской земле с невидимыми коронами родомыслов, праведников, гениев и героев. Стихиали встречали Яросвета как посланца Божьего и великого творца, которому предстоит среди них, над ними и с ними творить нечто, выходящее за круг их постижения, но внушавшее их вещим душам безотчётное преклонение и восторг. Навна приняла его в блаженных лесных просторах Святой России как долгожданного жениха.

Некоторыми таинствами и обрядами наших религий, например таинством венчания, знакомого в том или ином виде всем народам, мы создаём подобия событиям в жизни народоводительствующих иерархий. Но подобное таинство между Яросветом и Навной тогда и само ещё мерцало лишь из далёкого будущего, хотя им казалось, будто радость их встречи и есть это таинство венчания. В действительности же, вслед за этой встречей произошло другое событие, имело место другое таинство,

параллелью которому в человечестве обладает только христианский культ, сделавший своей осью таинство причащения.

Это было их причащением Богу-Сыну, распятому, пока существует во вселенной демоническое начало, в Мировой материи, Им оживляемой, — в той живой плоти, мистериальным знаком которой мы берём хлеб и вино. Совершилось оно не в Небесной России, тогда ещё к этому не готовой, а в великом Византийском затомисе. Оттуда распахнул демиург Византии ряды надстоявших над этим затомисом небес; Ярсвет и Навна узрели воочию предельную высоту Христианского Трансмифа и сквозь Небесный Иерусалим вступили в общение с Богом. Так совершилась их первая в Шаданакаре встреча с Тем, Кого видеть лицом к лицу могут лишь богорождённые монады. Так демиург Византии посвятил их в свою глубочайшую тайну — тайну, действительно претворить которую в формах человеческой жизни он не сумел. Теперь он передавал её им как своим наследникам.

Историческая неудача всех трёх христианств сводилась, как известно, к тому, что и католичество, и византийское православие, и, позднее, протестантские церкви остались только церквями, и притом не с большой, а с малой буквы. Печальна и поразительна аберрация сознания некоторых членов этих церквей, которые принимают их за единую вселенскую мистическую соборность. В этом — смещение перспективы, спутанность уповаемого и данного, искажение времён и сроков и даже — что ещё хуже — снижение и искажение самого идеала.

В нашей брамфатуре церкви человечества являются феноменами, полными своеобразия. Вершинами они дотягиваются до подножий Мировой Сальватэрры, а в Энрофе существуют как замкнутые объёмы, опирающиеся на ограниченные участки внутри культуры, внутри государственности, внутри быта, внутри человеческой души.

Драма исторического христианства заключается в том, что ни одна из церквей не превратилась в форму совершенного народоустройства, способную выразить и осуществить завет христианства, его мистический и этический смысл. Причина этого коренится, опять-таки, в прерванности Гагтунгром миссии Иисуса Христа, но отсутствие серьёзных, искренних и чистых попыток в этом направлении — вина самих церквей как человеческих сообществ. Ибо если католицизм, стремясь иерократией подменить Царство Божие на земле, подпал, хотя, к счастью, временно, одному из страшнейших инфрафизических вампиров всемирной истории, то православие, ещё в Византии занявшее, по выражению Достоевского, «угол в государстве», совсем отказалось от этой задачи. Эта задача, одна из

ключевых, если не самая ключевая из всех задач, возникавших перед человечеством, переходила теперь со всей непомерной тяжестью и опасностью требуемого ею пути к иерархиям Российской метакультуры.

Это было отражено зеркалом исторической действительности в акте так называемого крещения Руси. Чтобы уразуметь воистину необъятные масштабы исторических и метаисторических последствий, предопределённых этим деянием князя Владимира, достаточно вдуматься в то, что сулило бы молодому русскому сверхнароду присоединение к католицизму, к исламу или, тем паче, к хазарскому иудаизму; какое нелепо искажённое, почти абсурдное будущее было бы вызвано к жизни подобным выбором религии. Сама собой напрашивается, но, к сожалению, выходит из композиционных рамок книги, большая монографическая глава о князе Владимире Святославиче, деятеле воистину титанического масштаба. Масштаб этот до сих пор недооценён из-за отдалённости и малоизвестности эпохи и благодаря тому предутренне-сумеречному освещению, в котором фигура этого деятеля возвышается у истоков нашей истории. Вероятно, только метаисторическое созерцание и размышление способны привести к углублённому пониманию подлинного значения того, кого народ чтит, любил и воспевал почти тысячу лет, связав с его именем прозвище, одно из самых тёплых и нежных, какие только знает всемирная история: Красное Солнышко (прозвище, неперебиваемое на другие языки, так как только в русском, кажется, допустимо применение к солнцу ласкательной формы). Во всяком случае, акт крещения Руси был почти единовластным деянием князя Владимира, деянием полностью провиденциальным, сколь примитивны и сторонни ни были бы мотивы, активизировавшиеся в сознании реформатора.

Эта инвольтация Яросвета начинается в X веке и очень быстро знаменуется появлением, вслед за Владимиром, ряда крупнейших исторических имён: Ярослава Мудрого, летописца Нестора, Антония и Феодосия Печёрских, затем Владимира Мономаха. Это будущие человекодухи, нисшедшие в Небесную Россию во дни её основания, теперь направлялись демиургом в Энроф ради выполнения особых задач, с миссиями праведников и родомыслов.

Как и всегда над большими коллективами, над Киевским государством дышало и зыблилось то иноматериальное образование, о подобных которому уже говорилось в главе про средние слои Шаданакара под названием эгрегоров. Порождённый теми психологическими излучениями народа, которые связаны с деятельностью государственной, эгрегор обладал подобием сознательности, зарядом воли и жил самостоятельной

жизнью, в значительной степени определяя государственную деятельность каждого из следующих поколений русских людей.

Не имела собственной монады и каросса Дингра — одно из проявлений Лилит, последняя из иерархий, значение которых в возникновении народа русского было огромно. Раздвинув свою деятельность до границ нации и позднее — сверхнарода, чью живую материальность она призвана непрерывно возобновлять и укреплять, каросса Дингра выполняла свою провиденциальную роль, и этим же исчерпывалось её положительное содержание.

Круг деятельности кароссы очерчен по преимуществу границами половой жизни народа. Она участвует во всяком акте человеческого соития и зачатия. У неё — ключи вождения друг к другу представителей двух полов. Но ей, несущей в себе проклятое эйцехоре, присуще стремление переливаться за окружность своей зоны действия, подчинять себе все явления, попадающие в её кругозор, захлёстывать волнами сексуальной стихии другие импульсы народной души. Фаллический оргиазм древности, утративший теперь свою религиозно-магическую окраску, но проявляющийся в некоторых народных праздниках, остаётся и в наше время ярчайшим проявлением Дингры, «Всенародной Афродиты» России. Свадебные же, пиршественные, весенние и тому подобные оргиастические действия, игрища и обряды в дохристианский период возникали на Руси именно как волны, расходившиеся от помахивания невидимых покрывал Дингры, как отзвуки её тяжёлой пляски, как отсветы её пылающего взора, вперённого в народное тело и в тело каждого из людей. В России христианство, сразу вступившее с кароссой в явную и тайную борьбу, провозгласило по отношению ко всякой мистике пола решительное «нет» и заставило укрыться её в подполье, где она, уродуясь тесными пределами, приобрела удушливый и смрадный оттенок, дойдя, наконец, до свального греха хлыстовских и других изуверских сект. В некоторых же других культурах, особенно в культурах древности, деятельность кароссы проступала на самой поверхности народной жизни, а тень этих существ явственно доходила до сознания мифотворческих и религиозно-творческих пластов сверхнарода, отливаясь в образы богинь — покровительниц любви, брака, деторождения. Ясно, что там, где к почитанию таких богинь примешивался оргиазм, где задачи продолжения рода отступали перед бесконтрольной жаждой чувственного наслаждения, там к воздействию кароссы примешивалось и даже заглушало его вязкое и растлевающее воздействие сил Дуггура.

Активизация светлых сил всегда во всемирной метаистории вызывает

и активизацию сил Противобога: это, по-видимому, закономерность текущего эона. Да и мог бы Противобог и его миры оставаться безучастными, созерцая выход на метаисторическое поприще новых сил, стремящихся, в конечном счёте, к преодолению демонической власти над человеческим миром? И борьба инфрафизического стана против Навны, Яросвета и Дингры (остающейся хотя и слепой, но необходимой участницей метаисторического процесса) приобретает несколько форм.

Проследите основные линии движения, основные события истории Киевской Руси: каждый легко различит два главных фактора, угрожавших молодому национальному образованию. Уже Владимир занял Киевский престол лишь после кровопролитной распри; едва же он умер, как вся страна была потрясена борьбой за власть и братоубийствами Святополка Окаянного. Короткая передышка при Ярославе Мудром — новая волна усобиц при Изяславе I — и с тех пор прерывающаяся лишь на короткие года двухсотлетняя княжеская усобица. Усобица, не только заливавшая кровью поля страны и подтачивавшая её физическое бытие, но и истощавшая эфирную субстанцию сверхнарода, а его духовное становление тормозившая опасно и мучительно. — Так выходит на поверхность истории великая хищница, гасительница светочей и домашних очагов, умножительница страданий — Велга России. В человеческом существе она срывает все запреты с низших инстинктов разрушения и осквернения. Она втягивает в себя клочья распавшихся человеческих эфирных и астральных тел. Она — смерчеобразное средоточие множества мелких инфрафизических существ, вдохновительница анархических сил, хозяйка на полях сражений и на местах казней.

Велги появились в пределах Шаданакара вместе с большинством других демонических монад, то есть почти с самого начала. Но для метаисторика важнее другой непреложный факт: то, что каждая велга есть полюс Идеальной Соборной Душе, и то, что она стремится к перетягиванию эфирно-астральной субстанции сверхнарода в сферу демонической материальности.

Вторая форма борьбы Противобога и его миров против светлой диады и Дингры заключалась в попытках истребить их или истощить нападениями извне. Эту цель преследовали те события, которые в зеркале исторической действительности приняли вид нападений печенегов, половцев и, наконец, татар на раздираемое Велгой Киевское государство. Трудно ли за этими теньями, этими ратями и ордами, мечущимися по степным просторам Поволжья, Дона и Днепра, разглядеть тех, от кого эти тени отбрасываются: ожесточённых эгрегоров степных племён, вечно

бурлящих, вечно клокочущих, неспособных к отвердению в устойчивые, творческие организмы истории? — Этот вид враждебной деятельности Противобога разрастётся в далёком будущем, ставя под угрозу существование страны, в годину татарского, польского, французского, германского нашествий. Деяния же Велги примут форму общенародных внутренних потрясений Великой Смуты и Великой Революции.

Вопреки неблагоприятным метаисторическим условиям, Ярослав совершает в XI–XII веках попытки проявить свой юный гений. Демиург Византии сперва ещё руководит им; следствием этого в исторической действительности делается то, что на языке историков именуется «византийским влиянием» или «византийской традицией». А так как всякое творчество в русле какой-либо традиции требует меньше смелости и духовной зоркости, то деятелей традиции всегда оказывается больше, чем новаторов. Главное же, в эту эпоху воздействие и самого Ярослава становилось таким, что его трудно отличить от воздействий христианского Трансмифа, ибо реальности этого Трансмифа он приобщился сам. Приобщился сам — но не замкнулся в нём; сторона, ранее высказывавшаяся в русской дохристианской культуре, оставалась этим Трансмифом не охваченной и продолжала жить — хотя и не такой уже интенсивной жизнью.

Мощно вливался в сознание народа христианский миф, чаруя и привлекая сердца образами Вседержителя, Пречистой Девы и святых, некогда восходивших на высоты праведности из тёмных недр еврейства и Византии. От святынь Иерусалима и Афона, от купцов Царьграда устремлялись белые лучи, согревая душу и приобщая её к радости православного творчества: иноческому деланию, подражанию житиям угодников, восхищению в области духа, смирению, храмостроительству, посту. И оттуда же доносились неустанные предупреждения, трепет ужаса перед мирами возмездия, тем более устрашающими, что никакими чистилищами тяжесть загробного воздаяния в Византийской метакультуре не была смягчена.

В дальние углы культуры, в народные низы, к смердам, отодвинулось древнее славянское миропонимание. Но великие леса надёжно хранили в своей глубине связь человеческого существа со стихиями; и волхования кудесников, игрища во славу творческих сил, чары колдунов, обряды, связующие человека с незримыми обитателями и хозяевами Природы, длили своё существование. Требовательный аскетизм никогда во всемирной истории не смог стать руководящим принципом для масс; не случилось этого и здесь. Жизнь предъявляла всё те же требования: продолжение рода,

оберегание семьи, защита страны от натиска степных кочевников. Сколько бы ни молились иноки по монастырям, эти молитвы не освобождали людских множеств от воинского долга, от повседневного труда, от губительных половецких набегов и от радостей страстной, полнокровной жизни, вознаграждающих за всё. Так были заложены основы двоеверия, не исчезавшего в России вплоть до XX века.

Первым дошедшим до нас памятником инспирации иерархий сверхнарода остаётся «Слово о полку Игореве» — произведение, никак не связанное с византийской традицией и вообще с трансмифом христианства. В чуждых аскетизму и смирению, мужественных интонациях поэмы, похожих на ясный и чистый булатный звон, в отсветах внехристианских верований, вспыхивающих то здесь, то там на её суровом горизонте, даже в самой тематике этого памятника — в вооружённой борьбе с национальным врагом — обнаруживается непосредственное вдохновляющее вторжение в волю творца сил Яросвета. Лёгкое и прозрачное, как фата, веяние Навны одевает высокорыцарственное существо поэмы тонкою музыкальностью, поднимаясь до щемящей силы в плаче Ярославны на городской стене.

Этот поэмой инспирации отлились в высокохудожественные образы. Из того, что эти образы оказались жизненными, мы должны заключить, что сама реальная жизнь давала для них материал, что те же инспирации проявлялись, следовательно, в отношениях, психологии, повседневном укладе народных масс. В лице автора «Слова» под низливающийся поток инспирации встал княжеский дружинник, гениальный поэт, то есть поэт, «одержимый» даймоном. Былины же киевского и новгородского циклов позволяют почувствовать, как становился под этот поток человек массы, безымянный создатель низового искусства, фольклора. Скажут: элементарность, грубость былин — о какой духовной инспирации можно тут разговаривать? — Но какими же вообще качествами, если не этими, отличается творение масс от творения высококультурного мастера? Простоватость, примитивность былинной поэзии нисколько не опровергают факта инспирации, они только указывают на то, что, ослабленная и замутнённая, она всё же проникала в плотные пласты массовой психологии.

Она начинала постепенно окрашивать в своеобразные тона и те искусства, которые оказались наиболее связанными с мифом христианства. Это можно проследить в иконе и фреске — киевских, суздальских и особенно новгородских. Иконописные образы новгородской школы поражают иногда бурной динамикой и такой смелой, почти современной остротой, какие были совершенно чужды, даже враждебны византийской

традиции с её статуарностью. К сожалению, в этой книге я располагаю возможностью только намечать ряды специальных тем, требующих разработки. По несколько таких тем заложено в любой из этих глав, и мне остаётся только сожалеть о краткости оставшегося мне отрезка жизни. И в то время, как национальная духовная интуиция во многих других метакультурах выражала своё знание о бытии затомисов преимущественно на языке легенд, Россия начинает выражать духовное знание о своём небесном прообразе и двойнике — России Небесной — на языке другого искусства: зодчества. С XI до XVIII века все очаги русской духовной и особенно религиозной жизни с поражающей нас последовательностью стремятся к развитию, совершенствованию и повторению одного и того же образа. Это — архитектурный ансамбль, осью которого является белый кристалл — белый собор с золотыми куполами и столпообразной колокольней, вокруг него — сонм часовенок и малых церквей, часто многоцветных, но почти всегда златоглавых; далее — палаты, службы и жилые хоромы и, наконец, кольцо могучих защитных стен с башнями. У их подножия — излучина реки.

Этот мотив возникает над Днепром в начале XI столетия, сейчас же повторяется над Волховом, а затем варианты его начинают множиться: во Пскове, Смоленске, Владимире, Переяславле, Чернигове, Ростове, Коломне, Нижнем Новгороде, Устюге, в Троице-Сергиеве, в больших и малых городах и совсем без городов, во множестве монастырей и кремлей; в следующие эпохи он достигнет своего апофеоза в Кремле Московском.

Над этим стоит задуматься. Вряд ли увенчалась бы успехом попытка исчерпывающе объяснить это явление одними соображениями военно-политическими, техническими, даже общекультурными. Другие страны, расположенные в сходных географических условиях, в эпоху тех же феодальных отношений и, если можно так выразиться, в схожих религиозных климатах, создали, однако, совсем другие художественно-мистические символы, другие эстетические образцы и, в частности, архитектурные каноны. Архитектурный ансамбль вообще далеко не везде перерос в первенствующий символ, в синтетическое отражение трансмифа, в каменное подобие «Града взыскуемого». В такой символ он перерос в Египте и Вавилоне, в Индии и некоторых странах буддизма, в Афинах, но этого не случилось ни в Иране, ни в Японии, ни в североиндейской культуре, и даже о таком значении средневековых аббатств можно говорить только с натяжкой. Очевидно, мы имеем здесь дело с фактором иррациональным, может быть с духовным вкусом сверхнарода. Корни же духовного вкуса уходят в неисследимые его глубины, к закономерностям,



связующим сверхнарод с надстоящей над ним второй реальностью.

А между тем эпоха, когда кристаллизовался этот образ, становилась от поколения к поколению всё менее благоприятной.

Если бы мы попытались перенести на миры иной материальности аналогию трёх основных состояний материи в нашем слое — понятия твёрдого, жидкого и газообразного, то убедились бы, что в метаисторической картине Киевской Руси состояние восточнославянского эгрегора можно было бы уподобить простёртому над страной разреженному туману, едва начинающему приобретать смутные контуры. Смерчеобразные завихрения Велги то и дело разрывали это образование в различных его частях, а натиск половецкого, литовского и польского эгрегоров постоянно менял его очертания, вызывая смятение во всём его существе и отрывы отдельных частей, начинавших жить ущербной, призрачно самостоятельной жизнью.

Это было слабое существо, не способное оказать эффективного сопротивления ни Велге, ни эгрегорам степных племён.

В XIII веке на изнемогавшего русского эгрегора Гагтунгром направляется тёмноэфирный гигант-чудовище: воинствующий уицраор монгольского племенного массива. Я не знаю, роковой ли ошибкой демиурга Дальнего Востока или другими причинами он был порождён, но рост его был фантастически быстр, а алчность неутолима. Жертвой этого существа сделалась сама монгольская метакультура, слишком юная, с едва ещё возникавшим синклитом, а теперь втягиваемая в воронку метаисторических замыслов Противобога. Демонический разум теперь играл в беспроигрышную игру: русская метакультура либо рухнула бы под напором более сильного врага, либо Яросвет оказался бы вынужден противопоставить уицраору Монголии подобное же чудовище, дабы оградить само физическое существование русского народа. Это — первый могучий удар, обрушиваемый на Русь Гагтунгром, и это — то самое метаисторическое событие, которое стоит за первой великой катастрофой нашей истории: нашествием татар.

Можно по-разному оценивать — и историки по-разному оценивают размеры социально-политического, культурного и нравственного урона, нанесённого России татарским игом. Рассматривая же события под метаисторическим углом, мы можем дополнить положения исторической науки лишь следующим указанием: воздействие сил Велги, столь бурно проявлявшееся в княжеских усобицах, расчистило путь для другой, более могущественной силы, причём обе эти группы сил являлись, в конечном счёте, проявлением воли одной и той же инфрафизической инстанции. То,

что расшатала Велга, должен был сокрушить монгольский уицраор; если же это не удалось бы до конца и ему — осталось бы в запасе другое оружие, которое должно было развернуть свою деятельность в другие времена и другими методами: чёрное ядро в существе будущего русского уицраора.

Действительно: под ударами монгольского чудовища русский эгрегор был смят, полурастерзан на клочья, едва сохранявшие в себе жизнь и способность к будущему воссоединению. Кароссе Дингре был нанесён ущерб, который — если бы речь шла о существах физического плана — можно было бы сравнить с истеканием кровью. Сам Яросвет был побеждён в бою с монгольским гигантом на границах Святой России; юному, ещё не окрепшему и малочисленному синклиту едва удалось спасти от разрушения лишь сокровеннейшие святилища своей небесной страны.

Спасаемая демиургом, Навна была удалена из опустошаемой южной области Святой России в недоступные девственные земли, соответствующие дремучим северным лесам в Энрофе. Туманные сгущения израненного, полуразорванного эгрегора облекали нищенским рубищем её новое средоточие. Напор врага не ослабевал: насытившаяся Велга уползла в свою Гашшарву, но монгольский уицраор то и дело проносился, подобно урагану, по небесной стране, гася огни, иссушая метаэфирные источники, а в России земной размётывая ту живую материальную субстанцию сверхнарода, из которой образуются эфирные тела всех отдельных членов его и без которой невозможна жизнь в Энрофе не только народа, но и отдельного человека. Становилось ясным, что выполнение задач, ради которых светлая диада приняла эфирное воплощение, неосуществимо до тех пор, пока Дингра не воссоздаст народную плоть; пока сильнейшему оружию Гагтунгра не противопоставлен противник в том же плане бытия: могущественный, полновластный демон государственности. Перед демиургом сверхнарода встал выбор: либо создание левиафана-государства в Энрофе и допущение, следовательно, возникновения российского шрастра, населённого игвами; либо отказ от выполнения своей миссии на земле. Он избрал первое.

Очевидно, демиургу, ещё не отграничивавшему идеального народоустройства как отдалённого долженствования от государства как реальной возможности, уяснялась категорическая необходимость этого последнего — необходимость государства, и притом непременно очень сильного, в качестве формы сверхнарода, единственно способной оградить его физическое бытие, защитить от центробежных внутренних сил — проекций Велги и от нападений извне — проекции сегодня уицраора Монголии, а завтра какого-нибудь ещё. Кто знает, сливалась ли у Яросвета

идея о необходимости сильного государства с представлением об идеальном народоустройстве, которое должно было быть плодом его грядущего брака с Навной. Понимал ли он со всею ясностью, что, нисходя к кароссе Дингре в качестве отца их общего детища, порождая от неё уицраора и обрекая Навну на плен в глыбах грядущей государственности, он отодвигает день своего брака с Навной в непредставимую даль веков? — Так или иначе, каросса Дингра породила первого из уицраоров России, несущего в себе, вместе с материнской кровью, проклятое эйцехоре. Не ясно ли, что это значит?

Ваятельница физической субстанции сверхнарода рождает демона великодержавия от двух начал: от демиурга сверхнарода и от того, кто некогда вторгся в плоть стихииали Лилит: Гагтунгра. Таким образом, эйцехоре должно было стать своего рода проклятием, довлевшим над российской государственностью и фатально искажавшим осуществление русским народом его мировой миссии.

Мог ли Ярослав избежать рождения демона великодержавия? Мог ли охранить физическое бытие сверхнарода каким-либо иным путём? Не подтверждают ли примеры других культур, что уицраоры суть неизбежные участники всякого метаисторического процесса, его неизбежное зло, внутреннее противоречие?

Но затем и позаботился Гагтунгр о рождении этой расы трансфизических чудищ в Вавилонии. Возникло нечто вроде цепной реакции: каждый демиург любой метакультуры оказывался вынужденным противопоставить злобному разъярённому врагу точно такого же защитника. Защитник, в свою очередь, перерастал в нападающего хищника и этим вызывал необходимость для демиургов соседних метакультур повторить то же самое. Уицраоров теперь лишены только небольшие нации, входящие в состав сверхнарода, но не сам сверхнарод. Со времён Вавилона метакультура без уицраоров не существует.

Что касается Яросвета, то воспламенённость своей мечтой препятствовала ему различить законы перспективы в этом новом для него мире исторической действительности. Он не умел ещё проводить точную грань между реальной государственностью и идеальным народоустройством, между созданием государства и конечной целью своего брака. Только с мучительным опытом жизни и творчества могла прийти к демиургу та мудрость, которая научила бы его отслаивать близкое от далёкого, ныне возможное от долженствуемого предела. Самая природа государства была ему ещё непонятна, и вряд ли он отдавал себе отчёт в непримиримости самодовлеющего государственного начала с идеальным

народоустройством, равно как и в том, что это народоустройство может быть осуществлено лишь в отдалённом будущем, когда физическая сохранность сверхнарода будет обеспечена объединением человечества в единый монолит.

Но дело в том, что народоустройства могут быть нескольких типов, и понять различие этих типов — в высшей степени важно. Разумеется, прилагаемая таблица даёт лишь несколько самых главных типов их, не имея ничего общего с попытками исчерпать всё их многообразие и опуская множество переходных или недостаточно определённых форм.

1. Жидкое состояние государственности. Зачаточность централизующей государственной власти. Постоянные столкновения слабо организованных составных единиц между собой. Могущество племенных эгрегоров и вампирических образований типа Велги. Воздействие диады сверхнарода, весьма ещё юной, преимущественно на эстетическую и религиозную сферы сознания.

Примеры: Египет эпохи номов, ведическая Индия, Греция эпохи полисов, Европа в раннее средневековье.

2. Твёрдо-вязкое состояние государственности, достаточно мягкой для преобразующей работы. Ограничение тиранических тенденций равновесием социально-политических сил. Государственное водительство осуществляется демиургом через эгрегоры. Его брак с Идеальной Соборной Душой.

Примеры: Египет до Тутанхамона, буддийские государства Индии и Юго-Восточной Азии, империи Тан и Сун в Китае, Афины времён Перикла.

3. Крайне твёрдое состояние государственности. Деспотическая держава-колосс. Тирания демона великодержавия. Сохранность эфирного воплощения Соборной Души, но крайнее сужение её свободы действий, то есть её плен в глыбах государственности. В конце этой стадии, а иногда и раньше демиург снимает свою санкцию с демона государственности.

Примеры: великие империи-тирании, Ассирия, Карфаген, Рим, Багдад, империи Чингиз-хана, Тамерлана, Испания XVI века, Британия XVIII–XIX веков, империя Наполеона, государство Гитлера и т. п.

4. Иерократия. Захват эгрегором церкви державотворящих сил. Либо перерастание его в схожее с уицраорами вампирическое чудовище, заявляющее всемирные претензии и переносящее своё обиталище из сакуалы эгрегоров в Гашшарву (папство в конце средних веков); либо — замыкание в этнических границах и высасывание внутренних источников (Тибет). В первом случае — борьба с ним диады сверхнарода и синклита,

при этом восстающих даже на искажаемый миф международной религии. Во втором случае — ограничение свободы действий светлой диады инфрафизикой метакультуры, с одной стороны, силами Наивысшего Трансмифа международной религии — с другой.

5. Раздробленность единого устройства сверхнарода на множество твёрдых государственных единиц. Развитие локальных сил, вырвавшихся из-под контроля иерархий. Ослабление активной творческой силы последних. Состояние Соборной Души, схожее с состоянием глубокого недуга.

Примеры: Средиземноморье в IV–V столетиях н. э.; мусульманские страны после халифата; Германия после Тридцатилетней войны.

6. Чуженародное порабощение. Народоустройство, превратившееся в орудие других иерархий, преследующих свои, не имеющие отношения к данному сверхнароду, цели. Положение Соборной Души, равнозначное состоянию рабства.

7. Государственное устройство смягчённого типа, созданное при условии социально-этической зрелости сверхнарода и отсутствия внешней угрозы. Подчинение государственного начала непосредственно силам демиурга. Начало отмирания принципа насилия. Открывающаяся перед иерархиями возможность подготовки идеального народоустройства. Положение Соборной Души как супруги демиурга.

Примеры: к настоящему моменту этот тип достигнут только в отдельных небольших странах, в наиболее чистом виде — в Скандинавии, Швейцарии. Можно надеяться, что в будущем этот тип приобретёт сверхнародные масштабы, лишь при которых и возможны сверхнародные метакультурные плоды его.

8. Межсверхнародное объединение. Пока мыслимая лишь теоретически государственная формация, переходная к планетарному объединению. Сотворчество демиургов.

9. Идеальное народоустройство. Упразднение государства. Превращение государственного строя человечества в братство. Совершенное устройство общества, только в которое и может быть принято рождаемое иерархиями эфирное выражение Вечной Женственности.

То, что ясно теперь, не могло быть ясно тысячу лет назад даже демиургу. Союз его с Дингрой и рождение уицраора воздвигли между Яросветом и Навной длительную преграду. И хотя понять тогда же весь многозначный смысл происшедшего было ещё вне возможностей демиурга, но уяснялось, что эта преграда падёт и в их браке откроется возможность творческого осуществления их задачи лишь тогда, когда совершённая

ошибка будет искуплена, то есть последствия её исчерпаны; начинала приоткрываться и ужасающая своей длительностью даль этого искупления. Происшедшее явилось могучим толчком к его духовному возмужанию. Первое столкновение с исконным врагом светлого стана открыло перед демиургом воочию ту глубину мирового дуализма, неразрешимость которого он раньше не постигал. Жгучая скорбь, свойственная осознанию первой большой жизненной неудачи, охватывала его; лишь теперь становилась понятной трагедия демиурга Византии и возможность крушения, только в ещё больших, уже всемирных масштабах, подстерегающая его самого.

Положение усложнялось ещё тем, что рождение и детство уицраора видимым образом оправдывали совершённое: демон государственности оказывался именно той силой, в которой нуждался сверхнарод для обороны против Велги и чужеземных уицраоров.

Область сильнейших инспираций Первого Жругра в Энрофе определилась в некоторой географической области, на берегах Москвы-реки, и здесь берёт начало процесс концентрации и воспитания сил метакультурной и исторической самообороны.

Это был один из тех редких (в жизни любого народа) периодов, когда силы, различнейшие по своей природе, своим иерархическим ступеням и по своим целям, скрестили свои усилия в общем труде.

Глубоко значительным предметом созерцания для метаисторика остаётся тот процесс, в котором мыслимо появление личностей, подобных Александру Невскому, чью мудрость и волю укреплял демиург, чистоту замысла блюла Навна, ваятельница народной плоти подготавливала чреду его преемников, демон великодержавия укреплял силу его меча, а силы христианского Трансмифа берегли его своим покровом, сотканным из светлого эфира народных молитв, мученичества погибавших в бою или в татарской Орде и духовного делания светочей церкви. Недаром его смерть отозвалась волнами скорби по всей стране, а в позднейшие времена самые непримиримые движения народного духа видят своего далёкого предшественника в этом родомысле.

Никогда (по отношению к первому уицраору) не сказывалась в ряде исторических фактов столь отчётливо благословляющая этого демона деятельность демиурга, как в той горячей помощи, которую оказывали великим князьям московским пастыри России — главы церкви; в том оправдании ими дела собирания Руси высшей национально-религиозной и нравственной целью, которое как бы осенило это общерусское движение хоругвью церковного авторитета. Этот ряд явлений, столь ярко

сказавшийся в деятельности великих московских митрополитов, достигает наивысшей выразительности в благословении Дмитрия Донского на битву с татарами величайшим святителем тех времён и в личности инока Пересвета, открывшего Куликовское сражение своим единоборством с татарским богатырём.

Когда определилось географическое средоточие Российской метакультуры, естественно и неизбежно этот национальный духовный очаг и цитадель государственности должен был увенчаться физическим подобием вершины сверхнародного трансмифа: Кремлём Земным. Даймоны и другие силы демиурга, ниспосылавшиеся им к душе, разуму и воле московских князей и митрополитов, иноков и бояр, зодчих и иконописцев, прославленных и безымянных, приоткрывали им те образы Небесной Руси и Фонгаранды, которые ждали своего отражения в камне и кирпиче. И это отражение стало возникать: медленно, трудно, из года в год и из века в век, утяжелённое, беспорядочное, вечно перестраивающееся, искажённое случайностями, калечимое пожарами, нападениями чужеземцев и произволом властей, с золотым венцом царства — на челе, с клеймом рабства и ранами мученичества — на лице, — и всё же прекраснейшее из всего, что было возможно при духовном и материальном уровне русского средневековья.

## Глава 2

### Христианский миф и прароссианство

Сколько-нибудь подробный разбор общего, в высшей степени широкого и сложного вопроса о метаисторическом значении православной церкви и тем более всего христианского мифа — это тема для многотомного труда или даже для целого цикла работ. Но ясно и естественно, что внутренняя мистическая жизнь русской церкви определялась связью именно с общехристианским трансмифом и с теми иерархиями и сущностями, космическими и планетарными, которые почитались русской церковью: с Логосом, с Богородицею Марией, с ангельскими чинами и с великими духовными деятелями общехристианского или византийского прошлого. Высокая ступень их восхождения открывала перед ними возможность активной помощи сверху вниз, из затомисов, из Небесного Иерусалима и Синклита Человечества в слой конкретной исторической действительности, в Энроф.

На протяжении многих веков христианский миф пронизывал и окутывал духовную жизнь русского общества, сказываясь решительно во всех областях культуры тех эпох — от «плетения словес», как понимали тогда искусство письменного слова, до орнаментики посуды или покрова одежды. Но анализ легко обнаружит в запасе образов, насыщавших эти искусства, и в эстетических канонах, тогда выработанных, огромный пласт таких, какие не имеют прямого отношения ни к идеологии, ни к пантеону христианства.

Травчатые узоры на тканях и поставцах столь же далеки от христианского мифа в его чистом виде, как Жар-птица наших сказок, богатыри наших былин, архитектурные особенности наших теремов или стилизованные петушки и фантастические звери, украшавшие печи, прялки и коньки изб. Этот пласт образов восходит, конечно, к дохристианскому мироотношению, к зачаточной и так и не развившейся славянской мифологии. Но важно то, что это мироотношение так же сказывается в XVII веке, как в XII; совершенно перестаёт быть заметным или, вернее, меняет своё обличье оно только в XX. Христианским же мифом оно не было преодолено или ассимилировано никогда. Произошло другое: параллельное сосуществование двух мироотношений, характеризующееся разграничением сфер проявления. При этом одно из них, христианское, быстро добившееся господства в качестве общегосударственного и



общенародного круга идей, вытеснило своего соперника из целого ряда областей жизни, и прежде всего — из области обобщающей и систематизирующей мысли. Второе отношение укрылось в фольклор, в низовое и прикладное искусство, в народные обряды и заговоры, в быт, но так никогда и не поднялось до уровня философских или вообще идейных обобщений.

С другой же стороны, нас не может не поражать необычайная его устойчивость, феноменальная живучесть. Уже сама по себе эта живучесть говорит метаисторику о том, что мироотношение это коренилось не в случайных, не в преходящих чертах народной психологии, но в таких, которые присущи народу органически. Если же мы имеем дело с чертами народной психологии органическими и неистребимыми, мы всегда имеем перед собой фактор, связанный с проявлением творчества иерархий, ибо всё в народе, находящееся вне сферы их деятельности, не носящее на себе печати их труда, оказывается кратковременным, наносным, эфемерным. В той стороне разбираемого отношения, которая связывалась с продолжением рода, во всём, что относилось к повышению уровня и напряжённости половой стихии, различается мутная, горячая, беспокойно колышущаяся субстанция кароссы Дингры. Собственно, в условиях христианской страны никакой другой области для её проявления и не оставалось. Но в мироотношении этом явственен ещё и другой слой, преимущественно эстетический. Творческая радость, которую испытывали художники и мастера при создании этой орнаментики, этих сказок и этих теремов, так и пышет нам в душу при малейшем к ним прикосновении; любовь к миру, природе, стихиям, в них разлитая, свидетельствует о том, что уже не каросса, но силы самого демиурга веяли в создававшей эти произведения человеческой душе.

Это мироотношение (поскольку речь идёт о русском национальном прошлом) приходится теперь извлекать из-под пластов христианского мифа либо при помощи кропотливого научного анализа, либо путём метаисторического созерцания и размышления. Мироотношение это я бы назвал прароссианством.

Прароссианство есть, в сущности, не что иное, как первая стадия развития мифа российского сверхнарода.

Сам по себе общий Трансмиф христианства не противоречит и не может противоречить трансмифам сверхнародов; не противоборствует и не может противоборствовать им. Напротив: Мировая Сальватэрра, вся пронизанная силами Логоса и Богоматери, то есть высочайшей реальностью Трансмифа христианского, остаётся в то же время вершиною

вершин, смутно сквозящей через трансмифы сверхнародные. Исторические перспективы будущего были бы угрюмы и безрадостны, если бы их не озаряла наша вера в такое грядущее мироотношение, когда христианский миф будет взаимно дополняться мифами сверхнародов, сливаясь с ними в гармоническое целое. Но в историческом прошлом зрелый уже христианский миф как бы застигал собою едва возникавший миф русского сверхнарода. Застигал — и в силу всё той же присущей историческим церквям, с их ущербной узостью, потребности утверждать свой религиозный аспект мира как единственную и универсальную истину, исключаящую самую возможность существования других.

Сколь благоговейным ни было бы субъективное отношение метаисторика к христианскому мифу, сколь высоко он ни расценивал бы роль этого последнего в культурной истории России, но вряд ли он сможет отделаться вполне от чувства горечи и сожаления, даже какой-то безотчётной обиды, при изучении любого из искусств средневековой Руси. Он почувствует, что тем росткам исконно национального мироотношения, которые пытались всё же проявить себя хотя бы в искусстве, было зябло и мучительно тесно.

Довлела формула: «Мир лежит во зле». И любовь к нему, детская жизнерадостность, солнечная весёлость и непосредственность едва осмеливались обнаруживать своё существование в яркой раскраске утвари, в сказочно-игрушечном, я бы сказал смеющемся, стиле изразцов или резьбы, в задних планах икон, где цветы, светила небесные и сказочные звери создают удивительный фон, излучающий трогательно чистую, пантеистическую любовь к миру.

Довлел монашеский аскетизм. И творческой деятельности Дингры отводились самые низы, прикровенное тло человеческой жизни. Соприкосновение духовности с физической стороной любви казалось кощунством; в брачную ночь образа плотно завешивались, ибо любовь, даже освящённая таинством брака, оставалась грехом.

Довлел христианский пантеон. И душа, улавливавшая веяние иерархий сверхнарода и стихий, не осмеливалась даже отдать себе отчёт в бытии этих иерархий, не нашедших места в христианском пантеоне, не санкционированных церковным авторитетом. Истины богопознания и миропознания казались исчерпанными двумя Заветами и учением отцов церкви; и всякая самостоятельная работа мысли оказалась бы подозрительной, едва ли не еретической.

Довлело отношение к искусству как к второстепенному виду выражения всё тех же истин христианского мифа. И светская живопись не

возникала, скульптура представлялась язычеством, поэзия прозябала в границах фольклора, танец едва терпелся даже в виде чинных хороводов, а зачатки театральных действий жестоко выкорчёвывались.

Сопоставив всё это, интересно обратить внимание на один вид искусства, в памятниках которого прароссианство и христианский миф сумели ужиться рядом, как бы поделив между собой территорию и почти не смешиваясь даже механически, и вместе с тем — как это ни странно — художественно и психологически дополняя друг друга. Я говорю о некоторых школах церковного зодчества, от шатрового храма до так называемого «Нарышкинского барокко». Поражает в этих памятниках одна особенность, ярче всего, пожалуй, сказавшаяся в храме Василия Блаженного: контраст экстерьера и интерьера. Заразительная, заставляющая невольно улыбаться всей душой, жизнерадостность этих пёстрых луковок и пузатых колонок, этих стен, превращённых наивно весёлым узорочьем в сказочные сады... А войдёшь вовнутрь — и точно попадаешь в другую культуру, хотя, как это ни невозможно, почти столь же русскую: решётчатые оконца, узкие притворы, низкие своды, тяжёлые устои, суровые лики, полумрак. Изгнанный наружу, вовне, миф сверхнарода — и противопоставляющий себя миру, созидающий внутреннее пространство, самодовлеющий и нетерпимый миф христианский. Прароссианство — и православие. И не синтез, даже не смешение, а почти механическое разграничение сфер действия. А если уж говорить о какой-нибудь диалектике, то — теза и антитеза.

Можно возразить, что, будучи очищены от наслоения веков, фрески и иконы наших храмов являют глазам гораздо более яркие краски, более жизнерадостные мотивы орнаментов, чем принято думать. Да, но если в жизнерадостном характере некоторых росписей и сказывалось веяние прароссианства, то время работало против него, гася звонкость красок копотью свечей и лампад, неизбежных и неотъемлемых атрибутов культа. Создавался единый колорит, как нельзя более соответствовавший и низким ходам, и крошечным оконцам, и общей минорной гамме богослужения. И наибольшего единства и выразительности достигло это соединение приёмов именно в интерьере Василия Блаженного с его членением внутреннего пространства на множество изолированных ячеек, откуда богослужение не было видно, а только слышно и где обстановка предельно способствовала внутренней уединённой молитве.

Да и вообще, разве не поражает в облике русских святылец любого века, от переданного нам Византией однокупольного храма до ампирных церквей XIX столетия, контраст между внешностью и внутренностью,

формой и содержанием? О, это совсем, совсем не гармония! Русский храм гармоничен, да, пока мы созерцаем его снаружи: будь то белоснежный куб с золотыми шеломами или пёстрый теремообразный цветок, изгибающийся своими деревянными или каменными лепестками и будто пребывающий в вечном веселии. Внутри он гармоничен тоже, хотя и совсем другой гармонией. Но между этими двумя гармониями — разрыв, взаимное непонимание, затаённая вражда.

В церковном зодчестве христианский миф (не вполне ясно, впрочем, почему) всё же терпел, молчаливо принимал территориальное сосуществование с мифом сверхнарода.<sup>[25]</sup> В других же областях культуры и жизни было, как я уже отмечал, гораздо хуже. И не удивительно, что при таких условиях прароссианство не могло сложиться ни в какую автономную систему, ни в какое учение. Оно даже не могло осознать своего собственного существования. Для такого осознания необходимо наличие хоть какого-нибудь стержня, оси, какого-нибудь центрального образа, принадлежащего данному мифу и только ему; а стержня такого не было. Воздействие демиурга и Навны на индивидуум и на народ в целом не поднималось за порог сознания; а то, что переживалось в душевном ощущении, приписывалось действию других инстанций: инстанций исключительно христианского мифа.

Если в этом вопросе мы и способны удивляться чему-нибудь, так это тому, что прароссианство всё-таки не было уничтожено. Больше того: создаётся впечатление, что враждебному натиску христианского мифа кто-то всё время ставил как бы некий предел, кто-то, век за веком, оберегал слабые рядки прароссианства от вытаптывающей поступи воинствующей церкви. Демиург, сам причастный христианскому Трансмифу, но свободный от человеческой ограниченности, берёт эту область потенциалов народного духа для далёких, великих веков; он сам оплодотворял её своим дыханием; сама Навна питала её мерцающей духовной росой.

Но ещё более глубокая мудрость, мудрость жертвенного самоограничения сказывается в том, что Яросвет не дал прароссианскому мифу возможности буйного роста, мощного цветения. К чему это могло бы привести? Если бы прароссианство осознало само себя, сложилось бы в систему, стало бы претендовать на роль господствующей идеологии — страшная, не на жизнь, а на смерть борьба его с мифом христианским стала бы неизбежностью. Борьба — и уничтожение одной из сторон. Но в глазах высшей мудрости обе стороны драгоценны, обе оправданы единой Истиной, таящейся в них под покровом двух правд. Искоренится ли на Руси христианство, заглохнет ли прароссианское оправдание мира — и

исчезнет одна из двух основ грядущей синтетической культуры. Обе должны быть сохранены до тех отдалённых времён, когда станет возможным не уничтожение их во взаимной борьбе, но переход обеих в общее гармоническое мироотношение и богоотношение, свободное от узости, от эпохальной ограниченности одного из них и от безотчётности, безынтеллектуальности другого.

Ведь мы определили только тормозящее действие христианского мифа на миф сверхнарода. Но у того же процесса была и другая сторона. За христианским мифом мерцала не призрачная игра случайных теней, а высшая реальность, христианский Трансмиф — Небесный Иерусалим и сферы Мировой Сальватэрры. Самоё уже прикосновение к этим ценностям высшего порядка (не говоря уже о тех случаях, когда жизнь прикоснувшегося превращалась в духовный подвиг, в житие) — таило в себе неисчерпаемый источник духовных сил, давало могучий толчок импульсу внутреннего самосоздания. Конечно, самосоздание это устремлялось, в сущности, одною аскетическою, иноческою дорогой; мирская праведность хотя и уважалась, но рассматривалась как низшая, подготовительная ступень к иночеству. Но ведь если бы православие выработало и сумело осуществить идеал праведности также и гражданской, семейной, общественной, государственной — это означало бы, что достигнута такая стадия человеческого совершенствования, какая и поднесь не достигнута нигде в мире. Другими словами, это было бы возможно лишь в двух случаях: или если бы миссия Христа была довершена, а не оборвана, или если бы новый поток космических духовных сил хлынул из макробрамфатуры в Шаданакар, ослабляя Гагтунгра и мощно способствуя преобразению человечества.

В XVI веке Сильвестр сделал попытку, значение которой не вполне осознано до сих пор. «Домострой» есть попытка создания грандиозного религиозно-нравственного кодекса, который должен был установить и внедрить в жизнь именно идеалы мирской, семейной, общественной нравственности. Задача колоссальная: её масштабы сопоставимы с тем, что осуществил для своего народа и культуры Конфуций. Очень легко, конечно, свалить неудачу на несоответствие масштаба личности Сильвестра масштабу таких задач. Но ведь можно вывернуть этот вопрос и наизнанку: не потому ли именно такой человек взялся за такую задачу, что малый масштаб личности не давал ему понять ни грандиозности задачи, ни её неосуществимости на той ступени культурного и религиозного развития? Не потому ли в средневековой России ни один действительно великий духовно человек не дерзнул приблизиться к подобной задаче, что именно

духовная зоркость и мудрость не могли не подсказать ему её преждевременность? — Сильвестру, как известно, удалось сложить довольно плотно сколоченную, крепкую на вид, совершенно плоскую систему, поражающую своей безблагодатностью. Ни размаха, отмечающего всё, вдохновляемое демиургом; ни духовной красоты, лишённой которой не может быть ни одна инвольтация Навны; ни огненности, веющей в творениях, внушённых инстанциями христианского трансмифа. Совсем другой дух: безмерно самонадеянный, навязчиво-требовательный, самовлюбленно-доктринёрский, ханжески прикрывающий идеал общественной неподвижности личиной богоугодного укрепления общественной гармонии, — гармонии, которой в реальной жизни не было и помину. В последующие эпохи мы ещё не раз встретимся — совсем в других произведениях, в других доктринах — с этим тяжеловесным, приземистым, волевым духом: духом демона государственности.

Не в попытках создания общенародного кодекса этики, а в действенной разработке сурового иноческого пути заключается непреходящая ценность того, что создал в плане этики русский христианский миф. Аскетическому пути русская культура — правильное, метакультура — обязана своими величайшими праведниками. История средневековой Руси характеризуется полным отсутствием творцов широкообъемлющих философских и научных концепций, ограниченным числом художественных гениев, большим числом героев (хотя потомством утрачены даже имена многих из них) и — не созвездием, но целым звёздным небом праведников. Сотни их имён сохранены церковью. Такое соотношение определялось опять-таки могуществом христианского мифа, ещё из Византии принёсшего неравноценное отношение к различным видам духовного творчества.

Как бы ни относиться к аскетическому принципу в применении к жизненным условиям, идеалам и психологическому климату XX столетия, но для метаисторика не может быть сомнения в том, способствует ли вообще жёсткая дисциплина этого пути предельной концентрации внутренних сил на взаимной мистической связи человека с высочайшими инстанциями духовного мира. Ещё бы она не способствовала!.. Если бы этому не способствовала наивозможно полная изоляция самого себя от захватывающих бурь, страстей и забот «мира дольного», то что же тогда вообще могло бы способствовать? Среднее сознание нашего века точно мстит своей узостью в понимании таких вещей среднему сознанию Киевской и Московской Руси с его противоположно направленной узостью. Обвинение в эгоизме, в себялюбивом устремлении к спасению, которое

бросается иногда представителям аскетического пути, правомерно лишь по отношению к тем, кто этот путь профанировал; но по отношению к тем, кто называется святыми, такое обвинение основано на невежестве либо на недоразумении. Логичен только последовательно материалистический взгляд, вообще не видящий никакой цены во внутреннем делании личности, если это делание не проявляется весьма быстро во внешних деяниях, для всех явных. Но если бы мы установились на материализме, то незачем, да и просто невозможно было бы начинать книгу «Роза Мира». Внутреннее делание вообще, а келья и затвор в особенности, раскрывают в человеке то, благодаря чему становится служение человечеству и помогание ему из уединения. Но и этого мало: религиозное мировоззрение не может задумываться о жизни на земле в отрыве её от потустороннего продолжения; в продолжении же этом именно праведник получает возможность, больше чем кто-либо другой, пользоваться теми сильнейшими духовными орудиями, теми средствами помощи человечеству и всем дольным мирам, теми средствами борьбы с тёмным началом, которые он выстрадал и выработал в себе за десятки лет самосоздания и самоочищения.

В метаисторическом отношении существование не только Нила Сорского или Серафима Саровского, но и праведников меньшей высоты, меньшего духовного величия, меньшего непосредственного влияния на народную психологию и нравственность, даже праведников, может быть, оставшихся нам совершенно неизвестными, — важнее для метакультуры, чем прозябание тысяч людей духовной середины. Там «своя арифметика». Вспомним, что в то самое время, как гаввах, эйфос, излучения зависти, скупости, алчности, злобы восполняют убыль жизненных сил в стране демонов, излучения духовной радости, религиозного восторга и благоговения становятся тончайшим материалом для творчества зтомисов; сорадование восполняет жизненные силы ангелов; излучения высокой любви между мужчиной и женщиной поднимаются в те миры, которые обозначены здесь как Волны Мировой Женственности и только лазурные отдалённые зарева которых можем мы воспринимать в минуты восхищений; сострадание же, вдохновение, творческий пламень людей укрепляют обитель Логоса Шаданакара.

Карамазовский «чёрт» попытался конечно, окарикатурить эти закономерности доведением их принципа до абсурда: по его словам, душа одного подвижника стоит будто бы целого созвездия. Созвездия — не созвездия, но, во всяком случае, рассудок был бы потрясён и возмущён, если бы мог убедиться в странных законах потусторонней «арифметики».

Впрочем, она покажется не такой уж странной, если мы вспомним, что существование Пушкина важнее для русской поэзии, чем существование миллионов людей, пишущих плохие стихи. Разумеется, это не значит, что ценность людей измеряется только их отношением к поэзии, равно как и их отношением к праведности.

Дар святости есть такой же дар, как гениальность или как та незыблемая ось героического душевного склада, которая делает человека способным не на отдельный героический акт (на это способны многие), но на превращение своей жизни в героическую повесть. Все эти три дара (так же, как и дар родомысла, но об этом — в другой связи) заключаются в том, что к конкретной человеческой личности, выдающейся по своим врождённым способностям воспринимать светлую инспирацию иерархий, посылаемая с детства (реже — в зрелом возрасте) один из даймонов. Посланцы из мира крылатого человечества, где миссия Христа была победно завершена и само человечество безмерно опередило нас в своём духовном развитии, даймоны видят одну из своих главных задач в помощи ниже расположенным, отстающим, вообще подлежащим подниманию слоям бытия. Бодрствуя над людьми, обладающими светлым даром, то есть специальной миссией, даймоны становятся проводниками, через которые льётся в разум и волю человека воздействие Провиденциальных начал. Именно ощущением их присутствия вызваны к жизни такие устойчивые представления, как убеждённость многих гениальных поэтов в присутствии вдохновляющих муз, религиозных деятелей — в сопутствовании им ангелов-хранителей, а некоторых мыслителей — в воздействии на них даймонов в совершенно буквальном смысле.

Резюмируя, мы можем сказать, что абсолютное значение христианского мифа заключено в нём самом; частное же положительное значение его для метакультуры Российской состояло в том, что он раскрывал над сверхнародом как субъектом познания ту глубь и высь наивысших сфер Шаданакара, к которым стремится сам демиург, увлекая за собой сверхнарод как своё творение. В христианском трансмифе заключено (хотя в христианском мифе едва приоткрыто) то общепланетарное долженствование, которое лежит дальше — или выше — любых затомисов, любых стихиаблей, любых иерархий.

Из всех существовавших до сих пор и вполне определивших себя культур человечества только две оказались способными выйти из локальных пределов и распространить свои начала на весь почти земной шар: культура Романо-католическая и культура Северо-западная. Сколько причин этого влияния ни обнаруживали бы историки — социально-



экономических, географических, общекультурных — и сколько ни пытались бы замалчивать неудовлетворительность своих объяснений — для метаисторика, нисколько не отвергающего относительного значения и механизма этих причин, первичным, конечно, останется иное. Эту прапричину он будет искать в том факте, что христианский миф, исконно связанный не только с Эдемом и Монсальватом, но с реальностью Небесного Иерусалима и самой Мировой Сальватэрры, сообщил европейскому духу его истинные масштабы и сделал его способным к действительно всемирной миссии.

Две другие христианские метакультуры, Византийская и Абиссинская, были так стиснуты, так сжаты демоническими силами, что существование одной из них в Энрофе прекратилось совсем, а другая в своём пути была безнадёжно задержана.

Пятой метакультурой, проникнутой лучами христианского Трансмифа, была метакультура Российская. В силу ряда внешних и внутренних причин, она развивалась медленнее своих западных сестёр, но всё же она преодолела ряд смертельных опасностей, устояла против потрясающих натисков и ко второму тысячелетию своего исторического бытия вышла на мировую арену, и для друзей своих и для врагов грозная явною всечеловечностью своих потенций.

Правда, другие международные религии были связаны, хотя бы отчасти, со слоями Шаданакара, высшими, чем затомисы метакультур. Казалось бы, пропорции духа, необходимые для задач всемирного масштаба, могли сообщить своим сверхнародам и они. Но в мусульманском мифе метаисторическому взгляду видятся три пласта. Один — отражающий трансмиф именно мусульманского сверхнарода и только к этому трансмифу, то есть к затомису Джаннэту, обращённый. Другой — дающий свой, сниженный и искажённый, но всё-таки опирающийся на духовную реальность вариант христианского мифа. И третий — как бы пытающийся прорваться в метабрамфатуру, но бытие Мировой Сальватэрры, бытие Планетарного Логоса не осознавший и тем самым поставивший предел для себя самого, осудивший себя на нераскрытие в исламе как в религии потенций подлинной всечеловечности. Отблеск всемирной устремлённости, трепетавший на миллионах душ, захваченных этой религией в свой поток в первые века её существования, сделал возможным её великолепный разлив, её распространение на целый ряд стран; но под этой психологической устремлённостью ко всемирному не лежало онтологической всечеловечности. Именно поэтому ислам, как разливающаяся религия, быстро иссяк и ныне не дерзает помышлять о

распространении большем, чем удалось ему достигнуть в далёкие минувшие века.

Буддийское созерцание, исключая, кажется, состояние «абхиджны» самого Гаутамы Будды, останавливается на Нирване, вернее, на мирах наивысшего аспекта буддийского Трансмифа, не стремясь осознать даже высших сфер Шаданакара. Чувство глубокой безнадёжности, неверия в возможность преображения миров и просветление Закона проникают эту религию насквозь. Это естественно для всех религий, возникших до воплощения Планетарного Логоса в Энрофе. Естественно также, что эта безнадёжность парализовала всякое стремление ко всемирному. Если можно здесь чему-нибудь удивляться, то скорее тому, что буддизм всё-таки нашёл в себе силы к разливу вширь, хотя, конечно, прозелитизм его духа давно отошёл в минувшее.

Что же касается индуизма, то та же самая причина выразилась в судьбах этой религии ещё и той исторической особенностью, что индуизму остался почти совершенно чужд какой бы то ни было прозелитизм.

Напротив: сознанию российского сверхнарода христианский миф с самого начала сообщил предчувствие именно всемирной миссии — не миссии всемирного державного владычества, но миссии некоторой высшей правды, которую он должен возвестить и утвердить на земле на благо всем. Это обнаруживается в тоне киевских и московских летописей и в наивной, но бесспорной идеологии былин, осмыслявших своих богатырей как носителей и борцов за высшую духовную правду, светящую для всякого, кто готов ей себя открыть. Далее, самосознание это творит идеальные образы Святой Руси: не великой, не могучей, не прекрасной, а именно святой;<sup>[26]</sup> наконец, в идее Третьего Рима чувство это кристаллизуется уже совершенно явственно.

А что до замедленности развития, то кто обязывает нас рассматривать её только под каузальным углом зрения, а не под телеологическим? Разве невозможно, чтобы в масштабах всемирной метаистории было целесообразно, чтобы культура Российская выступила на мировую арену именно тогда, когда она выступила? Однако здесь мы прикасаемся к проблеме, о которой в настоящем месте говорить ещё преждевременно.

## Глава 3

### Эпоха первого уицраора

Итак, метаисторическим событием, лежавшим в основе того, что в истории называется возвышением Москвы и созданием национального государства, было рождение кароссой Дингрой от Яросвета демона великодержавной государственности и укрепление его демиургическими силами для борьбы с общим врагом.

Но в лице своего порождения и его преемников — двух, наследовавших первому, демонов великодержавия — Яросвет приобрёл как бы метаисторического соперника, которому тоже предстояло стремиться к планетарной цели, но в корне подменив её смысл.

Тройственность природы первого из рода Жругров делала сложным и трагическим его путь и путь его преемников, их метаисторическую судьбу и судьбу того, что они создавали в истории.

С течением веков, со сменой трёх поколений уицраоров, с расширением их кругозора и возрастанием мощи импульс мировой миссии начинает осознаваться ими самими в его подлинном объёме. Разумеется, той отчётливости, какой достигло это осознание у последнего из уицраоров, у первого из них не могло быть. И тем не менее уже к XVI веку идея мировой миссии, христианско-демиургическая по своей природе, но непрерывно искажаемая, становится высшей санкцией, которой первый демон российского великодержавия оправдывает самого себя и свои универсальные притязания. Это — идея Третьего Рима — амальгама православно-религиозной исключительности, уицраоровской национальной гордыни и свойственных ранним стадиям культуры исторических фантазмов с исходящим от демиурга предчувствием планетарных масштабов будущего и с высокою этической мечтой, внушаемой Трансмифом христианства.

Но эйцехоре, заключённое в уицраорах, наполняет мало-помалу этот импульс иным содержанием, ставит перед ним иную, внешне сходную, но внутренне противоположную цель. Сущность эйцехоре состоит в непреодолимом для самого обладателя мучительном стремлении — всё поглотить в своём самостном Я. В пределе — он хочет быть во вселенной один, всю её поглотив в себе. Это стремление к идеальной тирании присуще любой демонической монаде, но уицраорам присуще не только это стремление, но и ясное его осознание. Уицраор — внеэтичен. Это не

значит, что он обладает иными, нечеловеческими этическими представлениями; это значит, что он вообще лишён возможности созерцать мир под этическим углом.

Третий элемент уицраора, унаследованный им от Дингры, это — бесконтрольность и импульсивность, в той или иной степени свойственная всем стихиялям, но в Лилит и в кароссах доходящая до предела. Отсюда — сила его чувств, невероятный их накал и, несмотря на всю хитрость Жругра, недостаточность контролирующего ума.

Эфирные ткани русского эгрегора были поглощены демоном государственности. Эгрегор как некое подобие личности, обладавшее подобием сознательности и подобием воли, перестал существовать. Те излучения человеческих психик, которые превращались в его ткань, отныне сделались продуктом питания Жругра. Таким образом, его существование попало в зависимость от непрерывного притока тех эфирных сил, которыми обладает лишь масса конкретных человеческих единиц.

Как и уицраоры любой метакультуры, для грядущей, уже предвидимой борьбы с демиургом, синклитом и Соборной Душой, он вынужден принимать активнейшее участие в сооружении новой цитадели античеловечества — Друккарга и в создании условий для заселения его расами раруггов и игв. С этих пор интересы Жругра и российского античеловечества начинают совпадать почти полностью, ибо и он, и население Друккарга заинтересованы в шавва — питательной росе, поступающей из Энрофа России, и в победах над синклитом и демиургом, и в содержании Навны в плену, в крепости Друккарга, и в грядущем выходе игв в Энроф, и в захвате ими всех трёх- и четырёхмерных слоёв Шаданакара. Обе стороны заинтересованы, разумеется, в ослаблении, а потом завоевании всех других шрастров, других уицраоров, всех других метакультур в целом.

Отсюда и сложный характер государства Московского. Являясь как бы крепостной стеной вокруг российской светлой диады и Дингры, обороняя их от натиска внешних эгрегоров и уицраоров, то есть защищая народ от иноземных порабощений, Жругр и его проекция в Энрофе — держава — выполняют задачу, возложенную на них демиургом. Жругр остаётся в границах этой задачи и тогда, когда стремится к расширению державы до естественных географических границ страны или захватывает пустующие пространства, будущую арену жизни и творчества для умножающегося сверхнарода. Но когда этот процесс естественного расширения перерастает в процесс сверхгосударственного распухания, пределом которого мыслятся только границы планетной сферы, — уицраор становится мучителем

народа и рабом своего сатанинского ядра. Говоря ещё прямее, становится абсолютно послушным орудием Великого Мучителя, пытавшегося уже несколько раз во всемирной истории создавать тёмноэфирный организм, который охватывал бы весь известный тогда земной Энроф ради приближения того дня, когда универсальная тирания создаст предпосылки для появления антихриста. Такими попытками, или, лучше сказать, репетициями, были и Римская империя, и империя Тимура, и папская иерократия, и та империя Филиппа II, в которой «не заходило солнце», и мировые колониальные державы современности.

Естественно, что и в тех случаях, когда уицраор в отношениях к своему собственному народу перестаёт ограничиваться той долей насилия, без которой невозможно существование никакого государства вообще, и, терзаясь неутолимой алчностью и жгучим желанием абсолютной власти, превращает своё государство в сплошную систему щупалец, всасывающих шавва в бездонное инфрафизическое чрево, — всё это оказывается лишь другою стороной его деятельности как орудия Великого Мучителя.

Вампирическая структура, унаследованная от Гагтунгра, придаёт распухающей плоти уицраора характер упыря, бесчисленными присосками впившегося в народное тело, в его эфирную и астральную ткань. Жругр существует лишь постольку, поскольку ему удаётся всасывать шавва, то есть излучения людей, связанные с государственным комплексом их психики. Но, поглощая эту шавва, он нуждается в её постоянном восстановлении и умножении. Прежде всего ему нужно, чтобы возросло число единиц, составляющих народ, а затем, чтобы психика этих единиц выделяла наибольшее количество не каких-либо других излучений, а именно излучений государственного комплекса. Интересно, что в некоторые исторические эпохи забота уицраоров об умножении народонаселения страны находит отражение даже в системах законодательства, впрочем, и в другие эпохи эти Молохи великодержавия парадоксальным образом способствуют количественному росту сверхнарода. Вторая же цель — умножение таких человеческих единиц, которые наиболее способны к излучению шавва, — достигается множеством разнообразных, меняющихся от эпохи к эпохе средств воспитания, лучше сказать, душевного калечения, от муштры в казармах до воинственных проповедей в церквах и до вдалбливания в умы детей великодержавного идеала. Но всё это — видимое каждому из нас. А невидимое заключается в том, о чём я уже говорил в книге об инфрафизике Шаданакара: во всасывании уицраором некоторых человеческих душ, точнее — астралов во время их физического сна и вбрасывании их в лоно

кароссы. Пробуждение застаёт таких людей уже с наличием в их психике некоторых перемен: несколько ночей спустя акт повторяется, потом ещё и ещё, пока жертва не превратится в пламенного сторонника и бессознательного раба великодержавной идеологии. Разумеется, объект всегда воображает при этом, что дошёл до нового *credo* путём беспристрастного и свободного размышления.

Механизму продолжения рода уицраоров, как я уже говорил, мы не нашли бы никаких, даже отдалённых аналогий в мире человеческом. Процесс этот напоминает скорее процесс почкования, причём ничто, аналогичное стороннему оплодотворению, здесь не имеет места.

Как только порождение уицраора отделяется от родительского существа, оно становится для уицраора не столько детищем, сколько быстро возрастающим соперником и потенциальным отцеубийцей. Поэтому всякий уицраор стремится к пожиранию своих порождений. Извечное стремление всякой державной государственности к уничтожению ядер государственности новой, возникающей в стихийности всех тех движений, которые стремятся к смене существующего народоустройства другим, — в сущности не что иное, как отражение в историческом зеркале этих гнусных сцен, разыгрывающихся на изнанке мира.

Я был бы понят совершенно превратно, если бы кто-нибудь заключил из моих слов, будто дремлющая в человеческом существе тенденция тираническая определяется исключительно бытием уицраоров, а тенденция разрушительная — бытием Велги. Само собой разумеется, эти тенденции существовали бы и проявлялись бы и без них. Но инфрафизические хищники усиливают эти тенденции, пользуются реальными плодами активизации этих тенденций, притягивают и сосредоточивают их вокруг себя и в себе.

Иерархия, которой Великий Мучитель уже пользовался в первый период его борьбы со светлыми силами России, Велга, продолжает существовать в Гашшарве, временами взмывая оттуда и приходя в столкновение с уицраором. Он стремится к разбуханию тёмноэфирного организма государства, она — к разрушению этого организма и всасыванию его тканей в себя. Он — тиранический строитель, она — хищная разрушительница. Насытившись или будучи побеждённой, она впадает в полусон в своём двухмерном мире, и её пульс поддерживается тем, что можно назвать эфирными испарениями человеческой крови, вдыхаемыми ею сквозь сон из пытошных башен, из застенков, с эшафотов, с полей битв. Так длится до тех пор, пока — в плане метаистории — действия уицраора не приведут, против его собственной воли, к её

пробуждению, а в плане историческом — пока тирания великодержавия не вызовет обратной реакции: разнуздания низших инстинктов масс и срывания всех запретов со стихии разрушения.

Окончательной ликвидацией татарского ига при Иоанне III и завоеванием Казани и Астрахани при Иоанне IV завершается тот период жизни Первого Жругра, когда он создавал материально-человеческий сосуд, дающий в Энрофе грани и формы текучевающей Соборной Душе народа. В этот период, как сказано, ему покровительствовали силы всех иерархий, и эйцехоре ещё не определило собой направление его труда, терпеливо дожидаясь своего времени.

Если бы это существо было свободно от эйцехоре, исторически это сказало бы в том, что российская государственность не переросла бы самоё себя, держава не превратилась бы в хищника, терзающего свой собственный и окружающие народы; монархия не выродилась бы в тиранию.

Уточню, какого рода деятели подразумеваются в этой книге под словом «родомыслы». Родомysl есть тот, чья деятельность оказывает решающее и благотворное влияние на народную судьбу и судьбу государства и кто направляется в этой деятельности волей демиурга сверхнарода. Входя после смерти в синклит метакультуры вместе с праведниками, гениями, героями и всем множеством просветлённых душ, родомysl оказывает громадное, от века к веку лишь возрастающее влияние на те стороны бытия, с которыми связана была его историческая деятельность во времена физического существования.

Родомыслами русского средневековья были Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Мономах, Александр Невский, Минин, Пожарский, Гермоген. В течение некоторого периода своей жизни был родомыслом Дмитрий Донской. Отчасти им был Иоанн III, хотя инспирация уицраора начинала уже в нём заглушать инспирацию Яросвета, и сделанное этим государем оказалось сильно искажённым сравнительно с тем, что он должен был совершить как родомysl, как посланник и друг демиурга.

Родомыслом был призван стать и Иоанн IV.

Страшная трансфизическая судьба Грозного коренится в том, что некоторые свойства натуры сделали его легко доступным бессознательным духовным подменам, а неограниченная власть разнуздавала его эмоции, развратила волю, расшатала ум, нанесла непоправимый ущерб его эфирному телу и превратила излуцины его индивидуального пути, вернее падения, в цепь несчастий для сверхнарода и в катастрофу для государства.

Проследить и выявить внутреннюю сторону этого процесса,

метаисторическую и психологическую, — задача особой монографии. Но всякий, даже и не специалист, заинтересовавшись этой темой, может легко проследить, как совмещались в Иоанне, то сливаясь, то вступая в борьбу, влияния демиурга сверхнарода и воинствующего демона великодержавия; как в 1564 году, во время его странного бегства из Москвы сначала к Троице, потом в Александровскую слободу, уицраор всецело подчинил его личность своим заданиям, и жуткая метаморфоза, происшедшая в государственном творчестве, душевном состоянии и даже во внешнем облике царя, потрясла его окружение. Учреждалась опричнина — то ядро абсолютной тирании, которое, по мысли его создателя, должно было организовать в себе и вокруг себя молодой дворянский класс, послушное орудие новой государственности. Вряд ли можно сомневаться в том, что опричнина мыслилась лишь первым этапом на пути превращения в зону абсолютной тирании всей страны, хотя бы ценой истребления целых классов и того стремительного и ужасающего снижения общего творческого и морального уровня, которое сопутствует всякому тираническому народоустройству.

Так отражалось в нашем трёхмерном мире усиление того сооружения в мире демоническом, которое является перевернутым подобием Небесного Кремля и его трансфизическим полюсом; и которое сперва закачалось в зеркале истории бесовскою карикатурою на монастырь — Александровской слободою, а потом начало искажать Московский Кремль, осквернив его застенками, тюрьмами, плахами и богомерзкими оргиями. Это сооружалась и крепла в Друккарге чёрная цитадель, это создавали чертёж Грядущего великие игвы, это бесновались раругги, томимые жаждою крови и подстёгиваемые безнаказанностью; это разнуздывались силы той исподней страны, которая была призвана стать несколько веков спустя средоточием планетарных сил, стремящихся вырвать из-под влияния Мировой Сальватэрры весь круг человечества.

Но фатум тирании непреоборим: на известной ступени развития тирания вступает в противоречие уже с интересами государства как суммы личностей. Это значит, что сквозь инспирацию уицраора пробивается другая: воля Велги. И если нетрудно было понять, что в деяниях Иоанна IV, направленных на внешнее укрепление и внутреннее упорядочение государственного устройства, проявлялись перекрещивающиеся инспирации демиурга и демона государственности, а в другой цепи деяний, направленных на превращение державы в единовластную тиранию, инспирация только одного уицраора, — то несколько сложнее другая задача: вдуматься в метаисторический смысл той стороны деятельности



царя, которая не укрепляла, а подтачивала это государство. Если же мы вдумаемся, то разглядим, кто утолял инфрафизический голод невиданными ранее потоками гавваха — излучением человеческого страдания на кровавых вакханалиях в Новгороде и Твери, пытками и бесчисленными казнями в Москве; физическим подобием каких бесовских полчищ были отряды чёрных всадников с собачьими головами у седла; и кто подчинил себе ослепшую от ярости душу царя, когда он поразил железным жезлом своего сына, наследника престола, надежду династии.<sup>[27]</sup>

Тонкую, интимную, глубоко человеческую теплоту вносит в жгучий, какой-то раскалённый — если можно так выразиться — образ этого царя одно обстоятельство: веяние Идеальной Народной Души, очевидно им переживавшееся в его любви к первой жене — рано, к сожалению, умершей Анастасии. Эту царицу он любил, по замечанию Ключевского, «какой-то особенной чувствительной, не-домостроевской любовью».

Естественно, что и посмертье такого деятеля было столь же катастрофично, как и его жизнь. Нетленная часть его существа была рассечена начетверо. И если шельту, в отношении которого даймон не выполнил своей задачи, он должен был теперь помогать в его необозримо долгом пути искупления, а часть существа, захваченная уицраором, увлеклась в поток тёмноэфирной крови, мчащейся по тканям демона великодержавия, то четвёртая часть, добыча Велги, не могла испытать ничего иного, как распадаения на десятки крошечных, похожих на хлопья, бездомных скорлуп, мечущихся в непредставимых для нас пустынях, на изнанке Российской метакультуры.

Таким образом, Иоанн IV являет собой ярчайший пример не столь уж редкого в истории типа родомысла-тирана, то есть личности, призванной к обширной культурно-государственной деятельности демиургом сверхнарода, блистательно вступившей на это поприще и сорвавшейся в пучину инфрафизических слоёв с той крутизны, на которую вознес её демон государственности.

Деятельность Грозного подготовила эпоху Великого Смутного Времени — единственную в своём роде. Её хроники озарены фантастическими отсветами массовых видений, сверхъестественных вмешательств, демонических вторжений. Если метаисторическое созерцание подготовило нас к пониманию таких свидетельств, как выражения массового душевного опыта сверхнарода, мы станем вчитываться в эти исторические события как в шифр, которым написана мрачная поэма всеобщего столкновения иерархий в начале XVII столетия.

**КНИГА VIII. К МЕТАИСТОРИИ  
ЦАРСТВА МОСКОВСКОГО**

## Глава 1

### Смена уицраоров

Демиург сверхнарода снимает своё благословение с демона государственности, когда деятельность последнего начинает диктоваться только его чёрным ядром. В этот же момент в историческом слое лишается демиургической инвольтации и человекоорудие уицраора.

Это — формула. Но формула, в которой все понятия антропоморфизированы, дабы сделать их соизмеримыми с нашими способностями разумения. Так придётся делать и впредь. Я не знаю других способов сделать мою тему удобоизлагаемой.

Итак, утрата царём способности к восприятию (или права на восприятие) демиургической инвольтации, превращение его целиком в орудие инфрафизической тирании — вот смысл Александровской слободы, то есть того периода в царствовании Грозного, за которым это прозвание закреплено.

Своеобразие подобных метаисторических и исторических положений заключается в том, что подчинение чёрному ядру всегда и неизбежно приводит уицраора и его человекоорудие к одновременному столкновению с обоими, взаимно противоположными началами: со светлую диадой сверхнарода и с Дингрою — с одной стороны, с Велгою — с другой. Ибо внутренние силы антикосмоса раздираемы борьбой и противоречиями: его устойчивое равновесие — лишь цель, которую ставит перед собой Гагтунгр, цель, которая могла бы быть осуществлена лишь универсальной тиранией.

Но тирания имеет свою неукоснительную логику. Дробясь в исторической действительности на множество проводников, на тысячи человеческих личностей, с их сложной душевной структурой, тираническая тенденция теряет свою монолитность. Проводники сами вырываются из-под контроля центра, сами начинают терзать тело государства. Было бы наивно думать, будто бы деятельность Грозного приняла формы, опасные для самого государства, лишь в силу случайностей. Такие формы принимает любая тирания; больше того: именно они являются её признаками. Мы можем проследить этот процесс как во властвовании Калигулы, Нерона или Домициана, так и в эпоху Людовика XI во Франции, при Чингиз-хане на Востоке, при Аураунгзебе в Индии, при Гитлере в Германии и т. д.

Вместо укрепления государственного начала, опричнина внесла в общенародную жизнь только смуту, ужас и смятение. И если в произволе, в садистической жестокости, в анархической разнузданности антисоциальных страстей правящего меньшинства вообще проявляется воздействие Велги, то где же искать нам более яркого проявления этих сил, как не именно в опричнине?

Уже никакими деяниями, даже отменой опричнины, поправить это дело Грозный не мог: это был уже не человек, но заживо распадающееся душевное существо, не способное к движению по прямой ни в каком направлении. И когда, наконец, он в бессмысленном бешенстве умертвил наследника престола, от него и от его деградирующего рода отступился и демон государственности. Неудивительно, что последние годы царствования Грозного являют собой сплошную цепь неудач.

Стало ли ясно демоническому сознанию Жругра, столь от нас далёкому, что исторический вариант его собственной тиранической тенденции грозит ему возможностью утратить даже то, что он уже приобрёл? Но уицраор может временно отступить; изменить же свою основную тенденцию он не в состоянии, как не в состоянии извергнуть из себя своё эйцехоре. Вырвался из рук Иоанн IV — начинает подготавливаться Иоанн V, тот самый царевич Иван, чьего восшествия на престол с таким унынием и страхом ждали современники. Царевич погибает от руки собственного отца, попытавшись спасти от его вожделения свою молодую беременную жену; ударом колена по животу собственной невестки разъярённый старик довершает убийством своего внука убийство своего сына. Тогда демоническая инвольтация династии Рюриковичей прекращается окончательно, навсегда. Пусть богомольный Фёдор Иоаннович процарствует, как знает: ему всё равно долго не жить, да и править будет не он. Нужен новый, молодой, крепкий, здоровый род — род восходящий. Ни одна отрасль разветвившегося древа Рюрика не годится: «вотчинный» тип мышления, удельные предрассудки, олигархические тенденции, дух соперничества, зоологическая приверженность к тому, что было до сих пор, — всё это неотъемлемо присуще всем старобоярским фамилиям. Что нужно? Нужен волевой характер истинного государственного мужа. Нужен смелый и в то же время осторожный ум. Нужна свобода от феодально-боярских черт мышления. Нужно непомерное, но умеющее до времени скрываться властолюбие. Нужна, наконец, способность к охвату и пониманию проблем европейского масштаба. Иначе говоря, нужен Борис Годунов.

Препятствия устраняются, дорога расчищается, в умах парализуется

определявший до сих пор всё принцип знатности происхождения — и, впервые за всю историю России, безродный выскочка возводится на престол.

Нет: слишком поздно.

Мучительно — и за Годунова, и за всю страну — наблюдать, оглянувшись из далёкой эпохи, как демон великодержавия пытался заглядить результаты собственных деяний; как он стремился вернуть себе помощь демиурга, выдвигая царя Бориса в качестве личности, приемлемой для обеих сторон; как внушались Борису такие мероприятия, такие государственные замыслы, которые могли бы составить славу любому правителю. Наследник престола Фёдор воспитывался с небывалой заботливостью и дальновидностью; из него явно стремились сделать не только мудрого правителя, но и высоконравственного человека, достойного стать родомыслом, если бы перемирие с демиургом состоялось. И в то же время тираническая тенденция поминутно прорывалась сквозь эти начинания, то в виде новых волн опал и казней, вызывающих в памяти дни Грозного, то в узаконениях, которые заставляют отнести окончательное установление крепостного права именно к эпохе Бориса.

Когда в трагедии Пушкина царь Борис горестно вглядывается в цепь своих благих государственных начинаний и в их фатальную неудачу, он — по мысли поэта — склонен усматривать причину этого в том моральном законе, который сделал его, убийцу царевича, недостойным венца. Эта абберрация, характерная для тех, кто пытался перенести нормы человеческой морали и наивно нетерпеливое требование возмездия непременно здесь, в этой жизни — на явления большого масштаба, коренящиеся в метаистории. Разве мы не знаем множества случаев, когда неизмеримо большие преступления оставались безнаказанными для носителей власти, точнее — не наказанными здесь, на обозримом для всех этапе их необозримо длительного духовного пути? Разве Тимур, Генрих VIII, Людовик XIV, Сталин — все эти властители, умершие естественной смертью, в преклонном возрасте, на вершине могущества, были в состоянии хотя бы просто понять, почему и чем терзает себя пушкинский Борис? — Дело, конечно, в другом. А именно в том, что уже никакой деятель, выдвинутый уицраором, не получит санкции высших иерархий; в том, что уицраор оставлен один на один с последствиями своей тиранической попытки при Иоанне.

Подобно тому, как Ньютон, при всей своей гениальности, не мог в XVII веке «подняться» до идей теории относительности, не смог и Пушкин превысить уровня исторического опыта и метаисторического сознания,

свойственных XIX столетию. Гениальность его сказалась в том уже, что он интуитивно ощутил этическую природу конфликта между замыслом Бориса и довлевшей над ним неблагословенностью. Не приходится удивляться тому, что великий поэт, творивший сто тридцать лет назад, объяснял этот конфликт элементарным нарушением царём нравственного закона.

Всякий знает, к чему привело то, что Годуновы были предоставлены собственным силам. И, вероятно, никто, знакомясь с историей Смутного времени, не может остаться безучастным к гибели молодого царя Фёдора Борисовича. Обладавший такой душевной чистотой и благородством, так заботливо воспитанный в ожидании предстоящих задач царствования, такой мужественный и добрый, он гибнет «за грехи отца» шестнадцатилетним мальчиком, едва взойдя по тронным ступеням, и гибнет, к тому же, такой ужасной смертью, что молодой богатырь лишился сознания от боли, этим дав, наконец, возможность своим убийцам довести их дело до конца. Только гибнет он «за грехи» не одного Бориса, но и за грехи четырёх Иоаннов, трёх Василиев, Дмитрия, Симеона и т. д. — всех, сплетавших ту карму престола, которую теперь этот мальчик понёс. Он гибнет оттого, что в эту эпоху демиург отвергал всё, даже благое, если оно исходило от уицраора или использовалось этим последним для себя. Но ясно и другое: прекрасная человеческая природа и лёгкая личная карма Фёдора II ограждали его от посмертной кармической связи с уицраором и его судьбой; связь эта исчерпалась его мученической кончиной. Всё благое, проявленное человеком, будь оно даже в своей непосредственности отвергнуто демиургом, не может не дать плодов в духовном посмертии личности. Через положенный ему предел страдания Фёдор прошёл в свой смертный час. Дальше ему предстояло собирать прекрасные плоды посеянного при жизни, и вместо ноши царствования в Москве, к достойному несению которой он был совершенно готов, принять бремя и радость соответствующего пути в Святой России.

Опережая ход событий, обращаю внимание на судьбу другого деятеля той эпохи, внешне не схожую с судьбой Фёдора II почти ни в одной черте, но близкую ей по метаисторическому смыслу: судьбу Михаила Скопина-Шуйского. Это Первый Жругр пытался в последний раз вдвинуть в историю своего проводника, избрав для того счастливого полководца, доблестного государственного мужа, высоконравственного человека, народного героя. Но короткая цепь блестящих побед Скопина оборвалась катастрофически в тот момент, когда умиротворение государства казалось уже вопросом самого близкого будущего: на пиру у другого Шуйского,

бесталанного честолюбца, мнившего занять престол после бездетного Василия IV, Скопину был поднесён красавицей-хозяйкой кубок с отравленным вином.

Смерть Скопина вызвала взрыв народного горя, небывалый со времён смерти Невского. Столица, города, сёла, монастыри огласились рыданиями. Порыв скорби объединил все слои Москвы от патриарха и бояр до городской черни. Царь Василий упал подле своего тронного кресла, раздирая в отчаянии волосы и одежду. Даже командир шведских наемников, лютеранин, преклонил колени перед гробом героя, и грубое лицо его было мокро от слёз. — Казалось бы: в чём, как не в этом всеобщем горе, искать доказательство того, что Скопин был ведом демиургом сверхнарода, что ему предстояло стать родомыслом, спасителем страны и её государственности в столь суровый час? — Но, повторяю, не всегда и не все светлые движения народного духа бывают вызваны этой иерархией. Если бы зрение демиурга не было зорче, чем зрение народной массы и её вождей, если бы его мудрость уже далеко не превзошла человеческую, он не был бы демиургом сверхнарода. Нечто, невидимое народу, но известное ему, принуждало его удерживать руку от благословения Скопина, от укрепления судьбы этого героя щитом своей санкции. Последним криком уицраора о помощи — вот чем было выдвижение Скопина: этим он отрекался ещё раз перед Яросветом от своих тиранических притязаний, от своего прошлого, по крайней мере, теперь, на время. Повторялось по существу то же, что произошло с Фёдором II.

В зрелищах, подобных картине всенародного горя в час смерти Скопина, для метаисторического созерцания заключён источник благоговейного чувства, схожего, как ни странно, с просветляющей радостью. Беспросветность чужда метаисторическому мировоззрению. Метаисторику не приходится сомневаться в том, что великая народная любовь и деяния, её вызвавшие, не подлежат закону уничтожения, если деяния были светлы и любовь оправдана. Герою, прошедшему через смертный час, тем самым открываются новые и новые пути творческого воздействия на исторический слой, сверху вниз. Деяния Скопина не были при его жизни приняты Яросветом. Но высокий замысел этих деяний не мог не вызвать своих плодов, и ко вступлению его души в Синклит метакультуры препятствий больше не было. И какими границами можно очертить, на каких весах взвесить, какими понятиями определить значение духовно-творческого вклада в дело спасения России, в её метаисторическое строительство, который был совершён Скопиным — да может быть, совершается и теперь, — равно как и героями предшествовавших эпох, в их

запредельном бытии?

Но, подготовленная внутренней метаисторией России, Великая Смута осложнилась, как известно, тем, что на западе, у самых границ и даже частично на русской земле, сформировалось государство Польско-Литовское: такое же молодое, как сама Россия, и также вступившее на путь воинственного расширения.

В связи с излагаемой концепцией это государство понуждает заговорить о нём лишь один раз, именно теперь. Разумеется, какие-либо соображения по поводу столь обширной и сложной темы, как метаистория Польши, были бы здесь неуместны; да я и не имею на них никакого права. Совершенно необходимо лишь одно: указать на существование под государственностью этой страны в ту эпоху некоего инфрафизического существа, которое я решаюсь назвать, не вдаваясь в детализацию, уицраором Польши. Сложные отношения, связывавшие это молодое и слабое, но уже обуреваемое претензиями существо с воинствующим демоном папства, способствовали кристаллизации в польских правящих кругах определённого умонастроения. Оно сводилось к весьма эмоциональной идее создания сильной державы на восточной окраине католической цивилизации за счёт и против России. Как идеал, рисовалась возможность искоренения в России православной культуры, подпадение этой страны под власть польской государственности и включение русских как малой и отсталой нации в число сателлитов Романо-католического сверхнарода.

В поисках человеческой личности, способной стать его временным орудием, уицраор Польши обнаружил в Энрофе существо, ещё совершенно неизвестное, но глубоко убеждённое в своих правах на российский престол и готовое ради достижения этой цели на союз хотя бы с самим чёртом.

Способствовать уяснению вопроса о происхождении и настоящем имени этого человека метаисторическое созерцание, само собой разумеется, не может. Оно может в данном случае привести лишь к одному: к обнаружению в существе незнакомца некоего компонента, который обладал незыблемой уверенностью в своей органической связи с ранее царствовавшей в России династией, в своих правах на занятый узурпатором трон и в долге мщения этому узурпатору.

Железная непоколебимость, чтобы не сказать маниакальность этой идеи, находится в поразяющем противоречии с человеческим характером Лжедмитрия — непостоянным, беззаботным и ветреным. Этот человек мог впадать в малодушное отчаяние и приходить в безосновательный восторг, мог строить легкомысленнейшие планы и беззаветно отдаваться, забывая



всё, чувственным влечениям. Он был способен поставить под угрозу срыва свой замысел ради страсти к миловидной полячке, чтобы назавтра ей изменить с приглянувшейся ему Ксенией Годуновой. Самого себя он представлял с равной лёгкостью то в короне императора (не царя только, а именно императора), то в рубище изгнанника. Но идея — не идея даже, а иррациональное чувство своего права на престол, своей царственности, не померкло в нём никогда. Потрясающее впечатление производит последняя минута его жизни, когда он, простёртый на кремлёвских камнях, с разбитой грудной клеткой и сломанной ногой, видел над собой обнажённые мечи и разъярённые лица преследователей. Именно о праве на престол, и только об этом пролепетал, почти уже бессвязно, его костенеющий язык.

Подобная двойственность существа естественна при наличии в нём некоего инородного «я»; двойственность эта может не осознаваться её носителем (для осознания её требуются некоторые, не часто встречающиеся особенности), но уже само пассивное наличие этого инородного компонента ведёт к катастрофической декоординации между жизненной целью человека и его характером, между его данными и его поведением. С незнакомцем, известным под именем Лжедмитрия I, случилось именно это. В его личность с ранних лет, может быть почти с рождением, вкралась и там угнездилась одна из множества бесприютно мечущихся скорлуп, ищущих пристанища в живых существах, — тех скорлуп, тех ключев, на которые распалась часть существа Грозного, ставшая добычей Велги. Чтобы не повторять каждый раз, как я заговорю о них, многословных описаний, я буду впредь применять к этим обрывкам личности термин «микро-эго».

Уверенность в своей идентичности убитому царевичу была, очевидно, лишь индивидуальной абберрацией сознания этого человека, естественной для элементарного склада его натуры, чуждой всякому мистицизму и склонности к самоанализу. Иррациональное чувство своей царственности требовало рассудочного обоснования, оправдания. И невозможно было бы найти обоснование, более правдоподобное, чем то, которое было сначала подсказано рассудком, а потом слилось с основной идеей.

Таким образом, из ряда вон выходящая судьба Лжедмитрия определилась (поскольку она вообще определялась причинами внутренними) двумя факторами: обрывком существа погибшего родомысла-тирана — и собственным складом характера незнакомца. Эта несгармонированность и породила действия, не только не приведённые в соответствие с основной целью, но и фатальным образом ей

противоречившие.

В длинном ряду странных — странных именно своей элементарностью — ошибок незнакомца две особенно бросаются в глаза. Одна заключалась, конечно, в тех отношениях, которыми он связал себя с Мариной, женщиной весьма хитрой, но начисто лишённой государственного смысла. Известно, что именно Марина оказалась одним из главных возбудителей конфликта между Лжедмитрием и московским обществом; именно с ней и за ней шляхта притащила в Москву навыки безалаберного государственного быта Польши, всю его анархию, произвол, всё его воинствующее чванство. Другая же ошибка Лжедмитрия состояла в полном непонимании им своего положения в Москве и в целой цепочке его промахов во время царствования. Эти промахи (начиная с помилования Шуйского после раскрытия первого заговора и кончая демонстративным пренебрежением всеми традициями и навыками московского уклада) подливали масло в огонь конфликта до тех пор, пока не привели к катастрофе. Они показывают лишней раз, как чужеродна была для этой беспечной и, в сущности, добродушной натуры завладевшая ею жизненная идея.

Метаисторической инстанцией, наиболее активно проявлявшейся тогда в силах московского общества, оставался, кроме Велги, ослабевший демон великодержавной государственности. Он был ещё жив, и ничего, кроме смертельной схватки между двумя уицраорами, не могло произойти в итоге воцарения Лжедмитрия. Для того чтобы, напрягая силы, погубить врага в своём географическом средоточии, в Кремле, куда силы уицраора Польши едва могли дотянуться, Жрутр был ещё достаточно активен. Главное же — сама Велга больше не нуждалась в своём орудии: расшатав центральную власть в государстве, вмешав в жизнь страны чужеземные силы, потрясая своим самозванством все привычные нормы и авторитеты в целом поколении русских, незнакомец отыграл свою роль.

Рассуждения о том, что некоторыми свойствами своего ума Лжедмитрий стоял выше московского общества того времени и о том, что если бы не стечение обстоятельств, определивших удачу государственного переворота в мае 1606 года, царь мог бы достойно продолжать наиболее прогрессивные начинания своих предшественников — с метаисторической точки зрения лишены смысла. Каковы ни были бы его субъективные намерения, Лжедмитрий оставался пришлецом, лишённым органических связей с русской культурой и государственностью. Он не поддерживался на своём шатком троне ни иерархиями сверхнарода, ни демоном великодержавия, ни даже той инфрафизической хищницей, чьи силы

помогали ему ранее в борьбе за власть. Неполный год — самый естественный срок для царствования подобного фантома.

Когда перед метаисториком предстаёт такой ряд вопросов, как свидетельства современников о различных тёмных чудесах над растерзанным и поруганным телом самозванца, его не интересует, имели ли место в действительности подобные факты так, как они описываются. Как искажённо ни преломлялись бы факты в стиле наивной фантастики магически-религиозным сознанием эпохи, сами по себе — и даже именно так, как они описываются современниками — они говорят о некотором метаисторическом опыте, пережитом в ту эпоху не единицами, а огромными человеческими множествами и засвидетельствованном разнообразными авторами. Сквозь эти образы проступает жгучее ощущение близости буйствующих потусторонних сил, игралищем которых был незнакомец. Какие сонмища ликовали над его трупом на Красной площади в эту апокалиптическую ночь — какие и почему?

Уицраор не принял в свою материальную ткань ни единой частицы погибшего: не властный над бессмертной частью его существа, стремительно падавшей на Дно Шаданакара, он остальное рассёк на множество частей и разметал их по слоям от Скривнуса до Друккарга. Новое минутное человекоорудие демона точно воспроизвело в Энрофе этот акт над тем, над чем имело власть: над физическими останками незнакомца. И пушка, заряженная пеплом Лжедмитрия, выстрелила в сторону польского рубежа. Но этот акт ненависти и мести оказался самоубийственным.

Конечно, не только на уровне XVII, но и на уровне XX века нелегко бывает принять некоторые вещи. Абсурдом, бредом могут показаться мысли о том, что, например, одно из микро-эго Грозного, вселившись в существо незнакомца, отравило весь его душевный состав и, в то же время, подобно некоторым микроорганизмам в питательной среде, вступило в процесс распухания; о том, что посмертье незнакомца явило собой устрашающий пример распыления этого существа не только в физическом, но и в инфрафизическом пространстве; и о том, наконец, что каждая из этих частиц начала новый цикл существования, присасываясь паразитически к душам живых и порождая такие исторические явления, каких не знают другие эпохи. В продолжение десяти лет они дробятся и множатся в своеобразной прогрессии, стремительно мельчая в смысле масштаба личности и размаха действия. Наконец, дело доходит уже до совершенно призрачных образований, о которых истории известны только их клички. Дальнейший процесс дробления скрывается из наших глаз за

гранью обозримых слоёв инфрафизики.

Разумеется, загробная судьба шельта Лжедмитрия, который проявил себя при жизни не только азартной игрой интересами народа и государства, но и рядом великодушных деяний и всем тонусом личности, вполне доступной, по-видимому, движению восходящему, — посмертье этого шельта не могло быть идентично посмертью присосавшегося к нему микро-эго. Но, каковы бы ни были некоторые личные качества этого человека, его историческая роль — расшатывание общественных и нравственных устоев России — объективно была осуществлением его тёмной миссии. Ближайшие же этапы посмертия у всех носителей тёмных миссий — одни и те же: падение на Дно. Лишь веками пребывания там искупаются тёмные миссии, после чего — если Гагтунгр не затянет злосчастный шельт опять в Гашшарву — для шельта начинается новый этап: искупление в шрастре того кармического груза, который был создан личностью во время её пребывания на земле в качестве главы и укрепителя государства. Вот почему самозванец пребывает теперь в Друккарге, трудясь рабом-камненосцем в ряду других узников-владык.

А тем временем вокруг каждой частицы дробящегося микро-эго Грозного возникают тёмноэфирные завихрения, взмывают волнами движения казачества, служилого дворянства, разоряемого крестьянства, деклассированного сброда, голытьбы. Наступает период, когда если и можно говорить о чьей-либо власти над страной, так только о власти Велги.

Её пробуждение и выход из Гашшарвы в шрастр метакультуры, воронкообразные завитки её свищущих покрывал, лиловых и чёрных, помавающих над сверхнародом, происходят всякий раз, как слабеет мощь государственного демона. Тем больше оснований для её обнаружения в тех случаях, когда тираническая тенденция уицраоров и их насилия над миллионами человеческих судеб вызывают обесценение жизней и обнажение человеческого тла. Не «боги жаждут», но жаждет великая трансфизическая хищница — можно было бы сказать о таких эпохах.

Она поднялась из своих глубин, предшествуемая и сопровождаемая теми самыми бесовскими полчищами, которые потусторонний опыт народа запечатлел в бесчисленных фантастических рассказах того времени.

Иногда может показаться, что её неистовства напоминают древние оргии кароссы: то же буйство разнуздавшейся стихии, те же всплески удали и омуты похоти; и порою действительно не сразу различишь исторические проекции обоих начал. Но это — лишь кажущееся сходство, лишь результат переплетения этих начал в смертельной схватке, ибо великая Разрушительница угрожает именно Ваятельнице плоти народа

прежде всего. Импульс разрушения и осквернения, разгул центробежных антигосударственных сил, перекатывающиеся волны гражданских войн, борьба всех против всех, втягивание чужеземных разрушительных сил в общую воронку всенародного хаоса, столкновение мельчайших дифференцированных частиц — такова историческая проекция запредельных деяний Велги, втягивающей по частям живую материальную субстанцию народа, его арунгвильту-прану, в расщелины инфрафизики.

Этот хаос забушевал на поверхности истории ещё при Василии Шуйском. Его царствование — это предсмертные конвульсии первого уицраора; это судорожные, уже почти слепые взмахи его щупалец, метание его головы на непредставимо длинной шее, содрогание его тела, заживо раздираемого врагами.

Печатью бесславия, неполноценности, непоправимого духовного ущерба отмечено это царствование с начала и до конца: провозгласила Шуйского царём, как известно, стихийно собравшаяся на площади толпа, а четыре года спустя этого царя, хватавшегося за дверные косяки, выволакивали из дворца и постригали в монахи, держа его за руки и подавая вслух, вместо него, те реплики, какие требовались по чину пострижения. Отражая безмерное унижение уицраора, зеркало исторического плана показывает нам ошеломляющий заключительный эпизод: дряхлого Шуйского в польском плену, целующего в Кракове, на глазах всего двора и шляхты, руку Сигизмунда. Подобного унижения русская государственность не испытывала со времён поездок князей к золотоордынскому хану.

Что же означает ничтожная личность Василия IV? Что означает именно её ничтожество? Очевидно, инволютирующие силы демона великодержавия стремительно истощались; впрочем, другого процесса трудно было и ожидать после разрыва с демиургом. Положение, видимо, было таково, что приходилось, если можно так выразиться, хвататься за любого политического деятеля, который обладал бы хоть двумя свойствами: органической связанностью со старым государственным началом — и жаждою власти.

Это было горестное царствование, когда Жругр мог видеть, как отпочковываются от него его детища, и каждое из них могло и хотело пожрать его самого и занять его место. Они воплощались в те ядра новой государственности, которые кажутся историкам возникающими в хаотической стихийности революционных движений. Для борьбы уже не хватало сил, приходилось звать на помощь то поляков, то шведов, показывая иностранцам путь в самое сердце страны. В руках Москвы

оставался лишь небольшой клочок этого недавно столь обширного государства. После смерти Скопина и низложения царя Василия часы жизни Первого Жругра были сочтены. Он умер в тот метаисторический момент, которому в историческом слое соответствовало междуцарствие.

Порождения Жругра извивались кругом, борясь друг с другом и спеша уплотнить свои тёмноэфирные ткани, — разнохарактерные скопления, в большинстве имевшие облик ратей, ополчений, дружин, иногда даже разбойничьих шаек. Вероятно, то, что я намереваюсь сказать, покажется не вполне понятным, но обойти этот факт невозможно: будущий уицраор должен был поглотить сердце своего предшественника и отца, средоточие круга его чувств и его воли, беспринято носившееся в состоянии невыразимого томления по пространствам Крагра — того слоя, где происходят битвы уицраоров — после того, как его демонический шельт опустился в глубоких Уппум, мир, называемый Дождём Вечной Тоски. Схваткам и взаимоистреблению жругритов и неистовствам Велги не представлялось конца. Дингра изнемогала в борьбе с инфрафизическими хищниками. Сосуд народоустройства был разбит. Навна сияющим туманом поднималась вверх, а снизу вздымались, преграждая ей спуск в народ, волны инфрафизической стихии. Ставился вопрос о метаисторическом и материальном бытии сверхнарода.

А между тем уицраор Польши предпринимал новый натиск.

К великому счастью для России, этот уицраор, чей характер столь исчерпывающе отразился в бестолковой государственности шляхетской Польши, был, если позволительно так выразиться, сам себе враг: не желая ничего поставить выше своего минутного произвола, он не сумел обеспечить своему человекоорудию возможности практически осуществить уицраориальную инвольтацию; он не сумел даже выбрать своим орудием человека, чьи индивидуальные особенности отвечали бы поставленным задачам. Если бы во главе движения оказалась личность более волевая и дальнзоркая, с более ясным умом, чем Сигизмунд III, события повернулись бы иначе, на московском престоле очутилась бы польская династия, и трудно угадать, какие новые исторические потрясения это повлекло бы за собой.

И всё же судьба уицраора Польши продолжала двигаться по восходящей. Поляки владели сердцем России — Кремлём, а вокруг всё ещё клочкотала страна, казавшаяся обезглавленной, и всё-таки живая.

Что уяснил страшный опыт этой апокалиптической эпохи самому Яросвету? Даже не дерзко — лишь наивно было бы пытаться осмыслить этот опыт нам, с нашим трёхмерным сознанием. Но тот эквивалент,

который в это сознание проецируется, неизбежно упрощаясь, приобретает вид приблизительно вот какого хода идей.

Для осуществления цели Яросвета на земле, для рождения от него Соборной Душою сверхнарода Звенты-Свентаны сверхнарод должен дорасти до создания достойного материального вместилища; таким вместилищем может быть лишь народоустройство, неизмеримо более совершенное, чем какое бы то ни было государство. Всякий уицраор российского сверхнарода будет нести в себе искажающее и губительное эйцехоре. Так. Но кто, кроме могучих Жругров, мог бы охранить сверхнарод от порабощения уицраорами других держав, его окружающих? Кто мог бы обеспечить кароссе Дингре воспроизведение новых и новых поколений людей в России? Кто мог бы оградить Навну от опасности пленения чужими уицраорами либо от её развоплощения, её возвращения в небесный Рангарайдр, но не в качестве выполнившего свою задачу великого соборного Я, а лишь как монады, потерпевшей непоправимое крушение в Шаданакаре и вынужденной начинать своё творческое восхождение сызнава, в непредставимых временах, пространствах и формах? Пути к грядущему всемирному братству пребывали укрытыми непроницаемой мглой. Но, чтобы отвратить от сверхнарода опасность, нависшую над ним теперь, чтобы обеспечить его дальнейшее физическое существование, оставалось одно: остановить свой выбор на одном из порождений первого уицраора, влить в него силы, благословить на бой с внешним врагом и на века существования в грядущем как великого государства, как единственно возможного пока ограждения Соборной Души.

И выбор был сделан. Потенциальным носителем наиболее здорового ядра народоустройства, самым полноценным пластом нации оказывался средний класс: ремесленники, купцы, мелкое духовенство. Там ещё сохранились старинные нравственные устои, способность к подвигу и самоотречению, воля к строительству жизни и к творчеству, душевная цельность, чистота.

Через великого родомысла Смутного времени — патриарха Гермогена — обратился демиург сверхнарода к коренным его слоям. Гермоген мученической смертью оплатил брошенный им призыв, но призыв подхватил родомысл Минин. Золото и серебро, лившееся в молодое ополчение, усиливавшее его и умножавшее, становилось физическим подобием тех высших сил, которые вливались в нового уицраора от стоявших выше его источников светлой воли и власти: Яросвета и Синклита России. Наступила пора могучего излияния в исторический слой

воли второго демона государственности и самого демиурга, изливания, охватывавшего всё более широкие слои народа, превращавшего дворянство, купечество, духовенство, казачество и крестьян в участников подвига и ведущего ополчение к Москве под водительством родомысла Пожарского для завершения кровавой всероссийской драмы: смены уицраоров.

Когда Велга, в стенах подземного Друккарга раненая новым Жругром, уползла, извиваясь, как поникшие и разорванные чёрные покрывала, в свою Гашшарву, а уицраор Польши втянулся в пределы своей страны, зализывая раны, зиявшие на месте отрубленных щупальцев, — новый Жругр поглотил сердце первого, и новая династия, венчаемая Яросветом и силами христианского мифа, приступила к труду над новым историческим народоустройством России.



## Глава 2

### Эгрегор православия и инфрафизический страх

Вряд ли хоть один добросовестный исследователь стал бы отрицать горький для нашего национального самолюбия факт: отсутствие в допетровской Руси каких-либо памятников, свидетельствующих о плодотворной работе анализирующей и широко обобщающей мысли. Ни к русским летописцам, ни к церковным поэтам и писателям XII–XVI веков, ни даже к Иоанну Грозному, проявившему в письмах к Курбскому незаурядный умственный темперамент, мы, строго говоря, не могли бы применить термин «мыслители».

В сущности, это естественно. На ранних исторических стадиях какого бы то ни было народа не бывает и не может быть иначе. Если что и может уязвить наше самолюбие, так это чрезмерно затянувшийся — больше чем на восемьсот лет, — период культурного детства.

Естественно и другое: необычайная цельность характера и, я бы сказал, недифференцированность душевной жизни, свойственная людям тех эпох. Русские характеры XI или XVI века, будь то Александр Невский или Иван Калита, Святополк Окаянный или Малюта Скуратов, Стефан Пермский или Нил Сорский, Андрей Рублёв или автор «Слова о полку Игореве» (поскольку можно судить о его личности по его произведению) — кажутся нам фигурами, высеченными из цельного камня. По-видимому, единственный тип внутреннего конфликта, хорошо знакомый этим людям, состоял в угрызениях совести, но и для него был найден катарсис руководительницей душ, церковью: покаяние и, как крайняя форма, — постриг.

Это естественно потому, что вплоть до второй половины XVI столетия исторический опыт не сталкивал русское сознание с неразрешимыми противоречиями мысли и духа, не давал повода заглянуть в пропасть этического или религиозного дуализма. Борьба с татарами была борьбой с конкретным, открытым, ясно очерченным, общенациональным врагом: такая борьба могла только способствовать выработке цельного и крепкого, как кремь, характера. Столкновение же христианского мифа с прароссианством вряд ли даже осознавалось как глубокий духовный конфликт современниками Юрия Долгорукого или Василия Тёмного. Скорее, это был род синкретизма — устойчивое, не вполне отчётливо осознанное бытовое двоеверие, которое не разделялось только

немногочисленной крайней общественной группой: монашеством.

Первой исторической фигурой, возвещавшей переход на другую ступень, был Грозный; понятно, что такая фигура, будучи вознесённой на предельную высоту государственной власти, так сказать, напоказ всему народу, не могла не произвести на современников впечатления ошеломляющего, ужасающего и даже, пожалуй, обескураживающего. Но за Грозным последовала Великая Смута со всею обнажённостью столкновения метаисторических сил — Смута, втянувшая в свой апокалипсис все пласты сверхнарода. Годы эти стали рубежом в развитии русского сознания.

В результате метаисторического опыта этих лет в широких народных слоях сложилось некое общее умонастроение, то самое, которое, в логическом своём развитии, привело к великому церковному расколу.

Жестокая травмированность народной психики бедствиями Смуты и их трансфизической подосновой могла быть изжита лишь со сменой нескольких поколений. Слишком явным и жгучим было дыхание антикосмоса, опалившее современников Грозного и Лжедмитрия. Впервые в своей истории народ пережил близость гибели, угрожавшей не от руки открытого, для всех явного внешнего врага, как татары, а от непонятных сил, таящихся в нём самом и открывающих врата врагу внешнему, — сил иррациональных, таинственных и тем более устрашающих. Россия впервые ощутила, какими безднами окружено не только физическое, но и душевное её существование. Неслыханные преступления, безнаказанно совершавшиеся главами государства, их душевные трагедии, выносимые напоказ всем, конфликты их совести, их безумный ужас перед загробным возмездием, эфемерность царского величия, непрочность всех начинаний, на которых не чувствовалось благословения свыше, массовые видения светлых и тёмных воинств, борющихся между собой за что-то самое священное, самое коренное, самое неприкосновенное в народе, может быть, за какую-то его божественную сущность — такова была атмосфера страны от детства Грозного до детства Петра. Острая настороженность, недоверчивость, подозрительность ко всему новому, непроверенному были в ту пору естественны и закономерны. Для того чтобы оказаться способным воспринять и примириться с таким культурным переворотом, как переворот Петра, народ должен был отойти от Смутного времени на целое столетие.

Да: без проявившейся слишком рано и слишком бурно тиранической тенденции первого уицраора преобразования Петра оказались бы внутренне возможными на столетие раньше. Мне лично кажется даже, что светлая миссия Иоанна IV, лишь малую часть которой он сумел

осуществить, заключалась в подготовке, в создании условий именно для широких реформ, направленных ко внутреннему сближению с другими христианскими культурами. Но дело в том, что России не только не требовалось в этот период спешить с выходом на Запад, но именно заторможенность её исторического движения в XVI–XVII веках могла иметь также и провиденциальный смысл. Если бы переворот петровской направленности был произведен ещё в XVI столетии (а при единовластии московских государей, начиная с Грозного, это могло бы произойти, окажись на престоле легитимный государь типа и масштаба Петра), то переворот этот мог бы жестоко исказить намечавшиеся метаисторические — и исторические — пути России. Народ был ещё слишком наивен духовно, слишком ослаблен душевно татарским игом, слишком не закалён в борьбе с инфрафизическими соблазнами. Европеизм, который хлынул бы внутрь российской культурной зоны, мог бы затопить очаги национально-русской духовности, задушить под наносным илом чужеземной, более высокой материальной цивилизации слабые ростки самобытной русской культуры. Нужно было дать им окрепнуть, нужно было провести страну через горнило сатанинских искушений — поскольку они неизбежны всё равно, — но заставить при этом искушающие силы ограничиться такими искушениями, с какими народ в состоянии был справиться, а не с такими, как соблазны высокоинтеллектуального и этически низкого католицизма эпохи инквизиции — с одной стороны, или как соблазны безрелигиозной эры, в которую уже готовилась вступить Западная Европа — с другой стороны. Россия предназначалась для единственной и неповторимой роли, миссия мирового масштаба подготавливалась внутри неё и над ней. И осуществление этой миссии было бы заранее обречено, если бы неокрепшая культура, духовно незакалённый народ, неподготовленная страна оказались бы втянутыми в орбиту более зрелых метакультур Запада, то есть превратились бы в одну из многих наций Католической или Северо-западной культуры.

Демииурги сверхнародов не есть высшая метаисторическая инстанция. Есть иные. Есть Гридруттва, Белый Чертог, где просветлённые, поднимаясь из затомисов в Синклит Мира, совместно творят духовный план общечеловеческого восхождения; есть Синклит Человечества, есть Элита Шаданакара, есть Мировая Сальватэрра. Бездонно глубокие замыслы этих инстанций приоткрываются хотя бы частично лишь по прошествии веков. Тогда начинает просвечивать второй, глубиннейший слой телеологии, только зыбкими, частичными отражениями которого становятся телеологические планы всех демииургов человечества — создания духов

великих, но всё-таки ограниченных, планы несовершенные или слишком узкие при всём своём великолепии, не всё предучитывающие, не обо всём помыслившие, не всё охватившие.

Итак, Великая Смута вывела народ из состояния детства. Она дала ему метаисторический опыт, который обогатил его. Но усвоение этого опыта потребовало длительного времени; вполне он не усвоен, как видно, и до сих пор. Семнадцатый же век целиком стоит под знаком этого усвоения, этого перехода от отрочества к юности. Под знаком этого усвоения — и вместе с тем под знаком некоего нового фактора, усложнявшего процесс и придававшего ему своеобразнейшие формы.

Всемирной метаистории хорошо известны случаи, когда воинствующие эгрегоры возникали и над религиозными общинами. Бурно проявляющаяся тенденция завоевательная и тем более вампирическая, если они плотно слились с самим религиозно-общинным мировоззрением, оказываются лучшими свидетельствами сильного религиозного эгрегора, активно демонизируемого Гагтунгром и превращающегося из простой неизбежной помехи Провиденциальному процессу метаистории в деятельного и сознательного врага его. Достаточно вызвать в памяти историю иудаизма или кровавую экспансию раннего ислама.

Мы уже говорили об огромном и притом счастливейшем значении для России, которое заключалось в персональном решении князя Владимира Святого относительно государственного вероисповедания. Теперь же необходимо вспомнить, что Владимиром было привлечено на Русь именно то вероисповедание, которое, по своей почти тысячелетней традиции, по обстоятельствам своего формирования в культурных центрах Византии у самого императорского трона, осталось чуждым крайней теократической тенденции. Сравнительно с эгрегорами ислама или кальвинизма, а тем более — с чудовищами, возникшими за спиной иудаизма и папства, эгрегор русского православия был косным, аморфным, неагрессивным, слабым. Церковь издавна заняла позицию духовной союзницы государства, позднее из союзницы превратилась в помощницу, потом в слугу, а при Третьем Жругре — в рабу и только раз попробовала заявить претензию на верховную общегосударственную роль. Сколь ни печально с религиозно-культурной, а тем более с конфессионально-православной точки зрения это нисхождение церкви по ступеням подчинения государству, всё же это — меньшее из двух зол, если сопоставить его с противоположной крайностью.

Тёмноэфирный эгрегор окреп над русской православной церковью на почве того психологического климата, который сложился в стране в

результате борьбы с татарами и установлением национально-воинствующего самодержавия. Эгрегор образовывался из тех излучений причастного церкви людского множества, какие вносились любой душой, не достигшей праведности и примешивавшей к излучениям благоговения, умиления и любви излучения так называемого «житейского попечения». Роковым образом способствовали росту эгрегора и особенности средневекового полумагического благочестия, заставлявшего верующих делать огромные вклады в монастыри на помин души, князей — жаловать монастырям колоссальные угодья, а самих монахов — принимать всё это как должное. Непомерное обогащение монастырей, обмирщение иночества и вообще духовенства было весьма благодатной почвой для тёмноэфирного нароста на организме церкви. У подножия её соборной метаэфирной вершины сгущался этот мгlistый клуб, этот волнующийся туман, своим слепым эквивалентом сознания отождествляя себя, очевидно, с самой церковью. Угроза его разбухания представлялась как бы возникновением невидимой преграды между душой верующего и трансфизической сущностью церкви, к которой эта душа устремлялась. Поэтому, сколь смутно ни ощущал бы верующий природу этой опасности, она должна была рисоваться ему ещё более грозной, чем вампирическая тенденция Жругров.

Церковь, конечно, не оставалась равнодушной к этому угрожающему явлению; и историческим выражением двух основных боровшихся в ней тенденций — эггегориальной и Провиденциальной — явилось в XVI веке столкновение сторонников и противников крупного монастырского землевладения, ярчайшими представителями обоих течений <были> Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, а открытой формой и ареной борьбы — Собор 1503 года и горячая литературная полемика. Показательно при этом, что вождём противников землевладения оказался именно Нил Сорский, человек с тончайшей душевной организацией, истинный поэт скитского жития, носитель настоящей святости, в полном смысле слова — сосуд духовности. Не волнение «исторического чувства», которого Нил Сорский, как и все почти православные подвижники, был лишён, а глубокая трансфизическая тревога за церковь вывела его из скитского уединения и подвигла на борьбу с иосифлянами. Но, хотя церковь впоследствии причислила его к лику святых — не сделать этого по отношению к памяти едва ли не величайшего из русских праведников было просто невозможно, — но за иосифлянами, в общем, оставалась победа, и, таким образом, эггегор православия сохранил для себя ту почву, которая породила его питательную тёмноэфирную среду. Результаты сказались с

лишком через столетие, вскоре после Смутного времени.

Проводя свои внутрицерковные реформы почти исключительно богослужебного и текстологического характера, патриарх Никон оставался, конечно, выразителем воли церкви как таковой. Выступив же в качестве претендента на первенствующее значение в государстве, стремясь подчинить царский сан сану патриарха, он становился — каковы бы ни были его субъективные намерения — прямым выразителем воли того паразитирующего на церковном теле тёмноэфирного образования, о котором мы говорим.

Поражение его и его инспиратора было обусловлено не только большей силой демона государственности, но и большей эпохально-исторической оправданностью его действий. Эта правота уицраора ощущалась, по-видимому, широкими народными слоями. Если уже чисто богослужебные реформы Никона вызвали противодействующее движение — столь сильное, что конструктивные формы старообрядчества, в которые оно отлилось, досуществовали до наших дней, — то его попытка теократического, вернее иерократического, переворота должна была испугать ещё более широкие слои, включая подавляющее большинство церковной иерархии, на которую подобный переворот возложил бы непомерную, странную, ей самой непонятную и потому невыполнимую ответственность. От папистских притязаний Никона повеяло смутно знакомым духом: чем-то напоминали они ту тираническую тенденцию, которая так страшно обожгла русское общество при Грозном и уже опять успела дохнуть на него в конце царствования Бориса. Слишком памятно было всем, какие страдания это несёт и в какие пропасти уводит; а то обстоятельство, что теперь опасность исходила не от демона государственности, но от чего-то зловеще неясного, образовавшегося внутри самой церкви, лишь увеличивало иррациональный, трансфизический страх.

Иерократические поползновения Никона были пресечены, но потусторонний страх уже не мог быть искоренён одним этим. Из него и вырос раскол, весь пронизанный этим ужасом перед «князем мира сего», уже будто бы пришедшим в мир и сумевшим свить гнездо в самом святой святых человечества, в церкви. Отсюда — надклассовость или внеклассовость раскола, к которому примыкали люди любого состояния или сословия, если только в сердце зарождался этот инфрафизический страх. Отсюда — неистовая нетерпимость Аввакума, яростное отрицание им возможности малейшего компромисса и страстная жажда мученического конца. Отсюда — непреклонная беспощадность

раскольников, готовых, в случае церковно-политической победы, громоздить гекатомбы из тел «детей сатаны». Отсюда же — та жгучая, нетерпеливая жажда избавления, окончательного спасения, взыскуемого окончания мира, которую так трудно понять людям других эпох. И отсюда же, наконец, тот беспримерный героизм телесного самоуничтожения, который ставит нас, при вникновении в историю массовых самосожжений, в тупик, если метаисторическое созерцание нам чуждо в какой бы то ни было степени, и который потрясает нас до глубочайшего трепета, если подобный род созерцания приоткрыл нам природу удивительных этих явлений.

Никон был сослан, умер, но церковь санкционировала его реформы; проходили десятилетия, а никакого поворота вспять, к древней вере, даже и не намечалось. И когда демиург, осуществляя свой всемирный замысел, выдвинул такого колосса, как Пётр; когда Второй Жругр инволютировал его всей своей молодой мощью; когда, от лица царя-реформатора государство отвело церкви небольшой угол в державе, подчинив религию своим интересам и сузив пределы духовного творчества народа, — тогда раскол обрёл конкретное лицо, на котором сосредоточился его потусторонний ужас и ненависть. Пётр I был объявлен антихристом.

Напрасно удивляемся мы мелочности чисто формальных, отнюдь не догматических расхождений между старообрядчеством и никонианством; с точки зрения сознания XVII века, наполовину магического и вместе с тем не боявшегося крайних выводов, антихристов дух вовсе не должен был выразиться непременно в восстании против Символа веры или в физическом истреблении религиозной общины. Дух этот представлялся исчадием «отца лжи», начинающего со второстепенных внешних подмен и по их лестнице низводящего уловляемую душу в пучину антикосмоса. И если мы не можем ощутить сочувствия героям раскола в их идейной направленности или в их методике, нам доступно зато понимание и сочувствие великому душевному смятению, раскол вызвавшему.

Правда, эгрегор православия получит должный отпор и опасность с этой стороны исчезла. Правда, конечно, и то, что за Петром стояли такие инспираторы, а путь, начертываемый этим царём, раскрывал такие перспективы, что идея Третьего Рима могла показаться захолустным провинциализмом. Но это грядущее сулило, вместе с тем, цепь таких перемен или подмен, зияло такими неизведанными безднами, а из недавнего прошлого ещё отблёскивали так предостерегающе огни Смутного времени, что дух невольно отшатываются вспять, вглубь, к духовно достоверным, веками освящённым формам древности,

доставившим спасение бесчисленному легиону душ — прадедам и прапрадедам.

Таким образом, в XVI веке обозначился, а в XVII определился духовный процесс чрезвычайной важности. Но можно было бы очертить следующими взаимно дополняющими определениями:

- а) как распад первичной цельности душевного строя;
- б) как диалектически неизбежное прохождение через длительный этап внутренней дисгармонии;
- в) как развитие способности к одновременному созерцанию противоположных духовных глубин;
- г) как культурное и трансфизическое расширение границ личности;
- д) как борьба мысли за осмысление метаисторического опыта.

Свидетельствовало бы о полной беспомощности, о неспособности вникать в существо культурно-исторических процессов предположение, будто бы данный духовный процесс оборвался, заглох или замкнулся в старообрядчестве. Напротив: вся религиозная философия и историософия XIX века от Чаадаева и славянофилов до Владимира Соловьёва, Мережковского и Сергея Булгакова, вся душевная раздвоенность, всё созерцание и эмоционально-жизненное переживание обоих духовных полюсов, свойственное как Лермонтову и Гоголю, так — в ещё большей степени — Достоевскому, Врубелю и, наконец, Блоку, являются не чем иным, как следующими этапами этого процесса.

Проследим это подробнее.

Распад первичной цельности душевного строя достиг в XIX веке такой глубины, что на его фоне даже исполненная противоречий, сложно эволюционировавшая личность Пушкина, прошедшего через противоположные полюсы религиозных и политических воззрений, кажется нам, однако, цельной сравнительно с душевным обликом его современников и потомков.

Под знаком внутренней дисгармонии стоит почти всё культурное творчество XIX века. Только к концу его намечается один из путей её преодоления — преодоления, однако, ущербного и чреватого ещё более глубокими катастрофами — и в общеисторическом плане, и в плане личной эсхатологии, то есть посмертной судьбы человеческих шельфов. Я разумею здесь то колоссальное движение, у истоков которого возвышаются фигуры Плеханова и Ленина.

Способность к одновременному созерцанию противоположных духовных глубин оказывалась не чем иным, как соответствовавшим новому культурному возрасту нации проявлением в духовной сфере исконной



русской способности к неограниченному размаху: тому самому размаху, который во времена примитивных и цельных натур выражался психологически — в слитности душевного склада с ширью необозримых лесов и степей, эмоционально — в богатырской удали, а исторически — в создании монолитной державы от Балтики до Тихого океана. Печорины и Пьеры Безуховы, Ставрогины и Иваны Карамазовы, герои «Очарованного странника» и «Преступления и наказания» — внуки землепроходцев и опричников, иноков и разбойников, казачьих атаманов и сжигавших самих себя раскольников; только разный культурный возраст и разные, следовательно, сферы размаха.

Это вело к культурному и трансфизическому расширению границ личности — факту, слишком очевидному, чтобы нуждаться в каких-либо иллюстрациях или комментариях.

Что же касается борьбы мысли за осмысление метаисторического опыта, то этим, в сущности, были заняты все выдающиеся русские умы XIX столетия, и это несмотря на то, что самоё понятие метаистории оставалось ещё несформулированным и даже неосознанным. Разве в размышлениях Белинского по поводу новой русской литературы не чувствуется усилий прочесть историю как систему видимых знаков некоего невидимого духовного процесса? Разве в не имеющей равных исторической эпопее Льва Толстого народные массы и их вожди не становятся проявлениями и даже орудиями запредельных сил? Разве в исторических концепциях Достоевского не брезжит непрерывно этот потусторонний свет, превращающий исторические перспективы в сдвинутые, опрокинутые, странные и завораживающие перспективы метаистории? Станет ли кто-нибудь отрицать этот духовный угол зрения на национальное прошлое в полотнах Сурикова, в народных драмах Мусоргского? — Я ограничиваюсь указанием только на корифеев XIX века; перечисление имён меньшего масштаба потребовало бы специальной главы.

Итак, все пять признаков разбираемого процесса, которые я указал страницей ранее, оказываются налицо. Мы убеждаемся, что процесс, возникший в незапамятные времена опричнины, — процесс переживания обоих полюсов трансфизического мира, познания их и осмысления, переходя из фазы в фазу, к XX веку достигает высоты гениальных художественных обобщений и философских интуиций. Я не думаю, чтобы имелась надобность в разъяснении того, что события XX века должны ещё углубить этот процесс, должны довести до крайности и внутреннюю дисгармонию, и борющиеся концепции, и эмоциональную накалённость

поляризующихся идей, этим подготавливая фазу некоего синтеза, предстоящего следующим поколениям.

В этом смысле мы не можем не ощущать себя кровными потомками тех, кто 250 лет назад совершали, для нас теперь уже почти недоступный, подвиг самосожжения; и тех, кто в следующие десятилетия создавал сказание о невидимом граде Китеже.

Всё изложенное создало предпосылки для кристаллизации этой легенды именно в расколе. Естественно, что именно в глухих заволжских лесах, издревле озарённых лампадами скитского жития угодников Божиих, поместило сказание этот город праведных на берегу Светлояра. Его связь с внешним миром осуществляется через город Малый Китеж, вынесенный на границу степей, — символ исторической церкви с её человеческими слабостями: той исторической церкви, подлинную духовную сущность которой скрывает от ищущих душ, замутняет, искажает мглистый, плотный и чувственный православный эгрегор. Под ударами внезапно нахлынувшего внешнего врага историческая церковь гибнет «без боя, с великим позором». Но, конечно, гибнет не вся: дева Феврония, олицетворение Идеальной Души, оваянная той поэзией, которая может исходить от Навны, и только от неё, вступает через страдальческую смерть в Великий Китеж.<sup>[28]</sup> Великий Китеж телесно беззащитен: небольшая рать его героев принимает мученический венец в битве над Керженцем. Тогда, в ответ на жаркую молитву всего народа перед Великой Заступницей, город таинственно погружается на дно Светлояра, «в жизнь вечную» — переходит в иную сферу бытия.

Сказание отразило в преображённом виде суть раскола так, как она рисовалась его лучшим мечтателям, созерцателям и «поэтам сердца». Оно до неузнаваемости идеализировало действительность, да; но этим самым оно дало образ, несравненно более глубокий, долговечный и универсальный, чем само историческое явление раскола: мистерию народа, культуры или отдельной души, чья неприкосновенная внутренняя святость, оберегаемая иерархиями Света, остаётся недоступной никакому, самому могущественному врагу, уходя в таинственную духовную глубь от любого вторжения, от любого враждебного прикосновения.

## Глава 3

### Заполнение пространства между культурами

Какими импульсами создавалось то гигантское географическое целое, тот странный конгломерат пустынь, тундр, плодороднейших густонаселённых областей, огромных городов и необозримой тайги, которое, в общих чертах, совпало с границами Российского сверхнарода?

Задаваясь таким вопросом, нельзя, конечно, не вспомнить некоторых эпох всемирной истории, когда народ или сверхнарод переходил из состояния географической замкнутости в состояние стремительной экспансии. Историческая наука выдвинула в качестве объяснения таких феноменов ряд остроумных соображений о географических, социально-политических и, в особенности, об экономических причинах. Однако можно усомниться в том, только ли недостаток годных для обработки земель толкнул арабов, на протяжении веков довольствовавшихся прозябанием на своём полуострове в виде разрозненных племён — к ошеломляюще быстрому объединению и к молниеносной, головокружительной экспансии; экспансии, похожей на развернувшуюся пружину, на излияние лавы из кратера, на ураган; экспансии, и не подумавшей остановиться на захвате богатых и плодородных соседних стран, но в какие-нибудь пятьдесят лет захлестнувшей территорию от Гвадалквивира до Инда.

Позволительно задать также вопрос, почему же, в конце концов, именно в Западной Европе экономика сложилась на рубеже XVI века столь беспрецедентно и изумительно, что впервые за всю человеческую историю два сверхнарода — Романо-католический и Северо-западный — одолели океан, залили Америку, втянули в свою орбиту Африку, открыли и частично подчинили своей цивилизации древние культуры Востока? Оставаясь в пределах системы экономических и социально-политических мотиваций, нам придётся ответить пожиманием плечей и разведением рук на простой вопрос: отчего социально-экономическая конъюнктура, эту экспансию вызвавшая, сложилась за всю историю многочисленных культур человечества только один раз и в одном месте? Если же подобная конъюнктура сложилась хоть раз ещё где-нибудь, например в Китае, то почему она не возымела тех же результатов? — Оказывается, не грешно сохранить долю сомнения в исчерпывающей силе социально-экономических объяснений и даже заподозрить в подобных исторических

явлениях наличие некоего фактора, не покрываемого сетью исторической причинности, — фактора иррационального.

Это сомнение и подозрение перерастают в огромный вопросительный знак, коль скоро дело переходит к проблеме русской экспансии на Восток в конце XVI и в XVII столетии.

XVII век вообще задал исторической мысли немало загадок, и одна из самых глубоких заключается в следующем: почему и ради чего, какими именно социально-экономическими причинами понуждаемый, русский народ, и без того донельзя разреженный на громадной, необжитой ещё Восточно-Европейской равнине, в какие-нибудь сто лет усилиями отнюдь не государства, а исключительно частных людей, залил пространство, в три раза превышающее территорию его родины, пространство суровое, холодное, неудобное, почти необитаемое, богатое только пушниной да рыбой, а в следующем столетии перешагнул через Берингово море и дотянулся до Калифорнии?

Конечно, усиливавшаяся крепостная эксплуатация выбрасывала тысячи людей на восточные, незаселённые окраины, где им приходилось изыскивать средства к существованию. Но разве Урал и Западная Сибирь не были достаточно обширны, чтобы вместить и прокормить население в десятки раз большее, чем казацкие дружины, переваливавшие через Каменный Пояс при Грозном, Борисе или Алексее Михайловиче? Отчего эти крестьяне (а казаками становились ведь в подавляющем большинстве именно крестьяне) не брались на новых плодородных местах за свой привычный труд, а переходили на охотничий промысел — промысел, ставивший их, по условиям сбыта продукции, в тяжёлую зависимость от купцов и от государства? — Народ бежал от гнёта помещиков. Так. Бежал. Но почему же нельзя было остановиться и прочно обосноваться на Оби, на Иртыше, на Ангаре, где никаких помещиков никогда не водилось, а требовалось бежать дальше и дальше, бежать не от погони, которой не было, а — неизвестно от кого, неизвестно зачем и неизвестно куда, в непробудную глухомань, через исполинские реки и непролазную тайгу, через районы, занятые инородцами, оказывавшими сопротивление, и, добежав, наконец, до Тихого океана, не успокоиться даже и там, а перепрыгнуть в Америку?

Русских казаков, дескать, привлекали изобилие зверя и рыбные богатства Дальнего Востока. Да, привлекали. Но не одни ведь русские знали, что рыба — вкусная вещь; не одни же русские носили меха и торговали ими. Почему же, странное дело, эти самые богатства не привлекали, например, китайцев, обитавших к ним гораздо ближе, в

культурном отношении стоявших в XVII веке бесспорно выше русских и к тому же страдавших от перенаселённости в своей стране?

На все эти вопросы, сами собой напрашивающиеся ещё на школьной скамье, невозможно добиться ответа потому, что из факторов, с которыми достаивает иметь дело современная наука, этого ответа не извлечёшь; фактор же, этот ответ в себе заключающий, остаётся вне поля её зрения. Это тот самый фактор, который, в его нарочито упрощённом понимании принято, пренебрежительно морщась, называть психологическим и без учёта которого вся история превращается не только в мёртвую схему, но в прямую подделку науки — подделку, прикрывающую свою неспособность отвечать на элементарные вопросы или догматическими разглагольствованиями, или притворным незамечанием этих вопросов.

Не будем пугаться слов. Да: избыток телесных сил и мужание народного духа, в котором, при неутраченной ещё до конца внутренней цельности, пробуждается стремление вдаль — вот, в психологическом плане, проявление этого иррационального фактора в разбираемую нами эпоху. Что же это за непреодолимый зов, увлекавший землепроходцев дальше и дальше? Что это за непонятный инстинкт (употребим уж этот таинственный термин, более загадочный, чем «эфир» в физике недавнего прошлого)?

Но нет никакой необходимости представлять себе инвольтацию демиурга непременно в виде головокружительного озарения или потока ослепительных образов. Напротив: такая форма инвольтации — или инспирации — явление далеко не частое. Оно предполагает развитую личность, яркую индивидуальность, даже некую специфическую одарённость, близкую отчасти к художественной, но не идентичную ей; скорее, это один из видов одарённости религиозной. Демиургическая же инвольтация «человека массы» знает совсем иные пути. В такой душе демиург не бушует подобно буре; такому уму он не внушает никаких огромных идей, не распахивает перед такой душой ни космических панорам, ни этических горизонтов. Он совершает другое: он поднимается из глубин души бессловесным, грозным и непререкаемым зовом Бессознательного.

Голосами Бессознательного говорят с человеком массы и другие инстанции: каросса, уицраор, Соборная Душа народа, даже Велга. Различить эти голоса можно только по характеру пробуждаемых ими чувств и внушаемых ими деяний.

А деяния, внушавшиеся землепроходцам, сводились к одному — только к одному, но великому: силами нескольких сотен богатырей

захватить и закрепить за сверхнародом Российским грандиозные пространственные резервы — всю пустующую территорию между массивами существующих ныне на земле культур. Ни один казак, ни один герой сибирских завоеваний этого, конечно, даже приближённо не понимал. Перед каждым возникала не эта общая историческая цель, а мелкая, частная, конкретная: бороться за своё существование путём устремления на Восток за горностаем, за белкой, за соболем. Всего этого имелось в изобилии в уже захваченных местах; но остановиться почему-то было невозможно. Этому мешали дикие запахи с неведомых пустошей Востока, ударяющие в ноздри и пьянящие как вино. Этому мешало курлыкание журавлей, трубные клики оленей — напряжённые, страстные, вольные голоса звериного мира. Этому мешала синеватая дымка, затуманивавшая на востоке дремучий лесной горизонт. Этому мешали бездомные ночлеги, костры, лица и рассказы товарищей, песни, удалая жизнь. Даже само солнце мешало этому, поднимаясь над таинственными восточными просторами, словно указывая молча путь и цель. Главное же — мешала собственная кровь, учившая именно так понимать голоса ветра и солнца, зверей и птиц, — кровь, гудящая по жилам властным призывом вдаль, внеразумным и провиденциальным хмелем бродяжничества.

Да это даже не психология, это просто поэзия! — скажет кто-нибудь. Что же, разве историческая наука выше поэзии, чтобы позволять себе смотреть на неё свысока? А если они равноценны, если они должны друг друга оплодотворить, то закономерна не только история поэзии, но и поэзия истории. В особенности же не стоит иронизировать над поэтическим элементом в истории тому, кто без привлечения на помощь этого элемента не сумел ответить на поставленные вопросы ничем, кроме словесного топтания вокруг них или же стыдливого молчания.

Показательно, что демон государственности долгое время оставался в стороне от движения землепроходцев. Это видно хотя бы по той безучастности, с какой Российское государство взирало на занятие русским народом огромных земель на Востоке. Когда это движение началось. Первый Жругр был поглощён другим: санкция демиурга была утрачена и само существование уицраора клонилось к концу. Тут было уж не до Сибири. Второй же Жругр на протяжении всех трёх столетий своего существования понимал просторы Азии только как второстепенную статью государственного обогащения. Поразительно, что вплоть до XX столетия он так и не понял, зачем, собственно, история и его собственный народ обременили его Сибирью и Дальним Востоком. И когда пушной промысел перестал играть в государственных доходах заметную роль — Сибирь

превратилась в место ссылки, а Русская Америка была продана. Что сказал бы Пётр, этот великий флотостроитель и морелюбец, если бы мог знать, что через двести лет, в 1925 году, его преемники всё ещё не будут иметь военного, да в сущности и гражданского флота на Тихом океане? А Пётр бессознательно понимал больше, чем демон государственности. Он понимал, например, что для чего-то нужно (неизвестно, собственно, зачем именно) осуществить такое грандиозное предприятие, как Великая Северная экспедиция. Подобного предприятия не замышлял и не проводил ни один европейский монарх ни в XVII, ни в XVIII, ни даже в XIX столетии. Нет данных, однако, предполагать, что Пётр ясно отдавал себе отчёт в смысле и цели такого предприятия. Во всяком случае, колоссальные расходы, которых оно потребовало, не могли окупиться ничтожными экономическими выгодами, даже если бы русским кораблям удалось пробиться в Индию через Ледовитый океан. А бросать деньги на затеи, не сулящие большой государственной выгоды, Пётр не любил. Но дело в том, что Пётр I, как стремлюсь я показать в следующей главе, был не только проводником воли демона государственности: через него больше, чем через всех других русских государей нового времени, волил демиург, и если мы откажемся видеть плоды его инспирации в целом ряде деяний Петра, мы ничего не поймём в русской истории последних столетий.

Итак, волнение демиурга явственно сказалось в занятии русскими североазиатских пространств, обширных и почти пустых. Но почему он так торопил этот процесс? Чтобы не опередили другие? Но кто же? Китай? Но Китай до XX века не мог овладеть как следует даже Маньчжурией. Англия? Но Англию Сибирь не привлекала ни раньше, ни после. Япония, Соединённые Штаты? Но экспансия этих государств началась только на рубеже XX века.

Мы не можем знать, во избежание какого зла демиург ускорял закрепление за своим сверхнародом этих территорий. Предвидел ли он всё же возможность их захвата каким-нибудь чужеземным завоевателем? Или не исключена была возможность образования в Сибири самостоятельного государства, сильного, способного к обороне и наступлению, что повлекло бы за собой цепь лишних трудностей, жертв, кровопролитий? Всё это — предположения, не опирающиеся ни на какой метаисторический опыт, следовательно, лишённые какой бы то ни было цены.

Но достаточно очевидно, что превращению России из окраинной восточноевропейской страны в великую евразийскую державу, заполняющую всё полое пространство между Северо-западной, Романо-католической, Мусульманской, Индийской и Дальневосточной культурами

(то есть между почти всеми культурами, ныне существующими) Яросветом придавалось особое значение. Можно догадываться, что это имело отношение ко всемирно-историческому назначению России и что эти пространственные резервы должны послужить ареной для тех творческих деяний сверхнарода, свидетелем которых явится XXI или XXII век. Культура, призванная перерасти в интеркультуру, может осуществить своё назначение, лишь тесно соприкасаясь со всеми культурами, которые она должна ассимилировать, объединить и претворить в планетарное единство. Если сверхнарод предназначен стать реактивом, трансформирующим и себя, и все сверхнароды мира в духовно единое Человечество, то ему должны быть уготованы пространства, соответствующие размаху его борьбы, его идей и творческого труда.



## Глава 4

# Родомысл Петр и демоническое искажение его миссии

Среди загадок, заданных XVII веком исторической мысли, не последнее место занимает странный факт рождения именно в царской семье, именно в качестве царского сына такого человека, который по своим духовным масштабам, дарованиям, уму, характеру и даже физическому темпераменту в точности соответствовал идеальному образу государственного деятеля, какого требовали тогда Россия, её метакультура, её миссия, её судьба.

Рождение личностей такого масштаба приходится исчислять единицами на сотни миллионов рождений. По теории вероятности, шансы в пользу того, чтобы таким человеком оказался именно царевич, близки к нулю.

А между тем в условиях XVII столетия переворот, подобный перевороту Петра, мог осуществить только великий государственный гений при одном неперемennom, однако, условии: законности его власти в глазах современников. Гораздо более скромные начинания Бориса и Лжедмитрия, имевшие в виду сближение России с Западом, не были прощены русскими ни тому, ни другому и послужили одной из причин этих двух преждевременных смертей. Конечно, масштаб государственного разума этих двух государей далеко уступает гению Петра, но никакому узурпатору, будь он хотя бы и столь же гениален, как Пётр, общество той эпохи, ещё полностью проникнутое древней идеей родового права на власть, не позволило бы, конечно, опрокидывать вековые общественные устои.

Однако науке сегодняшнего дня, догматически отрицающей телеологию истории, приходится и этот факт обходить молчанием. Как всегда в подобных случаях, она притворяется, будто вопросы такого рода не имеют смысла. Она прекрасно понимает, что при исключительно каузальном подходе к явлениям она не сможет произнести в объяснение этого факта ни единого звука.

Такое положение современного историка — историка в собственном значении этого слова — совершенно закономерно. Для него применение к историческим фактам принципа телеологического невозможно и в самом деле: какая методика позволила бы ему подходить к фактам с вопросом

«зачем»? С крутого берега этого вопроса ему не видится ничего, кроме безбрежного моря фантазии.

Но метаисторику нет надобности суживать свои возможности до границ, очерченных каузальным подходом. Для него — с крутизны вопроса «зачем» — тоже открывается море, но не фантазии, а второй действительности. Никаким фетишем он каузальность считать не намерен и ко многим проблемам подходит с другой стороны, именно — с телеологической. В частности, о зависимости характера и способностей от условий рождения и детства. Если же историку будет угодно не видеть коренного различия между игрой фантазии и метаисторическим методом — не будем, по крайней мере, лишать его того утешения, которое он почерпнёт в идее, будто сидение в клетке каузальности есть последнее и блистательнейшее достижение на пути познания.

По-видимому, подготовительная работа демиурга и кароссы Дингры над эфирно-физической формой или, вернее, аппаратом, который был бы способен вместить столь колоссальную инвольтацию и осуществить её задания, началась очень давно — за несколько поколений в роду отца царевича и в роду его матери. Процесс этой подготовки находится, конечно, вне поля зрения метаисторика; ему представляется возможность проследить только самый конец его — провиденциальность обстоятельств детства и юности Петра, его личность досоздавших.

Задачи преобразователя должны были потребовать от него исполинского напряжения физических сил. И детство Петра в селе Преображенском, вырывая его из тепличной атмосферы дворца, где захирели оба его брата, закаляет его тело и представляет возможность для любых физических упражнений, в том числе и для таких, какие кажутся его современникам совершенно неуместными для царевича.

Будущему реформатору понадобится величайшая независимость ума, привычка к отсутствию авторитетов и к самостоятельному мышлению. И вот, ни в детстве, ни в отрочестве не допускается в его окружение ни один человек, по своим интеллектуальным и волевым качествам способный хотя бы на время подменить в мальчике самостоятельную умственную работу слепым доверием к авторитету.

Невероятные задачи царствования потребуют от него неслыханных, чудовищных, почти неосуществимых форм поведения. Ему придётся сбросить царское облачение и, засучив рукава, подавать пример плотникам, кораблестроителям, кузнецам, столярам — мастерам всевозможных ремёсел. И в том же Преображенском возникают условия, вполне отвечающие потребности будущего царя — не только приучить себя к

трусам подобного рода, но и практически изучить некоторые из них.

На смену боярству ему придётся находить талантливых разночинцев, а вместо стрелецкого войска создать — неизвестно как и откуда — новую армию, отвечающую потребностям грядущих дней. И вот товарищами его игр в Преображенском оказываются мальчишки из простонародья, смышленные, преданные и смелые — ядро будущей гвардии.

Суровый долг революционера на престоле потребует от него непримиримости к врагам его государственной идеи. И сердце его ожесточается с ранних лет такими зрелищами, как кровавые стрелецкие бунты и казни, и такими человеческими отношениями, как отношение к нему царевны Софьи.

Если бы всеми этими условиями был окружён обыкновенный, то есть никакими метаисторическими силами не выпестованный ребёнок, ничего исключительного из него всё-таки не получилось бы. Но при врождённой гениальности, то есть при выработанной ещё ранее силами демиурга и кароссы повышенной способности к восприятию инспирации посланного ему даймона, условия села Преображенского доформировали, дошлифовали это человекоорудие.

Подобное телеологическое рассмотрение могло бы быть применено к биографии любого человека, принадлежащего к числу родомыслов, гениев, праведников, при одном условии: при достаточном количестве биографических сведений, находящихся в нашем распоряжении.

В чём же состояла историческая задача Петра I, поскольку эта задача указывалась демиургом?

Насколько можно отслоить в личности и деяниях Петра эту задачу от воздействий уицраора и насколько она вообще выразима в человеческих понятиях, задача эта обрисовывается в следующем виде:

России суждена всемирная миссия, смысла которой императору не дано знать. Он должен быть уверен лишь в одном: в её мировом характере. Его персональная задача сводится к тому, чтобы повернуть сверхнарод на путь, ведущий из прозябания в национальной замкнутости на простор общечеловеческого становления. При этом народ русский надлежит ввести в круг передовых народов не в качестве чьего-либо сателлита или младшего исторического партнера, а в качестве великой державы, которую другие народы вынуждены будут принимать всерьёз с самого начала. Такой поворот возможен только при условии, если Россией будут восприняты объективно передовые начала соседней, старшей культуры, ибо эта культура — одна из двух, сумевших расторгнуть аристократически сословную ограниченность внутри себя и локальную изолированность по

отношению к остальному миру. Для того же, чтобы такой переворот был осуществлён и результаты его прочны, требуется полное преобразование внутри: оно упразднит боярство как правящую группу, показавшую свою неспособность быть на уровне исторических задач, и передаст ведущую роль дворянству и среднему классу. Почему не духовенству, не крестьянству? Потому не духовенству, что господство в государстве этого последнего привело бы к торжеству эгрегора православия и, в конечном счёте, к иерократической деспотии, наиболее косной из всех деспотий. Не крестьянству же — потому, что крестьянство было самым отсталым из всех классов и ему ещё веками следовало оказывать помощь, прежде чем оно смогло бы принять положительное участие в государственном и социальном творчестве.

Здесь невозможно подробное рассмотрение вопроса о том, в какой мере историческая деятельность Петра отвечала этому заданию. Но возможно и необходимо другое: указать на смысл второй инволюции, как бы прославившейся между инволюцией демиурга и личностью императора и придававшей деятельности последнего характер, не всегда и не во всём отвечавший желаниям Яросвета.

Эта инволюция демона государственности обращалась на некоторые свойства характера и темперамента Петра, а в иных случаях — на свойства его рассудка. При этом она искажала ход его мысли и действий в той мере, в какой этот ход не был свободен от воздействия этих самых черт характера, темперамента и рассудка.

Жругр заботливо потрудился над тем, чтобы внедрить в родомысла свою тираническую тенденцию. Ему удалось в целях этого переразвить суровую твёрдость, необходимую и неизбежную в положении Петра, в неумолимость, внутреннюю свободу от авторитета — в свирепую лютость ко всяким авторитетам прошлого, прямолинейную преданность своей идее — в ненависть ко всему, что ему казалось бесполезным, то есть чего нельзя было обратить на пользу его идее, а стихийный размах — в бесконтрольную чувственность и непомерную грубость. Ирония переросла в склонность к глумлению. Утилитарность мышления выхолостила эстетическое начало натуры, введя его в два русла: русло артистического отношения к ремёслам и русло ремесленного отношения к искусствам. А в проявлениях жестокости стал порою различаться явно садистический оттенок.

Из этих качеств проистекли те промахи государственной мысли, которые привели Петра к деяниям, с точки зрения метаистории — а, пожалуй, также и истории — ошибочным и вредным: к неоправданной

ничем жестокости в отношении бояр, стрельцов, раскольников, собственного сына, а главное — собственного народа, приносившего замыслам своего царя жертвы мало сказать огромные, но даже иногда не вызывавшиеся необходимостью; к слепому непониманию настоятельной исторической потребности — обеспечить рост, а позднее и ведущую роль среднего класса, — ошибка, имевшая для будущего воистину роковое значение; к насилиям над церковью, в результате которых она после Петра оказалась, по выражению позднейших мыслителей, в параличе, а при третьем уицраоре дошла до такого низкопоклонства перед собственным врагом, какое в любую другую эпоху показалось бы совершенно неправдоподобным; к пренебрежению интересами крестьянства, что повлекло за собой упрочение крепостного строя и на века затормозило культурное развитие основного по численности класса российского общества; и, наконец — к воцарению в стране той атмосферы террора, обесценения человеческой жизни и неуважения к личности, которая надолго пережила Петра и сделалась атрибутом самодержавия в ряде последующих эпох.

Как грандиозна ни была фигура этого императора и сколь провиденциально необходимой ни являлась его деятельность, но двойственность инвольтации, воспринятых его бушующим сердцем, богатырской волей и дальновидным, но утилитарным умом, превратила родомысла в двойственное существо, перед которым врата Синклита оказались закрытыми.

Трудно найти более разительную противоположность между образами двух родомыслов, допустивших глубокий ущерб своей миссии: тем, кто, будучи вознесён на предельную высоту единодержавия, непоправимо сорвался с этой крутизны — Иоанном IV — и Петром, до конца своей жизни продолжавшим, несмотря ни на что воспринимать инспирацию Яросвета; трудно найти контраст между ними более разительный, чем тот, что обнаруживается при сопоставлении обстоятельств смерти их сыновей, Ивана и Алексея. В одном случае — самоубийственный для династии и государства акт, совершённый существом, потерявшим человеческий облик и охваченным бессмысленным бешенством: ярко выраженное проявление воли Велги. В другом — холодно продуманное и беспощадно, вопреки собственному человеческому чувству, осуществлённое мероприятие во имя государственной идеи, которой приносится в жертву собственная плоть и кровь: столь же очевидная инвольтация демона государственности.

Не менее любопытно, пожалуй, представить обоим царям не решающими государственные дела, не поражающими татар или шведов, а

пирующими. Один — исподлобья озирающий сотрапезников и тут же совершающий что-нибудь безобразное; можно даже сказать монструозное: один раз — поражающий опального боярина посохом в грудь, в другой раз — откусывающий ухо у кого-нибудь из гостей, в третий — хохочущий до слёз над князем, зашитым в медвежью шкуру и растерзываемым собаками, в четвёртый — заставляющий какого-нибудь несчастного съесть уд собственного отца.

И — великий государь через полтора столетия: гигант с мутным взором, но твёрдо стоящий на широко расставленных ногах, заставляющий, хохоча и хлопая по плечу бывшего боярина или, может быть, вчерашнего сапожника либо пирожника, а теперь сановника, выпить залпом кубок Большого Орла.

Истинно великий человек не может не быть великодушным. Грозный — огромен; но он лишён великодушия — и он не велик. Пётр же был великодушен — необычным, каким-то великолепным великодушием. Как чудесно уловил это Пушкин:

Нет! Он с подданным мирится;  
Виноватому вину  
Отпуская, веселится;  
Кружку пенит с ним одну.

Но самой выразительной параллелью будет, мне кажется, сопоставление обстоятельств смерти обоих царей. В первом случае — гниение заживо, метание в тоске и молитвах, отчаянные попытки смягчить Божество приказами о помиловании преступников, об отпирании всех темниц. В другом — безоглядная отдача себя порыву — спасти погибающих матросов — и собственная смерть как следствие этого героического поступка. Ясно, конечно, что и посмертье Петра не могло иметь ничего общего с посмертьем его далёкого предшественника.

Но в синклит не может вступить тот, кто сам превратил себя в палача — и в переносном и в буквальном смысле; кто перешагивал через гекатомбы жертв — собственных подданных, не повинных ни в чём и отдавших Богу душу только потому, что вождю потребовалось сию же минуту и без малейшей заботы о жизни тысяч строителей воздвигнуть новую столицу — ключ к мировому будущему России.

К этой столице и привязались шельт, астрал и демонизированный эфир основателя Петербургской империи. Медный Всадник Фальконета — не

просто статуя. Это — нечто вроде иконы Второго Жругра, персонифицированного в условном облике самого яркого из его человекоорудий. Это также подобие основателя Друккарга, мчащегося на бешеном раругге. Мало того: это исправленное сообразно человеческому сознанию и условиям Энрофа отображение основателя Дуггура, восседающего в лунной полутьме на гигантском змее и озаряющего факелом в простёртой руке пышную и мрачную площадь. На площади Сената понятия переворачиваются: Пётр мчится на коне, попирая змею; кругом — светлые колоннады ампира. Но, как и всякая икона, в которой встретились излучения изображённого с излучениями эмоционально созерцающих и благоговейных людских множеств, этот памятник тысячами нитей связан с тем, чей прах двести лет покоится в подземелии Петербургской крепости.

А шельт императора, облачённый теперь в демонизированный материальный покров, прикован тяжкой цепью своих деяний к изнанке своего собственного сооружения. Как движущаяся кариатида в цитадели Друккарга, этот гигант и доньше поддерживает то, что созидал: Российскую мировую державу. Да и он ли один? Могут сменяться Жругры, рушиться и снова строиться формы народоустройств, но великий реформатор останется одним из тех, кто поддерживает своей мощью Российское государство, пока оно существует на Земле. А потом? Кто и когда снимет с этого Атласа его ношу? Только освобождение Навны, только разрушение Друккарга, только гибель последнего из Жругров, только конец Российского великодержавия.

**КНИГА IX. К МЕТАИСТОРИИ  
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРИИ**



## Глава 1

# Второй уицраор и внешнее пространство

Перед мыслью, направленной на осмысление русской метаистории последних веков, само собою возникает разительное сопоставление двух исторических моментов.

Избранная всенародным собором, благословляемая церковью, приветствуемая всеми сословиями страны, санкционируемая авторитетом великих родомыслов Смутного времени, приступила династия Романовых к благодарному и суровому труду — восстановлению и возвеличению России. Царём был шестнадцатилетний мальчик, лишённый каких бы то ни было даров, не проявивший исключительных качеств и позднее; но ему прощалось всё, никто не требовал от него гениальности. Общество было сильно непоколебимой уверенностью в том, что эта монархия, выстраданная народом в страшном горниле смут, иноземных вторжений и безвластия, охраняема и направляема свыше. И действительно: фатальная невозможность создать другие, светлейшие силы, дабы оградить народ от погибельных натисков извне и от погибельных распрь внутри, довлела над демиургом. Она вела к тому, что Второй уицраор России вместе со своими человекоорудиями — носителями государственной власти — был осенён провиденциальной санкцией как меньшее из зол.

Миновало триста лет. Ненавидимая всеми классами, презираемая всеми творческими умами нации, осуждаемая высшим представительством народа, увлечённая в мистическую мусть гипнотизирующим взором мужика-проходимца, мечтавшего о патриаршем клобуке, монархия Романовых рухнула почти без сопротивления. Последний самодержец был столь же бесцветен и недалёк, как и её основатель; но ему не простилось ничто. Ему вменялось именно врождённое отсутствие гениальности, ибо лишь государственный гений мог бы спасти старую державу, сообщив ей поступательное движение, влив новые силы и указав новую цель. Общество было непоколебимо убеждено в том, что монархия Романовых не справилась с историческими задачами, никакими силами свыше не направляема и что права на жизнь у неё больше нет. И действительно: никаких отблесков демиурга давно уже не мерцало над челом императоров. Упрямые глупцы либо трагические неудачники, они не сумели низвести благодать на свою деятельность. И то, что торжественный обряд коронации превратился в жалкий маскарад, в фикцию, понимали все.

Если бы катастрофа не оборвала естественного хода вещей, можно было бы ожидать, что Григорий Распутин добьётся восстановления патриаршества, что клобук святого Гермогена будет возложен на голову хлыстовского «саваофа», развратника и бывшего конокрада, и что несколькими годами позднее император Алексей II будет коронован в Успенском соборе этим бесноватым, этой марионеткой Гашшарвы. От подобного несмываемого позора церковь была спасена только катастрофой.

Очевидно, санкция со Второго уицраора была снята давно.

Почему же? И когда именно?

То, что инвольтацией демиурга — хотя и не только ею одной — была насыщена деятельность Петра, не подлежит, очевидно, сомнению. Следовательно, утрата санкции свершилась в одну из последующих эпох. Но когда же? При ком? В чём заключались вины уицраора, эту утрату повлёкшие за собой? И не видим ли мы на этой поворотной точке истории какого-нибудь исключительного деятеля, судьба которого полна ещё непонятым смыслом?

Историзм всех школ сходится на том, что из числа стоявших у кормила правления за эти триста лет крупнейшею фигурою был Пётр и что ничьё значение и ничей масштаб личности не могут быть сопоставлены с его значением и масштабом. Этот тезис требует пересмотра. Требует потому, что он основан на учёте не всех фактов и не всех процессов; и потому ещё, что духовную сторону исторического процесса в целом, то есть метаисторию, он игнорирует совершенно.

Проверим же, не возникла ли в историческом слое уже после Петра личность не менее значительная, чем он, но по характеру своего значения могущая быть названной антиподом великого основателя империи. Выясним также, не имеет ли судьба этого лица отношения именно тем обстоятельствам и именно к тому периоду, когда санкция демиурга была снята с деятельности Второго уицраора. И, наконец, вникнем в значение — не для его современников только, но и для нас, для далёких потомков, — истинное значение этого странного, двоящегося, окружённого легендами, загадочного образа.

Однако, прежде чем приступить вплотную к этой задаче, нельзя избежать рассмотрения целой цепи других проблем, без метаисторического уяснения которых роль того лица, о коем идёт речь, не может быть понята. Проблемы эти сводятся к итоговой оценке деятельности Второго уицраора на основе сопоставления того, какие задачи ставил перед ним демиург России и что фактически оказалось осуществлённым вторым демоном великодержавия.

Зенитом его творческой мощи была, без сомнения, эпоха Петра. В сравнении с историческими перспективами, открывшимися тогда перед Россией, старая концепция Третьего Рима начинала казаться беспочвенными мечтаниями, бессодержательной абстракцией. Но что, собственно, следует понимать под этой новой перспективой? То есть как именно могла она рисоваться сознанию тех, кто жил на рубеже XVIII века?

Очевидно, это было смутное, но властное ощущение мировых пространств; оно походило на дыхание океана, на пронизывающий, солёный и шумный ветер, вдруг ворвавшийся в замкнутый столько веков мир. На берег морского пространства перенёсся центр государственности. Государственность стала созидаться новым континентом людей; и для них эта атмосфера, не знающая твёрдых географических границ, по-северному холодная, по-морскому требовательная, казалась чем-то несравненно высшим сравнительно с насыщенной местными запахами, душной, земляной и вязкой атмосферой Московской Руси.

Исторический смысл этого ощущения заключается, мне кажется, в том, что современники Петра и их потомки по-новому осознали человечество и своё место в нём.

Татарщина и вековая борьба за создание национального государства сталкивали русских лишь с народностями, по культурному уровню их не превышавшими, и притом сталкивали почти исключительно на полях битв. В итоге выработался огромный национальный эгоцентризм, переливавший всеми цветами радуги от религиозно-мистической гордыни до пошлой обывательской спеси. А после победы над поляками в 1612 году народ русский вырос в собственных глазах в некоего исполина, в единственный народ Божий на земле; недалеко уже было и до той температуры кипения, которая порождает пары столь бурные, что они в конце концов взрывают сосуд национально-государственного бытия, как это случилось однажды с народом еврейским. Когда читаешь творения протопопы Аввакума или знакомишься с эсхатологическими упованиями других учителей раскола, этот православно-русский messiанизм ударяет в наш, к счастью, уже невосприимчивый ум с такою силой, что от этих писаний отшатываешься с чувством, похожим на то ощущение, которое заставляет нас отдернуть руку из-под стоградусной паровой струи. Преклоняться перед личным героизмом раскольников можно и должно. По-своему разделять чувство породившей раскол трансфизической тревоги — вполне естественно. Но слава Богу за то, что это движение не стало на Руси властью имеющим. Народ, возомнивший себя мессией, а всё остальное человечество — блуждающим во тьме, обрекает себя на одно из двух: или на трагедию

разрушения своей исторической цитадели (вспомним опять-таки еврейство), или на бесплодное кипение и выкипание в самом себе, в тех самых границах, которые он счёл бронёй против великих культурных и этических соблазнов: вспомним Византию. Давно уже осознан и выражен тот факт, что всякий народ, несущий в мир, как говорил Достоевский, новое слово, ощущает своё избранничество. Но это избранничество — не единственно, и всякое самообольщение на этот счёт грозит катастрофой.

Эпоха Петра спасительно перевернула представление русских о человечестве; теперь оно начало слагаться не из двух, а уже из трёх величин. Во-первых — великая Западная культура (тогда ещё не замечали, что культур на Западе — две: Романо-католическая и Северо-западная, в основном германская, тесно связавшая себя с протестантизмом). Эта единая, как казалось, Западная культура была волшеббно-притягивающей, глубокой, зрелой, многосторонней; культура, удивительная, между прочим, и тем, что, становясь демократически-трудолюбивой, она оставалась аристократически-презрительной. Приходилось во многом идти к ней на выучку.

Во-вторых — неопределённое туманище «диких» и «языческих» народов, со включением в эту категорию, по причине собственного невежества, народов буддийских, индуистских и даже мусульманских: считалось, что у этих учиться нечему и по отношению к ним можно в свою очередь усвоить аристократический взгляд сверху вниз.

И, наконец, собственный свержнарод: это хоть и не мессия, но и по объёму своему, и по размерам территории, и по ощущению затаённой в нём силы предназначен, очевидно, к чему-то великому и вынужден торопливо нагонять упущенное.

Но если попробовать под этим слоем новых представлений обнаружить какую-либо идейную глубину, мы скоро принуждены будем остановиться в горестном недоумении. В самом деле: какое содержание вкладывалось в понятие «великого будущего» России? Каким культурным или социальным смыслом оно насыщалось?

В XVIII веке мы не найдём ответа более содержательного, чем ломоносовская формула, возвещавшая, что «будет собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов Российская земля рождать». То есть народ российский окажется не беднее других, выдвигая на авансцену отдельные личности, одарённые гениальностью. И только.

Но Ломоносов — сам, быть может, наш первый гений (вестник) со времён Андрея Рублёва — не мог, очевидное дело, не находиться в той или иной степени под воздействием Яросвета и Навны. Когда же мы от

поэтических формул, пусть до крайности упрощённых, но всё же несущих отсвет этой инспирации, перейдём к тем пластам национального сознания, которыми владел демон великодержавной государственности, нас ещё более поразит пустота идеи «российского величия».

Сколько бы мы ни разыскивали в высказываниях людей XVIII века от Меншикова до Потёмкина и Суворова содержания этой идеи, мы не найдём ничего, кроме представления о военном, великодержавном, чисто внешнем могуществе. Этот идеал будет провозглашаться то сухо повелительным языком приказов и узаконений, то напыщенной лексикой манифестов, то выкриками воинской команды, то, наконец, торжественным бряцанием пиитических лир. Теорию Третьего Рима озарял смутный, но всё же отблеск идеала религиозно-этического. Теперь погасло и это отдалённое сияние, и привычные словеса о «православном» царе выродились в мёртвую риторическую фигуру. Да и трудно было, в самом деле, придавать большое значение православию тех, величайший из которых забавлял себя и свою столицу зрелищем «всешутейшего собора», то есть хулиганскими выходками в стиле тех антирелигиозных шествий и карнавалов, которыми так печально прославилось добровольное общество «Безбожник» в двадцатых годах двадцатого века. Но руководители этого общества не провозглашали себя, по крайней мере, православными. Напротив: со всей обнажённостью и резкостью они заявляли о своей антирелигиозной нетерпимости. Что же можно сказать о «православии» их далёкого предшественника? Конечно, Пётр был личностью сложной, противоречивой, двойственной. Сегодня — глумление над церковью, завтра — искренняя молитва. Но в искренность его молитв вряд ли могли верить многие из тех, кто накануне наблюдал его кощунственные забавы.

Таким образом, уже очень скоро определилась идейная нищета второго демона государственности; обнажилось его стремление ко внешнему могуществу как к единственной положительной цели.

Цепь победоносных военных предприятий и плеяда блистательных героев империи отразили в историческом слое XVIII века это метаисторическое стремление уицраора. Нужны ли были эти предприятия — с точки зрения телеологии демиурга Яросвета?

Если бы Второй уицраор уже тогда полностью вышел из-под демиургического водительства, подобно тому, как это случилось с его предшественником при Грозном, санкция Яросвета была бы снята уже в XVIII столетии. Однако такое событие, как Отечественная война 1812 года с её потрясающим, пробуждающим народ воздействием, указывает, что даже в эту позднюю эпоху было возможно действие демиурга и демона

государственности, так сказать, заодно. Стало быть, сколь пустыми ни кажутся нашему взгляду войны Анны, Елизаветы и Екатерины, но некоторыми из них преследовалась цель, неясная самим исполнителям, но имеющая метаисторическое оправдание. Благодаря им к XIX столетию государство приобрело те географические контуры, которые совпали в общих чертах с границами сверхнарода. Этим была устранена опасность, так грозно осуществившаяся в истории большинства других культур: опасность дробления на несколько устойчивых государственных единиц, веками раздиравших тело и душу своего сверхнарода кровопролитной борьбой и духовным соперничеством.

Но при всём том Второй уицраор до самого конца так и не приобрёл действительно мирового кругозора. Может быть, это было естественно для демона сугубо континентальной нации; во всяком случае Пётр так и не передал своим преемникам, ни ближним, ни дальним, океанического размаха своей мечты, позднее лишь в сознании Александра I брезжила, по-видимому, мечта его прапрадеда, когда он снаряжал одну экспедицию за другой в кругосветное плавание.

Остальные же носители государственной власти от Бирона до Николая II повторили в историческом плане слепую ограниченность того, кто замороженным взором вперился в тёмноэфирных гигантов Западной Европы, только их учитывая и только в этой зоне усматривая смысл своего желаемого торжества.

Идейная нищета принуждала хвататься за предания исторического прошлого, хоть этим пытаясь возместить собственное творческое бесплодие. Таково упрямое цепляние российской государственности за идею своей преемственности от Византийской империи — жалкий рудимент религиозной концепции Третьего Рима. Образы двуглавого орла на цитадели Стамбула и креста на Айя-Софии приковывали к себе её взор с гипнотической силой из века в век. Кругом возникали и рушились державы, мир сотрясали великие революции, на горизонте возникали вновь открытые материки, рождались идеологические системы, грозившие не оставить от старых мифологем камня на камне; предшествуемые пророчествами и социальными бурями, приближались палачи не только монархии, не только православия... А навязчивая идея Царьграда и «проливов» маячила перед взором последнего царя с такой же неподвижностью, как перед взором Потёмкина. Сказывалась всё та же врождённая неспособность мыслить в мировом масштабе и расти вровень с раздвиганием исторических арен.

Проблема проливов заслуживала быть одной из второстепенных

проблем российской государственности — не более. Ибо выход в Средиземное море, столь же замкнутое, как и Чёрное, не сулил России ничего, кроме частных торговых выгод да новых конфликтов с новыми соседями. Только неисправимо провинциальному сознанию он мог вообще казаться выходом куда-то. Он вопиюще не соответствовал ни размаху, ни перспективам XIX и тем более XX века. Уж если приходилось добиваться выхода к открытому морю, то как было не видеть, что прямо по тифлисскому меридиану на юг, отгороженные от России только остановившейся в развитии, но всё ещё агрессивной Персией, подкатываются к берегу волны Индийского океана? То, чего не мог бы добиться Пётр, когда южные степи и Грузия ещё не были присоединены, могли бы и должны были бы выполнить государи на рубеже или в начале XIX века. Но все они с поразительным равнодушием отнеслись к этой задаче. Достаточно было столкнуться с дипломатическими происками Англии, чтобы начавшееся в Иран русское движение было приостановлено навсегда. Только гибель Грибоедова чернеет, как траурный памятник, на этой дороге, по которой российская государственность сумела сделать лишь один шаг, и притом только для того, чтобы сейчас же отдернуть ногу.

Столь же не способен оказался Второй демон государственности усмотреть что-либо серьёзное во владениях сибирских и тихоокеанских. В конце концов эта аморфная, близорукая политика достойно увенчалась Цусимой и Мукденом.

Однако часто ставится вопрос: действительно ли нуждалась Россия в этих пустых пространствах? Не слишком ли огромной оказалась территория? Стоила ли она таких жертв?

Верно, жертв она стоила немало, стоит и до сих пор. Но занятие почти пустых сибирских, дальневосточных, американских территорий производилось, как я уже указывал, не силами государства, а силами самого народа. Сетовать на подобный процесс так же странно, как жаловаться, например, на жидкость, которая, будучи разлита на плоской поверхности, в силу законов природы будет растекаться по ней до тех пор, пока энергию растекания не перевесит сила сцепления частиц. Но в той же мере, в какой согласно с естественными законами было растекание сверхнарода по просторам пустых земель, в такой же мере несогласны с этими законами, а согласны с ложно понятыми государственными интересами были многие завоевательные устремления империи Второго уицраора. Это целиком относится и к идее проливов, и к кровопролитным Балканским войнам, и к завоеванию стран Средней Азии, в которых Россия несколько не нуждалась и о присоединении которых не подумал бы,

вероятно, никто, если бы не трусость государственных деятелей, в чьих глазах опасность занятия Средней Азии англичанами — опасность совершенно нереальная — выросла наконец до размеров неотвязного кошмара. Словом, удары направлялись не туда, куда направил бы их уицраор, если бы смысл и пафос мирового пространства не был ему чужд. Инвольтировать этим пафосом демона государственности демиургу не удавалось. А задача между тем заключалась именно в том, чтобы заполнить Россией всё полое пространство между существующими ныне культурами. Занятием Сибири и Аляски народ подсказывал своей империи, в каком направлении следует прилагать усилия; но этот голос не был ни услышан, ни понят. География и история подсказывали императорам выход в Индийский океан; но и это оказалось гласом вопиющего в пустыне.

Однако как же это, — может поразиться кто-нибудь: значит, историческое размышление может приводить к оправданию завоевательных предприятий? и даже к сожалению о том, что такого-то предприятия не произошло? Мыслимо ли примирить это с элементарными нравственными нормами, ясными для нас как день и необходимыми как хлеб?

Затрагивается кардинальнейшая тема, основные принципы метаисторической этики. Конечно, и читателям, и автору было бы приятнее, если бы ответ был дан в виде лаконических афоризмов. Но это превышает мои возможности. И, не претендуя на краткость этой главы, я предпочту здесь немного задержаться, чем оставить читателя в состоянии недоумения и даже возмущения.

Облегчить задачу поможет то предварительное соображение, что некоторые явления истории, сами по себе остающиеся злом, потому что они несут множеству людей страдание и гибель, могут быть в то же время, и даже совершенно очевидно, меньшим из зол. Война есть источник страдания народов и понижения их морального уровня, следовательно — зло. Но мыслимо зло ещё большее, например — зло длительного, всеобщего, истощающего народ порабощения. И если ставится исторический выбор между этими двумя проявлениями зла, то выбор меньшего из них оправдывается. Борьба с татарами, с польским нашествием в 1612 году, с Наполеоном — все эти войны стоили колоссальной суммы страданий и жертв, и, однако, в том, что эти жертвы были оправданны, не сомневается никто. С точки зрения метаистории, самой страшной катастрофой является непоправимая неудача выполнения сверхнародом его метаисторического (и исторического) задания. Любая извилина исторического пути, в конце которой маячит такая опасность,



должна быть избегнута любой ценой. И когда подобная опасность давит на одну из чаш весов, никакая сумма личных страданий не может её перевесить.

Конечно, этот закон жесток. Но в этом повинны не демиурги, и не Бог-Творец. Биологическим и историческим законам, господствующим в Шаданакаре теперь, нельзя найти иного нравственного осмысления, как только признать их двойственность; понять утяжелённость, искажённость первоначальных, Провидением творившихся принципов всеобщего восхождения вмешательством демонических сил. Но просветление Закона — задача грандиозных периодов. Оно не совершится в мгновение ока по нашему мановению. Мы живём внутри Закона, ему подчинены и с ним принуждены считаться как с фактом. Больше того: Закон — далеко не худшее из возможного. Худшее из возможного — его дальнейшее искажение и утяжеление — мечта Противобога. Вот почему и к самому Закону во многих случаях следует подходить как к меньшему из зол.

Оставлять этот тезис без конкретных исторических примеров я не хочу. Как подойти, скажем, к такому факту, как колониальная экспансия европейских наций в XVI–XIX веках? С точки зрения «абсолютного гуманизма» это было непрерывной цепью насилий сильного над слабым, а зачастую даже худшего над лучшим. Путём этого насилия обогащались верхние слои западноевропейского общества и истощались, даже вовсе сходили с исторической сцены народы в других частях света. Не только с точки зрения каких-либо теорий, но и просто с точки зрения нашей непосредственной живой совести, это чудовищно.

Так. Ну а с точки зрения метаисторической?

Метаистория потому и есть метаистория, что для неё невозможно рассмотрение ни отдельной человеческой жизни, ни существование целого народа или человечества в отрыве от духовного предсуществования и посмертия. Стезя космического становления любого существа или их группы прочертилась уже сквозь слои иноматериальностей, ряды миров, по лестнице разных форм бытия и, миновав форму, в которой мы пребываем сейчас, устремится — может быть, на неизмеримые периоды — в новую череду восходящих и просветляющихся миров. Переживаемый нами отрезок по отношению к целому сравним с десятисекундной остановкой на полустанке в ночной степи пересекающего гигантский материк пассажирского поезда. И пока мы не приучим себя к созерцанию исторических и космических панорам во всём их величии, пока не привыкнем к таким пропорциям, масштабам и закономерностям, до тех пор наши суждения будут мало чем отличаться от суждений насекомого или

животного, умеющего подходить к явлениям жизни только под углом зрения его личных интересов или интересов крошечного коллектива.

Наша непосредственная совесть возмущается зрелищем страдания — и в этом она права. Но она не умеет учитывать ни возможностей ещё горшего страдания, которые данным страданием предотвращаются, ни всей необозримой дали и неисповедимой сложности духовных судеб как монады, так и их объединений. В этом — её ограниченность. Столь же правильны и столь же ограничены и все гуманистические нормы, из импульса этой совести рождённые.

Метаисторическая этика зиждется на абсолютном доверии. В иных случаях метаисторику может приоткрыться то, ради чего принесены и чем окупятся такие-то историческое, казалось бы бессмысленные, жертвы. В других случаях это превышает вместимость его сознания. В третьих — уясняется, что данные жертвы и сами исторические обстоятельства, их вызвавшие, суть проявления сил Противобога, вызваны наперекор и вразрез с замыслами Провиденциальных начал и потому не оправданы ничем. Но во всех этих случаях метаисторик верен своему единственному догмату: Ты — благ, и благ Твой промысел. Тёмное и жестокое — не от Тебя.

Итак, на поставленный вопрос следует отвечать без обиняков, сколько бы индивидуальных нравственных сознаний ни оттолкнуло такое высказывание. Да: всемирной задачей двух западных сверхнародов является создание такого уровня цивилизации, на котором объединение земного шара станет реально возможным, и осуществление в большинстве стран некоторой суммы морально-правовых норм, ещё не очень высоких, но дающих возможность возникнуть и возобладать идее, уже не от западных демиургов исходящей и не ими руководимой: идее преобразования государств в братства параллельно с процессом их объединения сперва во всемирную федерацию, а впоследствии — в монолитное человечество, причём различные национальные и культурные уклады будут в нём не механически объединены аппаратом государственного насилия, но спаяны духовностью и высокою этикой. Этот процесс будет возглавлен всё возрастающим контингентом людей, воспитывающих в новых поколениях идеал человека облагороженного образа; однако этот этап находится уже за пределами долженствования западных культур как таковых.

Развиться именно так, чтобы выработать и распространить указанную сумму предварительно необходимых морально-правовых норм, оказалась способной только одна Северо-западная культура. Колониальная экспансия

произошла ранее, чем они были выработаны; вырабатывались они северо-западными нациями параллельно, синхронически с порабощением и истощением колонизируемых. Только к XX веку принципы эти уяснились и утвердились в северо-западных обществах настолько, чтобы начать своё распространение и вовне; и тогда экспансия военная стала сменяться экспансией социально-правовых идей. Мы не знаем, сколько ещё веков должны были бы народы Востока и Юга пребывать на уровне социально-правового примитива, если бы демократические, гуманистические, социально-экономические понятия не хлынули бы в их сознание из поработившей их и их же теперь освобождающей западной цивилизации. Освобождающей — вопреки собственному колониализму, просто в силу логики вещей; освобождающей не только от её собственного угнетения, но от тысячелетнего феодального хаоса, от гнёта древних выдохшихся идей и окостеневших форм жизни и от множества других зол. А ведь это — только начало этапа, действительно всемирного, когда человечество будет пожинать плоды, посеянные на полях всех стран земли этою беспощадно кровавой и высокогуманной цивилизацией.

Разбираемый вопрос представляется мне настолько важным, что я рискну задержать внимание читателя ещё на одном примере, более частном, но не менее сложном. Нас оскорбляет и ужасает злодейское уничтожение испанскими завоевателями царства и культуры Перу. Никаких оправданий для преступлений испанских конкистадоров измыслить невозможно; посмертная судьба каждого из них была, надо полагать, ужасна. Но это — только одна сторона катастрофы, разразившейся в Южной Америке в 1532 году. Другую понять несравненно труднее.

Трудно принять то, что удивительнейшая и своеобразнейшая империя инков (для историка, впрочем, остающаяся только любопытным локальным раритетом) для метаисторического созерцания предстаёт феноменом совершенно другого масштаба, эмбрионом неосуществлённого образования, грандиозного и устрашающего, чреватого срывом необозримых человеческих множеств с предательски скрытой духовной крутизны.

К моменту появления испанцев империя инков уже распространила почти на четверть южноамериканского материка тот необычайный духовный, экономический и социально-политический уклад (некоторые исследователи называют его теократическим социализмом), который характеризуется высоким материальным довольством, купленным ценой предельного порабощения личности, ценой потери человеческого «я» в беспрекословно повинующейся безликой массе. Страшнее такого строя,

доведённого до совершенства, то есть до превращения в дьявольскую машину массовых духовных убийств, нет ничего; мечта Гагтунгра в той мере, в какой она касается человечества, заключается именно в этом. Только масштабы при этом грезятся не национальные, а планетарные, но ведь надо же с чего-нибудь начинать... Если бы держава инков нашла в себе силы для отпора испанцам, для усвоения их технических и военных преимуществ и для дальнейшего самостоятельного развития, как, например, Япония, то через некоторое время человечество стало бы лицом к лицу с тиранией столь централизованной, столь совершенной, столь мощной и неколебимой, что взор теряется в мутных заревах общечеловеческих катаклизмов, не совершившихся именно благодаря испанцам и только им.

Оправдываются ли этими дальними положительными следствиями те, кто совершал зверства над императором Атахуальпой, надо всеми личностями, составлявшими перуанский народ? Служат ли вообще в оправдание человеку, совершившему зло, косвенные, дальние, непредвиденные им положительные следствия его деяний? — Странная мысль. Конечно, нет! Косвенные, дальние следствия, которых он предвидеть не мог, будь они благими или дурными, не идут совершившему ни в оправдание, ни в осуждение. Оправдывается он или осуждается за совершённое только следствиями ближайшими, находившимися в поле его зрения, и, главное, теми побуждениями, которые им в данном случае руководили. В этом и заключается карма личная.

Что же пожинает своими страданиями и смертью человек, падающий жертвой национального бедствия? — Отчасти он всё-таки пожинает этим плоды личной кармы; если же он сам ни в каких злодеяниях не виновен, то он страдает и умирает не в качестве личности, а в качестве члена национального коллектива, и своим страданием и смертью способствует развязыванию этого кармического узла навсегда. В этом заключается карма коллективная, в данном случае — национально-культурно-государственная. Сумма личностей, составлявших перуанский народ во второй четверти XVI века и развязавших своей гибелью страшный узел национальной кармы, — освобождается ли эта сумма личностей тем самым для восхождения в иноматериальных мирах и для творения там своей просветлённой метакультурной сферы? — Да, конечно. Такая сфера творится в ряду затамисов; она называется Интиль, и туда поднялись или поднимутся, рано или поздно, все, составлявшие некогда великий народ древнего Перу.

Подлежит ли в таком случае — не отдельные злодеяния конкистадоров, но суммарный факт уничтожения перуанской империи —

некоторой второй этической оценке, такой оценке, которая не снимет с совершивших это зло ни осуждения нашей совести, ни беспощадных кармических следствий в посмертии каждого из них, вплоть до вековых мучений в Укарвайре или Пропулке, но которая даст этому злу относительное оправдание: оправдание не в плане индивидуальной человеческой моральной ответственности, а в плане становления народов и человечества, в плане стези демиургов? — Да, подлежит.

Именно в такой оценке проявится, в применении к разбираемому случаю, этика метаистории. Это есть как бы второй этический слой, простёртый над привычным для нашего сознания и нашей совести слоем этики чисто гуманистической.

Обширное отступление это о некоторых принципах метаисторической этики было необходимо для ответа на вопрос, поставленный несколькими страницами ранее.

Да: в некоторых случаях метаисторическое созерцание может приводить к относительному оправданию (только в плане общечеловеческого становления, а не в плане индивидуальной кармической ответственности) завоевательных предприятий. И даже к невольному сокрушению о том, что такого-то предприятия не произошло. Примирить это с элементарными нравственными нормами, «ясными как день, и необходимыми как хлеб», — можно, и я показал, как.

Только теперь можем мы возвратиться к окончательному разъяснению проблемы об отношении Второго уицраора к мировому пространству.

Итак, почему же всё-таки в плане метаисторическом надо считать ошибкой утрату такой пустынной, далёкой, трудно сохранимой территории, как Русская Америка? И почему неосуществлённому выходу в Индийский океан придаётся здесь такое значение?

Но ведь уже было упомянуто дважды об эпохальной задаче, поставленной перед российской государственностью: заполнение пространства между всеми культурами, ныне существующими. Заполнение — значит теснейшее соприкосновение со всеми ними, совместный обмен духовных излучений и, следовательно, не только внешнее сближение, но и взаимное духовное обогащение.

Упорное, ни перед какими затратами не останавливающееся, ускоренными темпами идущее освоение Русской Америки не могло бы не повлечь за собой возникновение теснейших, огромной важности культурных узлов между Россией и восходящей, одарённой огромными потенциями молодой культурой Соединённых Штатов. Весьма возможно, что Русская Америка, обогащённая открытием золота в её недрах и

пользуясь выгодами своей удалённости от метрополии, отделилась бы и образовала как бы вторую Россию, несравненно меньшую, но передовую, предприимчивую и, главное, демократическую. Обратное культурно-идеологическое воздействие её на самодержавную метрополию активизировало бы силы освободительного движения в империи, придало бы ему совсем иную окраску, и к середине XX столетия, вместо изнеможания под тиранической властью Третьего Жругра, русские достигли бы уже более гармонического строя и более нравственного, мягкого и справедливого уклада жизни.

Выход на Индийский океан, в соприкосновение с арабомусульманской культурой не на её захолустных окраинах, какими сделались Средняя Азия и Азербайджан, а у подлинных очагов этой культуры и, что ещё гораздо важнее, в непосредственное соседство с неисчерпаемыми духовными богатствами высокоразвитых культур Индийской и Индомалайской — всё это привело бы неизбежно к установлению сперва торговых, а потом и тесных культурных связей со всеми странами индоокеанского бассейна. Близкое ознакомление с накопленными и создающимися ценностями этих культур, со всем разнообразием и яркостью их психологических, социальных, религиозных, художественных обликов, с историческим и духовным опытом, который хранит каждая из них в своей литературе и быте, философии и религии, искусстве и нравственности, — всё это так раздвинуло бы горизонт мыслящих слоёв российского сверхнарода, что от его континентального полуевропейского провинциализма не осталось бы и следа. Двести лет продолжалось у нас культурное паломничество на Запад. Оно было необходимо, неизбежно, глубоко осмысленно и оправданно. Но исключительность этой обращённости русского взора на Западную Европу лишила русских возможности сопоставлять облики и ценности различных равновеликих культур; плоскостность и утилитаризм новейшей европейской цивилизации были восприняты широкими слоями как своего рода жизненная философия, как мироотношение, и удручающие последствия этого весьма далеки от своего изживания до сих пор. Культурное паломничество на Восток, к тысячелетним очагам духовности, ослабило бы воздействие этой Клингзоровской стороны западного духа, уравнило бы его тем идеализмом и той необходимой созерцательностью, без которых народная энергия оказывается обращённой на достижение только материальных благ, а ум — на постижение только рассудочно очевидных истин. Русские умеют хорошо ассимилировать. В ассимилированные же формы они вливают новое содержание; в итоге

возникают совершенно своеобразные создания культуры и цивилизации. Примеров множество. Вспомним хотя бы о русской литературе, которой мы по праву гордимся, одной из глубочайших литератур: ведь жанры, в которых она жила и живёт, заимствованы с Запада. Мало того: именно лишь после их ассимиляции родилась великая русская литература. Если же свершилось бы то, о чём я говорю, русская литература обогатилась бы новыми темами, жанрами, приёмами, сюжетами, и они оказались бы адекватны идеям и образам тех шедевров, которые в действительности так и остались невоплощёнными ни в чём. Русское изобразительное искусство обогатилось бы новыми способами видеть мир, оно не застряло бы на целых сто лет на реалистическом примитиве передвижников, а засверкало бы такими красками, композициями, чувствами и сюжетами, какие сейчас и представить невозможно. Русская архитектура, надолго истощившаяся после заимствованного с Запада, но по-своему претворённого классицизма, получила бы такой приток идей из неисчерпаемых сокровищ зодчества Востока, что вторую половину XIX и, наверное, всё XX столетие пришлось бы рассматривать не как период её глубокого упадка, а как её золотой век. Россия (пора уже это признать) не создала философии. Тип философии, выработанный античностью и Западом, оказался неадекватным глубинным потребностям русской обобщающей мысли и почти ничем её не оплодотворил. Так ли было бы, если бы перед широкими интеллигентными слоями предстали сто лет назад во весь рост философы и мифологи Востока? Консервативный провинциализм русского православия не был ни поколеблен, ни освежён вторжением европеизма. Но остался ли бы он столь аморфным и косным, если бы с Востока и Юга хлынул поток идей, выработанных тысячелетиями духовной жизни в этой колыбели всех религий, в Азии?

Главное же: сверхнароду российскому предстоит рано или поздно стать во главе созидания интеррелигии и интеркультуры. Возможно, что в дальнейшем ведущие роли в этом процессе перейдут к другим народам, но задача закладывания основ ляжет, по-видимому, именно на его плечи. Такому народу больше, чем какому-нибудь другому, необходимо не только знание, но и душевное понимание чужих психологий, умение синтетически претворять и любить другие умственные уклады, культурные облики, жизненные идеалы, иные расовые и национальные выражения духа. Что же могло бы сильнее способствовать этому, как не взаимопроникновение, дружеское, и, конечно, не единиц, а именно широких слоёв, с историческими реальностями других культур? Что иное могло бы так уберечь от навязывания другим народам именно своего и только своего

социально-политического строя, именно у нас господствующего в данный момент мировоззрения?.. — В нашей истории должно было быть, но, к великому горю нашему и всего мира, не совершилось культурное паломничество на Восток и Юг.

Пока мы не освободимся от нашей национально-культурной спеси, пока не перестанем чувствовать так, как если бы Россия и в самом деле была лучшей страной на свете — до тех пор из нашего огромного массива не получится ничего, кроме деспотической угрозы для человечества.

Возможно, некоторых из читающих мои аргументы не убедили, и они остались при своём недоумении относительно того, как же можно сожалеть о том, что российская экспансия не направилась полтора столетия назад в сторону Ирана. Разве не сводятся мои аргументы к перечислению выгод, которые получила бы от этой экспансии Россия, а интересы Ирана совершенно не принимаются в расчёт?

Нет. Аргументы мои сводятся совсем к другому. Они сводятся к перечислению тех преимуществ, какие приобрёл бы в случае этой экспансии российский сверхнарод не сам по себе и не сам для себя, а в качестве носителя совершенно определённой всемирной миссии. Сами по себе народы России просуществовали эти полтора столетия без присоединения Ирана, не погибнув и не захирев. И если бы моим ходом мыслей руководил национальный эгоизм, они были бы выражены где угодно, но только не на страницах «Розы Мира». Те изменения в российской культуре, истории, психологии, характере и мироотношении, которые вызвала бы эта экспансия, отразились бы и на том, что распространяет над миром Россия в середине и к концу XX столетия. Распространяемое ею было бы иным: более широким, свободным и гуманным, более терпимым, ласковым и добрым, более духовным. А в этом заинтересованы все народы мира, и народ иранский не меньше других. Исторические же потери, которые понёс бы этот народ в случае завоевания Ирана русскими полтора столетия назад, вряд ли сделали бы его более несчастным, чем он был эти полтора столетия под владычеством своих шахов, и уж, во всяком случае, не более несчастным, чем была Средняя Азия после присоединения её к России.

Но ведь выхода в Индийский океан — скажут — не произошло. Зачем же такая тирада о том, что упущено?

А затем, что мы, во-первых, разбираем вопрос о Втором уицраоре России, о его отношении к мировому пространству и о том, в чём он был прав и в чём неправ. А во-вторых, как это всякому известно, мы учимся именно на ошибках и упущениях прошлого. Осознав, наконец, что именно



мы упустили, как исказили и утяжелили этим свой исторический путь и как затруднили осуществление миссии сверхнарода, мы в новых условиях, в другую эпоху можем постараться нагнать упущенное. Под этим я разумею, конечно, не какие-либо попытки вернуть себе Русскую Америку или захватить Иран: ныне и Россия, и весь мир проходят уже совершенно иной этап, и всякому ясно, что в современных условиях подобные замыслы были бы только смешным и вредным анахронизмом, напоминая того чудака, который плясал на похоронах лишь потому, что упустил это сделать на свадьбе. Я разумею совсем иное: воспитывание в себе, в нашей нации, в её широчайших кругах именно такого отношения к другим культурам, другим психологиям, укладам, мировоззрениям, отношения дружественного и чуткого, исполненного понимания, интереса, терпимости и любви; такого отношения, сутью которого является устремление духовно обогащаться самому, духовно обогащая всех.

Итак, Второй уицраор, временами почти задохнувшийся от мечты о своём физическом, то есть военном, могуществе, не только не сумел стать в уровень всемирных задач сверхнарода (на этот уровень не может стать ни один уицраор вследствие своей демонической природы), не только не насытил идею внешнего могущества каким-либо содержанием, но он не оказался на уровне тех эпохальных задач, какие ставились перед государственностью империи. Он остался глубоко провинциальным. Ибо всякий национализм, если понимать под этим словом предпочтение своей нации всем остальным и преследование её интересов за счёт остальных наций, есть не что иное, как провинциализм, возведённый в принцип и исповедуемый как мировоззрение.

Так доказал Второй уицраор свою несостоятельность по отношению к внешнему пространству. Как же справился он со своей задачей по отношению к пространству внутреннему?

## Глава 2

### Второй уицраор и внутреннее пространство

Пытаясь проектировать на плоскость человеческих понятий те требования демиурга, которые были поставлены перед демоном государственности при Петре, я подчеркнул в предыдущих главах насущную необходимость внутренних в России преобразований, а именно: упразднение боярства как ведущей силы (это и было совершено), передачу ведущей роли дворянству (это тоже было совершено) и среднему классу (этого совершено не было) с тем, чтобы постепенно поднять и вовлечь в гражданскую и культурную жизнь нищее, дикое крестьянство. Этого не было совершено тоже.

Тот исторический факт, что это не было совершено Петром, составлял только половину беды: сроки ещё не были упущены. Настоящая беда заключалась в том, что этого не сумели или не хотели сделать его преемники в течение полутораста лет.

Если правильно понять те замечания об интеррелигии, интеркультуре, о превращении государства в братство, которые мне уже довелось сделать в предыдущих главах, то нельзя не сделать горького вывода: зрелище сверхнарода, вызванного из небытия ради подобных целей и после тысячи лет всё ещё пребывающего на 80 % своего массива в состоянии рабства, — такое зрелище вызывает тревогу и глубокую печаль.

Печален при этом не столько сам факт крепостного права: на известном этапе это было злом вряд ли отвратимым, обусловленным рядом объективных причин, всем известных, и обрисовать которые здесь не для чего. Печально и непоправимо было запоздание раскрепощения.

Нас ужасает зияющая бездна между долженствованием сверхнарода и тем этическим качеством народоустройства, которое он допускал у себя столько веков. Пугает разрыв между реальным этическим уровнем сверхнарода и тем уровнем, который требуется для осуществления его миссии. Притом задержка освобождения имела ряд ближайших, прямых следствий, отозвавшихся в свою очередь на действительности нашей, послереволюционной, эпохи.

Какие из этих следствий наиболее важны с точки зрения метаистории?

Первое следствие — экономическое и культурное. Это — троглодитский уровень материального благосостояния и соответствующий ему уровень требований к жизни. Не говоря уже об этом как о полном,

безотносительном зле, не возвышавшем, а принижавшем человека, поймём, что без этого фактора формация Третьего уицраора — этот монстр ХХ столетия — не получила бы возможности развернуть свою методику, мыслимую лишь в обществе, приученном ко всевозможным лишениям, убожеству и нищете.

Второе следствие — нравственно-психологическое. Это — устойчивые, глубоко вкоренённые в психологию народных масс навыки рабского мироотношения: отсутствие комплекса гражданских чувств и идей, унижительная покорность, неуважение к личности и, наконец, склонность превращаться в деспота, если игра случая вознесла раба выше привычной для него ступени. Как трагически звучит признание, сделанное уже на пороге ХХ века одним из корифеев нашей литературы, Чеховым, о том, что даже он — он! — годами, всю жизнь, «по капле выдавливал из себя раба».

Без этой трудно и долго изживавшейся психологической особенности возникновение и пышный расцвет Третьего уицраора были бы невозможны также.

Третье следствие — религиозное в широком смысле. Из рабской психологии, из убожества требований и стремлений, из узости кругозора, из нищеты проистёк и паралич духовно-творческого импульса. Нельзя сидеть при лучине с раздутым от голода животом, с небогащённым ни одною книгою мозгом и с оравой голодных и голых ребят и творить «духовные ценности». Народ, в лице крупнейших представителей доказавший духовную свою одарённость, глубину и размах религиозных возможностей, в массе своей за много веков не произвёл духовных движений, более осмысленных, чем старообрядчество. Обзорение русских сект оставляет неизгладимо тягостное впечатление, в особенности на того, кто хотя бы поверхностно знаком с историей религиозной мысли в античности, в Византии, в Индии, в Германии. Русское сектантство — это либо всплески древней оргиастической стихии, смешавшейся с неузнаваемо замутнённой струёй христианства и превратившейся в мелкие завихрения мистической похоти, в подмену духовности излучениями Дуггура; либо же это рационалистические секты западноевропейского происхождения, свободные от хлыстовской мути и скопческого изуверства, но удручающие мелочностью своих заповедей, удивительным отсутствием эстетического начала, безмолвием воображения и какою-то общею бескрылостью, я бы сказал — безблагодатностью. В интеллектуально-обобщающую, с позволения сказать «богословскую», сторону всех этих сект лучше не углубляться совсем: это пустынный ландшафт, усеянный

только мелкими коллочками озлобленной и высокомерной полемики. Что же касается господствовавшей церкви, то, кроме пяти-шести имён выдающихся подвижников, в лоне этого единственного подлинно духовного водоёма великой страны за два столетия не шелохнулась ни одна волна, не засверкала ни одна струя. Только бесшумные подводные течения — паломничество, странничество, келейное молитвенное делание да мистериальное приобщение масс к трансмифу христианства через богослужение и таинства ещё свидетельствовали, что церковь не умерла.

Таково было третье следствие векового рабства масс и церковной политики империи. Вряд ли нужно указывать, что и без этого следствия было бы невозможно возникновение громады Третьего уицраора в том душеубийственном виде, в каком она сформировалась в истории. Был бы невозможен позднейший разлив примитивного материализма во всю ширь необозримого рабочего класса и полуинтеллигентных слоёв. Было бы немыслимо то религиозное невежество новых советских поколений, которое сравнимо разве только с первобытным нигилизмом знаменитого в науке племени кубу. Словом, была бы невозможной устойчивость такого религиозного уровня, который поставит перед просветителями следующей эпохи, перед провозвестниками Розы Мира, задачу, почти сверхчеловеческую по своей трудности.

Но ещё и другая вина удлиняла список вин отупевшего демона великодержавия. Я уже упоминал о ней вскользь; это — игнорирование насущнейшей исторической потребности — передачи ведущей государственно-общественной роли среднему классу.

Излагать правительственные мероприятия, в продолжении полутора столетий тормозившие развитие купечества и мещанства, державшие точно в опале низшее духовенство; указывать на бездействие государственности вплоть до эпохи Александра II в деле создания межсословной интеллигенции — значит повторять то, что известно всем. Но не мешает, может быть, высказать мысль, многими разделяемую, хотя ещё не сформулированную, насколько мне известно, в нашей литературе: если бы государственность, не разрывая с дворянством, сумела опереться на купечество и мещанство ещё в XVIII веке, если бы формирование национальной буржуазии и разночинной интеллигенции нашло место несколькими десятилетиями раньше, чем это получилось, — история России повернула бы на другой путь, вероятнее всего — на путь эволюционный в узком смысле этого слова. Невозможно даже вообразить, от скольких бедствий и трагедий избавило бы это и нашу родину, и всё человечество.

Однако, размышляя о винах Второго демона великодержавия, приведших в итоге к снятию с него санкции демиурга и к его гибели, мы не можем не спросить себя: но, быть может, эти вины несёт не столько он, сколько неудачные проводники его воли, преемственно возглавлявшие Российское государство в последние века?

С древних времён вплоть до XX столетия Россия оставалась наследственной монархией. Поэтому династия становилась сама собой в положение главного проводника воли уицраоров. Но династию составляли не призрачные автоматы, не идеально пригодные для уицраора агенты, а живые люди, разнохарактерные по своим врождённым свойствам. Создавалась своеобразная шкала различных степеней инвольтированности. Иные из монархов становились в известной мере проводниками демонической воли лишь в силу занимаемого ими положения и, так сказать, логики власти; отсутствие специальных способностей делало их для уицраора только терпимыми, не более. Другие оказывались и вовсе непригодными для его целей: вялость умственных движений, крайняя неуравновешенность натуры или младенческий возраст при отсутствии подходящего регента делали их неспособными к осуществлению какой бы то ни было целеустремленной цепи деяний. Таких приходилось устранять насильственным путём (Иоанн VI и Анна Леопольдовна, Пётр III, Павел). Таким образом, столкновение между волей уицраоров и живою пестротой человеческих характеров было одним из трагических внутренних противоречий того народоустройства, которое уицраор хранил и укреплял и которое могло возглавляться только наследственным монархом. Принцип наследственного абсолютизма оказывался инструментом крайне несовершенным, ненадёжным, искажавшим осуществление метаисторического плана уицраоров постоянным вмешательством случайностей.

Но положение демона государственности осложнялось ещё и тем, что, устраняя одних претендентов на власть и возводя других, к тому же роду принадлежавших, он создавал нечто, выходявшее за пределы его разумения, как и всё, связанное с областью этики, ибо уицраоры аморальны по своей природе. Я разумею сеть человеческой кармы, пряжу вин и воздаяний, нравственный закон преступления и возмездия. Согласно этому закону, преодолеваемому нечасто и лишь вмешательством могущественных Провиденциальных начал, вина, не искупленная при жизни, как бы раздваивается, отягощая не только посмертье совершившего, но и посюстороннюю судьбу его потомства.

Можно представить себе возникновение капитального психолого-

исторического исследования, построенного на кропотливом изучении огромного биографического материала о жизни представителей династии Романовых, — исследования, которое вскрыло неуклонное осуществление закона кармы от патриарха Филарета до последнего императора и его детей. В нём пришлось бы коснуться не только внешнего течения судеб, но и глубины душевной жизни, внутренних коллизий, проникнуть в лабиринт которых может лишь тот, кто сочетал эрудицию и беспристрастие учёного с воображением художника и с интуицией мыслителя. Я этими данными не обладаю, и в мою задачу входит лишь указание на возможность такой темы да несколько беглых замечаний об отдельных узловых моментах этой вековой династической трагедии.

Умерщвляя своего сына Алексея, Пётр I так же мало подозревал о том узле, который он завязывает, как и его невидимый инспиратор. Бразды правления оказались в руках последовательного ряда членов династии, право на трон каждого из которых подвергалось сомнению. Из числа тринадцати монархов, занимавших престол от Петра Великого до Николая II, четверо взошли на трон путём переворота, а шесть погибли насильственной смертью. В залах Зимнего дворца и Ропши, в опочивальне Инженерного замка, в шлиссельбургских казематах и в подвалах революционного Екатеринбурга, даже на освещённой скупым зимним солнцем петербургской набережной, наступал самодержцев роковой час, а нарастающий клубок вин переходил, обогащаясь новыми и новыми нитями, в судьбу их преемников.

Таким образом, столкновение между волей уицраора и непонятным ему законом человеческой кармы было вторым противоречием того народоустройства, которое он охранял и укреплял. Цепь же дворцовых переворотов оказывалась только выражением этой метаисторической неупорядоченности в вопросе передачи власти. Лица, стоявшие во главе державы, удачные или неудачные проводники воли Жругра, несли в посмертии каждый своё. Но ответственность за то, что в течение двухсот лет демон государственности не сумел и даже не пытался создать исторического инструмента, более совершенно воспринимающего инвольтацию и обеспечивающего закономерную смену человекоорудий во главе государственности, мог и должен был нести, конечно, только он сам.

Но главное ещё не в этом. Если, рассматривая историческую деятельность уицраора, мы хоть на миг упустим из виду конечную его цель и мечту — идеальную тиранию, — мы запутаемся в противоречиях и в конце концов ничего не поймём в разбираемом материале. Цель идеальной тирании маячила перед Вторым уицраором сперва как отдалённая мечта, но

со времени Петра Великого становится заметно следующее: демон великодержавия начинает как бы раскачиваться между попытками выполнить волю демиурга — и своей собственной тенденцией к превращению государственности в тиранический аппарат. Это можно проследить в деятельности Анны, Екатерины II, Павла и, наконец, Александра I. В конце царствования последнего готовность уицраора к выполнению демиургических предначертаний гаснет совершенно, и Николай I, став, наконец, послушным орудием охваченного непомерной гордыней уицраора, вступает на тот же гибельный путь, на который за триста лет перед тем вступил Иоанн Грозный.

Так приходим мы к пониманию причин, вследствие которых Вторым Жругром была утрачена санкция Ярсвета и тем самым он оказался исторически обречён.

Я не хотел бы, однако, чтобы это рассмотрение деятельности Второго уицраора было бы воспринято в плане запоздалой критики. Это не критика, а попытка оценки исторической деятельности того, кто три столетия возглавлял созидание цитадели игв внизу, в Друккарге, и цитадели российского великодержавия — наверху, здесь. Лишь метаистория может приближаться к оценке исторических явлений через постановку вопроса: а что произошло бы, если бы в таком-то случае был бы сделан не этот выбор, а другой, победила бы не эта сила, а противоположная? Метаисторическое размышление и чувство масштабности помешают при этом задавать вопросы касательно явлений второстепенных, а усвоенная методика воспрепятствует растеканию в предположениях фантастических и неправдоподобных. По-видимому, только на этом, пока что, пути возможно переключение общих положений телеологии, общего понимания истории как цепи знаков в прочтение этих знаков, в расшифровку действительности, в истолкование конкретных исторических явлений.

## Глава 3

### Снятие санкции

Когда граф Пален вырвал наконец у цесаревича Александра согласие на отстранение от власти Павла I, это было согласием именно на его отстранение. Об убийстве полубезумного императора вопрос не возникал. Предполагалось, что внезапно арестованный государь подпишет акт об отречении и будет отправлен в Павловск. Но никто из знавших характер Павла Петровича, не мог быть уверен, что в эту ночь не прольётся царская кровь. Цесаревичу предоставлялась полная свобода тешить себя упованием на благополучный исход предприятия, сколь угодно отгонять мысль о том, что несчастный маньяк, считавший себя правым всегда и во всем, будет защищать своё царское достоинство и свои права, пока жив. Такая мысль не могла не гореть в трепещущей душе Александра. И когда кровь действительно пролилась, он счёл себя виновным в отцеубийстве.

Если бы его восшествие на престол было законным, этим он принял бы на себя, как и всякий самодержавный монарх, груз государственной кармы: тот самый груз, который влечёт за гробом, после распутывания кармы личной, участь строителя-раба в цитадели уицраоров. Теперь же Александр отягчил своё эфирное существо безмолвным, не формальным, а внутренним согласием на отцеубийство. Подобное преступление влечёт за собою в посмертии падение в глубину трансфизических магм.

Конечно, то обстоятельство, что этот акт был, в сущности, мерой самообороны и Александра, и всего общества от деяний власти, внушённых заживо распадающейся психикой Павла I, облегчает в высшей степени тяжесть этой вины. Но субъективная совесть Александра говорила ему, что это не так. Был ли то страх загробного возмездия? Преобладающим оттенком его раскаяния было, по-видимому, другое: стыд. Стыд — и жалость к убитому. Стыд, жалость и то ни с чем не сравнимое, пронизывающее жгучее ощущение, которое составляет самую суть угрызений совести.

Это неотступное чувство, преследовавшее его везде и всегда и не утихавшее с годами, послужило одним из важнейших слагаемых в той сумме причин, которые привели его к беспримерному в истории повороту судьбы — в самом конце царствования и уже за его хронологическим пределом.

Вторым слагаемым был врождённый мистический склад его природы.



Это был один из носителей такого характера, такого склада ума и такой концепции чувства, при которых человек ощущает все свои действия (и в тем большей степени, чем большая власть сосредоточена в его руках) как бы в непрерывной связи с некими инстанциями Добра и Зла, пребывающими и вне его, и внутри его души в духовном единорстве.

Трепет глубокой совести (некоторые поверхностные наблюдатели принимали его за слабость натуры) и чувство ответственности достигали мучительной остроты благодаря стремлению прикладывать ко всему религиозно-нравственный критерий и склонности к самоанализу. Воля была достаточно крепка, чтобы выдержать борьбу с Наполеоном, если при этом сознавалось сочувствие человеческого множества; но недостаточно устойчива для неуклонного проведения широких замыслов, если в этих замыслах он был одинок. А одиноким его делало всё, и притом всё более и более одиноким: и положение самодержца, и оригинальность натуры, и склонность к идеям, не находящим отзвука в эпохе, и коллизии личной жизни, и, наконец, врождённая скрытность, усугубляемая чувством совершённого преступления.

Третьим же из главных слагаемых было в натуре Александра то, за что в кругах, близких к императору и чутких к тому, что от его личности излучалось, его до 1812 года называли «нашим ангелом», а после победы над Наполеоном прозвали «Благословенным» и «родомыслом девятнадцатого века».

Можно, конечно, усугубить свою врождённую близорукость до того, что во всех чуждых явлениях общественно-политической и идейной жизни видеть мотивы только низкие и мелкие. Тогда в этих прозвищах Александра мы не усмотрим ничего, кроме проявлений монархического низкопоклонства. Но важно то, что даже низкопоклонство присвоило ему именно эти наименования и никаких иных. Почему-то ни один льстец даже не пробовал именовать его «мудрым», «доблестным» или «великим», но множество людей, и не только придворных, но и в слоях дворянских, купеческих и даже мещанских называли его почему-то именно «Благословенным», именно — «родомыслом». Может быть, эти прозвища были неточны, философски и исторически не оправданы; в них сказался, конечно, не вывод метаисторической мысли, а совсем другое: живая потребность народа, неискущённого в философских и мистических тонкостях, выразить своё понимание того, что личность этого монарха имеет какое-то особое значение, в высшей степени светлое, нравственное и, как тогда говорили, «угодное Богу». Очевидно, от личности царя излучалось нечто, резко отличавшее его от царственно-величественного,

иногда благоволящего, иногда грозного и жуткого, но никогда не «ангельского» излучения личности его предшественников. Такое излучение даётся только глубокою духовной жизнью, привычкой к ощущению своего этического долженствования и взвешиванием всякого своего шага на нравственных весах.

Эти три слагаемых — глубокая совесть, мистический склад природы и чувство этического долженствования себя как самодержца и человека — были проявлениями глубиннейшего существа императора Александра, его лучшего, его высшего Я.

Противостояло же этому два фактора: врождённый и приобретённый.

Только 1/16 часть крови в жилах Александра была русской. То была наследственность Великого Петра, прошедшая через психофизическую форму убогого Петра III и душевнобольного Павла. Как бы отравленная на этих ступенях рода, она смешалась на них с густой, упорной, неуступчивой кровью владетельных родов Германии. Благоговение перед прусским началом; ощущение всего немецкого как иррационально-родственного; любовь к военной парадности; представление о высоком, будто бы нравственном значении, военной вообще в сочетании с мелочным и формальным пониманием качеств воина; восторженное, почти экстатическое отношение к шагистике и муштре — всё это передавалось в династии с поразительной неуклонностью из рода в род, начиная с Петра III и до Александра III включительно. В Александре I это начало было выражено слабее, чем во многих других, но свободным от него он не был и быть не мог. Это было сильнее его, потому что это была наследственность.

И, наконец, фактор приобретённый: он играл в деятельности Александра немалую роль, и притом чисто отрицательную. Это была та «логика власти», которая присуща всякому единодержавию. Уже самое пребывание на престоле вынуждает монарха порою подчиняться голосу демона государственности: вопреки морали, вопреки собственной человечности, вопреки высокому разуму. Многие из таких проявлений, хотя и не все, иные политики бывают склонны именовать оправдывающими и даже льстивыми терминами: «государственный здравый смысл», «государственный реализм». Демон великодержавия самостен и абсолютно эгоцентричен. Он не способен поступаться своими непосредственными интересами ради каких бы то ни было общих идей. Именно этим объясняются психологически те случаи, когда преобразования, начатые под влиянием высоких идеалов, замирали, не доводились до конца или искажались до неузнаваемости; когда государство упрямо отказывалось от малейшего ограничения своего суверенитета ради объединения с другими

для преследования целей общих, а не частных; когда, упираясь в политическую традицию, точно в землю копытами, власть сопротивлялась силам в собственной стране, добивавшимся самых насущных, исторически оправданных реформ; когда, наконец, охваченная животным страхом за собственное существование, она отваживалась на массовые репрессии, этим отталкивая от себя и тех, кто доселе были её сторонниками. Надо быть совершенным родомыслом, чтобы, находясь на престоле, никогда не поддаваться этому голосу. Александр же, вопреки молве, родомыслом не был.

В его сложной натуре голос «государственного здравого смысла» причудливо скрещивался с иррациональным страхом перед люциферически-революционным началом, с глубокой травмированностью психики революционными бурями в Европе. Этот голос спорил с его лучшим Я все те годы, пока длилась его реформаторская деятельность. Этот голос заставлял его мельчить и выхолащивать проекты преобразований; звучание этого голоса победно усиливалось, когда с ним сливался хор реакционных общественных кругов с участием солиста Карамзина, вопивших за сохранение крепостного права; этот голос заглушил все остальные перед Отечественной войной, когда идеолог и осуществитель реформ Сперанский был отправлен в ссылку. Именно это всё и доказывает, что родомыслом Александр не стал, несмотря на несомненные к тому возможности.

Но наступил великий исторический момент, когда противостояние двух волей в его стране и в его душе — воли демиурга и воли самодовлеющего великодержавия — внезапно совпали и раздиравшееся ими сознание царя озарилось блеском совершенной уверенности в правоте его дела, в помощи Божией. — Наполеон вторгся в Россию.

Провиденциальность исхода Отечественной войны настолько бросается в глаза, что не нуждается ни в каких пояснениях. Бородинские залпы и зарево Москвы воистину пробудили дремотное сознание и волю тысячелетнего раба. Что же касается провиденциальности самого хода событий, эту войну ознаменовавших, то она уясняется скорее всего из тех огромных исторических итогов, которые война 1812–14 годов могла иметь, только развиваясь именно так, а не иначе. Пробуждение самосознания и активизация сил во всех слоях населения были бы невозможны без мощного толчка, каким явились Бородинская битва, занятие неприятелем древнего, священного сердца страны и пожар его. Сокрушение империи Бонапартов не совершилось бы, если бы, как желал Кутузов, русские ограничились изгнанием врага из родных пределов. Проникновение в

русское общество идей и живых впечатлений более зрелой культуры — а последствия этого проникновения были неисчислимы — оказалось бы немислимо без перенесения войны на поля Западной Европы и длительного пребывания русской армии там. Всё это очевидно. Гораздо менее очевидно и менее изучено другое: радикальное отличие первоначальной идеи Священного Союза, принадлежавшей лично Александру, от того, во что выродился Священный Союз, когда Александр, не встречая понимания ни в России, ни на Западе, отступил, и европейская реакция, обретая орудие в «государственном здравом смысле» и аморальной воле Меттерниха, использовала это учреждение в интересах местных охранительных начал.

Отблеск высокого этического долженствования всегда мерцал на представлениях Александра о верховной власти, её смысле и назначении. С этими представлениями, возникшими ещё в юности отчасти под влиянием Лагарпа и от сопоставления с разнузданным произволом Павла I, он вступил на престол; исходя из них, он предпринял оборвавшиеся потом реформы; эти представления маячили перед его мыслью в 1812, 1813 и 1814 годах; и они же осенили высшей внутренней санкцией идею Священного Союза.

Идея Священного Союза, как она рисовалась Александру, заключалась, по-видимому, в объединении всех ведущих наций Европы в некое гармоническое, религиозно-нравственной истиной вдохновляемое целое, под руководством тех, кто представлялся сознанию того времени естественными, законными правителями народов. Руководство это становилось инстанцией, превышавшей суверенитет отдельных наций, и должно было обеспечить Европе безопасность от войн, переворотов и диктатур, внутреннее спокойствие, развитие духовных сил и постепенное нравственное совершенствование христианского мира.<sup>[29]</sup>

Таким образом, идея Священного Союза была первым в истории шагом к объединению человечества, по крайней мере христианского, сверху, мирным путём. Никаких прецедентов этому мы не найдём, разве только в космополитической иерократии римских пап. Нужно ли, однако, показывать, насколько ближе была и идея, и даже методы Священного Союза к гуманистическим, гражданственным предприятиям XX столетия, чем к насильственному жреческому автократизму средних веков? Дальнейшим этапом этой идеи было не что иное, как расширение идеального объёма желаемого союза до всечеловеческих границ и попытка конкретно воплотить его в Лиге Наций, потом в ООН и, наконец, во всемирной федерации будущего.

Метаисторика всё это удивить не может. Если предощущение, хотя бы человечески ограниченное, целей Яросвета как целей превращения всемирного народоустройства в братство станет его драгоценнейшим упованием, может ли ему показаться странным или психологически необоснованным то, что первое, приближённое отображение этого замысла возникло в сознании именно этого монарха? В чьём же тогда сознании, если не в сознании Александра, самого глубокого, самого религиозного и самого этически чуткого человека из всех, занимавших русский престол?

Но если в каком-либо государстве, за которым стоит уицраор, государственный руководитель искренно и всерьёз провозглашает идеалы этического порядка, за этим следует одно из двух: либо силы демона великодержавия устраняют такого провозвестника как досадную помеху, либо уицраор надевает провозглашённый идеал, как маску, на собственную морду, постепенно выхолащивая первоначальный замысел провозвестника и превращая это замысел в его противоположность.

Тем более этого не могло не случиться с идеей, которую Александр опередил своё время на целое столетие. Связанный уицраориальным принципом легитимности, император не смог измыслить никакой высшей надгосударственной инстанции, кроме как доброй воли и живой совести христианских государей. А так как это были не идеальные люди, а самые обыкновенные короли, руководимые прежде всего пресловутым «государственным реализмом» и «здравым смыслом», то можно было сказать с самого начала, что практика дискредитирует идеал, и ничего больше.

Естественно, что в этом величайшем, действительно мировом замысле своей жизни Александр оказался одиноким ещё больше, чем в каком-либо другом.

Через три-четыре года императору стало окончательно ясно, что руководители европейских держав проникнуться подобными замыслами неспособны; что в умственной сфере России идея эта не воспламенила ни одного сердца, не нашла отклика ни в одной душе; что государственных деятелей, на понимание которых император мог бы опереться, нет — нет ни единого; и что Священный Союз в том виде, как он мечтался, неосуществим. Хуже того: уже будучи создан по его же инициативе, он неуклонно трансформируется в чисто политический инструмент феодальной реакции и, в частности и в особенности, в орудие узкой, своекорыстной политики австрийского двора.

Победителем Наполеона, арбитром великих держав, господином Европы он возвратился в Петербург. Тонкий дипломат, джентльмен до

кончиков ногтей — таким остался он в памяти высшего европейского общества.

Неисправимый любитель военных парадов, способный проводить часы и дни над изобретением новой формы петлиц или галунов для какого-нибудь гвардейского полка; царственный всадник, в минуту торжественного въезда в столицу внезапно бросившийся с саблей наголо за мужиком, неосторожно перебежавшим ему дорогу; друг Аракчеева — таким узнали его теперь в России.

Таким знал его и Пушкин. Вглядевшись в «бюст завоевателя», он решил, что портрет правдив:

Напрасно видишь тут ошибку:  
Рука искусства навела  
На мрамор этих уст улыбку,  
А гнев на хладный лоск чела.

Но рука искусства не сделала ни единого движения резцом, чтобы дать понять людям, что перед ними — портрет мечтателя о превращении человечества в христианское братство; портрет жадного искателя мистических бесед с престарелой духовидицей, госпожой Крюдинер; портрет неутомимого читателя Священного Писания, отцов церкви и визионеров Запада; портрет несчастного человека, часами простаивавшего на коленях в своей одинокой комнате, а ночью плакавшего в подушку как дитя.

Как понимал он крушение своей мечты об идеальном Священном Союзе? Вероятно, он видел в этом знак того, что его светлый замысел неугоден Провидению. Неугоден не сам по себе, а потому, что с этим замыслом осмелился выступить он — он, преступник, нарушитель самых основ нравственного миропорядка в ночь своего восшествия на престол.

Ему постоянно чувствовалось так, будто Провидение ждёт от него какого-то шага, о котором он не может догадаться. Очевидно, деятельностью своей, как государя, он должен искупить этот грех. Да и только ли этот? Разве не лежат не нём вины всей династии, этого «тёмного дома Атридов, где возмездие переходит с головы на голову»?<sup>[30]</sup> В 1812 году он надежды Промысла оправдал — это он чувствует непреложно. Но до и после войны... Что он должен сделать, что? Священный Союз — это, очевидно, то, что следует, но его деяние не принято свыше: он недостойн. Реформы?..

Реформы...

Да: вот была задача, которую он не сумел решить. Вот была последняя оттяжка, данная демону великодержавия! Быть может, если бы возвращение Александра из освобождённой им Европы ознаменовалось широкими преобразованиями; если бы в цитадели уицраоров демон сам разрушил темницу Навны, а его человекоорудие — император — отобразил этот великий акт тем, что, ограничив права самодержца и отменив жестокие запреты, открыл врата свободному волеизъявлению народа — санкция демиурга не оказалась бы снята с демона государственности. Но Жрутр становился всё самовластнее. Косность его росла, надежда на возможность инвольтации его силами Яросвета иссякла. Его голос — то, что мы называем логикой власти и государственным здравым смыслом, совпадал с голосом наследственности и с иррациональным страхом перед революцией. Он и раньше твердил государю, что, становясь на путь реформ, Александр ошибся; после пребывания на Западе Александр убедился в этом окончательно. Этот голос уверял, что меттерниховский вариант Священного Союза — всё же лучше, чем новый тур европейских революций и падение России в этот потоп. И этот же голос способствовал раздвоению жизни Александра с 1816 года: с одной стороны — Аракчеев, реакция, военные поселения, Магницкий — то, что могло, казалось, хотя бы отсрочить бурю, раскаты которой воспринимались издалека; с другой — тайная, напряжённая, скорбная жизнь души, её уход во внутреннее пространство, метание от идеи к идее, смертельная тоска от желания осмыслить, наконец, свой долг, понять своё должествование. Судить о том, на какой именно год падает момент прояснения, момент отчётливого понимания, что последний отблеск божественных лучей над помазанником и над всей империей погас, у меня нет данных. Очевидно только, что это произошло в конце царствования.

Но пока этого не совершилось, его религиозная жизнь требовала какого-то действия, видного всем, какого-то увековечивания его горячей веры, как бы благодарственной хвалы Богу за те героические дни борьбы с иноземным завоевателем, когда он чувствовал (всего какой-нибудь год из 25 лет царствования), что он делает именно то, чего хочет от него Бог. И он приступил к выполнению своего обета, к сооружению храма в память Отечественной войны. На конкурсе проектов его поразил необыкновенный архитектурный эскиз: могучие лестницы, поднимающиеся от реки, глубокие пещерные залы — усыпальницы павших на Бородинском поле, за рядами тяжёлых колонн таящиеся в обрыве высокой прибрежной гряды; над ними, уже на гребне — просторный и торжественный храм, а ещё

выше — подобно золотой вершине вознесённая в синеву великолепная ротонда с царственным куполом. Это был проект Александра Витберга — молодого, почти никому не известного, даже не питомца Академии художеств. И в императоре заговорил тот, чьё тончайшее художественное чутье, высокий вкус и эстетическая открытённость способствовали подъёму русской архитектуры до её зенита, а столицу превратили в один из красивейших городов мира. Проект был высочайше утверждён мимо всех проектов прославленных академиков, и в 1817 году в Москве на Воробьёвых горах, при стечении пятисот тысяч человек, после торжественного молебствия с участием нескольких сот иерархов церкви, в присутствии царя, был заложен храм Тела, Души и Духа.

Но год проходил за годом, а замысел не воплощался. Песчаный грунт Воробьёвых гор не мог выдержать тяжести столь грандиозного сооружения. Витберг был отстранён от руководства строительством, работы приостановлены. На Воробьёвых горах по-прежнему шумели берёзы и шелестели пустынные поля.

А он?

Внутренняя тревога гнала его с места на место, из одного дворца в другой, из города в город. В распутицу и метель, в стужу и зной мчалась, пугая прохожих, императорская карета по полудиким губерниям, по жалким приземистым городам, по штампованным на одно лицо военным поселениям. Один за другим восходили и опускались за свинцовый горизонт годы скорбной и уединённой работы духа внутри самого себя.

Но человека с таким душевным строем, каким был Александр, человека, чья совесть истекала кровью, как от величайшего преступления, от того, через что другой перешагнул бы, не замечая; человека, убедившегося за двадцать лет царствования в невозможности озарения государственности светом высших начал; человека, осознавшего на своих плечах тяжесть религиозного и этического долга за всю династию и за всю страну; человека, издавна задумывавшегося над высшей правдой иноческого пути и, следовательно, над искупительным смыслом отречения от престола, — такого человека эта работа духа неотвратимо должна была привести к выводу, переворачивающему жизнь в самых её основах и уводящему судьбу из поля зрения истории в сумрачную и таинственную даль.



## Глава 4.

### Подвиг

«Государственность отягощена первородным грехом; озарить её невозможно». — Вот в какую формулу, мне думается, мог бы он облечь субъективный опыт царствования, невольно пользуясь традиционными понятиями христианства.

Он сам, — и как монарх, и как нарушитель в кровавую ночь на 12 марта этических основ ради благополучия и себя самого, и своей державы, — он сам вдвойне стал носителем этого первородного греха аморальной государственности. Он чувствует себя ответственным и за тех, кто царствовал до него, и за тех, кому суждено царствовать в будущем. Может ли он эту ответственность оправдать, оставаясь на престоле? Но то облагораживание государства, какое вообще осуществимо практически, грозит расшатыванием всех скреп, революционным взрывом, крушением всего. К какому-либо иному просветлению нет объективных путей; да у отцеубийцы всё равно не было бы на то субъективного права.

Есть иная правда — надгосударственная. Единственная, в которой он незыблемо убеждён. Покаяние — любовь — духовное делание для человечества во имя Божие.

Что же: торжественное отречение от престола ради монастыря? Но он — не Карл V. Превратить интимнейшую драму судьбы и души в театрално-мистический маскарад на глазах всего мира... О, только не это! Монастырь — да, но уйти так, чтобы об этом не подозревал никто. Оставить державу тем, кто ещё молод, исполнен сил, не знает угрызений совести, не заклеимён преступлением, не догадывается об этих страшных дилеммах этики и религии. Уйти! Уйти безвестным странником, по пыльным дорогам, из села в село. Какой для него отрадой было бы просить милостыню! Но он лишён права даже на это. Богатейший из монархов земного шара, в нищенском рубище, клянчит грош у своих подданных: что за недостойная комедия!.. Нет. Посвятить в тайну двух-трёх людей — без этого не удастся ничего устроить, — в том числе императрицу Елизавету. Она поймёт. Она оправдает и поможет. И уйти так, чтобы все 40 миллионов подданных думали, что он почил. Чтобы закрытый пустой гроб был опущен на глазах у всех в усыпальницу царского дома.

Когда-то, в минуту величайшей опасности для его страны, он обмолвился, что лучше отпустит себе бороду и уйдёт в сермяге по дорогам,

чем покорится врагу. И вот наступило время не слов, а дел. Враг теперь — не император французов, а сам демон великодержавия, но уйдёт он от него именно так. В армяке или в чуйке, как простой мещанин, доберётся до намеченного монастыря. Постригаться ему ещё рано: сперва нужен послух. Поступить в послушание к одному из подвижников, которые прославили себя мудростью и чистотой жития. Молиться всю оставшуюся жизнь, очищая себя и искупая. Молиться за Россию. За грешный, кровавый царский род. За просветление его; за умудрение его; да минует внуков и правнуков чаша возмездия! А если этого не суждено, пусть зачтётся им на суде загробном эта малая лепта, которую принесёт он. За них! за всех! за весь народ, уже покрытый тенью чего-то неведомого, стоящего впереди, — чего-то непостижимо страшного.

Конечно, ход его мыслей не мог быть точно таким: я привношу оттенки, свойственные моему сознанию. Нельзя найти никаких указаний на то, что он сознавал или отчётливо чувствовал существование демона государственности и демиурга как трансфизических личностей, как иерархий. Кроме того, его должна была долго мучить идея, глубоко вкоренившаяся в церковном, в конфессиональном сознании: идея о том, что тот, кто помазан на царство, не имеет права добровольно сложить с себя корону — никогда и ни при каких обстоятельствах, ибо это равнозначно предательству задач, возложенных на него свыше. Вероятно, эта идея долгое время препятствовала ему совершить роковой шаг. Препятствовала до тех пор, пока он не ощутил явственно, что с тех сил, которые руководят его государством, Божие благословение снято и, очевидно, навсегда. Надо полагать, что только тогда он почувствовал себя вправе на уход. Во всяком случае, направление его душевного процесса, основные вехи внутреннего пути были, очевидно, такими. Это доказывается всем предшествовавшим и всем последовавшим.

Ранняя осень 1825 года, солнце, золотая листва. И уже не то мучительное беспокойство, которое заставляло метаться по всем губерниям и городам империи, но тщательно продуманный план приводит его в Таганрог. Рубеж жизни достигнут, совершается небывалый поворот судьбы. К государю не допускается никто, кроме императрицы, лейб-медика и камердинера: время, достаточное для последних приготовлений. Затем приносится гроб. Из Таганрога на север выходит высокий пожилой путник в одежде простолюдина, с мешком за плечами, с палкой в аристократически маленькой руке. А во дворце — заглушённые движения, шорох, шепчущие голоса. Гроб завинчивают и заливают свинцом. Россия оповещается о скорбном событии — безвременной кончине императора Александра.

Лейб-медик рисует профиль государя на смертном одре: это в столице должно послужить доказательством, что император действительно умер и в гробу действительно его тело. И гроб везут через всю Россию, чтобы в Петербурге опустить его с подобающими церемониями в усыпальницу царской фамилии.

Историческая наука ещё не произнесла своего авторитетного приговора над тем, что до сих пор носит в литературе странное наименование: «Легенда о старце Фёдоре Кузьмиче».<sup>[31]</sup> По-видимому, силы Жругров — и второго, и третьего — немало потрудились над тем, чтобы создать и в династии, и в обществе, и в научных кругах такое умонастроение, при котором самоё предположение об уходе императора Александра казалось бы фантастическим. Это естественно. В глазах государственной церкви подобный акт оставался изменой, предательством, духовным преступлением. Глазам династии он представлялся грозным соблазном для народа, опасным прецедентом, вызывающим сомнение в законности пребывания на троне всех последовавших монархов и, уж во всяком случае, сомнение в моральном существе государства. Понятно, что до гибели Второго уицраора серьёзное научное исследование этого вопроса оставалось практически неосуществимым. Когда же в трансфизических слоях России власть принял Третий Жрутр, возникло другое, не менее внушительное препятствие: чтобы над кем-либо из государей низвергнутой династии сиял ореол подвига, самоотречения, святости, допустить было нельзя. И всё же обнаруживаются новые данные, ждущие изучения. За рубежом появляются исследования, замалчиваемые здесь. После революции наука, став послушной рабой Третьего уицраора, поспешила дискредитировать имена многих деятелей прошлого, но мало к кому она отнеслась столь враждебно, как к Александру I. Его образ развенчивали, стремились унижить, измелчить, запачкать, стремились сделать психологически нелепым самое предположение о реальности его ухода. В этом, быть может, сказалась интуитивная догадка о том, что новый демон великодержавия приобрёл в лице этого великого духа непримиримого и могущественного врага. На «легенду» о старце Фёдоре Кузьмиче опустилось точно заговорщицкое молчание, и даже тот потрясающий исторический факт, что при вскрытии гробниц Петропавловской крепости гроб Александра I оказался пустым, остался почти никому не известен.

Я не могу вдаваться здесь в изложение аргументов в пользу этой так называемой легенды. Я не историческое исследование пишу, а метаисторический очерк. Тот же, перед чьим внутренним зрением промчался в воздушных пучинах лучезарный гигант; тот, кто с замиранием

и благоговением воспринял смысл неповторимого пути, по которому шёл столетие назад этот просветлённый, — того не могли бы поколебать в его знании ни недостаточность научных доказательств, ни даже полное их отсутствие.

О, сто лет назад он был ещё совсем, совсем не таким. Сохранился портрет во весь рост старца Фёдора Кузьмича, написанный неопытной кистью местного (кажется, тобольского) живописца. Этот документ был опубликован.<sup>[32]</sup> Он красноречивее любых доказательств. Он ошеломляет.

Огромный, голый, полусферический череп. Над ушами — остатки волос, совершенно белых, наполовину прикрывающих ушные раковины. Чело, на «хладный лоск» которого «рука искусства» наводила когда-то тайный гнев, теперь почти грозно. Губы, отчётливо видные между усами и редкой бородой, сжаты с невыразимой скорбью. В глазах, устремлённых на зрителя, — суровая дума и непроницаемая тайна. Горестной мудростью светят эти испепелённые черты — те самые черты, которые видели мы все столько раз на портретах императора, — именно те. Они преобразились именно в той мере и именно так, как могли бы преобразить их года и внутренний огонь подвига.

Для того чтобы «подделать» это портрет, чтобы умышленно (да и ради чего?) придать старцу нарочитое сходство с Александром и при этом с такой глубиной психологического проникновения постичь всю логику духовной трагедии этого царя — для этого безвестный живописец должен был бы обладать прозорливостью гения. Но здесь не может идти речь не только о гении, но даже о скромном таланте: как произведение искусства, портрет почти безграмотен.

Я невольно начинаю аргументировать. Мне бы хотелось привлечь все средства, чтобы передать другому своё знание. Потому что великих властителей с подобным историческим катарсисом едва ли удастся насчитать в мировой истории больше, чем пальцев на одной руке. Диоклетиан? Но, отказавшись от власти, он ушёл не в «пустыню», а просто в частную жизнь, как и Сулла. Карл V? Но он и в монастыре св. Юста не забывал государственных дел, а жизнь его там была окружена таким комфортом, какому позавидовал бы любой герцог. Нет, мне вспоминаются некоторые государи Индии, воистину великие — великие духом. Приходят на ум образы Чандрагупты Маурья, основателя первой Индийской империи, после блестящего царствования отрёкшегося от трона, вступившего на аскетический путь джайнов и покончившего жизнь тем искупительным самоубийством, которое допускается в этой религии: отказом от пищи; одна из колоссальнейших фигур всех времён и народов,

император Ашока, после сокрушительной победы над государством Калингой постигший греховность убийства человека человеком, возвестивший об оставлении им пути «завоевания мира» ради пути распространения благочестия и после длительного царствования, едва ли не светлейшего в истории, принявший буддийский монашеский сан. Но все эти судьбы глубоко индивидуальны. И второй истории о тайном уходе государя могущественной державы и о смерти его через много лет в полной неизвестности я не знаю.

Моё горячее желание — чтобы это было, наконец, понято. Именно поэтому я иногда прибегаю к историческим аргументам. Но этого я не должен, этого я не хочу. Это — задача исследователей. Я же — безо всякой, конечно, аргументации — могу только чуть-чуть указать на метаисторический смысл некоторых явлений.

Те годы совпали с последними годами жизни русского святого, которого можно и должно поставить рядом с великими подвижниками далёких времён: преподобного Серафима Саровского. Молва о нём широко разливалась по стране, и среди почитателей Саровского пастыря и чудотворца обозначились имена с великокняжеской титулатурой.

В конце 1825 года в Саровскую обитель прибыл неизвестный человек средних лет. Его исповедовал сам преподобный Серафим, и вновь прибывший был принят в монастырь под начало преподобного как послушник под именем Фёдора. Его происхождение и прошлое оставались неизвестными, по-видимому, никому, кроме преподобного.

Миновало несколько лет — время, достаточное для того, чтобы официальная версия о смерти в Таганроге императора Александра крепко вошла в общественное сознание. Немногие посвящённые свято хранили тайну: каждый понимал, что приоткрыть хоть крайний уголок её — значит закончить жизнь в казематах Шлиссельбурга либо в других, ещё более скорбных местах. У всех было ещё свежо в памяти 14 декабря, и малейший слух, способный посеять сомнение в правах императора Николая на престол, был бы истреблён в самом зародыше. Императрица Елизавета умерла. Новый государь наложил руку на её письма и дневники, прочитал их в полном уединении и собственноручно сжёг в камине.

Сжёг в камине. Но прошло немного времени, и в Саровскую обитель, отстоявшую от Петербурга на 1200 вёрст, внезапно пожаловал он, государь император. Аршинными, как всегда, шагами, выгнув грудь колесом и глядя вперёд стеклянным, трепет наводящим взором, прошествовал он со свитой в скромный храм. На паперти его ждал в праздничных ризах маленький горбатый старичок со множеством мелких морщин и с голубыми глазами,

такими яркими, будто ему было не 70, а 17 лет. Император склонился, и его пушистые, благоухающие, холёные подусники коснулись руки святителя — бледной, с загрубевшими от постоянной работы пальцами, но странно пахнувшей кипарисом.

После торжественной службы и не менее торжественной трапезы государь удалился в келью настоятеля. И там в продолжение двух или трёх часов длилась беседа троих: Серафима Саровского, Николая I и того, кто теперь трудился в Сарове под смиренным именем послушника Фёдора.

Что почувствовал Николай, увидев своего предшественника на престоле, родного брата, здесь, в глуши, нарушаемой лишь колокольными звонами, в простой чёрной рясе? Сколь ни был он упоён всегда собственным величием, но в первую минуту встречи смешанное чувство трепета, ужаса, скорби, преклонения, странной надежды и странной зависти не могло не пройти волной по его душе. В духовные трагедии такого рода, как трагедия его брата, он не верил никогда, всё подобное казалось ему или блажью, или комедией. Теперь — может быть, всего на несколько часов или даже минут — он понял, что это не игра и не безумие; и смутная радость о том, что за него и за весь царский род предстательствует этот непонятный ему искатель Бога, в нём шевельнулась.

О чём же они беседовали? Обстановка исключала возможность малозначащих тем или расспросов о личной жизни каждого. Не для этого одолел император тысячу вёрст на лошадях. Уговаривал ли его Александр Павлович о тех преобразованиях, от которых когда-то уклонился сам? Не на лошадях, а пешком одолел он тысячу вёрст от Таганрога до Сарова и не из окна кареты узнавал и узнал свою страну. И если его многому научили страшные зрелища российской жизни, то, уж конечно, в первую очередь тому, что отказ от немедленного освобождения крестьян — морально чудовищен и политически безумен.

Но к чему могла привести эта беседа? О чём бы Александр ни просил, о чём бы ни увещевал брата, как ни пытался бы передать ему выстраданное знание — как и что могло бы дойти до молодого самодержца, пребывавшего в зените своего могущества? — Они говорили на разных языках.

Государь вернулся в Петербург. Логика власти продолжала свой неукоснительный ход. И та слепота, которую политики того времени считали государственным здравым смыслом и назвали бы, вероятно, государственным реализмом, если бы это словечко уже было изобретено, продолжала стремить империю к её концу.

Конечно, только накануне своего ухода мог император Александр

надеяться на то, что индивидуальный подвиг или хотя бы даже духовный труд всей Небесной России в состоянии упразднить кармическую сеть династии, спасти её от неотвратимой мзды. Когда, давно уже покинув Саров, он в глубокой старости умирал в сибирской тайге, сознание его было уже безмерно яснее и он прозревал в такие глубины и выси, о каких вначале, вероятно, не подозревал.

Что заставило его покинуть Саров, мы не знаем. Преподобный Серафим преставился в 1832 году, а осенью 1836-го к одной из кузниц на окраине города Красноуфимска подъехал верхом бедно, хотя и чисто одетый очень высокий человек преклонного возраста. Он просил подковать ему лошадь. Но и облик его, и манера речи показались кузнецу и народу, там толпившемуся, необычными и странными. Задержанный и направленный в городскую тюрьму, он назвал себя крестьянином Фёдором Кузьмичом, но от дальнейших разъяснений отказался и объявил себя бродягой, не помнящим родства. Его судили именно за бродяжничество и сослали в Сибирь на поселение, предварительно наказав ещё двадцатью ударами плети. Местом поселения была назначена деревня Зерцалы Томской губернии.

Так начался сибирский период его жизни — долгий, 28-летний период. Казаки, крестьяне, купцы, охотники, священники — все принимали горячее участие в его судьбе, так как его скитальческая жизнь, благочестие, врачебная помощь, которую он оказывал населению, и религиозные беседы, которые он вёл, скоро стяжали ему ореол праведности и прозорливости. Но сам он считал себя отягощённым великим грехом и, где бы ни случилось ему жить, большую часть времени проводил в молитве. Везде и всегда с ним было несколько религиозных книг, икона Александра Невского и маленькое слоновой кости распятие, поражавшее всех нерусским характером работы. О своём прошлом Фёдор Кузьмич не говорил никогда никому, даже оказывавшим ему особое уважение епископам Иннокентию и Афанасию Иркутскому. Лишь иногда в его речах слушателей поражало такое глубокое знание событий 1812 года, такие подробные воспоминания о жизни высших петербургских кругов, какие могли бы быть достоянием только их непосредственного участника.

Скончался Фёдор Кузьмич в 1864 году. Детской дерзостью была бы попытка догадываться о том, какие дали «миров иных» приоткрывались ему в последние годы и в какой последовательности постигал он тайну за тайной. Каждый из духовных путей единственен и во многом неповторим; общи и закономерны лишь основные принципы.

Но один из этих принципов заключается в том, что так называемый

«Узкий путь» (а варианты узкого пути содержатся во всех верховных религиях) не только предызбавляет восходящего от посмертных спусков в чистилища и страдалища души, но и сокращает его пребывание в мирах просветления. Ибо часть того труда над просветлением материальных покровов своей монады, который большинству из нас приходится совершать уже по ту сторону смерти, подвижники совершают здесь. Степень просветления, достигнутого здесь, предопределяет быстроту восхождения, совершаемого там.

С лёгким дыханием, едва касаясь земли тех миров, взошёл Александр Благословенный через слои Просветления в Небесную Россию. Там возрастало его творчество, там ждала его лестница просветлений новых и новых, пока у нас проходили десятки лет.

Тому, кто в годину величайшей опасности возглавил обороняющийся народ и обеспечил освобождение Европы, дано стать главою просветлённых сил России в их борьбе с силами античеловечества, с уицраорами нашей метакультуры и с самим Гагтунгром.

Архистратиг Небесного Кремля, он ныне ещё там, в Святой России. Но возрастает его духовная мощь, его светлота; он восхищается выше и выше, он уже входит в Небесный Иерусалим — в голубую светящуюся пирамиду, в наивысший Трансмиф Христианства.

Тому, кто подвигом на себе разорвал петли и узлы царственной кармы, предстоит в грядущем стать освободителем тех, кого эта карма привела в вековой плен: гигантов-узников в цитадели игв и уицраоров.

Тому, кто некогда заложил в столице России великий храм, так и оставшийся не осуществлённым вторым демоном великодержавия, дано возглавлять, вместе с бессмертным зодчим этого храма, сооружение неповторимого святилища: оно скоро станет обителью Звенты-Свентаны, пречистой дочери Яросвета и Народной Души.

Битвы, следующие одна за другой, между Синклитом России и античеловечеством, возглавляет он. Но когда борьба демиурга с демоном великодержавия завершится освобождением Навны и Звента-Свентана примет просветлённую плоть в Небесном Кремле, он покинет вершину Российской метакультуры, чтобы вступить в Синклит Мира — те сферы, которые уже и теперь видели его у себя сияющим гостем.

Мчащимся светло-туманным всадником, чьё приближение вздымает в телесной среде тех миров как бы искрящиеся волны силы и радости, проносится он с ангелами, с даймонами, с воинствами Синклита к стенам Друккарга. Он — всадник, но его конь прекрасен и высокоразумен — одно из существ животного царства, поднявшихся выше Хангвиллы. И смысл



совместно одолеваемых ими дорог и совместно совершаемых битв есть смысл союза между просветлённым человечеством и просветлённым царством животных.

Так развязал Александр узлы своей кармы. А его брат Николай? А Второй уицраор, предоставленный Яросветом самому себе?

Упоённый победами, Жругр встречал теперь в воле демиурга не помощь, а досадное препятствие, и это не вызывало в нём ничего, кроме бешенства. Начиналась долгая эра борьбы — той борьбы, которой суждено было в грядущем перелиться через рубежи сверхнарода и из борьбы за Россию превратиться в борьбу за спасение человечества.

Так Николай I, послушное орудие демона великодержавия, повторит, сам того не понимая, богоотступничество Грозного. Сопоставление этих двух исторических фигур может показаться странным, но только историку: для метаисторика оно обоснованно и логично. Разные культурно-исторические возрасты, эпохальные климаты, несхожие политические ситуации, различные индивидуальности обоих уицраоров и, наконец, контрастность характеров обоих царей... да, да, они так велики, что заслоняют общую суть, затаённую в их судьбе и метаисторическом значении.

Особенно несхожими кажутся эти два характера. Ведь и тиранствовать можно на разные лады, в разном, так сказать, стиле... И всё же эти различия — только на поверхности. Когда взбешённый Николай направлял на подданного взор студенисто-светлых глаз с двумя чёрными дробинками зрачков, несчастный леденел и окаменевал совершенно так же, как окаменевал боярин или холоп под ястребиным взором Грозного.

Когда Николай, разыгрывая роль непостижимого в своём великодушии и возвышенности своих стремлений монарха и сам веря в этот фарс, доводил Рылеева до покаянных рыданий, а мудрого и неподкупного Пушкина — до хвалебных песнопений праправнуку Петра, — разве не приходит на память садистское комедиантство Иоанна IV? Разве не оба они веровали — пьянящей и ослепляющей верой гордыни — в великолепную формулу: «в небе — Бог, на земле — я»? Разве не чтили самих себя, как пастырей душ и телес, возвышенно-одиноких в своём знании того, что этому стаду нужно и что не нужно, что полезно ему и что губительно?

Николай I и Иоанн IV знаменовали собой зенит мощи демона великодержавия — во-первых; его вступление на путь борьбы с демиургом сверхнарода — во-вторых; доведение тиранической тенденции до предела — в-третьих; и начало процесса государственной гибели — в-четвёртых.

Синхроническую параллель неудачным польским и ливонским войнам в конце царствования Грозного составляет Крымская война. Опричнине соответствует террористически удушающий режим Николая, причём роль дворянства, выдвигавшегося Иоанном через опричнину, теперь играет бюрократия. Самоубийство Николая, дожившего до начала краха своего сооружения, параллельно ужасной смерти Грозного. Существенно, конечно, не то, что один добровольно принял яд, а другой яростно, в паническом страхе, сопротивлялся своей кончине; важно то, что обе эти смерти — ярчайшие образцы двух духовно-государственных банкротств.

**КНИГА X. К МЕТАИСТОРИИ РУССКОЙ  
КУЛЬТУРЫ**

## Глава 1

### Дар вестничества

Я уже вынужден был указать в одной из предыдущих глав, что на культурном горизонте средневековой Руси не выдвинулось ни одного крупного мыслителя. Художественными гениями этот длинный период был тоже не очень богат. Но никогда позднее метакультура Российская не сияла таким числом святых и праведников. Общеизвестно и то, что праведность эта была по преимуществу типа аскетического, иноческого, согласно этическим преданиям, завещанным православною Византией. С точки зрения этих преданий, всякий другой вид деятельности человеческой мог иметь лишь относительное, преходящее значение. Правда, роль вождей государства — великих князей и царей — осознавалась, но, конечно, плодотворной и правильной она почиталась только в той мере, в какой согласовывалась с заветами, возвещёнными высшим нравственным индикатором тех времён: престолом митрополита и патриарха, подвижническим затвором, келией. Характерно, что, умирая, царь принимал постриг, этим знаменуя вступление души на высшую ступень духовной жизни.

В XVIII веке становится явственным оскудение духовных рек, которыми питались корни православной праведности. Меньше становится крупных религиозных деятелей, перед глазами общества всё реже возникают фигуры чистых и высоких пастырей душ, осветливших собственное сердце и покоривших собственное естество. В XIX веке уже лишь несколько человек — преподобный Серафим Саровский, Феофан Затворник, Амвросий и Макарий Оптинские — уподобляются образам тех святых, которыми так богата была земля в предыдущие столетия. Наконец, в предреволюционную эпоху на церковном горизонте становится совсем пустынно. Мало того: это измельчение масштабов личности оказывается только одним из проявлений общего творческого оскудения православия. Год за годом церковь всё более отстаёт от требований и запросов быстро меняющихся эпох, причём это отставание даже возводится в некий принцип: церковная иерархия смотрит на себя как на хранительницу неизблемых и исчерпывающих истин, независимых от смены времён и человеческих психологий. Но так как этот взгляд не подкрепляется ни безупречностью жизни самих пастырей, ни интенсивностью их духовного делания, ни мудрыми их ответствованиями на порождённые новыми

эпохами вопросы социальные, политические или философские, то авторитет и значение церкви стремительно падают. Последние духовные усилия со стороны церкви вызываются бурей Революции. Выдвигается целый ряд безымянных героев и мучеников; с окончанием их жизненных путей творческий дух оставляет православную церковь ещё более, и, став игралищем в руках дипломатствующих политиков, руководство восточнохристианской общины превращается в пособника и в орудие антирелигиозного государства.

Но по мере того, как церковь утрачивала значение духовной водительницы общества, выдвигалась новая инстанция, на которую перелажался этот долг и которая, в лице крупнейших своих представителей, этот долг отчётливо осознавала. Инстанция эта — вестничество.

Вестник — это тот, кто, будучи вдохновляем даймоном, даёт людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из миров иных. Пророчество и вестничество — понятия близкие, но не совпадающие. Вестник действует только через искусство; пророк может осуществлять свою миссию и другими путями — через устное проповедничество, через религиозную философию, даже через образ всей своей жизни. С другой стороны, понятие вестничества близко к понятию художественной гениальности, но не совпадает также и с ним. Гениальность есть высшая степень художественной одарённости. И большинство гениев были в то же время вестниками — в большей или меньшей степени, — но, однако, далеко не все. Кроме того, многие вестники обладали не художественной гениальностью, а только талантом.

Столетие, протёкшее от Отечественной войны до великой Революции, было в полном смысле слова веком художественных гениев. Каждый из них, в особенности гении литературы, был властителем дум целых поколений, на каждого общество смотрело как на учителя жизни. Колоссально возросшая благодаря им воспитательная и учительская роль литературы выражалась, конечно, и в деятельности множества талантов; влияние некоторых из них становилось даже интенсивнее и шире, чем влияние их гениальных современников. С шестидесятых годов ясно определился даже многозначительный факт, совершенно неосознанный, однако, обществом: влияние гениев и влияние талантов стало, в некотором очень глубоком смысле, противостоять друг другу. Художественные гении того времени — Тютчев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Мусоргский, Чайковский, Суриков, позднее Врубель и Блок — не выдвигали никаких социальных и политических программ, способных удовлетворить массовые

запросы эпохи, увлекали разум, сердце, волю ведомых не по горизонтали общественных преобразований, а по вертикали глубин и высот духовности; они раскрывали пространства внутреннего мира и в них указывали на незыблемую вертикальную ось. Таланты же, по крайней мере наиболее влиятельные из них, всё определённое ставили перед сознанием поколений проблемы социального и политического действия. Это были Герцен, Некрасов, Чернышевский, Писарев, все шестидесятники, Глеб Успенский, Короленко, Михайловский, Горький. Таланты-вестники, как Лесков или Алексей Константинович Толстой, оставались изолированными единицами; они, так сказать, гребли против течения, не встречая среди современников ни должного понимания, ни справедливой оценки.

Подобно тому как Иоанн Грозный, при всём масштабе своей личности, должен быть признан фигурой огромной, но не великой, ибо лишён одного из признаков истинного величия — великодушия, точно так же целый ряд художественных деятелей, к которым многие из нас применяют эпитет гения, не являются и никогда не являлись вестниками. Ибо их художественная деятельность лишена одного из основных признаков вестничества: чувства, что ими и через них говорит некая высшая, чем они сами, и вне их пребывающая инстанция. Такими именами богата, например, литература французская, а у нас можно назвать двух-трёх деятелей эпохи революционного подъёма: Горького, Маяковского. Можно спорить с гениальностью этих писателей, но вряд ли кто-нибудь усмотрел бы в них вестников высшей реальности.

Истины высшей реальности преломляются подчинённой реальностью Энрофа. Если на человека возложена миссия проповедничества этих истин и их преломлений, долг их проповедничества языком художественных образов, если к художнику послан ради этого даймон — художник не сможет не чувствовать (с той или другой степенью отчётливости) его инспирирующего воздействия. Характер этого чувства и способы его выражения могут видоизменяться как угодно, но в основе всегда будет обнаруживаться одно и то же: переживание некоторой вне личности художника пребывающей силы, в него вторгающейся и в его творческом процессе себя выражающей. Бывает, что такое переживание оказывается знакомо и людям с меньшей силой одарённости, относить которых к разряду гениев мы не можем. В пример можно привести такого превосходного, хотя и не гениального поэта, как А.К. Толстой. Мало кто из гениальных поэтов сумел выразить это чувство с такой ясностью и определённой, как Алексей Толстой в своём изумительном стихотворении: «Тщетно, художник, ты мнишь, что своих ты творений

создатель». Одного этого стихотворения было бы, вероятно, достаточно, чтобы для нас сделался ясным и бесспорным дар вестничества, которым обладал этот поэт. А между тем по глубине трансфизического прозрения это стихотворение ещё далеко до некоторых других шедевров А. Толстого. Кто другой в русской литературе выразил с такой ясностью, обоснованностью, силой и пламенностью, как Толстой в своём «Иоанне Дамаскине», ту идею, что искусство вообще и искусство слова в особенности может быть выражением высшей реальности, верховной Правды, дыхания миров иных, и что поэт, осуществляющий свой дар вестничества, выполняет этим то, к чему он предназначен Божественными силами? А разве его поэма «Дракон» — не первая в русской литературе попытка нарисовать облик и выяснить метаисторическую роль демонических существ, подобных уицраорам? Я уж не говорю о его «Дон Жуане», для раскрытия трансфизической концепции которого потребовалась бы специальная работа, или о такой жемчужине русской лирики, как стихотворение «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре».

Всё это поясняет отличие понятия художественной гениальности от понятия вестничества. Мы видим при этом талантливых художников, не претендовавших на гениальное совершенство своих творений, но возвещавших ими о таких высотах и глубинах потусторонних сфер, до которых не в силах были достигнуть и многие гении. С другой стороны, многие деятели, твёрдо уверенные в своей гениальности, являются только носителями таланта. Выдает их один незаметный, но неопровержимый признак: они ощущают свой творческий процесс не проявлением какого-либо сверхличного начала, но именно своей, только своей прерогативой, даже заслугой, подобно тому, как атлет ощущает силу своих мускулов принадлежащей только ему и только его веления исполняющей. Такие претенденты на гениальность бывают хвастливы и склонны к прославлению самих себя. В начале XX века, например, в русской поэзии то и дело можно было встретить высокопарные декларации собственной гениальности.

Я — изысканность русской медлительной речи,  
Предо мной все другие поэты — предтечи...

-воскликнул один. Другой, перефразируя Горация, стёр с постамента имя великого римлянина и буквами, падающими то вправо, то влево, то какафонически сталкивающимися между собой, начертал своё: «... и люди

разных вкусов... все назовут меня: Валерий Брюсов».

Я гений, Игорь Северянин,  
Своей победой упоён... -  
восторгался третий.  
Мой стих дойдёт  
через хребты веков  
И через головы  
поэтов и правительств... -

утверждал, подменяя возможное желаемым, четвёртый.

Каждый из этих деклараторов убеждён, что гениальность — качество, неотъемлемое от его личности, даже его достижение. Подобно подросткам, чувствующим себя сильнее своих сверстников, они кичливо напрягают изо всех сил свои поэтические бицепсы и с глубоким презрением, сверху вниз, поглядывают на остальную детвору. Всё это — таланты, ослеплённые самими собой, мастера, создающие во имя своё, рабы самости; это не гении, а самозванцы гениальности. Подобно самозванным царям нашей истории, некоторым из них удавалось достичь литературного трона и продержаться на нём несколько лет, одному — даже около трёх десятилетий. Но суд времени подвергал их каждый раз беспощадному развенчанию, потомство отводило этим именам подобающие им скромные места, а личная карма, утяжелённая гордыней и самоослеплением, осложнённая понижением моральных требований к себе («мне позволено больше всех, потому что я выше всех»), увлекала такую личность в её посмертии прочь и прочь от Синклита метакультуры.

Я был бы понят совершенно неправильно, если бы кто-нибудь попытался из моих слов сделать вывод, что я будто бы подготавливаю читателя к тому, чтобы он не удивился требованию, которое я на следующих страницах предъявляю любому художнику: чтобы в его созданиях непременно сказывалась этическая тенденция, руководящая религиозно-нравственная идея. Прежде чем предъявлять какие-либо «требования», я забочусь о том, чтобы характеризовать не то, что должно быть, а то, что наличествует в действительности как факт. Именно с этой целью я, вводя понятие вестничества, отграничиваю его от понятий гениальности и таланта. Смешно и дико было бы предъявлять ко всякому художнику требование: раз вестнику свойственно то-то, старайся быть таким же. Гениальность и талант сами по себе, не совмещённые с даром



вестничества, являются, однако, тоже божественными дарами, но иначе вручаемыми и содержащими иные потенции. Трансфизическое отличие просто гения и просто таланта от вестника есть большая или меньшая, но всегда — личная одарённость природы; талант и даже гениальность — это такие общечеловеческие способности, которые в данной личности достигли высшей степени развития, чем в других, благодаря особенностям её психофизической структуры; особенности же эти телеологически обусловлены формирующей работой тех или иных Провиденциальных сил над шельтом, астралом, эфиром и физическим телом. Никакой даймон к такому художнику не послан, никакая муза ничего ему не внушает и никто невидимый не трудится над тем, чтобы приоткрыть органы его духовного восприятия. Такой человек, будь он талантлив или гениален, не может переживать сверхличной природы своих вдохновений по той простой причине, что такой сверхличной природы у этих вдохновений нет. Если мы встречаемся с подобными утверждениями в устах молодого, не достигшего ещё зенита дарования, то здесь надо предположить одно из трёх: либо это действительно юный вестник, либо перед нами дарование, вставшее в позу вестника и сознательно или бессознательно копирующее осанку великих творцов искусства, либо же, наконец, мы имеем дело просто с безобидным литературным приёмом, подобным выродившемуся в пустую риторическую фигуру обращения поэта к музе.

Талант и даже гений обладают не миссией, а долженствованием, подобно всякому человеку, но ряд глубоко индивидуальных особенностей отличает это долженствование от остальных. Миссия же имеет всегда значение общее, очень широкое, в её осуществлении горячо заинтересована вся метакультура. Для того чтобы художник мог быть вестником, требуются более напряжённые, длительные усилия Провиденциальных сил, требуется неустанная, задолго до его физического рождения начинающаяся работа над материальными покровами его монады со стороны херувимов, даймонов, стихиалей, демиурга сверхнарода и его Соборной Души, со стороны Синклита метакультуры и Синклита Мира. Потому что приоткрытие духовных органов его существа — без этого вестничество невозможно — процесс необычайно трудоёмкий, более трудоёмкий, чем вручение любой, самой мощной художественной гениальности.

Что же до гениальности или таланта как таковых, они могут быть совершенно свободны от задания — возвещать и показывать сквозь магический кристалл искусства высшую реальность. Достаточно вспомнить Тициана или Рубенса, Бальзака или Мопассана. Не снимаются с них лишь требования этики общечеловеческой да условие: не закапывать

свой дар в землю и не употреблять его во зло, то есть не растлевать духа. Только с такими требованиями и вправе мы подходить к оценке жизни и деятельности, скажем, Флобера или Уэлса, Маяковского или Есенина, Короленко или Горького, Репина или Венецианова, Даргомыжского или Лядова, Монферрана или Тона. Таким образом, этические требования, предъявляемые к таланту или гению, — требования общечеловеческого этического минимума.

В таком случае, уж не является ли требование, предъявляемое нами к вестнику, требованием этического максимума? — может возникнуть мысль. Но дело в том, что предъявлять к кому-нибудь требования, превышающие этический минимум, у нас нет вообще никаких прав. Только соблюдения в жизни и творчестве норм этического минимума могли бы мы потребовать и от вестника. Дело не в наших требованиях, а в требованиях тех, чьими величайшими усилиями дар вестничества данному художнику вручён. И, по-видимому, эти требования в одних случаях оказываются более снисходительными, чем могли бы быть наши собственные, а в других — гораздо более суровыми. Отдельные нарушения даже общечеловеческого нравственного минимума со стороны вестника могут быть в иных случаях оставлены без последствий; но самые тяжкие последствия влечёт за собой всякое предательство, искажение или замутнение миссии. Создание «Орлеанской девственницы» отягчило карму Вольтера неизмеримо сильнее, чем десятки его неблагоприятных поступков в личной жизни.

«Гений и злодейство — две вещи несовместные». Трудно сказать, приглядываясь к историческим фактам, так ли это. Во всяком случае, с тяжкими пороками, глубокими падениями, множеством мелких слабостей, даже с проступками против элементарных нравственных норм художественная гениальность не только совместна, но в большинстве случаев гений даже не в состоянии всего этого миновать, по крайней мере в молодости. Такие люди, как проживший удивительно чистую жизнь Моцарт, — феноменально редки; это — существа, ещё никогда не воплощавшиеся людьми, а только ангелами и у которых поэтому дьявольское эйцехоре заключено не в шельте, а только в эфирно-физических тканях существа, унаследованных от людей — родителей.

Есть гении, свой человеческий образ творящие, и есть гении, свой человеческий образ разрушающие. Первые из них, пройдя в молодые годы через всякого рода спуски и срывы, этим обогащают опыт своей души и в пору зрелости постепенно освобождаются от тяготения вниз и вспять, изживают тенденцию саморазрушения, чтоб в старости явить собой образец личности, всё более и более гармонизирующей, претворившей

память о своих падениях в мудрость познания добра и зла. Это — Данте, Леонардо, Сервантес, Гёте, Вагнер, у нас — Достоевский. Грани такой гармонизации своей личности достиг в последние дни жизни Лев Толстой. В её направлении двигались, очевидно, Пушкин, Лермонтов, Чехов. Рано оборвавшаяся жизнь многих гениев не даёт возможности определить с уверенностью потенциальные итоги их путей. История культуры знает и таких носителей художественной гениальности или крупного таланта, которые представляли собой гармоническую личность с самого начала, хотя и не в такой степени, как Моцарт: Бах, Глюк, Лист, Тулси Дас, Тагор, в России — Алексей К. Толстой. Знает и таких, подобно Микеланджело, которые, даже достигнув глубокой старости, не сумели привести в гармонию ни различных сторон своей личности между собой, ни своей личности со своей миссией.

Но есть ещё ряд гениев нисходящего ряда, гениев трагических, павших жертвой неразрешённого ими внутреннего противоречия: Франсуа Вийон и Бодлер, Гоголь и Мусоргский, Глинка и Чайковский, Верлен и Блок. Трагедия каждого из них не только бесконечно индивидуальна, она ещё так глубока, так исключительна, так таинственна, что прикасаться к загадкам этих судеб можно только с величайшей бережностью, с целомудрием и любовью, с трепетной благодарностью за то, что мы почерпнули в них, меньше всего руководствуясь стремлением вынести этим великим несчастным какой-либо этический приговор. «Кому больше дано, с того больше и спросится», да. Но пусть спрашивает с них Тот, Кто дал, а не мы. Мы только учились на их трагедиях, мы только брали, только читали написанные их жизненными катастрофами поэмы Промысла, в которых проступает так явственно, как никогда и ни в чём, многоплановый предупреждающий смысл.

Не таюсь я перед вами,  
Посмотрите на меня:  
Вот стою среди пожарищ  
Опалённый языками  
Преисподнего огня...

Уж воистину: им судья — «лишь Бог да совесть».

Конечно, великая «обезьяна Бога» не бездействует и в этой области. Если бывают вестники Провидения, нетрудно догадаться, что культурно-исторический процесс не обходится и без тёмных вестников. Правда, в

области искусства таковых встретишь не часто, да и, встретив, не сразу распознаешь их истинную природу. О тайнах демонического начала они редко говорят открыто и прямо: зачем могло бы понадобиться Гагтунгру раскрытие через таких вестников человеческому взору его собственной кромешной тьмы? Чаще деятельность тёмных вестников имеет негативный характер: они развенчивают и осмеивают духовность в истории, в искусстве, в религии, в жизни, в человеческой душе. Мало кому приходит в голову, что блестящий, прелестно-легкомысленный Парни осуществлял (вероятно, бессознательно или полусознательно) тёмную миссию: облакая кощунства в чарующую поэтическую форму, снижать этим религиозные ценности, дискредитировать проявления Мировой Женственности, обескрыливать духовные порывы в человеческих сердцах, развенчивать этические идеалы.

Однако тёмных вестников мы чаще встречаем не в искусстве, а в философии и в науке. Это, например, Бэкон, одним из первых утвердивший полный и окончательный отрыв науки от какой бы то ни было этики и какой бы то ни было духовности; Конт, противопоставивший всем существующим религиям свою религию «левой руки» — свой рассудочный, выхолощенный, мертвяще-холодный «культ Человечества», основанный на целой системе скользких и обескрыливающих сердце подмен. Таковы же — Штирнер, чья «этическая» система подрывает корни какой бы то ни было морали ножом высшего критерия «Я хочу»; Ницше, своим идеалом сверхчеловека исказивший и профанировавший тот идеал совмещения в одной свободной личности наивысшей одарённости с наивысшей силой и наивысшей праведностью, который должен был бы уясниться сознанию его эпохи, если бы не он; Маркс, ухватившийся за одно из колёс передаточного механизма, каким является экономика, и провозгласивший его единственность и верховность. В науке же тёмными вестниками, носителями тёмных миссий, являются не деятели с крупным именем, с гениальной одарённостью, но второстепенные учёные, интерпретаторы и искажители глубоких научных теорий, вроде Тимирязева, который примитивизировал и довёл учение Дарвина до полнейшей материалистической плоскости.

В искусстве (как, впрочем, и в науке) встречаются и такие тёмные вестники, которые лишены тёмных миссий и становятся глашатаями тёмного просто вследствие личных заблуждений. Ярким примером такого деятеля может служить Скрябин. В Бога он веровал и по-своему Его любил, самого себя считал Его вестником и даже пророком, но с удивительной лёгкостью совершал подмены, стал жертвой собственной

духовной бесконтрольности и превратился в вестника Дуггура. Мало кто понимает, что в «Поэме экстаза», например, с поразительной откровенностью рисуется именно тот демонический слой с его мистическим сладострастием, с его массовыми сексуальными действиями, с его переносом импульса похоти в космический план, и главное, рисуется не под разоблачающим и предупреждающим углом зрения, а как идеал. Естественно, что чуткий слушатель «Поэмы экстаза», сначала смущённый, а потом замороженный этой звуковой панорамой космического совокупления, под конец ощущает как бы внутреннюю размагниченность и глубокую протрацию.

В специфических условиях реального историко-культурного процесса нередко, а в XIX веке особенно часто бывает так, что неугасимое в душе вестника чувство своей религиозно-этической миссии вступает в конфликт с реальными возможностями его эпохи и с художественным «категорическим императивом», свойственным его дарованию. Такого конфликта не знали Андрей Рублёв и строители храма Василия Блаженного, не знали Суриков и Левитан, не знал, как это ни странно, даже такой непревзойдённый знаток тысяч других внутренних конфликтов, как Достоевский. Первые — не могли его знать потому, что их художественные тяготения совершенно совпадали с конкретными возможностями эпохи и с их собственной религиозно-этической миссией. Вторые же — сумели преодолеть неблагоприятный для них психологический климат своего времени и имели счастье сознавать, что их творения — чем дальше к зрелости и старости, тем больше — говорят именно о тех высотах духовности, посланниками которых являлись эти художники, и предупреждают о тех безднах, кои им дано было созерцать и о коих предупреждать было завещано.

Внутренний конфликт, о котором я говорю, есть противоречие тройное, есть борьба трёх тенденций: религиозно-этико-проповеднической, самодовлеюще-эстетической и ещё одной, которую можно назвать тенденцией низшей свободы: это есть стремление личности осуществить свои общечеловеческие права на обыкновенный, не обременённый высшими нормативами образ жизни, вмещающий в себя и право на слабости, и право на страсти, и право на жизненное благополучие. Этот внутренний конфликт чётко наметился уже в Пушкине. Та цепь его стихотворений, среди которой мерцают таким тревожным и сумрачным блеском «Когда для смертного умолкнет жизни шум», «Отцы пустынники и жены непорочны», «Пророк», «Туда б, в заоблачную келью» и другие, — это такие разительные свидетельства зова к духовному подвижничеству,

крепнущего в душе поэта из года в год, что не понять этого может только тот, кто ни разу в жизни не слышал этого зова в собственной душе. Этот внутренний конфликт обострился в Лермонтове, с невероятной жгучестью переживался Гоголем и Львом Толстым и превратил судьбу Блока в трагедию духовного спуска. Подробнее, однако, я буду говорить об этом в следующих главах.

Скажут, может быть: действительно, подобные противоречия свойственны были некоторым корифеям литературы русской. Но вот перед нами литературы других народов. Многие ли и часто ли найдём мы там подобные конфликты? Многие ли из носителей крупного художественного дарования вообще осознавали свою миссию в виде некоего синтеза художественного дарования вообще осознавали свою миссию в виде некоего синтеза художественного творчества и духовного подвига?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос потребовал бы, конечно, отдельной, весьма объёмистой работы. В рамках же, предоставленных мне книгой, можно заметить лишь следующее.

Прежде всего, многое зависит от того, какую именно литературу примем мы к рассмотрению. Конечно, античная трагедия, например, стоит под знаком если не ясного осознания, то во всяком случае настойчивого чувства необходимости возвещать и утверждать реальность высшего порядка. Персидская поэзия в лице Фирдоуси, Саади, Низами, Руми являет собой созвездие мистических гениев, учителей души. Вся индийская литература сплошь, от ведических гимнов до Рабиндраната Тагора, — это океан религиозно-этических откровений, выраженных языком художественных образов. Ни малейшего исключения не составляют ни гении западного средневековья от Эшенбаха до Данте и Петрарки, ни гении Испании — Сервантес и Кальдерон, ни великие поэты Англии — Шекспир, Мильтон, Шелли, Кольридж, Китс, не говоря уже о корифеях литературы немецкой и скандинавской. Действительно особняком в этом отношении стоит литература французская, удивительно бедная вестничеством. Но это находится в теснейшей связи с общей метаисторической трагедией Франции. Ещё в начале XVI века её дух-народоводитель поднял нечто вроде бунта против демиургического плана. По-видимому, он желал, чтобы французский уицраор, незадолго перед тем родившийся, был санкционирован свыше на объединение романо-католических народов на основе не католичества, а французской государственности. Таким требованием этот дух вызвал своё отстранение, и Франция осталась без непосредственного водительства. Её Синклит, оставшийся в Эдеме, слился с Синклитом апостола Петра, но после этого в него из Франции

поднимались уже немногие, другие входили в Монсальват. Отсюда — та прогрессирующая духовная ущербность, которая бросается в глаза метаисторику при обозрении французской культуры уже в XVII веке. Позднее она находит своё выражение в литературе и в философских поползновениях эпохи энциклопедистов — явлениях, говорящих о прискорбном господстве рассудка, выхолощенного ото всякой духовности и даже сознательно ей противостоящего. Здесь не место разьяснять тот необыкновенно сложный узел метаисторических процессов, каким была Великая Французская Революция. В связи с темой этой главы нужно отметить лишь, что те гражданские идеалы «свободы, равенства и братства», те «Права человека», которые начали своё победное шествие по всему миру именно из Франции, были попыткой демиурга Романо-католической метакультуры, при участии его собрата — демиурга Северо-запада — поднять этот оставшийся без водительства народ теми идеалами, которые были для него органичнее. Но возраставшая пустыньность трансфизических слоёв над Францией делала её всё более беззащитной от всевозможных демонических воздействий. Искажение провозглашённых идеалов и их подмена революционной тиранией начались уже через несколько недель после взятия Бастилии. На арене появилась целая группа людей с тёмными миссиями, и яростное беснование, затопившее Францию, было наглядным доказательством мощи демонических сил, вторгшихся в её шрастр из Гашшарвы. Беда не исчерпывалась при этом кровопролитием в самой Франции; она приобрела значение мировое благодаря тому, что был отравлен весь духовно-идейный поток, устремившийся из этой страны по землям Европы. Крупнейшим из носителей тёмных миссий той эпохи был, конечно, Наполеон, двойственная задача которого заключалась в подмене интернациональных освободительно-гражданских идей идеей единоличной тирании и в увеличении клубов гавваха путём непрерывных международных кровопролитий.<sup>[33]</sup> Постепенно Франция оказалась как бы в вакууме между двумя метакультурами, двумя синклитами. Что же касается французской литературы, то её спуск по ступеням убывания духовности окончательно определился в XIX веке. Сколь высоко ни оценивали бы мы уровень художественной одарённости Бальзака, Флобера, Мопассана, Франса, никакого признака вестничества мы в их творениях не обнаружим; оно сказывается лишь у очень немногих писателей позднего периода Франции: у Шатобриана, Гюго, может быть, у Малларме. Последним, над чьими произведениями ещё мерцал иногда отражённый отблеск вестничества, был, по-видимому, Ромен Роллан.

Таковы метаисторические обстоятельства, приводящие созерцателя

французской литературы к горестным и тревожным выводам. Во всяком случае, эта литература, с её сочетанием высокой художественности и низкого уровня духовности, с её слабо выраженным вестничеством, является в ряду мировых литератур исключением.

И, однако же, верно и то, что ни в одной литературе не проявилось так ярко, глубоко и трагично, как в русской, ощущение того духовного факта, что вестнику недостаточно быть великим художником. Вот в этом отношении русская литература действительно стоит особняком. Я пока не подвергаю этого обстоятельства никакой оценке, а лишь указываю на него как на исторический факт. Не только наши гении, но и многие носители меньшей одарённости высказывали, каждый на свой лад, эту мысль. То она отливалась в форму требования гражданского, даже политического подвига: призыв этот звучит у Радищева, у Рылеева, у Герцена, у Некрасова, у шестидесятников, народников и т. д. вплоть до большевиков. То художественную деятельность совмещали или пытались совместить с проповедничеством православия: началось это со славянофилов и Гоголя и завершилось Достоевским. То, наконец, художники слова предчувствовали, искали и находили либо, напротив, изнемогали в блужданиях по пустыне за высшим синтезом религиозно-этического и художественного служения: не говоря о том же Гоголе и Льве Толстом, вспомним и задумаемся об Алексее Толстом, Гаршине, Владимире Соловьёве, Блоке, Вячеславе Иванове; вспомним о прорывах космического сознания, отображённых в творчестве Ломоносова, Державина, Тютчева; найдём в себе достаточно зоркости, чтобы усмотреть готовность сделать первый шаг по духовному пути в рано оборвавшихся биографиях Грибоедова, Пушкина, Лермонтова; в образах лесковских праведников и в горячей вере этого живописца религиозного делания; обратим внимание на глубокое чувство и понимание Христа у Леонида Андреева, которое он пытался выразить в ряде произведений, и в первую очередь — в своём поразительном «Иуде Искарите», — чувство, всё время боровшееся в душе этого писателя с пониманием тёмной, демонической природы мирового закона, причём эта последняя идея, столь глубокая, какими бывают только идеи вестников, нашла в драме «Жизнь Человека» выражение настолько отчётливое, насколько позволяли условия эпохи и художественный, а не философский и не метаисторический склад души этого писателя!<sup>[34]</sup> Проследим далее всё ту же вестническую тенденцию, хотя и искажённую, в антропософском учительстве Андрея Белого; в бредовых идеях Хлебникова о преображении Земли и в его сумасшедших мечтах — стать правителем земного шара для этой цели; в гражданском подвиге уходившего всё глубже в религиозность Гумилёва; в



высокой попытке Максимилиана Волошина — определить свою личную линию художника и современника революций и великих войн религиозно-этической заповедью: «В дни революции быть человеком, а не гражданином».

Недаром же великая русская литература начиналась с оды «Бог». Не случайно на первых же её страницах пламенеют потрясающие строфы пушкинского «Пророка»! — Общепринятое толкование этого стихотворения сводится к тому, что здесь, будто бы, изображён идеальный образ поэта вообще; но такая интерпретация основана на ошибочном смещении понятий вестника, пророка и художественного гения. Не о гении, вообще не о собственнике высшего дара художественной одарённости, даже не о носителе дара вестничества гремит этот духовидческий стих, но именно об идеальном образе пророка. Об идеальном образе того, у кого раскрыты, помощью Провиденциальных сил, высшие способности духовного восприятия, чьё зрение и слух проникают сквозь весь Шаданакар сверху донизу и кто возвещает о виденном и узнанном не только произведениями искусства, но всю свою жизнь, превратившейся в житие. Это — тот идеальный образ, который маячил, как неотразимо влекущая цель, перед изнемогавшим от созерцания химер Гоголем, перед повергавшимся в слезах на землю и воздевавшим руки к горящему над Оптиной пустыней Млечному Пути Достоевским, перед тосковавшим о всенародных знойных дорогах странничества и проповедничества Толстым, перед сходявшим по лестнице мистических подмен и слишком поздно понявшим это Александром Блоком.

Некоторые скажут: хорошо, что этот идеальный образ лишь маячил; жаль только, что бесплодное порывание к нему лишило нас тех художественных творений, которые бы создали Гоголь и Толстой, если бы он перед ними не маячил вовсе.

Пусть молчат о том, чего не знают! С неразмыкающимися, от колыбели до могилы, духовным зрением и слухом, с бескрылым воображением, пресмыкающимся во прахе, что знают они о том лучезарном потоке небывалых созданий, превосходящих всё ранее созданное без сравнения, который излился бы из духа художника, ставшего пророком воистину, а не в мечте? Пусть молчат. Пусть слушают то, что говорят знающие. Да не смеет никто судить Икара за его безумный полёт, как не смеет судить и солнца, растопившего ему крылья.

Уж не думают ли они, что это устремление, вспенивающее и вздымающее вверх волны культуры, проходящее через полтора десятка лет великой литературы русской, есть плод случайности? Если такова

случайность, то какова же закономерность? Если же это не случайность, а эхо могучего голоса, который слышался как внутренний категорический императив носителям наиболее глубоких дарований нашего золотого века, то в какой связи с последними целями русского сверхнарода пребывает этот голос? Откуда он льётся? Из уст ли демиурга, внушающего своим посланникам то, что должно быть? Из трансмифа ли христианства, где таится всезнание грядущих и завершающих эпох человечества, — тех эпох величайшей борьбы двух начал, когда сверхнарод российский и его Синклит должны будут осуществить свою планетарную миссию? Жизненное осуществление каких идеалов в историческом отдалении будущего он предвещал, увлекая русских творцов к синтезу художественного и религиозного служения? И какой метаисторический смысл можно прочесть в их бурных, грешных и сверкающих житиях, в их исключительных судьбах?

## Глава 2

### Миссии и судьбы

Всё, что творит демиург Яросвет, всё, в чём проявляется его воздействие на исторический слой, имеет прямое или косвенное отношение к его верховной задаче, осуществление которой должно оправдать тысячелетний путь кровавого и страшного своей мучительностью становления сверхнарода. О задаче этой, поскольку она постижима и выразима на языке наших понятий, я уже говорил, но повторю ещё раз. Метаисторически эта задача-цель заключается в рождении Звенты-Свентаны демиургом и Идеальной Соборной Душой сверхнарода российского; исторически — в явлении Розы Мира, то есть такой религиозно-нравственной инстанции, которая, показуя собой образ незапятнанной чистоты, эстетического богатства и широкого культурного всепонимания, обрела бы наивысший авторитет в глазах народов мира, через всемирный референдум приняла бы этический контроль над деятельностью всех государств — членов Всемирной Федерации и, постепенно формируя многообразную системой культурных средств поколения людей облагороженного образа, этим создала бы предпосылку — не к смягчению уже, но к полному преобразованию самой сущности государства во всечеловеческое братство.

Очевидно, демиургической мудрости уже в XVII столетии стало ясно то, что религиозной мудрости человеческой стало уясняться значительно позднее: то, что православная русская церковь, столько веков водительствовавшая обществом в духовном отношении, к пониманию её конечной цели неспособна, трансфизический смысл её существования — в ином и что на пути к этой цели пора выдвинуть новую силу.

Православие, как учение и практика, сформировалось в основном ещё в Византии, на давно минованных стадиях общего культурного сознания. Естественно, что оно не могло и впоследствии освободиться от некоторого архаического примитивизма, от известной узости и тесноты культурного сознания и общественного мышления. Этот тип сознания и мышления должен был уступить главенствующую роль новому типу мышления и сознания — тому, который возвещался художественными гениями и наиболее глубокими талантами России, превращаясь через них в новый исторический фактор первостепенной важности.

Без каких именно предпосылок была бы неразрешима в грядущем та

задача Звенты-Свентаны, которую я для краткости и только для краткости обозначил как преобразование государств в Братство? Перечислим из этих предпосылок лишь некоторые, наиболее важные, очевидные и простые.

Во-первых, это преобразование невозможно до тех пор, пока преграды между мировыми религиями не будут устранены или, по крайней мере, понижены; пока не будет обретён такой религиозный угол зрения, под которым догматика христианская и догматики других религий правой руки окажутся не исключающими друг друга, а взаимно дополняющими; чтобы Роза Мира могла объединить все христианские церкви на новых началах, а другие религии приблизить тесно к себе на основе свободной унии.

Во-вторых, преобразование сущности государства невозможно ни в каких локальных границах: если бы такой процесс совершился в одном государстве, а остальные продолжали бы существовать, они насильственно захватили бы и поглотили это образовавшееся среди них братство. Следовательно, задача неразрешима раньше, чем преодолена всеобщая раздробленность, раньше, чем создано государство мировое. Это невозможно без того, чтобы в сознании России и всего человечества появилось и укрепилось новое отношение к государству, к общественному устройству, к таким явлениям, как границы, войны, диктатуры. Должны быть созданы такие условия, при которых получают возможность стремительного развития потребность всечеловеческого единства, отвращение к насилию и ужас перед тиранией. Как это ни странно, в развитии этих чувств в человеке повинны, в известной мере, сами уицраоры: ужас перед тиранией может быть знаком лишь тем, кто познал тиранию на себе или рядом с собой; отвращение к насилию больше всего свойственно жертвам насилия; потребность всечеловеческого единства — тем, для кого раздробленность сделалась жизненно невыносима. Таким образом, деятельность самих уицраоров и античеловечества вызвала диалектически то состояние людей, которое являлось предпосылкой к парализации и поражению уицраоров. Однако для повышения тонуса этого состояния до такой черты, чтобы оно сделалось одной из психологических причин всеобщего объединения и конца мировой раздробленности, мир принуждён был бы пройти через стадию переразвития государств в тип тираний-мучительниц, системы наказаний — в неслыханные массовые репрессии, а войн — в трагедии уничтожения целых стран и народов. Но и при этом оставалась бы опасность, что аппарат тирании окажется сильнее всей суммы активных протестов, порождённых им. Поэтому усилия демиурга — вернее, всех демиургов человечества — неизбежно должны направляться на усиление в людях комплекса чувств и идей, активно

направленных именно на борьбу с тиранией, на преодоление раздробленности и на соединение всех.

В-третьих, преобразование сущности государства невозможно раньше, чем будет достигнут некоторый уровень всеобщего материального благосостояния и незыблемой аксиомой станет право каждого человека на такое благосостояние. Для этого, с одной стороны, должны быть совершенно изжиты устойчивые классовые, национальные и социальные антагонизмы и предрассудки, возбуждено и углублено чувство социального сострадания и воспитано в поколениях сознание надсословных, надклассовых, наднациональных прав. С другой стороны, прогресс науки и техники должен быть предельно форсирован, а развитию в человеке соответствующих интеллектуальных и волевых качеств должна быть оказана Провиденциальная помощь, несмотря на то, что вмешательство Гагтунгра в этот процесс с каждым десятилетием расширяет разрыв между уровнями человеческой техники и человеческой этики.

Преобразование сущности государства невозможно, в-четвёртых, без того, чтобы обществом не была прочно осознана порочность этой старой сущности; следовательно, на разоблачение этой сущности должны быть брошены немалые силы.

В-пятых, преобразование государства в братство невозможно до тех пор, пока не снято противоречие между двумя исконными культурными тенденциями: отвергающей мир тенденцией аскетической духовности и тенденцией, утверждающей мир, плотской, так называемой «языческой»; пока Природа не воспринята как нечто двойственное: как источник радости, счастья и Света — с одной стороны, и как арена буйствования демонических сил — с другой; пока в лице Природы не усмотрен объект высокого нравственного и творческого долга, пока она не охвачена деятельной любовью, а к мирам светлых стихий не установилось отношение духовной и физической дружелюбности.

И, наконец, торжество Розы Мира невозможно до тех пор, пока в устремлении религиозного человечества к Вечно-Женственному началу не будет вскрыт новый, углублённый смысл; пока веяние Звенты-Свентаны не смягчило и не высветлило слишком жгучую суровость мужественного начала, до сих пор полностью господствовавшего в этике, религии и общественности.

Был, конечно, и ряд других предпосылок исторических — не говоря уже о метаисторических, — без которых основная задача не могла быть решена; но достаточно, мне кажется, перечисления пока и этих нескольких.

Итак, ближайшими, конкретными целями усилий демиурга

становились следующие: понижение преград между различными, исторически сложившимися типами религиозности; усиление в душе людей идей и чувств, направленных на борьбу с тиранией, на преодоление мировой раздробленности, на соединение всех; углубление чувства социального сострадания, жажды социальной справедливости и сознания всеобщих социальных прав; раскрытие в человеке тех потенций разума и рассудка, которые будут способствовать стремительному прогрессу науки и техники; разоблачение агрессивной и вампирической сущности государства; снятие в сознании множества людей антагонизма между духовно-аскетической и «языческой» тенденциями и развитие синтетического отношения к Природе; активизация в исторической деятельности проявлений Вечно-Женственного начала, выразительница которого в России, Навна, обессиленная и замученная, находилась в многовековом плену.

Перечисления этих объектов демиургической инвольтации достаточно, чтобы уяснилась окончательная непригодность для этой цели православной русской церкви. Но в направлении именно всех этих идей устремлялась инвольтация демиургом и Навною великих художественных гениев и наиболее глубоких талантов России, тех, кого мы называем вестниками. Разумеется, психологическая картина осложнялась при этом множеством чисто человеческих факторов: культурных, общественных, индивидуально-биографических, а иногда и воздействием могучего ещё излучения от великого духовного вместилища предыдущих веков: от православия. Вторгались иногда и инспирации из демонических миров, особенно из двух: Друккарга и Дуггура.

Если бы я посвятил характеристике миссий и судеб каждого из русских вестников, даже ограничив себя при этом границами искусства слова, хотя бы по одной главе, получилась бы отдельная, свыше двадцати глав содержащая работа. Я вынужден поэтому обойтись минимальным: числом характеристик, неразвернутых и совершенно афористических, и суждения мои об этих деятелях неизбежно будут иметь вид сообщений, почти лишённых аргументации. Я принуждён миновать, не останавливаясь, эпохи Ломоносова, Державина и Карамзина и начать группу метаисторических характеристик с того, чьё имя издавна привыкли связывать с началом золотого века нашей литературы.

О Пушкине, как это известно всякому, существуют горы исследований, высказывались тысячи суждений. Да позволено мне будет присовокупить к этим характеристикам ещё одну, сделанную под таким углом зрения, какой-то сих пор не учитывался: под углом зрения метаистории. Под этим углом

зрения миссия Пушкина заключается в том, что, создав ёмкий, гибкий, богатый и чрезвычайной выразительный литературный язык и великолепный стих, он этим дал решительный толчок процессу развития всенародной любви к языку, к слову, к стиху и к самой культуре языка как основного средства человеческого общения; вооружил следовавших за ним во времени творцов этим совершенным средством для выражения любых идей и чувств; разработал ряд необходимых для этого новых жанров и сам возглавил процесс художественного выражения этих идей и образов.

Какие же это идеи и какие именно образы?

Во-первых, это — идеи, связанные с задачей разоблачения демонической природы государства и с укреплением комплекса освободительно-моральных устремлений отдельной души и всей нации. Сюда относится идея о непрощаемости преступления, совершённого верховной властью, то есть сознание несостоятельности той власти, которая основана на нарушении этических норм (ода «Вольность», и особенно «Борис Годунов»). Сюда же относится идея неразрешимости ни в рассудочно-логическом плане, ни в плане гуманистической совести противоречий между личностью и государством, между личностью и демонизированными законами мира («Медный Всадник»). С этим же связана и идея противостояния между низшей, самостной свободой личности и общественной гармонией («Цыганы»). — Эти идеи, воздействуя на сознание множества людей, приобщавшихся литературе, подготавливали его, в конечном счёте, к идее-выводу о примате этики над государственным началом, то есть о желательности — хотя и утопичности для настоящего времени — установления высокоэтического контролирующего и направляющего начала над аморальным государством.

Второй цикл идей был связан с задачей изменения отношений христианского человечества к Природе. В основном, это была идея-переживание Природы как начала объективно прекрасного, ни в коем случае не осуждённого и не враждебного, хотя и обладающего такую стороной, которая принуждает зачастую воспринимать Природу как начало равнодушное и безучастное к человеку. При этом, однако, ощущение её безучастности не препятствовало переживанию Природы как начала субъективно любимого. Эти переживания, нашедшие своё выражение в большом количестве первоклассных по форме стихотворений и отдельных мест в поэмах, подготавливали сознание к выводу о возможности какого-то — пока ещё смутно мечтаемого — нового вида отношений и общения с Природой: радостно-чувственного, дружественного и в то же время ни в коей мере не греховного.

Это переплеталось с новым восприятием самого процесса жизни в её повседневном облике: в обнаружении элементов поэзии и красоты и в озарении ими низших, будничных слоёв человеческой жизни. Всё это, как и предыдущее, шло вразрез с заветами аскетического периода и прокладывало дорогу к пониманию далёких грядущих задач Розы Мира — задач пронизывания духовностью и религиозно-поэтической стихией всех сторон жизни.

Третий цикл идей был связан с задачей вскрытия нового, углублённого смысла человеческих религиозных устремлений к Вечно-Женственному, и в этом, мне кажется, сказалось не только веяние Навны, но и самой Звенты-Свентаны.

К этому циклу относится идея Вечной Женственности, как трансцендентного космического начала, какое бы то ни было выражение которого в конкретной человеческой множественности или в отдельной женщине — невысказано и невозможно («Рыцарь бедный»); и — антиномичная идея Вечной Женственности как присущего человечеству начала, обретающего — не воплощение, конечно, но отдалённое отражение в проходящей среди нас прекрасной женской душе («Евгений Онегин»). Можно в «Бедной Лизе» Карамзина усмотреть первые, слабо уловленные отсветы Навны; все образы женственно прекрасного, даже все, хотя бы и робкие попытки фиксировать его в искусстве, содержат отсветы той или иной из Великих Сестёр. Ибо до нисхождения в Шаданакар с космических высот Звенты-Свентаны, то есть до XIX века, именно пребывание в Шаданакаре идеальных Соборных Душ сверхнародов делало возможным проникновение сил Женственности в человеческое «я». Но в цепи женских образов нашей литературы, овеянных тончайшим благоуханием Навны, Татьяна Ларина — первый образ, прелесть и гармония которого воздействуют через столетие на потомков с той же силой, как и во времена его возникновения.

Далее: Пушкин впервые поставил во весь рост специфически русский, а в грядущем — мировой вопрос о художнике как о вестнике высшей реальности и об идеальном образе пророка как о конечном долженствовании вестника. Конечно, он сам не мог сознавать отчётливо, что его интуиция этим расторгает круг конкретно осуществимого в XIX веке и прорывается к той грядущей эпохе, когда Роза Мира станет обретать в историческом слое свою плоть.

И наконец, в ряде своих произведений («Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Пиковая Дама», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» и многие другие) Пушкин поставил немало более частных



психологических, моральных и культурных проблем, подхваченных и развитых его продолжателями.

Само собой разумеется, мысли, высказанные на этих вот страницах, ни в коем случае не претендуют на то, чтобы сложиться в исчерпывающую метаисторическую характеристику Пушкина. Это лишь первый опыт в данном направлении, и я не сомневаюсь, что работы последующих поколений над раскрытием метаисторического значения Пушкина полностью затмят этот бедный черновой набросок.

Многими исследователями отмечалось уже и раньше, что гармоничность Пушкина — явление иллюзорное, что в действительности он представлял собою личность, исполненную противоречий и совершавшую сложный и излучистый путь развития, хотя направление этого пути лежало, несомненно, ко всё большей гармонизации. Это, конечно, так. Но не менее важно то обстоятельство, что, несмотря на эту противоречивость, вопреки, так сказать, фактам, Пушкин был и остаётся в представлении миллионов людей носителем именно гармонического слияния поэзии и жизни. И эта иллюзия тоже имеет свой положительный смысл (как и тысячи других иллюзий в истории культуры): этот солнечный бог нашего Парнаса, проходящий, то смеясь, то созерцая, то играя, то скорбя, то молясь, у самых истоков русской поэзии, этим самым сближает в сознании множества стихии поэзии и жизни, разрушает преграду, отделявшую человеческие будни, жизни обыкновенных людей от сферы поэтических звучаний, торжественных, заоблачных и бесплотных.

Каждая строка Пушкина вызывает у нас, русских, столько культурных и исторических ассоциаций, для нас драгоценных и священных, что мы легко поддаемся даже соблазну преувеличивать его значение, усматривать мировые масштабы там, где в действительности наличествуют масштабы национального гения и вестника. Из личных бесед и встреч с иностранцами я вынес совершенно твёрдое убеждение, уже и раньше складывавшееся у меня под впечатлением отзывов о Пушкине за рубежом: иностранцы, будучи лишены присущих нам ассоциаций и воспринимая тексты Пушкина в их, так сказать, оголённом виде, никак не могут понять, почему имя Пушкина окружено в России таким почти культовым почитанием. Возможно, что если бы полнокачественные переводы его произведений появились на европейских языках ещё при его жизни, они встретили бы более горячий отклик. Но переводы опоздали, и теперь уже не приходится надеяться, что заложенный в поэзии Пушкина запас идей и образов или, тем более, его лирические напевы, взволнуют когда-нибудь по-настоящему культурную среду других народов. Характерно, что иностранцы любой

национальности, с которыми мне приходилось разговаривать, будь то немец или японец, поляк или араб, заражаются эмоциональным звучанием и признают наличие мировых масштабов не у Пушкина, а у Лермонтова.

Но хотя, как мне кажется, Достоевский в своей знаменитой речи на открытии памятника Пушкину в Москве несколько преувеличил именно интернациональную сторону пушкинского творчества, тем не менее, он и Жуковский были первыми на Руси поэтами, раздвинувшими поэтическую тематику до всемирных границ не в том условном, ложноклассической плане, как это делали Княжнин или Озеров, а в плане действительного, глубоко интуитивного, подлинного проникновения в дух других наций и культур. Естественно, что этот культурно-исторический факт нашёл своё место именно в первой половине XIX века, когда в числе первостепенных задач, стоявших перед инволютирующими силами демиурга, ясно определилась и задача культурного преодоления границ между народами, задача сближения с ними народа русского, задача развития способностей психологического и идейного проникновения в существо иных культур.

Разговоры о том, что Пушкин уже успел, будто бы, к 37 годам миновать зенит своего творчества и что, если бы он остался жив, от него уже нельзя было бы ожидать большего, чем работы по истории и культуре да несколько второстепенных художественных произведений, — ни на чём не основаны и не имеют никакой цены. Никакой — кроме разве той, что они обнажают поверхностность психологического анализа со стороны таких судей, не умеющих отличить неизбежных в жизни любого художника периодов творческого замирания и накопления от фазы конечного оскудения творческого импульса.

Всенародное горе, охватившее Россию при известии о гибели поэта, показало, что миссия всенародного значения впервые в истории возложена не на родомысла, героя или подвижника, а на художественного гения, и что народ если этого и не осознал, то зато почувствовал совершенно отчётливо. Убийство гения было осознано всеми как величайшее из злодейств, и преступник был выброшен, как шлак, за пределы России. Бессильный гнев, возмущение и негодование можно испытывать теперь, читая о благополучии и преуспевании, которым обласкала Дантеса его дальнейшая судьба — судьба самодовольного богача и дельца, сенатора Второй Империи, не испытавшего и тени раскаяния в совершённом преступлении. Но для метаисторического созерцания слишком ясно, каким мимолетным было это пошлое торжество и каким жутким — посмертие Дантеса. Теперь, после выполнения им второй тёмной миссии и вторичного падения на Дно Шаданакара, ему грозит сделаться носителем тёмной миссии в третий раз и

после этого быть выброшенным из нашей брамфатуры.

Но если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лоно не только Российской, но и других метакультур.

Миссия Пушкина, хотя и с трудом, и только частично, но всё же укладывается в человеческие понятия; по существу она ясна.

Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры.

С самых ранних лет — неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, раскалённого воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозность природы, переключающая даже сомнение из плана философских суждений в план богоборческого бунта, — наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов; высшая степень художественной одарённости при строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров... Всё это, сочетаясь в Лермонтове, укрепляет нашу уверенность в том, гроза вблизи Пятигорска, заглушившая выстрел Мартынова, бушевала в этот час не в одном только Энрофе. Это, настигнутая общим Врагом, оборвалась недовершённой миссия того, кто должен был создать со временем нечто, превосходящее размерами и значением догадки нашего ума, — нечто и в самом деле титаническое.

Великих созерцателей «обеих бездн», бездны горнего мира и бездны слоёв демонических, в нашей культуре я до сих пор знаю три: Иоанн Грозный, Лермонтов и Достоевский. Четвёртым следовало бы назвать Александра Блока, если бы не меньший, сравнительно с этими, тремя масштаб его личности.

Если и не приоткрыть завесу над тайной миссии, не свершённой Лермонтовым, то хотя бы угадать её направление может помочь метаисторическое созерцание и размышление о полярности его души. Такое созерцание приведёт к следующему выводу: в личности и творчестве Лермонтова различаются без особого усилия две противоположные тенденции. Первая: линия богоборческая, обозначающаяся уже в детских его стихах и поверхностным наблюдателям кажущаяся видоизменением модного байронизма. Если байронизм есть противопоставление свободной, гордой личности окованному цепями условностей и посредственности

человеческому обществу, то, конечно, здесь налицо и байронизм. Но это — поверхность; глубинные же, подпочвенные слои этих проявлений в творческих путях обоих поэтов весьма различны. Бунт Байрона есть, прежде всего, бунт именно против общества. Образы Люцифера, Каина, Манфреда суть только литературные приёмы, художественные маски. Носитель гениального поэтического дарования, Байрон как человек обладал скромным масштабом; никакого воплощения в человечестве титанов у него в прошлом не было. Истинному титану мечта о короне Греции показалась бы жалкой и мелкой детской игрой, а демонические позы, в которые любил становиться Байрон, вызвали бы у него лишь улыбку, если бы он не усмотрел в них действительных внушений демонических сил. А такие внушения были, и притом весьма настойчивые. Жгучее стремление к славе и к власти, постоянный маскарад жизни, изменчивость итальянских приключений — всё это указывает отнюдь не на титаническую природу этого человека, а только на его незащищённость от демонической инвольтации. А так как общая одарённость его природы была огромной, а фон, на котором он действовал — общество того времени, — совершенно тускл, то маскарад этот мог ввести в заблуждение не только графиню Гвиччиоли, но и настоящего титана, каким был Гёте. — Байрон амистичен. Его творчество являло собою, в сущности, не что иное, как английский вариант того культурного явления, которое на континенте оформилось в идеологической революции энциклопедистов: революции скептического сознания против, как сказал бы Шпенглер, «великих форм древности». У Лермонтова же — его бунт против общества является не первичным, а производным: этот бунт вовсе не так последователен, упорен и глубок, как у Байрона, он не уводит поэта ни в добровольное изгнание, ни к очагам освободительных движений. Но зато лермонтовский Демон — не литературный приём, не средство эпатировать аристократию или буржуазию, а попытка художественно выразить некий глубочайший, с незапамятного времени несомый опыт души, приобретённый ею в предсуществовании от встреч со столь грозной и могущественной иерархией, что след этих встреч проступал из слоёв глубинной памяти поэта на поверхность сознания всю его жизнь. В противоположность Байрону, Лермонтов — мистик по существу. Не мистик-декадент поздней, истощающейся культуры, мистицизм которого предопределён эпохой, модой, социально-политическим бытием, а мистик, если можно так выразиться, милостью Божией: мистик потому, что внутренние его органы — духовное зрение, слух и глубинная память, а также дар созерцания космических панорам и дар постижения человеческих душ — приоткрыты

с самого рождения и через них в сферу сознания просачивается вторая реальность: реальность, а не фантастика. Это превосходно показал на анализе лермонтовских текстов Мережковский — единственный из критиков и мыслителей, который в суждениях о Лермонтове не скользил по поверхности, а коснулся трансфизического корня вещей (Д. С. Мережковский. Лермонтов).

Лермонтов до конца своей жизни испытывал неудовлетворённость своей поэмой о Демоне. По мере возрастания зрелости и зоркости он не мог не видеть, сколько частного, эпохального, человеческого, случайно-автобиографического вплелось в ткань поэмы, снижая её трансфизический уровень, замутняя и измельчая образ, антропоморфизируя сюжет. Очевидно, если бы не смерть, он ещё много раз возвращался бы к этим текстам и в итоге создал бы произведение, в котором от известной нам поэмы осталось бы, может быть, несколько десятков строф. Но дело в том, что Лермонтов был не только великий мистик; это был живущий всюю полнотой жизни человек и огромный — один из величайших у нас в XIX веке — ум. Богоборческая тенденция проявлялась у него поэтому не только в слое мистического опыта глубинной памяти, но и в слое сугубо интеллектуальном, и в слое повседневных действенных проявлений, в жизни. Так следует понимать многие факты его внешней биографии: его кутежи и бретёрство, его юношеский разврат — не пушкинский весёлый, а угрюмый и тяжкий, его поведение с теми женщинами, перед которыми он представлял то Печорина, то почти что Демона, и даже, может быть, его воинское удальство. (К двадцати пяти годам все эти метания Лермонтова кончились, утратили для него всякий интерес и были изжиты, в то время как Байрон продолжал быть игрищем всевозможных сил до конца своей тридцатипятилетней жизни.) В интеллектуальном же плане эта бунтарская тенденция приобрела вид холодного и горького скепсиса, вид скорбных, разъедающе-пессимистических раздумий чтеца человеческих душ. Такою эта тенденция сказалась в «Герое нашего времени», в «Сашке», в «Сказке для детей» и т. д.

И, наряду с этой тенденцией, в глубине его стихов, с первых лет и до последних, тихо струится, журча и поднимаясь порой до неповторимо дивных звучаний, вторая струя: светлая, задушевная, тёплая вера. Надо было утратить всякую способность к пониманию духовной реальности до такой степени, как это случилось с русской критикой последнего столетия, чтобы не уразуметь чёрным по белому написанных, прямо в уши кричащих свидетельств об этой реальности в лермонтовских стихах. Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что Ангел, нёсший его душу на

землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный приём, как это было у Байрона, а факт. Хотелось бы знать: в каком же ином поэтическом образе следовало бы ждать от гения и вестника свидетельств о даимоне, давно сопутствующем ему, как не именно в таком? — Нужно быть начисто лишённым религиозного слуха, чтобы не почувствовать всю подлинность и глубину его переживаний, породивших лирический акафист «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», чтобы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее совершенные по своей небывалой поэтической музыкальности строфы Лермонтова говорят именно о второй реальности, просвечивающей сквозь зримую всем: «Ветка Палестины», «Русалка», изумительные строфы о Востоке в «Споре», «Когда волнуется желтеющая нива...», «На воздушном океане...», «В полдневный жар в долине Дагестана...», «Три пальмы», картины природы в «Мцыри», в «Демоне» и многое другое.

Очевидно, в направлении ещё большей, предельной поляризации этих двух тенденций, в их смертельной борьбе, в победе утверждающего начала и в достижении наивысшей мудрости и просветлённости творческого духа и лежала несвершённая миссия Лермонтова. Но дело в том, что Лермонтов был не «художественный гений вообще» и не только вестник, — он был русским художественным гением и русским вестником, и в качестве таковых он не мог удовлетвориться формулой «слова поэта суть дела его». Вся жизнь Михаила Юрьевича была, в сущности, мучительными поисками, к чему приложить разрывающую его силу. Университет, конечно, оказался тесен. Богемная жизнь литераторов-профессионалов того времени была безнадежно мелка. Представить себе Лермонтова замкнувшимся в семейном кругу, в личном благополучии, не может, я думаю, самая благонамеренная фантазия. Военная эпопея Кавказа увлекла было его своей романтической стороной, обогатила массой впечатлений, но после «Валерика» не приходится сомневаться, что и военная деятельность была осознана им как нечто в корне чуждое тому, что он должен был совершить в жизни. Но что же? Какой жизненный подвиг мог найти для себя человек такого размаха, такого круга идей, если бы его жизнь продлилась ещё на сорок или пятьдесят лет? Представить Лермонтова, примкнувшего к революционному движению 60-х и 70-х годов, так же невозможно, как вообразить Толстого, в преклонных годах участвующим в террористической организации, или Достоевского — вступившим в социал-демократическую партию. — Поэтическое уединение в Тарханах? Но этого ли требовали его богатырские силы? — Монастырь, скит? —

Действительно: ноша затвора была бы по плечу этому духовному атлету, на этом пути сила его могла бы найти для себя точку приложения. Но православное иночество несовместимо с художественным творчеством того типа, тех форм, которые оно приобрело в наши поздние времена, а от этого творчества Лермонтов, по-видимому, не отрёкся бы никогда. Возможно, что этот титан так и не разрешил бы никогда заданную ему задачу: слить художественное творчество с духовным деланием и подвигом жизни, превратиться из вестника в пророка. Но мне лично кажется более вероятным другое: если бы не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого — непредставимого для нас и неповторимого ни для кого — жизненного пути, который привёл бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и падения прошлого преодолены, осмыслены и послужили к обогащению духа и где мудрость, прозорливость и просветлённое величие таковы, что всё человечество взирает на этих владык горных вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом радости.

В каких созданиях художественного слова нашёл бы своё выражение этот жизненный и духовный опыт? Лермонтов, как известно, замыслил роман-трилогию, первая часть которой должна была протекать в годы пугачевского бунта, вторая — в эпоху декабристов, а третья — в 40-х годах. Но эту трилогию он завершил бы, вероятно, к сорокалетнему возрасту. А дальше?.. Может быть, возник бы цикл «романов идей»? Или эпопея-мистерия типа «Фауста»? Или возник бы новый, невиданный жанр?.. — Так или иначе, в 70-х и 80-х годах прошлого века Европа стала бы созерцательницей небывалого творения, восходящего к ней из таинственного лона России и предвосхищающего те времена, когда поднимется из этого лона цветок всемирного братства — Роза Мира, выпестованная вестниками — гениями — праведниками — пророками.

Смерть Лермонтова не вызвала в исторической Европе, конечно, ни единого отклика. Но когда прозвучал выстрел у подножия Машука, не могло не содрогнуться творящее сердце не только Российской, но и Западных метакультур, подобно тому как заплакал бы, вероятно, сам демиург Яросвет, если бы где-нибудь на берегах Рейна оборвалась в двадцать семь лет жизнь Вольфганга Гёте.

Значительную часть ответственности за свою гибель Лермонтов несёт сам. Я не знаю, через какие чистилища прошёл в посмертии великий дух, развязывая узлы своей кармы. Но я знаю, что теперь он — одна из ярчайших звёзд в Синклите России, что он невидимо проходит между нас и

сквозь нас, творит над нами и в нас, и объём и величие этого творчества непредставимы в каких наших предварениях.

Там же творит другие творения другое светило: тот, кто был сто лет назад нашим милым, родным Гоголем.

Задача, которую предчувствовал Пушкин, которую разрешил бы, вероятно, к концу своей жизни Лермонтов, встала перед Гоголем с исключительной жгучестью.

Никакое сознательное движение вперёд невозможно без осознания несовершенства той стадии, на которой находишься, и без понимания её несовершенства.

Сделать так, чтобы Россия осознала всё несовершенство своей стадии становления, всю неприглядность своей незарённой жизни, — это должен был сделать и сделал Гоголь. Ему был дан страшный дар — дар созерцания изнанки жизни, и другой дар: художественной гениальности, чтобы воплотить увиденное в объективно пребывающих творениях, показуя его всем. Но трагедия Гоголя коренилась в том, что чувствовал в себе ещё и третий дар, нераскрытый, мучительно требовавший раскрытия, — а он не знал — и не узнал, — как раскрыть этот третий дар: дар вестничества миров восходящего ряда, дар проповедничества и учительства. При этом ему не удавалось осознать различия между вестничеством и пророчеством; ему казалось, что вестничество миров Света через образы искусства непременно должно связываться с высотой этической жизни, с личной праведностью. Ограниченные, сравнительно с художественной гениальностью, способности его ума не позволили ему понять несоответствие между его задачей и формами православно-учительской деятельности, в которую он пытался её облечь. Расшатанный и изъязвлённый созерцанием чудищ «с унылыми лицами» психофизический состав его существа не выдержал столкновения между православным аскетизмом и требованиями художественного творчества, между чувством пророческого призвания и сознанием своего недостойнства, между измучившими его видениями inferнальных кругов и жгучею жаждою — возвещать и учить о мирах горних. А недостаточность — сравнительно с Лермонтовым — начала деятельно-волевого как бы загнала этот жизненный конфликт во внутреннее пространство души, лишила его необходимых выявлений вовне и придала колорит тайны последнему, решающему периоду его жизни.

«Гоголь запостился...», «Гоголь замолился...», «Гоголь заблудился в мистицизме...» Как жалки эти, сто лет не сходящие со страниц нашей печати, пошлости. Известна картина Репина: «Самосожжение Гоголя». В



конце концов каждый зритель привносит в произведение живописи нечто своё, и доказать, что именно он видит в данной картине нечто такое, чего не видят другие, невозможно. Среди профессионалов-живописцев эта картина Репина вызывает иной раз отзывы скорее скептические, а иногда даже возмущённые. Некоторые полагают, что тут налицо незаконное вторжение «литературы» в живопись. Случается слышать и ещё более суровые оценки, усматривающие в этом произведении подмену духовной трагедии Гоголя какою-то чисто физиологической коллизией. Я ничего этого не вижу. Я вижу совсем другое. Я вижу, что ни один человек, о трагедии Гоголя высказывавший своё суждение, даже такой глубокий аналитик, как Мережковский, не был так пронизателен и глубок, как недалёкий и обычно совсем не глубокий Репин.

Когда, будучи свободным от профессиональных предубеждений, взглядываешься в эту картину, ощущаешь себя невольно втягиваемым в душевную пропасть сквозь последовательные психофизические слои.

Сначала видишь больного, полупомешанного, может быть, даже и совсем помешанного, изнемогающего в борьбе с каким-то, пожалуй, галлюцинаторным видением. При этом испытываешь смесь соболезнования и того бессознательного, невольного отталкивания, какое свойственно «психически нормальным» людям при соприкосновении с душевнобольным. Но вот этот слой спадает, как шелуха; внезапно различаешь искажённое предсмертным томлением лицо человеческого существа, принёсшего и приносящего в жертву кому-то всё своё драгоценнейшее, всё, чем жил: заветнейшие помыслы, любимейшие творения, сокровеннейшие мечты, — весь смысл жизни. В потухающих глазах, в искривлённых устах — ужас и отчаяние подлинного самосожжения. Ужас передаётся зрителю, смешивается с жалостью, и кажется, что такого накала чувств не сможет выдержать сердце. И тогда делается видным третий слой — не знаю, впрочем, последний ли. Те же самые потухающие глаза, те же губы, сведённые то ли судорогой, то ли дикою, отчаянною улыбкой, начинают лучиться детскою, чистой, непоколебимой верой и той любовью, с какой припадает рыдающий ребёнок к коленям матери. «Я всё Тебе отдал, — прими меня, любимый Господи! Утешь, обойми!» — говорят очи умирающего.

И чудо художника в том, что уже в самой мольбе этих глаз заключён ответ, точно видят они уже Великую Заступницу, обнимающую и принимающую эту исстрадавшуюся душу в лоно любви.

Тот, кто пройдёт сквозь все эти слои поразительного репинского создания, не усомнится ещё и в другом, самом высоком, всё утешающем и

оправдывающем: в том, что врата Синклита распахнулись перед Гоголем во всю ширь, как перед любимейшим из сынов его.

Эти три первых великих гения русской литературы вознесли и утвердили эту литературу на высоту духовной водительницы общества, учительницы жизни, указательницы идеалов и возвестительницы миров духовного света, приобрели ей славу и всенародный авторитет, увенчали нимбом мученичества.

## Глава 3

### Миссии и судьбы (продолжение)

Освещающая — насколько я могу осветить — в главе о средних мирах Шаданакара характер связи между человечеством и сакуалой Даймонов, я упомянул о расе метапрообразов, обитающей подле даймонов и имеющей большое значение для понимания некоторых произведений искусства Энрофа.

Лев Толстой — отец Андрея Болконского, хотя, конечно, и не в том смысле, в котором он был отцом Сергея Львовича или Татьяны Львовны. Интуиция гениального художника, синтетически создававшего образ Андрея из отдельных психических и физических черт разных людей, уловила сквозь эту амальгаму, как через своеобразный эфирный фокус, похожий, но ещё более значительный образ существа из Жерама — того слоя в сакуале Даймонов, который играет для них ту же роль, что Энроф для нас. Это было существо из расы метапрообразов — отставшей в своём развитии от даймонов и опекаемой ими расы. Я упоминал уже, что они чрезвычайно схожи с людьми как своим внешним обликом, так и душой. Образ Андрея Болконского воспринимался и творчески сопереживался миллионами людей, читавших эпопею Толстого. Психическое излучение этого людского множества необычайно усилило этот объективно существующий, созданный Толстым эфирный образ Андрея, а для метапрообраза, связанного с ним, он стал одним из материальных облачений, чем-то вроде его эфирного тела, чем-то необходимым ему для дальнейшего развития, вернее — облегчающим и ускоряющим его развитие, как бы наполняющим новыми горячими силами и полнотой жизни его существо. Проанализировать этот процесс точнее я не в состоянии. Возможно, что в следующем эоне, когда преображённое человечество приступит к спасению сорвавшихся в магмы и ядро Шаданакара, тот, кто нам известен как Андрей Болконский и ныне находящийся в Магирне, обретёт своё воплощение в Энрофе и примет участие в великом творческом труде вместе со всеми нами. А в текущем эоне каждый из метапрообразов, получивших эфирное облачение от художников Энрофа, <не только> вбирает наши психические излучения, им вызванные, в свой состав, но и воздействует обратно на множество конкретных человеческих психик: он тормозит их становление либо способствует ему — в зависимости от природы, которая ему сообщена его

творцом-художником. Вот почему общечеловеческий долг отцовства снимается с великих художников: снимаясь, он заменяется долгом отцовства другого рода. Данте, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Сервантес, Шиллер, Моцарт, Бетховен, Лермонтов, Гоголь, Чехов, Глинка, Чайковский, Мусоргский и десятки других художественных гениев и вестников не имели детей, но никакой наш моральный инстинкт не вменяет им этого в ущерб именно потому, что все мы бессознательно знаем, что долг отцовства был ими выполнен, хотя и не так, как это происходит обыкновенно.

Было бы грубым упрощением полагать, будто за всеми человеческими образами художественной литературы и искусства стоят метапрообразы из мира даймонов. Напротив, — они стоят лишь за ничтожным меньшинством из этой необозримой галереи: обычно за теми, кого мы называем типами, и за очень крупными индивидуальностями. Но в тех случаях, когда они стоят, смысл создания художником человекообраза является двусторонним. Во-первых, через его посредство совершается могучее воздействие на человеческие существа нашего слоя. Во-вторых, повторяю, создаётся тонкоматериальное облачение, сообщающее жизненные силы метапрообразу к сокращающее его путь в сакуале Даймонов.

Ясно, однако, что художник не может быть свободен от кармической связи с отображёнными им метапрообразами и от кармической ответственности за их судьбу, — подобно тому, как человек-отец несёт ответственность за судьбу рождённых и воспитанных им детей. Гоголь затратил огромные усилия и поистине титанический труд, чтобы помочь в восходящем пути тем, кому он когда-то дал имена Собакевича, Чичикова или Плюшкина. Предчувствовал ли он это при жизни или нет, но всем известно, что он уже тогда страстно мечтал и даже пытался художественно предварить так называемое обращение главных персонажей «Мёртвых душ», то есть их сознательное вступление на восходящий путь. Недовершённое в жизни совершается художником в посмертии и на этот раз.

Чем значительнее созданный художником человеко-образ, тем большие возможности открывает он перед метапрообразом. И тот, кто был отображен Гёте как Фауст, скоро вступит в Синклит Мира, где давно уже пребывает Дон Кихот, а во втором эоне станет грандиозной личностью среди преображённого человечества.

Для человека с раскрывшимися духовным слухом и зрением встреча с тем, кто нам известен и нами любим как Андрей Болконский, так же достижима и абсолютно реальна, как и встреча с великим человеческим

духом, которым был Лев Толстой. Вопрос — в раскрытии соответствующих, в каждом из нас заложенных органов восприятия и в том, в который именно из иноматериальных слоёв Шаданакара проникли мы благодаря этим органам.

Сколь фантастично ни казалось бы всё, что я здесь говорю, и сколько бы насмешек ни вызвал уверенный тон этих высказываний, я иду навстречу любым насмешкам, но не могу взять назад ни одной из формулированных здесь мыслей.

Однако после сказанного уже не может показаться странным следующее: роль крылатого даймона по отношению к человеку — носителю дара и миссии заключается, в смысле метода его воздействия, в том, что он прежде всего снимает запоры с хранилища творческого импульса, заложенного в вестнике, как и во всяком человеке, и этим способствует тому, что в творческое лоно художника устремляется поток оплодотворяющих впечатлений жизни, отливаясь в тот или иной образ; во многих случаях — в человеко-образ. Дальнейшая же работа даймона над астралом вестника преследует цель ослабления косности тех эфирно-физических преград, которые отделяют человеческое сознание от высших способностей, заложенных в астральном теле. При этом, в зависимости от художественной и личной индивидуальности данного художника, а также в зависимости и от характера его миссии, работа даймона может быть сосредоточена в особенности на какой-нибудь одной из этих способностей: на духовном зрении или слухе, на глубинной памяти, на способности созерцания космических панорам и перспектив, на способности высшего понимания других душ человеческих — можно назвать её способностью духовного анализа — и, наконец, на способности к Любви в самом высоком смысле этого слова. В отдельных случаях работа даймона может направиться на раскрытие исключительно одной из этих способностей, а её раскрытие облегчит и ускорит его работу над другими способностями уже в другой, более поздний период жизни вестника на земле. Нечто схожее происходило, например, с Чеховым. Его миссией было пронизание искусства слова любовью к людям в такой мере, к какой только приближались Диккенс и Достоевский. Чехов стоял на совершенно прямом пути. Закрытость его духовного зрения, слуха, способности созерцания космических панорам — всё это было явлением временным, вызванным тем, что работа даймона была устремлена на раскрытие в нём дара высшей любви, и когда эта фаза работы была бы завершена, остальные способности раскрылись бы одна за другой с потрясающею быстротой. К семидесяти годам Чехов являл бы собой образец сочетания гениальности и святости.

Этому помешала только смерть в 44-летнем возрасте, только она.

Существует некий закон масштабов: становящаяся монада делается тем более великой, чем глубже были спуски, которые ею совершены, и страдания, которые пережиты. Монада эманурует из Отчего лона в материю не для того, чтобы скользнуть по поверхности одного из слоёв планетарного космоса, а для того, чтобы пройти его весь, познать его весь, преобразить его весь и, возрастая от величия к величию, стать водительницей звёзд, созидательницей галактик и, наконец, соучастницей Отца в творении новых монад и вселенных.

Отсюда — наше чувство благоговения и преклонения не только перед категориями прекрасного и высокого, но и перед категорией великого.

Отсюда — возникновение в нашей душе этого чувства при соприкосновении с такими образами, как Эдип, Прометей, Фауст, Дон Жуан, Брандт.

И именно грандиозные масштабы заложенных в них потенциалов отличают «детей Достоевского».

Чем, в сущности, оправданы всевозможные, без конца варьируемые от романа к роману, от персонажа к персонажу «инфернальные» спуски этих героев? Какое положительное значение могут принести наши блуждания вслед за ними по лабиринтам этих страстей, этих убийств и самоубийств, телесных и духовных растрепаний, по самым тёмным излучинам душевного мира? Не чреватые ли такие странствия, напротив, опасностями — поддаться соблазну, перейти к подражанию, к совершению таких же непростительных, даже преступных действий?

Те, кто любит Достоевского, часто ссылаются в оправдание на то, что великий писатель учит различать в самой падшей душе «искру Божию», что он внушает сострадание к несчастным и т. п. Сострадание он действительно внушает, и сострадание великое. Но всегда ли? Неужели главным компонентом в нашем отношении к Ставрогину, к Петру Верховенскому, к Свидригайлову будет сострадание? Да и обнаружение «искры Божией» в Верховенском или Смердякове служит плохим утешением; их преступных действий оно не оправдывает и не смягчит. Дело в другом: в том, что их в какой-то мере — не то что оправдывает, но заставляет нас верить в высокие возможности их потенциалов, иррационально нами ощущаемый масштаб их. Это значит, конечно, не то, что с них снимается ответственность за совершённое, а то, что у нас (во всяком случае, у читателя, обладающего метаисторическим мироощущением) возникает уверенность, что чем глубже спускались эти одержимые соблазном души, чем ниже были круги, ими пройденные опытно, тем выше

будет их подъём, тем грандиознее опыт, тем шире объём их будущей личности и тем более великой их далёкая запредельная судьба.

Как художник-этик, пробуждающий наше сострадание к несчастным и падшим, Достоевский велик — так велик, что этого одного было бы достаточно, чтобы упрочить за ним навсегда одно из первых мест в пантеоне всемирной литературы. Не менее, вероятно, велик он и как художник-вестник Вечно-Женственного; только искать веяние этого Начала нужно не в замутнённых, душевно искалеченных, внутренне потерявшихся, снижаемых собственной истеричностью образах Настасьи Филипповны или Катерины Ивановны, а в том варианте общечеловеческой темы, на Западе разработанной в лице Маргариты и Сольвейг, который у нас создал именно Достоевский. История Сони Мармеладовой и Раскольникова — это потрясающее свидетельство о том, как *das Ewig Weibliche zieht uns heran*.  
[\[35\]](#)

Но ещё более велик Достоевский именно тем, что проводит нас, как Вергилий проводил Данте, по самым тёмным, сокровенно греховным, самым неозарённым кручам, не оставляя ни одного уголка — неосвещённым, ни одного беса — притаившимся и спрятавшимся. В этом и состояла главная особенность его миссии: в просветлении духовным анализом самых тёмных и жутких слоёв психики. В этом отношении он является не только великим, но, пожалуй, глубочайшим писателем всех времён. Дальше перед ним начиналось другое: пронизывание таким анализом и светлых слоёв, но на этой дороге он едва успел сделать первые шаги.

Во всяком случае, если для тех конечных целей демиурга, о которых я говорил в предыдущей главе, нужно предельно расширить границу личности и включить в зону, ею охваченную, самые крошечные слои инфрафизики (ибо пока они не изведаны, они не могут быть и просветлены), то никто не сделал для этого так много, как Достоевский.

Я не случайно упомянул Данте. Но, чтобы правильно понять эту связь, следует ясно отдавать себе отчёт в различных планах, различных формах и стадиях подобного спуска в инфрафизические слои.

Работа даймона над Достоевским сосредоточивалась преимущественно на развитии его способности высшего понимания других человеческих душ; другие его духовные органы оставались только приоткрытыми. Поэтому в его творениях заключены не прямые, не открытые образы иноматериальных реальностей, как у Данте, но их функции в слое человеческой психики, человеческих деяний и судеб. Человек, сохранивший о подобных спусках воспоминание более

отчётливое, мог бы различить функции таких слоёв нисходящего ряда в психике и деяниях многих героев Достоевского. Он обнаружил бы функции Дуггура, Шим-бига и Дна в душе Ставрогина и Свидригайлова; Друккарга и Гашшарвы — в душе Петра Верховенского, функцию Гашшарвы и Цебрумра — слоя грядущего антицеркви антихриста — в Великом Инквизиторе. В личности Ивана Карамазова обнаружались бы функции многих различных миров и восходящего, и нисходящего ряда. Глава «Кана Галилейская» — явное воспоминание о Небесной России, может быть, даже отблеск Голубой пирамиды — Трансмифа Христианства, — и вообще в психике Мышкина, Алёши Карамазова, особенно старца Зосимы, чувствуются следы полузабытых странствий по очень высоким слоям. В образ и даже в слова Хромоножки вложено воспоминание о великой стихии — Матери-Земле.

Галерея человеческих образов, созданных Достоевским, не имеет себе равных, и не в одной только русской литературе. Недаром ни один русский писатель, кроме Толстого, не пользуется такой незыблемой всемирной славой. Каждому известно, что идеи философские, религиозные, нравственные, психологические, социально-исторические, культурные, выдвинутые Достоевским, поистине неисчислимы. Я ограничусь указанием лишь на две из них, имеющие, с метаисторической точки зрения, значение совершенно особое.

Первая — это та трактовка революционного движения того времени, за которую Достоевский получил впоследствии прозвание «пророка русской революции». В «Бесах» можно обнаружить массу деталей, верно подмеченных Достоевским у народовольцев, но не передавших их историческим преемникам. Эти последние именно потому и отрицают своё родство с персонажами знаменитого романа и считают его вообще поклепом на революцию. Но если суметь отделаться от этой ослеплённости яркими деталями, обнажится некая субстанция, общая как для Верховенского и его сподвижников, так и для их исторических потомков, — некий «корень вещей». И те, и другие жаждали крушения существующего порядка, дабы «строить самим». Те и другие шли к этому путём расшатывания общественных устоев и, наконец, вооружённого переворота. Те и другие не только были беспощадны и лишены всякого намёка на чувство жалости, благодарности или снисхождения, но ненавидели всё, им мешающее, жгучей, мстительной, неудержимой ненавистью. Одни предвидели, а другие осуществляли на свой лад необходимость пустить легенду об «Иване-царевиче», чудотворном вожде. Одни мечтали, а другие осуществляли «раз в несколько лет всеобщую



судорогу», уносящую гекатомбы жертв. Одни мечтали, а другие осуществляли воспитание новых поколений, воображающих себя свободными и лишёнными души. Те и другие — две последовательные стадии в развитии одной и той же тенденции, несмотря на то, что метаисторические силы, стоявшие за каждой из этих стадий, были, как постараюсь я показать впоследствии, не идентичными, хотя и весьма родственными.

Другая идея Достоевского имеет не менее прямое отношение к конечным целям демиурга и вообще к нашему и общечеловеческому будущему. Идея эта изложена в известном диалоге Ивана Карамазова с иноками в монастыре (глава «Буди, буди!»). Заключается же идея в уповании на то, что в историческом будущем осуществится нечто, противоположное римской католической идее превращения церкви в государство (так, по крайней мере, понимал католическую идею Достоевский): превращение государства в церковь. 75 лет назад такая идея казалась каким-то утопическим анахронизмом, 25 лет назад — бредом мистика, оторванного от жизни; сейчас же она заставляет призадуматься; через 10 или 20 лет она начнёт своё победоносное шествие по человечеству. Естественно, что задачу эту Достоевский возлагал не на Розу Мира, предвидеть которую в XIX веке не мог даже он, а на православие.

Явственными признаками провиденциальности отмечена и судьба самого Достоевского. Конечно, страдание есть всегда страдание, и сердце может сжиматься от жалости и сочувствия, когда мы читаем о бесконечных мытарствах и мучениях, из которых была соткана внешняя сторона этой жизни. Но, как ни ужасны с гуманистической точки зрения даже тягчайшие её события, они были абсолютно необходимы, чтобы сделать из человека и художника того великана, каким он стал. Таковы — его эпилепсия, аномальный облик его сексуальной сферы, безудержность и страстность его природы, минуты его на эшафоте, пребывание его на каторге и даже, по видимому, его бедность.

Но почему-то почти не отмечается в литературе о нём факт исключительной важности: а именно то, что в последние годы своей жизни Достоевский освобождался, одна за другой, от страстей, требовавших преодоления и изживания: для него наступила пора очищения. Великое сердце, вместившее в себя столько человеческих трагедий, исходившее кровью за судьбу столько детей художественного гения, опрозрачивалось от мути, и вместе с тем возрастали силы любви. И когда читаешь некоторые страницы «Братьев Карамазовых», например главы о капитане Снегирёве или некоторые абзацы о Димитрии, охватывает категорическое чувство:

чтобы так любить, так обнимать состраданием и так прощать, надо стоять уже на границе праведности.

Конечно, в своём посмертии Достоевский получил такие возможности к спасению и подъёму своих метапрообразов, каких мы не можем знать. И в этом отчасти и заключалось, во всяком случае в известный период, его посмертное творчество. Скоро начался и другой труд: быть Вергилием спящих по кругам инфрафизики.

Но если это мы ещё способны представить себе, то дальнейшие творческие его ступени уводят в такую высь и приобретают такой масштаб, что воспринять мы сможем их только тогда, когда сами вступим — духовидением при жизни или всем составом нашим после смерти — в затомис нашей метакультуры.

Говоря о предпосылках, без которых рождение Розы Мира немислимо исторически и психологически, я отметил, как одну из важнейших, снятие исконного противоречия двух начал: аскетически-духовного и так называемого «языческого». Аскетическое начало, как самодовлеющее, было оправдано метаисторической диалектикой на ранних этапах многих метакультур; в метакультурах же христианских, как это говорилось уже не раз, оно было связано с прерванностью, недовершённостью миссии Христа. И надо застрять именно на этом этапе, чтобы продолжать думать всерьёз, будто цель мирового становления исчерпывается спасением нескольких сот тысяч праведников. Подобная мысль возможна при кругозоре первых веков христианства; историческое христианство формировалось, опираясь на данные именно такого кругозора; большею широтой не отличались — да и не могли отличаться — и другие религии, формировавшиеся полтора-два-два с половиной тысячелетия тому назад. Единственной наполовину удавшейся попыткой хоть немного изменить окостеневшую догматику была Реформация. Но Ренессанс и Реформация представляют собой чрезвычайно сложные метаисторические узлы. Трансфизическое чудовище, стоявшее за Инквизицией, начало действовать гораздо раньше, чем инквизиция появилась на исторической арене, и вызвало своими действиями раскол светлых сил. Одни из них стремились к очищению христианства, но и среди них не было единства: внутри этого стана определилось две направленности; первая — отразившаяся крайне замутнённо в Реформации, вторая — во внутреннем, хотя и слабом, стремлении католичества к очищению церкви от гнусных грехов предыдущего этапа. Другая же часть светлых сил сочла за необходимость временно отойти от исторически сложившихся форм христианства совсем, надеясь, что на пути развития светской, гражданственной гуманности

Европа придёт постепенно к новому осмыслению идеалов Христа. Таким образом, Реформация и Ренессанс оказались под знаком двух противных сил: только что описанной силы светлых начал, лишившейся единства и общей направленности, — и силы демонической. Естественно, что как только ослабело внешнее религиозное принуждение, в неподготовленную душу хлынули потоки из разных тёмных миров: Мудгабра, Юнукамна, Дуггура. Усилилось влияние каросс. Немало сделал и сам Урпарп. Расширение пропасти между наукой и этикой инспирировалось, разумеется, им, дабы привести науку к полной изоляции от нравственности, религии и вообще духовности. Над этим старались специальные существа, игравшие роль как бы тёмных даймонов. Они вмешивались и направляли деятельность даже людей совершенно светлой воли; не свободны от их воздействия были даже Коперник, Галилей и Декарт. За спиной Леонардо такой даймон стоял всю жизнь, хотя к концу его инвольтация была подавлена влиянием Света. Входили, так сказать, в план демонических сил и многие крупные художники Ренессанса, например Тициан, но его стихийность и чрезвычайная неотчётливость сознания помешали Урпарпу сделать из него такого профанатора и соблазнителя, какого ему хотелось. Не вполне чисто даже творчество Рафаэля. «Энрофизация» представлений о высших мирах Шаданакара — такое определение звучит прозаично и плоско, но и творчество Рафаэля, и весь Ренессанс стоят под знаком именно этого процесса. Несмотря на все художественные достижения, это был некоторый шаг назад, хотя и логический, и неизбежный, если не забывать — никогда не забывать! — о трагических последствиях недовершённости миссии Христа.

Вожди протестантизма свернули на путь не обогащения мира религиозных идей, прозрений и чувств, а его обеднения за счёт извергаемых из него элементов мистериальных, магических, а также за счёт ослабления роли элемента религиозно-эстетического. При этом в пылу борьбы с Римом были отвергнуты и какие бы то ни было надежды на духовное руководство государством со стороны религиозно-нравственных инстанций, хотя бы только как мечта о далёком будущем. Эта ущерблённость протестантизма не могла окупиться частичным оправданием мирского начала, потому что связывалась не с ограничением исключительных требований аскетической духовности, а с полным отказом от этих начал, и потому ещё, что у самого мирского начала отнимали перспективы его преобразования и просветления. Лютер искажил своё долженствование и самозванно присвоил миссию. Он мог бы стать папой, ему была бы дана власть для очищающих реформ. Вместо этого он сделал

то, что сделал: он оказался повинен в дроблении западной церкви и в духовном опустошении отколовшейся её половины. Неудивительно, что ему пришлось испытать нисходящее посмертие и лишь к нашему времени подняться до Синклита Германии.

Дальнейший ход культурно-исторических процессов на Западе показал, что протестантизм в сущности оказался очередной ступенью общего, с раннего Ренессанса начавшегося и через гуманизм прошедшего движения — так сказать, «обезрелигиозирования» жизни (да извинят меня за ещё одно неуклюжее слово; постараюсь его не повторять). Разумеется, сами деятели Реформации не могли этого знать и понимать, но такова была объективная направленность их деятельности, субъективно истолковывавшейся ими, конечно, совершенно иначе. Это мчался над христианским человечеством Красный Всадник Апокалипсиса — тот самый, в конце пути которого живёт наше поколение. Следующей после Реформации ступенью этого процесса послужили эмпирическая философия в Англии, развитие наук, эмансипировавшихся от религии и этики; а затем — энциклопедисты с их наполовину деистической, наполовину материалистической философией, сделавшей уже только одну, да и то жалкую и бессильную попытку при Робеспьере — превратиться в культ. Далее последовала ступень научно-философского материализма и, наконец, в XX веке достигнут конец лестницы в виде возведения одной из разновидностей материализма в ранг государственного, всеобщего обязательного учения и его догматизация.

Это совершилось уже не на Западе, а в стране, этапа протестантизма не проходившей и даже философского деизма едва коснувшейся, а прямо заимствовавшей извне идеи гораздо более позднего этапа. Но почва, сделавшая возможной для России историческую прочность такого заимствования, была, опять-таки, не чем иным, как отставанием исторического христианства (на этот раз в его православной разновидности) от объективного расширения культурного кругозора и от стремительных сдвигов психологии. Так мстило мирское «языческое» начало за своё угнетение в течение многих веков. Новые формы, в которые это культурное движение отливало в XIX столетии, можно и должно рассматривать именно как западные интеллектуальные формы для исконно русского, правильнее — россианского содержания. Формами этими были: заимствованные с Запада социальные доктрины — фурьеризм, социализм, анархизм; художественно-литературные жанры — роман, новелла, трагедия, комедия; бытовой жанр в живописи; симфония, соната, опера, музыкальная драма; критика и публицистика... Общим же содержанием их

оказалось энергично отстаивающее свои осознанные наконец права жизнеутверждающее и социально-преобразующее мирочувствие. Но знак времени был уже иным. И если прароссианство отнюдь не было лишено духовности, только духовность эта была связана с Навной и с мирами стихиаблей, а не с Трансмифом христианства, то новая стадия в этом движении знаменовалась почти полным угасанием элементов магических и мистериальных и бурным проявлением и ростом импульсов социально-реформаторских и революционно-политических. Таким образом, подпочвенные струи вырвались на поверхность культуры и в первой половине XX века затопили страну со всеми её церквями и монастырями.

Применительно к этому процессу метаисторическая диалектика заключается в том, чтобы понять двойственность самого россианского движения в культуре — светлой стихиальности, то есть оправданности одних её сторон, и тёмной демоничности других; прогрессивности его на одной стадии и регрессивности на другой. (Под регрессивными я понимаю, конечно, такие явления, которые выражают собою борьбу с Провиденциальным началом в человечестве и в космосе).

Любовь к миру не только оправдана, но неперенна: без неё невозможно ничто, кроме себялюбивых устремлений к индивидуальному самоспасению.

Но есть любовь и любовь.

Любовь к миру, то есть к среде природной и к среде культурной как к источникам пользы только для нас и наслаждения только для нас, и притом таким источникам, какие должны превратиться полностью в нашего слугу и раба, — вот то, без чего должно.

Любовь к миру как к прекрасному, но искажённому, замутнённом, страдающему и долженствующему стать ещё прекраснее, чище и блаженнее через века и зоны нашей работы над ним, — вот та любовь, без которой нельзя. Это не значит, конечно, что силы Природы нельзя обращать на пользу человеку; это значит только, что наряду с таким обращением должно совершаться и обратное: обращение сил человека на пользу — и духовную пользу — Природы.

Любовь к жизни как к сумме наслаждений и польз для нас либо же как к материалу, который мы насильственно и тиранически претворяем в то, чего хотим, — вот импульс, подлежащий безоговорочному и полному преодолению в нас самих.

Любовь к жизни как к мировому потоку, творимому Богом, иерархиями и человеком, благословенному во всём, от созвездий и солнц до электронов и протонов — во всём, кроме демонического, —

прекрасному не только в нашем слое, но и в сотнях других слоёв, и ждущему нашего участия в нём во имя любви, — вот то, без чего человечество придёт лишь к абсолютной тирании и к духовному самоугашению.

И это не значит, опять-таки, что чувственная радость сама по себе пребывает для человека чем-то запретным. Наоборот, это значит только, что такая радость оправдана, если не увеличивает суммы страданий других существ и уравнивается в нас самих готовностью принимать от жизни не только наслаждение, но и скорбь, и труд, и долг.

Подобная чёткость разграничений ещё не могла быть достигнута в прошлом столетии. Смещение этих форм любви к миру и к жизни было ещё неизбежно. Но усиление их, накал, подъём были необходимы, и с этим связана миссия нашего второго из величайших художественных гениев — Льва Толстого.<sup>[36]</sup>

Сколько бы других, более частных задач ни выполнил в своём литературном творчестве Толстой, как бы велики ни были созданные им человеко-образы, сколько бы психологических, нравственных, культурных вопросов он ни ставил и ни пытался разрешить, но для метаисторика самое главное в том, что им осуществлена была могучая проповедь любви к миру и к жизни. Жизни — не в том уплотнённом, сниженном, ничем не просветлённом смысле, в каком понимали её, скажем, Бальзак или Золя, а к жизни, сквозь формы и картины которой именно сквозит свет некоей неопределимой и невыразимой, но безусловно высшей Правды. В одних случаях эта Правда будет сквозить через грандиозные исторические коллизии, через войны народов и пожары столиц, в других — через великолепную, полнокровную, полнострастную природу, в третьих — через индивидуальные искания человеческих душ, их любовь, их неутолимое стремление к добру, их духовную жажду и веру. Вот такую проповедь Толстой, как гений и вестник, и должен был осуществлять — и осуществлял — зачастую вопреки намерениям его логизирующего, слишком рассудочного ума; проповедь — не тенденциозными тирадами, а художественными образами, насыщенными до предела именно любовью к миру, к жизни и к стоящей за ними высшей Правде, — образами, которые сильнее всех тирад и обязательнее всякой логики.

Он любил, и наслаждаясь этой любовью, учил любить всё: цветущую ветку черемухи, обрызганную дождём, — и трепещущие ноздри горячей лошади; песню косарей, идущих по дороге, и от звуков которой точно колышется сама земля, — и крепкие икры бегающих мальчишек; бесприютную старость Карла Ивановича — и усадебные идиллии Лёвиных

и Ростовых; духовную жажду, уводящую Пьера к масонам, а отца Сергия — в странничество, — и хруст снега под торопливыми шагами Сони, когда её озарённое зимней луной лицо приближается к губам Николая со всей чистотой юности и красотой влюблённости; огненную молитву юродивого Гриши — и физическое наслаждение от скачки верхом и от купания, от питья ледяной воды из ручья и от бального наряда, от полевой работы и от чувственной любви.

Но строфы пушкинского «Пророка» недаром выжглись раз и навсегда на первых страницах великой русской литературы. То самое, что привело Гоголя к самосожжению, привело Толстого к отречению от своих художественных созданий и к попытке воплотить образ Пророка в себе самом.

Всю мою жизнь я слышу со всех сторон сокрушения любителей литературы об уходе Толстого в область религиозно-нравственной проповеди. «Сколько гениальных художественных творений лишились мы из-за этого!» — Подобные стенания доказывают лишь непонимание личности Толстого и детскую непродуманность того, что такое русская художественная гениальность. На склоне жизни каждого из гениев России возникает мощная, непобедимая потребность: стать не только вестником, а именно пророком — гонцом горнего мира, выражающим высшую Правду не одними только образами искусства, но всем образом своей жизни. Найти такой синтез и воплотить его в реальности дано только ничтожным единицам. Лев Толстой не нашёл его и в проповедничестве своём не создал ничего, равноценного «Войне и миру». Но поступить он мог только так и никак иначе.

Трагедия Толстого заключается не в том, что он ушёл от художественной литературы, а в том, что дары, необходимые для создания из собственной жизни величавого образа, который превышал бы значительность его художественных творений, — дары, необходимые для пророческого служения, — остались в нём нераскрытыми. Духовные очи не разомкнулись, и миров горних он не узрел. Духовный слух не отверзся, и мировой гармонии он не услышал. Глубинная память не пробудилась, и виденного его душою в иных слоях или в других воплощениях он не вспомнил. Шаданакар остался ему неизвестен, метаистория — непонятна, исторические процессы и цели — неразгаданы, а любовь к миру и требования духовности — не примирены. Его проповеди кажутся безблагодатными потому, что рождены они только совестью и опираются только на логику, а духовного знания, нужного для пророчества, в них нет.

Но духовная жажда его была так велика, а чувство долга проповеди

так неотступно над ним довлело, что тридцать лет он пытался учить тому, что подсказывала ему совесть. А так как совесть его была глубока, разум остр, а словесное мастерство — колоссально, то безблагодатная проповедь оказалась достаточно сильна, чтобы вызвать образование секты и даже перекинуться далеко за рубеж, рассеивая семена идеи о непротивлении злу злом, — семена, падавшие в некоторых странах на подготовленную почву и давшие потом такие всходы, как социально-этическая доктрина Махатмы Ганди.

Таким образом, нам через пятьдесят лет начинает брезжить суть происшедшего с Толстым. Он принял свою духовную жажду за призыв к проповедничеству; своё покаяние — за право учительного обращения к миру; своё вступление на длительный и тернистый путь к пророчеству — за санкцию на пророчество. Он опередил самого себя.

Но преждевременное проповедничество, усиливая его гордыню и запутывая его в противоречиях, не ускоряло, а замедляло его движение по тому отрезку пути, какой оставался ему до раскрытия внутренних даров и до превращения в пророка. Ему казалось, что нужен ещё какой-то героический акт: не то — мученичество за веру, не то — подвижнический уход от общества и от культуры. И действительно: если бы он не заблудился среди нагромождений своего рассудка, если бы ушёл из дому лет на двадцать раньше, сперва — в уединение, а потом — с устной проповедью в народ, совершенно буквально странствуя по дорогам России и говоря простым людям простыми словами о России Небесной, о высших мирах Шаданакара, о верховной Правде и универсальной любви, — эта проповедь прогремела бы на весь мир, этот воплощённый образ Пророка засиял бы на рубеже XX века надо всей Европой, надо всем человечеством, и невозможно измерить, какое возвышающее и очищающее влияние оказал бы он на миллионы и миллионы сердец. Но, запутавшись в тенётах своих противоречивых обязанностей, действительных и мнимых, Толстой долго колебался, не смея поверить в правильность своего понимания — бросить свою семью и сложившийся за столько десятков лет уклад жизни. Когда же поверил и совершил — ему было восемьдесят два, силы иссякли, и долгожданное утоление духовной жажды встретило его уже по ту сторону смертной черты.

Тот, кто был Толстым, теперь не водителствует, кажется, никем из живущих по кругам Шаданакара, как Лермонтов, Гоголь или Достоевский. На высотах метакультуры он творит иное — то, что для тех слоёв ещё грандиознее, чем «Война и мир» — для нас. Ибо тройственный дар-долг гения — вестника — пророка, за который он столько лет боролся с самим



собой, — лишь подобие наивысших форм служения и творчества, осуществляемых в затомисах метакультур и ещё выше — вплоть до Синклита Человечества. Земное творчество — лишь подготовка к творчеству в высших мирах. Потому-то и обращена такая внимательная забота Провиденциальных сил на судьбы и души тех, кого мы называем обычно творцами культуры. Поэтому к ним посылаются даймоны, поэтому их оберегают херувимы и поэтому же демонические силы борются за каждую пядь их жизни и за каждое движение их души.

## Глава 4

### Миссии и судьбы (окончание)

Есть в истории русской культуры особенность, которая, будучи один раз подмечена, поражает сознание и становится предметом тягостного раздумья.

При ознакомлении с античностью бросается в глаза наличие в греческой мифологии разнообразнейших и весьма напряжённых выражений Женственного Начала. Без Афины, Артемиды, Афродиты, Деметры, без девяти муз, без множества богинь и полубогинь меньшего значения олимпийский миф совершенно немыслим. Так же немыслим героико-человеческий план греческой мифологии без Елены, Андромахи, Пенелопы, Антигоны, Федры.

Нельзя себе представить духовного мира древних германцев без Фрейи, Фригги, без валькирий, а их героического эпоса — без образов Брунгильды, Гудруны, Кримгильды.

Ни в одной культуре женщина и Женственное не занимают в пантеоне, мифологии и эпосе, а позднее — во всех видах искусства столь огромного места, как в индийской. Богиня Сарасвати и богиня Лакшми царят на высочайших тронах. Позднее, но уже в течение двух тысяч лет брахманизм и индуизм воздвигают тысячи храмов, ваяют миллионы статуй Великой Матери миров — Кали-Дурги, зиждительницы и разрушительницы вселенной. Живопись, поэзия, скульптура, драматургия, танец, философия, богословие, культ, фольклор, даже быт — всё в Индии насыщено переживаниями Женственного Начала: то жгучими, то нежными, то строгими.

Не только пантеону — и эпосу каждого народа знакомы, в большей или меньшей степени, образы женственного, народом излюбленные и переносимые художниками из сказания в сказание, из искусства в искусство, из века в век.

Что же видим мы в России?

На самой ранней, дохристианской стадии, в бледном восточнославянском пантеоне — ни одного женского имени, сравнимого по вызываемому ими почитанию с Ярилой или Перуном.

В христианском пантеоне — полностью перенесённый к нам из Византии культ Богоматери и поклонение нескольким — византийским же — угодницам.

Народные легенды о св. Февронии Муромской вызывают только чувство тягостного разочарования у всякого, кто раньше познакомился с этим образом через его вариант в опере-мистерии Римского-Корсакова.

Образ Ярославны едва намечен в «Слове о полку Игореве»; в продолжении шестисот лет — ни сказка, ни изобразительные искусства, ни поэзия даже не пытались дать более углублённого, более разработанного варианта этого образа. Приближалось к концу седьмое столетие после создания гениальной поэмы, когда, наконец, образ Ярославны зазвучал по-новому в опере Бородина.

Весь колоссальный круг былин, и киевских, и новгородских, лишён женских образов почти совершенно.

Если не считать занесённую Бог ведаёт откуда легенду об Амуре и Психее, превратившуюся у нас в сказку об Аленьком Цветочке, — во всём необозримом море русских сказок можно найти, кажется, только один светлый женский образ с углублённым содержанием: Василису Премудрую.

И такая пустыня длится не век, не два, но тысячу лет, вплоть до XIX столетия.

И вдруг — Татьяна Ларина. Следом за ней — Людмила Глинки. И — точно некий Аарон ударил чудотворным жезлом по мёртвой скале: поток изумительных образов, один другого глубже, поэтичнее, героичнее, трогательнее, пленительнее: Лиза Калитина, Елена из «Накануне», Ася, Зинаида, Лукерья из «Живых мощей», княжна Марья Волконская, Наташа Ростова, Грушенька Светлова, Марья Тимофеевна Лебядкина, Лиза Хохлакова, Волконская и Трубецкая — Некрасова, Катерина — Островского, Марфа — Мусоргского, мать Манефа и Фленушка — Мельникова-Печёрского, бабушка в «Обрыве» Гончарова, бабушка в «Детстве» Горького, «Дама с собачкой», «Три сестры» и «Чайка» Чехова, «Олеся» Куприна и, наконец, Прекрасная Дама — Блока.

Что это такое?

Это — прямое следствие разрыва, происшедшего между Яросветом и Вторым уицраором.

После взятия Парижа второй демон великодержавия преисполнился непомерной гордыни и чего-то близкого к тому, что на языке психиатров называется манией величия. Инволютируя царя и других деятелей российской государственности, он добился того, что форма Священного Союза была выхолощена от первоначальной идеи, а внутри страны воцарился режим, получивший прозвище аракчеевщины. Наконец, демиург поставил перед Жругром требование, своего рода ультиматум: не мешать

восприятию Александром I демиургической инвольтации, которая тогда сводилась, в основном, к внушению идеи о необходимости немедленных коренных реформ: освобождению крестьянства и созыву всенародного и постоянного Земского Собора. Уицраор отверг эти требования. Тогда, в 1819 году, санкция демиурга была с него снята, и Яросвет впервые обратил своё светоносное оружие против Жругра: часть цитадели игв в Друккарге была разрушена; инвольтация Навны, до тех пор тщетно силившаяся пробиться сквозь эти вековые средостения к сознанию творческих слоёв сверхнарода, получила, наконец, доступ к ним. В высшей степени знаменательно то, что рождение первого образа из женского пантеона России — Татьяны Лариной — падает именно на годы, последовавшие за 1819. Между обеими иерархиями началась открытая борьба. Одним из её видов — со стороны уицраора — было насильственное обрывание жизни в Энрофе тех людей, которые были носителями светлых миссий, и в непосредственной связи с этим находятся трагические смерти, вернее, умерщвления Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, омрачение и запутывание в безвыходных противоречиях Гоголя, Александра Иванова, Мусоргского, Льва Толстого, преждевременные смерти Владимира Соловьёва и Чехова.

История вестничества в русской литературе — это цепь трагедий, цепь недовершённых миссий.

Тёмен жребий русского поэта:  
Неисповедимый рок ведёт  
Пушкина под дуло пистолета,  
Достоевского на эшафот...

*(М. Волошин)*

Но он (не рок, а уицраор, а иногда даже сам Урпарп) — умерщвлял одних, а на смену являлись новые. И в этом ряду особое значение имеет деятельность великого писателя, обладавшего высшею степенью художественной одарённости: Тургенева.

Конечно, тургеньевские образы «лишних людей» очень жизненны и очень интересны для историка. Но — только для историка. Материала, привлекательного для психолога, в фигурах Рудина, Лаврецкого или Литвинова, на мой взгляд, не заключено, а интереса метаисторического никто из них не возбуждает потому, что не выражает и не отражает ни метаисторических сущностей, ни метаисторических процессов.

Симптоматичнее других, разумеется, фигура Базарова, но огромное метаисторическое значение тургеневского творчества всё же совсем в ином.

Миссия Тургенева заключалась в создании галереи женских образов, отмеченных влиянием Навны и Звенты-Свентаны.

То ли вследствие своеобразной, ущербной личной судьбы, а может быть — и в связи с какими-то более глубокими, врождёнными свойствами темперамента своего и дарования, Тургенев более чем кто-либо из писателей его поколения понимал и любил любовь только в её начальной поре: он — гениальный поэт «первых свиданий» и «первых объяснений». Дальнейший ход событий ведёт каждый раз к катастрофе, причём совершается эта катастрофа ещё до того, как судьбы любящих соединились. Может быть, тут сказалось и известное предубеждение писателей предыдущих эпох, полагавших, будто «счастливая любовь» — тема бессюжетная и неблагодарная. Но правильнее, кажется, усмотреть в этой особенности тургеневских романов и повестей отражение определённого жизненного опыта: материала для иного развития любовного сюжета этот опыт Тургеневу не дал.

И всё же он попытался преодолеть эту свою ущербность. Одна из чудеснейших его героинь, Елена, соединяется, как известно, с Инсаровым, становится спутницей его по всем излучинам пути и соучастницей его жизненного подвига. Но, наметив, таким образом, выход из ущербного круга, Тургенев не смог найти в запасе своих жизненных впечатлений такого материала, который позволил бы ему этот сюжет разработать и облечь в художественную плоть и кровь. Даже более: уже соединив обоих героев в их общем жизненном деле, Тургенев поддался свойственной ему любовной меланхолии и заставил Инсарова умереть, а Елену — в одиночестве продолжать начатое дело мужа. Да и особенности тургеневской эстетики любви продолжали сказываться: по-видимому, его особенной, художественной любовью пользовались именно те коллизии, и только те, где звучала неприменная нота печали, надлома, разрыва между мечтой и действительностью, — щемящая мелодия грусти о непоправимом. Другие коллизии, очевидно, казались ему недостаточно красивыми. Так, есть люди и даже целые эпохи, которым руина представляется поэтичнее любого здания, живущего всей полнотой жизни. Но если мы вспомним, что в его эпоху Навна продолжала оставаться пленницей Жругра, а цитадель игв была разрушена Яросветом только в незначительной части, то ущербность тургеневских поэм о любви перестанет казаться нам следствием только ущербности его собственных личных коллизий и будет понята во всей своей объективности и закономерности.

И всё-таки Елена — первый образ русской женщины, вырывающейся из вековой замкнутости женской судьбы, из узкой предопределённости её быта, и уходящей в то, что считалось до тех пор уделом только мужчины: в общественную борьбу, на простор социального действия. Женственно-героическая линия, та линия Навны, у истоков которой на заре русской культуры возвышается монументальная фигура княгини Ольги, позднее — Марфы Посадницы и боярыни Морозовой, а в эпоху, предшествовавшую Тургеневу, — фигуры жён декабристов, — эта линия поднялась в образе Елены на новый уровень и нашла впервые своё художественное воплощение.

Сколько ни писали у нас — от Писарева до последнего гимназиста — о тургеневских женских характерах, а мне всё кажется, что характер Лизы Калитиной до сих пор не оценён по заслугам. Это естественно. Недооценён он потому, что наиболее влиятельная критика, публицистика и литературоведение сто лет находились в руках именно тех, кто сетовал на отход Гоголя от художественной литературы в область религиозно-нравственной проповеди, кто возмущался подобными же стремлениями Толстого, кто высмеивал каждого писателя, желавшего показать своим творчеством или доказать образом своей жизни, что религиозная жажда в человечестве совсем не угасла. Не только уход в монастырь, но самая идея монастыря была в глазах русской критики и общественности идеей реакционной, порочной в самой своей основе. Всё столетие, протёкшее с 1855 года, шло под знаком развенчания и ниспровержения самодовлеюще-религиозных идеалов. Даже мыслители-мистики, как Мережковский, не смели подойти к идее монастыря хотя бы под углом зрения её оправданности на определённых стадиях религиозно-культурного развития личности или народа. Можно было подумать, что глубоко верующие люди (а ведь Лиза принадлежала к их числу) уходят в монастыри, ничего не взвесив, не сообразив, не разобравшись в самих себе, и ради какого-то нелепого каприза бросают свою молодую жизнь в некую чёрную дыру. То есть совершают нечто вроде духовного самоубийства, и только потому, что им не посчастливилось встретиться с такими прогрессивными, высококультурными людьми, как мы: трезвый голос, бодрый призыв со стороны уж конечно предохранил бы заблуждающихся от рокового шага. Как будто драма, разыгравшаяся в жизни Лизы, не ударила по заветнейшему, нежнейшему, что она носила в себе: по её религиозной совести. Столкновение произошло между этой совестью и любовью — а любить Лиза могла в жизни лишь раз (она — образец характеров-однолюбов), и любовь для неё была столь же священна, как её понятия о

дobre и правде. Она поняла, и поняла совершенно правильно, что для неё, для человека такой совести и такой любви, развязать этот узел в условиях нашего человеческого мира невозможно. Ни один мудрец не придумает другого выхода из положения, если только пожелает видеть Лизу такой, какой она была у Тургенева, а не такой, какой ему хочется. А если развязать узел — непредставимо как — можно будет только в другом мире, то что же может наполнить и осмыслить остающиеся годы жизни в Энрофе, как не подготовка и не очищение себя ради достойного перехода в тот мир, где будут развязываться сложнейшие узлы, завязанные здесь? А если так, то какой же путь, если не иноческий, твёрже и прямей всех, прямее и вернее всех ведёт к этому очищению? — Правда, впрочем, и то, что растолковать это людям, возмущающимся Лизой совершенно так же, как возмущаются они Гоголем и Толстым, — невозможно. Что знают они о том, чего могло бы достигнуть это чистейшее сердце за те сорок или пятьдесят лет, которые ему предстояло биться под рясой монахини? Может быть, таких же безусловных плодов святости, каких достигли великие подвижники и подвижницы, пользующиеся всенародным признанием!.. — Вот уж кого Тургеневу в его посмертии не пришлось спасать и досоздавать, так это Лизу Калитину. Пожалуй даже, получилось обратное, и немало грехов сняла Лиза с Ивана Сергеевича после его смерти.

Но ещё значительнее другой образ, с которым мы знакомимся по художественному воссозданию его Тургеневым; значительнее, между прочим, и потому, что в нём он поведал не о вступлении русской женской души на путь к праведности, но о праведности как таковой, уже достигнутой и земную дорогу завершающей. Это — Лукерья из потрясающего очерка «Живые мощи» — одной из жемчужин русской литературы. Что о нём сказать? В нём всякое слово полно углублённого смысла; не комментировать, а только вчитываться да вчитываться надо в этот шедевр. Здесь Тургеневым преодолено всё: и собственная ущербность, и литературные предрассудки, и воинствующе-мирской дух эпохи, и его не вполне правая (потому что односторонне-страстная) любовь к молодости, и его вечный страх перед недугами и смертью. Как известно, Лукерья не была чисто творческим тургеневским образом: в «Живых мощах» зарисована, много лет спустя, встреча писателя с бывшей крепостной его матери. Может быть, он и сам не понимал до конца, какая глубина таится в немудрёных словах Лукерьи, им добросовестно воспроизведённых. Сомнительно, чтобы он сам верил в то, что Лукерья уже «искупила свои грехи» и начинает искупать грехи своих близких. Трудно допустить также мысль, будто он понял символику — не символику, точнее говоря, а

мистическую реальность знойной нивы, которую жнёт Лукерья в своём «сне», серпа, становящегося серпом лунным на её волосах, и жениха — Васю, нет, не Васю, а Иисуса Христа, приближающегося к ней поверх колосьев. Это — из тех образов, пробовать истолковать которые — значит, снижать их; на них, как выражается сам Тургенев, «можно только указать — и пройти мимо».

Во всяком случае, женских образов этого плана и этого уровня Россия до сих пор создала лишь два: деву Февронию и Лукерью.

Тот, кто следит за изложением моих мыслей, ждёт, вероятно, что после Тургенева я не уклонюсь от того, чтобы попытаться охарактеризовать таким же образом остальных носителей дара вестничества в русской литературе: Алексея Толстого, Тютчева, Лескова, Чехова, Блока. Но рамки моей основной темы побуждают меня отложить изложение мыслей о Тютчеве, Лескове и Чехове на неопределённый срок, об Алексее Толстом — до специальной о нём статьи, а характеристике Блока предпослать характеристику другого деятеля: Владимира Соловьёва.

Какая странная фигура — Владимир Соловьёв на горизонте русской культуры! — Не гений — но и не просто талант; то есть как поэт, пожалуй, талант, и даже не из очень крупных, но есть нечто в его стихах, понятием таланта не покрываемое. — Праведник? — Да, этический облик Соловьёва был исключительным, но всё же известно, что от многих своих слабостей Соловьёв при жизни так и не освободился. — Философ? — Да, это единственный русский философ, заслуживающий этого наименования безо всякой натяжки, но система его оказалась недостроенной, большого значения в истории русской культуры не имела, а за границей осталась почти неизвестной. — Кто же он? Пророк? — Но где же, собственно, в каких формах он пророчествовал и о чём? Может быть, наконец, «молчаливый пророк», как назвал его Мережковский, — пророк, знаменующий некие духовные реальности не словами, а всем обликом своей личности? Пожалуй, последнее предположение к действительности ближе всего, и всё-таки с действительностью оно не совпадает.

Философская деятельность Соловьёва диктовалась намерением, которое он очень рано для себя определил: подвести под богословское учение православия базис современной положительной философии. Часто, конечно, он выходил далеко за пределы этого задания; на некоторых этапах жизни даже уклонялся от строгой ортодоксии, вследствие чего, например, его капитальная работа «La Russie et l'Eglise universelle»<sup>[37]</sup> даже не могла быть опубликована в России. Но он постоянно был озабочен тем, чтобы не оказаться в религиозных отщепенцах, и вряд ли что-нибудь рисовалось ему



в более отталкивающем виде, чем судьба ересиарха.

И всё же он оказался — не ересиархом, конечно, но предтечей того движения, которому в будущем предстоит ещё определиться до конца и к которому православная ортодоксия, во всяком случае сначала, быть может, отнесётся как к чему-то, недалёкому от ереси.

Великим духовидцем — вот кем был Владимир Соловьёв. У него был некий духовный опыт, не очень, кажется, широкий, но по высоте открывшихся ему слоёв Шаданакара превосходящий, мне думается, опыт Экхарта, Бёме, Сведенборга, Рамакришны, Рамануджи, Патанджали, а для России — прямо-таки беспримерный. Это — три видения, или, как назвал их сам Соловьёв в своей поэме об этом, «три свидания»: первое из них он имел в восьмилетнем возрасте во время посещения церкви со своею бонной, второе — молодым человеком в библиотеке Британского музея в Лондоне, а третье — самое грандиозное — вскоре после второго, ночью, в пустыне близ Каира, куда он устремился из Англии, преодолевая множество преград, по зову внутреннего голоса. Отсылаю интересующихся и ещё незнакомых с этим уникальным религиозным документом к поэме «Три свидания»: она говорит сама за себя. Цитировать её в настоящее время я лишён возможности, а передавать её содержание собственными словами не дерзаю. Осмелюсь констатировать только, что Соловьёв пережил трижды, и в третий раз с особенной полнотой, откровение Звенты-Свентаны, то есть восхищение в Раорис, один из наивысших слоёв Шаданакара, где Звента-Свентана пребывала тогда. Это откровение было им пережито в форме видения, воспринятого им через духовное зрение, духовный слух, духовное обоняние, органы созерцания космических панорам и метаисторических перспектив — то есть почти через все высшие органы восприятия, внезапно в нём раскрывшиеся. Ища в истории религии европейского круга какой-нибудь аналог или, лучше сказать, предварение такого духовного опыта, Соловьёв не смог остановиться ни на чём, кроме гностической идеи Софии Премудрости Божией. Но идея эта у гностика Валентина осложнена многоярусными спекулятивными построениями, с опытом Соловьёва, по-видимому, почти ни в чём не совпадавшими, тем более, что он сам считал какие бы то ни было спекуляции на эту тему недопустимыми и даже кощунственными. Идея эта не получила в историческом христианстве ни дальнейшего развития, ни, тем более, богословской разработки и догматизации. Это естественно, если учесть, что эманация в Шаданакар великой богорождённой женственной монады совершилась только на рубеже XIX века, — метаисторическое событие, весьма смутно уловленное тогда Гёте, Новалисом и, может быть,

Жуковским. Поэтому до XIX века никакого мистического опыта, подобного опыту Соловьёва, просто не могло быть: объекта такого опыта в Шаданакаре ещё не существовало. В эпоху гностицизма воспринималось другое: происшедшее незадолго до Христа низлияние в Шаданакар сил Мировой Женственности, не имевшее никакого личного выражения, никакой сосредоточенности в определённой богорождённой монаде. Это этого события достигло сознания великих гностиков и отлилось в идею Софии. В восточном христианстве образ Софии Премудрости Божией всё-таки удержался, хотя и остался никак не связанным с православною богословскою доктриной и даже как-то глухо ей противореча. Слабые попытки увязать одно с другим приводили только к абсурду, вроде понимания Софии как условно-символического выражения Логоса, Христа.

Сам Соловьёв считал, что в девяностых годах прошлого века для открытой постановки вопроса о связи идеи Софии с православным учением время ещё не пришло. Он хорошо понимал, что вторжение столь колоссальной высшей реальности в окостеневший круг христианской догматики может сломать этот круг и вызвать новый раскол в церкви; раскол же рисовался ему великим злом, помощью грядущему антихристу, и он хлопотал, как известно, больше всего о противоположном: о воссоединении церквей. Поэтому он до конца своей рано оборванной жизни так и не выступил с провозвестием нового откровения. Он разрешил себе сообщить о нём лишь в лёгком, ни на что не претендующем поэтическом произведении. Личная же скромность его и глубокое целомудрие, сказывающиеся, между прочим, в кристальной ясности языка даже чисто философских его работ, подсказали ему — окружить повесть о трёх свиданиях, трёх самых значительных событиях его жизни, шутивным, непритязательно-бытописующим обрамлением. Поэма осталась мало известной вне круга людей, специально интересующихся подобными документами, — круга, у нас немногочисленного даже и перед революцией, а ныне и вовсе лишённого возможности как-либо проявлять себя вне стен своих уединённых комнат. Но влияние этой поэмы и некоторых других лирических стихотворений Соловьёва, посвящённых той же теме, сказалось и на идеалистической философии начала века — Трубецком, Флоренском, Булгакове — и на поэзии символистов, в особенности Блока.

Из всего только что сказанного как будто бы ясно, что грядущее рождение Звенты-Свентаны в Небесной России силами демиурга Яросвета и Навны имеет к идеям Соловьёва самое прямое отношение, ибо Звента-Свентана — это не что иное, как выражение Женственной ипостаси Божества для Шаданакара. Всякому ясно, следовательно, что такие идеи,

вытекающие из откровения Вечной Женственности, не совпадают с пониманием Троичности в ортодоксальном христианстве. И не удивительно, что В. Соловьёв, пёкшийся о воссоединении христианства, а не о его дальнейшем дроблении на конфессии и секты, не торопился оглашать свой пророческий духовный опыт.

Была, вероятно, и вторая причина. Хорошо знакомому с историей религии Соловьёву не могли быть неизвестны факты, показывающие, что вторжение в религиозные организации и в культ представлений о различии божественно-мужского и божественно-женского начал чревато исключительными опасностями. Понятые недостаточно духовно, недостаточно строго отделённые от сексуальной сферы человечества, вторжения эти ведут к замутнению духовности именно сексуальной стихией, к кощунственному отождествлению космического духовного брака с чувственной любовью и, в конечном счёте, к ритуальному разврату. Насколько можно судить, положительный опыт — лицезрение Звенты-Свентаны в этом облике сверхчеловеческой и сверхмирской женственной красоты — был для Соловьёва настолько потрясающим, настолько несовместимым ни с чем человеческим или стихийным, что духовидца с тех пор отталкивали какие бы то ни было спуски в слои противоположных начал. Он знал, и хорошо знал, о существовании Великой Блудницы и о возможных страшных подменах, подстерегающих всякое недостаточно чёткое, недостаточно окрепшее сознание, уловившее зов Вечно-Женственного сквозь замутняющие слои страстных, противоречивых эмоций. Но существование великой стихииали человечества — Лилит, ваятельница и блюстительницы плоти народов, осталось, по-видимому, для него неясным. Он употребляет раза два или три выражение «простонародная Афродита», но, очевидно, понимает при этом неопределённое смешение двух начал: стихийного и сатанинского. Их спутанность, нерасчленённость в представлениях Соловьёва — несомненна. Но указание на подстерегающую в этом направлении опасность, сделанное хотя бы в такой неотчётливой форме, было всё же необходимо в высшей степени. После происшедшего с Александром Блоком можно только пожалеть, что это предупреждение Соловьёва не было сделано с большею разработанностью.

В том, что миссия Соловьёва осталась недовершённой, нет ни капли его собственной вины. От перехода со ступени духовидения на ступень пророчества его не отделяло уже ничто, кроме преодоления некоторых мелких человеческих слабостей, и вряд ли может быть сомнение в том, что, продлись его жизнь ещё несколько лет, эти слабости были бы преодолены.

Именно в пророчестве о Звенте-Свентане и в создании исторических и религиозных предпосылок для возникновения Розы Мира заключалась его миссия. Тогда Роза Мира, вернее, её зерно, могло бы возникнуть ещё внутри православия, его изменяя и сближая со всеми духовными течениями правой руки. Это могло бы произойти в России даже в условиях конституционной монархии. Соловьёв должен был бы принять духовный сан и, поднимая его в глазах народа на небывалую высоту авторитетом духовидца, праведника и чудотворца, стать руководителем и преобразователем церкви. Известно, что в последние годы жизни перед внутренним взором Соловьёва всё отчётливее раскрывались перспективы последних катаклизмов истории и панорама грядущего царства Противобога, и он сосредоточился на мечте о воссоединении церквей и даже о будущей унии иудаизма и ислама с христианством для борьбы с общим врагом — уже недалеко во времени рисовавшимся пришествием антихриста. В его письмах имеются бесспорные доказательства, что в подготовке общественно-религиозного сознания к этой борьбе он видел в последние годы своё призвание. Мы не можем знать, в каких организационных и структурных формах религиозности совместил бы он преследование этой задачи с пророческим служением Вечной Женственности. Формы эти зависели бы не от него одного, но и от объективных условий русской и всемирной истории. Но и само течение этой истории было бы иным, если бы первые тридцать лет двадцатого столетия были бы озарены сиянием этого светлейшего человеческого образа, шедшего прямой дорогой к тому, чтобы стать чудотворцем и величайшим визионером всех времён.

Призвание осталось недовершённым, проповедь — недоговорённой, духовное знание — не переданным до конца никому: Соловьёв был вырван из Энрофа в расцвете лет и сил тою демонической волей, которая правильно видела в нём непримиримого и опасного врага.

Обаяние его моральной личности, его идей и даже его внешнего облика — прямо-таки идеального облика пророка в настоящем смысле этого слова — воздействовало на известным образом преднастроенные круги его современников чрезвычайно, и это несмотря на всю недоговорённость его религиозного учения. За 15 лет, протёкшие от его смерти до революции, было издано многотомное собрание его сочинений и появилась уже целая литература о Соловьёве и его философии. Работа эта была оборвана на сорок с лишним лет с приходом предшественников того, о ком он предупреждал. Подобно завесе гробового молчания, опущенной на весь отрезок жизни Александра Благословенного после Таганрога,

глухая вода безмолвия сомкнулась и над именем Владимира Соловьёва. Его сочинения и работы о нём были сделаны почти недоступными, и имя философа проскальзывало только в подстрочных примечаниях к стихам Александра Блока, как имя незадачливого идеолога реакции, внушившего молодому поэту кое-какие из наиболее регрессивных его идей. Философская бедность России повела к провозглашению вершинами философии таких деятелей XIX столетия, в активе которых числятся только публицистические, литературно-критические или научно-популярные статьи да два-три художественно беспомощных романа. Единственный же в России философ, создавший методологически безупречный и совершенно самостоятельный труд «Критика отвлечённых начал», замечательную теодицею «Оправдание добра» и ряд провидческих концепций в «Чтениях о богочеловечестве», «Трёх разговорах», «России и Вселенской церкви», — оказался как бы не существовавшим. Дошло до того, что целые интеллигентные поколения не слышали даже имени Владимира Соловьёва, покоящегося на московском Новодевичьем кладбище под обескрещенной плитой.

Что в Синклите России могуч Пушкин, велик Достоевский, славен Лермонтов, подобен солнцу Толстой — это кажется естественным и закономерным. Как изумились бы миллионы и миллионы, если бы им было показано, что тот, кто был позабытым философом-идеалистом в России, теперь достигает и творит в таких мирах, куда ещё не поднялись даже многие из светил Синклита.

## Глава 5

### Падение вестника

Вся огромная исследовательская литература об Александре Блоке возникла в специфических условиях, всем нам слишком хорошо известных. Не удивительно, что проблемы внутренней эволюции Блока ещё почти не поставлены. Существует, конечно, официальная версия, будто бы Блок явился выразителем мирочувствия упаднической эпохи с неотделимым от неё мистицизмом, присущим якобы только подобным эпохам; что он носил в себе, вместе с тем, и ростки новых, здоровых начал, которые обусловили его присоединение к революции 1917 года, но что силы его были уже надломлены и в этом, дескать, следует искать причину его творческого безмолвия в последние годы и его преждевременного конца. При этом стихи автобиографичнейшего из поэтов рассматриваются не как документы, зачастую совершенно буквально отображающие события и процессы его личной жизни, а как некие художественные величины, смысл которых — только в высоте их чисто поэтического качества да в заключённых в них отзывах на внешнюю действительность эпохи. Между тем Блок принадлежит к категории поэтов, стихи которых могут оказывать художественно-эмоциональное воздействие на кого угодно, но человек, лишённый мистического чувства и опыта, так же бессилён «разобраться» в Блоке, как бессилён осмыслить теорию относительности тот, кто не обладает знанием высшей математики. Этот изъян будет щедро восполнен со временем. Поэтому я только намечу здесь несколько вех той религиозно-мистической трагедии Блока, которая, как я понимаю, предопределила ход его поэтической эволюции, его нисходящего движения по лестнице жизни, его роковой конец и искупительное посмертие. Но даже и это ограниченное задание вынуждает меня сломать на данном отрезке структуру книги и посвятить Александру Блоку отдельную главу. Оправдание этому — в том, что через материал этой главы я приближаюсь к кругу реальностей, связанных с проявлением Звенты-Свентаны в сознании людей, с опасностью подмен Её сил силами демоническими и с одним из пяти грядущих культов Розы Мира.

Общеизвестно, что в ранней юности, в пору своих ещё совершенно наивных и расплывчатых поэтических вдохновений, ничем оригинальным не отмеченных, Блок познакомился не только с философией, но и с поэзией Владимира Соловьёва. Самого Соловьёва он успел повидать только один

раз и, кажется, даже не был представлен знаменитому тогда философу. Об этой встрече Блок сам рассказывает в статье «Рыцарь-монах», мало известной, но в метаисторическом отношении весьма замечательной. Дело происходило на панихиде и похоронах какого-то литературного или общественного деятеля, в серый зимний столичный день. Молодой, никому ещё не ведомый поэт не мог, конечно, отвести глаз от фигуры властителя его дум — фигуры, поражающей людей и с гораздо меньшей восприимчивостью. Но встретились они глазами, кажется, только раз; синие очи духовидца Звенты-Свентаны остановились на прозрачных серо-голубых глазах высокого статного юноши с кудрявою, гордо приподнятой головой. Бог знает, что прочитал Соловьёв в этих глазах; только взор его странно замедлился. Если же вспомнить горячую любовь Блока к стихам Соловьёва и необычайный пиетет к его личности, то покажется естественным, чтобы в момент этой первой и единственной между ними встречи глаза будущего творца «Стихов о Прекрасной Даме» отразили многое — столь многое, что великий мистик без труда мог прочитать в них и заветную мечту, и слишком страстную душу, и подстерегающие её соблазны сладостных и непоправимых подмен.

Рассказывая об этой встрече, Блок явно недоговаривает. Свойственная ему скромность и естественное нежелание обнажать в журнальной статье своё слишком интимное и неприкосновенное помешали ему высказать до конца смысл этой встречи глаз под редкими перепархивающими снежинками петербургского дня. Очевидно только то, что встреча эта осталась в памяти Блока на всю жизнь и что он придавал ей какое-то особое значение.

Через три года в книжных магазинах появились «Стихи о Прекрасной Даме». Соловьёва — единственного человека, который мог бы понять эти стихи до последней глубины, поддержать своего молодого последователя на трудном пути, предупредить об угрожающих опасностях, — уже не было в живых. Но литературною молвой Александр Блок был признан как преемник и поэт-наследник пророка Вечной Женственности.

Не приходится удивляться тому, что ни критика, ни публика того времени не смогли осилить, не сумели осмыслить мистическую двойственность, даже множественность, уже отметившую этот первый блоковский сборник. Слишком ещё был нов и неизвестен мир этих идей и чувств, этих туманных иерархий, хотя каждому казалось, будто он отлично разгадывает этот поэтический шифр как игру художественными приёмами.

Между тем анализ текста позволяет с точностью установить здесь наличие трёх существенно различных пластов.

Прежде всего, в этом сборнике останавливают поэтический слух мотивы, начинающие порою звучать гордым и мужественным металлом, интонациями торжественного самоутверждения:

...Мне в сердце вонзили  
Красноватый уголь пророка!  
...Я их хранил в приделе Иоанна,  
Недвижный страж, — хранил огонь лампад.  
И вот — Она, и к Ней — моя Осанна -  
Венец трудов — превыше всех наград.

Но не космическими видениями, не чистым всемирным блистанием, а смутно и тихо светится здесь луч Женственности. Он проходит как бы сквозь туманы, поднимающиеся с русских лугов и озёр, он окрашивается в специфические оттенки метакультуры российской. Самоё наименование — Прекрасная Дама — ещё говорит об отдалённых реминисценциях Запада: недаром Блоку так близок был всегда мир германских легенд и романтизм средневековья. Но нет: эти отблески Европы не проникают глубже наименования. Образ той, кто назван Прекрасной Дамой, обрамляется русскими пейзажами, еловыми лесами, скитскими лампадами, дремотной поэзией зачарованных теремов. Старая усадебная культура, мечтательная, клонящаяся к упадку, но ещё живая, дышит в этих стихах — поздняя стадия этой культуры, её вечерние сумерки. Если бы о Прекрасной Даме писал не двадцатидвухлетний юноша, а тридцатилетний или сорокалетний мастер слова, господин собственных чувств и аналитик собственных идей, он, вероятно, дал бы Ей даже другое имя и мы увидели бы наиболее чистое и ясное отображение одной из Великих Сестёр: Идеальной Соборной Души российского сверхнарода. Именно вследствие этого Андрей Белый, Сергей Соловьёв, Сергей Булгаков не могли признать в Прекрасной Даме Ту, Кому усопший духовидец посвятил свои «Три свидания»: ничего ещё не зная о таких иерархиях, как Навна, они недоумевали перед слишком человеческими, слишком национальными одеждами Прекрасной Дамы, чуждыми мирам Святой Софии.

Но есть в стихах этих ещё и другой пласт, и многоопытного Соловьёва он заставил бы тревожно насторожиться. Сборник писался в пору влюблённости Блока в его невесту, Любовь Дмитриевну Менделееву. Голос живой человеческой страсти лишь вуалируется матовыми, мягкими звучаниями стиха; постоянное же переплетение томительно-влюблённого



мотива с именем и образом Прекрасной Дамы окончательно погружает все стихи в мглистую, тревожную и зыбкую неопределённость. Чувствуется, что эту неопределённость сам поэт даже не осознаёт, что он весь — в ней, внутри неё, в романтическом смещении недоговорённого земного с недопроявившимся небесным.

Недопроявившимся: в этом и заключается корень несчастья. Взгляните на портреты молодого Блока: прекрасное, гордое, полное обаяния, но как бы взирающее из глубины сна лицо; печать какой-то неотчётливости, что-то грезящее, почти сомнамбулическое. Это отмечалось уже и некоторыми из его современников. Да: водимый, как сомнамбула, своим даймоном во время медиумического сна по кручам и кругам Шаданакара, он, пробуждаясь и творя, смешивал отблески воспоминаний с кипевшими в его дневной жизни эмоциями влюблённости и страсти, а свойственная его строю души бесконтрольность мешала ему заметить, что он — на пути к совершению не только опасного и недолжного, но и кощунственного: к допуску в культ Вечно Женственного чисто человеческих, сексуальных, стихийных струй — то есть к тому, что Владимир Соловьёв называл «величайшей мерзостью».

Существует нечто вроде «души» лирического произведения — песни, романса, гимна (конечно, я имею в виду лишь небольшое их число: критерий — значительность и талантливость). Эти тонкоматериальные сгущения пребывают в различных слоях, в зависимости от своего содержания. Ни малейшей антропоморфности, разумеется, в их облике нет; скорее, они близки к волокнам тумана различных оттенков и музыкального звучания. Для них возможно просветление, совершающееся параллельно просветлению их творцов; впоследствии они включаются в объём его личности. Те же из них, которые лучезарны с самой минуты их создания, воздействуют озаряющим и поднимающим образом и на того, кто их создал, и на тех, кто их воспринял. Но стихи, исполненные уныния и отчаяния либо взывающие к низшим инстинктам похоти, зависти, ненависти, ничем не озарённой чувственности, не только понижают душевный уровень многих из тех, кто их воспринял, но и становятся проклятием для их творца. На его пути неизбежны будут такие излучины, когда эти души стихов, мутные, сладострастные, злобные и липкие, обступят клубами его собственную душу, заслоняя от неё всякий свет и требуя в неё допуска для своих извивающихся и присасывающихся волокон. Строки Блока в поздний период его жизни:

Молчите, проклятые книги!

Я вас не писал никогда!

- выражение отчаянной попытки избавиться от последствий того, что он создавал сам.

Миновало ещё три года. Отшумела первая революция. Был окончен университет, давно определилась семейная жизнь. Но — сперва изредка, потом всё чаще — вино и смуты ночного Петербурга начинали предрешать окраску месяцев и лет.

И вот из печати выходит том второй: «Нечаянная радость».

Название красивое, но мало подходящее. Нет здесь ни Нечаянной радости (это — наименование одной из чтимых чудотворных икон Божьей Матери), ни просто радости, ни вообще чего бы то ни было нечаянного. Всё именно то, чего следовало ждать. Радостно только одно: то, что появился колоссальный поэт, какого давно не было в России, но поэт с тенями тяжкого духовного недуга на лице.

Только наивные люди могли ожидать от автора «Стихов о Прекрасной Даме», что следующим его этапом, и притом в 25-летнем возрасте, будет решительный шаг к некоей просветлённости и солнечной гармоничности. Как будто груз чувственного и неизжитого, уже вторгшегося в культ его души, мог исчезнуть неизвестно куда и отчего за три года жизни с молодой женой и слушания цыганских песен по ресторанам.

Когда читаешь критические разборы этих стихов Андреем Белым или Мережковским, то есть теми, от кого можно было бы ждать наибольшей чуткости и понимания, сперва охватывает недоумение, потом чувство горечи, а под конец — глубокая грусть. Какое отсутствие бережности, дружественности, любви, даже простой человеческой деликатности! Точно даже злорадство какое-то сквозит в этих ханжеских тирадах по поводу «измены» и «падения» Блока. И всё облечено в такой нагло поучающий тон, что даже ангел на месте Блока крикнул бы, вероятно: «Падаю — так падаю. Лучше быть мытарем, чем фарисеем».

И всё же измена действительно совершилась. И по существу дела каждый из этих непрошенных судей был прав.

Блок не был «Рыцарем бедным». Видение, «непостижимое уму», если и было ему явлено, то в глубоком сомнамбулическом сне. Для того чтобы «не смотреть на женщин» и «не поднимать с лица стальной решетки», он был слишком молод, здоров, физически силен и всегда испытывал глубокое отвращение к воспитанию самого себя: оно казалось ему насилием над собственными, неотъемлемыми правами человека. Низшая свобода,

свобода самости была ему слишком дорога. Мало того: это был человек с повышенной стихийностью, сильной чувственностью и, как я уже отмечал, бесконтрольностью. Преждевременные устремления к бесплотному повлекли за собой бунт стихии. Естественность такой эволюции была бы, конечно, ясна Соловьёву, если бы он знал стихи о Прекрасной Даме. Не её ли предугадал он в ту короткую минуту, когда погрузил взор в дремотно-голубые глаза неизвестного юноши-поэта?

Однако эволюция эта была естественна, но не неизбежна. Вряд ли можно всецело оправдывать кого бы то ни было ссылками на слабость характера или на нежелание разобраться в себе. Блок не был человеком гениального разума, но он был достаточно интеллигентен и умен, чтобы проанализировать и понять полярность, враждебность, непримиримость влекущих его сил. Поняв же, он мог по крайней мере расслоить их проекции в своей жизни и в творчестве, отдать дань стихийному, но не смешивать смертельного яда с причастным вином, не путать высочайший источник Божественной премудрости и любви с Великой Блудницей.

Во втором и потом в третьем томе стихов художественный гений Блока достигает своего зенита. Многие десятки стихотворений принадлежат к числу ярчайших драгоценных камней русской поэзии. Звучание стиха таково, что с этих пор за Блоком упрочивается приоритет музыкальнейшего из русских поэтов. Появляется даже нечто, превышающее музыкальность, нечто околдовывающее, завораживающее, особая магия стиха, какую до Блока можно было встретить только в лучших лирических стихотворениях Лермонтова и Тютчева. Но сам Блок говорил, что не любит людей, предпочитающих его второй том. Неудивительно! Нельзя ждать от человека, затаившего в душе любовь, чтобы его радовало поклонение людей, восхваляющих его измену.

И в «Нечаянной радости» и в «Земле в снегу» звучит, разрастаясь и варьируясь, щемяще-тревожный, сладостный и пьянящий мотив: жгучая любовь — и мистическая, и чувственная — к России. Кто, кроме Блока, посмел бы воскликнуть:

О, Русь моя! Жена моя! До боли  
Нам ясен долгий путь!

Эта любовь взмывает порой до молитвенного экстаза — Куликово поле, трубные крики лебедей, белые туманы над Непрядвой...

И с туманом над Непрядвой спящей,  
Прямо на меня  
Ты сошла, в одежде, свет струящей,  
Не спугнув коня.  
Серебром волны блеснула другу  
На стальном мече,  
Освежила пыльную кольчугу  
На моём плече.  
И когда, наутро, тучей чёрной  
Двинулась орда,  
Был в щите Твой лик нерукотворный  
Светел навсегда.

Да ведь это Навна! Кто и когда так ясно, так точно, так буквально писал о Ней, о великой вдохновительнице, об Идеальной Душе России, об её нисхождении в сердца героев, в судьбы защитников родины, её поэтов, творцов и мучеников?

Какие бы грехи ни отягчали карму того, кто создал подобные песнопения, но гибель духовная для него невозможна, даже если бы в какие-то минуты он её желал: рано или поздно его бессмертное «я» будет извлечено Соборной Душой народа из любого чистилища.

Да... но и нерукотворный лик на щите остаться «светлым навсегда» не сможет.

И дальше путь, и месяц выше,  
И звёзды меркнут в серебре.  
И тихо озарились крыши  
В ночной деревне, на горе.  
Иду, и холодеют росы,  
И серебрятся о тебе.  
Всё о тебе, расплетшей косы  
Для друга тайного в избе.  
Дай мне пахучих, душистых зелий  
И ядом сладким заморочь,  
Чтоб, раз вкусив твоих веселий,  
Навеки помнить эту ночь.

О ком это, кому это? — Раскрываются широкие дали, затуманенные пеленой осенних дождей; пустынные тракты, притаившиеся деревни со зловещими огнями кабаков; душу охватывает тоска и удаль, страстная жажда потеряться в этих просторах, забыться в разгульной, в запретной любви — где-то у бродяжьих костров, среди полуночных трав, рдеющих колдовскими огнями.

Любые берлоги утробной, кромешной жизни, богохульство и бесстыдство, пьяный омрак и разврат -

Да, и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне.

Не только такой, но уже именно такой. Слышатся бубенцы бешеных троек, крики хмельных голосов, удалая песня, — то ли разгул, то ли уже разбой, — и она, несущаяся в ведовской, в колдовской пляске:

...Каким это светом  
Ты дразнишь и манишь?  
В кружении этом  
Когда ты устанешь?  
Чьи песни? И звуки?  
— Чего я боюсь?  
Щемящие звуки  
И — вольная Русь?

Да, Русь, но какая? Что общего с Навной в этой разбойной, в этой бесовской красе?

Где буйно заметает вьюга  
До крыши — утлое жильё,  
И девушка на злого друга  
Под снегом точит лезвее.

Закружила плясками, затуманила зельями, заморочила ласками, а теперь точит нож.

Не Навна, не Идеальная Душа, а её противоположность.

Сперва пел о Навне, принимая её в слепоте за Вечную Женственность. Теперь поёт о Велге, принимая её за Навну в своей возросшей слепоте.

Но это ещё только начало. Страстная, не утолимая никакими встречами с женщинами, никаким разгулом, никакими растворениями в народе любовь к России, любовь к полярно-враждебным её началам, мистическое сладострастие к ней, то есть сладострастие к тому, что по самой своей иноприродной сути не может быть объектом физического обладания, — всё это лишь одно из русел его душевной жизни в эти годы. А параллельно с ним возникает и другое.

Сперва — двумя-тремя стихотворениями, скорее описательными, а потом всё настойчивее и полновластней, от цикла к циклу, вторгается в его творчество великий город. Это город Медного Всадника и Растреллиевых колонн, портовых окраин с пахнущими морем переулками, белых ночей над зеркалами исполинской реки, — но это уже не просто Петербург, не только Петербург. Это — тот трансфизический слой под великим городом Энрофа, где в простёртой руке Петра может плясать по ночам факельное пламя; где сам Пётр или какой-то его двойник может властвовать в некие минуты над перекрёстками лунных улиц, скликая тысячи безликих и безымянных к соитию и наслаждению; где сфинкс «с выщербленным ликом» — уже не каменное изваяние из далёкого Египта, а царственная химера, сотканная из эфирной мглы... Ещё немного — цепи фонарей станут мутно-синими, и не громада Исаакия, а громада в виде тёмной усечённой пирамиды — жертвенник-дворец-капище — выступит из мутной лунной тьмы. Это — Петербург нездешний, невидимый телесными очами, но увиденный и исхоженный им: не в поэтических вдохновениях и не в ночных путешествиях по островам и набережным вместе с женщиной, в которую сегодня влюблен, — но в те ночи, когда он спал глубочайшим сном, а кто-то водил его по урочищам, пустырям, расщелинам и вьюжным мостам инфра-Петербурга.

Я говорил уже: среди инозначных слоёв Шаданакара есть один, обиталище могучих тёмных стихиалей женственной природы: демониц великих городов. Они вампирически завлекают человеческие сердца в вихреобразные воронки страстной жажды, которую нельзя утолить ничем в нашем мире. Они внушают томительную любовь-страсть к великому городу, мучительную и неотступную, как подлинное чувственное влечение. Это — другой вид мистического сладострастия — сладострастие к городу, и притом непременно ночному, порочному, либо к удушливо-знойному городу летних предвечерий, когда даже шорох переливающихся по улицам толп внушает беспредметное вожделение. Возникают мимолётные встречи,

чадные, мутные ночи, но утоления они не дают, а только разжигают. Из этой неутолимой жажды, из запредельного сладострастия возникает образ, для каждого свой, но тот самый, который всякому, прошедшему этим путём, встречался реально в трансфизических странствиях, забытых полностью или на девять десятых и кажущихся сном. О, не даймон, совсем уже не даймон водил его по кругам этих соблазнов: кто-то из обитательниц Дуггура подменил даймона собой, кто-то из мелких демониц внушал ему всё большее и большее сладострастие, показывая ему такие формы душевного и телесного — хотя и не физического — разврата, какие возможны в Дуггуре — и нигде более.

Я не уверен, что «каждый вечер, в час назначенный», мечтая о своём за уединённым столиком ресторана, Блок видел иначе, как только в мечте, «девичий стан, шелками схваченный», и как «без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна». Но мечтал он о ней и отравлял свои дни и ночи неутолимым томлением потому, что смутно помнил о встречах с нею в Дуггуре.

И веют древними поверьями  
Её упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука.  
И странной близостью закованный,  
Смотрю за тёмную вуаль,  
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль.

Да, воистину: незнакомка. Пока не раскрылась глубинная память, пока не вспомнился со всею отчётливостью Дуггур, до тех пор невозможно понять, кто это!.. Но ни падениями, ни разгулом, ни вином эта память не раскроется; и от тоски по нестерпимо влекущему, но в Энрофе отсутствующему, от сладострастия к той, кого нельзя забыть и нельзя до конца припомнить, спешешь за призраком «от одной страстной ночи к другой», потому что вино даёт хоть иллюзию её близости, а физические сближения — хоть иллюзию обладания необладаемым.

Смутными воспоминаниями о Дуггуре насыщена вся «Снежная маска». Едва начинается почти любое из стихотворений, и вдруг уже реальный план сдвинулся, мгновенное колебание всех тканей стиха — и вот уже пейзаж другого, смежного мира, другой Невы, других выюг, других

громад по берегам — каких-то ледяных громад с пещерами и гротами, каких-то полётов на «пасмурных конях» по воздушным пучинам другого слоя: инфра-Петербурга.

Нет исхода из вьюг  
И погибнуть мне весело.  
Завела в очарованный круг,  
Серебром своих вьюг занавесила...

«Снежная маска» — шедевр из шедевров. Совершенство стиха — завораживающее, форма каждого стихотворения в отдельности и всего цикла в целом — бесподобна, ритмика неповторима по своей выразительности, эмоциональный накал достигает предела. Здесь, как и во многих стихах последующего тома, Блок — величайший поэт со времён Лермонтова. Но возрастание художественного уровня идёт параллельно линии глубокого духовного падения. Более того: каждое такое стихотворение — потрясающий документ о нисхождении по лестнице подмен: это — купленное ценою гибели предупреждение.

Спутанности, туманности, неясности происходящего для самого автора, которые в какой-то мере смягчали ответственность за цепь подмен, совершённых по отношению к Душе России, здесь уже нет. Гибельность избранного пути осознана совершенно отчётливо.

Что быть бесстрастным? Что — крылатым?  
Сто раз бичуй и укори,  
Чтоб только быть на миг проклятым  
С тобой — в огне ночной зари!

Вряд ли сыщется в русской литературе другой документ, с такой силой и художественным совершенством говорящий о жажде быть проклятым, духовно отвергнутым, духовно погибшим, — о жажде саморазрушения, своего рода духовного самоубийства. И что тут можно сделать,

Если сердце хочет гибели,  
Тайно просится на дно?



Сперва — тайно, а потом уже и совершенно явно. Любовь к Н. Н. Волоховой (а «Снежная маска» посвящена именно ей) оказывается своего рода магическим кристаллом: с невероятной настойчивостью следуют друг за другом такие образы женственного, какие неприменимы ни к какой женщине в нашем физическом слое. Они возрастают в своей запредельности, в своей колоссальности от стихотворения к стихотворению, пока наконец

В ледяной моей пещере -  
Вихрей северная дочь!  
Из очей её крылатых  
Светит мгла.  
Трёхвенечная тиара  
Вкруг чела...  
Стерегите, злые звери,  
Чтобы ангелам самим  
Не поднять меня крылами...  
Не вскружить меня хвалами,  
Не пронзить меня Дарами  
И Причастием своим!  
У меня в померкшей келье -  
Два меча.  
У меня над ложем — знаки  
Чёрных дней.  
И струит моё веселье  
Два луча.  
То горят и дремлют маки  
Злых очей.

Уж, кажется, яснее ясного, что это за злые очи! Неужто и после этого придёт в голову хоть одному чуткому исследователю, будто центральный женский образ «Снежной маски» — конкретная женщина, любимая поэтом, актриса такого-то театра Н. Н. Волохова? Тонкая, умная, благородная Волохова, по-видимому, никогда (насколько можно судить по её неопубликованным ещё воспоминаниям) не могла понять до конца пучин этой любви к ней — понять, кого любил Блок в ней, за ней, сквозь неё. Это её непонимание признавал, кажется, и сам Блок:

Меж всех — не знаешь ты одна,  
Каким рожденьям ты причастна,  
Какою верой крещена.

Ведь не попусту же, в конце концов, это многозначительное заглавие: «Снежная маска»! Недаром же всё время проходит мотив маскарада, мотив женского лица, скрытого от взоров. Можно сказать, в некотором смысле, что для Блока сама Волохова была маскою на лице женственной сущности, неудержимо увлекающей его то ли в вихри звёзд и вьюг, то ли вниз и вниз, в трясины Дуггура.

Разумеется, не на каждое стихотворение Блока следует смотреть под таким углом зрения. Многие чудесные стихи его совершенно свободны от всякой душевной мути. Но я говорю здесь об основном его пути, о линии его жизни.

В глубоких сумерках собора  
Прочитан мною свиток твой;  
Твой голос — только стон из хора,  
Стон протяжённый и глухой.

Таким обращением некоей женственной сущности к поэту начинается одно из стихотворений, которое Блок даже не решился напечатать. Начало, перекликающееся со стихами его юности, когда входил он «в тёмные храмы», совершая «бедный обряд»: там ждал он «Прекрасной Дамы в сияньи красных лампад». Не Прекрасная ли Дама и сейчас мерцает своему погибающему певцу? Что говорит она? Чем утешит, чем обнадёжит? — Но голос звучит холодно и сурово, едва доносясь из других, далёких, инозначных слоёв:

Твои стенанья и мученья,  
Твоя тоска — что мне до них?  
Ты — только смутное виденье  
Миров далёких и глухих.  
.....  
И испытать тебя мне надо;  
Их много, ищущих меня,  
Неповторяемого взгляда,

Неугасимого огня.  
И вот тебе ответный свиток  
На том же месте, на стене,  
За то, что много страстных пыток  
Узнал ты на пути ко мне...

Как будто бы очень похоже на Прекрасную Даму. Прекрасной Даме, госпоже небесных чертогов, человек, может быть, тоже кажется видением миров далёких и глухих. Говорящая теперь утверждает, что его страдание, томление и тоска были о ней. Но о ком же они были, как не о Прекрасной Даме? Значит, мы слышим, наконец, в этих стихах или голос Прекрасной Дамы, или кого-то, говорящего её голосом. Так что же начертывает она в «ответном свитке» сердцу, её ищущему?

Кто я, ты долго не узнаешь,  
Ночами глаз ты не сомкнёшь,  
Ты, может быть, как воск, истаешь,  
Ты смертью, может быть, умрёшь.

.....

И если отдалённым эхом  
Ко мне дойдёт твой вздох «люблю»,  
Я громовым холодным смехом  
Тебя, как плетью, опалю!

Так вот она кто! Пускай остаётся неизвестным её имя — если имя у неё вообще есть, — но из каких мировых провалов, из каких инфрафизических пустынь звучит этот вероломный, хищный голос, — это, кажется, яснее ясного. Госпожа... да, госпожа, только не небесных чертогов, а других, похожих на ледяные, запорошённые серым снегом преисподних. Это ещё не сама Великая Блудница, но одно из исчадий, царящих на ступенях спуска к ней, подобное Велге.

«Здесь человек сгорел» — эту строку Фета взял он однажды эпиграфом к своему стихотворению:

Чтобы по бледным заревам искусства  
Узнали жизни гибельный пожар!

Но в чём же, собственно, заключался пожар жизни и что в нём было гибельного? Блок всю жизнь оставался благородным, глубоко порядочным, отзывчивым, добрым человеком. Ничего непоправимого, непрощаемого, преступного он не совершил. Падение выразалось во внешнем слое его жизни, в плане деяний только цепью хмельных вечеров, страстных ночей да угаром цыганщины. Людям, скользящим по поверхности жизни, даже непонятно: в сущности, какое тут такое будто бы ужасное падение, о какой гибели можно говорить? — Но понять чужое падение как падение могут только те, кому самим есть откуда падать. Те же, кто сидит в болоте жизни, воображают, что это в порядке вещей и для всех смертных. Когда вчитаешься в стихи Блока как в автобиографический документ, как в исповедь, тогда уяснится само собой, что это за падение и что за гибель.

Третий том — это, в сущности, уже пепелище. Душевное состояние поэта ужасно.

Ты изменил давно,  
Бесповоротно.

Непробудная ночь плотно обняла всё — и землю, и то, что под ней, и то, что свьше. Одна беспросветная страница сменяется другой, ещё кромешнее. Ключья, уцелевшие в памяти от трансфизических странствий, переплетаются с повседневностью в единый непрерывный кошмар. Вспоминается стих Корана: «Один мрак глубже другого в глубоком море».

Не таюсь я перед вами,  
Посмотрите на меня:  
Я стою среди пожарищ,  
Обожжённый языками  
Преисподнего огня.

Вот в эти-то годы и была написана Блоком коротенькая статья-воспоминание «Рыцарь-монах», та самая, с напоминания о которой я начал эту главу. Заголовок — странный, вне метаисторического толкования не имеющий смысла. Каким рыцарем был при жизни Соловьёв — человек, во весь век свой не прикоснувшийся к оружию, доктор философии, лектор, кабинетный учёный? и каким монахом — он, никакого пострига никогда не принимавший, обета целомудрия не дававший и, несмотря на всю свою

православную религиозность, живший обыкновенной мирской жизнью? Но Блок и не говорит о таком Соловьёве, каким он был. Он говорит о том, каким он стал. Каким он видел его, спустя ряд лет, где-то в иных слоях: в тёмных длинных одеждах и с руками, соединёнными на рукояти меча. Ясно, что и меч был не физический, и рыцарство — такое, какое предугадывают лишь «Рыцарь бедный», и монашество не историческое, не в Энрофе, но не от мира сего.

Ничего нет более закономерного, чем то, что рыцарь Звенты-Свентаны не оставлял младшего брата, который мечтал таким рыцарем стать даже после измены. Но что именно совершалось во время их трансфизических встреч, какие круги ими посещены были, от каких действительно и окончательно непоправимых срывов он спас поэта — это, конечно, должно остаться неприкосновенной тайной Александра Блока.

Но из того, что было показано Блоку в потусторонних странствиях этой поры его жизни, проистекло наряду с другими одно обстоятельство, на которое мне хочется указать особо. Блок и раньше, даже в период Прекрасной Дамы, показал, что провидческой способностью в узком смысле этого слова, то есть способностью исторического предвозвещения, он обладал, хотя редко ею владел. Стоит вспомнить стихотворение, написанное за два года до революции 1905-го: «Всё ли спокойно в народе? — Нет. Император убит», — и в особенности его окончание:

— Кто ж он, народный смиритель?  
— Тёмен, и зол, и свиреп:  
Инок у входа в обитель  
Видел его — и ослеп.  
Он к неизведанным безднам  
Гонит людей, как стада...  
Посохом гонит железным...  
— Боже! Бежим от Суда!

Теперь эта способность обогатилась новым опытом, но опытом, связанным только с демоническими мирами. Поэтому мы не найдём у Блока никаких пророчеств о грядущем Свете, об отражении Звенты-Свентаны в исторической действительности будущих эпох, о Розе Мира, о золотом веке человечества. Но страшное стихотворение «Голос из хора» рисует далёкую грядущую эпоху: ту, когда после господства Розы Мира над всем человечеством придёт величайший враг и её и всякой духовности, —

тот, кого Гагтунгр выпестывает столько веков.

И век последний, ужасней всех,  
Увидим и вы и я.  
Всё небо скроет гнусный грех,  
На всех устах застынет смех,  
Тоска небытия...  
Весны, дитя, ты будешь ждать -  
Весна обманет.  
Ты будешь солнце на небо звать -  
Солнце не встанет.  
И крик, когда ты начнешь кричать,  
Как камень, канет...

Но исторической и метаисторической развязки всемирной трагедии первого эона ему не дано было знать; этого утешения он лишил себя сам своими падениями, замглившими его духовные очи ко всему, что исходило от Высот, а не от бездны.

После «Земли в снегу» он прожил ещё двенадцать лет. Стихи рождались всё реже, всё с большими интервалами — памятники опустошённости и поздних, бессильных сожалений. А после «Розы и креста» и художественное качество стихов быстро пошло под уклон, и за целых пять лет ни одного стихотворения, отмеченного высоким даром, мы не найдём у Блока. В последний раз угасающий гений был пробуждён Великой Революцией. Всё стихийное, чем было так богато его существо, отозвалось на стихию народной бури. С неповторимостью подлинной гениальности были уловлены и воплощены в знаменитой поэме «Двенадцать» её рваные ритмы, всплески страстей, клочья идей, вьюжные ночи переворотов, фигуры, олицетворяющие целые классы, столкнувшиеся между собой, матросский разгул и речитатив солдатских скороговорок. Но в осмыслении Блоком этой бунтующей эпохи спуталось всё: и его собственная стихийность, и бунтарская ненависть к старому, ветхому порядку вещей, и реминисценции христианской мистики, и неизжитая любовь к «разбойной красе» России — Велге, и смутная вера, вопреки всему, в грядущую правду России — Навну. В итоге получился великолепный художественный памятник первому году Революции, но не только элементов пророчества — хотя бы просто исторической дальновидности в этой поэме нет. «Двенадцать» — последняя вспышка

светильника, в котором нет больше масла; это отчаянная попытка найти точку опоры в том, что само по себе есть исторический Мальстрём, бушующая хлябь, и только; это — предсмертный крик.

Смерть явилась лишь через три с половиной года. Душевный мрак этих последних лет не поддается описанию. Психика уже не выдерживала, появились признаки её распада. Скорбут<sup>[38]</sup> сократил мучения, точнее — тот вид мучений, который присущ нашему физическому слою. Блок умер, не достигнув 42-летнего возраста. Впрочем, ещё при жизни многие, встречавшие его, отзывались о нём как о живом трупе.

Я видел его летом и осенью 1949 года. Кое-что рассказать об этом — не только моё право, но и мой долг. С гордостью говорю, что Блок был и остаётся моим другом, хотя в жизни мы не встречались, и когда он умер, я был ещё ребёнком. Но на некоторых отрезках своего пути я прошёл там же, где когда-то проходил он. Другая эпоха, другое окружение, другая индивидуальность, отчасти даже его предупреждающий пример, а главное — иные, во много раз более мощные силы, предохранили меня от повтора некоторых его ошибок. Я его встречал в трансфизических странствиях уже давно, много лет, но утрачивал воспоминание об этом. Лишь в 1949 году обстановка тюремного заключения оказалась способствующей тому, что впечатления от новых ночных странствий с ним вторглись уже и в дневную память.

Он мне показывал Агр. Ни солнца, ни звёзд там нет, небо чёрно, как плотный свод, но некоторые предметы и здания светятся сами собой — всё одним цветом, отдалённо напоминающим наш багровый. Я уже два раза описывал этот слой; во второй раз — в четвертой части этой книги; снова напоминать этот жуткий ландшафт мне кажется излишним. Важно отметить только, что не случайно мой вожатый показывал мне именно Агр: это был тот слой, в котором он пребывал довольно долгое время после поднятия его из Дуггура. Избавление принёс ему Рыцарь-монах, и теперь всё, подлежащее искуплению, уже искуплено. Испепелённое подземным пламенем лицо его начинает превращаться в просветлённый лик. За истёкшие с той поры несколько лет он вступил уже в Синклит России.

**КНИГА XI. К МЕТАИСТОРИИ  
ПОСЛЕДНЕГО СТОЛЕТИЯ**



## Глава 1

### Воцарение третьего жругра

Заканчивая книгу о метаистории Петербургской империи, я сопоставил между собой две исторические фигуры, характеры и облики которых столь различны, что сопоставлять их как-то не принято. Однако исторические роли их не только сопоставимы, но даже являются, в какой-то мере, одна вариантом другой: они имеют идентичное значение, каждая — для своего цикла эпох. Обе они знаменовали собой зенит мощи русских уицраоров, вступление этих уицраоров на путь открытой борьбы с демиургом, доведение тиранической тенденции до предела — и начало процесса государственной гибели. Эти исторические фигуры — Иван IV и Николай I.

Непосредственными преемниками Грозного на престоле были два лица: Фёдор Иоаннович и Борис. Один — человек исключительного мягкосердечия, кроткий молитвенник, лишённый не только государственного, но вообще сколько-нибудь крупного ума; другой — обладатель настоящего государственного разума, одушевляемый стремлением вывести страну из тупика, куда её завёл Грозный, и прочно обосновать народную жизнь на согласовании между собой противоречивых интересов различных сословий и групп населения. Можно предположить, что в самом факте наличия на престоле такого человека, как Фёдор, выразилась метаисторическая потребность России уравновесить образ царя грозного образом царя безгневного, милостивого и юродивого; в Борисе же выразилась ясно осознанная потребность российской государственности — исправить, залечить ошибки Иоанна путём устранения всех следов опричнины, прекращением террора, смягчением законодательства и укреплением международных связей.

Непосредственным преемником Николая был Александр II. Это был добродушный от природы, сердобольный, но неустойчивый, хотя и очень упрямый, воспитанный на принципах абсолютизма человек, ум которого не блистал никакими яркими достоинствами; впрочем, обвинять Александра в крайней ограниченности было бы несправедливо. Можно сказать, что этот человек был чем-то средним между добролюбивым и набожным, но придурковатым Фёдором и активным государственным деятелем, властным Борисом. При этом, конечно, Александр оставался далёк и от духовности первого, и от дальновидной зоркости и трезвости второго.

Когда с русской исторической сцены сходит великий тиран, царствовавший 30 или 40 лет, нагромоздивший горы жертв, доведший государство до грани военной катастрофы и развенчавший в глазах народа самое понятие помазанника, народного вождя и отца, непременно происходит следующее. Его преемники пытаются исправить дело путём ограниченных реформ, стараясь показать, будто царство террора было только исторической случайностью, а теперь власть будет всецело вдохновляться идеями народного блага. При этом новые правители, роковым образом скованные по рукам узами политической преемственности и не могущие отрешиться от основ старой государственной концепции, оказываются неспособными понять, до какой развенчали тирания и террор в глазах народа эту самую концепцию, со всеми её идеалами. Частичное отмежевание от слов и дел усопшего деспота им представляется достаточным для того, чтобы народ простил власти и её носителям только что минованный, кровавый, уродливый и бессмысленный этап. Однако весьма скоро обнаруживается, что народ не забыл, не простил и прощать не собирается; что он только притих до времени, поскольку полицейская система, усовершенствованная деспотом, продолжает, хотя и в ослабленном виде, существовать и поскольку атмосфера не только политического, но и культурного, духовного единодержавия, царившая столько лет, окаменила ту психологическую почву, без которой не могут выглянуть на свет ростки новых идеологий. Тем не менее от года к году начинают множиться признаки того, что народ мечтает изменить структуру власти в самых её основах, потому что при старой структуре он не чувствует себя в безопасности от возможных рецидивов и ещё потому, что чувство глубочайшей обиды, сливаясь с чувством озлобленности и взывая к справедливости, не может удовлетвориться теми подачками, которые теперь бросаются народу в виде вознаграждений за несколько десятилетий произвола и кровопусканий.

Таков один из законов русской истории, закон — в том смысле, в каком можно прилагать это слово к историческим явлениям, повторившимся уже три раза.

Разумеется, в каждом новом случае этот закон, проявляясь в новой социальной, культурной и международной обстановке, подчиняет себе конкретный исторический материал новой эпохи, и в результате — перед нами как бы новый вариант старой темы, осложнённый спецификой нового времени. Следует отличать суть этого закона от облепливающих его исторических случайностей. Существенно не то, например, что в конце царствования Бориса во внутреннюю русскую распрю вмешался иицраор

Польши, а в конце царствования Александра II ничего похожего не произошло; и не то, что Борис умер — или покончил с собой — в связи с появлением самозванца, а Александр был убит борцами против самодержавия и мстителями за народ. Важно то, что оба эти деятеля выражали собой отчаянную попытку демона великодержавной государственности — исправить допущенные ошибки и преступления системой смягчающих преобразований, оба не могли удержаться на этом курсе, потому что он открывал слишком широкие клапаны клокочущему народному недовольству, оба шатались в своих государственных начинаниях то вправо, то влево, оба делали то шаг вперёд, то шаг назад, и оба претерпели наконец то, что претерпевает всякий, пытающийся сидеть между двумя стульями.

Корень неудач заключался в том, что в обоих случаях уицраоры действовали уже без санкции демиурга, ибо санкция эта была снята с них ещё раньше, а во втором случае начался даже ещё более трагический процесс: демиург вступил с уицраором в открытую борьбу. Под этим углом зрения метаистория должна рассматривать все события русской государственности и культуры на протяжении всего царствования Николая I, Александра II и Александра III: ожесточённую борьбу воинствующего государственного начала против начала культуротворческого; гибель Пушкина, Лермонтова, удушение литературы, парализацию осмысляющей мысли, засилие бюрократии и военщины, ослабление международных связей, возрастающий страх перед российским колоссом в странах Запада, Крымскую войну, поражение, вынужденную перемену курса, отмену крепостного права, попытки разнообразных реформ, учащающиеся вспышки революционных страстей, народовольчество, террор снизу, убийство царя, панику в высших кругах общества, очередное шарахание вспять, реакцию при Александре III и назревание новой революционной ситуации.

Картина крайне усложнялась тем, что демиург Ярослав и Второй Жругр не были единственными участниками борьбы: в неё вмешивались порождения Жругра — хищные и алчные детёныши, время от времени отпочковывавшиеся от него. Ранее Жругру удалось уничтожить двух первых, набросившихся на отца ещё в те времена, когда ему не приходилось обороняться от сил Яросвета. Движения Разина и Пугачева были потоплены в реках крови. Третий же жругрит был слаб и недостаточно деятелен: ему не удалось даже выдвинуть своё человекоорудие — вождя нового движения, как не удалось ему инвольтировать и народные массы; разгром движения декабристов даже не

потребовал больших жертв. Но вскоре после смерти Николая I, когда уицраору, уже столько времени напрягавшему силы в борьбе с демиургом, требовалась передышка, а исторической государственной власти, тридцать лет боровшейся с духовностью, с веянием красоты, свободы и гения в искусстве и в общественной мысли, требовалось найти какой-либо модус вивенди с этою силой — как раз в этот момент отпочковался новый жругрит: бурый, очень энергичный, с чёрными глазами без блеска и со злобным, весьма интеллектуальным лицом. Юрко и неуловимо, как хищная касатка вокруг неповоротливого кита, завертелся он вокруг измученного, дряхлеющего родителя. Он требовал от игв пищи, и напор его был столь стремителен, что многие из обитателей Друккарга, не решаясь послушаться, начали доставлять питательную росу ему вместо старого Жругра. Вскоре его резкий, крикливый голос, насмешливый и наглый, донёсся и до поверхности земли и через сознание нескольких десятков человек, обладавших чувством эпохи, бойкостью мысли, волей к общественному действию и к тому же владевших пером, стал трансформироваться в небольшой запас новых идей, проповедуемых иногда талантливо, иногда нет, но всегда с большим темпераментом, с огромным задором и самоуверенностью и по большей части резким, издевательским, циничным тоном. Начинались шестидесятые годы.

От слова до дела, от пропаганды до революционного террора оставался один шаг. Он был сделан очень быстро, и старый Жругр затрясся от боли и бешенства, когда детёныш оторвал у него одно из главных щупальцев, а проводники воли этого детёныша в Энрофе умертвили прямо на петербургской улице императора — неустойчивое, слабое, слишком мягкое, но всё-таки орудие Второго Жругра.

А Яросвет? Он, снявший свою санкцию со Второго уицраора, мог ли он осенить ею новое порождение? Что сулило бы господство этого жругрита в Друккарге? Какую новую государственность создало бы в Энрофе это существо, первые шаги которого были запятнаны кровью, а узкий уицраориальный рассудок с самого начала отказался вместить какую бы то ни было инвольтацию демиурга? Ради чего было помогать этому существу занять место его отца — ему, уже грозящему обрушиться на страну волны революционных неистовств? Поэтому не может показаться странным, что в 1881 году демиург, боровшийся до тех пор со старым Жругром, на время вложил своё оружие в ножны: он давал старику возможность сосредоточить силы на борьбе с его порождением. Этих сил оказалось ещё достаточно, чтобы привести жругрита в состояние длительного истощения.

Но Жрутр не мог стать мудрее самого себя. Давно поражённый идейным бесплодием, он и теперь не сумел воспользоваться предоставленной ему передышкой для создания новой концепции власти, новой философии, новых идеалов. Только самодержавие, православие и народность — причём все три компонента в самом сниженном, обездушенном смысле — вот и всё, что могла выжать из себя государственность Александра III.

Но чем старше уицраор, тем чаще отпочковываются от него его детища. В восьмидесятых годах игвы впервые увидели, как в отсутствие старого Жругра в Друккарг тихо вползает и бесшумно захватывает питательную росу новое создание: тёмно-багрового цвета, с головой на необыкновенно длинной шее и с невероятным количеством присосок. Оно ещё не отваживалось нападать на отца; оно предпочитало маскироваться и прятаться, пока не войдёт в силу. Вскоре появилось и третье: бледное, очень тощее, но с огромной пастью. К чему предназначена была пасть у существа, питавшегося с помощью присосок, а для речи которому было бы достаточно трубчатого рта, как у всех Жругров? Очевидно, пасть у этого чудовища появилась заблаговременно, для удовлетворения каких-то потребностей будущего. Пока же он был способен только тихонько скулить, как бы жалуясь на отца, и методически, трезво доказывать Великим Игвам, что он гораздо успешнее, чем старик, мог бы справиться с задачами.

Я понимаю, как оскорбительно для поколений, воспитанных на идеалах революционной борьбы и видящих в событиях 1905 года беззаветный героизм народных масс и их вождей — с одной стороны, кровавый произвол власти — с другой, принять мысль, что за этой величественной эпопеей скрывается грызня отвратительных чудовищ метаистории между собой — столь отвратительных, что санкция демиурга не могла осенить ни одного из них своим отблеском. Но самый факт существования уицраоров и их борьба нисколько не умаляет ни духовной красоты революционного героизма, ни оправданности тех субъективных мотивов, которыми были движимы наиболее идейные и чистые борцы за народное освобождение, ни, наконец, гнусной жестокости их палачей. Но пора уяснить себе, что за историческими событиями, масштаб которых нас ослепляет и заставляет их поэтизировать, стояла всё-таки именно борьба метаисторических чудовищ: именно поэтому так кровавы эти исторические эпопеи и так сомнителен их конкретный положительный результат. Ведь борьба чудовищ стоит и за мировыми войнами, и хорошо, по крайней мере, что мы не склонны больше поэтизировать эти войны. Со временем будет покончено и с поэтизированием революций.

Но верно и то, что взаимной борьбой одних только иерархий метакультуры не исчерпывается и не объясняется метаистория вообще и метаисторическая драма России XX века в частности. Как раз именно к XX веку и особенно в грандиозных событиях, ареной которых стала Россия, сказывается воздействие начал планетарных — сложнейшее переплетение и столкновение инспираций, исходивших из центров гораздо большего масштаба и преследовавших гораздо более обширные цели.

Как известно, в середине XIX столетия в Западной Европе сформировалось универсальное учение, которое за следующую сотню лет поднялось к господству над одной третью земного шара. Его первая победа, имевшая воистину мировое значение, совершилась в России, и этим самым Россия была выдвинута на такую позицию, пребывание на которой делало эту страну водителем чуть ли не половины человечества и активнейшей участницей самых страшных военных схваток, какие потрясли когда-либо поверхность нашей планеты. Здесь не место вдаваться в метаисторически-философский анализ этого учения: такой анализ мог бы послужить темой отдельного капитального труда. Но совершенно необходимо обратить внимание на внутреннюю противоречивость этого учения, на разрыв между его идеалами и его методами. Экономическая сторона его, глубоко обоснованная теоретически и оправданная морально, вследствие именно этого разрыва претерпела серьёзные искажения, как только явилась возможность к её практическому осуществлению. Философская же доктрина, надстроенная над этой экономической программой, была порождена умами, страдавшими всей ограниченностью XIX века. Выразители воинствующе-рассудочного умонастроения, унаследованного от энциклопедистов и усилившегося в связи со стремительными успехами естественных наук, умы эти возвели некоторые положения современного им материализма в завет, в краеугольный догмат, ни разу не высказав догадки о том, что те же самые естественные науки через сотню лет начнут подрывать основы этого самого догмата. Один из передаточных механизмов между народоводительствующими иерархиями и исторической действительностью — экономику — провозгласили верховным вершителем исторических судеб. Была ли эта ложь осознанной? По-видимому, нет, хотя основатель доктрины к концу жизни додумался, кажется, до того, что механизм этот движется кем-то. Но это новое понимание потребовало бы для своего включения в доктрину столь значительной ломки всего сооружения, что основатель предпочёл промолчать о своём открытии. Впрочем, насколько мне известно, никаких намёков на это открытие в

принадлежащих ему документах не осталось, и моё сообщение об этом основано на тех же источниках, на каких основаны вообще все те мои сообщения, которые невозможно проверить научно.

Ясно, что положительные идеалы этого учения, во многом совпадающие с мечтаниями самых высоких человеческих сердец, не были и не могли быть инспирированы силами Гагтунгра. Корнями своими они уходят в противоположный планетарному демону ряд общечеловеческих идей, в тот ряд, который включает в себя и многие проявления христианской духовности. Но, попав между валиками энергичного, неутомимого, охваченного гордыней, узкого и ограниченного ума, они сплющились, спрессовались, стиснулись, и, в конце концов, идеалы утратили свою духовность, а провозглашаемые методы оказались в резком противоречии с требованиями элементарной гуманности. Быть может, ущерб духовности ни в чём не сказался так ярко, как именно в утверждении, будто бы единственный путь к претворению этих идеалов в жизнь лежит через вооружённую борьбу, насильственный захват власти, беспощадное уничтожение врагов и диктатуру одного класса — вернее, его организованной части — над всеми остальными группами населения. Таким образом, борьба между демоническим и провиденциальным развернулась и внутри этого учения, между его идеалами и его методами, даже в уме и душе самого основателя, а позднее — между различными его истолкователями и последователями.

Мало того: эта борьба продолжалась и в сознании того лица, которое в России стало на рубеже XX века вождём этого движения. Мечта о счастье человечества и пламенная вера в то, что дорога к этому счастью для него совершенно ясна, ярко горели в его душе. Узкое, корыстное честолюбие было ему чуждо: он жаждал власти не ради себя, а ради блага большинства — блага, секрет которого он чувствовал себя постигнувшим чётче и безошибочнее, чем кто-либо другой. Ему были знакомы даже минуты умиления природой или красотой искусства, которые он потом, в часы самобичевания, объяснял своей классовой половинчатостью. Но безумный азарт не давал ему взглянуть ни вправо, ни влево. И то, что он становится орудием багрового жругрита, а может быть и самого Урпарпа, стало приоткрываться ему только в самом конце, в болезни. Бывали мгновения страшных прорывов, великой тоски и даже молитв. Но отступить было уже некуда, да никто и не принял бы тогда его отступлений.

Итак, на рубеже XX века демиург Ярсвет продолжал одновременную борьбу против старого Жругра и против всех трёх его порождений. Но борьба эта имела целью их обуздание, их ограничение, а отнюдь не

уничтожение всего их рода: как ни противопоставляли себя уицраор и его детища силам Яросвета и Синклита, всё же они были по-прежнему необходимы: в этом и заключалась трагедия. Россия не была защищена никакими океанами, никакими цепями гор от могущественных держав, сформировавшихся на Западе; их агрессивные уицраоры ждали только ослабления старого Жругра, чтобы наброситься на него, кинув в Энрофе против ветшающей государственности России свою собственную, насквозь военнизированную государственность. В этих условиях полное обессиление рода Жругров силами Света означало бы не только открытие ворот Друккарга расе иноземных игв, но и добровольное сбрасывание с тела России той брони, которая одна лишь обеспечивала его физическое существование. Поэтому вопрос об уничтожении всего рода Жругров всё ещё не мог быть поставлен. Не мог быть поставлен даже вопрос о предпочтении которого-нибудь из жругритов: даже самый хилый из них одним видом своей пасти мог рассеять любые сомнения касательно его метаисторических потенций. Только его проекция в истории, маскирующаяся под либеральную и благообразную «оппозицию его величества», могла ввести в заблуждение тех, чей взгляд неспособен проникнуть за плоскость политики и общественности и кто бессилён понять, что за демагогическими программами партий, подобных кадетам, таится воинствующий дух национального империализма, дух колониализма, буржуазный дух неутолимой жадности, самодовлеющий здравый смысл, пошлость.

Ещё большую тревогу мог внушить пока ещё самый тихий жругрит — багровый. Прячась за спинами своих братьев, он лишь короткими рывками набрасывался иногда на отца, сейчас же отступая и незаметно пожирая питательную росу, пока старик и два других исчадия боролись, переплетаясь всеми своими щупальцами. Его лицо было ужасно, но не лишено сатанинского величия. Голова на длинной шее была гордо закинута назад, а в тёмных глазах, наполовину прикрытых суровыми веками и похожих на опрокинутые полукруги, роились оранжевые точки, придавая им выражение бурно развивающейся мысли и сверхчеловеческой хитрости. Естественно, что историческая проекция именно этого жругрита становилась богаче всех остальных идеологическим зарядом. Именно она и только она была вооружена широкообъемлющей доктриной, универсальной программой и пониманием исторического момента. И именно багровый жругрит, и только он, уже создавал себе превосходное человекоорудие: существо с тяжёлым и неутомимым мозгом и таранообразным лбом, с широким и жадным, инфантильно припухлым ртом и хитрыми, по-



татарски дикими и безжалостными глазами.

Я бесконечно далёк от мысли затрагивать здесь вопрос о моральной ответственности отдельных государств за первую мировую войну. В той или иной мере ответственны все великие державы: одни — как агрессоры, другие — как провокаторы. Но если бы меня спросили, который из уицраоров первым напал на соседа и которая из рас античеловечества первая вторглась в чужой шрастр, я принуждён был бы ответить, что таким инициатором мировой бойни явился уицраор Германии, обезумевший от стремительности собственного роста, алчности и зависти, потерявший правильный глазомер и лишившийся способности трезво сопоставлять вещи и в своём, и в нашем мире. Но в замыслы Гагтунгра входило именно это. В его замыслы входило, чтобы Великий Игва Германии вообразил себя предназначенным к главенству надо всеми шрастрами, — вообразил, хотя бы эта иллюзия стоила неисчислимых жертв и даже его собственной гибели. В этот замысел входила мировая война, как небывалый ещё по величине источник питательного гавваха и как путь к образованию на развалинах некоторых государств эмбриона новой социальной формации, которая в далёком будущем могла бы преобразоваться в ядро абсолютной всемирной тирании. Предвидел ли уже тогда демонический разум Шаданакара, руины которой именно из европейских империй станут фундаментом этой новой формации, или же это стало уясняться ему в ходе событий? Та идеология, которая по своему интернационализму, универсальности, наукообразию, доступности, этической сниженности и согласованности с духом времени лучше других подходила для указанных задач, существовала не в одной только России. И если бы захват ею власти не удался в одной стране, он мог бы удался в другой и, как цепная реакция, перекинуться в государства соседей.

Во всяком случае, развязав первую мировую войну, уицраор и шрастр Германии сделали своё дело.

Когда враг, ярость которого учетверялась оттого, что ему приходилось бороться на два фронта, вторгся в Друккарг и стиснул в железном объятии тело старого Жругра, даже бурый и бледный жругриты поспешили отцу на помощь. Они уразумели, что дело идёт о существовании самой цитадели Жругров и что если чужеземный враг захватит эту цитадель, в подземном мире придёт конец всему роду российских уицраоров, а в Энрофе — конец российскому великодержавию. Только багровый жругрит оказался зорче: в Друккарге произошла смена Великих Игв, и новый, усиленно инспирируемый Гагтунгром, раскрыл перед багровым жругритом такие перспективы в случае гибели старого Жругра, от которых могла

закружиться голова.

А Жругр погибал. Перед лицом исполинской мощи германского уицраора помощь бледного и бурого оказывалась ничтожной, как помощь детей взрослому солдату в танковом бою. Тогда они отбежали в сторону, чтобы, улучив мгновение агонии отца, вгрызться в его тело и пожрать его сердце, — акт, совершив который, пожиратель становится преемником погибшего. Полная неспособность старого демона великодержавия к защите России уяснилась в этот час самому Яросвету, и его гневный удар обрушился на цитадель Друккарга. Глыбы её треснули и расселись, и эта минута стала великой и потрясающей для всего русского народа. Треснула и расселась сама имперская государственность, и сквозь образовавшуюся брешь миллионы человеческих душ увидели духовным зрением голубое сияние Навны. Они увидели близость той, чьё освобождение будет залогом осуществления метаисторической миссии русского народа, — путём ко всечеловеческому братству. Их сознания не могли вместить это лучезарное видение, но на несколько великих дней вся атмосфера их существа исполнилась неопишуемой радости и опьяняющей веры. То была вера в свершение вековой мечты, в наступление всеобщего счастья. То были незабвенные дни на рубеже февраля и марта 1917 года, когда священный хмель бескровной революции залил Петербург и Москву, катясь от сердца к сердцу, от дома к дому, по всей стране, по всколыхнувшимся, ликующим губерниям. Даже самые уравновешенные умы поверили на мгновение, будто Россия вступила в эру всеобщего братства, оставив позади всякое зло и указывая путь к мировой гармонии всем народам. Видение угасло, цитадель устояла, разум так и не понял ничего в происшедшем, но память о захватывающей минуте какого-то всемирного предчувствия, какого-то предварения всечеловеческого братства осталась во множестве человеческих душ. Искажённая рассудочностью, замутнённая воздействиями всполохнувшихся жругритов, захватываемая в своих интересах той или иной политической теорией, память об этом вещем прозрении чувств продолжала жить — она должна была жить, она не могла не жить, ей предстояло переходить из поколения в поколение.

Но эту минуту не преминул воспользоваться багровый жругрит, чтобы вгрызться в извивающееся туловище своего отца. Ржавый купол короны сорвался с головы несчастного: нездешний гул и звон огласил все плоскогорья и города Друккарга, когда вековая эмблема, магический кристалл властвования, ударилась о направленные к центру земли пики гор и, перепрыгивая от вершины к вершине, разбилась на тысячи осколков. Военные оркестры в городах Энрофа грянули ликующий революционный

гимн, и в дребезжании их литавр слышались отголоски то ли звона разбитой эмблемы, то ли праздничного грохота музыкальных инструментов игв, беснующихся от восторга. Ибо старый Жругр давно им надоел своей старческой вялостью, бесплодием, безынициативностью, тупостью, своей неспособностью осуществить мировые замыслы, всё чётче отпечатываемые Гагтунгром в разуме великих игв.

Но старый Жругр был ещё жив. Волоча внутри себя багрового жругрита, прогрызавшегося глубже и глубже к его сердцу, он тащился из последних сил к центральному капищу: он надеялся, что, совпав с ним очертаниями своего тела, он вызовет в игвах взрыв того энтузиазма, который всегда их воспламенял в подобные торжественные минуты. И здесь, прямо над улицами Друккарга, от умирающего отпочковался последний жругрит — чёрный, маленький недоносок, быть может, самый злобный из всех. Едва родившись, в туловище родителя стал вгрызаться и он, а бурый, стремясь наверстать время, пропущенное в замешательстве, рванулся туда же вслед за багровым, тщетно пытаясь опередить его на пути к родительскому сердцу.

Тогда древняя Велга России, пробуждавшаяся от сна в Гашшарве, великая умножительница жертв и страданий, почувствовала, что опять настает её час. Она сошла в Друккарг, еле зрима игвам, как полыхание лиловых и чёрных покрывал, но с подобием остроконечной головы, закованной в глухую, без прорезей, маску. Она охватила своим покрывалом чёрного недоноска и вливала в него избытки своих сил. И в Друккарге, и в Энрофе начиналась анархия — совместная инвольтация их обоих.

В Энрофе бушевала поздняя осень. Ледяные дожди хлестали по проспектам и дворцам Петербурга, когда в Друккарге багровому жругриту удалось первому добраться до сердца отца и вырвать его из туловища. Это была та секунда, когда в Энрофе по стенам Зимнего дворца с Невы ухнули пушки крейсера; а в глубоком подземном мире багровый победитель, внутри главного капища игв, высоко под самым конусом, прижимал щупальцами пульсирующее сердце к своей груди, выпивая из него присосками кровь, каплю за каплей. Другие жругриты, беснуясь от зависти и ненависти, отступили вдаль, кроме чёрного, извивавшегося тут же; все они старались вооружиться наново, сосредоточив вокруг себя отряды игв и раруггов; а багровый жругрит всё пил — каплю за каплей. Германский уицраор, кусаемый сзади другими врагами, но ещё могучий, таща за собой рати других рас античеловечества, тоже пробивался к великому капищу, уже захватив четверть подземной страны; а багровый жругрит всё пил. И Друккарг, и Энроф начали превращаться в хаос, а он всё пил. Его

человекоорудие завладело Кремлём и укрепилось в нём, а он всё пил. И только когда в подвалах Екатеринбургa прозвучали, один за другим, несколько выстрелов и последнее из человекоорудий старого Жругра понесло расплату за грехи трёх веков, — только тогда можно было понять, что победитель выпустил наконец из щупалец пустое, выпитое сердце и теми же щупальцами возложил на себя, в виде короны, золотой куб. Он стал Третьим уицраором России.

Нужно ли после этого подробно останавливаться на метаисторическом смысле Гражданской войны? Указывать, человекоорудиями каких именно жругритов были вожаки тех или иных движений? Всё это ясно и без объяснений, да и не это существенно и важно с точки зрения мирового будущего.

Важно то, что борьба демонического и провиденциального начал продолжала протекать и внутри того исторического движения, внутри той психологии, которые к концу Гражданской войны сделались господствующими и оставались таковыми в течение нескольких десятилетий. При анализе этих явлений никогда нельзя забывать, что семя этой идеологии и всего этого движения, идеал совершенного социального устройства, было посеяно на исторической ниве теми же силами, которые некогда уяснили разуму и сердцам далёких минувших поколений идеалы всеобщего братства, равенства людей перед Богом и права на свободу для каждого из живущих. В человечестве, не получившем возможности это осуществить вследствие оборванности миссии Христа, идеалы эти неизбежно должны были постепенно лишиться своей одухотворённости, снизиться и выхолоститься, а практика должна была отказаться от слишком медленного и веками дискредитировавшегося принципа христианского самосовершенствования и прийти к замене его принципом внешнего насилия. Так демоническое начало исказило идеал и залило кровью дорогу. Именно это видим мы и в панорамах Гражданской войны, и в последовавших за нею этапах истории. Но это ещё не значило, будто бы демоническое начало полностью захватило и контролирует и это движение, и психику людей, к нему примкнувших. Сколь ни снижалась их этическая практика и сколь враждебен ко всякой духовности ни становился их порабощённый материалистической доктриной ум, но человеческие душевные движения, вытекавшие из бессознательной или сверхсознательной сферы, продолжали зачастую быть и возвышенными, и чистыми, и достойными. Отсюда вытекало и чувство товарищества, и жажда знания, и героизм, и самопожертвование, тем более ценные, что жертвующий своей жизнью ради блага грядущего человечества не

рассчитывал на воздаяние в загробной жизни.

С метаисторической точки зрения в событиях первых лет революции важно ещё и другое. Важно то, что новый Жрутр, едва возложив на себя золотой куб, и даже ещё раньше, уже обладал щупальцами такой невероятной длины, что, будучи сжат врагами на тесном пространстве Центральной России, он мог шарить далеко за спинами своих врагов, в их собственных шрастрах. Важно то, что щупальцы эти были ещё слишком тонки и слабы, чтобы стиснуть в смертельном объятии уицраоров других метакультур, но достаточно длинны и многочисленны, чтобы расшатывать основы чужих цитаделей, а в Энрофе выдвигать тысячи человекоорудий. Важно было то, что возможность мировой революции и перехода к мировой тирании стала актуальнейшей угрозой дня и что демиург и Синклит России, очертив вокруг нового российского уицраора нерушимое кольцо света, оцепив его стеной Провиденциальных сил, предотвратили или, по крайней мере, отодвинули эту угрозу.

Замысел Гагтунгра не был осуществлён, но он не был и опрокинут. Та новая социальная формация, которую он изобрёл и формировал в Энрофе как ступень ко всемирной тирании, не была воплощена во всемирных масштабах. Но площадь для первого ядра этой формации, для её крепости, для её образца, для будущего плацдарма к захвату других метакультур была вырвана, укреплена, ограждена. Теперь предстояло на этой площади создавать самую эту формацию, никогда нигде не существовавшую, но брезжившую светлым гениям и праведникам человечества, искажённую и обездушенную по наитию Гагтунгра сильными умами и одним тёмным вестником предыдущего столетия, а теперь руководимую великим человекоорудием Третьего Жругра.

## Глава 2

### Борьба с духовностью

Существует ходячее представление, будто бы материальная бедность общества отражается, и притом прямо, и на его духовной бедности. И наоборот: материальное изобилие влечёт — или обязано влечь за собой — также и духовное богатство.

Объективные исторические наблюдения не подтверждают этого тезиса. До поздней фазы капитализма богатством располагали те или иные привилегированные классы или группы, а не общество, и различествовали не средние уровни этих обществ, а материальные уровни составлявших их групп. К обществу в целом прилагать понятие материального изобилия можно лишь на поздней стадии исторического развития. Можно говорить об изобилии и богатстве — по крайней мере, в определённые периоды — таких обществ, как современная Швеция, как Голландия последнего столетия, как Швейцария. О богатстве Соединённых Штатов можно говорить тоже, хотя с некоторыми существенными поправками, ибо разница материальных уровней различных групп населения в этой стране очень велика и далеко не всё общество бывало охвачено так называемым процветанием<sup>[39]</sup> даже в самые лучшие свои времена. Что касается стран социалистического лагеря, то я не упоминаю о них здесь потому, что эти образования относятся к ещё более позднему историческому периоду.

Я был бы очень заинтересован, если бы кто-нибудь сумел убедительно показать мне, что перечисленные общества, достигшие высокого уровня общего материального благосостояния, как-то: Швеция, Голландия, Швейцария — проявили одновременно также и подлинное духовное богатство. Правда, что они вносили и вносят кое-что в мировую науку и технику, но наука, как и техника, относится в основном к ряду не духовных, а интеллектуальных ценностей. С самого начала следует научиться делать различие между этими двумя рядами явлений. Умонастроение определённого типа, весьма ныне распространённого, не отличает духовного от интеллектуального. Гуманитарные науки, искусство, общественность, этика, религия, науки физико-математического и биологического циклов, даже некоторые аспекты техники — всё сваливается в одну кучу. Творчество Калидасы и Дарвина, Гегеля и Эдисона, Рамакришны и Алёхина, Сталина и Ганди, Данте и Павлова

рассматривается как явление одной и той же области — «духовной» культуры. Эту aberrацию можно было бы назвать дикарской, если бы в ней не были повинны цивилизованные люди весьма интеллигентного облика. А между тем ясно как день, что здесь перед нами два совершенно различных ряда явлений: духовный и интеллектуальный. Почти вся область науки и тем более техники принадлежит ко второму ряду; в него входят также философские, эстетические и моральные построения в той мере, в какой они высвобождаются из-под представлений и переживаний иноприродного, иноматериального, запредельного, духовного в точном смысле этого слова. В той же точно мере входят в него общественные движения, политические программы, экономическая и социальная деятельность, даже искусство и художественная литература. Духовный же ряд состоит из человеческих проявлений, находящихся в связи именно с понятием многослойности бытия и с ощущением многообразных нитей, которыми связан физический план жизни с планами иноматериальными и духовными. Сюда полностью относятся области религии, спиритуалистической философии, метаистории, магии, высокой этики и наиболее глубокие творения литературы, музыки, пространственных искусств.

Если понять и усвоить это различие двух родов явлений, духовного и интеллектуального, тогда станет ясно, что духовное богатство находится отнюдь не в прямой зависимости от богатства материального. Дурно отражаются на духовной деятельности только две крайние степени материального достатка: нищета и роскошь. Первая заставляет тратить все силы на борьбу за существование, вторая ведёт к погоне за умножением богатств либо к пресыщенности, к опустошению, к затягиванию психики душевным салом.

Не Швеция, не Голландия, не Соединённые Штаты, а бедный Таиланд, полуцивилизованные (разумеется, с точки зрения европейцев) Цейлон, Бирма и Камбоджа, «полудикие» Тибет и Непал, полунищая Индия являются собой образцы обществ, жизнь которых гораздо более, чем жизнь обществ западных, пронизана артистичностью, повседневным участием масс в творчестве высокоэстетических ценностей, интенсивными идейными исканиями и тем душевным теплом, которое найдёшь только в странах, где веками царил нравственный климат, создаваемый огромными водоёмами духовности. У нас привыкли сосредоточивать внимание на экономической отсталости этих стран, на индийской бедности, на тибетской малограмотности, на примитивности цейлонского быта, на пережитках в Индии кастовой системы, а в Тибете — теократического феодализма, на несовершенствах семейного уклада. И сознательно закрывают глаза на

другую сторону жизни этих стран: ту сторону, чьими силами создавались и поддерживались города, наполовину состоящие из храмов потрясающей красоты и просветлённости; взлётами чьего гения лик земли украсила дивная архитектура; благодаря чему священные реки текут по этим странам между берегов, увенчанных бесчисленными памятниками человеческого устремления к духу, свету и красоте. Забывают ту сторону индийской жизни, без наличия которой никакой народ не мог бы от векового порабощения освободиться методами ненасилия — самыми этически чистыми методами, какие только удалось до сих пор измыслить. Не интеллектуализм, а именно духовность веет от всевозможных проявлений народной жизни Индийской и Индомалайской метакультуры: и от пронизанных внутренним светом изумительных ремёсел, и от народного искусства, и от отношения «человека массы» к проблемам жизни и смерти, и от мистерий и героических эпопей, которые целыми ночами представляются на жалкой площади в любой, самой захудалой деревне, и от поражающей нас незлобивости по отношению к недавним поработителям, и от незначительного, особенно в сравнении с Америкой и Россией, процента уголовных преступлений, и от высокоморальных программ действия, принимаемых массовой правящей партией, и даже, например, от преобладающих в индийском обществе типов женщин, так рельефно изображённых Рабиндранатом Тагором и Прэмом Чандом.

Подмена понятия духовного понятием интеллектуального, причём с сохранением именно термина «духовный», столь повсеместна в России и даже на Западе, что становятся совершенно ясными её смысл и цель. Её смысл и цель — всё в том же стремлении вывести человеческую психику из области высших ценностей в область ценностей утилитарных. Это стремление и его действительное осуществление составляют одну из главнейших сторон переживаемого нами этапа культурно-исторического процесса. Это связано, конечно, и с выхолащиванием далёкого социального идеала, о чём я уже говорил, и с усилиями сделать это постепенно, прикровенно, дабы общество, мало-помалу выхолащиваясь само и перерождаясь, не замечало образующегося вакуума, не замечало, как у него отнимают ценнейшие из ценностей и взамен подставляют другие, подчинённые.

Материальный достаток есть сам по себе безусловная ценность. Это есть естественный, достойный человека уровень его внешнего существования. Он представляет собою ценность потому, что это — та самая броня внешнего благополучия, которая даёт возможность спокойно созреть и плодоносить семенам души. Но провозглашать материальный



достаток и внешнее покорение сил природы ради опять-таки материального изобилия человечества ценностью основной и наивысшей, целью организованной борьбы масс во всём мире, идеалом общественного развития, во имя которого следует приносить в жертву целые поколения и всё, что относится к духовному ряду ценностей, — это есть или трагическая ошибка, или полуосознанный обман.

Однако же именно эта ложная мысль, иногда провозглашаемая полным голосом, иногда недоговариваемая до конца, но всегда присутствующая в комплексе революционных идей нашего века, определяет и характер идеалов, венчающих этот комплекс, и усвоенную им методику.

Ту многообъемлющую социально-политическую и философскую доктрину, которая была выработана в середине прошлого века на Западе и постепенно сделалась гегемоном в области передового, революционного мышления, станем для краткости обозначать здесь словом Доктрина. Нетрудно представить себе, что эта Доктрина, тесно связанная генетически с предыдущими звеньями западной философской и научной мысли, даже с христианством, разрабатывалась, однако, при активной помощи тех сил, которые озабочены созданием мощного учения, долженствующего сделаться ведущим в человечестве, но ведущим по лестнице идейно-социальных подмен к такому состоянию общественному, культурному, психологическому и техническому, откуда остаётся лишь один короткий скачок до абсолютной единоличной тирании. Если допустить такую посылку, то луч прожектора, при котором мы привыкли созерцать явления культуры и истории, внезапно резко сдвинется; погрузятся в тень явления, до сих пор казавшиеся нам такими отчётливыми, и, напротив, выступят из тьмы феномены, о которых мы раньше не подозревали либо не обращали на них внимания. Железно-упрямый, не желающий уступить ни пяди, буквально с пеной у рта отстаиваемый материализм; жгучая, до неистовства доходящая ненависть ко всему, что можно заподозрить в религиозности, в мистике или в идеализме; полное исключение духовных ценностей, приравнивание их к пережиткам древности и утверждение лишь материального и интеллектуального рядов ценностей; поставление во главу угла идеи о материальном изобилии большинства; благословение любых средств, если они способствуют достижению этой цели; провозглашение диктатуры пролетариата, затем подмена пролетариата одной единственной партией, а ещё позднее — подмена партии фигурой единовластного вождя; возвешение суровой необходимости подчинения всех остальных классов общества, а потом физическое уничтожение мешающих классов; строгий контроль государства, то есть единовластной

партии, над всей идейной и культурной продукцией общества; колоссальная роль, отводимая технике, машине, индустрии, автоматизации — автоматизации и производственных процессов, и социальных отношений, и самой психики, — всё это и многое другое приобретает под новым углом зрения новый и достаточно злобный смысл.

В высшей степени симптоматично, что та самая Доктрина, которая пробивала себе путь на общественную поверхность при помощи освободительных лозунгов и тирад о свободе, начала эру своего господства с разгона всенародного собрания представителей, в выборе которых сама же участвовала, тщетно надеясь получить большинство. За этим немедленно последовало наложение запрета на деятельность всех других партий и политических организаций и уничтожение всех органов печати, кроме своих собственных.

Под указанным здесь углом зрения метаистории важно рассмотреть и такие феномены, как наука, техника и индустриализация.

В человеческом существе — не в физическом его теле только, но во всём сложном, разноматериальном конгломерате его существа — заложены такие потенции, развитие которых бесконечно раздвинуло бы возможность нашего пользования материальными средами и совершенно изменило бы соотношение между человеком и пространством, человеком и временем, человеком и природой, человеком и другими слоями бытия. Проблему полёта способна решить не только авиация. Борьба с болезнями за продление нормальных сроков жизни может вестись и совершенно другими методами, чем те, какими пользуется медицина. Быстрое передвижение в пространстве и общение на громадном расстоянии вовсе не являются монополией наук, связанных с усовершенствованием видов транспорта и средств связи. Способность к полёту, например, к преодолению пространств с невообразимой быстротой, к общению на больших расстояниях, к прохождению сквозь плотную среду, к преодолению болезней, к продлению срока человеческой жизни в два-три раза, к встречам с существами других слоёв, к созерцанию трансфизических панорам, к восполнению жизненных сил не через пищу, а через впитывание излучения светлых стихий и через вдыхание благоуханий — всё эти способности, как и многие другие, покоятся в зачаточном состоянии в глубине нашего существа. Грубыми, до смешного громоздкими, вульгарными, тяжкими, примитивными, отвратительно бездушными и даже, как ни странно, нерациональными показались бы технические достижения наших дней, вроде реактивных самолетов, телевизоров или кибернетических устройств, тому, кто способен предвидеть человека,

овладевшего способностью ангельского летания, духовного зрения или умением мгновенного выполнения сложнейших умственных операций единственно в силу развития способностей, дремлющих в нашем мозгу, в нашем физическом, эфирном и астральном организме. Одухотворённость и мудрая красота птичьих крыльев не столь далека от мертвенного поблёскивания надраенного самолетного крыла, как далеки друг от друга конкретные результаты движения по этим двум контрастным путям человеческого развития. Магия древности и, позднее, некоторые направления в восточной философской практике едва-едва прикасались к вопросу о раскрытии этих потенций. Путь к этому раскрытию почти неизведан, чрезвычайно трудоёмок и даёт плоды лишь в итоге преемственной работы многих поколений. Особая же его трудность заключается в том, что подобная практика теснейшим образом связана с общим одухотворением личности, с подъёмом её нравственного уровня, с очищением от всевозможной мути. Древняя магия не смогла далеко уйти по этому пути именно вследствие недооценки связи между магической практикой и этикой. Подчинение этой деятельности корыстным мотивам влечёт за собой, в большинстве случаев, приостановку движения, а иногда — продолжение движения, но ценою демонизации шельта со всеми вытекающими из этого запредельными следствиями.

На позднейших культурно-исторических стадиях, в лоне высокоразвитых религий, так или иначе прикасались к этой проблематике очень многие течения и школы: и пифагорейство, и каббала, и восточнохристианское монашество, и монашество даосизма и ламаизма. Кажется, сознательнее всех преследовали цель развития в себе именно этих потенций индийские йоги. При этом связь подобной работы с личной этикой была им уже совершенно ясна. Но требуемый йогой отказ от многих общечеловеческих потребностей и строжайшая самодисциплина препятствовали включению в это движение широких масс. Весьма сомнительно, однако, что для раскрытия этих потенций действительно необходим, независимо от эпохи и культуры, именно крайний аскетизм. Условия нового времени диктовали бы, вероятно, не мучительное умерщвление плоти наподобие монахов времён Исаака Сирина или индийских отшельников, а облегчённые условия, близкие к представлению о мирской праведности, либо, например, к повседневному укладу южнобуддийских общин — строгому и чистому, но умерщвление плоти отвергающему.

В метакультурах древности, включая Византию, общество ещё не сделало окончательного выбора между этим путём развития и другим —

тем, который для краткости можно назвать научно-техническим. Правда, в панораме древнеримской империи видятся признаки того, что в плане древнего общественного сознания тогда уже почти ничего не осталось от идей первого типа развития; они сделались достоянием эзотерических и полуэзотерических обществ, мистических культов, некоторых кругов жречества. Но социально-экономические условия Древнего Рима, Византии, даже западного средневековья не могли ещё способствовать быстрому продвижению общества по второму пути. Рубежом следует считать приблизительно XV век — эпоху от изобретения пороха и книгопечатания до открытия Америки, Индии и до вызванных этим колоссальных экономических и психологических сдвигов.

С начала XVII века преобладание тенденции ко второму пути развития и стремительное угасание потенций первого пути становятся уже предельно ясными.

Второй путь развития характеризуется несколькими особенностями. Во-первых, резко и полностью разрывается связь между наукой, то есть познанием окружающего мира, и какой-либо духовностью. Духовность окончательно отбрасывается в область богословия, культа, мистической философии и искусства, то есть в ту область, на которую наука не обращает ни малейшего внимания, лишь гораздо позднее начиная изучать её со своих же научных позиций. Во-вторых, методика познания сужается до скрупулёзной эмпирики и чисто рассудочных обобщений эмпирически добытого материала. В-третьих, научная деятельность как таковая полностью эмансипируется от каких бы то ни было связей с практической этикой: корыстность или бескорыстность мотивов, порочность или добродетельность учёного не имеют больше никакого отношения к плодотворности его занятий. Конечно, кармические следствия дурно направленной научной или технической деятельности, например военного изобретательства, приходится пожинать каждому в его посмертии; но эти следствия находятся далеко вне круга его сознания при жизни. И в-четвёртых, наука в принципе делается открытой для всякого, обладающего упорством и прилежанием. Окончательный разрыв между духовным и интеллектуальным рядами становится незыблемой реальностью.

Как расценивать — с метаисторической точки зрения — этот выбор пути, совершённый западным человечеством, а позднее определивший направленность умственной деятельности и в других метакультурах? Если бы миссия Христа не была оборвана, человечество получило бы могучий импульс к движению именно по духовному пути. Вот тогда были бы открыты и усвоены те методы, которые позволили бы вовлечь на этот путь

народные множества вместо тех единиц, которые вовлекаются на него в Индии и в странах буддизма; несравненно большими, для всех явными, были бы и достижения этих поколений. Это подобно тому, как отличается размах научных достижений в древности, когда в этом направлении работали единицы, от размаха научных достижений теперь, когда в эту деятельность вовлечены миллионы. Тот, кто оборвал жизнь Христа в самом её начале, продолжал свою глубоко целеустремлённую, сатанински разумную деятельность и в дальнейшем. И, уж конечно, он приложил немало сил к тому, чтобы глушить всё побегу духовности и способствовать бурному росту научной и технической мысли. Не требует объяснений, зачем именно ему нужно было первое; во втором же он нуждался потому, что без высочайших достижений техники не было бы мыслимо объединение человечества в монолит, а без этого объединения невозможно установление всемирной тирании — единственной тирании, заслуживающей наименование абсолютной.

Но объединение человечества есть цель, вернее, необходимый этап на пути к конечной цели — не только для демонических начал. Объединение человечества — этап в достижении конечной цели также и для начал Провиденциальных. Ибо, пока объединение не достигнуто, человечество будет терзаться войнами и революциями — войнами всё более и более разрушительными; наступит день, когда их разрушительность превратится в угрозу для всей органической жизни на поверхности Земли. Вне всеобщего объединения, политического и социального, нет способов к предотвращению этой угрозы. И поскольку человечеством уже давно, хотя и неосознанно, сделан выбор научно-технического пути развития, поскольку невозможно в короткий срок изменить соответствующим образом общее умонастроение в сторону пути духовного, постольку Провиденциальные силы принуждены, со своей стороны, форсировать движение человечества по научно-техническому пути. Такова метаисторическая диалектика. Силы Света озабочены только тем, чтобы направить научную мысль, поскольку это зависит от них, по таким дорогам, которые меньше других грозят гибельными для людей открытиями и изобретениями. Сознание и воля учёных — такое же поприще битв Света и Мрака, как и всё в Шаданакаре. И в то время, как одухотворённый разум Эйнштейна, Планка, Кюри, совершавших подвиги своих грандиозных открытий, просвещался и озарялся инспирацией даймонов, разум изобретателей шестиствольных минометов, термоядерных бомб, аппаратов подслушивания и межконтинентальных ракет направлялся в своих усилиях невидимыми слугами нашего вечного Врага.

Но и помимо умножения разрушительных сил войны, развитие техники имело для человечества первостепенное и противоречивое значение.

От всех других явлений духовного и интеллектуального ряда, даже от чистой науки, в значительной степени движимой чувством жажды познания, техника отличается одним: она не может не быть насквозь утилитарной. Психика людей, повседневно работающих в технике, над техникой, с техникой, приучается ко всему на свете подходить с критерием практической полезности. Если человек не сумеет сам заметить эту опасность, если он не отгородит глухой стеной ту сферу своей жизни и деятельности, где властвует техника, от остальных сфер своей жизни и души, он превращается в духовного калеку, духовного импотента, духовного слепца. Нет лучшего способа угасить в себе проблески чего бы то ни было духовного; нет более верного пути к выхолащиванию психики от понимания искусства, от любви к природе, от тяготения к религии, от тоски по мировой гармонии, от жажды любви. В нашей зоне развитие техники неизбежно, неотвратимо и оправдано потому, что без него невозможно ни объединение человечества, ни установление того всеобщего материального уровня, который достоин человека. Но горе тем, кто позволил технике властвовать над своей душой.

Строго закономерно, исполнено железной исторической логики то обстоятельство, что Доктрина апеллировала прежде всего к пролетариату и именно пролетариат был предызбран ею как будущий класс-гегемон. Тогда ещё можно было вводить умы в заблуждение, взывая к чувству справедливости и жалости и вопия о том, что пролетариат пока ещё создаёт только материальные ценности лишь потому, что он бесправен, угнетён, задавлен, нищ, сир, наг. Наивные энтузиасты веровали, что, освободясь от эксплуатации и придя к власти, этот класс создаст такие высшие ценности, перед которыми померкнут всё шедевры прошлого. И что же?

Феодальная аристократия эксплуатировала народ, но объём культурных ценностей, созданных этим классом, не поддается ни исчислению, ни обозрению. Жречество и духовенство эксплуатировали, как это известно теперь даже грудному младенцу, темноту масс, но они создали не только религиозные концепции и культ, они создали вечные памятники зодчества, живописи, поэзии, музыки, философии, они создали высокие нравственные заветы. Буржуазия повинна во всех смертных грехах, но культурное творчество этого класса составляет едва ли не большую часть того, что теперь именуется культурным наследием. Крестьянство оставалось на социальном дне, но всё же и оно создало песни и сказки,

орнаменты и легенды, художественные ремёсла и фольклор.

А рабочий класс? Я живу в стране, где рабочий класс остаётся гегемоном уже пятое десятилетие. Что же создал он, кроме всё тех же ценностей материального ряда да всевозможных технических, производственных усовершенствований? Скажут, может быть: а как же вся рабочая интеллигенция, то есть выходцы из рабочей среды, становящиеся инженерами, экономистами, юристами, учёными, литераторами? Но это — не рабочий класс: это — те, кто его перерос, кому нечего больше делать в этой среде и кого навсегда отделили от этой среды и характер деятельности, и круг интересов, и материальные условия жизни. Монах, расписывавший фресками храм, оставался монахом; помещик, писавший у себя в усадьбе или в своём городском доме романы, поэмы и картины, оставался помещиком; буржуа, посвящавший свой досуг искусству и науке или предававшийся меценатству, оставался буржуа; и крестьянин, сочинявший былины или расписывавший утварь, оставался членом своего класса. Но рабочий, становящийся интеллигентом, тем самым перестаёт быть рабочим. И того, что создала эта интеллигенция, не приходится принимать к рассмотрению, когда мы говорим о том, что создал этот класс как таковой.

Духовной — в точном смысле слова — продукции рабочего класса не существует вообще; его интеллектуальная продукция ничтожна. Рабочий класс — не венец человечества, а его трагедия, его *memento mori*,<sup>[40]</sup> грозное напоминание о том, что миллионы людей, потенциально ничем не отличавшихся от остального полноценного общества, осуждены этим обществом на духовное скопчество, на культурное вырождение, смягчаемое лишь тем, что эти несчастные в подавляющем большинстве сами не понимают всего ужаса своего положения. Утратившие связь с матерью-землёй и не вознаграждённые за это приобщением к мировой культуре, психически искалеченные вечной вознёй с машинами, эстетически колеблющиеся от красот индустриального пейзажа до частушки и пошлой олеографии, эти люди становятся жертвами одуряющей скуки, как только оказываются наедине с самими собой. Они, как огня, боятся тишины, ибо тишина ставит их лицом к лицу с их душевной опустошённостью. Природа для них мертва, философия — смертельно скучна, искусство и литература доступны им лишь в самых сниженных своих проявлениях, религия возбуждает в них лишь высокомерную насмешку невежд и только наука вызывает чувство инстинктивного уважения, как нечто, бесспорно высшее, чем они. Их отдых — карты, водка, домино, спорт, примитивный флирт да

кинематограф. И пусть не лгут, будто я клевету на этих людей: им слишком долго кадили фимиамом, их растлевали потоками демагогической лести и лжи; приходит время, когда перед ними поставят их собственные, ничем не разукрашенные портреты.

Закономерно и логично, что именно эту человеческую формацию Доктрина возвела на пьедестал; именно из неё создаются кадры единовластной партии; именно она возносится перед человечеством как якобы самый ценный из человеческих слоёв, как образец, коему должны по мере сил следовать все остальные.

Смысл индустриализации — одного из главнейших мероприятий государства в 20-х и 30-х годах нашего века — отнюдь не исчерпывается тем, что эта мера усилила обороноспособность страны, одновременно поднимая, хотя и черепашьими темпами, её материальный уровень. Смысл индустриализации ещё и в том, что она произвела насильственную ломку психологии крестьянства и интеллигенции, заставив Россию, как выразился один иностранный журналист, «мыслить машинами», а в обществе распространяя тот психологический режим, который был до этого свойствен рабочему классу: психологический режим, при котором всё расценивается мерилom практической полезности, всё чувствуют себя винтиками в гигантской машине и считают это нормой; режим, при котором вырождается искусство, становится государственной проституткой литература, умирает религия, опошляется культурное наследие и выхолащивается этика: психологический режим бездуховности.

Культурное наследие остаётся единственным каналом, по которому духовность всё-таки проникает ещё в сознание людей. И не мешает припомнить, что в первые годы после Великой Революции, когда ещё верили в мираж скорой революции во всём мире, в русской культуре бушевало такое течение, которое требовало и всю культуру прошлого сдать в архив. Один из идеологов Доктрины, Маяковский, лишь гораздо позже пришёл к заключению, что Пушкин писал не так уж плохо; сначала же он, как и другие, требовал, чтобы Пушкин был сброшен с корабля современности. При этом Пушкин понимался, конечно, как некое олицетворение классики вообще. Самый талантливый театральный деятель той эпохи, Мейерхольд, выворачивая классиков наизнанку, культивировал тот урбанистический, конструктивистский, оголённо-схематический стиль, который приводит на память стиль массовых действий в Друккарге. И ещё поразительнее было отражение архитектурного стиля игв конструктивным стилем тех зданий, которые возникли среди русских городов в 20-х годах и в начале 30-х: лишённые каких бы то ни было украшений, это были



сочетания кубов, ромбов, параллелепипедов — голых геометрических форм — при явном пренебрежении закруглённой линией. Потребовалась усиленная инвольтация из Фонгаранды, чтобы приостановить дальнейшее выхолащивание, или лучше сказать «игвизацию», зодчества. Впрочем, воздействие вкусов и стиля античеловечества в архитектуре XX века сказалось далеко не в одной России: конструктивизм на Западе оказался даже устойчивее, чем у нас, он до сих пор уродует своими железобетонными ублюдками прекрасные города Франции, Англии, Германии. Удивляться нечему: инвольтация демонических начал — всемирна, и если на некоторых отрезках истории Россия сделалась её основным плацдармом в человечестве и лицо Друккарга стало выпирать на её поверхность, то и остальное человечество не было оставлено без демонического внимания, чтобы в случае, если Россия отобьется от рук, было где и на чём продолжать сооружение фундамента грядущей сатанократии. Вот почему шрастр Северо-западной метакультуры, Мудгабр, всё больше и больше просвечивает теперь сквозь города Западной Европы и Америки.

Глубоко закономерен был, конечно, стратегический курс, взятый государством с самого начала Революции в отношении религии как таковой. Но тактику приходилось варьировать в зависимости от ситуации и от зоркости тех, кто этим курсом руководил на данном отрезке времени. Доктрина ещё не успела захватить власть, как великое человекоорудие Третьего Жругра уже объявило, что религия есть опиум для народа. На первых порах ради ослабления православной церкви, так долго господствовавшей над умами наиболее широких народных масс России, в особенности над крестьянством, попытались расшатать монолит православия, оказывая попустительство всевозможным сектам. Но скоро уяснилось, что такими паллиативами церковь расшатать нельзя и что, напротив, дух религиозного искательства начинает разливаться вширь. Поэтому секты подверглись тем же гонениям, что и церковь. Их судьбу разделили религиозные, философские и мистические организации и группы, бытовавшие среди интеллигенции: антропософские и теософские ложи, оккультные кружки, Религиозно-философское общество и религиозные ордена любой окраски. Деятельность антирелигиозных организаций, и в первую очередь общества «Безбожник», выплеснулась в клубы, лектории, на эстрады, трибуны, кафедры, в печать, театр и кино, даже прямо на городские и сельские площади. В дни церковных праздников храмы окружались стаями молодёжи, изощрявшейся в разных видах кощунства, и шутовскими процессиями, в которых комсомольцы

изображали пузатых попов со съехавшими набекрень митрами и с бутылками в руках; эти скоморохи двигались по улицам параллельно крестному ходу верующих. Недостаток остроумия, эстетическое бесплодие и отпечаток непроходимой пошлости, лежавший на этих затеях, мало способствовали их удаче. Скудоумие приходилось восполнять трёхпалым свистом, взрывами кое-как срепетированного хохота, хлопущками, ракетами, а зачастую и прямым хулиганством.

Скоро стало очевидным, что и эти приёмы бессильны отвлечь от религии сколько-нибудь заметное число любителей духовного опиума. Даже напротив: храмы бывали так полны, как никогда этого не случилось до революции. И когда в 1925 году скончался находившийся под домашним арестом патриарх Тихон, его похороны вылились в такую миллионную демонстрацию, что перед ней померкли все внушённые правительством и партией массовые изъятия горя, которые годом раньше поразили москвичей в дни похорон или, вернее, мумификации первого вождя. После этого тактика была изменена и церковь расколота изнутри. Преемник покойного патриарха выступил с широковещательным заявлением, что отныне радости безбожного государства — и наши радости, его горести — и наши горести. Превышая свои полномочия, высший иерарх русской церкви включил текст великой ектиньи моление о «властях предержащих» и о пребывании их «во всяким благочестии и чистоте». Весьма вероятно, что субъективные мотивы, руководившие при этом высшей иерархией, сводились к мысли, что лучше хоть таким путём сберечь церковь от полного физического разгрома, хоть этими способами обеспечить для народа выполнение основных её функций: таинства крещения, исповеди, евхаристии. Но так или иначе, этим было положено начало тому политическому курсу со стороны церкви, который вскоре превратил её в безропотную рабу антирелигиозного правительства. Естественно, что такой поворот вызвал среди духовенства и мирян резкое разделение. Большинство священников или отказались напрямик, или уклонились от поминовения властей при богослужении. На саботажников обрушились кары — отнюдь, впрочем, не церковные. За тысячу лет своего существования русская церковь насчитывала среди своих святых едва ли десятков мучеников за веру. Теперь эта недостача была пополнена в изобилии. Тысячи священников и верующих мирян погибли в тюрьмах и трудлагерях. Храмы подверглись закрытию и разрушению либо превращению в склады, мастерские или общежития. Истребительный самум обращал в груды щебня и те храмы и монастыри, которые пользовались мировой известностью как уникальные памятники искусства.

Колокола, веками катившие над городами и полями России волны благовеста, отзвонили в последний раз и, сброшенные с разломанных колоколен, были отправлены как металлический «утиль» на переплавку. К середине 30-х годов в Москве из 600 действующих церквей уцелело едва ли 40, а в Киеве, например, остался открытым один-единственный собор. Судьбу православной церкви разделили и все другие вероисповедания.

К тому времени уже давно было сконструировано, свинчено и поваплено<sup>[41]</sup> то, что должно было заменить собою церковь как водительство душ, как учительницу жизни, как массовую организацию. Эта квазицерковь приняла от своей предшественницы и её исконную догматическую неколебимость, и свойственное ей сочетание централизованности с демократизмом, и её систему сурового внутреннего подчинения, и её претензии на роль единственного индикатора истины. Постарались имитировать даже то душевное тепло, которое свойственно церкви. Идею и структурное единство партии охранялось такими же беспощадными мерами, какими некогда, в века своего становления, христианская церковь оберегала своё единство, вступая в жестокую борьбу с любой ересью. А исключение провинившегося члена из лона квазицеркви стало таким же страшным наказанием и воспринималось несчастным столь же трагически, как в средние века воспринималось отлучение от церкви.

Мало-помалу квазицерковь выработала и квазикульт. Вместо жалких, кустарных антирелигиозных маскарадов в дни церковных праздников упор был взят теперь на устройство грандиозных массовых шествий, парадов и помпезных действий в дни праздников революционных, на хоровое исполнение партийных квазипсалмов и квазиакафистов и на поклонение квазимощам, покоившимся в квазихраме у стен Кремля.

Средствами экономического и внеэкономического принуждения на службу квазицеркви было привлечено всё — от художественной литературы до цирка, от сцен ведущих театров до ресторанных эстрад. Стержнем же этой системы было сделано так называемое просвещение, то есть лестница образовательно-воспитательных и научных учреждений от детских садов до Академии наук СССР.

Человек какого образа воспитывался этой всеобъемлющей педагогической системой? Каков был её идеал?

Она развивала в испытуемом смелость, ибо смелость эта была нужна государству для борьбы с врагами и для грядущих боёв за всемирную власть. Воспитывалась воля, но такая воля, которая покорна государству и квазицеркви и тверда в осуществлении их — и только их — директив. Воспитывалось чувство товарищества, но товарищества по отношению

только к тем, кто неукоснительно и твёрдо отстаивал дело именно этого государства и этой квазицеркви. Воспитывались правдивость и честность, но честность особого рода: такая честность, когда человек, не колеблясь, предаст товарища, друга, отца, выдаст любую доверенную ему тайну, если они хотя бы в деталях противоречат интересам государства и указаниям квазицеркви. Воспитывалось творческое отношение к труду — всё ради эффективности трудовых процессов в интересах той же квазицеркви и того же государства. Поощрялась жажда знания, но направлялась она по строго определённым руслам: такому руслу, которое обеспечивало технический прогресс и формирование определённой идеологии. Всё это окрашивалось тщательно культивируемой, выращиваемой, питаемой, поливаемой, подогреваемой ненавистью к врагу, причём врагом считался каждый мыслящий иначе, чем квазицерковь. В итоге получалась развитая, энергичная, жизнерадостная, целеустремлённая, волевая личность, по-своему честная, по-своему идейная, жестокая до беспощадности, духовно узкая, религиозно-невежественная, зачастую принимающая подлость за подвиг, а бесчеловечность — за мужество и героизм. Создавался законченный тип самоуверенного фанатика, воображающего, что его государство — лучшее из всех государств в мире, его народ — талантливее всех народов, его квазицерковь — ковчег абсолютной истины, его идеология — безусловно правильная, его вождь — непогрешим не только ex cathedra, но и во все минуты своей жизни, всё же остальное — ветошь, исторический мусор, только мешающий жить и осуждённый на безжалостное уничтожение.

Но какими бы прочными ни были позиции, занятые Доктриной в битве за человеческие души, внутри этих душ продолжала протекать почти невидимая постороннему глазу, часто невнятная рассудку самих людей борьба провиденциального начала с теми, кто пытался его искоренить. В повседневности, в быту, в семьях, в дружбе, в любви, в тайных движениях человеческого сердца, в смутной тоске, в неутолимых сомнениях, самопроизвольно возникающих из недр совести, в общении с природой, в струях красоты, низливавшихся в душу от великих творений прежних времён, сказывалось непобедимое сопротивление духа.

Таких стадий достигла борьба с духовностью в тридцатых годах нашего века, когда над шестой частью земного шара обрисовалась с окончательной резкостью исполинская фигура страшного человеческого существа, ещё издавна предвиденная и предсказанная великими пророками России.

## Глава 3

### Тёмный пастырь

Настанет год, России чёрный год,  
Когда царей корона упадёт;  
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пищей многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жён  
Низвергнутый не защитит закон;  
...  
И станет глад сей бедный край терзать...

Так начинается поразительное стихотворение, написанное шестнадцатилетним юношей Лермонтовым в 1830 году. Озаглавлено оно чётко: «Предсказание».

...И станет глад сей бедный край терзать;  
...  
И зарево окрасит волны рек:  
В тот день явится мощный человек,  
И ты его узнаешь — и поймёшь,  
Зачем в руке его булатный нож.  
И горе для тебя! Твой плач, твой стон  
Ему тогда покажется смешон,  
И будет всё ужасно, мрачно в нём,  
Как чёрный плащ с клонящимся пером.  
В другой редакции последняя строка читается так:  
Как чёрный плащ с возвышенным челом.

И в обоих вариантах последняя строка остаётся единственной, свидетельствующей о том, что поэту не всё было видно с одинаковой ясностью сквозь мглу грядущей сотни лет. «Клонящееся перо» — дань юношескому романтизму, перенос реквизита эпох прошлого на эпоху будущего. «Чёрный плащ» — выражение при помощи поэтического образа той непроницаемой тьмы, которая будет окутывать эту страшную фигуру,

видимую из-за дыма и туч целого столетия. Что же касается выражения «возвышенное чело», то здесь или характерная черта лермонтовского Демона, перенесённая на человеческое существо почти сверхъестественной мощности, глубоко связанное с демоническим началом, или, быть может, указание на то, что в этом пророческом видении перед духовным взором поэта слились в одном образе две исторические фигуры следующего столетия, которые, будучи видимы ему во временной перспективе, как бы находили одна на другую, и Лермонтову не удалось различить, что высокое чело будет отличать не того окутанного мраком гиганта, а его предшественника.

— Всё ли спокойно в народе?  
— Нет. Император убит.  
Кто-то о новой свободе  
На площадях говорит.

Это — стихотворение Александра Блока, написанное двумя годами раньше революции 1905 года.

— Все ли готовы подняться?  
— Нет. Каменеют и ждут.  
Кто-то велел дожидаться:  
Бродят и песни поют.  
— Кто же поставлен у власти?  
Власти не хочет народ.  
Дремлют гражданские страсти:  
Слышно, что кто-то идёт.

Сжатые, очень точные формулировки, передающие общественную атмосферу накануне первой революции. Но дальше начинается нечто неожиданное:

— Кто ж он, народный смиритель?  
— Тёмен, и зол, и свиреп:  
Инок у входа в обитель  
Видел его — и ослеп.  
Он к неизведанным безднам

Гонит людей, как стада...  
Посохом гонит железным...  
— Боже! Бежим от Суда!

Но бежать было поздно. Появление этого существа было predetermined слишком давно и подготовлено слишком могущественными силами инфракосмоса. В русской литературе прошлого века имеется и ещё одно предсказание о нём, ещё более поражающее. В особенности если учесть, что оно принадлежит перу автора, от метаисторических представлений и чувств далёкого. Сделано оно не в стихах, а в прозе, и содержание его настолько глубоко, что мне придётся в этом месте нарушить правило, принятое в работе над настоящей книгой: не злоупотреблять цитатами. Я вынужден дать целую цепь цитат, жалея только о том, что границы книги не позволяют включить в неё всего, что относится до предварения этого существа в одном из весьма известных произведений русской классики. Начну с сокращённой передачи описания воображаемого портрета этого существа.

«Это мужчина среднего роста с каким-то деревянным лицом... как смоль чёрные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамляют узкий... лоб. Глаза... осенённые несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; губы тонкие, бледные, опущённые подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Одет в военного покроя сюртук, застёгнутый на всё пуговицы».

Читаешь — и вздрагиваешь. Что это? Когда и о ком написано? — Написано в шестидесятых годах прошлого века. Но почему же такое невероятное совпадение с обликом, слишком уж памятным не людям шестидесятых годов, а именно нашему поколению? — Читаем дальше.

«На лице не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что всё вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены?.. Может быть, это вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы всё люди имели грудь выпяченную вперёд на манер колеса? Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведён в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает ещё более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий

панический страх».

«Перед глазами зрителя восстаёт чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение... когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется».

«Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелираторов. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в неё видимый и невидимый мир с таким непременным расчётом, чтоб нельзя было повернуться ни взад, ни вперёд, ни направо, ни налево».<sup>[42]</sup> «Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздой и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбуждённое, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные». А Угрюм-Бурчеев был «прохвост всем своим существом, всеми своими помыслами... Виртуозность прямолинейности засела, точно ивовый кол, в его скорбной голове, пустив там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застёгнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Ещё задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематизированный бред, в котором до последней мелочи были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии».

«На другой же день по приезде он обошёл весь город... Шёл он долго, всё простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его представилась река, он почувствовал, что с ним совершилось нечто необыкновенное. Он позабыл... он ничего подобного не предвидел... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска.

— Кто тут? — спросил он в ужасе.

Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее».

«...Дома он через минуту уже решил вопрос по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае



невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его. Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твёрдой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир».

«Город приник; в воздухе чувствовалась спёртость и духота. Он ещё не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а всё уже понимали, что пришёл конец».

Конец начался, как известно всем, читавшим Щедрина, с разрушения старого города до основания и со свезения всего образовавшегося мусора, включая навоз, к реке.

«И вот вожделенная минута наступила... Созвавши будочников, он привёл их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнёс:

— От сих мест — до сих!

Как ни были забыты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного...

— Гони! — скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.

Борьба с природой восприняла начало».

Борьба с природой!.. — Общепринято мнение, что в образе Угрюм-Бурчеева Щедрин воспроизвёл — разумеется, в сатирическом преломлении — образ Аракчеева. Это доказывается и некоторыми чертами внешнего сходства между щедринским героем и обликом гнусного временщика, и явной пародией на военные поселения, которую представляла собой административная и градостроительная система, мечтавшаяся Угрюм-Бурчееву. Ясно также, что в этом образе отразился в какой-то мере и реальный исторический образ другого деспота, наложившего на Россию ещё более резкий отпечаток, и к тому же более близкого к Щедрину хронологически: образ Николая I. Но... борьба с природой? Ни Аракчеев, ни Николай не сносили городов с лица земли, дабы строить на их месте новые, по их скудоумному ранжиру разграфлённые; ни тот, ни другой не сгоняли всё население на бессмысленную и слепую борьбу с природой.

Наконец горы мусора запрудили реку.

«Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание... Затем всё смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне. К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем всё прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни и там раздаются

вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, брёвна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины... сбивались в кучу в одном месте».

Известно, что замыслы Угрюм-Бурчеева потерпели крах на следующее же утро. За ночь река размывла и унесла плотину и снова двигалась в своих берегах. Тогда ошеломлённый преобразователь решил уйти от реки и построить мечтаемый город Непреклонск на новом месте, на ровной, как скатерть, низине. Там, наконец, его сморило, и он заснул с топором в руке.

«Изнурённые, обруганные и уничтоженные, глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И всё это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего? Грудь захлёстывало кровью, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришёл неведомо отколь и с неисповедимой наглостью изрёк смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...»

Угрюм-Бурчеев проснулся и возвратился к сооружению Непреклонска, но атмосфера неуловимо изменилась. «Он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как, с наступлением сумерек, какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как, с рассветом дня, те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его».

Цитаты кончились.

Удивительно в них, конечно, не то, что великий сатирик дал односторонний — не реалистический, а резко гротескный — образ, доведённый до чудовищности. На то он и сатирик. Удивительно то, что, отталкиваясь от конкретных исторических фигур прошлого, фигур гораздо меньшего масштаба, он предварил в своём творении исполинскую фигуру будущего. Конечно, он увидел и изобразил её только с одной стороны, с той самой, которая роднила её с российскими деспотами прошлого. Но долгое, острое, исполненное душевной боли и муки вглядывание мыслителя в

типичные образы отечественной истории и в её тенденции привело его к пророчеству о том, что тираническая тенденция, проявлявшаяся и в Бироне, и в Павле, и в Аракчееве, и в Николае, достигнет своей кульминации лишь в грядущем, и тогда появится на вершинах власти тот, на одну из существеннейших сторон которого Угрюм-Бурчеев похож больше, чем на любого из его предтеч.

Великие тираны российской истории Иоанн Грозный и Николай I были орудиями демона великодержавной государственности — и только. Этим исчерпывалось их метаисторическое значение, если не говорить о том, что в первый период царствования Грозного через этого царя волил демиург, а в конце — Велга. Орудием очередного Жругра был и Сталин, но всё дело в том, что этим отнюдь не исчерпывалось его метаисторическое значение.

Как ни велика была Россия при Грозном и особенно при Николае, но её победы и поражения, возрастание или ослабление её мощи могли непосредственно отражаться на судьбах лишь ограниченной географической зоны: Средней Европы, Среднего и Ближнего Востока. Воинствующая российская идеология двух первых Жругров — идея Третьего Рима и концепция «самодержавие, православие, народность» — были отмечены провинциализмом, узконациональным и конфессиональным. Это вполне соответствовало той стадии мирового технического развития и международных связей, которой достигло тогда человечество. Но связи укреплялись и расширялись, а достижения техники изменили самоё понятие географического пространства, приблизив друг к другу континенты, а воинственных соседей оперев друг в друга границами с такой плотностью, с какою упираются один в другого лбами борющиеся бараны. Передовое место в истории Россия заняла с той минуты, когда внутри неё к власти пришла — впервые в мире — интернациональная Доктрина. Россия стала первой страной, вооружённой такой идеологией, какая могла бы, в принципе, распространиться на всё страны земного шара. Даже больше того: в Доктрине был заложен такой импульс к расширению, который предполагал своим пределом именно только границы планеты. Когда мы говорим о мировых империях или мировых претензиях великих завоевателей прошлого, от Чингиз-хана до Наполеона и Британской империи, мы употребляем слово «мировой» в значении условном. Революционная Россия с её Доктриной была первой в истории носительницей мировой тенденции в совершенно безусловном смысле. Секрет же заключался в том, что вместо мечты о всемирной гегемонии какого-либо отдельного народа (мечты утопической, ибо ни один народ не достаточно многочислен для этого) теперь прокламировалась идея

всемирного содружества народов, объединённых новым социальным строем, который должен был возникнуть везде в результате революционных взрывов. Революционизирующее, освободительное влияние этой концепции для внероссийских стран, в особенности для колоний и полуколоний Востока и Юга, было колоссально. В одних из стран оно постепенно развивалось по программе, намеченной в Москве, в другие было принесено на штыках советских армий. Немало нашлось и таких стран, как Индия или Бирма, где это революционизирующее начало резко изменило свою этическую и политическую окраску. Но как бы там ни было, везде вовлекались в революционную или преобразовательную деятельность массы именно тех сверхнародов, тех стран, тех наций, а вовсе не одной только России. Россия стремилась лишь, по мере возможности, сохранить за собой роль направляющей силы (что, конечно, удавалось ей далеко не всегда, и чем дальше во времени, тем меньше).

Естественно поэтому, что за образами обоих вождей революционной России видятся не только очертания третьего русского уицраора, но явственно выступает тень существа неизмеримо более огромного, существа планетарного — того осуществителя великого демонического плана, который носит имя Урпарпа.

Но значение, роли и сама природа этих двух человекоорудий были глубоко различны.

Первый из них был человеком. Таким же человеком, как и почти все носители светлых или тёмных миссий. Конечно, над его шельтом и всеми остальными компонентами его существа велась многолетняя, если не вековая, работа, дабы превратить его в послушное орудие иноприродной воли. Но при всём том его личная монада оставалась незатронутой, она парила по-прежнему в своём многосолнечном Ирольне, и его человеческий образ, его характер неизбежно отражал в какой-то мере свет этой монады, сколько бы преград ни ставили между монадой и человеком его демонические пестуны. В характере оставались даже и такие свойства, которые казались мешающими с точки зрения его миссии, но которые не могли быть заглушены окончательно. Этот человек не сделался ни кровожаден, ни активно жесток; он упорно веровал в Доктрину и работал не во имя своё, а во имя этого идеала. Он по-своему любил народ и человечество, хотя и обобщённо-абстрактной, мечтательно-головной любовью. Он желал им блага, как сам это благо понимал, и если прибегал порой к весьма крутым мерам, умея проявлять даже неумолимость, то это диктовалось не мстительностью, не бесчеловечностью, а уверенностью в том, что такова печальная революционная необходимость. Пролитие крови

или причинение страданий само по себе не доставляло ему никакого наслаждения. Даже когда совершённый против него террористический акт вызвал его тяжёлое ранение и едва не стоил ему жизни, вождь нашёл в себе нравственную силу и достаточную политическую дальновзоркость, а может быть и гуманность, чтобы настоять на том, чтобы политическая преступница была подвергнута не казни, а тюремному заключению. К своим товарищам по партии он относился с отеческой бережностью и даже против тех из них, которые возглавляли внутри партии оппозиционные течения, он не принимал иных мер, кроме дискуссионной борьбы, партийного внушения и давления собственного авторитета. Политические деятели, много раз демонстрировавшие своё инакомыслие, как Троцкий, Зиновьев, Бухарин, оставались активными членами элиты и несли громадную нагрузку в общем партийно-государственном труде.

Множество случаев, когда его вмешательство предотвращало незаслуженно суровую кару или слишком крутое мероприятие властей на местах, доказывают, что первому вождю нередко бывали доступны общечеловеческие чувства жалости, сочувствия, справедливости. Слишком искренне впитал он в себя демократические идеалы предыдущих поколений; он был слишком интеллигентен для того, чтобы его удалось превратить в тирана. Доказывается всё это и его отношением к так называвшимся тогда нацменьшинствам: его указания на этот счёт проникнуты такой заботливостью о том, чтобы не ранить болезненно обострившееся благодаря вековым гонениям национальное самолюбие, полны такой настороженной человечностью и таким пониманием психологии угнетённых наций, что диву даешься: как могли подобные указания столь беззастенчиво и цинично попираться его преемником.

Ленин был интернационалистом не на словах, а на деле. Он во многом был осуществителем тёмной миссии, но он глубоко верил в то, что его деятельность направлена на благо человечества.

Другая природа и другое предсуществование второго вождя определили и совершенно другой его характер.

Каждая из инкарнаций этого существа была как бы очередной репетицией. В предпоследний раз он явился на исторической арене в том самом облике, который с гениальной метаисторической прозорливостью запечатлел Достоевский в своём «Великом инквизиторе». Это не был Торквемада или кто-либо другой из крупнейших руководителей этого сатанинского опыта; но и к рядовым работникам инквизиции он не принадлежал. Он появился уже на некотором спаде политической волны, и в течение его многолетней жизни ему стало ясно, что превратить

католическую церковь в послушный механизм Гагтунгра, в путь ко всемирной тирании, не удастся. Но опыт деятельности в русле инквизиции очень много дал этому существу, развив в нём жажду власти, жажду крови, садистическую жестокость и в то же время наметив способы связи между инспирацией Гагтунгра, точнее — Урпарпа, и его дневным сознанием. Эта инспирация стала восприниматься временами уже не только через подсознательную сферу, как раньше, а непосредственно подаваться в круг его бодрствующего ума. Есть специальный термин: хохха. Он обозначает сатанинское восхищение, то есть тип таких экстатических состояний, когда человек вступает в общение с высокими демоническими силами не во сне, не в трансе, а при полной сознательности. Теперь, в XVI веке, в Испании, хохха стала доступна этому существу. Оно достигло ступени осознанного сатанизма.

Промежуток между этой инкарнацией и следующей протекал сперва, конечно, на Дне, куда шельт вместе с астралом были сброшены грузом ужасной кармы; а затем в Гашшарве: извлечённый туда Урпарпом и его слугами, потенциальный антихрист подготавливался там свыше 200 лет к своему новому воплощению. Напомню, что монада, некогда похищенная для него из Ирольна самим Гагтунгром у одного из императоров Древнего Рима, продолжала томиться в плену, в пучине лилового океана, в Дигме, а как бы обезглавленный шельт императора пребывал в подобии летаргического сна в одном из застенков Гашшарвы.

Кажется, однако, что в глубине существа, о коем идёт речь, оставалась ещё, вопреки осознанному преклонению перед Гагтунгром, то ли крохотная искра, то ли некоторая тень сомнения в правильности своего выбора. Возможно, впрочем, что это был просто инстинктивный страх перед невообразимо ужасной катастрофой после грядущего апофеоза. Так или иначе, эта искра была наконец потушена в начале его нового существования на земле. В маленькой стране на границе Азии и Европы, в горной деревушке, в бедной верующей семье снова увидело солнечный свет это существо; и ещё подростком распростилось оно навсегда со всем, что прямо или косвенно связано с христианством. Казалось, Провиденциальные силы ещё раз приоткрыли ему двери спасения, предоставив возможность дальнейшего пути в лоне церкви, в сане священника. Но какие перспективы могла бы сулить эта скромная дорога существу, одержимому импульсом владычества надо всем миром? С подготовкой к духовному пути — в обоих значениях этого слова — было покончено навсегда — окончательно и бесповоротно. Возможно также, что выбор, по существу, был сделан раньше, ещё в Гашшарве, теперь же он

только нашёл соответствующее выражение в Энрофе. Объект многовековых попечений дьявола примкнул к революционному движению на Кавказе и основательно проштудировал Доктрину, отчётливо поняв, что не найти ему ни лучшей маски, ни лучшей программы для первых мероприятий после захвата власти.

Но почему, вернее, зачем это существо, предназначенное к владычеству над Россией, было рождено не в русской семье, а в недрах другого, окраинного, маленького народа? Очевидно, затем же, зачем Наполеон был рождён не французом, а корсиканцем, не наследником по крови и духу великой французской культуры и национального характера этого народа, а, напротив, узурпатором вдвойне: захватчиком не только власти, к которой он не был призван ни обществом, ни правом наследования, но ещё вдобавок власти в стране чужой, а не в своей собственной. И Корсика, и Грузия, страны суровые, горные, культурно отсталые, где человеческая жизнь стоит дёшево, а всякий конфликт перерастает в кровавое столкновение, сделали своё дело, укрепив в обоих своих порождениях глубокое презрение к ценности человеческой жизни, жгучую мстительность, неумение прощать и ту поразительную лёгкость, с какой уроженцы этих стран готовы пустить в ход оружие. Для того чтобы лучше выполнить своё предназначение во Франции и в России, оба эти существа должны были быть как бы чужеродными телами в теле обеих великих стран, не связанными никакими иррациональными, глубинными, духовными нитями с тем народом, которому предстояло стать главной ареной их деятельности и их жертвой по преимуществу. Надо было прийти «с топором в руке неведомо отколь и с неисповедимой наглостью» действовать так, как действует завоеватель на порабощённой земле.

Людовик XIV хладнокровно вёл свои войны, отождествляя государство с самим собой и посылая на смерть тысячи французов. Пётр I пожертвовал несколькими десятками тысяч крепостных крестьянских душ ради сооружения Петербурга. Ленин трудился ради мировой революции, которая стоила бы жизни, вероятно, миллиону человек. Но бросить чуть не половину мужского населения Франции в пасть непрерывных войн, имевших единственной целью расширение зоны личного властвования; пожертвовать для спасения своего никем и ничем не благословлённого престола по крайней мере десятью миллионами российских солдат, а потом посадить за проволочную изгородь одну пятую часть населения страны и при этом быть готовым на превращение в лунный ландшафт её прекраснейших городов и самых цветущих областей ради химеры распространения своего владычества на всю планету — нет, на такие

деяния не отважились бы ни Людовик, ни Пётр, ни Ленин — никто, в чьих жилах течёт та же кровь, что и проливаемая кровь народа, для кого культурные ценности нации — его ценности, её прошлое и будущее — его прошлое и будущее, а земля, по которой он ступает, — драгоценная, милая и незаменимая земля Родины.

Но «отец лжи», подготавливая своё детище из века в век, никогда не внушал ему, разумеется, всей правды — ни о конечных целях и возможностях, ни о значении отдельных этапов подготовки. Обеспечивая его инкарнацию в последний раз, великий демонический разум понимал, что для царства антихриста в Энрофе ещё не созрели условия, равно как и сам кандидат совершенно не готов для подобной роли. В его существе ещё не были припасены вместители для тех сверхчеловеческих даров, какие были бы необходимы владыке мира. Органы, которые впоследствии должны были развиваться в его материальном составе, оставались ещё в зачатке. Ещё некуда было вложить гениальность научную, гениальность государственную, гениальность художественную, гениальность тёмной религиозности. Ибо способности к погружению в состояние хохха ещё недостаточно для того, чтобы облечь материал, полученный через дьявольское духовидение, в обаятельные для человечества формы великой квазирелигии. Урпарп знал лучше всех, что предстоит ещё не спектакль, а только генеральная репетиция. Но следовало укреплять в сознании детища иллюзию о том, что это — не репетиция, а уже долгожданный спектакль и что именно в этой инкарнации он сможет достичь, если будет играть хорошо, своей всемирной цели. Такая иллюзия явилась бы сильнейшим стимулом для актёра — играть во всю силу: сильнейшим стимулом в его деятельности на посту вождя всемирного революционного потока.

Жутко вглядываться в сохранившийся портрет этого существа ещё в те дни, когда оно было ребёнком. Какой потрясающий контраст с лицом маленького Ленина! Ничего мальчишеского, ни проблеска детского!.. Удивительно странный лоб, настолько сниженный и суженный кромкой чёрных, гладко прилизанных, надвинутых «как ермолка» волос, что это производило бы впечатление дегенерации, если бы под волосами не обозначался поразительной формы череп — конический череп — не закругляющийся плавной линией назад, а вздымающийся вверх и вверх до самой маковки. Заостряясь, он наконец увенчивается тою выпуклостью, которая говорит о высокой мистической одарённости. Подбородок длинный и узкий; впоследствии он резко раздастся вширь. Нос воинственно выдаётся вперёд; в очертаниях сухих и бледных, стиснутых губ — упорство, бессердечие и странная, неинтеллигентная тупость. А глаза,



напряжённы сдвинутые, глядят так угрюмо, самоуверенно и с такой заведомой враждебностью ко всему, что перед ними находится, какой никогда не встретишь у ребёнка.

Тридцать лет повсеместно маячил перед нами портрет этого существа — уже не мальчиком, разумеется, а мужчиной. Нельзя было сделать ни шага, чтобы не встретить его справа, слева или впереди. И трудно освободиться от привычки к этому лицу, от множества ассоциаций, вызываемых у нас при его виде, и взглянуть на эти черты непредубеждённо. На большинстве портретов глаза вождя слегка сощурены, как бы полуприкрыты чуть-чуть припухшими веками. Иногда — это гримаса, долженствующая имитировать добродушно-хитрую полуусмешку, как у Ленина, иногда же это похоже на напряжённое всматривание вдаль. Лишь на известном портрете, принадлежащем кисти Бродского, глаза раскрыты так, как им надлежит быть: непроглядная тьма, свирепая и грозная, смотрит оттуда. Густые волосы, зачёсанные назад, скрывают ненормальность черепа; знаменитые усы смягчают слишком разоблачающую линию губ. Впрочем, усы и сами по себе вносят немаловажный оттенок: оттенок какой-то пошловатой примитивности, как если бы их обладатель гордился своей мужской грубостью и сам культивировал её в себе. Узкий в детстве овал лица давно заменился чётко очерченным квадратом: это объясняется развившейся с годами сокрушительной мощностью челюстей, способных, кажется, перемолоть камни. Неимоверная воля отпечаталась на этом лице и столь же безграничная самоуверенность. Ни единой черты, говорящей — не то чтобы об одухотворённости, но хотя бы о развитой интеллигентности. Только убийственную хитрость в сочетании с непонятной тупостью можно разглядеть в этих чертах, да ещё нечто, вызывающее недоумение и тревогу: череп! череп! что вмещают эти необычайные выпуклости головы, что обозначают эти уникальные пропорции?

Хитрость, воля, тупость, бесчеловечность — ведь таких свойств недостаточно, чтобы оставить в истории такой след, какой оставил он. Должны быть налицо и дарования высшего порядка. Может быть, о них свидетельствует то, что на портрете не может быть запечатлено, — голос, тембр, дикция? Но всё мы, его современники, слышали этот лишённый вибраций, выхолощенный от нюансов, медлительный и тупой голос автомата, эту дикцию восточного человека, не сумевшего овладеть до конца правильным русским языком.

Кто же это? неужели и вправду идиот? Но когда же и где, кроме города Глупова, идиот становился полновластным правителем, и притом в

огромном государстве? становился не по праву наследования, а собственными усилиями? Ведь для того, чтобы захватить власть и после этого три десятилетия единолично править исполинской державой, заставляя дрожать целые континенты, — для этого надо обладать и кое-чем другим, кроме идиотизма.

Но оставим портрет, приглядимся к биографии государственного человека.

Вопреки открытому и ясному завещанию Ленина, предостерегавшего партию от вручения слишком обширных полномочий этому любителю «острых блюд», любитель сумел в два-три года растолкать локтями всех других претендентов, обладавших большими заслугами и большими достоинствами; сумел мастерски проведёнными интригами довести всех конкурентов, которые не успели умереть сами, до казни или остракизма; не преминул раздавить, как гнёзда насекомых, одну за другой все оппозиционные группы внутри партии и вне её; нашёл способы истолочь в порошок интеллигенцию — рассадник разномыслия — и взамен создать свой собственный эквивалент этого культурного слоя; разрушил внешние покровы и формы религии, заставив её в то же время служить верой и правдой его интересам; ухитрился создать такой культурный режим, при котором даже самая отчаянная голова была бы лишена фактической возможности возвысить голос против этого режима; умудрился соорудить такой аппарат безопасности, при котором жизнь владыки сделалась абсолютно недосыгаемой ни для яда, ни для кинжала, ни для пули, ни для бомб; посадил на всякий случай за решетку несколько миллионов человек; сумел слить голоса остального населения в неумолчном гимне — ему, только ему, любимому, мудрому, родному, — о, воистину для всего этого нужно было обладать гениальностью. Гениальностью особой, специфической: тёмной гениальностью тиранствования.

Гениальность же тиранствования слагается в основном из двух сил: величайшей силы самоутверждения и величайшей жестокости.

По-видимому, в истории человечества ещё не было существа, одержимого жаждой самоутверждения с такой силой, накалом, темпераментом. Какой жалкой выглядит сорокаметровая статуя Нерона в образе Аполлона, некогда сооружённая им возле Колизея, если сопоставить её со многими тысячами статуй революционного вождя, воздвигнутых повсеместно, на любой привокзальной площади, в любом парке, в любом заводском дворе, а размерами варьировавшихся от масштабов обычного памятника до масштабов Колосса Родосского! Заставить назвать своим именем главную улицу в каждом городе и добрую треть всех колхозов

страны; принудить любое общественное собрание, каким бы вопросам оно ни было посвящено, завершаться овацией в честь вождя; вменить это прославление в обязанность всем видам искусства, литературы, музыки, науки; вынудить в XX веке половину человечества считать его корифеем всех отраслей знания; наладить механизм фальсификации исторических документов, чтобы революционные или государственные заслуги побеждённых соперников приписывались только ему; написать новое евангелие, в котором прославлять самого себя, и заставить всё население штудировать этот хлам чуть ли не наизусть; навести такого туману, что неисчислимые массы людей за рубежом уверовали в то, что им выпало величайшее счастье — жить одновременно с гениальнейшим, мудрейшим и гуманнейшим из смертных... Что рядом с этим всё поползновения деспотов прошлого: и фальсификация истории Рамзесом II, и молитвы перед своим изображением во храме, которые вынуждал Калигула у некоторых жрецов, и истошный рёв «Хайль Гитлер», десять лет громыхавший над Германией,<sup>[43]</sup> и даже горы человеческих черепов или караваны с корзинами, полными вырванных человеческих глаз, — апофеозы, до которых додумывалось приземистое воображение всяких чингиз-ханов и тимуров.

Известно, что Сталин был весьма озабочен реабилитацией некоторых страшилищ прошлого, например Ивана Грозного, Малюты Скуратова. И однако, о том же Грозном он пренебрежительно заметил под конец: «Казнит горстку бояр, а потом две недели молится и кается. Хлюпик!» Да, назвать Грозного хлюпиком имел право, пожалуй, только он.

Эти беспрецедентные формы и масштабы тиранствования говорят о сверхчеловеческой жажде самоутверждения и столь же сверхчеловеческой жестокости.

Он был кровожаден, как истый демон. Какими соображениями государственной пользы, хотя бы и искажённо понятыми, объяснишь систему периодически производившихся массовых кровопусканий? — В первый раз он это позволил себе в начале коллективизации, когда кулачество, точнее — зажиточное крестьянство, ликвидировалось, по его предначертанию, «как класс». Толпы людей лишались средств к существованию и, в условиях гибельных даже для скота, перебрасывались в необжитые районы, где и отдавали Богу свои души. «Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, брёвна, плоты, обломки изб...» Нет сомнения, что если бы коллективизацией сельского хозяйства руководил хотя бы Ленин — о подлинных гуманистах и демократах я уже

не говорю, — это мероприятие было бы проведено совершенно другими методами. Её осуществили бы с осторожной медлительностью, не принуждением, а наглядной демонстрацией выгоды и целесообразности колхозов, оберегая при этом всё материальные ценности единоличных хозяйств. От этого выиграло бы и крестьянство, и сельское хозяйство, и само государство, и вся мировая Доктрина в целом. Вместо этого на Украине и в некоторых других местах в 1933 году наступил неслыханный голод, дело дошло до людоедства, и, может быть, историки будущего сумеют установить хотя бы приблизительную цифру жертв этой группы мероприятий. Вслед за первой гекатомбой воздвигалась и вторая: жертвы разгрома религиозных конфессий. Короткая передышка, пока полчища Гагтунгра переваривали великолепную порцию гавваха, — и вот уже несётся новое блюдо на пиршественные столы в Гашшарве и Дигме: два или три миллиона жертв «ежовщины». Ещё немного — и начинает расти гекатомба жертв Отечественной войны. Второго вождя можно считать одним из её виновников лишь относительно, но ответственность за масштабы человеческих жертв несёт и он. Едва начинает в 1945 году иссякать этот источник гавваха, как человекоорудие Урпарпа уже спешит озаботиться о новом. Воевать больше нельзя — военные ресурсы истощаются, да и враг сумел забежать вперёд, изобретя атомную бомбу; значит, надо обеспечить новые потоки гавваха в условиях международного мира.

Начинаются массовые репрессии. Без разбора, без смысла, с нескончаемой фабрикацией дел на пустом месте, со зверскими пытками и с таким режимом в некоторых «спецлагерях», перед которым меркнут Освенцимы и Бухенвальды. Разумеется, сейчас мы ещё не располагаем точными цифровыми данными о жертвах этого периода. Несомненно, однако, что цифры погибших в лагерях с 1945 по 1953 год составляют несколько миллионов, а если прибавить сюда погибших раньше, а также тех, кого массовое досрочное освобождение при Хрущёве вызволило из лагерей на краю могилы, придётся забыть о прежних единицах счёта и перейти уже к операциям с десятками миллионов.

Пытаясь осмыслить происходившее, люди становились в тупик. Пробовали объяснить зверства происками и коварными замыслами тех, кто, по ошибке вождя, был поставлен руководить системой безопасности. Этому способствовал и сам вождь, время от времени устраниая и сурово наказуя своих ставленников. Вслед за казнённым Ягодой канул в пучину Ежов, за ним Абакумов, а сейчас же после смерти вождя — тот, кто руководил системой безопасности по высочайшему повелению в течение

15 лет. Всем было ясно, что подобные мероприятия не только не вызывались соображениями государственной пользы, но, напротив, находились с этими интересами в вопиющем противоречии. Это будет ясно всякому историку. А метаисторику, сверх того, ясно, что в этих океанах гавваха не были заинтересованы ни Жругр, ни игвы, ибо они питаются не гаввахом, а психическими эманациями государственного комплекса человеческих чувств. В глазах метаисторика этими деяниями Сталин разоблачил себя уже не в качестве орудия Третьего уицраора, а в качестве орудия самого Великого Мучителя, ибо только Гагтунгр и демоны Гашшарвы были заинтересованы в притоке этих неслыханных объёмов гавваха.

Таким образом, уясняются оба компонента того, что мы можем назвать в этом существе гениальной способностью к тиранствованию: жажда самоутверждения и активная жестокость, доведённая до почти экстатической напряжённости.

Но ведь Сталин и поныне пользуется репутацией великого государственного деятеля — замечательного политика и дипломата, выдающегося полководца, первоклассного организатора, даже крупного деятеля культуры. Присмотримся: каковы главнейшие государственные задачи Сталина до второй мировой войны? Думается, их можно определить так: укрепление своего абсолютного единовластия и разгром какой бы то ни было оппозиции; борьба с духовностью; коллективизация сельского хозяйства; индустриализация; подготовка военной машины к отражению возможного нападения и к собственному прыжку на Запад, Восток и Юг; создание благоприятной для этого международной ситуации; максимальное сбережение человеческих ресурсов Советского Союза для последней схватки с капиталистическим миром.

Однако для укрепления собственного единовластия и полного разгрома всякой оппозиции совершенно нет надобности быть великим государственным умом. Достаточно быть гениальным тираном. Достаточно им быть также и для борьбы с духовностью теми методами, какими вёл её Сталин. О том, насколько антигосударственными были методы коллективизации, я уже говорил; добавлю теперь, что роковое отставание страны в производстве продуктов сельского хозяйства объясняется не только несуразностями самой коллективизации, но той политикой выжимания всех соков из крестьян и тем неумелым хозяйствованием, которыми отличался весь аграрный курс Сталина с начала и до конца. Имело немалое значение и то, что упор на чрезмерную убыстрённость темпов развития тяжёлой индустрии вырвал из деревни огромные массы

людей; ещё большие массы вырвала Отечественная война, а после войны не было сделано ничего, чтобы стимулировать возвращение людей на землю и активно заинтересовать их в повышении производительности сельскохозяйственного труда. Слепая вера в воздействие чисто внешних средств повела к тому, что всё упования были возложены на механизацию сельского хозяйства. Итогом явилось обезлюдение деревни, расширение сектора пустующих земель, тысячи тракторов и комбайнов на остальном секторе и пустые животы колхозников. Естественно, что всеми правдами и неправдами люд убежал из деревень в города.

Выиграло бы государство и вся Доктрина в целом также и в том случае, если бы план индустриализации был не так однокорпусный, если бы не было оставлено без должного внимания производство средств потребления. Но так как довлела не забота о благосостоянии населения, а о том, чтобы промышленность, в случае чего, легко можно было бы перевести на военные рельсы, то населению предлагалось потерпеть как-нибудь одну пятилетку, вторую, третью, четвёртую, а может быть и ещё две-три, ради того, чтобы обеспечить страну производством средств производства. В итоге, к концу тридцатилетнего царствования, продукции лёгкой промышленности, равно как и продукции сельского хозяйства, оказывалось едва достаточно, чтобы удовлетворить кое-как население больших городов, а остальное население принуждено было перманентно терпеть недостаток в самом необходимом.

Казалось бы, всё делается для создания военной машины неслыханной мощности. Но, как ни странно, и в этой, едва ли не главенствующей отрасли государственной работы, всё получалось каким-то роковым образом не так, как хотелось. Тиранство, не терпящее подле себя ни одного выдающегося человека, привело к тому, что незадолго до второй мировой войны верхушка советской армии была разгромлена и десятки талантливых военных руководителей истреблены неизвестно зачем и почему вместе с Тухачевским. Поражает, как мало эффекта дала забота об усилении военной авиации. Ещё поразительнее то, что в обоих первых пятилетних планах не уделено было никакого внимания строительству новых путей сообщения, и к моменту германского нашествия страна оказалась располагающей только той сетью железных дорог, большинство которых было построено ещё в XIX столетии. Даже самые важные в стратегическом отношении дороги, как, например, большая часть Московско-Киевской, оставались однопутными, а в огромных азиатских владениях за двадцать лет построена только одна серьёзная железная дорога — пресловутый Турксиб. Всё это неумелое руководство, вкуче с цепью

внешнеполитических просчётов, имело своим итогом то, что в первый же год Отечественной войны советским армиям пришлось отдать врагу всё территории вплоть до Сталинграда.

Говорят о гениальном политике, замечательном дипломате. Трудно, однако, усмотреть что-либо замечательное в таком политическом курсе, который со времён революции и вплоть до 1941 года держит страну в международной изоляции; который из боязни чуждых идеологических веяний заколачивает наглухо всё окна — не только в Европу, но и куда бы то ни было; который своей поддержкой революционного движения в чужих странах и заявлениями о предстоящей борьбе с капитализмом не на жизнь, а на смерть вызывает в других странах сперва опасения, потом страх и, наконец, извлекает из небытия такую агрессивную встречную доктрину с бесчеловечной идеологией, как немецкий национал-социализм; который, не зная, какой враг опаснее — этот национализм или англо-французский колониализм, — мечется от переговоров с одним к договору о дружбе с другим и в конце концов получает от вероломного друга такой удар по голове, от которого трещит череп. Вряд ли можно считать более удачным этот политический курс в его дальнейшем развитии, когда выдающийся политик и замечательный дипломат даёт себя морочить обещаниями открыть второй фронт в 1942 году, потом в 1943 году и на протяжении трёх лет позволяет своему отечеству исходить кровью, а себе самому — проглатывать один дипломатический обман и провал за другим.

Правда, некоторые уроки из всего этого были извлечены. Бессильная ярость, бушевавшая в душе этого существа сперва под ударами немецкого соперника, а потом от сознания своей одураченности дипломатией западных держав, — ярость эта явилась сильнейшим стимулом к тому, чтобы в послевоенные годы обратить всё внимание, всю заботу, всё силы народа, всё ресурсы государства на то, чтобы догнать и перегнать в военном отношении сильнейшую державу Запада. К счастью, эта цель была достигнута уже после его смерти — к счастью потому, что, если бы он успел это сделать раньше, третья мировая война была бы к настоящей минуте уже далёким прошлым, равно как прошлым уже были бы Париж, Рим, Нью-Йорк, Лондон, Москва, Ленинград и всё прочее.

Думается, что Сталин обладал в известной мере способностями организатора. Без таких способностей нельзя координировать в своих руках водительство всеми отраслями государства, и притом государства до такой степени централизованного. В особенности заметно это было в годы войны, когда почти без отдыха и сна он руководил и военной машиной, и работой тыла, и международными сношениями, вмешиваясь во всё дела.

Другой вопрос — кому, кроме него самого, было нужно это вмешательство во всё и во вся и выигрывало ли, в конце концов, от этого дело обороны. Только истинный гений или даже сверхгений мог бы в этой сумятице, дикой спешке, при молниеносном перепрыгивании от одного вопроса к совершенно другому, избежать грубых просчётов, скороспелых решений и неправильных выводов. Тиранство, не терпящее разделения прерогатив верховной власти ни с кем, и тут возобладало над умом и волей государственного деятеля.

Что касается применения к Сталину термина «полководец», то оно основано на явном недоразумении. История не видела и никогда не увидит полководца, не смеющего за всю четырёхлетнюю войну ни разу выехать на передовую, ни разу не вдохновившего солдат примером собственного бесстрашия и мужества, а, напротив, спрятавшегося в самом недоступном углу и там, вызывая к себе настоящих военных специалистов, боевых маршалов и генералов, которые несут на себе всю тяжесть фактического командования, испрашивающего их авторитетного мнения по каждому военному вопросу, чтобы затем присвоить себе эти мнения, эти решения, эти стратегические и тактические концепции. Надо думать, что Жуков, Рокоссовский или Малиновский могли бы многое порассказать о том, как умел этот верховный главнокомандующий оказываться мудрым инициатором того, что ему и не снилось до беседы с ними.

Азарт и государственная дальнорочность — вещи плохо совместимые. Во время войны Сталин был, по-видимому, столь охвачен азартом, что послевоенное будущее мало интересовало его, и это приводило, конечно, к непоправимым промахам. Примером может служить то, что в течение четырёхлетней войны, когда под ружьё был взят каждый второй полноценный мужчина в государстве, генералиссимус, охваченный прямолинейной идеей «всё для войны», запрещал давать отпуска солдатам и офицерам. Естественным следствием этого было катастрофическое падение рождаемости. В приросте населения по годам образовалась четырёхлетняя зияющая дыра, которая должна была сказаться самым ужасным образом в период с 1959 по 1963 год, когда перед лицом нависшей третьей мировой войны в государстве не оказалось бы молодёжи призывных возрастов. Возможно, что руководитель думал, что третью войну ему удастся развязать и завершить раньше, чем поколение, рождённое в начале сороковых годов, достигнет призывного возраста.

Можно ли того, кто не только стрижёт, но и истребляет свой скот, назвать хорошим скотоводом? Можно ли такого хозяина, который заставляет выпалывать вместе с сорняками побеги овощей, не считать



разрушителем собственного хозяйства? Можно ли такого руководителя политического курса, на которого вся военная мощь соседа сваливается как снег на голову, назвать хорошим политиком и дипломатом? Можно ли того, кто без причины и часто даже без повода истребляет испытанные кадры своих же сторонников, считать разумным лидером партии, истинным вождём? Это не пастух, а волк.

Итак, носитель своеобразной тёмной гениальности, которая проявлялась во всём, что имело отношение к тиранствованию, оказался обладателем государственных способностей никак не выше среднего. Сталин был дурным хозяином, дурным дипломатом, дурным руководителем партии, дурным государственным деятелем. Полководцем он не был вообще.

Но мы знаем некоторые проявления его личности, в которых сказалось качество ещё более низкое, чем «дурной». Это относится к сфере его так называемой культурной деятельности.

«Он не был ни инженером, ни технологом». Оставаясь дилетантом во всех областях знания, кроме, может быть, политико-экономических наук, но воображая себя гением энциклопедического типа, он с «неисповедимой наглостью» Угрюм-Бурчеева взялся за руководство всей научной жизнью Советского Союза. Конечно, он не занимался лабораторными исследованиями. Но деятельность всей системы Академии наук СССР, со всеми входящими в неё институтами, равно как и работа начальной, средней и высшей школ, направлялось согласно установкам, полученным персонально от Сталина. Этого мало. Организовывались широкие общественные дискуссии по вопросам биологических, физических, даже астрономических дисциплин, задачей которых были обсуждение и разработка такого угла зрения на текущие научные проблемы, какой предуказывался и определялся именно Сталиным. Но и этого мало. В некоторых областях науки он даже осмеливался выступать как учёный-исследователь; незачем напоминать, что при этом каждое его суждение становилось нерушимой догмой для всех специалистов этой научной области. Всем ещё памятны его работы в области языкознания, где общеизвестные истины, вроде мысли о том, что язык является основным средством общения людей, перемешивались со вздорными утверждениями. Достаточно напомнить безапелляционное утверждение о том, что мышление вне слов невозможно, — утверждение, загонявшее специалистов в тупик, так как оставалось совершенно необъяснимым, как же мыслит композитор, обдумывая своё новое творение, или архитектор, уясняя себе конструкцию будущего здания, или живописец, приступая к своей картине.

Будучи в очень слабой степени одарён образным мышлением и привыкнув почти всю свою умственную деятельность проводить через слово, Сталин, по-видимому, действительно совершенно не понимал природы художественного творчества. Однако это не мешало ему видеть в себе глубокого понимающего эстетических ценностей, проникновенного указателя, куда и как должны двигаться художественная литература, архитектура, живопись, музыка, театр. Общеизвестный афоризм по поводу сказки Горького «Девушка и смерть»: «Эта штука посильнее «Фауста» Гёте», — может быть не без пользы дополнен ещё одним, который теперь уже мало кто помнит, но документально точную фиксацию которого можно найти в газетах за 1926 или 1927 год. В те ещё патриархальные времена Сталин вместе с Луначарским и Калининским посетил выставку московской организации художников АХР. В назидание потомству высокие гости оставили в книге отзывов резюме своих впечатлений. Луначарский воспользовался случаем, чтобы со свойственным ему поверхностным блеском изложить целое эстетическое кредо. Калинин был скромнее: тактично оговорившись, что далёк от вопросов искусства, он безо всяких претензий отметил то, что ему понравилось или не понравилось на выставке и сжато объяснил, как сумел, почему именно понравилось. Третий посетитель оказался лаконичнее всех. Воспроизвожу его отзыв буквально: «По моему ничего. И. Сталин».

Но прошло всего 6–7 лет, и человек, изобличивший свой художественный идиотизм, добился такого положения, что поводыя всех пегасов советского искусства и литературы оказались зажатыми в его кулаке.

Отпечаток художественной эклектики, внешнего гигантизма, безвкусицы и нуворишеского стремления к показной роскоши несмываем со всего того, чем Сталин собирался обессмертить себя как великого строителя, — будь то станции московского метро и высотные здания или волгодонские шлюзы и новые украшения Сталинграда. Отдельные частные удачи — счастливые достижения некоторых архитекторов, сумевших убедить вождя в своей художественной правоте, — тонут в абсурдном нагромождении разнотильных элементов — дорических портиков и готических шпилей, ренессансных лоджий и модернизированных колонн, в лесу белых скульптурных групп, размахивающих мраморными знамёнами и эмблемами, как бы вопиющих о своём убожестве к самому небу, и в беспримерной нелепости мозаик, где фигуры в бесцветных партийных куртках и картузах маячат на золотом иератическом фоне Византии.

Гениальный тиран. Дурной хозяин. Неудавшийся учёный.

Художественный идиот.

— Увы, — идиот. В этом Салтыков-Щедрин был прав. И не в одной только художественной области проявлялся этот злосчастный идиотизм. Идиотично было непонимание границ своих способностей и возможностей. Идиотичной была та негибкость ума, которая повинна в длинной цепи политических промахов, начиная от недооценки Гитлера в тридцатых годах и кончая разрывом с Югославией накануне пятидесятых. Идиотизмом отзывались и неумение уважать никого, кроме себя, и неумение понимать сколько-нибудь тонкие и сложные душевные движения. Несмотря на свою довольно большую эрудированность, Сталин оставался, как это ни странно, полуинтеллигентом.

Но почему же Урпарп не озаботился обогатить это существо и государственной, и научной, и художественной гениальностью? Разве это не способствовало бы всемирному торжеству Доктрины? О, ещё как способствовало бы! Если бы государственная гениальность предоохранила бы второго вождя от длинной цепи воистину роковых ошибок, то через тридцать лет его правления коммунистическая Россия достигла бы баснословного экономического расцвета и небывалой силы влияния на народы всех стран. Если бы его универсальная научная гениальность обеспечила бы такое стремительное научное и техническое развитие России, что эта страна опередила бы развитие капиталистических государств и их военных машин, то весьма вероятно, что к середине XX века на очереди стоял бы не вопрос о коммунизации Кореи или Вьетнама, а о господстве Доктрины уже надо всем земным шаром. И если бы художественная гениальность второго вождя вызвала к жизни, вместо плоской галиматии «Краткого курса» или нудной жвачки его докладов и речей, подлинные шедевры устного и письменного слова, способные «глаголом жечь сердца людей», и в самом деле — возможно, что носитель такой гениальности добился бы всемирной единоличной власти уже не в одних только мечтах.

Отсутствие у Сталина гениальности научной, государственной и художественной было следствием отчаянного сопротивления Провиденциальных сил. Тёмные дары гениальности научной и гениальности художественного слова, уже вложенные в него Урпарпом, удалось парализовать в астральном теле этого существа ещё до его рождения на Кавказе. Гениальность же государственная была вырвана у него уже после его появления в Энрофе, когда он был ребёнком. Ясно осознать происшедшее он не мог; да и Урпарп не считал нужным разъяснять ему это. Смутная же память об акте вручения ему тёмных даров

продолжала в нём жить; отсюда и разрыв между глубокой верой в свою энциклопедическую гениальность и тем фактом, что ни в одной области, кроме тиранствования, он этой гениальности проявить не мог. Сталин — это потенциальный, недопроявившийся благодаря сопротивлению светлых начал, тёмный универсальный гений.

Впрочем, демонический разум не смотрел на Доктрину как на единственное, что может и должно объединить мир. Предусматривались и другие варианты. Интернациональная революционная Доктрина была только первой серьёзной попыткой, опытом, генеральной репетицией: в её ходе должно было выясниться, каким цементом и чьими силами можно добиться этого всемирного объединения прочнее и в то же время бездуховнее. Потенциальный, недопроявившийся тёмный гений мог бы быть изъят из Энрофа в Гашшарву с тем, чтобы пройти там окончательную подготовку и воспринять свою последнюю инкарнацию в следующем столетии, когда с его пути к абсолютной власти осуществлённая Доктрина убрала бы последнее препятствие, а тёмные дары были бы всё-таки вложены, втиснуты, впечатаны в него, потому что тогда Урпарп уже хорошо знал бы, каким оружием парализует эти дары светлое начало, и сумел бы избежать своего проигрыша во второй раз.

А во время последней репетиции должно было решиться и ещё многое другое. В частности, должно было решиться, действительно ли данный кандидат в антихристы сильнее всех других? Правда, этих других было, кажется, только два, а из этих двух один не мог быть, по разным причинам, рождён в это время в Энрофе. Но оставался второй, и схватка между ними должна была выяснить окончательно и безошибочно, кому следует играть главную роль в долгожданном спектакле.

Мне неизвестно, кем был, какими путями был ведом и как подготавливался другой кандидат. Я вижу только результаты. Я вижу, что гениальной способностью к тиранствованию обладал и он: та же жажда самоутверждения, та же кровожадность, та же способность на любое злодейство. Но человекоорудие третьего уицраора Германии, метаисторический смысл которого тоже отнюдь не исчерпывается инвольтацией его этим уицраором, не сумел довести эти качества до совершенства. Некоторые чисто человеческие черты в нём окончательно не искоренились.

Сталин вполне допускал такую возможность, что он доживёт до той ступени в развитии науки, когда она сможет продлить его жизнь намного дольше естественного человеческого предела, а может быть и дать ему даже физическое бессмертие. По-видимому, с годами эта мечта лишь

укреплялась. Поэтому он планировал политику своей державы так, как будто ему никогда не придётся сойти со сцены. Он не думал о тех, кто будут его преемниками, не делал никаких распоряжений на случай своей смерти, никаких завещаний. «После меня хоть потоп», — мог бы он сказать, если бы его идею не выражал точнее другой афоризм: «Я буду всегда. Предположение, якобы что-то будет после меня, — лишено смысла». Бесчисленные скульптурные изображения собственной персоны, которые он тысячами насаждал везде, вовсе не следует понимать как стремление к увековечению своего образа в умах потомков. Может быть, сначала этот мотив и играл какую-то роль, но позднее он полностью заместился другим: это было не увековечение в умах потомков, а самопрославление для современников. Характерно, что при всём многообразии форм и приёмов в культе своей личности, он и не подумал тем не менее подготовить для себя мавзолей: он не желал допускать мысли, что ему придётся когда-нибудь быть похороненным либо мумифицированным.

Такое парение на высотах культа своей личности в разреженной атмосфере веры в своё бессмертие было его германскому сопернику не по плечу. Тот чувствовал себя величайшим завоевателем всех времён, личностью беспримерной и провиденциальной, призванной к осчастливлению немецкого народа и к достижению мирового гегемона Германии. Он глухо намекал даже на то, что после войны даст народу новую религию. Но физически бессмертным он себя не воображал никогда, время от времени возвращаясь к разработке завещания своим преемникам. И даже официально назначил Геринга ближайшим наследником всех обязанностей и прав вождя.

Я не знаю, «отколь» пришёл он в немецкий Энроф, но, во всяком случае, он не был инородным телом в теле Германии. Это не проходимец без роду и племени, а человек, выражавший собою одну — правда, самую жуткую, но характерную — сторону германской нации. Он сам ощущал себя немцем плоть от плоти и кровь от крови. Он любил свою землю и свой народ странною любовью, в которой почти зоологический демосексуализм смешивался с мечтою — во что бы то ни стало даровать этому народу блаженство всемирного владычества. А с него самого было бы достаточно привести народ к этому блаженству, устроить его в нём, а после этого отойти в некие потусторонние высоты и наслаждаться, видя оттуда ослепительные плоды своих дел и впивая фимиам благодарных поколений.

Правда, когда война, грубо опрокинув всё его расчёты, оказалась не заманчивым блицкригом, а невиданной мясорубкой, шесть лет

перемалывавшей плоть его народа (другие народы были ему глубоко безразличны), он, скрежеща зубами, с пеной у рта бросаясь на пол и грызя ковер от ярости, от досады и от горя о погибающих соотечественниках, всё же гнал и гнал их на убой вплоть до последней минуты своего существования. Но это было не то ледяное бездушие, с каким бросал в мясорубку миллионы русских его враг, а отчаянная попытка — дотянуть как-нибудь до минуты, когда фортуна обернётся к нему лицом и изобретённая наконец немцами атомная бомба превратит Москву и Лондон в ничто.

Его противопоставление себя и своего учения всякой духовности тоже не отличалось последовательностью и окончательностью. Он с благоволением поглядывал на поползновения некоторого круга, группировавшегося подле Матильды Людendorф, к установлению модернизированного культа древнегерманского язычества; вместе с тем он до конца не порывал и с христианством. Поощряя распространение в своей партии очень туманного, но всё же спиритуалистического мировоззрения («готтглеубих»), он сам за два дня до самоубийства обвенчался, как известно, по церковному обряду с Евой Браун.

Вообще, на картине его гибели есть некоторый налёт романтики. Это дрожащее от бомб убежище в подвалах Имперской канцелярии, эти поминутно получаемые известия о приближении орд врага уже к самому центру столицы, этот полусумасшедший, бледный до синевы, уже только шёпотом способный говорить человек, его дикая свадьба в последнюю минуту, его самоубийство со словами о том, что он уходит, но «из другого мира будет держать вахту здесь, в сердце Германии» — всё это, при всей фантазмагоричности, вполне человечно — не в смысле гуманности, разумеется, а в том смысле, что существо, пригодное к роли всемирного абсолютного тирана, никогда не могло бы опуститься до такой сентиментальной агонии.

Я не буду останавливаться на тех свойствах его характера и ума, которыми он уступал своему врагу и которые могут служить историку материалом для размышления. Я указываю только на те черты, которыми он, будучи сопоставлен со Сталиным, проигрывал под углом зрения метаистории в качестве кандидата в абсолютные тираны.

Проигрывала, под этим углом зрения (как, впрочем, и под всеми остальными углами) и его идеологическая концепция. Она была лишена именно той стороны, которой сильна была Доктрина: интернациональности. Мечта о владычестве 70-миллионного немецкого народа над двумя с лишним миллиардами земного шара действительно

могла бы назваться бредовой. И если бы вторая мировая война окончилась, каким-нибудь чудом, победой Германии, концепцию пришлось бы в корне пересмотреть, расширив базу «нации» по крайней мере до границ европейской «расы господ». Но и тогда эта концепция, по самой своей природе, должна была бы стать объектом ненависти и отвращения для подавляющего большинства народов нашей планеты. Задача же Урпарпа заключается как раз в обратном: в кристаллизации такого учения, которое, тая в себе ядро будущей всемирной тирании, на первых порах казалось бы привлекательным для большинства.

Интересно отметить, что если концепция национал-социализма страдала безнадёжной националистической или расовой ограниченностью, то советская Доктрина — в том виде, в каком она пребывала в течение первых двадцати лет своего господства — отличалась противоположным дефектом: всё это время она относилась с пренебрежением и даже враждебностью к национальному импульсу в психологии масс. Национальное начало терпелось только в тех случаях, когда речь шла о национальных меньшинствах или об угнетённых нациях колоний. Но это было дефектом, и Сталин это понял. Он, несколькими годами раньше, из побуждений, недалёких, очевидно, от хулиганской потребности колотить зеркала и разбивать статуи, сносивший безо всякой нужды памятники русского зодчества, превращавший чёрт знает во что храмы и монастыри, а иные гражданские сооружения уничтожавший под предлогом выпрямления улиц (то есть ради злосчастной идеи «прямолинейности»), — теперь вдруг обратился к национальному прошлому России, реабилитировал целый пантеон русских государственных деятелей прежних эпох и стимулировал воспитание в подрастающем поколении некоего синтетического — и национально-русского, и интернационально-советского — чувства «Родины». Он понял, что ввиду предстоящего столкновения с агрессивной национальной идеологией фашизма не нужно пренебрегать национальным импульсом в собственном народе. Наоборот: следует его расшевелить, разбередить, заставить и его лить воду на ту же мельницу. А вскоре после начала войны он понял ещё и другое: конфессии, которые так и не удавалось выкорчевать из массовой психологии никакой антирелигиозной политикой, следовало обратить в верных слуг, а потом и в рабынь. Несколько ничтожных подачек, вроде милостивого разрешения на восстановление патриаршего престола и обещания воздерживаться впредь от сноса храмов (благо, их осталась уже какая-нибудь десятая часть), оказалось достаточно, чтобы церковная иерархия полностью солидаризировалась и с программой, и с практикой партии и государства.

Но это произошло уже во время войны, когда лозунг «Всё для войны!» вспыхнул в его мозгу, как факел. Вспыхнул же он потому, что враг, которого он рассчитывал перехитрить, заставив его истекать кровью в борьбе с западными демократиями, чтобы потом, когда ослабнут обе коалиции, самому обрушиться на них со своей интернациональной Доктриной и со свежей 20-миллионной армией, — этот самый враг сам его перехитрил, опередил, спутал всё карты и, как гром с ясного неба, на не подготовленную к таким сюрпризам страну посыпались авиабомбы Германии и её союзников.

Наступила минута слабости. Та минута, когда у вождя, выступавшего перед микрофоном, зубы выстукивали дробь о стакан с водой. Та минута, растянувшаяся, увы, на несколько месяцев, когда в октябре 41-го года вождь с лицом, залитым слезами, вручал Жукову всю полноту командования фронтом Москвы, уже наполовину окружённой германскими армиями, и заклинал его голосом, в котором наконец-то появились некоторые вибрации, спасти от гибели всех и вся. Этой минуты, он, конечно, никогда не забыл. Его натуре стыд был знаком лишь в одном аспекте: стыд перед теми людьми, которые подглядели его слабость. Без Жукова нельзя было обойтись, куда шла война. Но когда она кончилась, был использован первый же подходящий момент, чтобы законсервировать этого свидетеля покрепче.

Возможно, впрочем, что кроме стыда за свою слабость перед людьми, вождь испытывал и другое, ещё более мучительное чувство: страх за то, что этой минутой он дискредитировал себя в глазах Урпарпа: ею он вызвал в демоническом разуме Шаданакара сомнение: а не хлюпик ли он сам, Иосиф Виссарионович? Следовало своим поведением как можно скорее доказать, что минута слабости никогда не повторится и что схватку с роковым соперником он выдержит до конца, бросив в мясорубку, если потребуется, хоть 100 миллионов, но не дрогнув ни одним мускулом. Так он и держал себя в дальнейшем.

Каково же стало отношение Провиденциальных сил России к этому существу, когда оно, волей судьбы, оказалось во главе государства, ведущего борьбу не на жизнь, а на смерть с чужеземным врагом? Это отношение определялось двумя факторами. Первым фактором следует считать непоправимо демоническую природу этого существа. Провиденциальная помощь не могла быть ему оказана ни при каких обстоятельствах. Достаточно было того, что ему всей своей напряжённой мощью помогает Жругр и что Великий Игва Друккарга пользуется его способностью к состоянию «хохха», чтобы вразумлять его и



корректировать его действия. Но вторым фактором являлось то, что концепция III империи грозила, в случае её победы, ещё более ужасающими бедствиями. Она грозила полным уничтожением Русского государства и превращением России в опустошённую зону хозяйничанья бесчеловечного и неумолимого врага. А в более широких масштабах она сулила разгром и уничтожение западных государств — носителей наиболее демократических режимов и простираение над миром от Японии и Австралии до Англии и Канады чёрного покрывала длительной, убийственной физически и духовно, эры владычества «расы господ». Такой путь ко всемирной тирании был, быть может, ещё прямее, ещё менее обещающим спасительные срывы и излучины, чем победа интернациональной Доктрины.

Поэтому демиург и Синклит России прекратили свою постоянную трансфизическую борьбу с Друккаргом в тот момент, когда на эту подземную цитадель обрушились орды чужеземных игв из шрастра Клингзора. Как отражение этого, была прекращена и борьба с теми, кто руководил Российской державою в Энрофе. Им не оказывалось помощи, но никакие их силы могли не отвлекаться более на борьбу с силами Света, а сосредоточиться всецело на войне с врагом, ещё более тёмным, чем они сами.

Наступила глубокая ночь. Силы Света обрекли себя на временное добровольное бездействие, пока не завершится схватка чудовищ. Только перипетии этой схватки были видимы всем на земле; точно духовный паралич сковал высшие способности людей и лишь напряжённейшие медитации да наивысший творческий взлёт могли поднять иногда человеческую душу над непроницаемым кровом тьмы.

В это роковое время произошло отпочкование второго жругрита. Первый отпочковался давно, вскоре после окончания гражданской войны; борьба внутри господствующей партии и яростное сопротивление воцарявшемуся Сталину некоторых крупнейших деятелей коммунистической элиты отразили это метаисторическое событие. Но первый жругрит был слаб и задушен в самом начале. Теперь же на свет появился новый; он вступил в связь с руководством армией врага, даже с Великим Игвой германского шрастра, рассчитывая, что разгром Друккарга позволит ему занять место отца, так как уицраор германский представлялся ему слишком ограниченным в своих возможностях, чтобы непосредственно властвовать в Друккарге. Второй жругрит действовал, постепенно отступая, до самого окончания войны, когда Жругр, пожравший сердце врага и сказочно возросший в мощи, уничтожил своё неразумное чадо, если можно

так выразиться, одним щелчком.

В исходе войны немалое значение имело то, что эманация государственного комплекса чувств, которой восполняют убыль своих сил Жругр и игвы, усилиями вождя и партии была доведена до таких объёмов, какие в мирное время были бы, конечно, немислимы. Этой эманации способствовали всё и всё: от пропагандистов и агитаторов в армии до священников на амвонах, от знаменитейших композиторов и писателей до микроскопически неведомых работников печати и кино, от ведущих учёных до последних, мельчайших партийных работников на заводах. Взывалось при этом к различным инстинктам: и к патриотизму, и к национализму, и к интернационализму, и к вере в Бога, и, напротив, к вере в партию, и к жажде мира, который мог прийти только через победу, и к омерзению и ужасу перед зверствами фашизма, и к любви к своей земле, семье, дому, детям.

Поэтому к концу войны Жругра распирала неслыханная сила. Множество игв и раруггов пали в борьбе, но уицраор окреп так, как никогда ещё не видели. Он жаждал расширения, он ворвался в германский шрастр, он умертвил великого игву Германии, произвёл форменный погром и едва-едва был введён в некоторые границы уицраорами Англии и Америки — Устром и Стэбингом.

Сталина в его натиске на Запад заставило остановиться одно неожиданное событие. То есть предуведомлён о нём он был, но не придавал этой опасности должного значения. В мае 1945 года, когда началась уже разработка планов нападения на недавних союзников, вождь был информирован — не из мистического, а из вполне земного источника — об испытании первой атомной бомбы в Нью-Мексико. Он почувствовал нечто вроде того, как если бы атомная бомба разорвалась у него в сознании. Вместо долгожданного перерастания второй мировой войны против фашизма в сокрушение всего капиталистического мира, вместо триумфального шествия революционных армий через Францию, Испанию, Африку неведомо куда, предстояло застыть на месте, кусая локти и высчитывая, сколько же лет потребуется теперь для того, чтобы тоже обзавестись атомным оружием, догнать и перегнать врага и, уложив капитализм в гроб молниеносным превращением в пустыню его столиц, провозгласить объединение мира под верховной властью единственного человекобога.

Была сокрушена опасность мирового распространения национал-социализма. Обрисовывались уже совершенно отчётливо новые опасности.

Одна заключалась в том, что на почве второй мировой войны с

головокружительной быстротой вырос до умопомрачительных размеров уицраор Америки. Казалось, гряда небоскрёбов отделена теперь от Европы не океаном, а лужей воды. Этот уицраор сумел объединиться со своими дальними родственниками в Западной Европе и расположиться так, что его щупальцы шарили чуть ли не у всех границ Советского Союза. Учитывая ошибки своего немецкого предшественника, он вырабатывал идеологическую концепцию, которая против интернационализма Доктрины выдвигала не что-либо провинциальное и локальное, но космополитизм — идею, столь же чреватую всемирной потенцией, как и сама Доктрина. Взор Гагтунгра всё с большим благоволением останавливался на Стэбинге, всё с большим вниманием обращал он часть своих сил на его инвольтирование.

Другая опасность заключалась в том, во что была превращена в итоге второй мировой войны — и духовно, и физически — Россия.

Единовластная тирания принимала размеры и формы, уже не похожие на реальность, явно фантастические. Хотелось сказать: этого не может быть, это нам снится, мы всё в бреде. Но так как было бесспорно, в то же время, что всё не только не спят, но бешеные темпы жизни и работы, не говоря уже о массовых арестах, никому не дают спокойно провести хотя бы одну ночь, то начинало ощущаться, как сквозь повседневную вакханалию просвечивает вакханалия какая-то нездешняя, непостижимая и уже совершенно нечеловеческая.

Возросли репрессии. Волна за волной арестовывались и получали 25-летние сроки заключения или расстрел одна категория граждан за другой. В тюрьмах и трудлагерях толпились в общем столпотворении фашисты и коммунисты, троцкисты и белоэмигранты, интеллигенты и колхозники, генералы и дезертиры, рабочие и священники, безбожники и сектанты, православные и евреи, хулиганы и монахи, бандиты и непротивленцы, проститутки и учёные, воры и философы, толстовцы и педерасты, секретари обкомов и бендеровцы, инженеры и партизаны. Расплатились за свои проступки, действительные или мнимые, все, остававшиеся на территории, в своё время оккупированной немцами, и все, принимавшие прямое или косвенное участие в украинском и прибалтийском движении за независимость, — все, заподозренные в сочувствии контрпартизанам или в неумеренных симпатиях к государству Израиль. Те, кто побывал в немецком плену и, поддавшись тоске по родине и близким, рискнул вернуться домой, и те, кто находился в частях Советской Армии, оккупировавших Центральную Европу, а возвратившись в Россию, поделился некоторыми наблюдениями и выводами. Те, кто рассказал какой-нибудь анекдот, и те, кто писал на имя вождя послания в детской надежде

раскрыть ему глаза на совершающиеся беззакония. Отправились в Воркуту, Караганду, на Колыму или в Потьму всё те, кто имел когда-нибудь несчастье побеседовать с иностранцем; кто выразил сомнение в целесообразности какого бы то ни было государственного мероприятия, партийной установки, правительственного указа. Люди, когда-либо в раздражении пожелавшие при ком-нибудь из близких, чтобы отец народов поскорее покинул этот свет, привлекались по обвинению в замысле террористического акта против вождя; привлекались и те, в чьём присутствии было высказано роковое пожелание, и их родственники, и их знакомые, и знакомые знакомых. пытками добивались признания в том, чего никогда не было. Несколько тысяч работников ленинградской партийной организации поплатились кто смертью, кто многолетним тюремным заключением за выдуманную, никогда не имевшую места в действительности попытку отделить Ленинградскую область от советской метрополии. Ни абсурдность обвинений, ни смехотворность улик никого не смущали. Дело громоздилось на дело, фабрикация на фабрикацию. В любом уголке страны трудно было встретить семью, не потерявшую в лагерях и тюрьмах кого-нибудь из своих членов; многие семьи выкорчёвывались целиком. Всё процессуальные нормы, всякая законность отбрасывалась, как только человек оказывался подследственным по знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса, то есть политическим преступником. Вернулись к средневековым способам выколачивания признаний; опыт инквизиции припомнили и использовали, обогатив его приёмами новыми, соответствовавшими другому уровню технического развития. Широчайшая сеть штатных и нештатных осведомителей опутывала общество — от членов Политбюро до туркменских чабанов и украинских доярок. Можно ли не вспомнить повсеместную сеть шпионов и доносчиков, насаждённых Угрюм-Бурчевым в каждом доме славного города Непреклонска, и того, что Щедрин определил как всеобщий панический страх?

Страх, плотный, удушающий, застывший солнечный свет, отнимающий у жизни всякую радость и смысл, простёрся над обществом и пропитает собою каждую мысль, каждое чувство, каждое слово человека. Он усугублялся ещё и тем, что из лагерей, вопреки всему, просачивались смутные и тем более жуткие слухи о режиме, царствовавшем там, о вымирании целых лагерей от голода, о невыполнимых производственных нормах для заключённых, о садизме начальников и надзора, об умерщвлении провинившихся в чём-нибудь неслыханными способами, вроде привязывания в голом виде к дереву или столбу на пожирание

кошмарам и сибирскому гнусу.

В лагерях создавался режим, убивавший не только физически, но и духовно. Доведённые до потери человеческого облика издевательствами, непосильным трудом, слезкой друг за другом и доносами, недоеданием и недостатком медицинской помощи, люди задолго до своей смерти утрачивали волю к нравственному сопротивлению. Политических заключённых, половина которых была неповинна ни в чём, а половина другой половины виновна в проступках, за которые в любом другом государстве их присудили бы к нескольким неделям заключения или к незначительному штрафу, — этих людей вплоть до 1949 года расселяли вперемешку с бандитами, с прожжёнными убийцами и насильниками и с несовершеннолетними, которых общение со взрослыми преступниками развращало до конца. Мысль об исправлении преступников никому не приходила даже в голову, и лагеря превратились в гигантские растлевалища. Между национальными группами провоцировалась вражда, доходившая до взаимных кровавых побоищ. Воцарилась обстановка, в которой только единицы могли выдержать, не искалечившись психически и морально. Основную же массу несчастных освобождение не ожидало и за гробом: растление своего эфирного тела и груз кармы увлекают эти скопища душ в серые котловины Скривнуса, в безмолвную тьму Морода, в жуткий Агр, и всего Синклита России не хватало на то, чтобы облегчить и ускорить их подъём из угрюмых чистилищ.

Он к неизведанным безднам  
Гонит людей как стада,  
Посохом гонит железным...

Когда эта книга сможет увидеть свет, увидят его и десятки других — и личных воспоминаний, и документальных сводок, и исторических исследований, которые с исчерпывающей полнотой воссоздадут картину того массового кошмара, в который было погружено существование двадцати — если не более — миллионов. Раскроются до конца и отдельные преступления над крупными деятелями советского государства: странная история о том, зачем, как и по чьему внушению был убит Киров, как погибли Косиор, Постышев, Рудзутак, Орджоникидзе, Тухачевский, Куйбышев, Вознесенский, Жданов; каким чудом удалось уберечься от такого же конца Хрущёву, Маленкову, даже самому Молотову. Наши внуки узнают, зачем и почему были оборваны жизненные пути таких деятелей

культуры, как Всеволод Мейерхольд, Борис Пильняк, Осип Мандельштам, Николай Клюев, Сергей Клычков, Артём Весёлый, Николай Вавилов, Павел Флоренский. Но они не узнают никогда, сколько замечательных талантов, сколько писателей и поэтов, художников и артистов, мыслителей и учёных, чьи имена могли бы стать гордостью России, но остались не известными никому, а от творений их не сбереглось даже пепла, — сколько таких творцов было уничтожено сатанинской машиной, носившей, точно в насмешку, наименование органов «безопасности».

Нельзя, конечно, найти ни одного смягчающего обстоятельства при рассмотрении деятельности таких палачей народных множеств, как Ежов, Абакумов и Берия. Но ребячеством была бы попытка переложить исключительно на них ответственность за эти гекатомбы.

Достаточно ясно, чья верховная воля действовала через эти зловещие фигуры и какой инспиратор, поочерёдно ставя их к рулю дьявольской машины, думал, что сам он останется при этом в глазах народа суровым, но справедливым, как пастырь телес и душ.

Но тот, кто сеял кругом этот панический, почти метафизический страх, жил и сам, согласно железной логике деяний, в постоянном страхе. Отравивший жизнь общества отравил и собственную жизнь, лишив себя какой бы то ни было радости, кроме наслаждения тиранствованием.

Даже Гитлер и Муссолини не были лишены личной храбрости. Они появлялись на парадах и праздниках в открытых машинах, они во время войны не раз показывались на передовой, и однажды Гитлер на русском фронте, застигнутый внезапным появлением танковой колонны врага, едва избежал пленения. Сталин за всё время своего правления ни разу не проявил ни проблеска личной храбрости. Напротив, он вечно трясся за своё физическое существование, воздвигнув до самых небес вокруг себя непроницаемую стену. Вероятно, это было связано с тем, что он, в состоянии хохха прозревавший ужасную перспективу, которая неизбежно поглотила бы его в случае смерти, яснее других понимал, что смерть для него будет не просто провалом в небытие, а неотвратимым падением сквозь муки магм и Ядра на Дно Шаданакара. Естественно, что он цепляются за жизнь как мог, пока наука не додумается до способов сделать его физически бессмертным. Но с годами этот страх смерти стал перерастать в манию преследования. Это была та самая мания, которая отравила жизнь многим другим тиранам. Она измучила Тиберия и Домициана, она терзала Людовика XI и султана Алла-эд-Дина, она доводила до сумасшествия Грозного и Павла I. Притом она оставалась лишь одной стороной более общего психического расстройств, того самого, которое носит в

психиатрии название кесарского помешательства. Заключается оно в сочетании мании преследования, во-первых, с садизмом, с неутолимой жадой крови и чужих страданий, а во-вторых, с верой в своё безмерное превосходство над всеми людьми прошлого и настоящего и с утратой ясного представления о границах своего могущества. Как правило, кесарское помешательство деспота выражается внешне в усилении незаконных и бесчеловечных расправ, в принятии преувеличенных мер к собственной безопасности, в неустанных заботах о самопрославлении и в цепочке грандиозных, но зачастую ненужных для государства, даже нелепых строительных начинаниях. Калигула, например, заставлял насыпать горы на ровном месте и копать целые озёра на месте гор ради одного морского парада, а позднее замыслил построить новый Рим высоко над миром, на ледниках Альп. Всем известны также грандиозные и бессмысленные начинания Нерона, Домициана, Гелиогабала. Всё это было бесполезно для общества или предпринималось под предлогом этой пользы, в действительности же — только ради прославления владыки. Подобные постройки должны потрясать воображение сверхъестественными размерами и роскошью отделки. Такими сооружениями Сталина были безвкусно-великолепные станции московского метрополитена, неоправданно дорогие высотные здания, бездарный, хотя и грандиозный, Университет или разукрашенные со странным, неуместным роскошеством шлюзы Волгодона. На эти, как выразился впоследствии Хрущёв, «архитектурные излишества» бросались невероятные суммы — опять-таки не в интересах народа или государства, а только для прославления самого себя.

Удивительно, что после столь ясного и наглядного урока некоторые теоретики ещё и теперь продолжают нарочито преуменьшать роль личности в истории. Кажется, уже начинает забываться, как отпечаток данной личности, даже её совершенно частных привычек и склонностей, накладывался на жизнь огромного общества. Сталин, например, любил работать по ночам. Этого было достаточно, чтобы весь государственный аппарат перестроил свою работу на противоестественный ночной лад. Ни один из ответственных работников, даже ни один рядовой инженер не мог обеспечить себе ночью нормальный сон, его то и дело поднимали с постели по телефону и вызывали на производство, а десятки тысяч работников и вовсе ложились спать не ночью, а утром. Спали урывками, в два-три приёма, лишались возможности проводить вечера в кругу семьи, посетить театр или концерт, не смели, даже находясь в отпуске, уехать куда-нибудь, не оставив начальству своего адреса. Так продолжалось не месяц, не год,

но лет пятнадцать.

Отчасти от страха перед выступлением с трибуны даже перед десять раз «просеянной» аудиторией, отчасти от величайшего презрения к народу, над которым он мог себе позволить всё, что хотел, Сталин в последние годы своей жизни почти не появлялся публично. А когда в 1949 году было с такой помпой, какой не знала всемирная история, и с таким раболепием, какого она тоже не знала, отпраздновано его 70-летие, он, присутствуя на банкете и на концерте, данных в его честь с пышностью «Тысячи и одной ночи», не проронил ни единого звука. Наглость перешла всё границы. Даже слова самой простой благодарности не сорвалось с его языка. Он казался мрачным и недовольным, хотя оставалось совершенно непонятно — чем.

В самом деле: это был как раз зенит его могущества. Завершалась его последняя великая международная акция: коммунизация Китая. Что же его угнетало? Изобретение американцами водородной бомбы? Но Советский Союз и сам овладевал уже термоядерным оружием. Или проявилось просто минутное дурное настроение, какое бывает у всякого деспота? Но хотя бы ради декорума можно было в присутствии десятков иностранных наблюдателей подавить это скверное настроение в такой знаменательный день, перед лицом буквально всего мира. Очевидно, что-то более глубокое, не поддающееся усилиям воли, грызло его. Это было знание о том, что происходит вне Энрофа — знание, почерпаемое им в состоянии хохха.

Не знаю, видел ли его когда бы то ни было кто-нибудь в этом состоянии. В 30-х и 40-х годах он владел хоххой настолько, что зачастую ему удавалось вызвать её по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причём зимою чаще, чем летом: тогда мешал слишком ранний рассвет. Всё думали, что он отдыхает, спит, и уж конечно никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы захотел, так как дверь он запирает изнутри. Свет в комнате оставался затенён, но не погашен. И если бы кто-нибудь невидимый проник туда в этот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком, покойном кресле. Выражение лица, какого не видел у него никто никогда, произвело бы воистину потрясающее впечатление. Колоссально расширившиеся, чёрные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Станный матовый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших свою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, всё лицо неузнаваемо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали по их краям.



Хохха — это, собственно, не состояние, а целый тип состояний, отличающихся одно от другого тем, с каким именно слоем и с какою из тёмных иерархий вступает в общение духовидец. Но во всех случаях физические предметы окружения смутно проступают для него сквозь картины иных слоёв. Если бы каким-нибудь чудом кто-либо из людей вошёл в эту минуту в комнату, визионер его различил бы и, хотя не сразу, мог бы переключиться в обычный план.

У Сталина наиболее частыми были такие хохха, когда он общался с великим игвой Друккарга и с Жругром; иногда его удостаивают непосредственной инспирацией и сам Урпарп. Было, кроме того, ещё одно невидимое существо, специально к нему приставленное, его постоянный советчик, один из обитателей Гашшарвы, нечто вроде антидаймона.

В состоянии хохха Сталин многократно входил в Гашшарву, в Друккарг, где был виден не только великим игвам, но и некоторым другим. Издалека ему показывали Дигм. Он осторожно был проведён, как бы инкогнито, через некоторые участки Мудгабра и Юнукамна, созерцал чистилище и слои магм. Издали, извне и очень смутно он видел даже затомис России и однажды явился свидетелем, как туда спустился, приняв просветлённое тело, Иисус Христос. Но эта встреча не вызвала в тёмном духовидце ничего, кроме усиления смертельной ненависти, и именно поэтому она была допущена Урпарпом.

Хохха вливала в это существо громадную энергию, и на утро, появляясь среди своих приближённых, он поражал всех таким нечеловеческим зарядом сил, что этого одного было бы достаточно для их волевого порабощения.

Именно в состояниях хохха, следовавших одно за другим накануне его 70-летия на протяжении нескольких ночей, он уяснил себе в общих чертах очень неприятные для него события, происходившие тогда в Российской метакультуре и в смежных с ней областях. Он явился безмолвным и бессильным свидетелем одной из жесточайших потусторонних битв. Демиурги России, Китая, Махаяны, Индомалайской метакультуры и обеих метакultur Запада сражались со Жругром и с Лай-Чжоем, его новым союзником — странным детищем двух уицраоров, российского и китайского. Уицраоры не были уничтожены, но их экспансия приостановилась. Вокруг них был очерчен нерушимый круг.

Попытки уицраоров перейти, спустя некоторое время, опять в наступление, не привели в шрастрах ни к чему, а в Энрофе завершились трёхлетней войной в Корее, после которой пришлось вернуться к исходному положению.

Тогда был взят курс «ва-банк» — на быстрейшую подготовку и развязывание третьей мировой войны, ибо дальнейший ход процессов грозил привести к перемещению силы тяжести в Северо-западный шрастр и к переносу санкции Гагтунгра со Жругра на Стэбинга.

Постоянными усилиями демонических сил вокруг Сталина было соткало нечто вроде непроницаемых тенёт мрака. Никакое воздействие Провиденциальных начал до него не достигало, пока, наконец, после невероятных усилий со стороны синклитов — и не только русского — однажды во время его пребывания в хоххе эти тенёта были прорваны на короткий миг. В это миг ему были показаны — не панорамы светлых миров — это только усилило бы его ненависть — но отдалённые этапы его собственного грядущего пути, его возможное воплощение антихристом и конечная катастрофа: сбрасывание на Дно Галактики — то самое, где нет никаких времён, — страдалище, страшнее и безвыходнее которого не существует в мироздании. Эта была ночь непередаваемою ужаса. Ужас был таким, что на несколько минут всё его существо воспламенилось отчаянною молитвой — спасти его, предотвратить его дальнейшие шаги по этой дороге. Минуты прошли. Гордыня, упрямство и жажда беспредельной власти возобладали. Но эта ночь, случившаяся в 1952 году, возымела некоторое действие. Погружения в хохху после этого уже не вливали в него новых сил. Сказалась, может быть, слишком тяжкая психологическая нагрузка — это вечное хождение в маске материализма, марксизма, эта постоянная двойная жизнь. Он как бы надорвался. Силы продолжали вливаться уже только от Жругра через постоянный канал инвольтации. За короткое время вождь постарел, а постоянные физические недомогания окончательно подрывали его нервное равновесие.

Разрывал его и страх перед новыми соперниками. Первым, совершенно явным, был, конечно, Стэбинг. Однако такого человекоорудия Гагтунгра, которое могло бы стать новым кандидатом в антихристы, в верхних кругах американскою народа не намечайтесь. Но сознание, рассудок и некоторые неотчётливые сведения, получаемые от земных источников информации, вносили теперь такую путаницу, что вождю начал мерещится ещё не открытый им в виде конкретного человеческого существа, но уже родившийся где-то в Энрофе страшный соперник, более пугающий, чем Гитлер. И подобно тому, как сам он, владычествуя в России, по крови и духу был не русским, а грузином, так и потенциальный соперник мерещился ему не американцем по рождению. Ему представлялось, что этот кандидат должен выйти из недр мирового еврейства: о том, что в еврействе имеются некоторые узкие круги, носящиеся с затеей выпестовать

всемирною владыку, он знал. И он решил, что неспроста Гитлер так беспощадно расправлялся именно с еврейским народом. Только не следовало действовать так топорно. Следовало постепенно выселить по крайней мере евреев Советского Союза в особые зоны, где и можно было бы как следует их прощупать — всех до единого.

Сознание начинало давать перебои.

Тем опаснее представлялось дальнейшее пребывание у власти этого существа, утратившего последние представления о соотношении вещей и масштабов. Урпарп не мог уже вливать в него ни своей энергии, ни эманации своего разума через хохху, и только Жругр продолжал ещё пользоваться некоторым подобием пуповины, эфирным каналом инвольтации, соединявшим его с человекоорудием. Сам внушаемый великим демоническим разумом Шаданакара, уицраор готовился к решительному вторжению, вместе со всей воинственной силой Друккарга и китайского шрастра, в шрастры других метакультур. Всё активнее внушал он проводнику своей воли решимость развязать третью мировую войну. Предполагалось, что нападение должно произойти совершенно внезапно, мгновенно и что несколько десятков водородных бомб, сброшенные в течение немногих часов на жизненные центры западных государств, сразу определят исход войны в пользу Доктрины. В противном же случае санкция Урпарпа перенеслась бы на Стэбинга, а Сталин, погибнув в Энрофе, был бы возможно скорее взят в Гашшарву для окончательной подготовки к последнему воплощению. Уместить историческую и социальную дорогу ко всемирной тирании в Энрофе тогда пришлось бы не Доктрине, а той концепции, которая победила бы её и на основе космополитизма создала бы новое прельстительное универсальное учение. Демонический разум понимал, конечно, что разрушительная сила третьей мировой войны вызовет опустошение целых стран, и это само по себе было ему нежелательно, но новый огромный приток гавваха был желателен в высшей степени. Кроме того, предполагалось, что молниеносный характер войны сузит масштабы возможных опустошений.

В первых числах марта 1953 года произошёл решительный поединок между Яросветом и Жругром. Канал инвольтации, соединявший существо уицраора с его человекоорудием, был перерезан в мгновение ока. Если бы это можно было сделать раньше, настолько же раньше оборвалась бы и жизнь человекоорудия, так как никаких человеческих сил было недостаточно, чтобы выдерживать лежавшую на этой психике и на этом физическом организме нагрузку. Это совершилось около двух часов ночи. Через полчаса его сознание угасло, но агония продолжалась, как известно,

несколько дней. Урпарп подхватил оборванный конец канала инвольтации и пытался сам влить в погибавшего силу и сознание. Это не удалось — отчасти потому, что несколько человек, сновавших у смертного ложа, постарались, чтобы он не вернулся к жизни. Мотивы, руководившие этими людьми, были различны. Некоторые боялись, что, если он останется во главе государства, он развяжет войну, а война рисовалась им как великое бедствие для всех и смертельная опасность для Доктрины. Но был среди приближённых и тот, кто столько лет стоял у руля механизма безопасности; он знал, что вождь уже наметил его как очередную жертву, очередную подачку глухо ропщущему народу; на него должна была быть возложена в глазах масс вся ответственность за миллионы невинно погибших. Кончина Сталина приоткрывала для него шанс к тому, чтобы самому занять его место. Линия его деятельности при жизни вождя диктовалась тремя мотивами: запугивать Сталина, раздувая и выдумывая физические опасности, якобы грозившие ему со всех сторон, держать страну в узде страха и немоты и этим самым утолять собственную жажду крови. Человек этот был носителем тёмной миссии, заключающейся в умножении всенародных страданий, но сознание его было плоским и амистичным, как стол, а объём его личности и дарований — ничтожным. Это был Малюта Скуратов XX века.

Наконец великая минута настала: Сталин испустил дух.

От этого удара дрогнула Гашшарва. Друккарг огласился воплями ужаса и гнева. Жругр взвыл от ярости и боли. Полчища демонов взмыли из глубин в верхние слои инфракосмоса, стараясь затормозить падение умершего в пучину магм.

Горестное беснование передалось в Энроф. Похороны вождя, вернее, перенос его тела в мавзолей, превратились в идиотическое столпотворение. Морок его имени и его дел был так велик, что сотни тысяч людей восприняли его смерть как несчастье. Даже в тюремных камерах некоторые плакали о том, что же теперь будет. Толпы, никогда не достаивавшиеся чести видеть вождя при его жизни, теперь жаждали лицезреть его хотя бы в гробу. Москва являла собой картину Бедлама, увеличенного до размеров мирового города. Толпы залили весь центр, пытаясь пробиться к Дому Союзов, где был выставлен для обозрения труп тирана и откуда должно было выступить траурное шествие. Прилегающие улицы превратились в Ходынку. Люди гибли, раздавливаемые о стены домов и столбы фонарей, растаптываемые под ногами, срывающиеся с крыш многоэтажных домов, по которым они пробовали миновать клокотавшее внизу человеческое месиво. Казалось, будто он, питавшийся всю жизнь испарениями страданий

и крови, даже из-за гроба тянул к себе в инфракосмос горы жертв.

Ему, всегда отгонявшему от себя мысль о смерти, не озаботившемуся даже о сооружении для себя достойной усыпальницы, теперь приходилось улечься в саркофаг рядом с саркофагом его предшественника и, с вынутым мозгом, с телом, пропитанным консервирующими составами, стать объектом поклонения толп и толп. Впрочем, раз уж пришлось умереть, он желал бы именно такой странной формы упокоения. Эманация благоговейно склоняющихся людских множеств вливалась бы в него силы даже и в загробном пути, пока спуск ещё не увлёт его слишком глубоко. Но мумификация и соответствующая перестройка мавзолея требовали времени, а время не ждало.

Странно, что никто в своё время, после смерти Ленина, не обратил серьёзного внимания на магический, вернее, демонический характер этого никогда и нигде не применявшегося способа создания квазимощей. Не задумывались над тем, как не вяжется это создание центра заупокойного культа ни с материалистической Доктриной, ни с личной скромностью первого вождя, ни со всей психологической атмосферой революционного движения. Инициатором создания мавзолея был второй вождь. Не знаю, руководила ли им тогда бессознательная интуиция или он уже тогда понимал, что в ту минуту, когда из тела Ленина был вынут мозг, этим самым актом была порвана связь внутри эфирного тела усопшего: это тело было лишено своего жизненного центра и распалось, а эфирный мозг усопшего — так называемый рахт — был подхвачен по воле Урпарпа Великим Игвой Друккарга и его помощниками. Там, в Друккарге, рахт был помещён и бережно предохраняем от разложения в конусе главного капища, где игвы поддерживали в нём потенциальную жизнь. Если бы, пройдя свой искупительный иску в нижних слоях, первый вождь достиг бы когда-нибудь Друккарга, он принял бы свой рахт в себя как центр своего нового эфиротела. Среди античеловечества это прогремело бы как величайшее чудо, герой и чудотворец воцарился бы в Друккарге, и одно это значило бы для объединения всех шрастров в покорный Гагтунгру монолит больше, чем всё воинственные предприятия Жругров.

Но после мучений на Дне и в других слоях, достигнув через много лет Друккарга, первый вождь отказался принять свой рахт. Умудрённый страшным опытом преисподних, он понял, чем это грозит для него и для всего человечества. Тогда разъярившийся Жругр втянул его и сбросил на Дно опять. Но он уже был бессилён противостоять силам Синклита в дальнейшем влиянии на посмертье первого вождя, ибо шельт усопшего стал им открыт и доступен после совершённого им героического выбора.

Сброшенный на Дно был почти сразу поднят стремительно вверх, в Олирну, чтобы после ряда лет в мирах Просветления включиться в творение блаженной Аримой — грядущего всечеловеческого затомиса.

Первый вождь отказался принять свой рахт; второй же теперь возлагал свои надежды именно на это. И он сам, и Урпарп, и демоны из Гашшарвы всеми силами тормозили его кармический спуск, дабы в серых туннелях Шим-бига, смежных с Друккаргом, дать возможность выкормышу Гагтунгра пробиться в российский шрастр и завладеть своим рахтом. Несколько месяцев длился этот тормозящийся спуск. Полгода боролись силы тьмы против действия кармического груза, увлекавшего жуткого покойника вниз и вниз. Они вливали в него такую мощь, что голос его гремел по всем чистилищам, достигал шрастров, докатывался до самого Энрофа и там повергал в содрогание и трепет тех, кто расслышал его. Самое опасное произошло в Шим-биге в октябре 1953 года. Падавший вырвался из рук блюстителей кармы. Он был уже почти не похож на свой человеческий облик, но невообразимо страшен и силен. Его тело состояло из бурых клубов, а огромные глазницы, казавшиеся слепыми, были почти всезрящими. Несомый на крыльях ангелов мрака, он взмыл к воротам Друккарга. Жругр спешил к нему на помощь, игвы и раругги ликовали в экстатическом восторге.

Там, у стен российского шрастра, разыгралась одна из величайших битв. Сил Синклита России и её демиурга оказалось недостаточно. На помощь устремились ангелы, даймоны и многие просветлённые из других метакультур. Некоторое время врывавшегося удерживал у самого входа в Друккарг великий человекодух того, кто был на земле Авраамом Линкольном. Наконец, послышался топот Белого всадника, устремлявшегося с высот Синклита Мира сюда, в шрастр. Узурпатор был окутан волевым оружием Александра Благословенного и передан блюстителем кармы. Вопль, сотрясавший столько дней чуть не половину Шаданакара, стал глохнуть и глохнуть, пока не умолк совсем. Это спускаемый вниз внедрился в сверхтяжёлые магмы и стал погружаться дальше и дальше, на одномерное Дно.

## Глава 4

### К метаистории наших дней

В третий раз повторялось в истории России одно и то же, но на этот раз в размерах, далеко превосходивших оба предыдущих случая. Подобно Иоанну IV и Николаю I, Сталин знаменовал собой зенит мощи очередного демона великодержавия, его открытую борьбу с демиургом и Синклитом, доведение тиранической тенденции до предела и начало процесса государственной гибели.

Те, кому пришлось взять бразды правления во дни, когда его гроб ещё красовался в Доме Союзов и к нему тянулись нескончаемые ленты умилённых и потрясённых москвичей, впервые могли ознакомиться со всеми ужасами, творившимися за помпезным фасадом этой диктатуры. Раньше каждому из них было строго указано: «от сих мест — до сих!», и при покойнике только один руководитель органов безопасности знал несколько больше своих коллег. Правда, многие вопросы выносились Сталиным на обсуждение в Политбюро (позднее в Президиум ЦК) и в Совет Министров, но, во-первых, эти обсуждения были слишком формальны, а решения Сталина — безапелляционны, а во-вторых, ещё больше было вопросов, ни на какое обсуждение не выносившихся. Конечно, всеми чувствовалось, что в стране далеко не всё благополучно, но никто не мог нарисовать себе общей панорамы. Теперь завеса тайны начала спадать, и первые, перед кем она ниспала, были члены Президиума ЦК.

Конклав узнал, что не то одна восьмая, не то одна пятая часть населения страны находится в лагерях и тюрьмах. Что память о невинно погибших или прошедших сквозь многолетние мучения должна жить едва ли не в каждой семье. Разверзлось перед конклавом и многое другое. Кошмарное падение производительности сельского хозяйства; обезлюдение деревень, перманентно недоедающие города; нехватка товаров широкого потребления; устрашающий рост уголовных преступлений и, в частности, детской преступности; блат, пронизывающий всю систему и весь быт граждан; недовольство, охватившее всё слои общества, за исключением тонкой привилегированной прослойки.

«Изнурённые, обруганные и уничтоженные», члены конклава «после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что

далее дышать в этом воздухе невозможно».

А сквернословием воздух был наполнен даже в залах международных сборищ. Покойник, сидя у себя дома, не привык стесняться в выражениях; это обыкновение перенесли его дипломаты и за рубеж. Наглые требования, облечённые в хамский тон, давно не оставили ничего от традиционной дипломатической вежливости. Главное же, международная атмосфера была накалена до того, что третья мировая война могла возникнуть в любую минуту. Западный блок держав, отстававший в вопросе количественного показателя своих армий, был всё ещё впереди в области термоядерного оружия. Коммунистический Китай — последнее достижение покойника — весьма не скоро ещё мог бы заставить считаться с собой как с великой военной державой; да и можно ли было полагаться на его руководителей твёрдо и безоговорочно?

Всюду были затянуты натуго такие узлы международной политики, которые, казалось, могли быть разрублены только мечом. Существование двух антагонистических Германий; двух антагонистических Вьетнамов и даже двух Китаев; Польша, утерявшая свои восточные земли, присоединённые к Советскому Союзу, и компенсированная немецкими территориями, от которых большинство немцев не собиралось отказываться; Корея, после трёх лет братоубийственной войны возвращающаяся к исходному положению — к раздробленности на две непримиримо враждебные половины; пороховой погреб в виде группы арабских государств, революционизация которых уже началась, но уйти из которых западные державы не могли иначе, как в итоге мирового пожара... А в довершение всего, военная машина, с которой покойный вождь бросался в опасные авантюры и даже собирался ринуться в пучину третьей мировой войны, в действительности ещё не достигла той мощности, при которой исход этой войны был бы предрешён в пользу Советского Союза. К тому же, в обеих коалициях с каждым новым годом истребительная сила новых видов термоядерного оружия возрастала в какой-то дикой прогрессии. Начинало становиться достаточно ясным, что если бы даже советская сторона восторжествовала в предстоящей схватке, это было бы торжество над странами, превращёнными в радиоактивную пустыню.

Сталин оставил ужасное наследие.

Но, к сожалению, они всё ещё «не понимали, что именно произошло вокруг них». Источник ошибок и злосчастий был определён как «культ личности», но они не в состоянии были понять, что этот источник — не случаен, что Россия переживает нечто подобное уже в третий раз и что сами они в силу роковой исторической — и метаисторической — логики



вынуждены будут разыгрывать на свой лад политические роли, которые уже сыграли три с половиной века назад Фёдор Иоаннович, Годунов и Шуйский, а сто или пятьдесят лет назад — Александр II, Александр III и Николай II. Опять придётся сидеть между двух стульев, то признавая ошибки и даже преступления усопшего тирана и отмежёвываясь от них, то признавая свою политическую от него преемственность; опять придётся пойти на мелкие подачки ропщущему народу, а через год или два забить отбой, так как в приоткрытый клапан ринутся пары такого негодования, гнева и ненависти, которые выльются уже в настоящие волнения, даже восстания, и будут грозить гибелью всей системе; придётся сделать попытки умаслить волнуемое крестьянство, хотя корень зла — колхозный принцип — надо будет оставить нетронутым, ибо отказ от него вызвал бы такие потрясения, и экономические, и идеологические, кои выходят за пределы воображения; придётся признать ошибкой то, что при Сталине выделялось слишком мало средств на развитие лёгкой промышленности и на производство средств потребления, — такое признание вызовет у населения самый горячий отклик, — а через год или два вернуться к прежнему тезису, ибо отход от него вызовет отставание в гонке вооружений; придётся озаботиться смягчением международной обстановки и стараться отсрочить третью мировую войну — для этого следует пойти на небольшие, но эффектные уступки и поддерживать всеобщую борьбу за мир, но на серьёзное изменение курса идти нельзя, ибо Америка, конечно, не замедлит этим воспользоваться. Короче говоря, придётся изворачиваться, как на горячей сковороде, то обжигая один бок об угрозу мировой войны, то другой бок — об угрозу внутренних переворотов.

Мы дошли до метаистории современности. Но современность тем и отличается от прошлого, что мы никогда не располагаем в своём знании о ней той суммой фактов, какой располагаем относительно даже самых тёмных эпох прошлого. Тем более это относится к странам с таким режимом, который чурается гласности и не публикует почти никаких статистических данных (засекречено почти всё, начиная от расходов на вооружение и кончая численностью уголовных преступлений, самоубийств или жертв уличного движения). Не менее глухим покровом тайны увиты и те пружины, благодаря которым с руководящих постов исчезают одни лица и появляются другие. Граждане являются зрителями какой-то странной пантомимы: некие таинственные фигуры, прославляемые всеми средствами агитации и пропаганды, но даже о семейных обстоятельствах, привычках, вкусах и характерах которых хранится гробовое молчание, — эти фигуры,

вознесённые на недостигаемую высоту, как бы в стратосферу общества, и видимые всему земному шару, делают движения руками, головой, всем торсом для того, чтобы внезапно исчезнуть неизвестно куда и почему и быть замененными следующими, на которых в свою очередь будет взирать человечество, терзаемое непостижимым смыслом и целью этого загадочного балета.

Метаисторическое познание современности лишено возможности опираться на знание необходимого количества исторических фактов. Поэтому, хотя ему иногда удаётся теми или иными методами восполнить эти пробелы и понять те силы, которые движут человекоорудиями наших дней, но незаполненных пробелов остаётся ещё больше, и общая картина ни в коем случае не может претендовать на ту полноту, которой отличаются метаисторические картины некоторых прошлых эпох.

Люди, оказавшиеся у власти после смерти Сталина, были в качестве государственных деятелей существами двойственной, даже тройственной природы. Всё они были, так или иначе, звёздами его плеяды. Всё они выдвинулись при нём и благодаря ему, всё они были воспитаны в его политической школе. При нём они дрожали, правда, за своё существование, а в глубине души возмущались многими из его действий. Но та Доктрина, которая для него была лишь маской, а отчасти — руководством к практическому действию, для них была наивысшей истиной, их искренним убеждением, их заветным кредо. Нельзя ожидать от обыкновенного человека, деятельность которого на протяжении всей жизни протекала, например, в лоне православной церкви, чтобы он на старости лет нашёл в себе достаточно свежести ума, гибкости и широты, необходимых для переосмысления собственной деятельности и всего своего миропонимания. Подобное переосмысление было бы для него катастрофой, творческим и жизненным банкротством, и уж конечно, после этого он не был бы способен ни к какой активной общественной деятельности. Точно так же не могло подобное коренное переосмысление Доктрины потрясти умственную сферу этих людей, всю жизнь мысливших, чувствовавших и действовавших по её указаниям.

Другой стороной этой группы людей, как государственных деятелей, была жестокая травмированность произволом усопшего деспота. Созерцая картину внутреннего гниения общества — результат этой тирании — и вспоминая обстановку вечного страха и неуверенности за собственную жизнь, в которой они существовали и работали столько лет, они начинали бояться больше всего рецидивов прошлого, то есть появления среди них некоего второго Сталина, который опять скрутил бы всех в бараний рог и

повергнул бы страну в окончательную бездну. Поэтому они старались принять меры к тому, чтобы печальное прошлое не повторилось. И взамен идеи о полноте коллективного разума, нашедшего своё конкретное воплощение в разуме гениального вождя, была воскрешена и громогласно возвещена идея коллегиальности — идея всенародного разума, воплощённого в коллективе ЦК и его Президиума.

Но некоторые из этой группы лиц обладали ещё и третьей стороной — конечно, тщательно скрываемой от остальных. Это была тайная надежда на то, что постепенно из этого коллектива выдвинется опять единый полновластный вождь, и этим вождём будет именно он. Невозможно сказать, разумеется, сколько именно человек из этого конклава таили в себе подобное упование, но, во всяком случае, число их было не меньше трёх.

Не нужно подозревать, однако, в таких поползновениях всех трёх членов того первого триумvirата, который возник как наглядное доказательство победы идеи коллегиальности сразу же после смерти деспота. С уверенностью можно сказать, что о единовластии мечтал только один из них — тот самый, что пятнадцать лет стоял у кормила органов государственной безопасности. Только смерть Сталина спасла его от страшной расплаты. Но в глазах остальных он был уже разоблачён как массовый палач, как виновник гибели миллионов невинных. Он не мог надеяться на то, что его долго будут терпеть в составе триумvirата. Поэтому ему оставалось одно — отчаянная попытка переворота и узурпации верховной власти. Если бы этот план осуществился, это означало бы возвращение к сталинскому режиму и курс на мировую войну. К счастью, попытка была вовремя пресечена, виновник расстрелян, и на первых порах на него попытались свалить ответственность за массовые нарушения социалистической законности. Его объявили как бы самозванцем, не имевшим ни малейших прав на престол и гнуснейшими махинациями едва не добившимся такого положения, при котором он мог бы развивать худшие из тенденций того, чьим прямым продолжателем он себя считал: не своего физического отца, конечно, как думал в своё время Лжедмитрий, а своего отца духовного, своего учителя и пестуна. Не обошлось и без разоблачений истинных или выдуманных фактов, будто злоумышленник был связан с зарубежным врагом, кующим меч против Московского государства: на этот раз не с Польшей, конечно, великодержавное значение которой давно отошло в область преданий, а с Англией.

Падение этого самозванца было воспринято в трудовых лагерях как признак того, что сталинский режим должен измениться в корне. Режим

мест заключения, действительно, был смягчён. Но этого уже было мало: ждали и требовали пересмотра дел и освобождения. Терпение начало иссякать, и самые отчаянные или отчаявшиеся подняли в лагерях свой голос. Голоса слились воедино, и такие цитадели безопасности, как знаменитая Воркута, каторжные лагеря Норильска, Караганда, Колыма, сотряслись забастовками и восстаниями. Волнения, так или иначе, были подавлены, а с другой стороны, начали восстанавливаться законные методы судопроизводства. Но освободить сразу такое множество людей, вернуть их домой и обеспечить работой было невозможно; поэтому никто не мог понять, что его ждёт, и общая напряжённость не ослабевала.

Брешь, образовавшаяся в триумvirате, заполнилась между тем новой фигурой, ещё раньше взявшей под свой контроль весь аппарат правящей партии. Прошёл год, полтора — и из триумvirата выбыл, при довольно неясных пока обстоятельствах, ещё один член, а в 1957 году — ещё один. Вместо триумvirата во главе государства и партии оказался возвышающимся расторопный, хитрый, жизнерадостный, не лишённый добродушия человек, подвижный сангвиник, преисполненный решимости исправить ошибки деспота и способный на некоторые смелые повороты курса, но не обладавший той независимостью и свежестью ума, которые позволили бы ему пересмотреть коренные ошибки Доктрины и старой программы её конкретного осуществления.

Конечно, от самых смутных догадок о метаисторической подкладке вещей он был так же далёк, как и всё остальные. Что и откуда, в самом деле, мог бы знать этот человек о смятении, воцарившемся в Друккарге, о вражде между игвами и раруггами, перерастающей в открытую борьбу, и о том, что санкция Гагтунгра, покрывавшая российского уицраора столько лет, может быть вот-вот перенесена на его смертельного врага?

Главное заключалось в том, что 1957 год принадлежал во многих отношениях уже к совсем другой эпохе, чем, например, 1952, вообще, чем всё годы правления Сталина. В эпоху Сталина великий демонический разум ещё мог смотреть на возможную третью мировую войну как на беспримерный источник гавваха; при этом желательной представлялась победа Жругра — поэтому и санкция оставалась на нём, — но даже в случае победы американского уицраора можно было бы использовать эту победу для будущего объединения мира на почве нового бездуховного учения, возникающего из космополитической концепции. Но положение менялось, и притом в очень странном направлении. Сказочное возрастание в обеих коалициях мощи термоядерного оружия принуждало рассматривать вопрос под новым углом. Да, подобная война сулила бы, действительно,

Монбланы и Эвересты гавваха. Но она сулила и нечто иное: она готова была поставить на очередь вопрос о физическом существовании человечества и уж, во всяком случае, привела бы к сокращению его численности едва ли не на четверть, к исчезновению целых стран с лица земли, к разрушению цивилизации, может быть, на целых континентах и, следовательно, к отбрасыванию человечества (в умственном, техническом и экономическом смысле) вспять на многие века. Вряд ли могла бы идти речь о каком бы то ни было объединении человечества после того, как физически уцелевшие территории оказались бы отделёнными друг от друга зонами радиоактивных пустынь, их население — поражённым дотоле неизвестными болезнями на целые поколения вперёд, а всеобщий крах экономики принудил бы остатки народов перейти к самым примитивным способам существования. Следовательно, цель абсолютной всемирной тирании отодвинулась бы в неразличимую даль грядущих веков. Поэтому великий демонический разум отказался от идеи третьей мировой войны и поэтому же он стремился воздействовать и на Жругра, и на Стэбинга, и на великих игв Друккарга и Мудгабра с тем, чтобы парализовать их воинственный пыл, им же самим столько лет подогревавшийся.

Создавалось положение, столь парадоксальное, какого мировая метаистория ещё не знала: все иерархии Света и высшие из иерархий Тьмы стремились предотвратить планетарную военную катастрофу. Некоторые же из низших тёмных иерархий продолжали добиваться её в ослепляющем бешенстве. Высокоинтеллектуальные и менее кровожадные игвы уже начинали проникаться пониманием гибельности этого устремления к войне во что бы то ни стало. Но распухший до фантастических размеров Жрутр с его ограниченным разумом и феноменальным темпераментом и слышать не хотел об отказе от роковой схватки. Чем больше он распухал, тем больше его томил мучительный голод, и эманации народов советского государства уже было недостаточно, чтобы его утолить: надо было заставить эманировать для него новые и новые народы. Не хотели слышать об отказе от схватки и раругги; эти бешено злобные, алчные существа, какими только и могут быть аллозавры, претерпевшие миллионы лет инкарнаций в демонических слоях и давно облёкшиеся в каррох, готовы были скорее на революцию в Друккарге, на низвержение великих игв и на экспансию «ва-банк» в другие шрастры, чем на прозябание в прежних условиях. Их интеллект был слишком слаб, чтобы взять под контроль эти воинствующие инстинкты.

Положение усложнялось ещё и тем, что человек, укрепившийся во главе советской державы, не отличаются ни кровожадностью, ни

воинственностью. Согласно логике власти, он бессознательно выполнял воления Жругра, поскольку эти воления были направлены на внутреннее упорядочение государства и на умножение эманаций государственного комплекса человеческих чувств. Но его нежестокий от природы характер оставлял в существе его как бы ряд щелей, сквозь которые могла проструиваться в его подсознательную сферу также инспирация светлых начал. Если бы не эта инспирация, никакие разумные доводы не были бы в состоянии подвинуть этого человека на такой головокружительный поворот внутренней политики, самое предположение о котором вызывало озноб ужаса в его коллегах, — поворот, выразившийся в разоблачении ряда преступлений Сталина и в массовом освобождении заключённых.

Трудно охватить и оценить потрясение умов, вызванное его выступлением на XX съезде партии. Обнародование, хотя бы и частичное, и запоздалое, и с оговорками, длинной цепи фантастически жутких фактов, виновным в которых оказывался тот, кого целые поколения почитали за величайшего гуманиста, прогремело, как своего рода взрыв психоводородной бомбы, и волна, им вызванная, докатилась до отдалённых стран земного шара. А в России? В России «не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Иоанны, Петры, Бироны, Аракчевы, Николаи, и в довершение позора этот ужасный, этот бесславный прохвост! И всё это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего?..»

Предучёл или не предучёл тот, кто взял на себя неблагодарную роль главного разоблачителя, масштабы этого резонанса во всём мире, но, очевидно, он полагал, что сокрушительный удар, наносимый таким образом престижу Доктрины, может быть отчасти парализован аргументами в пользу того тезиса, что культ личности Сталина не вытекает из Доктрины, а, напротив, противоречит ей, что это — злокачественная опухоль, требующая иссечения.

Мириады заключённых, не чаявших спасения, устремились из лагерей по домам, сея повсюду рассказы о том, что творилось в этих страдалищах при тиране. Во многих учреждениях поспешно снимали со стен опостылевшие всем портреты второго вождя; в ряде городов народ сбросил с постаментов его статуи. В зарубежных компартиях воцарилось замешательство, перешедшее кое-где в настоящий раскол. В высших учебных заведениях Советского Союза брожение умов вылилось в

организацию студенческих дискуссионных клубов, в групповые протесты против преподавателей и программ, в выпуск полулегальных или нелегальных журналов, даже в настоящие студенческие забастовки. В литературных и художественных кругах заговорили о смягчении обязательных идеологических установок. Всё это показывало, что руководитель государства играет, пожалуй, с огнём. Предпочтительнее было сделать шаг назад, попытавшись неуклюже разъяснить, что покойный деспот был хоть и деспот, но, как ни странно, образцовый коммунист и что не следует сокрушать в прах всё, что им сделано. Литература, искусство, человеческая мысль, едва высунувшиеся наружу, были заботливо водворены на прежнее место. И некоторые люди, озираясь с недоумением, начали убеждаться, что есть нечто общее между курсом третьего вождя и давними эпохами Бориса Годунова и Александра II: два шага вперёд — полтора назад. А впереди, согласно печальному закону российской истории, уже маячил призрак реакции, то есть поворота вспять, как это уже случилось некогда в конце царствования Бориса и при Шуйском, а позднее — при Александре III и Николае II.

И всё-таки при сравнении нового режима с режимом Сталина у всякого становилось теплее на сердце. Третий вождь был простым человеком, любившим жизнь и искренне желавшим, чтобы хорошо жилось не только ему, но и всем. К сожалению, однако, благих желаний недостаточно для того, чтобы на земле воцарился мир, а в человецех — благоволение. Если бы на нашей планете существовали только государства социалистического лагеря, можно было бы покончить с собственной военной машиной, а освободившиеся средства употребить на улучшение жизни масс. Но, поскольку закрыть Америку не удалось даже Сталину, приходилось одной рукой форсировать испытания новых и новых средств массового уничтожения и будоражить освободительное движение в странах капитализма, а другую — выпускать белых голубков мира, чтобы любоваться их курбетами на фоне грозовых туч. Хотелось даже самому превратиться в такого голубка и с пальмовой веткой в клюве перепархивать из страны в страну — в Югославию, в Индию, в Бирму, в государства мусульманского Востока, даже в упрямую и недоверчивую Англию. Но так как голубок летал в то самое время, как по глубинным пластам передавались содрогания от разрыва новых и новых экспериментальных бомб, то всеобщий парадиз оставался лишь в мечтах, нисколько не влияя на трагическую реальность.

В том-то и было несчастье, что руководство никак не решалось пойти на уступки капитальные: ведь единственной серьёзной уступкой,

способной убедить врага в искренности русского миролюбия, был бы отказ от курса на революционизацию всех стран, прекращение поддержки соответствующих движений в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Сколь прикровенно ни совершалась эта поддержка, изобличающие факты выпирали то здесь, то там, обесценивая всё тирады о мирном сосуществовании и возбуждая в великих капиталистических державах взрывы негодования и злобы. Особенно неистовствовал Стэбинг, опутавший щупальцами своих монополий и торговых фирм чуть ли не половину Энрофа. Этого экономического порабощения и высасывания ему было мало, это была только ступень. Поскольку в политическом отношении эти страны оставались независимыми, постольку в них не могла породиться в заметных размерах и та эманация государственных чувств, которая была бы направлена к Соединённым Штатам и служила бы пищей для Стэбинга и для всего населения американского шрастра. Поэтому Стэбинг не мог удовлетвориться только экономическим проникновением в эти земли — ему требовалось и политическое их подчинение, которое сопровождалось бы включением их в государственную систему Соединённых Штатов, в их административно-полицейскую, идеологическую и воспитательную систему, порождающую бурную эманацию государственных чувств. Вместо же этого Стэбинг получал пинок за пинком. В Корее и Вьетнаме после взаимных побоев и укусов дело кончилось вничью, но в Китае его щупальцы были обрублены самым грубым образом, а впереди маячила опасность, что то же самое произойдёт и во всех арабских странах. Поэтому каждый случай, когда Доктрина дискредитировала себя, подхватывался и раздувался так, чтобы вызвать повсеместное возмущение лицемерием и лживостью всех её руководителей, будь то первый вождь, второй или третий.

Первым серьёзным ударом, который нанес третий вождь по международному престижу Доктрины, было разоблачение злодейств его предшественника. Вторым ударом по этому престижу было военное вмешательство в дела охваченной антисоветским восстанием Венгрии. Но мог ли он поступить иначе? Когда и где допускал Жругр, чтобы у него из щупалец вырвали лакомый кусок? Какой уицраор был способен мирно созерцать, как у него под боком вместо верного сателлита оказывается вооружённый до зубов враг? — Каковы бы ни были личные качества третьего вождя, сколь острое отвращение ни питал бы он к войне, но логика великодержавия часто становилась сильнее личных свойств его характера.

И всё же именно его личные качества мешали Жругру. Они не давали



ему превратить этого человека в своё беспрекословное орудие. Они делали политический курс колеблющимся, двойственным, ненадёжным. Никогда нельзя было поручиться наперёд, что вождь поступит так, как нужно уицраору. И взор демона великодержавия вонзился в другое существо, более пригодное. Оно тоже входило в состав советской элиты, но то был не штатский «хлюпик», а крупнейший из полководцев Отечественной войны, с громадными военными заслугами, с авторитетом в глазах народа и особенно армии, человек жгучего честолюбия и болезненно уязвлённого самолюбия, принуждённый и так уже слишком долго и мучительно вводить в какие-то границы свой бонапартистский нрав. Для роли вождя в условиях третьей мировой войны нельзя было бы Жругру найти лучшего агента. Этот не поколеблется швырнуть без предупреждения на потенциального врага хорошую серию водородных бомб; не опустит в отчаянии рук, когда на российские города обрушатся такие же; не постесняется насаждать Доктрину во всемирных масштабах, когда треть планетарной поверхности будет обращена в золу!

И маршал был сделан орудием третьего уицраора.

Но было, кажется, уже поздно. В Друккарге давно не осталось даже следов былого единства, и шрастр кипел, как котёл. Раругги рвались в бой, и на них Жругр мог положиться твёрдо, но игвы с каждым годом, с каждым месяцем упорнее сопротивлялись возможностям большой войны. В довершение всего в начале октября 1957 года Друккарг был потрясён небывалым событием: отпадением Великого Игвы от демонического лагеря. Это совершилось с некоторой постепенностью, но для населения Друккарга неожиданно, даже внезапно. Бывали и в прошлом редкие случаи, когда некоторые из великих игв прозревали до весьма высоких миров Света, но при этом они оставались при своём. Теперь же всё получилось иначе. Великий Игва, царствовавший свыше сорока лет, настоящий столп и опора Друккарга, стал переходить из некоторых состояний вроде хохха в состояние такого восхищения, что узрел Христа, и даже не в затомисе России, а в гораздо более высоком мире, где Спаситель не был облечён в человекоподобный облик. Это произошло с Великим Игвой у главного капища, в присутствии множества раруггов и игв. Небесная встреча переросла в такое воздействие Планетарного Логоса на духовидца, что его каррох стал стремительно замещаться телом из сиайры. Эта трансформация совершалась на глазах у всех. Многие были потрясены и уверовали. Другие пришли в крайнее замешательство, а раругги — в неистовый гнев. Через несколько дней отступник был ими растерзан, а прах его собран раруггами и, так сказать, ортодоксальными игвами и предан дематериализации: акт, до

которого ещё не достигла человеческая наука.

Тогда разразился бунт великих пленников Друккарга. Я не буду перечислять имён тех, кто отважился к нему примкнуть; во всяком случае, российский шрастр ещё никогда не видел подобных зрелищ. Разорвавшими узы гигантами с земли поднимались глыбы величиной с небоскреб и швырялись по воздуху на ненавистную цитадель. Цитадель была сильно повреждена. Этот бунт заставил объединиться игв и раруггов снова. Подоспевший на помощь Жругр втянул бунтарей в себя и изверг их, по своему обыкновению, на Дно Шаданакара. Впрочем, вмешательство Синклита Мира быстро оборвало на этот раз их пребывание там, и все герои были подняты, наконец, в Олирну. Пленниками Друккарга остались только те, кто не посмел примкнуть к восстанию.

События в Друккарге развивались, если применимо здесь это выражение, с кинематографической быстротой. Третий уицраор почувствовал внезапно, что санкция Гагтунгра с него снята. Снята потому, что в своём стремлении к мировой войне и в шрастрах, и в Энрофе он нарушил запрет верховного демонического разума. Он заметался по Друккаргу, с рёвом ярости собирая вокруг себя раруггов и требуя низвержения власти игв, прекративших поставку ему питательной красной росы. Ярость раруггов не уступала ярости их господина. Их глаза, расположенные по обеим сторонам головы, похожей то ли на жутко изуродованную лошадиную, то ли на голову мезозойских ящеров, а размерами напомилавшие небольшой человеческий дом, наполнились тёмно-багровой каррохиальной кровью. Крылья, прямые и твёрдые, как крыло самолета, хлестали по стенам и кровлям игв. Среди этого буйства было оцеплено главное капище, и игвы не могли проникнуть туда, чтобы при помощи своего магического сатанослужения связаться с Гагтунгром. Знаменитая статуя первооснователя Друккарга, изображавшая игву верхом на раругге, была сброшена и повреждена, как эмблема ненавистного подчинения бывших аллозавров высшему интеллекту игв. Между собой раругги попытались второпях восстановить хоть какую-нибудь дисциплину, чтобы всем ринуться на завоевание других шрастров. Было очевидно, что война без помощи игв Друккарга может привести только к полному погрому: скорбные головы раруггов не были ещё приспособлены к овладению утончённой военной техникой. Среди них попадались, так сказать, отдельные таланты, но не было необходимых кадров. Однако недостаточность ума восполнялась такой телесной мощью, таким неопишымым накалом чувств, такой яростью, что они верили в свой конечный успех вопреки всему. А если бы шансов на мировую победу не

осталось, они способны были бы даже на массовое самоубийство — единственно от избытка злобы.

Место убитого Великого Игвы занял новый. Он был ещё неподготовлен, недостаточно опытен, недостаточно авторитетен; и не окажись престол вакантным раньше времени, этот игва должен был бы проходить своеобразную высшую школу ещё много лет. Но лучшего не было, и масса игв, привыкшая к дисциплине, подчинилась ему за неимением другого выхода.

Наконец в бушующий Друккарг вторглись демонические полчища Гашшарвы. Исполняя волю Гагтунгра, ангелы мрака и рыфры надвинулись на уицраора со всех сторон. Жругр отчаянно сопротивлялся, раругги безуспешно пытались отразить натиск сил, нездешних не только по отношению к нам, но и с точки зрения Друккарга. Уицраор был обмотан по всем тысячам своих щупалец волевыми спиралями. Но уничтожить его, то есть сбросить в Уппум, было нельзя — он ещё мог пригодиться, а кроме того, его гибель не была бы допущена иерархиями Света, ибо без него телесная сохранность Российской метакультуры была бы уничтожена уицраорами Запада в несколько дней. И он был оставлен лежать в одном из котлованов Друккарга, тяжело дыша. И странное зрелище представляли собой ангелы мрака со своими рубиновыми крыльями, усевшиеся, точно исполинские стрекозы, на волевых спиралях, окольцевавших его тушу со всех сторон.

Человекоорудие уицраора — маршал — попытался было действовать в интересах своего инспиратора. Впоследствии история расскажет нашим детям, а может быть, и нам, каким образом удалось третьему вождю парализовать эти попытки и удалить своего соперника. Так или иначе, этому событию можно было только радоваться, как и всему, что оттягивало мировую бойню.

Под давлением высших тёмных начал раруггам пришлось устанавливать с игвами некий новый «модус вивенди». Они добились того, что игвы опять стали поставлять пленённому Жругру красную росу, но в гораздо меньших размерах. Были также приняты меры к тому, чтобы быстрее сформировать из наиболее способных раругов нечто вроде военного командования, которое со временем должно было отчасти заменить слишком миролюбивых игв.

Теперь санкция Гагтунгра переносилась на Мудгабр. Но и там происходило нечто схожее: пыл бунтующих раругов, жаждущих новой войны, игвам едва удавалось сдерживать. Великий Игва усиленно инвольтировался из Дигма, но раругги держали его как бы в полуплену;

духовно-демонические силы, им получаемые, не удавалось поэтому трансформировать для Энрофа, и его воздействие на тех людей, которые работали над усилением военной мощи Соединённых Штатов, едва-едва просачивалось в их сознание. Результатом было отставание Америки в области вооружений и такие, казалось бы, сугубо земные явления, как запоздание запуска искусственных спутников Земли или овладение межконтинентальными ракетами. Таким образом, некоторые действия раруггов, диктуемые их ограниченным умом, обращались против них же.

Урпарп же добивался такого хода вещей, при котором, доведя мощь военных коалиций до последней грани войны, он заставил бы перепуганные народы Восточного союза — и, конечно, население Друккарга — сделать отчаянное усилие для того, чтобы уступить, отступить, отказаться от военной схватки; чтобы Стэбингу удалось развить такую силу в своих необозримо-длинных щупальцах, которая позволила бы ему разворотить всё укрепления в Друккарге, не прибегая к вторжению западных игв и раруггов в этот шрастр, а в Энрофе — развалить без всякой третьей войны социалистическую коалицию. Тогда можно было бы ставить вопрос о всемирном господстве космополитической концепции и о долгожданном объединении земли под эгидой Стэбинга.

На чёрном горизонте Энрофа единственным просветом оставались народы Индии и Индомалайской культуры. Правда, индийский демиург вынужден был пойти всё на тот же роковой шаг всех демиургов, который приводит к рождению уицраора. Но этот уицраор — имя его Авардал — с самого начала инволютировался из очень высоких миров Света с такой силой, что приоткрывалась даже некоторая надежда на необычайный акт — на его будущее отпадение от демонического стана. Нечто схожее совершайте и с Укурмией — юным уицраором Западной Германии, но светлые слои, надстоящие над Индией, были древней и несравненно сильнее. Деятельность Авардала контролировалась демиургом и Соборной Душою Индии, и эта страна, медленно устранявшая тяжкое наследие иноземного порабощения и отечественного феодализма, являла собой образ такого необыкновенного государства, которое поднимается к процветанию, не нарушая, а, напротив, утверждая с неукоснительным постоянством принципы высокой этики. Остальным народам, не сумевшим обеспечить для себя такого пути и приближающимся к роковой грани полного взаимного уничтожения, оставалось только созерцать эту удивительную страну со смешанным чувством восторженного восхищения и горестной зависти.

А положение третьего вождя становилось всё отчаяннее. Если бы он

был простым человекоорудием inferнальных сил, ему была бы неведома моральная трагедия человека, взявшего на себя необъятную ответственность, а теперь видящего, что никаких человеческих сил недостаточно, чтобы предотвратить войну, если только не пожертвовать ради этого и властью своей партии, и самой Доктриной, и всем тем, что казалось ему неотделимым от блага человечества. Только орудие уицраора, ничем человеческим не смущаемое, могло бы переть напролом через войну, через лунные ландшафты на месте Европы, Азии и Америки, чтобы, уцелев физически в какой-нибудь глубиннейшей норе, вылезти потом на свет в качестве владыки остатков человечества. И временами он поддавался внушениям Жругра. Содрогания этой подземной туши, пытавшейся ослабить кольца пут, сотрясали всё окрестные слои. Ему уже удалось высвободить несколько щупалец, а так как его человекоорудие, маршал, сошёл с политической арены, вся сила его инвольтации направлялась теперь, за неимением лучшего, на третьего вождя. Едва обострилось внешнеполитическое положение, вождь начинают проявлять столь повышенную энергию и такую воинственность, какие не согласовывались ни с его возрастом, ни с характером, ни с жаждой мира. Он переносился из страны в страну почти со сверхъестественной быстротой, он слал бесчисленные ноты друзьям и врагам, он совещался со всеми союзниками, он тут же изобретал и осуществлял новые меры, чтобы укрепить положение внутри страны, он возвышал голос на весь земной шар, он предупреждал, уговаривал, заклинал, требовал, стучал кулаком, угрожал. Но он всё-таки оставался человеком, и моральная трагедия накладывала отпечаток даже на черты его лица. Правильно бы ему в другие времена, хозяйствовать бы в безобидной стране, в уютную, мирную эпоху!

Хорошо было бы и мне писать эту книгу не на грани войны, не тогда, когда ежедневно барабанят по мозгам одни угрожающие известия за другими! Хорошо быть уверенным хотя бы в том, что завтра не превратится в ничто и тот город, в котором живёшь, и сотни других городов во всех странах! Хорошо быть уверенным, что книгу, которую вынашиваешь всю жизнь, когда-нибудь прочитают чьи-то внимательные глаза и чья-то душа обогатится изложенным в ней духовным опытом. Быть уверенным, наконец, что книга войдёт, как один из кирпичей, в фундамент грядущего всечеловеческого Братства. — Но уверенности такой нет и не может быть. Уверенность только в другом остаётся незыблемой основой всех упований: в том, что если миру удастся избежать величайшей войны, Роза Мира возникнет, неизбежно и неотвратимо, сперва в одной демократической стране, потом в других и осенит собою постепенно всё земли мира; если

же, вопреки усилиям всех высших иерархий — и света, и мрака, — война развяжется волей низших начал тьмы, то Роза Мира возникнет даже на пепелище. Быть может, тогда она не раскинет надо всеми странами сень расцветающих ветвей, не превратит земной ландшафт в луга золотого века. Но она соединит в союз тысячи людей высокого духа на всех концах земли и станет ещё одним препятствием на пути того, кого уже поднял со Дна и выпестовывает в Гашшарве великий демон как осуществителя беспредельной тирании на всей земле, как князя мира.

5 июля 1958 года

## **КНИГА XII. ВОЗМОЖНОСТИ**

## Глава 1

# Воспитание человека облагороженного образа

Во всей своей определённости и во всей своей полноте Грядущее ведомо только Всеведущему. Перед нами же оно предстаёт как непрерывно ветвящаяся цепь дилемм. Каждое звено этой цепи двойственно: оно составляет пару взаимоисключающих возможностей.

Мы никогда не смеем сказать с абсолютной уверенностью: при наступлении такого-то звена человечеством будет сделан выбор именно этой, а не другой возможности. Я не могу сказать, например: Роза Мира придёт к власти тогда-то и так-то; я даже не могу сказать, придёт ли она к власти вообще. Но если, в момент наступления определённого исторического звена, определённой пары возможностей, человечеством будет сделан выбор в сторону призвания Розы Мира к власти, то с железной логичностью перед ним вскоре предстанет необходимость выбора одной из двух следующих возможностей. И если будет сделан выбор в такую-то сторону, вскоре возникнут очертания новой, третьей пары; если же в другую — следующая пара возможностей возникнет перед ним тоже, но она будет иной.

Чем зорче метаисторическое зрение, тем дальше в туманах будущего различает оно эту цепь ветвящихся дилемм.

История знает и такие явления, даже таких личностей, которые подготавливались могущественными началами — светлыми или тёмными — так тщательно, так издавека, им придавалось такое огромное значение и столько сил было на эту подготовку брошено, что они сделались фактически неизбежными. Но как именно осуществляются эти явления в истории, будут ли они завершены или прерваны, выполнены согласно мечтавшемуся идеалу или искажены, а если искажены, то в какой именно степени, — этого предрешить было невозможно, и не только людям, но и разуму высоких иерархий, потому что невозможно было предугадать, принадлежат ли к одному из мировых станов, соотношение борющихся сил в роковую минуту их решающей битвы.

Ещё на рубеже XX века, например, определилась неизбежность мировой войны. Но будет ли эта война единственной и последней или предстоит целый тур их, и кто победит в первой войне, и каков будет — в точности — состав обеих коалиций — это было ведомо только Богу. Человеческий же взор мог различать лишь неизбежность мировой войны и



наступление вместе с ней эры великих международных потрясений. Самое большее, на что этот взор был способен — это проследить, какая новая пара возможностей возникнет перед историей в случае, если победит одна сторона, и какая — если победит противная. Лишь взор величайших духовидцев мог бы тогда, и может теперь, проследить грядущую цепь дилемм до четвёртого или пятого звена.

Таким образом, некоторые узловые события больших процессов пребывают в грядущем как бы неизбежно предрешёнными точками. Но их чрезвычайно мало, да и они, осуществляясь в истории, могут принять тот или иной вид, ту или иную степень желаемой полноты. Рождение Планетарного Логоса в человечестве было предрешено на тысячелетия раньше, чем оно совершилось в Палестине. Но в каком народе и в каком веке оно произойдёт, стало определяться несравненно позднее. Вопрос же о том, закончится ли оно Его победой, полным завершением Его миссии, частичным ли её выполнением либо даже временным поражением, — этот вопрос оставался непредрешённым и непредрешимым до тех пор, пока борьба не закончилась предательством Искарюта. И никто, кроме Всеведающего, даже Сам Иисус, не мог заранее знать степени победы или поражения.

Иногда мистический разум и мистическая интуиция испытывают прозрения и несколько особого характера. Порою взору прозревающего предстают события далёкого грядущего не в качестве звена будущей цепи дилемм, а в виде более или менее изолированных картин, неопровержимо убедительных своею яркостью и оправданностью. При этом целый ряд звеньев, промежуточных между ними и нашим временем, ряд дилемм более близкого будущего остаётся неосвещённым, непонятым или понятым лишь частично. Такие картины отображают те узловые моменты Грядущего, которые издавна предрешены и неизбежны, либо же они оказываются предвидением одной из возможностей исторической действительности, наиболее вероятной, но не абсолютно неизбежной и, во всяком случае, не абсолютно точно воспринятой.

Рождение Звенты-Свентаны в одном из затомисов совершенно предрешено. Предрешено, следовательно, и рождение Розы Мира в человечестве. Но когда именно, как именно и с какой степенью полноты совершится это историческое событие, предвидеть в точности — свыше наших сил. Ближайшей к нам во времени великой дилеммой, нависшей над нами как Дамоклов меч, является выбор между третьей мировой войной и всеобщим мирным сосуществованием. Если война будет развязана, человечество будет отброшено так далеко вспять, а демонические полчища

так усилятся вследствие обилия гавваха, что со временем станет возможной даже четвёртая мировая война и физическое самоубийство человечества либо нескончаемая цепь более локальных войн и переворотов, либо, наконец, объединение мира под эгидой американского или ещё какого-нибудь из уицраоров. В промежутке же хотя Роза Мира и возникнет в человечестве, но, вероятно, лишь как подспудное течение, как едва терпимая (а позднее и вовсе нетерпимая) организация, как слабый светоч в крипте катакомб. О её приходе через всемирный референдум к этическому контролю над универсальным государством думать, вероятно, уже не придётся. Универсальное государство вступит на путь к универсальной тирании. Промежуток между нашими днями и приходом антихриста сократится во много раз и во столько же раз возрастут его физические и, главное, духовные жертвы.

Если же теперь будет сделан выбор в сторону мира — шансов на это, к сожалению, немного, — Роза Мира получит возможность проявиться во всей полноте, но — ещё только возможность. Само её возникновение окружится совершенно иною атмосферой: она появится в условиях демократического уклада многих стран, постепенно распространяясь везде и вовлекая в свои ряды лучших представителей человечества. Тогда предстанет следующая дилемма: это будет возникшая перед людьми необходимость выбора между объединением земли под этическим руководством Розы Мира либо объединение на какой-то иной основе, может быть, на основе космополитической концепции Америки, во всяком случае, на основе менее духовной, безрелигиозной, морально ущербной. Если будет выбрано первое — Роза Мира придёт к власти и перед ней откроется дорога к осуществлению всех её задач. В противном случае она сойдёт на такое же положение едва терпимой, почти никакого влияния не имеющей организации, на каком оказалась бы она после третьей мировой войны, с тою, однако, разницей, что за период от первой до второй дилеммы она успеет достигнуть широкого разветвления, создаст многочисленные кадры, выдвинет немало выдающихся деятелей, окажет своё влияние на ход общего культурного развития и разбросает семена по всему лицу земли.

Обращая взор на различные возможности будущего, я сосредоточусь только на некоторых из них, чтобы не затеряться в бесконечности. Я буду говорить о том, как представляется мне деятельность Розы Мира в том случае, если благоприятное разрешение цепи ближайших дилемм даст ей возможность поставить перед человечеством вопрос о её приходе к универсальной власти. Чтобы сузить проблему, и без того огромную, и не

отвлекаться в сторону, я с этой минуты не буду более касаться возможностей отрицательных, то есть таких, какие могут в будущем поставить перед Розою Мира непреодолимые преграды на пути к осуществлению её задач в универсальном масштабе. Будем пока говорить лишь о светлом! Сердце истерзано ужасами прошлого и настоящего. Озарим же круги нашей души размышлениями о самых прекрасных из всех возможностей Грядущего!

Уменьшение жертв тёмного стана — вот основная из её задач. Эта задача — создание в человечестве такого духовного климата, при котором просветление души переживут не сотни и тысячи, как теперь, а миллионы. Эта задача — отвращение от миллионов, даже может быть миллиардов человеческих душ, опасности их порабощения грядущим антихристом, то есть от губительного ущерба их существа и вступления их после смерти на длительную дорогу искупительных страданий.

Если ставить перед собой такую цель, из неё неизбежно вытечет некоторая программа действий. Программа эта состоит из ряда задач, разрешаемых последовательно или параллельно. Поэтому напоминаю ещё раз об основных задачах Розы Мира: воспитание человека облагороженного образа; водворение всеобщего материального достатка; помощь развитию в человечестве высших способностей и светлых творческих начал; консолидация усилий со всеми учениями светлой направленности; преобразование планеты в сад, а Всемирной федерации государств — в Братство.

Есть среди этих задач одна, к разрешению которой Роза Мира сможет приступить ещё задолго до своего прихода к универсальной власти: воспитание человека облагороженного образа. Потому что для заложения основ этой новой, наиболее одухотворённой педагогики, не будет ещё требоваться всемирного контроля над всеми школами земного шара. Новая педагогика сможет формироваться в нескольких отдельных учебных заведениях, находящихся в распоряжении Розы Мира. А такими учебными заведениями она сможет располагать, даже пребывая ещё на уровне религиозно-благотворительной организации в условиях свобод, нормальных для всякой действительно демократической страны. Опыт, накопленный в течение такого подготовительного периода, впоследствии сможет быть перенесён на всеобщую воспитательную и образовательную систему.

Когда мне случилось говорить о системе воспитания коммунистического, я отмечал уже некоторые из самых существенных её достижений, хотя эти достижения были обкорнаны и обесценены рядом

воспитательно-идеологических подмен. К ним относились воспитание воли и твёрдости, правдивости и чувства товарищества, смелости и стойкости, жизнерадостности и идейности. Конечно, и человек облагороженного образа будет смелым и волевым. Но смелость и воля направятся в нём не на борьбу какого-либо коллектива за гегемонию над остальными, а на деятельность, имеющую в виду совершенствование сперва себя, потом условий, в которых формируется другая личность, и, наконец, не насильственное, а исполненное любовью совершенствование других. Эта деятельность будет устремлена к бескровному объединению человечества, к уменьшению страданий всех живых существ, к возрастанию в человечестве общей суммы любви и счастья и к доведению Энрофа нашей планеты до возможного состояния гармонии между всем живым, что населяет его.

Конечно, такой человек не сможет не обладать в полной мере высокой правдивостью и чувством товарищества. Ложь может быть оправдана лишь тогда, когда через её посредство страдание другого человека перекладывает на себя или отвращает от кого-нибудь опасность. Но разглашение чужой тайны, выдача товарища или донос, в какое благообразное одеяние он ни был бы облечён, останутся в глазах такого человека постыднейшим из предательств.

Не может быть чужда такой душе и жизнерадостность. Но эта жизнерадостность не вырождается в нарочитый оптимизм, избегающий всего, что намекает на теневые стороны жизни, на скорбь и угрюмость некоторых иных миров или на опасности грядущего. Явления жизни и культуры будут вызывать к себе отношение в зависимости не от того, на оптимистические или пессимистические выводы они наталкивают, а от того, сужают или расширяют они диапазон личности, возвышают или снижают уровень души, содействуют в конечном счёте свободе и любви или же ненависти и порабощению. Такая натура достаточно мужественна, чтобы смотреть любым чудовищам в глаза, и достаточно развита духовно, чтобы любить жизнь не только такой, какова она теперь и здесь, но и такой, каковой она предощущается в мирах восходящего ряда или в будущем просветлённом Энрофе.

Воспитание способности вносить во всякий труд творческое начало останется одним из краеугольных камней педагогики. Если потребность в творческом труде не станет неотъемлемым свойством личности, то в условиях общего достатка и прогрессирующего сокращения рабочего дня человеку будет грозить пресыщение, опустошение, паралич духа. Но следует быть готовым к тому, что представление о пользе и оправданности

того или иного вида труда, о его месте в иерархии творческих претерпит значительные изменения. Труд, хотя бы и творческий, направленный на умножение страданий живых существ, — будь то изобретение смертоносных средств, или печатание развращающих книг, или уничтожение животных ради развлечения, ради чревоугодия, ради так называемой научной пользы, — всякий такой труд будет восприниматься как атавизм, как нечто дикое и постыдное. И напротив: многие формы внутреннего труда, раньше приравнивавшиеся к безделью, найдут свою правильную оценку. Созерцание, размышление, религиозная деятельность во всех её видах, общение с природой, развитие тела, гораздо более многообразное, чем нынешний спорт, экскурсии или паломничества к великим очагам и памятникам культуры, занятия, пусть самые скромные, литературой и искусством, творческая любовь женщины и мужчины, духовно оплодотворяющее общение друзей, — во всём этом усмотрится элемент подлинного внутреннего труда, необходимого и благословенного, и вместо жалких крох досуга этим занятиям будут отводиться почётные и полноценные часы. Потому что если дело способствует углублению, расширению, возвышению или облагораживанию хотя бы одного, этим самым оно способствует совершенствованию мира. Если же руководящим стремлением сделаются в данном случае поиски личного наслаждения, господству такого стремления объявится непримиримая душевная война. Потому что незыблема аксиома, что человек, живущий только для себя, есть даже не ноль, а отрицательная величина в человечестве.

Кажется, достаточно ясно, чтобы имелась надобность в специальных разъяснениях, что жажда знаний есть стимул, всемерно и тщательно развиваемый. Но эта жажда не ограничится областью знаний, приобретаемых на научных и художественных путях, но включит в себя познания метаисторические, трансфизические, религиозные. Разовьётся не только жажда знания, но духовная жажда вообще.

Коммунистическая педагогика, которой мне удавалось лишь так бегло коснуться здесь, имела в виду развитие также ещё трёх свойств природы, трёх отличительных свойств огромной важности: подчинения личного общему, духа интернационализма и устремления к будущему.

Не будем касаться того, в какой мере удавалось работникам этой системы добиваться выращивания этих свойств в воспитанных ими поколениях. Во всяком случае, система добивалась, чтобы примат общего над личным прочно был усвоен сознанием воспитуемого. К сожалению, при этом совершались незаметно две идейные подмены. Под «общим» подразумевалось не человечество и даже не всё население в целом одной

или нескольких стран; подразумевалась часть человечества, объединённая общей, твёрдо очерченной идеологией. Всё же, оказывавшиеся по ту сторону этого очертания, расценивались либо как враги — и пощады им не было, — либо как сегодняшние союзники, причём будущее должно было решить: станут ли эти союзники вполне «своими», включатся ли в расширяющийся воинственный коллектив или же сделаются врагами и тогда будут уничтожены. Такова была первая подмена: подмена общего групповым. А вторая подмена заключалась в том, что утрачивалось представление о пропорциях: мелкая, ничтожная выгода, которую мог извлечь коллектив из самоотречения личности, считалась выше, чем интерес этой личности как таковой, даже иногда чем её жизнь. Мелкое правонарушение рассматривалось как государственное преступление, а естественное нежелание человека оторваться навсегда от своей семьи ради многолетней работы на недоступно далёкой периферии встречало на своём пути целые баррикады, нагромождённые государством, партией, общественностью.

Новое отношение между личным и общим должно быть освобождено от этих подмен. Не групповой интерес, не интерес данного государства или данного общественного движения имеет право довлеть над личным — такие групповые тираны суть вампиры, идолы и Молохи, — но благо всего человечества. «Человечество не едино, — возразят многие, — оно разбито на антагонистические классы, группы и т. д.» — Да, разбито; и общее благо его именно в том и заключается, чтобы оно перестало быть разбито. И перестало не за счёт отсечения одних частей и насильственного переделывания других, а за счёт развития в человечестве центростремительных сил и изживания центробежных. Чтобы это единение не обошлось опять человечеству в сотни миллионов насильственных смертей, в ещё большую сумму личных трагедий и превращение части человечества в обитателей тюрьмы. Уместно здесь это напоминание или неуместно, но слишком обожглось наше поколение на этих подменах и этой лжи. И я готов твердить об этом вновь и вновь, кстати или некстати, лишь бы мой предупреждающий голос дошёл хоть до нескольких умов и сердец, которым ещё предстоит со временем созидать и жить, а может быть, и таких, которым ещё предстоит родиться. — Только так понимаемое общее достаточно весомо, чтобы претендовать на примат над личным элементом. Но и этот примат не имеет права быть абсолютным: правильное соотношение заключается в том, чтобы большие жертвы со стороны личности приносились ради действительно больших результатов, а ради мелких, частных результатов достаточно и мелких жертв.

Тезис интернационализма — это грандиозная сила, и в основе её лежит абсолютная правда. Но ложь не замедлила вкрасься и сюда: мысль, будто все народы по своим характерам, по своей одарённости и по своему историческому долженствованию равны между собой, — пустая демагогия. Разумеется, одного или нескольких народов, особо предпочтённых Божеством перед остальными и которым поэтому позволено больше, чем остальным, — нет. Но каждый народ провиденциально предназначен — если угодно, избран — для решения некоторых особых исторических и культурных задач; и эти миссии неповторимо своеобразны. Есть народы — обычно они бывают и численно весьма велики, — предопределённые к колоссальным ролям планетарного значения; другие — к заданиям более частным, более узким. Но кому больше дано, с того больше и спросится. Как для личности, так и для народа повышенная одарённость и масштаб суть основания не для повышенных требований к другим, а только к самому себе. Одарённость и масштаб обязывают к большему, а вовсе не дают права на то, на что остальные смертные не имеют права. Вообще, исключительность не даёт абсолютно никаких дополнительных прав: она накладывает только дополнительные обязанности. Именно такое понимание включает в себе опровержение любых расистских или националистических теорий. Когда нас пытаются уверить, будто маленький, отсталый, почти ничего не внёсший в общую сокровищницу народ равен народу китайскому, британскому, германскому или индийскому — это неубедительно и вздорно, потому что такой тезис нельзя защитить никаким щитом против вопиющих и неопровержимых фактов. Истинное опровержение расизма и любых сверхчеловеческих претензий — народа или отдельной личности, безразлично — только в указании: *noblesse oblige* — доблесть обязывает. Станет ли кто-нибудь, кроме людей, пребывающих в этическом отношении на уровне дикарства, оправдывать эксплуатацию бедных богатыми или слабых сильными? И только нравственные дикари могут полагать, будто большая национальная одарённость и мощь дают народу право на эксплуатацию меньших. К сожалению, лицемерная болтовня о пресловутом «бремени белого человека» успела внести профанацию и сюда. Если бремя белого человека и существует на свете, то это не бремя колонизатора, а бремя высокоинтеллигентных существ, обязанных просвещать тёмных, кормить голодных, нести радость горюющим, лечить больных, поднимать отсталых, озарять, украшать и смягчать их жизнь. Вот истинное бремя великих наций!

Ясно, что никакой националистический бред не может даже и пытаться возникнуть на почве духовных полей, осенённых голубыми

лепестками Розы Мира.

Остаётся ещё третья черта старой педагогики — устремление к будущему, — великая черта! Черта, прекрасно и гордо отличающая людей, воспитанных этой системой. Такой человек мыслит перспективно. Он мечтает и верит в солнце грядущего, он вдохновляется благом будущих поколений, он чужд себялюбивой замкнутости. Это устремление к будущему — огромный шаг вперёд, но оно ещё не совершенно. Доктрина насытила это представление о будущем определённым содержанием, сниженным и упрощённым. Практически это представление сформировалось из двух величин: материального изобилия и покорения природы. Такое представление прямолинейно, как рейсшина. Оно лишено духовности, как бетон, и материалистически наивно, как высказывания школьника 7-го класса у пионерского костра. Да, панорама грядущего предполагает, конечно, и материальный достаток, а впоследствии даже изобилие. Но всеобщий достаток может быть достигнут сравнительно скоро, это только первый этап, только необходимое условие для умственного и духовного расцвета. В XXI веке человек будет так же мало восторгаться этим достатком или изобилием, так же мало обращать на него внимания и переживать его душевно, как современный житель Нью-Йорка или Москвы относится без интереса и восторга к существованию, например, канализации или автобусного сообщения. Человек следующего столетия будет пользоваться материальным достатком, а позднее изобилием — и только. Что же до покорения природы — понятия, носящего агрессивный, империалистический, чуть ли не колониалистский оттенок отношения человека к природе, то ему в противовес выдвинется идея гармонизации взаимосвязей между природой и человеком. После чёткого осознания двойственного характера природы, её провиденциальных и демонических начал, человек вмещается в жизнь природы таким образом, чтобы бороться с демонизмом в ней, а с её светлой стороной установить теснейшее взаимопроникновение. Он будет озабочен не только тем, чтобы извлекать из неё новые и новые энергетические ресурсы, но и тем, чтобы способствовать духовному развитию животного царства, гармонизировать отношения между видами, совершенствовать растительное царство и весь природный ландшафт, а со светлыми стихиями установить отношения любви и дружбы.

Действительным пафосом тех эпох будут возрастание духа любви — во-первых; творчество, точнее, богосотворчество во множестве видов и форм — во-вторых; просветление природы — в-третьих; разрушение преград между физическим миром и другими мирами — в-четвёртых;



радость жизни, кипящей и в Энрофе, и во многих других мирах — в-пятых; и высшие формы богопознания — в-шестых. Устремление к такому будущему — вот что отличит человека облагороженного образа от человека всех предыдущих культурных ступеней.

Чем же может характеризоваться умственный облик такого человека?

Непрерывно растущей жаждой знания, которая питается непрерывно растущей эрудицией; навыками самостоятельного мышления и интеллектуальной независимостью; свободным и счастливым чувством преклонения перед явлениями Глубокого и явлениями Великого.

Что характеризует его эстетический облик?

Развитие неотъемлемой потребности художественных впечатлений; высокоразвитый вкус; знание и понимание искусств прошлого и их памятников; органическая потребность в художественном творчестве, хотя бы и малого диапазона; свободное и счастливое чувство восхищения перед явлениями Прекрасного.

Что характеризует его облик нравственный?

Деятельная доброта к окружающим; способность горячего сострадания и сорадования; чувство единства общечеловеческого; чувство единства космического; свободное и счастливое чувство благоговения перед явлениями Высокого.

Что же характеризует его облик религиозный?

Живое переживание нашего материального слоя как одного из слоёв Шаданакара; внутренняя работа над раскрытием органов духовного воспринимания; всedневное ощущение жизни как мистерии; знание религиозных форм прошлого и настоящего; умение со-веровать всем религиям, то есть понимать опыт и учение каждой из них как отражение одного из рядов духовной реальности; императивная потребность собственного участия в религиозной жизни и творчестве человечества; способность к чувству захватывающей радости от участия в них.

Чем же, наконец, может характеризоваться внешний, телесный облик такого человека?

Мне кажется, его телосложение будет стройным, движения пластичными, походка лёгкой, мускулатура гармоничной, а лицо — открытым, высоко интеллигентным, исполненным приветливости и как бы светящимся изнутри. Потому что в основу физического развития кладётся заповедь о дружбе со светлыми стихиями; ею с детства пронизываются спорт, танец, игра. И ещё потому, что он отчётливо сознаёт двойственность природы и не даёт проникать в своё существо инвольтациям тёмных сил. Как солнечное дитя, проходит он сквозь свои ранние годы, и воистину

юного бога напоминает он, вступая в молодость. В лёгкой одежде по цветущей земле идёт он, её сын, её друг и её преобразователь, старший друг птиц и зверей и собеседник ангелов, строитель прекраснейших городов, совершенствователь гор, лесов и пустынь, хозяин планеты-сада.

Так выступает перед внутренним зрением грядущий человек облагороженного образа.

Из этой характеристики ясно, на развитие каких задатков природы будут направлены в основном воспитательные и образовательные усилия.

В отрыве от природы развитие этих свойств было бы крайне затруднено. Поэтому основным типом общеобязательной средней школы мне представляется колледж-интернат, расположенный или за городом, или на окраине города. Те же колледжи, которые будут обслуживать детей, живущих в городской обстановке дома, должны, по крайней мере, обеспечивать их летними выездами за город на всё лето. И если классные занятия будут продолжаться не 8 или 9 месяцев в году, а только 7, и если срок обучения в начально-средней школе займёт не 10, а 12 или 13 лет — в этом нет ничего страшного. Ведь впереди не будет ждать молодежь никакое жерло воинской повинности; никакая гонка вооружений или соревнование между двумя политико-экономическими системами не будет подхлёстывать жизненного темпа, и если человек будет заканчивать своё высшее образование даже к 30 годам, это будет означать только то, что он выходит в жизнь не узким специалистом, а человеком в полном смысле этого слова.

Не должно отпугивать и дискредитированное слово «интернат». Никакой изоляции учеников от жизни такой интернат не предполагает. Учащихся свяжут с обществом многообразные нити: рабочая помощь — с крестьянскими хозяйствами, художественная самодеятельность — с клубами и со школами открытого типа, выходные дни — с семьёй, спортивные праздники — с молодежными организациями, экскурсии — с музеями, заводами, научными учреждениями, путешествия — с различными культурными и общественными слоями своей страны и других стран. Называть такое заведение закрытым можно только условно. Цель, ради которой детям стоит большую часть времени проводить в стенах колледжа, заключается, конечно, не в отрыве их от жизни или от семьи, а совсем в другом. Такой уклад обеспечивает наиболее целесообразное использование времени, позволяет более многосторонне воздействовать на ученика и способствует развитию чувства коллектива.

От педагогов таких школ потребуются, конечно, особенно внимательная подготовка, тонкий педагогический такт и глубокое понимание своей задачи. Надо, чтобы интернат стал чем-то средним между

товариществом и семьёй. Всё, отдающее казённой сухостью, чинной официальностью, начальственной холодностью, а тем более муштрой, не должно сметь приближаться к этому зданию на пушечный выстрел. Ведь личность, формирующаяся здесь, должна быть способна жить в обществе, основанном на добровольности, а не на принуждении. Конечно, система запретов, наказаний и поощрений в какой-то мере останется, особенно вначале. Но она будет играть только подсобную роль и сведётся к минимуму. Следует не внушать страх перед наказанием, а развивать качества, делающие совершение недолжного невозможным. Не страх и не тщеславие будут мешать воспитаннику лгать, обижать слабейших, пренебрегать учением, совершать поступки антиобщественные, антитоварищеские или жестокие по отношению к животным: это постепенно будет становиться для него невозможным потому, что ему помогут полюбить дружелюбие, правдивость, храбрость, сострадательность. С малых лет ему привьют вкус к труду, вкус к творчеству, вкус к внутренней и внешней культурности. Только из этого может проистекать органично и естественно отвращение к безделью, отвращение к невежеству, отвращение к жестокости, бездушию и себялюбию. Я не педагог, да и не место здесь было бы выдвигать подробные методологические проекты. Здесь можно говорить лишь о задачах педагогической системы Розы Мира и о её основных принципах.

Религиозно-этическое и религиозно-художественное воспитание учтёт, надо полагать, прискорбный опыт таких архаических дисциплин, как, например, печальной памяти «закон Божий». Не замкнутым в неподвижные кристаллы догматики, не затиснутым в одну узенькую дисциплину, непримиримо противоречащую всем остальным, должно оно быть, а действительно воспитанием, пронизывающим и освежающим всё. Спорт, купанье, прогулка, садоводство, цветоводство, возня с животными, игра — всё переплетётся с весёлыми, поэтичными, радостными действиями, вводящими в культ стихий. Учение, занятия искусствами, чтение, пение, посещение музеев и храмов, беседы на темы культуры, истории и метаистории соприкоснутся с глубокими и торжественными обрядами, вводящими в культ синклитов. Насыщенный, деятельный день, обогативший ум и сердце, хорошо бы завершать чтением вслух священных книг — не более одной главы ежевечерне, и чтобы читали при этом вслух поочерёдно все — мальчики и девочки. Великое будет несчастье, если такой уклад вырождается где-нибудь, благодаря неподготовленности учителей, в цепь нудно-обязательных повинностей. Задача в том, чтобы раскрыть перед каждым ребёнком внутреннюю поэзию, красоту, глубину и

возвышенность этих религиозных действий. Если же всё это будет понято и почувствовано — возникнет потребность в них, не нуждающаяся ни в каких подталкиваниях.

Но избежать введения в программу некоего учебного предмета, посвящённого специально миру религиозных идей, конечно, не удастся: наряду с развитием собственного религиозного мира чувств в душе ученика требуется и наличие у него систематически приобретённых религиозных знаний. Мне думается, что такие знания ученик мог бы черпать из специальной дисциплины — всеобщей истории религий, излагающей со всею объективностью, какая только возможна, духовную эволюцию человечества. Её надо будет тесно увязать с курсом политической истории, который в свою очередь должен быть сильно расширен и образно оживлён путём включения в него материалов по истории искусств, наук, философии и материальной культуры. И, само собой разумеется, эти дисциплины обогатятся, насколько будут позволять время и средства, демонстрацией фильмов, устройством выставок и телепередач, кружковой работой, посещением храмов различных конфессий и очагов народной религиозной жизни.

Вообще, заботливо пестуется и всячески поощряется творческое начало: взращиваются малейшие ростки музыкального, словесного, сценического, архитектурного, живописного, философского, религиозного творчества. Культивируется, как уже сказано, творческое отношение ко всякому труду, отвращение к насилию, к разрушению, к подавлению чужой воли.

О допущении таких забав, как рыбная ловля, охота или составление энтомологических коллекций, не может быть и речи. Какая там охота! Хороши были бы педагоги, пекущиеся на словах о развитии доброты и любви и в то же время спокойно созерцающие, как их воспитанники развлекаются мучениями животных. Начинать придётся, вероятно, с категорического запрещения подобных забав, а потом отвращение к мучительству живых существ станет органически вытекать из любви к ним, любовь же разовьётся через уход за приручёнными животными. Постепенно чувство близости стихий начнёт пронизывать повседневную жизнь; будет тщательно поддерживаться состояние готовности к этому восприятию. Организм закаляется физическими упражнениями, одежда облегчается, тело открывается прикосновениям стихий, насколько позволяет климат, обувь упраздняется, исключая часы пребывания в морозную погоду под открытым небом.

В связи с этим мне приходится коснуться одной группы приёмов,

более частной, подсобной, но, на мой взгляд, практически важной.

По-видимому, уже недалеки те времена, когда открытие естественными науками особого рода излучений земной поверхности заставит изменить взгляд на многое. Экспериментальное исследование установит, что различным ландшафтам свойственны различные виды и степени этого излучения и что оно, проникая в нас через прикосновение, то есть через подошвы ног, а при купании — через всю поверхность тела (в слабой степени — через воздух) непрерывно и мощно воздействует на человека — не столько на его организм в целом, сколько на нервную систему и психику. Однако с излучениями, исходящими из раскалённых недр земного шара, эти эманации верхнего слоя коры не имеют никакой связи. Выяснится также, что материальная среда населённых мест, в особенности их почва и, в меньшей степени, стены зданий, отдают эманацию другого типа, оказывающую на нас несколько иное, но не менее благотворное воздействие. Позднее будет установлено, что почва есть как бы резервуар, накапливающий, хранящий и отдающий энергию излучений за огромные промежутки времени, а сами источники излучений пребывают в мирах другой материальности, хотя их передвижение в пространстве там отражается на состоянии стихий и всего ландшафта здесь. Я не физик, и делать прогнозы о будущем ходе развития естественных наук — не моё дело; я буду спокойно ждать, пока физика подойдёт к дверям, за которыми распахиваются трансфизическая глубь и даль; пока она укажет с обстоятельностью, свойственной точным наукам, что один из этих двух классов эманаций принадлежит слоям некоторых стихий природы, а другой — некоторым стихиям именно населённых мест и, главное, арунгвильте-пране человечества.

Что купание, воздух и солнце полезны, всем давно известно; теперь уяснится, что польза эта во много раз глубже и многостороннее, чем думали, и что ещё полезнее сама земля. Окажется, что самое полезное заключается в том, на что раньше не обращалось внимания, и что обувь является не только защитой изнеженных ног от поранений, но и основной преградой между нашим организмом и излучениями земли. При этом подтвердится, что ходить босыми полезно не только среди природы, где почва отдаёт излучения стихий, но и в населённых местах, где убывание этих излучений восполняется эманацией жизненной силы человечества. Открытие это перевернёт систему физического воспитания, во многом изменит спорт и быстро отразится на одежде. Опрокидывая архаические приличия Европы и Америки и заглушая восклицания недоумевающих снобов беззаботным топотом босых ног, новая мода превратится в

обыкновение молодёжи, потом во всеобщий обычай, и ему географические и сезонные границы положат только морозы северных зим. Впрочем, это — частности, и об этой смене обычаев можно было бы не упоминать, если бы суть вопроса исчерпывалась оздоровительным значением. В действительности этот вопрос глубже, чем может показаться на первый взгляд.

В числе пяти внешних чувств человека имеется одно, до сих пор почти не осмысленное, даже заклеимённое каким-то странным пренебрежением. Наши языки выработали пару глаголов: слушать — слышать. Выработали другую: смотреть — видеть. Но в осмыслении нашего чувства осязания и того, что мы можем воспринимать через него, произошла какая-то заминка, несоразмерное запоздание. Мы обычно «осязаем» в смысле механического получения осязательных впечатлений, но отнюдь не осязаем в смысле осознанности этих впечатлений. Как бы «смотрим», но не «видим», «слушаем», но не «слышим». Кто и когда испытывает хоть каплю удовольствия и хоть секунду задумывается над тем, что он чувствует, прикасаясь к предметам обихода, к стенам и полу жилищ, к растениям, к воде, к земле? По крайней мере, половина человечества, то есть свыше миллиарда людей, ходит босиком. Разумеется, это здорово, полезно и удобно. Но одни при этом не испытывают вообще ничего, сколько-нибудь заметного, другие — чисто телесное удовольствие, поскольку поступь разутого человека, к этому привычного, вообще легче и свободнее. Если же я знаю, что всякий мой шаг есть прикосновение к телу родимой Земли, что малейшие изгибы почвы, изменения её влажности и сухости, прохладности и теплоты, шершавости и гладкости, мягкости и твёрдости, плотности и рассыпчатости есть не что иное, как её речь ко мне, не что иное, как прикосновение к подошвам моих ног этой всеобщей Матери, любящей меня как своё дитя и ещё какую-то непостижимо горячей, сверхчеловеческой любовью, — я испытываю кроме телесного удовольствия непередаваемое чувство, похожее на ласку любви, и тёплую, упоительную радость.

Множество людей на юге ходит босиком и в городах. При этом в силу привычки они — по крайней мере большинство их — не испытывают, кажется, ничего. Но если бы эти люди вслушались в глубину собственного осязания! Если бы они осознали, что здесь жили, дышали, ходили, трудились, любили тысячи и миллионы — то самое человечество, к которому принадлежат и они! Если бы они вникли, как по их существу поднимаются от этого невзрачного асфальта токи, горячие не физическим, а каким-то другим теплом! Если бы они осознали всё это, они осознали бы

также и то, что, ступая по этим камням босыми подошвами, они испытывают кроме физического удовольствия особый прилив сил, весёлых и горячих, бодрящее чувство полноты жизни, чувство единения с целым.

Чтобы развить в себе способность постоянной фиксации обязательных восприятий и углублённого их осмысливания, не требуется ни обременительных медитаций, ни сухой умственной гимнастики. Я никому не собираюсь навязывать эту методику, но не считаю нужным скрывать те способы, которые давали мне проникать в природу глубже обычного, а силу радости от общения с нею и с жизненной силой человечества увеличивали во много раз. Для этого следует развить в себе способность «бокового осязания». Сосредоточивая сознание на чём угодно и в то же время воспринимая осязанием различные предметы, к которым прикасаешься, надо фиксировать их определённым уголком сознания, время от времени как бы обращая на них взор мысли и осмысляя их. Это — первое. Второе — связать «боковое осязание» с тем общим отношением к физическому слою, которое я бы назвал готовностью к восприятию его сквожения. Мир заговорит с нами тысячами голосов, каждый будет полон своеобразия, выразительности и неожиданно глубокого смысла. Ветер перестанет быть механическим напором множества мёртвых молекул воздуха на наше лицо и тело: он явится нам либо лаской чудесных невидимых существ, либо неистовыми забавами другого, более сурового слоя. Земля, по которой мы до сих пор равнодушно ступали, тупо отзываясь лишь на крайний жар или холод, теперь заговорит с нами живым языком. Она заговорит через наши смеющиеся от радости подошвы ног то шаловливыми восклицаниями ручьёв и лужиц, то покальвающим смехом валежника и хвои в бору, то взволнованным речитативом сухой дороги. Она заласкает нас влажной глиною лесных тропинок, трогательной нежностью травы, суровой мудростью камня и мягчайшими коврами дорожной пыли. — «И равнодушная природа красною вечною сиять...». Бедный Александр Сергеевич! Довелось же ему родиться во времена, когда недоступно было господам дворянам это босое счастье! Теперь природа перестала бы казаться ему равнодушной: он ощутит бы с неопровержимой достоверностью, что не только он любит её, но и любим ею.

Углубление и осмысление чувства осязания и постоянное, повседневное пользование им — вот, на мой взгляд, одна из существенных линий в той воспитательной системе, которая имеет в виду развитие способности трансфизического познания. Как будто раньше мы рассматривали в лупу участок органической ткани, различая её строение и сокращения её волокон, ничего не выражающие... теперь же взглянули

простым ясным взором и поняли вдруг, что перед нами — телесная ткань прекрасного лица, живущего глубоко осмысленной жизнью и полного выразительности. Бессмысленная громада мёртвой материи — раньше; ослепительно прекрасное, мощно живущее, мудро и любовно взирающее на нас и на мириады существ Лицо Мира — теперь.

Естественно, что и профиль будущего колледжа изменится сравнительно с современной средней школой: углубится и расширится гуманитарный цикл. Увеличение курса истории и введение курса истории религий в широком аспекте этого понятия потребует большого числа дополнительных часов; эти часы будут найдены путём удлинения сроков обучения. Возможно, что в старших классах придётся прибегнуть к системе трёх уклонов: гуманитарного, естественнонаучного и технического. И независимо от того, собирается ли оканчивающий поступать в высшее учебное заведение или готовится к практической работе, ему обязана предоставляться годовичная стипендия для путешествия, коллективного или индивидуального, в любую интересующую его страну или ряд стран — для расширения кругозора, для ознакомления с природой и культурой, для установления связей. Сеть специальных молодёжно-туристских очагов во всех странах и работа в этих очагах высококвалифицированных педагогов предохранят большинство стипендиатов от растраты этого золотого времени на пустяки и помогут им избежать случайных и бесплодных увлечений.

Легко возникает вопрос: чем можно оправдать такое расширение гуманитарного цикла? Ведь в первую эпоху Розы Мира потребуются колоссальные кадры других работников — работников точных наук, инженеров всех специальностей. Разве обеспечение всеобщего материального достатка не предполагает прежде всего использования энергетических ресурсов природы, уже изысканных или ждущих обнаружения?

Да. Но наряду с этими кадрами потребуются столь же многочисленные кадры работников, обеспечивающих проведение всесторонних общественных реформ. Кроме того, естественнонаучные и инженерно-технические работники новой формации тем и будут отличаться от своих предшественников, что вместо образа узкого специалиста явят собой человека облагороженного образа. А в-третьих, с течением лет, с подведением материальной базы, потребность в инженерно-технической интеллигенции начнёт уменьшаться, а потребность в гуманитарных кадрах — возрастать.

Вообще, у нас нередко забывают, что потребности общества в целом и



каждого его члена в частности только сейчас представляют знакомую и убедительную для нас картину. Оглядываясь, например, на средние века или на общественность родового строя, мы склонны воображать, будто колдуны, знахари, монахи, астрологи — в сущности не более как паразиты. Ничего, кроме ограниченности, в таком взгляде, конечно, не заключено. Все эти общественные группы и, так сказать, профессии могли существовать и существовали именно потому и только потому, что отвечали определённым потребностям общества — потребностям, которых теперь почти нет. С другой стороны, люди этих отдалённых эпох не имели понятия о множестве потребностей, которые возникли у их потомков и определили всю картину нашей жизни. Физик XX века в своём кабинете и его лаборанты, кинорежиссёр в своём ателье и окружающие его операторы и артисты, посетители музеев и экскурсоводы, туристы и гиды, инструкторы физкультуры и спортсмены, телефонистки и трактористы, шахматисты и фотографы, миллионы людей всевозможных специальностей — все они показались бы типичному человеку средних веков либо чародеями, либо чудаками и только в лучшем случае просто бездельниками и паразитами.

Столь же странными, нелепыми, вредными или непонятными показались бы многим из нас иные виды деятельности, которые будут призваны к жизни потребностями грядущих эпох. Некоторые из потребностей, ныне остающиеся уделом единиц, сделаются через несколько десятилетий массовыми. По-видимому, стремительно возрастут потребности эстетического ряда, а потребности религиозные изменят свой характер, станут гораздо многообразнее и теснее свяжутся с мирами природы и с кругами культуры. Естественно поэтому, что примат гуманитарного цикла наук скажется не только в профиле средних школ, но в типах высших учебных заведений, в их программах и в их, так сказать, удельном весе. Ибо как только Роза Мира сможет приступить к универсальным реформам, с того же момента потребность в педагогах и юристах нового типа, в общественниках, историках, перевоспитателях преступников, литературоведах, психологах, философах, вооружённых новой методикой и воодушевлённых новыми целями, сделает стремительный скачок.

Неизбежно возникновение и новых научных дисциплин: зооогоники, метапсихологии, метафизиологии. Обе последние, каждая со своей стороны, направят усилия на исследование органов духовного воспринимания, до сих пор ждущих своего открытия европейской наукой. На основе опыта этих дисциплин впоследствии сформируется

окончательно новая педагогическая система, ставящая целью действительно помочь раскрытию этих органов, заложенных в каждом человеке. Однако расцвета этой педагогики вряд ли можно ждать, даже при самых благоприятных обстоятельствах, раньше, чем через несколько десятков лет, когда метапсихология и метафизиология накопят достаточный материал и смогут обобщить его разработанную теорией.

Размах и глубина реформ вызовут необходимость в перестройке и других высших учебных заведений, включая естественнонаучные.

Уже несколько раз заговаривал я о предстоящем со временем, под руководством Розы Мира и усилиями нескольких поколений, превращении поверхности нашей планеты в сад. Да не смутит этот образ приверженцев нетронутой природы! В течение тысяч и миллионов лет нетронутой оставалась вся поверхность земного шара. В XIX веке нетронутая природа владела уже только половиной этой поверхности. А теперь... Это, быть может, печально, но другого пути развития нет и не может быть. Рост народонаселения, технический прогресс и раскрытие гигантских ресурсов энергии предопределили будущее «дикой природы» с полной очевидностью. Дилемма заключается не в выборе между дикой природой и природой-садом, а в выборе между природой-садом и антиприродой.

Под антиприродой я понимаю превращение больших районов, а потом и всей поверхности суши в урбанизированный комплекс с включением в него изувеченных остатков природы ради извлечения из них гигиенической пользы и физиологического удовольствия.

Под природой-садом я разумею превращение больших районов, а потом и всей поверхности суши в чередование парков горных, парков луго-лесных, обрабатываемых при помощи высшей техники полей, заповедников девственной природы, резерваций для животных, городов-садов и сёл-садов, — с тем чтобы не только жизнь человечества, но и жизнь животного царства, растительного царства и стихий поднять до возможной гармонии, а мировой ландшафт возвести на высокую художественную ступень.

В этом труде усилия многих наук и многих искусств скрестятся с религиозно-этическим воздействием учения о стихиях. Новые масштабы, новые требования, новые технические и декорационные приёмы превратят старое искусство сада в нечто принципиально новое — не только по объёму, но и по качеству. Оно сомкнётся с монументальным зодчеством и скульптурой. Оно подчинит себе и лесоводство, и цветоводство, и агротехнику, и селекцию, и декоративную живопись, и зоологию, и мелиорацию, и озеленение пустынь, и многое другое. Искусство это

объединит усилия самых различных профессий и квалификаций, и возможно даже, что в известные исторические периоды оно станет ведущим, массовым, излюбленным из искусств.

Понятно, что применительно к этим задачам перестроится и работа соответствующих научных учреждений — учебных и научно-исследовательских.

Но и этим отнюдь не исчерпывается преобразование высшей школы и всего научно-исследовательского комплекса. Создастся мощная лестница религиозно-культурных учебных заведений нового типа — от коттеджей до академий.

Гуманитарный колледж-интернат для подростков от 12 до 20 лет мне представляется наиболее вероятной первой её ступенью. В такие колледжи предстоит отбирать детей, сочетающих склонность к искусствам или гуманитарным наукам с нравственной одарённостью. Вторую ступень составит религиозно-философский университет: ряд его факультетов будет готовить, кроме духовных лиц всех пяти культов Розы Мира, также новых общественников, руководителей религиозных и филантропических — в широком смысле слова — организаций, философов, психологов, публицистов, редакторов, комментаторов, режиссёров мистериала и многих других. Можно ли забывать, что впереди — титанический труд сотен миллионов человек, ставящий себе цель — пробить ту броню псевдонаучного невежества и антирелигиозных предрассудков, в которую заковала многочисленные народы первая половина нашего века! Достаточно вспомнить, что в течение двух или трёх поколений обширные страны были лишены полностью даже самой насущной, элементарно необходимой религиозной литературы, хотя бы Библии и Корана, не говоря уж о каких бы то ни было серьёзных трудах или о популяризации религиозных сокровищ прошлого. Предстоит выпуск миллионными тиражами канонических текстов христианства и других религий, снабжённых научным аппаратом, который отвечал бы запросам современного читателя; многочисленные серии художественных изданий и учебных пособий, воспроизводящих памятники мировой религиозной культуры; издания научно-исследовательские, способные удовлетворить углубляющийся интерес к духовной истории человечества; специальные и популярные серии, знакомящие общество, одичавшее в атеизме или в равнодушии, с великими учениями о духе — от Веданты до Шопенгауэра, от гностицизма до антропософии и экзистенциализма. Таких работников и будут готовить религиозно-философские университеты. Наконец, лестница учебных и учёных учреждений завершится всемирной религиозно-

философской Академией, координирующей и направляющей идеологическую работу внутри Розы Мира. Подобные Академии национальных масштабов возникнут, разумеется, в каждой стране.

Но будут ещё и другие области деятельности, которые потребуют такого количества работников гуманитарного цикла, какое невозможно охарактеризовать иным эпитетом, как «грандиозное».

Преобразование всемирного государства в братство невозможно одними внешними средствами. О некоторых внешних средствах, как первых предпосылках к этому преобразованию, речь пойдёт в следующей главе. Здесь же своевременно указать на то, каким образом воспитание поколений облагороженного образа позволит перейти к самому процессу этого преобразования.

Подобно тому поколению израильтян, которое, выйдя с Моисеем из Египта, должно было уступить место другим поколениям прежде, чем племя войдёт в страну Обетованную, так и поколению середины XX столетия, отравленному воздухом эпохи мировых войн, суждено сойти с арены для того, чтобы воцарился долгожданный строй, брезжущий нам сквозь анфиладу трёх последовательно просветляющихся периодов. Потому что строй этот не есть установление внешнее. Он будет органичен и естественно необходим только тогда, когда моральный облик новых поколений сделает невозможными злоупотребления свободой и превращение её в анархию. Никакие меры перевоспитания недостаточны для того, чтобы в корне преобразовать психику двух миллиардов людей, уже сформировавшуюся в иной, кровью и изуверствами насыщенной атмосфере. Конечно, миллионы лучших из тех, кто живёт теперь, отвечали бы самым высоким требованиям той отдалённой эпохи. Но надо, чтобы им отвечали не лучшие, а подавляющее большинство, — чтобы целые поколения были воспитаны Розой Мира как люди облагороженного образа.

Преобразование сущности государства — ведь что это такое? Разоружение всех, подлинная демократия, смягчение законов, облегчение наказаний? Разумеется; но всего этого мало. Сущность государства есть бездушный автоматизм. Оно руководствуется материальными интересами больших или меньших человеческих массивов, понимаемых как целое. К интересам личности как таковой оно безучастно. Духовность же ему неизвестна совсем, как неизвестна она уицраорам и эгрегорам, и о духовном благе — как личности, так и народа — оно не может иметь ни малейшего понятия.

Смысл первого этапа правления Розы Мира заключается в достижении всеобщего материального достатка и в создании предпосылок для

превращения Федерации государств-членов в общечеловеческий монолит. Что за этот период наиболее демократические общественно-политические институты станут достоянием всех стран — это разумеется само собою. Огромными содружествами законоведов, педагогов, психологов, юристов и религиозных деятелей пересмотрятся все кодексы, реформируется система правовых норм, процессуальных норм, смягчится шкала наказаний и сам принцип наказания начнёт уступать место принципу врачевания преступника. За этот же период подготовятся те кадры работников нового типа, которые необходимы для проведения универсальных реформ, знаменующих следующий, второй, этап: этап превращения общечеловеческого, уже смягчённого государства в Братство.

Надо полагать, что на начало второго этапа падёт срок всеобщей судебной реформы.

Всё-таки суд присяжных — по крайней мере, некоторые разновидности этого суда — это, по-видимому, наиболее прогрессивная из форм суда, существующих ныне. Но это отнюдь не потолок развития. На серьёзнейшие недостатки этой формы указывалось бесчисленное количество раз, и притом людьми, стоящими на самых различных позициях. Указывалось, что принцип свободного найма профессионал-защитника несовершенно тем, что способствует перерождению адвоката в своего рода виртуоза, приёмами красноречия заменяющего подлинное, человечески горячее участие в судьбе подзащитного. Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать, что принцип профессиональной прокуратуры несовершенно тем, что ничто не оберегает прокурора от перерождения в чиновника, который в каждом обвиняемом видит непременно преступника и интересуется только той стороной его личности, которая обусловила, по мнению прокурора, совершение преступления. Что же до принципа присяжных, то он несовершенно потому, что зачастую сложные в психологическом отношении дела, требующие не только доскональнейшего изучения, но и высокой культурности, проницательности и справедливости со стороны судящих, подвергает рассмотрению лиц случайных, неквалифицированных, часто даже малоразвитых; смешно думать, будто несколько часов помощи им со стороны специалистов могут компенсировать их недостаточность.

В настоящее время ничем лучшим заменить подобную форму суда, по-видимому, невозможно. Это станет возможным тогда, когда продолжающееся несколько десятилетий руководство Розы Мира обеспечит образование кадров судебных работников нового типа.

К деятельности этого рода юноше придётся начать готовить себя ещё в

колледже, из трёх уклонов избрав гуманитарный. Намеченная в начале этой главы система воспитания и образования примет в высшей юридической школе некоторые дополнительные особенности, предусматривающие формирование именно будущих судей. Вероятно, сугубое внимание обратится на развитие таких сторон натуры, которые сильнее других предохранят от казённого, формального и тем более корыстного отношения к человеку. Изучение, наряду с этим, искусств и философии, истории культуры, истории этики, истории судебных установлений, психологии, психопатологии, психиатрии разовьёт врождённую пронизательность, понимание недугов человеческой души и правильное понятие о способах их устранения. Вошедшее в плоть и кровь представление о ценности человеческой личности и о долге судьи-врачевателя будет стимулировать предельно осторожный, бережный, тёплый подход к подсудимому. Потому что на него утвердится взгляд как на больного, доступного лечению, — не обязательно больного в современном психиатрическом смысле, а больного в смысле повреждённости этической структуры души. Роль таких судебных деятелей невозможно переоценить: это спасители человеческих душ, и человечество нуждается в них не менее, чем во врачах, педагогах и священниках. Кто-нибудь возразит: такие идеальные лица встречаются единицами, как исключения. — Но разве даже теперь, в совсем другой, давящей, отравленной атмосфере так уж редко формируются педагоги и врачи самого высокого и чистого этического облика? Где же основания полагать, что педагогическая система, специально к этому направленная, именно эту цель преследующая и действующая притом в самой благоприятной общественной атмосфере, окажется бессильной избрать из миллиарда юношей несколько миллионов таких, которые после ряда лет работы над ними смогут достойно нести бремя суда над преступником и его — не перевоспитания, а правильного — врачевания?

Мне представляется — хотя возможно, конечно, что в действительности получится иначе, — что работники этого рода составят несколько групп: следователи, судьи и перевоспитатели в собственном смысле слова. Сейчас несвоевременно и неуместно вдаваться в подробности этой реформы, тем более мне, ни профессионального юридического образования, ни опыта не имеющему. Позволю себе высказать только одну мысль: что вместо институтов обвинителя, защитника и присяжных установится со временем нечто совсем иное. Прения сторон будут иметь место, как и теперь, но это будет уже не борьба двух красноречий, не состязание артистов, один из которых по долгу службы чернит подсудимого, а другой старается обелить его. Это будут

поочерёдные выступления не двух, а трёх лиц: их всех можно условно назвать истолкователями. Пользуясь материалами следствия и результатами личного общения с подсудимым, двое из них предлагают два различных толкования разбираемого дела. Третий же стремится сблизить оба толкования, по возможности примирить их или выявить преимущественные стороны обоих. Такое примирение точек зрения редко окажется осуществимым в первом туре выступлений; однако некоторые шаги к сближению будут сделаны. Тогда следуют второй и третий туры. Судьи, не участвующие в прениях, но при них присутствующие, получают таким образом представление о деле наиболее глубокое и объективное, представление о нём по существу. Право на выступление сохраняется, разумеется, и за подсудимым. Судьи же оказываются не случайными, неподготовленными людьми, подобно большинству заседателей, не привыкших разбираться в сложных психологических и психопатологических коллизиях, но тщательно подготовленными специалистами новой формации. Нечего смущаться, если подготовка таких судей займёт не пять лет, как теперь, а хоть десять: для того чтобы «карательная система» (до чего гнусно одно уже это выражение!) превратилась в систему излечения, нравственного и общественного воскрешения человека, никакого количества лет жалеть не приходится.

Ну и, конечно, тюрьмы как форма наказания навсегда отойдут в область прошлого. Слово «лагерь» теперь тоже очень скомпрометировано: оно вызывает в памяти картины всяких Потьм, Бухенвальдов и Норильсков. Но мне его придётся здесь употреблять условно, за неимением лучшего. Теперь пробуют перевоспитывать кое-где при помощи труда; нечего удивляться, что результаты этого так слабы. Большинство преступников находятся на весьма низком общекультурном уровне; это люди, сбившиеся с пути ещё подростками и питающие непреодолимое отвращение к труду; наивно ждать, что в лагере или тюрьме они изменят своё отношение к нему только оттого, что им в руки дадут сапожный молоток или фуганок. Главное в том, чтобы повысить их общекультурный уровень, тогда-то они и почувствуют прелесть труда, и совершенно необязательно ремесленного или производственного (ведь не у всех же людей к такому труду лежит душа!), а и к труду умственному. И под повышением общекультурного уровня я разумею не изучение какой-нибудь технической специальности, а именно общую, то есть умственную, этическую, эстетическую, общественную и духовную культурность. Кое-что делают сейчас в этом смысле, кажется, некоторые религиозно-благотворительные организации за рубежом, в особенности католические и методистские. Их следовало бы

всемерно привлекать к этой работе, опыт их изучать и некоторые их приёмы усваивать. Во всяком случае, нежелание утяжелять свой умственный багаж, косность, лень и беспечность таких преступников сперва следует ослабить тем положением, что заключение их будет не тупонеподвижной цифрой лет (при малом сроке преступник беспечно ждёт вожделенного дня, а при большом ему становится «наплевать» на всё в мире), а функцией исправления преступника: чем успешнее он одолеет курс общего гуманитарного образования плюс специальный курс какой-нибудь общественно полезной профессии и чем скорее коллектив его перевоспитателей признает его подготовленным к жизни на свободе, тем скорее покинет он стены лагеря.

Вряд ли можно сомневаться, что сочетание высокого уровня всеобщего благосостояния с неизбежными результатами всеобщей воспитательной системы и с повсеместным психологическим климатом второго этапа будет из года в год уменьшать число правонарушений. Если учесть, что в некоторых скандинавских странах даже в начале нашего века число уголовных преступлений снизилось до нескольких десятков в год, то отнюдь не утопической покажется уверенность, что при указанных условиях число их во всём мире постепенно упадёт до нескольких тысяч в год и будет неуклонно снижаться и в дальнейшем.

Некоторые принципы того воспитательно-образовательного курса, через который будут подготавливаться работники следствия, суда и перевоспитания, лягут в основу работы и других учебных заведений, выпускающих экономистов, хозяйственников, инженеров, техников, служащих в учреждениях. Я имею в виду те принципы, которые преследуют цель — воспитать в каждом из таких работников человека в высшем смысле этого слова. Изменятся функции даже того института, который теперь носит дискредитированные названия полиции или милиции. На втором этапе правления Розы Мира этот институт ещё будет выполнять между прочим и функции уголовного розыска. Но с каждым десятилетием этот сектор внутри полиции будет играть всё меньшую роль. Постепенно полиция превратится в службу общественных удобств, в коллективное и индивидуальное всеобщее обслуживание, и работа на этом поприще делается такой же почётной и всеми уважаемой, как любая другая.

Государство состоит из людей. Люди, воплощающие государственную власть на всех её ступенях, в большинстве формальны, черствы, сухи, холодны. Изжить бюрократизм нельзя ни административными мерами, ни призывами к совести и чувству долга, если это чувство долга и



профессиональная совесть не вошли в плоть и кровь человека с малых лет. Система Розы Мира будет готовить кадры всемирного государства так, чтобы отрицательные качества заменить их противоположностями. Чтобы всякий, обращаясь к представителям власти или входя в учреждение, встречал не бюрократов с профессионально притупившейся от монотонной службы способностью сочувствия и участия и не односторонних фанатиков, пекущихся о соблюдении лишь государственных интересов, но братьев.

Из тех особенностей, которыми всемирное Братство будет отличаться от государства, а человек облагороженного образа — от предыдущих психологических формаций, я отметил здесь лишь некоторые, те, какие нетрудно различить даже из нашего временного отдаления. Но проявятся со временем и многие другие черты — их трудно вообразить или предугадать теперь; они постепенно начнут уясняться взору и мысли только будущих, более одухотворённых поколений.

## Глава 2

### Внешние мероприятия

Заговорив о проблеме воспитания человека облагороженного образа и о связанных с этим проблемах преобразования государства в Братство, а планеты — в сад, я временно выключил из поля зрения другую огромную проблематику. Это — проблематика тех внешних социально-политических, экономических и культурных мероприятий, которые будут способствовать водворению всеобщего материального благосостояния и гармонизации человеческого общества.

Мне думается, что весь период между возникновением Розы Мира и её приходом к этическому контролю над государственной властью надлежит рассматривать как подготовительный. В этот период сложится её структура, сформируются и размножатся её организации — религиозные, политические и культурные. Всесторонне разработается её учение и её конкретная историческая программа; развернётся широчайшее проповедничество, письменное и устное, во всех демократических странах и на всех языках. А те её кадры, которые в начале ограничивались десятками или сотнями человек, превратятся в многомиллионное всемирное содружество. Во всякой стране, где в этот период существование Розы Мира может быть допущено конституцией, допустимо и участие её политических организаций в общенародных выборах наряду с другими партиями. Ясно само собой, что с уст ни единого из её агитаторов или кандидатов во время предвыборной борьбы (равно, впрочем, как и во всякое другое время) не должно срывать ни слова лжи, клеветы, легкомысленных обещаний, саморекламы, дискредитации противников, даже просто непроверенных утверждений. Им подобает вести себя так, чтобы в глазах народов на Розе Мира не было ни единого пятна. Ей надлежит одерживать политические победы не вопреки своим этическим заповедям, но благодаря им.

Вероятно, Роза Мира будет приходить к контролю над государственной властью одновременно в различных странах. И возможно, что несколько таких стран смогут объединиться в конфедерацию гораздо раньше, чем возможность объединения всеобщего станет реальностью. Но социальная и политическая обстановка на протяжении этого подготовительного периода может быть столь пестра и столь непредрешима, что непредрешимы и те пути, которыми Роза Мира, как всемирная разветвлённая организация,

придёт к контролю над властью во всемирном масштабе. Можно только сказать, что так как на подобный шаг она будет иметь право лишь при соблюдении нормальных демократических процедур и лишь располагая большинством голосов во всех странах, то надо предположить, что решающий акт будет иметь форму, схожую с каким-нибудь референдумом или плебисцитом. Легко представить, что такой референдум даст ей победу в большинстве стран, но не во всех. Время, однако, будет работать в её пользу, её идеалы и методы будут привлекательны для таких необъятных человеческих масс, что по прошествии нескольких лет второй референдум привлечёт во Всемирную федерацию последние из сопротивлявшихся государств. Тогда начнётся первый этап её этического контроля над всемирной государственной властью, причём национальные соборы Розы Мира примут контроль над национальными правительствами.

Если всеобщее полное разоружение не будет достигнуто раньше этого момента, то закон о немедленном, всеобщем, абсолютном разоружении станет, надо полагать, тем, чем Роза Мира ознаменует свой приход к этическому контролю. Что же касается самой техники разоружения, то её предвосхищать невозможно, да и не нужно: её выработает то поколение, которому придётся это разоружение проводить в жизнь. Мыслимо создание, например, Министерства Разоружения в правительстве Федерации и соответствующих министерств в правительствах всех государств-членов. Если учесть громадность экономических проблем, связанных со всеобщей демилитаризацией и с переоборудованием военных предприятий на мирный лад, а также с трудовым обеспечением освобождающихся из-под ружья нескольких десятков миллионов человек, то будет естественно предположить, что процесс всеобщего разоружения займёт не меньше пяти или семи лет.

Уже давно подсчитывается, какие суммы могла бы высвободить всеобщая демилитаризация. Мы не знаем, когда и в какой обстановке она произойдёт, и поэтому точные подсчёты в этой области строятся на песке. Однако похоже на то, что общая сумма будет не очень далека от триллиона долларов; так или иначе, она будет невообразимо велика. Именно эта сумма и даст возможность проведения великих реформ.

В первый период правления Розы Мира национальные, местные особенности политических установлений, традиционных общественных институтов разных стран ещё сохранятся, изменяясь постепенно, и не извне, а изнутри, пока универсальное государство не утратит специфических черт бюрократизма. Вообще приход Розы Мира не предполагает немедленного пересмотра конституций государств-членов,

исключая того единственного пункта, который должен быть изменён или дополнен в том смысле, чтобы оговорить признание самой Розы Мира как инстанции, ограничивающей государственный суверенитет. В дальнейшем возможны и даже неизбежны перемены во многих статьях, но сначала они будут отличаться, мне кажется, скорее техническим, чем принципиальным характером. Во всяком случае, население каждой страны само определит свободным волеизъявлением, подлежит ли его политическое устройство немедленным и коренным преобразованиям или оно должно быть в основном сохранено. Могут найтись, например, даже такие страны, где приверженность к традиционному монархическому устройству окажется устойчивой и прочной. Разве так трудно представить, что консерватизм этого рода обнаружится в Англии или Японии? Разумеется, в подобных случаях монархический принцип должен быть сохранён. Когда же само современное понятие государства начнёт отмирать, превращаясь в понятие хозяйственно-планирующего механизма по преимуществу, носитель короны останется духовным главой или живым олицетворением славного прошлого своего народа и его традиций.

То же самое относится и к социально-экономической структуре отдельных стран. Впоследствии, когда общая социализация постепенно втянет в свой процесс все народы и материальные уровни различных стран сравняются, начнут уравниваться и их социально-экономические структуры. К тому времени большинство предприятий, промышленных, сельскохозяйственных и торговых, уже будут переданы в руки общественных ассоциаций, причём каждая из них станет автономным коллективом, юридическим лицом, пользующимся всеми доходами со своего предприятия, исключая суммы, отчисляемые государству. Государство будет финансировать создание новых ассоциаций, исходя из учёта материальных потребностей общества, и обеспечивать их на основе долгосрочных ссуд необходимым оборудованием. Реорганизация частных предприятий в такие ассоциации будет стимулироваться. Вероятно, взимание средств с населения тогда примет форму, напоминающую современный всеобщий подоходный налог, но более совершенную. Но для того, чтобы принцип ассоциаций мог стать прочным базисом финансовой системы универсального государства, должно протечь, разумеется, немало времени.

Что касается политических партий, то они будут функционировать, как и раньше. Единственным препятствием для них может быть только одно: их агрессивно-национальный, агрессивно-классовый или агрессивно-религиозный характер. Квалифицировать ту или иную партию как

агрессивную имеют право только инстанции самой Розы Мира. Впрочем, полного запрета на такие партии не будет накладываться даже на первом, сравнительно строгом этапе; но права на устную и письменную пропаганду своих взглядов они будут лишены. Слишком страшно то, что сулит человечеству их власть, хотя бы их адепты и не понимали до конца всей глубины этого ужаса. Впоследствии, в осуществление максимальной свободы, из-под запрета и контроля будут освобождены даже они. Но это допустимо, мне думается, не раньше второго этапа, когда стадия общего культурного развития будет сама служить гарантией против возобладания агрессивных или сепаратистских идей.

На протяжении первого этапа должен быть достигнут всеобщий материальный достаток. В деятельности Розы Мира будет и нечто, совпадающее даже с коммунистической мечтой. Любой из граждан, независимо от нации, местожительства, рода занятий, должен быть обеспечен так, чтобы полностью были удовлетворены основные его потребности: в пище, в одежде, в жилище, в подходящей к его характеру и навыкам работе, в отдыхе, в досуге, в лечении, в элементарных житейских удобствах, в повышении образования, в приобщении искусствам и наукам, в религиозных действиях. Те гигантские суммы, которые в капиталистических обществах до сих пор идут на безграничное расширение производства, вызывая в итоге перепроизводство и безработицу, кризисы, будут вкладываться в начинания, никакой прибыли не приносящие и никакой экономической цепной реакции за собой, таким образом, не влекущие. Я имею в виду строительные и культурные мероприятия всемирного размаха. Кадры мировой рабочей силы придётся перераспределить так, чтобы, с одной стороны, покончить с безработицей, а с другой — приступить к прогрессивному сокращению рабочего дня. Дальнейший рост техники и производительных сил доведёт это сокращение рабочего дня до немногих часов. Органы здравоохранения и социального обеспечения распространят сеть своих лечебных и оздоровительных заведений на самые глухие уголки земного шара, охватывая все слои общества, в том числе и крестьянство, доньше почти не пользовавшееся фактически этими правами. Стоит ли говорить здесь о более частных достижениях в этой области, например, о том, что всемирный размах санитарно-гигиенических предприятий позволит устранить вредителей и паразитов? Или о том, что достижения медицины сведут к нулю многие из заболеваний, терзающих человечество в наши дни?

Предрешать чисто экономический аспект этих реформ — не моё дело.

Я бы даже сказал, что это — не дело моего поколения, какой экономической проницательностью ни обладали бы некоторые его представители. Регламентировать на десятилетия вперёд такие частности значило бы предаваться ненужному и даже вредному прожектёрству. Придёт время, и авторитетная инстанция разработает и, со всеобщего одобрения, приступит к практике всемирной экономической реконструкции.

Впрочем, как раз некоторые частности представить себе не стоит большого труда. Например, легко вообразить, или, правильнее — сообразить, что в первые же годы создастся повсеместно очень мощная промышленность строительных материалов: база мирового строительства. Позднее это строительство, и в первую очередь жилищное, развернётся во всю ширь. Оно охватит все страны, чтобы в ближайшее за тем десятилетие трущобы, лачуги, хибары отсталых народностей или набитые до отказа беднотой громады в городах отошли в область печальных воспоминаний. Они уступят место жилищам разного типа в зависимости от климата, от потребностей и вкусов, от бытовых традиций, от национальных стилей — начиная от коттеджей и бунгало и кончая, может быть, даже высотными зданиями, — но все эти жилища в равной мере будут отвечать потребностям живущих.

Перспективное мышление подводит к выводу, что задачу превращения планеты в сад рационально начинать с районов, ещё не заселённых. А это связывается с воплощением старинных мечтаний об освоении великих пустынь — Сахары, Гоби, Калахари, внутренних областей Аравии и Австралии. Их обводнение и озеленение превратятся в первые опыты комплексного, всестороннего преобразования огромных площадей земной поверхности в художественно совершенный ландшафт. Начнутся работы по утеплению полярных областей и зон вечной мерзлоты: освоение атомной энергии, кажется, уже создаёт необходимые для этого технические предпосылки. В тропическом поясе развернутся широчайшие работы по расчистке лесов Конго, Нигера, Амазонки, Ориноко и по превращению их в высококультурные области. Из стран, страдающих от перенаселённости, организуется эмиграция трудового населения в районы, соответствующие его климатическим и культурно-бытовым навыкам. Добровольные переселенцы, пользуясь развитой техникой и обеспеченные всеми необходимыми жизненными средствами, приступят к превращению этих районов в высокопродуктивные сельскохозяйственные площади. Для облегчения экономических связей, для вовлечения отсталых участков во всемирный товарооборот и культурный обмен, сотни миллиардов

вкладываются в развитие международного транспорта и средств связи. К тому времени преимущества пассажирской авиации перед наземными средствами сообщения станут ещё заметнее, чем теперь. Однако рельсовый транспорт, во всяком случае какие-то его разновидности, долгое время ещё будет оставаться наиболее массовым, демократическим средством сообщения; сохранит он за собой преобладание и в качестве грузового транспорта на большие расстояния. Меридиональные и широтные трансконтинентальные магистралей перевяжут материки вдоль и поперёк, подобно тому, как в магазинах перевязывают, упаковывают приобретённый покупателем абажур. Я отлично понимаю, что направление этих линий определится в своё время на основании развития тех культурно-экономических связей, которые сейчас можно предугадать лишь с ошибками и большими пробелами. Но я почему-то до сих пор, раздумывая над картой мира, люблю испытывать чисто детское удовольствие, когда прикидываю возможное направление этих трасс. Мне приятно думать, например, что намеченная ещё в прошлом столетии магистраль Кейптаун — Каир завершится, наконец, постройкой и будет продолжена через Кавказ до Петрограда, а другая, начавшись от того же Кейптауна, пересечёт всю Западную Африку и по двум подводным туннелям — под Гибралтаром и Ла-маншем — достигнет Лондона. Моё воображение радуется при мысли о магистрали Эфиопия — озеро Чад — Сенегамбия и ещё больше — об огромнейшем афро-азиатском железном пути от Сайгона через Калькутту, Багдад и Каир до Касабланки. Мне кажется, что давно напрашивается сама собой и, конечно, будет построена трансевразийская магистраль, которая свяжет страны Южной Европы со Средней Азией, в Алма-Ате соединившись с дорогой, пересекающей Тянь-Шань и Синь-Цзян и достигающей Пекина. Мне грустно при мысли, что я не доживу до постройки великого пути из Москвы через Ташкент и Кабул до благословенного Дели и что только мои правнуки или праправнуки проедутся на экспрессе «Мадрас — Лхасса — Иркутск — Норильск». Я ищу некоторого утешения в мысли, что полярная магистраль в Сибири будет закончена быстрее, связавшись через Воркуту с Центральной Европой, а через туннель под Беринговым проливом — с железнодорожной сетью Америки.

Ну вот, я пожертвовал полстраницы этим ребяческим мечтам. А теперь — забавы в сторону.

На известной исторической стадии перед Розой Мира и всем человечеством возникнет дилемма: либо всемирная Федерация и дальше будет продолжать существовать как таковая, либо универсальное

государство, преобразуемое в Братство, должно сначала быть превращено в космополитический монолит — космополитический в том смысле, что этнографические и культурные особенности наций будут, конечно, уважаться и оберегаться, но антагонизмы между ними ослабнут уже настолько, что административно-политическое устройство всех стран можно будет сделать единообразным, лишь с минимальными местными отклонениями. Борьба между собой сторонников обоих путей развития ничем уже, вероятно, не напомнит социально-политических конфликтов прошлого: это будет борьба идей, протекающая на высоком нравственном уровне, и борющиеся будут располагать лишь одним оружием: словом. После длительной всенародной дискуссии новое голосование разрешит вопрос, и если Федерация станет превращаться в монолит, то верховный наставник Розы Мира, проявивший себя как глава сторонников Федерации, добровольно уступит пост своему идейному противнику.

Есть известная логика технического развития, логика цивилизации. Каковы бы ни были убеждения и идеалы человека, но если он способен к перспективному мышлению, то, размышляя о будущем, он не сможет миновать ни проблемы освоения Сахары или Арктики, ни всемирного жилищного строительства, ни ориентировочных вех, намечающих направление великих будущих магистралей.

Это и есть та сторона представлений о Грядущем, в которой предположения Розы Мира совпадают в некоторых частностях с панорамой мечты о коммунизме.

Но то, что для коммунистической мечты является как бы точками, возвещающими близкий предел — дальше идёт только мечта о космических кораблях, — то же самое для Розы Мира суть лишь некоторые из внешних мероприятий на первом этапе её правления.

Так как во избежание перепроизводства и экономических кризисов колоссальные суммы должны вкладываться в строительство бездоходное, в предприятия и учреждения бесприбыльные, то средства, которые можно и должно будет обратить на задачи религиозно-культурного строительства, в следующем столетии станут фактически неисчерпаемыми.

Это строительство приобретёт, конечно, много форм, сейчас ещё непредставимых, и станет развиваться по различным параллельным путям. Мне хочется остановиться сейчас на одном из них, на создании великих очагов новой религиозной культуры, потому что архитектурные ансамбли, вмещающие и выражающие эти очаги, я вижу, с настойчивостью неизбежного и с отчётливостью воочию виденного, почти всю мою сознательную жизнь. Мне было едва 15 лет, когда эти образы стали



возникать передо мной впервые, а год спустя я уже пытался запечатлеть их при помощи карандаша. Я не стал ни художником, ни архитектором. Но образы этих ансамблей, их экстерьеры и интерьеры, такие величественные, что их хотелось сравнить с горными цепями из белого и розового мрамора, увенчанными коронами из золотых гребней и утопающими своим подножием в цветущих садах и лесах, становились определённое от одного десятилетия моей жизни к другому. Осуществит ли Роза Мира подобные ансамбли или не осуществит, но эта книга, я думаю, не пострадает, если на её страницах возникнет этот мираж далёких грядущих эпох. Ведь компоненты миража непременно существуют, хотя и в большом отдалении, а сам мираж только приближает их к путешественнику, бредущему по пустынным пескам.

Эти великие центры религиозной культуры вместе с сетью их многочисленных филиалов будут постепенно вовлекать большие и большие круги человечества в широкое русло творения счастливой, солнечной религии, в русло личного и социального совершенствования, в русло совершеннейшего богопознания и соприкосновения через любовь, природу, творчество и священнодействие — мирам иным.

Религиозно-культурное строительство не завершится, пока человечеством руководит Роза Мира и пока духовная жажда жива в человеческой душе. К тем формам, которые будут воздвигаться сперва, впоследствии присоединятся новые и новые. И нельзя предугадать ни характера многих из сооружений, невероятных по грандиозности, которыми ознаменуется третий этап правления Розы Мира, ни хотя бы их назначения. Я хотел бы заменить лишь несколько основных типов тех сооружений, которые, как мне кажется, будут возводиться повсеместно на первом и втором этапах. Исчерпать же их многообразие невысказанно даже по отношению к тем недалёким, ещё доступным нашему предвидению, временам.

Мне видится, как в крупнейших городах мира, а потом вообще во всех городах воздвигаются очаги и источники новой религиозной культуры: я с юности привык применять к ним наименование верграда — города веры: наименование не вполне удачное, условное, но я не знаю, как в действительности их будут называть тогда. Это — архитектурные ансамбли: осью каждого из них является храм Солнца Мира, окружённый венцом меньших святилищ. Составляя единое целое с системой парков, водоёмов, улиц, рощ и площадей, неотъемлемыми составными частями каждого верграда, особенно в крупных городах, станут мистериалы, медитории, театры, музеи, религиозно-философские академии и

университеты, галереи, философиаты, храмы Синклитов, храмы стихиалей и стадионы; в верграды включится также некоторое количество жилых домов. Подобный комплекс станет средоточьем духовной и культурной жизни города и района, центром народных празднований, чествований, массовых богослужений, шествий, спортивных состязаний, освобождённых от их прежней бездуховности и сопряжённых теперь с культом светлых стихиалей; они будут центрами религиозно-просветительной, религиозно-художественной, религиозно-научной работы, источниками солидарности, радости и совершенствования.

Чтобы не подвергать коренной перестройке центральную часть городов, верградам будут отведены, вероятно, большие районы на окраинах жилого массива. В глубь этого массива от верграда устремятся несколько широких зелёных полос или лучей. И хотя, рисуя подобные картины будущего, не следует вдаваться в подробности, потому что именно подробности наверно не совпадут с её штрихами, когда эта картина из будущего станет настоящим, я тем не менее не могу отказать себе в наслаждении рассказать об этом один раз подробнее, чем надлежит. При этом я подчеркну, что некоторые названия совершенно условны, они придуманы мною, чтобы отличать одни объекты изображений от других. Таковы, например, названия зелёных полос, соединяющих верград с городским массивом и предназначенных для празднеств, для отдыха и прогулок, для торжественных шествий: Золотой Путь, Триумфальные Сады, и третий — парк, имеющий особое, художественно-историческое значение. Все эти три парка — начинания совершенно своеобразного назначения и характера.

Это — ансамбли, возведённые на высшую ступень художественного качества и сочетающие богатые древонасаждения с мощными скульптурно-зодческими сооружениями: арками и памятниками, лестницами и фонтанами, а главное — с монументальными группами ещё небывалых жанров. Для всех них подножием представляется море цветов с газонами и водоёмами. Эти парки создадутся для того, чтобы через высокое эстетическое наслаждение развивать чувство стиля и художественного вкуса, чувства исторического и метаисторического, чувство культурного универсализма и общечеловечности.

Одним из таких парков мне представляются Триумфальные Сады, соединяющие верград с исторически сложившимся центром города: они посвящены историческим воспоминаниям данного народа. Представить себе будущую Москву, например, без Триумфальных Садов нашим потомкам будет так же трудно, как нам — вообразить нашу столицу

лишённой Кремля. Применить к этим Садам старое наименование парка, а тем более проспекта или бульвара, было бы невозможно. Широкое зелёное пространство с монументальными древесными купами, лужайками и целыми рощами, окаймлённое по сторонам проездами с узорчатой мостовой из разноцветного камня, устремляется от загородных холмов над рекой, где расположен храм Солнца Мира,<sup>[44]</sup> к Кремлю. Проезды отделяют его от фасадов зданий, то повышающихся — на углах перекрестков — до размеров, схожих с высотными зданиями, то понижающихся до нескольких этажей: это — культурные учреждения, отели, жилые дома; местами они отступают несколько вглубь, давая место площади или партеру. Сам зелёный массив прорезается в длину главной пешеходной дорогой, а вправо и влево от неё ответвляются извилистые дорожки, образуются поляны и цветники, а среди могучих древесных групп и куртин открываются, здесь и там, скульптурные сооружения нового типа. О, они будут разнообразны почти до бесконечности. Мне представляется, например, следующий странный жанр. На от крытом цоколе, прямоугольном и вытянутом, к которому ведут с трёх сторон низкие пологие ступени, возвышается стена, облицованная мрамором: красным или зелёным, серым или розовым. Её вытянутая поверхность — лишь фон. Частью почти в одной плоскости с ней, частью выделяясь из неё как горельеф, частью же свободно перед ней поставленные, композиционно связываются между собой многочисленные группы фигур: в некоторых случаях — бронзовые, в других — мраморные, но цвет мраморных фигур не совпадает с цветом мраморного фона, а составляет с ним тонкий и выразительный контраст. Так запечатлеваются в камне и металле великие события давно отшумевших времён национальной истории: принятие христианства, битва на Куликовом поле, возвышение Москвы, драматические коллизии Смутного времени и великолепная деятельность Петра — всё, вплоть до эпопей мировых войн и Великой Революции. Не угадаешь, сколько таких композиций украсит этот художественный парк: двадцать? тридцать? Но каждая из них — лишь смысловая ось отдельной скульптурно-зодческой системы: каждую композицию дополняют свободно стоящие памятники деятелям былых эпох: иногда в систему включается монументальная арка; порою из глубины зелени выглядывает строгая и скромная часовня. А на перекрестках Триумфальных Садов с городскими магистралями возвышаются своеобразные архитектурные сооружения — я не знаю, как их назовут тогда — в память таких исторических событий, характер которых легче выражается приёмами зодчества, чем скульптуры. Из этой художественной эпопеи не должны быть исключены и моменты

великих народных бедствий: татарского ига, опричнины, скорбных дней междуцарствия и многое другое. Они найдут своё выражение в простых и суровых траурных памятниках.

Другой зелёный массив, направляющийся от верграда ко Кремлю как бы полукругом, лишён парадной прямолинейности Триумфальных Садов: он посвящён деятелям русской культуры. Он распланирован свободнее и живописнее, образуя более интимный, более внутренний ландшафт и легко вписывая в него отдельные памятники. Их индивидуализация, их непосредственность, разнообразие их художественных решений и тесная связь с растительным окружением устроят опасность притупить восприимчивость посетителя избытком памятников и монотонностью скульптурных мотивов. Вместе с тем такой тип парка будет наводить на особую настроенность, совмещающую торжественность с теплотой, а благоговение с нежностью. Скульпторам, садоводам и архитекторам будущего предстоит необозримая работа над этими проблемами. Они привлекут на помощь новые строительные и облицовочные материалы, новую трактовку паркового пространства и массива городских кварталов, замыкающих его как рама и отчасти как фон; они обогатят свои композиции элементами струящейся, бьющей, неподвижно зеркальной или тихо плещущей воды, горящими под открытым небом светильнями, портиками для прогулок и террасами для священнодействий и многим другим, что подскажут их воображению потребности того времени.

Но мыслить великие города будущего замкнувшимися в почитании только своей национальной культуры — значит конструировать грядущее по моделям прошедшего. В сознании людей XXI века с каждым десятилетием будет стираться память о гранях между культурами и народами. Москву, например, тех эпох нельзя представить без памятников Платону и Копернику, Шекспиру и Рафаэлю, Вагнеру и Махатме Ганди в той же мере, как Москву наших дней — без монумента Минину и Пожарскому. Возможно, что с памятью о гениях других культур будет связан третий зелёный луч верграда.

Четвёртым же мне представляется Золотой Путь — проспект-парк совершенно особого значения. Начинаясь за несколько километров от верграда и направляясь к храму Синклита Мира, он на пересечениях своих с городскими магистралями должен быть обозначен специальными архитектурными сооружениями. Каждое из них должно выражать собой одну из великих метакультур человечества с её синклитом. Во время соответствующих праздников по Золотому Пути будут проходить многонародные шествия, и перед архитектурными символами Эанны,

Сукхавати, Олимпа, Мэру, Монсальвата, Небесною Кремля и Аримойи священство и парод будут совершать глубокий мистериальный обряд, связующий сердца живущих ныне со всем просветлённым человечеством.

Таковыми представляются мне подступы к верграду. Сам же верград слагается из трёх архитектурных комплексов: храмового, культурного и жилого. О храмовом предпочтительнее будет говорить в следующей главе, в связи с культом Розы Мира, а сейчас — бросить взгляд на некоторые сооружения, неотъемлемые от комплекса культурного.

Одно из главнейших зданий верграда — это мистериал, театр мистерий. В крупных верградах их будет, вероятно, два: драматический и музыкальный.

Генетически идея мистериала ведёт своё начало из глубокой древности: вспомним мистерии Элевзина, католические действия средневековья и, как уцелевший до нашего времени их рудимент — мистерии Страстной недели в баварском городке Обераммергау. Другие мистериальные традиции живы до сих пор в Индии, Индонезии и странах Индомалайской метакультуры. Но, не сравнимые с религиозным примитивом Средних веков, идейное богатство и глубина нового религиозного сознания вызовут к жизни такие сценические действия, которые окажутся отстоящими от старых мистерий так же далеко, как наши представления о космосе от системы Птолемея. Оборудование механизмами, о каких даже в начале нашего века никто не посмел бы мечтать, позволит воплощать литературные и музыкальные тексты многопланового содержания, мистериально отображать события, совершающиеся или совершавшиеся в иных мирах Шаданакара. Репертуар мистериалов сформируется постепенно, когда жанр мистерии нового типа, получив широкое распространение, вызовет появление монументальных драматических эпопей этого рода. Но из ресурсов мировой поэзии и музыкальной драмы уже и теперь могли бы быть привлечены к постановке в мистериалах немало первоклассных произведений. Трагедии Эсхила, «Фауст», «Орфей», драмы Калидасы и Тагора, «Пер Гюнт», «Лоэнгрин», «Парсифаль», «Сказание о граде Китеже» — все эти шедевры могут и должны быть, наконец, философски и сценически трактованы как мистерии. Уже даже теперь театральная техника была бы в состоянии заменить наивную бутафорскую сказочность старых постановок тонким, мистически убедительным отображением многослойных реальностей мира. Вырисовываются перспективы такого технического могущества, когда иерархии смогут быть сценически отображены не в сниженном, уплощённом, убого-очеловеченном виде, но в гигантских обликах,

туманных или светящихся, проносящихся, как веяние ветра, или вздымающихся, как огненные смерчи. Обогащение технического оснащения кинематографическими средствами раздвинет пространство сцены и позволит расслоить его на любое число планов, таким образом отражая параллелизм событий и процессов, в них совершающихся. Всё это обеспечит появление таких постановок, относительно художественного великолепия и философской глубины которых нам составить себе представление ещё нельзя.

Но к постановкам театральным исполнение подобных мистерий не может быть приравнено: мистерия стоит на полдороге от театра к культу, и многие стороны роднят её с богослужением. Поэтому образование коллектива исполнителей и постановщиков мистериала ни в коем случае не должно преемственно связываться с такими формированиями, как театральная труппа. Этические нормы, прилагаемые к коллективу мистериала, атмосфера и обычаи, в нём царящие, религиозное горение, без которого он теряет свой смысл, — всё это не прилагалось и не может прилагаться к артистам театра. Артисты мистериала образуют коллектив, имеющий черты сходства отнюдь не с труппой, а с её антиподом: с монастырём. Совместное обитание подле мистериала, подчинённость повседневной жизни смыслу мистерий, внутренняя работа над собой, изгнание из личных отношений всяких признаков враждебности, зависти, соперничества и т. п. — разве такие установки могут возбудить у артистов театра иное отношение, кроме огульного отрицания всякой возможности воплотить эти принципы в жизнь? — Однако, напрасно искать между коллективом мистериала и монастырём слишком много общих черт: «единица» такого коллектива заключается не в одиноком бессемейном иноке, но именно в семье каждого члена; безбрачие никому, разумеется, не может быть вменено в обязанность. Не нужна, даже недопустима и та степень изолированности от мира, которая отличает монастырь: артист мистериала не отрезает себя от жизни, он находится одновременно в ней и над ней; задача — в отыскании таких внешних форм существования, которые выражали бы это внутреннее положение и способствовали бы ему.

Одному из основных видов внутренней работы — созерцанию — служат особые здания, входящие во всякий верград как его необходимый компонент: медитории. Окружённый тихим и безлюдным садом, разделённый на небольшие звукоизолированные помещения, медиторий представляет собою круглое, башнеобразное здание в несколько этажей. Вокруг лестнично-лифтовой клетки радиусами расположены однотипные, очень просто обставленные кабинеты: удобное кресло, кушетка, небольшой

стол, за окнами — деревья сада. Посетитель получает на несколько часов возможность пользоваться совершенной тишиной и покоем; в его распоряжении — предметы, необходимые для разного рода медитаций: цветы, зёрна, минералы, скульптурные и живописные изображения, иконы. В первом этаже может быть оборудована религиозно-философская библиотека.

Дома творчества, иногда расположенные в пределах верграда, но чаще за городом, не представляли бы, в сущности, ничего нового. Не имеет смысла останавливаться здесь и на таких учреждениях верграда, как музеи, учёные и учебные заведения, клубы и небольшие, тихие, укрывшиеся среди зелени монастыри. Но нелишне, мне кажется, указать на философиат — особое культурно-просветительное и религиозно-образовательное учреждение. У этого учреждения имелись бы черты, роднящие его с Домами культуры нашего времени. Философиат организовывал бы и предоставлял помещение для выставок, лекций, кружковой работы, собеседований, конференций; его сотрудники вели бы широкую работу среди населения. При этом огромное внимание уделялось бы вовлечению в русло религиозно-научного и религиозно-художественного творчества детей и юношества. О, религиозный элемент ни в коем случае не может навязываться и преподноситься в виде надоедливых рацей и сухих схем, внедряться в сознание в качестве готовых и неукоснительных моральных норм. Он действует вглубь: он развивает в человеке чувство прекрасного, чувство великого, чувство глубокого и высокого; чувство метаисторическое и чувство космическое; любовь к природе и любовь к культуре; любовь к человеку и ко всему живому: восприятие мира как ряда просвечивающих друг сквозь друга слоёв. И из этого формирующегося мироотношения органически возникают и определяются этические и религиозные требования к самому себе. Воспитание Розы Мира не опутывает человека сетью нормативов, выработанных без его участия и не считающихся с его индивидуальностью. Наоборот: оно пробуждает в самом человеке внутренний источник религиозно-нравственной деятельности, способствуя всячески его проявлению и помогая кристаллизации вытекших из этой глубины духовных струй в образы творчества, в осознанные веления этики, в принципы самовоспитания.

По мере роста религиозно-культурного строительства верграда будут сооружаться всё в большем числе городов, а в крупных городах — по несколько, пока ими не окажутся насыщены все города земного шара. Отдельные же компоненты верграда, в особенности храм Солнца Мира, храмы стихиаей и философиат, могут быть воздвигаемы и независимо от

остального ансамбля.

Так свяжутся верграды с массивами городов, войдут в толщу жилых кварталов, в глубину жизненных интересов, в повседневность широчайших народных масс. Подле них или даже внутри них могут воздвигаться и храмы других вероисповеданий. Сердце же верграда — это храмы Солнца Мира, Синклитов и стихиалей. И, заканчивая очерк о предстоящих универсальных преобразованиях, я считаю необходимым хотя бы бегло осветить их назначение, их устройство и неотъемлемый от них, как дыхание, многообразный культ.



## Глава 3

### Культ

Провиденциальные силы на страже всегда. Они всегда готовы прийти на помощь каждому из нас. Они постоянно трудятся над каждым из нас — над его душой и его судьбой. Каждая душа — поприще их борьбы с демоническим началом, и вся жизнь души — непрерывная цепь выборов, встающих перед «я», — выборов, усиливающих или парализующих помощь ему со стороны светлых начал.

Душа подобна путнику, перебирающемуся через шаткий мост. С другого берега протягивается к ней рука помощи, но, чтобы принять эту помощь, путник должен протянуть руку и сам. Такою рукой, протягиваемой навстречу силам Света, является каждый благой выбор, каждый правый поступок и каждое светлое движение души, и в том числе молитва. В этом и заключается зерно ответа на вопрос: зачем молитва? и зачем богослужение? Слово «молитва» я употребляю здесь в очень широком смысле. Это и уединённая беседа души с Богом или с сотворящими Ему силами Света; это и состояние умиления, благоговения и духовного восторга, охватывающее сердце при созерцании Прекрасного, Высокого или Великого; это и тот катарсис, через который поднимают душу человека окрыляющие произведения искусства; это и участие её в очищающих и возвышающих действиях храма.

Молитва может быть келейной — уединённой — или соборной, когда её бессловесная песнь вливается в торжественный поток богослужения. Оба эти действия в равной мере необходимы. Уединённая молитва есть такое напряжение души, когда она, удалённая от духовного Средоточья мира, но связанная с ним единственной и неповторимой струной, заставляет звенеть эту струну высоким звучанием, отгоняющим тени ночи. Молитва же соборная есть согласное напряжение тысяч таких струн, это есть хоровая песнь, наполняющая каждую отдельную душу предощущением всеобщей гармонии. Ибо богослужение есть не произвольное действие, придуманное людьми, но действие мистериальное, то есть такое, которое отображает гармоническую действительность высших сфер и низводит её силы в наше сердце. Отсюда — глубочайшая оправданность того, что мы называем культом. И отсюда же напряжённая молитвенная жизнь — творческая и мистическая жизнь грядущих храмов Розы Мира.

Что такое обряд? — Это есть священнодействие, на основании внутреннего опыта человека установленное, ради снискания помощи ему сверхчувственных светлых сил или ради предотвращения враждебных воздействий на него со стороны сверхчувственных сил тёмных.

Что такое таинство? — Это есть такое священнодействие, при совершении которого сверхсознательные корни человеческой воли принимают божественную благодать, то есть преисполняются сил для движения к гармонии между личностью и вселенной, духом и плотью, человеком и Божеством.

Поэтому безучастность сознания или недостаток веры со стороны того, над кем таинство совершается, не лишают таинство его действенности. Отсюда — возможность совершения таинств над неверующими, тяжелобольными и детьми. Но участие разума и личной веры облегчает и ускоряет течение токов благодати от сверхсознательных корней воли в сферу дневного сознания.

Трансрациональная и сверхличная природа таинств обуславливает их действенность при недостатке или даже отсутствии веры и мистической сосредоточенности также и со стороны тайнодействующего. Отсюда — независимость действенности таинства от личных свойств и от душевного состояния священника. Но его сосредоточенность, вера и вникновение в смысл совершаемого, передаваясь тому, над кем таинство совершается, облегчает последнему восприятие благодатного тока.

Таинство может быть совершено каждым. Но ради большей действенности предпочтительнее его совершение людьми, прошедшими соответствующий искус, духовную и культурную подготовку, завершающуюся посвящением, которое само по себе тоже есть одно из таинств. Суровый многолетний искус, через который подобает проходить священнику, обеспечил бы сознательность его подхода к совершаемым действиям, сосредоточенность его воли и веры в момент таинства и, таким образом, его наибольшую действенность.

Однако природа таинств не содержит ничего, что могло бы, при совершении таинства лицом верующим, хотя и не получившим посвящения, нанести духовный ущерб ему или тому, над кем таинство совершается. Поэтому совершение таинств мирянами не может быть запрещено; в случаях же неотложной потребности в таинстве и при отсутствии священника такое действие должно быть приветствуемо. Таинство не может совершиться только в том случае, если один из участников — тайнодействующий или тайнодействуемый — подходит к нему с кощунственной целью.

Признавая мистическую действенность таинств, установленных древним христианством и совершаемых священниками христианских церквей, нельзя, однако, не отметить, что вследствие сдвигов, происшедших в мировом религиозном сознании за последние века, наше изменившееся понимание стремится вложить в некоторые таинства, например в евхаристию, существенно новый смысл. Главное же, новое религиозное сознание усиливает душевную потребность в таких таинствах, о каких не могли тосковать ни отцы великих христианских церквей, ни установители и творцы внехристианских культов. И не только таинства: эта потребность распространяется на всю область священнодействий. Она тоскует по соборным молитвам, возносимым к таким инстанциям невидимого мира, которых не могли осознавать творцы древних религиозных форм. Она жаждет обрядов, которые освящали бы и благословляли всю жизнь: не только движение человеческой души по вертикали вверх, то есть душевное возвышение, но и движение человека по горизонтали, то есть расширение им объёма своей души. Эта тоска, возникшая давно и никогда вполне не угасавшая, в эпоху мировых войн достигла своего апогея. Она достигла той степени силы, когда вопль, восходящий к духовному небу, не может не вызвать ответа.

Дух дышит, где хочет. Уверенность в том, что откровение в послеапостольские века осеяло только отцов церкви и кристаллизовалось во вселенских соборах, остаётся в том типе сознания, который находит адекватные себе формы в старых христианских конфессиях, — и только в нём. Сознание нового типа слышит голоса откровения и в гимнах Вед и Эхнатона, и в высоком духовном парении Упанишад, и в прозрениях Гаутамы Будды и Рамануджи, Валентина и Маймонида, и в гётевском «Фаусте», и в музыкальных драмах Вагнера, и во многих строфах великих поэтов — слышит его не менее явственно, чем в песнопениях Иоанна Дамаскина и в литургии Василия Великого. Более того, оно слышит его в собственной глубине и жаждет его воплощения в совершенных формах.

Слишком долго ждало человечество, что новый голос раздастся с церковных кафедр и амвонов. Все существующие вероисповедания оказались способными лишь к сохранению древнего содержания и древних форм. Голос звучит, откуда не ждали: из глубины повседневности, из неизвестных квартир в гуще больших городов, из тюремных камер, из одиноких полных комнат, из лесной глуши. Его глашатаи не рукоположены священниками Запада или Востока. И ни у православных патриархов, ни у римского первосвященника, ни у теологов протестантских церквей не получило признания то, что они говорят. Но будет день, и ими

возвещённое станет тем средоточием, у которого сойдутся и теологи, и патриархи, и первосвященники всех религий и, забывая о древних разногласиях, скажут: Да.

Передать ли хоть отдалённый отблеск впечатлений от службы во храме без привлечения на помощь обширных выдержек из поэтических и музыкальных текстов этих служб? Но освещение богослужебных текстов выходит далеко за пределы моей книги. Они уже веют и звучат в душевной глубине, и каждый, кто их предчувствует, стремится подготовить себя к их словесному и музыкальному воплощению. Уже различаются отдельные речения, отдельные возглашения хоров и священств, ясно видятся порою отдельные мгновения этих священнодействий, полные непередаваемой красоты. Дожить до лет, когда эти таинства предстанут зримо и явно не в творческом предвосхищении, но в храмах, воздвигнутых на площадях верградов и полных поюще и склоняющею толпой, мне не суждено. Молю Бога продлить сроки моей жизни хотя бы до тех дней, когда, успев закончить всё остальное, что я должен, я смогу вслушаться и воплотить в слове богослужения Розы Мира — последнюю из моих книг.

Что же я могу — теперь и здесь? Лишь дать несколько беглых указаний на сухом и бесстрастном языке о внутреннем пространстве этих святилищ и о назначении некоторых из них.

Центр верграда, его сердце и в то же время его вершина — это храм Солнца Мира. Без многих других сооружений можно представить верграды в небольших городах, только без храма Солнца Мира невозможно.

Почти с детских лет стоит перед моим душевным зрением образ этого храма. Я вижу его слишком обобщённо для того, чтобы суметь передать его в чертежах и в живописных эскизах. Но чувство не сравнимого ни с чем великолепия охватывает меня всякий раз, как он передо мною возникает. Облицованный чем-то похожим на белый мрамор, он возвышается на гребне холмов над речной излучиной, и к нему ведут широко раскинувшиеся лестницы. Каждая из таких лестниц поднимается к нему с одной из четырёх сторон, как бы раздвигая тяжёлый цоколь и разрезая пояс монументальных колоннад, на цоколе возвышающихся. Каждую лестницу встречает высокая белая стена с тремя полукруглыми воротами и с золотой эмблемой наверху: крылатое сердце в крылатом солнце. Над колоннадами и над центральной стеной поднимаются кровли: являя собой сложную систему мощных золотых ступеней, они служат как бы пьедесталами для пяти белых, слегка сужающихся кверху башен. Центральная башня огромнее остальных, но все пять украшены узкими вертикальными членениями и увенчаны золотыми куполами; кажется, облака цепляются за

странные их кресты.

В сущности, каждая башня венчает особый, заключённый под нею придел; под центральной башней уступообразные кровли — величественнее, внутреннее пространство святилища, расположенного под ней, — шире и колоссальнее; оно устремляется ввысь, непосредственно переходя во внутреннюю полость главной башни. Там, в самом куполе, на головокружительной высоте, ровным светом сияет сквозь медленно меняющиеся голубоватые клубы, эмблема пылающего Солнца, вписанного в равноконечный крест с четырьмя заостряющимися лучами.

Мне кажется, неф центрального святилища окаймлён рядами поддерживающих хоры колонн и обращён к широкому амвону; амвон отделён аркадою от главного алтаря. Бывают праздничные службы, когда заалтарный образ-витраж раздвигается, открывая высокий проём во внешнее пространство. Становятся видными северо-восточный отрезок горизонта и утренний диск летнего солнца, всплывающий из-за городских крыш, чтобы начать своё шествие по небесной дуге самого длинного дня в году. Через проём, образовавшийся позади алтаря, предстоящие выходят на открытую террасу над городом, обращённую на северо-восток. Здесь, видимый и собравшимся на площади, и молящимся во храме, верховный наставник совершает торжественную службу Солнцу в трёх его значениях: как воплощению великого жизнетворящего духа; как отчему лону, из которого изошло телесное существо всей Земли и всего земного: и как образу — подобию Всевышнего.

Оборудованный совершенной техникой, храм располагал бы возможностями к устранению любых внешних неудобств или помех для собравшихся и к обеспечению внешней стороны самых сложных, многочисленных и великолепных действий. Пульт управления механической частью был бы, вероятно, вынесен на хоры; там же расположились бы органы, места для оркестров и клиров.

Направо и налево от главного алтаря, в котором протекают также служения, обращённые к Первой Ипостаси, мне представляются приделы Приснодевы-Матери и Бога-Сына: они сообщаются с центральным залом двумя высокими арками; тяжёлые занавесы закрывают проёмы этих арок в обычные дни. Если же оглянуться назад, то по сторонам от главного входа, увидишь две другие подобные же арки; за ними — приделы Синклита России и Синклита Мира.

В верградах небольших городов не будет необходимости в отдельных храмах, посвящённых одной из ипостасей Троицы или в отдельных храмах Синклитов: потребность в этих культах могут удовлетворять служения в

соответствующих приделах храма Солнца Мира. Но в больших городах наряду с такими приделами неизбежно возникнут особые храмы именно этого назначения.

Культ Единого, культ Солнца Мира не сможет исчерпать того религиозного осмысления, которое Роза Мира даст событиям истории, событиям культуры, событиям личной человеческой жизни. Таинство рождения; обряды, сопутствующие различным возрастам детей и их возмужанию; таинство брака и таинство расставания; таинство побратимства — священнодействие, благословляющее союз двух душ в высокой дружбе; благословение творчества художественного, воспитательного, врачевательного, общественного, творчества любви, творчества семьи, творчества просветления животных, творчества даже таких родов и форм, которых мы ещё не предвидим, — всё это войдёт в ритуал Розы Мира, направляясь в одних случаях — к инстанциям христианского трансмифа, в других — к Синклитам метакультур и Синклиту человечества, к Великим Стихиялям и к Матери-Земле и, наконец, к Той, на Чьё приближение к нам мы уповаем.

О, культ Приснодевы-Матери и Её выражения на земле — Звенты-Свентаны — будет прекрасным, как весеннее небо, и таким же незапятнанно чистым. Мужского духовенства этот культ не должен знать. Осторожность и бережность во имя охраны от малейшей мути должны быть в нём неусыпнее и тщательнее, чем в любом ином. Гарантировать его чистоту было бы невозможно, если бы в ритуальных действиях принимали участие духовные лица обоих полов или даже только мужчины. Лишь исключительная ясность сознания и очищенность души могла бы быть порукой, что священник никогда не внесёт в эти священнодействия, вольно или невольно, капли тонкого душевного яда, не примешает в атмосферу чистейшего поклонения струй духовной влюблённости, некоторой эмоционально-поэтической экзальтации. Поэтому вход в алтари Приснодевы и Звенты-Свентаны должен быть мужскому духовенству запрещён, исключая двух или трёх особых праздников в году, когда священнослужительницам сослужит один из первосвященников. И поэтому же храм Приснодевы соединён со своеобразным женским монастырём, — но не тем монастырём старых времён, который ломают судьбы «бременами неудобноносимыми», но монашеством строгих обетов, даваемых на столь же строгий срок, не более десятилетия. Никто не воспрепятствует — напротив: церковь благословит священнослужительницу, по истечении срока, ещё в расцвете сил, сложить с себя ношу иноческого служения и возвратиться в мир для исполнения её долга общечеловеческого: любви,

материнства и воспитания.

Но будет, вероятно, и другая категория среди духовных лиц этой второй, голубой иерархии: женщины, уходящие в храмовую жизнь на склоне своих лет, когда всё личное в душе уже перегорело. Только преклонный возраст позволит им с успехом подвизаться на тех поприщах, на которых, помимо культа, голубое духовенство будет проявлять себя: в области воспитания, ухода за больными и, может быть, этического врачевания преступников.

Есть неизбежно огромная область человеческой жизни, с которой до сих пор непосредственно связано лишь одно таинство христианского культа: это область отношений между мужчиной и женщиной и связанное с ней таинство бракосочетания. В главе о Женственности я уже указывал, что великая аскетическая эра, так жёстко и сурово отпечатавшаяся на историческом христианстве, привела к тому, что брак и деторождение были освящены таинством, но высшим состоянием продолжало считаться иночество. Правильнее сказать, что брак и деторождение терпелись поневоле — и только. Есть некое, не всеми сознаваемое противоречие в обрядах, когда благословение на брак испрашивается у таких инстанций духовного мира, которые как раз оправдывают, как прямейшую дорогу к ним, безбрачие и самоограничение. А инстанции христианского мифа именно таковы. Уместно ли испрашивать благословение на брачное сожитие у Иисуса Христа, Которого кощунственно даже мыслить вступившим в человеческий брак? Или у великих святых, достигших святости именно в безбрачии? Или у Пресвятой Девы Марии? — Говорят про чудо в Кане Галилейской. Но разве мыслимо этот единственный в своём роде эпизод евангельской истории противопоставлять повелительному духу всех её остальных глав, всем бесчисленным речениям евангелистов, апостолов и Самого Христа, указывавших на отречение от всех земных привязанностей как на наивысший идеал? Очень правдоподобно, что если бы миссия Христа в Энрофе не прервалась, то чудо в Кане Галилейской оказалось бы началом такой цепи Его деяний, которые в конце концов привели бы к полному преобразованию физической данности брака и любви. Но этого не совершилось. И не удивительно, что таинство бракосочетания оформилось словесным текстом, не лишённым надуманности и сухости. Чувствуется, что «Исайя, ликуй!» создавалось каким-нибудь чернецом по приказу высших иерархов. Освятить глубоким и осмысленным обрядом такой потрясающий своей значительностью момент, как рождение человека, никому в христианстве даже в голову, по-видимому, не приходило. Развод же — богословски и фактически — оказался почти

невозможен: «Что Бог соединил, человек да не разъединяет».

Однако ведь когда воля Божия сказала в соединении двух любящих, она проявилась не в громе и молнии, не в чудесном вторжении иерархий в наш видимый мир, а просто в голосе любви, заговорившем в двух сердцах, и в их собственной воле к этому соединению. Этот голос любви и был воистину божественным голосом; таинство же брака есть мистериальное действие, имеющее целью низвести в волю обоих любящих высшие духовные силы, которые помогут им осуществить эту любовь в совместной брачной жизни, не замутняя, не искажая и не истощая любви. Ну, а если в их сердцах заговорила воля к расставанию? если один из двоих убедился, что любовь иссякла, а взамен её возникла, столь же непостижимо, как и первая, новая любовь, обращённая на третье лицо? И возникла притом не в качестве мимолётного влечения, а в виде глубокого, непобедимого чувства? Кто это сказал, откуда это известно, каким мудрецом провозглашено, будто любовь может прийти к каждому человеку только один раз в жизни и ни в коем случае не больше? Какое пуританское незнание душ человеческих может навязывать всем этот путь единиц? И если даже такой новой любви не возникло, а только оба убедились, что продолжение совместной жизни — обоюдная, никому не нужная мука, и жаждут освобождения — разве жажда свободы не есть проявление в человеке той же исконной божественной воли? Речение Христа «Что Бог соединил, человек да не разъединяет» — это не юридическая норма, а нравственный завет, духовное предупреждение. Оно означает, что если Бог, то есть голос взаимной любви, услышанный двумя сердцами, соединил обе их жизни, пусть каждый из них остережётся разрывать этот союз, подпав соблазну слишком человеческих побуждений: потаканию своей низшей, самостной свободе, эгоизму, беглым увлечениям и страстям, лени, похоти, нетерпению. Почему же мы налагаем таинством брака нерасторжимые узы на всю жизнь? Как будто таинством нельзя низводить духовную помощь в круг таких усилий, которые имеют в виду брачный союз на длительный срок, а не на вечность! Почему мы освящаем таинством соединение любящих и не желаем освящать другим таинством боль их расставания? Разве не может быть такого мистериального действия, которое имело бы целью низведение в волю обоих расстающихся новых духовных сил, помогающих им очистить сердце от взаимной враждебности, мелкого недовольства, ревности, зависти, себялюбия, обид, возвести внутренний акт расставания в более высокий план и, расставаясь в качестве супругов, остаться взаимно уважающими, взаимно расположенными, взаимно благодарными друзьями?

Да ведь и самый брак может быть разных форм и видов. Мне думается,



что, когда перед алтарём предстают юноша и молодая девушка, не нужно налагать на них брачные обеты на больший срок, чем на несколько лет, да и помощи им уместно просить не у инстанций христианского трансмифа, а у Матери-Земли и даже у Всенародной Афродиты человечества. Только по прошествии ряда лет, если союз окажется прочным и любовь не иссякнет между ними, можно другим таинством, обращённым только к Матери-Земле и к Солнцу, низводить благодатную помощь на следующий, более длительный этап — на длительный этап, но тоже не на вечность. И только если минует и этот срок, а любовь между супругами окажется прочной и углубляющейся, выдержит все испытания жизни, будет возрастать, и когда оба они, пред лицом надвигающейся смертной разлуки, испытают потребность благословения свыше своей любви как любви на веки веков — тогда священнослужительница Приснодевы-Матери скрепит их духовные судьбы таинством вечного брака, вечного спутничества друг другу во всех мирах.

Что касается архитектурного облика и художественного стиля храмов, посвящённых Приснодеве-Матери, то мне они рисуются как бы вариантами храмов Солнца Мира. Легко угадывается при этом, что преобладающим в их интерьерах цветами будут оттенки голубого, а внешняя отделка зданий либо серебристо-голубоватой, либо сочетающей золото, синь и белизну.

И естественно предположить, что рядом с храмами Приснодевы найдут своё место храмы Бога-Сына, в основном посвящённые образу Иисуса Христа. Мне не думается, чтобы этот культ резко разнился от культов старого христианства; значительные отличия, однако, всё-таки неизбежны. Старинные богослужебные тексты отягощены грузным наследием Ветхого Завета, а ветхозаветность — это как раз тот элемент в христианстве, который ждёт своего пересмотра прежде всего. И всё то в богослужении, что пропитано этим древним иудаистическим духом, не сможет быть оставлено в неприкосновенности. С другой стороны, в христианском культе не найти ни единого намёка на то, в чём заключался восходящий путь, деятельность и творчество Иисуса Христа после той Его трансформы, которая упоминается в Евангелии как вознесение. А между тем с этого дня прошло свыше 19 веков; Спаситель и Его великие друзья, в неустанной борьбе с силами Противобога, преобразили целые системы миров во всех метакультурах, из кругов вечных страданий превратив их в чистилища; величайшие из просветлённых, те, кто входит в Элиту Шаданакара, творили и творят изумительнейшие миры. Напомню, что основы Уснорма, слоя вечного богослужения всех человечеств Шаданакара, созданы тем великим духом, который в последний раз прошёл по земле в

образе апостола Иоанна Богослова. Невозможно забыть также, что планы таких миров, как Небесная Россия, романо-католический Эдем, Византийский Рай, Монсальват, сотворены великими духами, известными нам под именами апостолов Андрея и Петра, Иоанна Крестителя и легендарного, запечатлённого только в эзотерических сказаниях Титурэля. И до каких же пор следует сохранять гробовое молчание о той непрерывной, множество форм принимавшей и принимающей борьбе, которую ведут силы Христа с тысячеобразными порождениями Противобога, с его меняющимися мировыми замыслами? До каких пор и во имя чего делать вид, будто мы не знаем ничего о мировых перспективах, ждущих нас — о грядущем антихристе, его царстве и гибели, о том, что зашифровано было две тысячи лет назад в пророчестве о втором пришествии и Страшном Суде? Кто дал нам право держать под семью печатями головокружительную радость от знания о неизбежно грядущем «тысячелетнем царстве», когда миллионы просветлённых, взошедших, восходящих и долженствующих взойти в затамисы метакультур, возродятся на преображённой Земле и когда начнутся те тысячелетия, смысл которых — спасение всех павших в нижние слои Шаданакара, воссоединение с ними, борьба за обращение демонических сил на восходящий путь, просветление всех слоёв брамфатуры и искупление самого Противобога? Всё это и многое другое не может долее оставаться неотражённым в культе Спасителя Христа, об этом не смеем мы дольше молчать в богослужениях Логосу.

С этим культом будет связана третья из иерархий духовенства Розы Мира. Если первой их них — иерархии Триединоного Бога, чтимого под символом Солнца Мира, и Его первой ипостаси, Бога-Отца — может быть присвоен золотой цвет, а второй иерархии — голубой или синий, то, согласно мистической традиции, духовенство Бога-Сына, Планетарного Логоса, Иисуса Христа закономерно представляется облачённым в одежды белого цвета.

Все эти три иерархии, все три культа имеют универсальный, космический смысл; по самому существу своему они могут и должны быть едиными для всего человечества. Но, сверх того, учение Розы Мира обладает такими аспектами, каждым из которых она обращается только к одному сверхнароду, к людям одной культуры. Метаисторическое объединение человечества — величественный процесс, могущий протекать лишь с постепенностью. Пока существуют метакультуры, со всей спецификой их исторических выражений, единое учение будет преломляться сквозь различные культурные призмы, и в этих

преломлениях скажутся различия исторических судеб, фонда знаний, накопленной мудрости и исторического долженствования. Единая в своих высших проявлениях, Роза Мира в каждой из культур создаст для себя как бы фундамент в виде некоторого этического и метаисторического учения, сопровождаемого культом и обращённого только к данному сверхнароду или нации. Такое учение будет говорить о слоях данной метакультуры, о её синклите и её затомисе, её шрастрах и её античеловечестве, о судьбах и образах её великих праведников, гениев и героев — обо всём том, что непосредственно и горячо затрагивает только тех, кто принадлежит к этой культуре. Оно будет учить осмыслению её прошлого и настоящего, оно уяснит задачи, стоящие перед этим сверхнародом, — задачи неповторимо индивидуальные, исторически отличные от задач, стоящих перед народами других метакультур. Воспитывая поколения, оно сосредоточит внимание на выпестывании преимущественно тех сторон личности, которым предстоит проявиться всего активнее, когда воспитуемый включится в творческую борьбу за осуществление исторических задач данной культуры.

Таким аспектом единого учения, обращённым, например, к народу японскому, мог бы быть преобразованный шинтоизм.

Аспектом, обращённым к народу еврейскому, могло бы стать преобразованное иудейство.

Аспект, обращённый к народу германскому, был бы создан впервые на основе метаисторического откровения, сходящего в культуру Германии; этому аспекту можно было присвоить условное наименование *Deutschentuhm*.<sup>[45]</sup>

В аспекте, обращённом к народу индийскому (его было бы правильно, если не ошибаюсь, назвать бхараттва), был бы подытожен метаисторический опыт именно этого народа.

Тот аспект всечеловеческой религии, который обращён к народу российскому, и только к нему, есть россианство. Оно учит о нашей метакультуре, о нашем Синклите, об исторических и запредельных деяниях русских героев, гениев и святых. Оно учит о светлых и тёмных иерархиях, проявляющих свою волю в нашей культуре и истории, о религиозном, культурном и социальном долженствовании нашего сверхнарода, о русской нравственности — личной и социальной. Оно подготавливает русских к всечеловеческому служению. Оно вырабатывает россианский культ.

Отсюда — неизбежность четвёртого культа и четвёртой иерархии Розы Мира. Цвет, который ей надлежит присвоить, будет, возможно, пурпуровым. Для народов России этот культ будет россианским, эта иерархия — россианской иерархией. Но и в России, и во всякой стране

возникнет то, что я привык называть, за неимением другого, более правильного слова, пантеонами: храмы Синклита данной страны.

Мне представляется большой, овальной формы зал, со входом на одном из узких концов его, с алтарным возвышением на другом. На громадном, вытянутом вверх запрестольном образе в россианском храме туманно светятся условные облики: многокрылый демиург Яросвет и восседающая на троне, осенённая демиургом Навна с Младенцем-девочкою Звентой-Свентаною на коленях. Не стены — только колоннады отделяют этот зал от кольцеобразного вокруг него придела: там, в полусумраке высоких ниш, приподнятых рядом ступеней над полом, затуманенно сияют узкие, высокие метапортреты родомыслов, гениев, вестников и праведников нашей страны. Перед каждым из них в урочный день зажигаются огни, совершаются служения, и, быть может, у этих служб будут некоторые черты сходства с акафистами православия. По наружной же стене храма, в соответствующих нишах, белеют скульптурные портреты — портреты в общепринятом смысле этого слова, — такие образы этих людей, какими обладали они при жизни. Ибо метапортреты, перед которыми могут протекать служения, суть лишь условные изображения просветлённых: таких, какими пребывают они в затомисе. Невозможность точно воспроизвести четырёхмерный образ в двухмерной плоскости и выразить девятицветную спектральную гамму тех миров семицветными средствами Энрофа обусловит, конечно, относительность этих метапортретов. Но сколь бы условен ни был такой образ, достоин принимать молитвословия именно он и только он, ибо внутренним правом и смыслом обладает только та молитва, которая обращена не к человеческим существам, какими были эти души на земле столько-то десятилетий или веков назад, а к их просветлённому, запредельному существу, ныне пребывающему и творящему в России Небесной.

Наряду с пантеонами отдельных сверхнародов и наций будут воздвигнуты, конечно, и пантеоны человечества — Синклита Мира и Элиты Шаданакара. Думаю, что со временем ни один город не обойдётся без такого пантеона, потому что великие духи, достигшие этих наивысших миров, — друзья и сотворцы всего человечества.

Но верграды включают ещё один род святилищ, и подобных храмов ещё не было да и не могло быть никогда. Место им — не иначе, как подле водоёмов — рек, озёр или каналов с проточной водой. Это — храмы стихиалей.

Роза Мира укажет путь к тому, чтобы наслаждение от соприкосновения с плотью природы делать всё шире, наше счастье от

общения с её духами — всё глубже, а нашу радость от исполнения долга перед ней — всё чище и оправданнее. До сих пор, по-видимому, только индийские религии с их заветом «ахимсы» — запретом нанесения страдания какому бы то ни было живому существу — приблизились к подлинной религиозно-этической любви к природе. Но ахимса имеет в виду главным образом людей и животных; стихии остаются вне пределов завета, если не считать души некоторых рек. А между тем давно уже время понять, что мы, вырубая леса под корень, безбожно насилуя течение рек во имя извлечения гидроэнергии, а луга и поля заменяя ландшафтом убогих пригородов и посёлков, наносим ущерб. И прошу не принимать эти слова за традиционные вздохи праздных, поэтически настроенных натур: ущерб, этим наносимый нами самим себе, совершенно конкретен, хотя и не утилитарен. Это — тот самый душевный изъян, тот самый разрастающийся вакуум в душе человечества, который образуется вместе с заменой природы антиприродой. Тот изъян, который состоит в гипертрофии двух сфер человеческого существа — рассудка и примитивной чувственности и в отмирании всех остальных его потенций. Этот изъян растёт параллельно тому ущербу, который мы наносим дивным мирам Лиурны и Арашамфа, Дараинны и Мурохаммы, Фальторы и Страны Эльфов. И, напротив, сажая деревья, ухаживая за лесами, расширяя сады, учреждая заповедники, озеленяя города, мы творим добро не только себе, но и им. Но этого ещё недостаточно. Поскольку нами и в этом руководит утилитарный интерес, жажда материальной выгоды, постольку всё это и обогащает нас только материально. И лишь в те времена, когда мы станем делать всё это не ради себя, а именно ради просветления природы, ради расширения в ней областей, животворимых светлыми стихиялями, и изгнания из неё стихиялей демонических — только в те времена мы начнём осуществлять по-настоящему наш прекрасный долг по отношению к ней. Ничто так не привлекает светлых стихиялей, как садоводство и древонасаждение. Без садоводства, сосредоточенного рядом со святилищами и распространяемого по всей земле, мыслить культ стихиялей невозможно. Естественно также, что этот культ освятит и одухотворит своими весёлыми и чистыми священнодействиями этапы ежегодных полевых работ, а многие обряды будут так просты и поэтичны, что войдут во всеобщий быт, так как их сможет исполнять всякий, даже ребёнок.

Следует постоянным чувством дружбы со светлыми стихиялями одухотворить спорт. Почему средний тип спортсмена наших дней поражает примитивностью своей психологии? Отчего мысли его поглощены только вопросами спортивной техники, а над его чувствами властвуют инстинкт

соперничества, бесёнок честолюбия да огромный, мускулистый бес самодовольства? Причины этого многообразны, но главная та, что он замкнут в своей утилитарно-физиологической любви к природе. Он и не подозревает возможности осмысления связи со стихиями, среди излучения которых он пребывает так часто и так подолгу. Он остаётся за тысячу вёрст от мысли, что если его тело погружается в воду и мчится великолепным брассом, восхищая зрителей, то как бы ни был он сосредоточен мыслью на правильности своих движений, но одна частица сознания должна непрерывно, жадно следить, вчувствоваться, вдумываться в струи и брызги воды — в эти крылья и руки существ Лиурны, с упоением обнимающие его тело. Если он на лыжах устремляется с горы, одна частица сознания, чем бы ни были заняты другие частицы, должна осязать привлечённых его смелостью, ловкостью и быстротой, целующих его ветром в лицо стихиаей Нивенны и Ахаша; а скольжение этих пушистых снегов и плавные изгибы земной поверхности надо воспринимать подобно тому, как воспринимает человек изгибы телесных форм женщины, которую он любит.

Потому что Земля — не только наша мать; в каком-то глубочайшем смысле, которого ещё нельзя изъяснить, она — и наша возлюблённая. Следует вспоминать завет Достоевского, заклинавшего нас целовать землю, и расширить этот завет, дав возможность нашим ногам целовать землю постоянно, при каждом шаге. Этой удвоенной радостью — радостью от прикосновения стихий и радостью от сквозящих за ними светлых стихиаей — пронизуются игры, танец, омовение, спорт, полевой труд, цветоводство и огородничество, воспитание животных, туризм, вся физическая культура. Это и будет культ стихиаей, мирный и весёлый культ, полный счастья. Он будет сопряжён с посадкой деревьев и цветов, с расчисткой зарослей, с богослужением Солнцу и Земле, с посвящёнными стихиям народными действиями.

Влияние человечества на стихиаей — огромно, хотя ещё совершенно не осознано нами самими. Современная бездушная цивилизация действует на них ужасно. Если, например, система шлюзов и плотин, искалечившая Волгу, будет функционировать сотню лет. Волга станет мертва, как реки Марса — планеты, где есть реки, но стихиаей уже нет, а растительность существует лишь по инерции, просто в силу законов материи, производящих атмосферные движения и вызывающих выпадение осадков. Это не значит, что недопустимо никакое шлюзование рек, никакое строительство гидростанций. Это значит только, что зелёная иерархия Розы Мира, иерархия стихиаей, должна взять подобные работы под свой

контроль, внося в них дух бескорыстия, дружелюбность, веру, одухотворённость.

Недавно вблизи города Майсора, в Южной Индии, построена большая плотина. Она воздвигнута на той самой реке Кавэри, которую, согласно верованиям индийцев, наполняет животворной водой богиня Кавэри, родившаяся в горах — Западных Гатах. Советский журналист, имевший счастье побывать там, пишет:

«Сказочной выглядела и сама плотина, с огромным озером, раскинувшимся среди голых, обожжённых солнцем холмов. Сказочно красивым был и сад, с фонтанами, созданный вблизи плотины... Умные и искусные руки вырастили сад необыкновенной яркости и красоты, перед которой бледнеет сама природа... Мимо прямых каналов и круглых бассейнов с фонтанами мы пересекли весь сад и по лестнице, в центре которой почти бесшумно летел водопад, поднялись к павильону богини Кавэри. Мягко поблескивая позолотой, богиня сжимала на своей груди кувшин, через край которого хлестала вода. Став перед нею, наши хозяева сложили молитвенно руки, подняв их на уровень лица: знак, означающий и приветствие, и благодарность. Перед Кавэри обязательно останавливались и также молитвенно складывали руки все проходившие мимо индийцы. Они благодарили богиню за то, что она даёт им воду и покровительствует величественной плотине»<sup>[46]</sup>

Это имеет глубочайший смысл. Это та самая живая душевная связь народа со светлыми стихиями, о которой я говорю. И как естественно, что мы встречаем её именно у народа индийского, в религиозном отношении гениальнейшего из всех народов.

Излучения светлой духовности людей действуют на тёмных стихиях разительно. Они отступают, частично перерождаясь. Вот отчего нас так поражает различие между реками, одинаково протекающими по странам тропического пояса, но в одном случае — вьющимися по непроходимым лесам, почти необитаемым людьми, как Амазонка и Ориноко, в другом — орошающим страны с высокой духовной, именно духовной, а не технической культурой: я имею в виду Ганг, Нербадду, Иравади, Меконг. Природа великих рек Южной Америки, по берегам которых обитают лишь примитивные, почти лишённые ещё духовности племена, демонизирована насквозь: трудно представить себе более хищную фауну, более жуткую флору, чем флора и фауна этих бассейнов. Реки же Индии и Индо-Малайи — кормилицы и благодетельницы этих стран, и надо увидеть их собственными глазами, чтобы ощутить эманацию неизъяснимого мира, дружелюбности и каких-то нездешних прохлады и тепла, веющих над их

водами. Это — следствие неосознанного нами воздействия очищенных, смягчённых и устремлённых к свету человеческих душ — излучения народов, века и тысячелетия по их берегам обитавших со всею своей возраставшей и накапливавшейся духовностью. То же происходило в долине Нила и, хотя в меньшей степени, на реках Европы и России. И если бы подобные очаги духовности возникли на берегах Ориноко и Амазонки, через несколько столетий хищные и жуткие стихии Ганникса отступили бы прочь, а светлые стихии притекли бы сюда и изменили бы эту природу.

Ещё сильнее будут воздействовать те ясные, глубоко осознанные, не ощупью, а с духовной целесообразностью принимаемые меры, которыми Роза Мира будет преобразовывать лицо земли.

Главными элементами храмов стихиалей мне представляются, как ни странно, водоём и стадион, расположенные параллельно друг другу. Каждый из них окаймлён с одной стороны как бы амфитеатрами — открытыми, без кровли, а между водоёмом и стадионом, слегка вдаваясь в них открытыми террасами, возвышается здание центрального святилища. В террасу обращена и плоская его кровля с небольшой башнею в середине. Открытая лестница вьётся вокруг этой башни к маленькой площадке наверху. Здесь совершаются служения солнечному и лунному божествам, великим стихиям воздуха и мировых вод. Внутреннее помещение может быть предназначено для богослужений, в зимнее время и для священнодействий значения частного, связанных с рождением, с учением детей и их возмужанием, с первым и вторым браком. Стадионы же и водоёмы предназначены для многолюдных действий, в которых элементы танца, спорта, игры и славословия соединены, образуя мистериальное целое. Эти действия настраивают душу и тело к восприятию стихиалей, их близости, их действенности; телесную радость они пронизывают духовностью, а переживание близости светлых миров облачают в чистое и жизнерадостное чувство, полное молодого веселья.

Священство стихиалей — пятая и последняя иерархия Розы Мира: зелёная. От остальных иерархий её отличает ряд особенностей, неповторимых и своеобразных черт. По-видимому, каждая из иерархий будет иметь свой особый устав, будет предъявлять к своим членам особые требования. Вступление в иерархию Солнца Мира, в священство Бога-Сына и в священство Синклитов предполагает обширное образование, общее и специальное, длительную подготовку и весьма суровый искус. Слишком хорошо известно, как к любому движению в человечестве — религиозному, общественному или политическому — по мере его успеха



начинают примыкать множества людей, преследующих личные интересы и личные выгоды. Легко представить, сколько лиц, не имеющих никакой внутренней связи с идеалами Розы Мира, поспешит примкнуть к ней, превращая её в поприще честолюбия и корыстолюбия. В той или иной степени это неизбежно. Но это несчастье должно быть ослаблено. По мере возрастания общественного значения и положения нового духовенства придётся повышать ту ограду, которая обережёт его от проникновения в его среду людей безыдейных и случайных. Возможно, что под конец установятся весьма жёсткие нормы испытательного искуса, вплоть до обязательного, добровольного, двух- или трёхгодичного уединения в условиях, средних между условиями кельи, кабинета и одиночной камеры. Вероятно, испытуемый не будет лишён возможности покинуть место своего искуса в любой момент, но этим он утратит право на принятие сана. Кроме того, объём знаний, необходимых для успешного выполнения задач, стоящих перед каждым духовным лицом, столь велик, ответственность столь огромна, а возможная амплитуда его практической деятельности столь широка, что приобретение этих знаний и навыков потребует весьма длительного курса. Поэтому в золотую, белую и пурпуровую иерархии мужчины вряд ли будут приниматься раньше 35 лет. Функции голубой иерархии обрисовываются гораздо уже; поэтому деятельность священнослужителей может начинаться раньше и либо заканчиваться к тридцати годам, либо видоизменяться в дальнейшем так, что необходимые для этого знания и опыт будут приобретаться в ходе самой этой деятельности.

На зелёное духовенство возлагается, кроме обязанностей культа, решение двух задач. Первая — та сторона воспитания подрастающих поколений, которая, будучи обогащена и пронизана духовностью стихиалей, заменит плоское и отупляющее физическое воспитание наших дней. С этим связывается и ведущая роль в преобразованных организациях молодёжи, и участие в организациях естественнонаучных, агрономических, зоовоспитательных.

Деятельность такого рода потребует не столько углублённых и универсальных знаний или жизненного опыта, сколько юношеской энергии, силы, телесной гармоничности и красоты, задора и неистощимой жизнерадостности. Как ясно вижу я этих весёлых загорелых юношей и девушек в изумрудно-зелёной одежде, с зелёной накидкой на плечах в свежую погоду, всегда и везде босых, одинаково ловко и ладно ухаживающих за цветниками и прыгающих с шестом, ощущающих в ритуальном танце близость светлых стихиалей или, под хоровое пение

молодых голосов, совершающих приношение цветов и плодов Луне и Солнцу! Я представляю их окружённых школьниками или читающих лекции для подростков; лёгкой поступью расхаживающих по шумным улицам или беспечно валяющихся на лугу, закинув руки за голову и глядя в небо. Счастливицы! Как прекрасна будет их молодость, как гармонична жизнь, как полна любовь, какие чудесные будут у них дети!

Но перед зелёным духовенством станет ещё другая задача: руководство во всём, что касается преобразования и просветления природы. Для этого будет уже недостаточно молодости, силы и чистоты: потребуются опыт и знания. Опыт жизненный и опыт духовный, знания научные и знания трансфизические. Мне кажется, всё это может приобретаться с годами, параллельно с работой в храмах стихиалей и в школах; если для этого когда-нибудь и понадобится этап уединения, то это уединение должно протекать, конечно, среди природы, может быть, в заповедниках.

Вот приближается к концу изложение концепции. Я вполне отдаю себе отчёт в её чрезвычайной сложности и в том, насколько мало найдётся людей, чья духовная потребность была бы достаточно сильна, чтобы заставить их преодолеть трудности этой книги. Со временем число таких людей будет возрастать, придут и истолкователи, и популяризаторы. Но, с другой стороны, учение будет восполняться духовным опытом многих и многих других, и в эпоху господства Розы Мира сложность учения сделается так велика, что лишь единицы смогут понять его и обнять во всех частностях. И пусть! Это хорошо, что в учении останется эзотерическая глубь: не всегда и не всё должно выносить на площадь, даже если это площадь Верграда.

И всё же для меня особенно радостными бывают те часы, когда мне удаётся (иногда это приходит само собой) уловить отголоски той великой праздничной службы, которая совершается перед лицом многих десятков тысяч человек и в которой участвуют — единственный раз в году — все пять священств Розы Мира. До моего сердца доносятся звуки золотых труб — высоко-высоко, под самым куполом на главной башне великого храма. Город ещё во мгле, а купол и эти трубы уже загорелись в солнечных лучах: поднимается день летнего солнцеворота. Я слышу мелодию, я вижу, как распаивается в храме заалтарный проём, и алый диск, ещё перерезанный зубчатой линией городского горизонта, является перед народом. Я вижу вокруг престола в алтаре представителей всех священств и среди них священнослужительницу Приснодевы и священнослужительницу Великих Стихиалей. Я различаю, как все предстоящие — их семь — протягивают

над престолом правую руку. Я не могу различить, что за таинство совершают они, но вижу гармонию их медленных движений и слышу, как обращается к Солнцу старший из них, верховный наставник человечества:

— Слава тебе, восходящее Солнце!

Громоносные хоры повторяют эти слова, и снова трубят золотые трубы снаружи храма, под куполом.

— Слава тебе, возносимое сердце! — различается второй возглас верховного наставника, и я вижу, как он, сопровождаемый иерархами всех священств, направляется через распахнутый проём на восточную террасу. И когда замолкает гром хора и трубы в третий раз повторяют свой напев, я вижу, как верховный наставник приближается к парапету над площадью и возглашает, поднимая на фон алого диска крылатое сердце-лампаду, светящуюся изнутри:

— Благословенна желанная встреча в зените!

## Глава 4

### Князь тьмы

Многое воспринимаю я при помощи различных родов внутреннего зрения: и глазами фантазии, и зрением художественного творчества, и духовным предощущением. Кое-что вижу и тем зрением, которым предваряется долженствующее быть. Но всё, что я вижу впереди, — для меня желанное; и нередко я совершаю, может быть, незаметную подмену, принимая желаемое за объективно предназначенное к бытию.

Такая подмена больше не может иметь места, коль скоро взор направляется в дальнейшую тьму времён и различает там не желаемое и радующее, а ненавидимое и ужасающее.

Не странно ли, что Роза Мира, долгое время господствуя над человечеством, всё-таки не сможет предотвратить пришествия князя тьмы? — Да, не сможет. Ко всеобщему величайшему горю — не сможет. Не сможет, хотя и будет всеми силами стремиться отсрочить его приход, чтобы закалить для борьбы с ним наибольшее число умов и сердец человеческих.

При благоприятном решении ряда исторических дилемм она действительно водворит на земле условия Золотого Века. Она упразднит государственное и общественное насилие. Она устраним какую бы то ни было эксплуатацию. Она ослабит хищное начало в человеке. Она смягчит нравы народов до той степени, на какую намекают нам вещи сны светлых мечтателей прошлого. Она откроет перед людьми пучины познания об иных мирах и о путях восхождения Энрофа. Она поднимет некоторые виды животных до овладения речью и до разумно-творческого бытия. Неослабными предупреждениями о грядущем князе мрака она заранее вырвет из-под его духовной власти мириады тех, кто без такого предупреждения мог бы быть им обольщён и вовлётся бы в колесо горчайшего искупления. Её грандиозный Синклит — Аримойя — преобразит некоторые из чистилищ в миры духовного врачевания. Но останется несколько противоречий, которых не сможет разрешить и она: их вообще нельзя разрешить до тех пор, пока человечество, как говорил Достоевский, не переменится физически.

Такие противоречия можно смягчить, сгладить, временно заглушить, но устранить их корень нельзя, потому что корень их — в том эйцехоре, которое, со времён падения Лилит, свойственно всем живым существам Энрофа, кроме тех, кто изжил его и испепелил в ходе своего просветления.

Главнейшие из этих противоречий психологически выражаются наличием в человеке импульса жажды власти и сложной, двойственной и противоречивой структурой его сексуальной сферы.

Действуя то порознь, то вместе, эти импульсы создают тяготение ко злу, свойственное почти каждому человеку, и способность подпадать обаянию зла в его различных видах, а иногда даже беспримесному злу, не маскирующемуся уже никакими личинами Блага.

Нужно ясно представить себе ту атмосферу гармонического спокойствия, которая воцарится на земле к эпохе седьмого или восьмого понтификата Розы Мира. О деспотизме государств, о войнах, революциях, голоде, бедности, эпидемиях эти поколения будут узнавать только из книг и памятников искусства. Не отвлекаемые социальной борьбой, силы будут уходить на духовное и физическое совершенствование, на утоление жажды познания и жажды творчества, на личную жизнь, несравненно обогатившуюся, усложнившуюся и расширившуюся.

Насколько я могу различить — хотя это и удивляет меня, — постоянной столицы мира, то есть города, постоянно остающегося резиденцией верховных наставников и Верховного Собора Розы Мира, не возникнет. Кажется, при каждом новом понтификате столица мира будет переноситься в главный город той страны, которая выдвинула данного верховного наставника. Во всяком случае, Дели и Москва окажутся столицами по два раза. Последней открытой резиденцией верховных наставников, когда фактическим властелином мира уже станет антихрист, а единая Церковь человечества начнёт уходить в катакомбы, будет, насколько я понимаю, Токио.

Но, хотя всеобщее изобилие подрвёт корни зависти материальной, останутся нетронутыми корни зависти духовной, ибо различная степень и различные виды одарённости будут выдвигать одних — на руководящие роли, а других — на роли руководимых. С течением эпох очертания интеллигенции совпадут с очертаниями человечества. Но интеллигенция не будет единой, а производители материальных благ перестанут ощущать себя солью земли. Проблемы материального изобилия и комфорта, проблемы технические и хозяйственные утратят своё преобладание. И глухое недовольство начнёт томить тех, кто считает себя производителями материальных ценностей, чей душевный и умственный строй заставляет их тяготеть к работе в областях промышленной техники, хозяйства, агрономии, точных наук, изобретательства. Техническую интеллигенцию не удовлетворит та подсобная роль, которую предстоит ей играть при пятом, шестом, седьмом понтификате, ибо тогда первенствовать будут

круги, работающие над проблемами этическими, эстетическими, трансфизическими, метаисторическими, зоовоспитательными, религиозными. Вот это-то глухое недовольство и зависть к положению интеллигенции гуманитарной и окажется одной из общественно-психологических предпосылок для движения, которым воспользуется явившийся в человеческом облике противобог.

Если Роза Мира придёт к этическому контролю над всемирной государственной властью, то между этим моментом и сменой эонов должно протечь, если я не ошибаюсь, около двадцати шести верховных понтификатов. Но из этого числа на эпоху господства Розы Мира придётся, кажется, семь или восемь, не больше девяти. Остальные будут протекать в период царствования антихриста и в следующий затем период последних исторических катаклизмов. Несколько самых последних понтификатов будут очень короткими, а кончины этих верховных наставников — мученическими, ибо властелин мира изыщет способы преждевременно сократить их жизненные пути. В числе верховных наставников, которые преемственно воспоследуют друг за другом, будут русские и индусы, китайцы и уроженцы разных стран Америки, немец и абиссинец, испанец и еврей, японец и малаец, англичанин и араб. Но предательства Божьего дела не совершит ни один. Последний из верховных наставников, тот, при котором исполнится смена эонов, выйдет из маленького, бедного североазиатского народа, в наше время едва приобщившегося цивилизации.

В этой галерее водителей мира я различаю более или менее отчётливо двоих. Одному из них суждено стать верховным наставником, кажется, сразу после того референдума, который предопределит превращение Всемирной федерации в монолит. Передо мною вырисовывается личность исполинского духовного роста. Мудрость и нездешнее спокойствие, веющие от этого человека, наталкивают на мысль, что, если вообразить Гаутаму Будду коронованным и соединившим достоинство Нирваны с верховной властью над человечеством, можно приблизиться к представлению о блистательном величии этой судьбы и этой души. Облик его заставляет меня предполагать, что этот человек выйдет из недр Китая.

Одним из его ближайших преемников явится другой духовный великан, в гирлянде прежних жизней которого выделяется удалённое во времени звено, когда он проходил по земле в облике одного весьма известного государя империи Гогенштауфенов. Он и на этот раз примет инкарнацию в том же народе, в Германии. При нём завершится полное воссоединение христианских церквей и сочетание всех религий правой руки в свободной унии.

Я уже столько раз указывал на то, как отразилась недовершённость миссии Христа в ущербности средневекового христианства и как из психологического климата, создавшегося на Западе вследствие этой ущербности церкви, возникло антидвижение: Ренессанс, Реформация, Революция, безрелигиозная наука и демонизирующаяся техника — стремительный полёт Красного всадника Апокалипсиса. При Белом всаднике будет сделано всё возможное, чтобы высвободить науку и технику из-под власти демонизирующих начал. Науку и технику попробуют сопрягать с трансфизическим знанием и с этикой, их заставят работать единственно в целях всеобщего благосостояния, гармонизируя, поелику возможно, взаимоотношения цивилизации и природы. Но специфика техники — её рассудочность, утилитарность и бездуховность — не преодолются тем одним, что перед техникой будут поставлены более возвышенные задачи, а её методам будет навязан этический контроль. Эта внутренняя бездуховность и утилитарность сохранятся до тех пор, пока именно эти свойства техники не понадобятся пришедшему во плоти противобогу. Технический прогресс, вызванный безрелигиозной эрой, останется, в сущности, нерешённой проблемой и, как флегмона, развивающаяся на организме человечества, прорвётся на рубеже антихристового царства.

Жажда власти и жажда крови тайно шевелятся на дне многих душ. Не находя удовлетворения в условиях социальной гармонии, они толкнут некоторых на изобретение доктрин, ратующих за такие социальные и культурные перемены, которые сулили бы в будущем удовлетворение этих неизжитых страстей. А других будет томить скука. Она перестанет быть гостьей, она сделается хозяйкой в их душевном доме, и лишённое коллизий общественное бытие начнёт им казаться пресным. С тоской, с раздражением и завистью будут эти авантюристические натуры знакомиться по книгам с насыщенной приключениями, столкновениями, преступлениями и страстями жизнью других эпох. А наряду с такими индивидуальностями в человечестве выявится ещё один слой: чем сытее, благополучнее будет их существование, тем мучительнее начнёт язвить этих людей связанность сексуальных проявлений человека путями морали, религии, традиции, общественных приличий, архаического стыда.

Инстинкт морально-общественного самосохранения держит, со времён родового строя, самодовлеющую сексуальную стихию в строгой узде. Но вряд ли выдержала бы долго эта узда, если бы она выражалась только во внутренних самоусилиях человека; если бы общественное принуждение не приходило ей на помощь в виде социальных и государственных

узаконений. Здоровый инстинкт самосохранения говорит, что снятие запретов со всех проявлений сексуальной стихии без разбора чревато разрушением семьи, развитием половых извращений, ослаблением воли, моральным растлением поколений и, в конце концов, всеобщим вырождением — физическим и духовным. Инстинкт морально-общественного самосохранения силён, но не настолько, чтобы предохранить общество от этой опасности без помощи государственных законов, юридических норм и общепринятых приличий. Здоровый инстинкт силён; но когда с инстинкта сексуальной свободы срывается внешняя узда, этот второй инстинкт часто оказывается сильнее. Не следует бояться правды; следует признать, что этот центробежный инстинкт потенциально свойствен, в той или иной мере, большинству людей. Его подавляют внутренние противовесы и внешнее принуждение, он угнетён, он дремлет, но он есть. О, сексуальная сфера человека таит в себе взрывчатый материал невообразимой силы! Центростремительный инстинкт морально-общественного самосохранения притягивает друг к другу, спаивает элементы личной жизни каждого из нас: благодаря ему личная жизнь среднего человека являет собой некоторую систему, некоторую элементарную стройность, подобно тому, как в микромире нуклоны образуют плотно спаянное ядро атома. Но если найти убедительное и обаятельное учение, которое убавило бы человеческий страх перед снятием узды с инстинкта абсолютной сексуальной свободы, произойдёт моральная катастрофа, подобных которой ещё не происходило никогда. Высвобождение центробежной энергии, заложенной в этом инстинкте, могло бы, переходя в цепную реакцию, вызвать такой сокрушительный общественно-психологический переворот, который сравним с высвобождением внутриядерной энергии в области техники.

То, что я сейчас говорю, останется, боюсь, для многих непонятным и враждебным. Слишком прочно укоренилась в нашем обществе недооценка значения сексуальной сферы. Тем более неприемлемой покажется мысль, будто именно эта сфера таит в себе такие разрушительные возможности. Легко представляю себе, как возмутит благонамеренного читателя подобный прогноз и с какой поспешностью окрестит он его пустым домыслом, возникшим из замутнённости этой сферы не в человечестве вообще, а только у самого автора. Ах, если бы это было так! Нет сомнения, что соблазны Дуггура остаются в психике большинства из нас пока что вне круга осмысливаемого. Меньшинство же, не подозревая об их трансфизическом источнике и боясь признаться в этих искушениях даже перед собой, в полном уединении, тем не менее смутно их осознаёт.



Рассчитывать на человеческую откровенность об этом с окружающими было бы слишком простодушно. Лишь ничтожное число людей, сознавая эти соблазны с совершенной отчётливостью, готово не скрывать их в тайниках души, а, напротив, дать им волю при первом случае. Но робкое в этом отношении большинство делается несравненно отважнее, когда самые авторитетные инстанции — научные, общественные и религиозно-государственные — провозгласят необходимость полной сексуальной свободы, неотъемлемое право на неё каждого человека и системой многообразнейших мер будут ей способствовать, поощрять её и оборонять.

Жажда власти будут сотни и тысячи. Жажда сексуальной свободы будут многомиллионные массы.

Освобождение от уз Добра — вот каково будет настроение многих и многих к концу Золотого Века: сначала — подспудное, а потом всё откровеннее и требовательнее заявляющее о себе. Человечество устанет от духовного света. Оно изнемоет от порываний ввысь и ввысь. Ему опостылит добродетель. Оно пресытится мирной социальной свободой — свободой во всём, кроме двух областей: сексуальной области и области насилия над другими. Заходящее солнце ещё будет медлить розовым блеском на мистериалах и храмах Солнца Мира, на куполах пантеонов, на святилищах стихий с их уступами водоёмов и террас. Но сизые сумерки разврата, серые туманы скуки уже начнут разливаться в низинах. Скука и жажда тёмных страстей охватят половину человечества в этом спокойном безвластии. И оно затоскует о великом человеке, знающем и могущем больше всех остальных и требующем послушания во всём взамен безграничной свободы в одном: в любых формах и видах чувственного наслаждения.

Ведь и сама Роза Мира будет состоять не из праведников только, но из людей, стоящих на самых разных ступенях нравственного развития. Задачи всемирной церкви обретут с самого начала столь огромные очертания, они будут столь обширны и многочисленны, что ограничить число активных членов Розы Мира одними только людьми высокоидейными и морально безупречными не найдётся никакой практической возможности. Суровость искуса — мера, конечно, необходимая, но это не панацея. Как и в любое сообщество людей, даже основанное на самых возвышенных принципах, в неё проникнут люди, не свободные от любоначалия, от тщеславия, от жажды повелевать, от чрезмерной привязанности к комфорту, от нетерпеливого и жёсткого отношения к другим. Мглистый эгрегор создастся и вокруг Розы Мира, как создавался он вокруг церковей прошлого. Углублённая мистическая сознательность её руководства воспрепятствует

разбуханию этого эгрегора в плотный клуб, заслоняющий Аримойю. Но полное его уничтожение окажется, конечно, неосуществимым. И естественно поэтому, что даже в среде Верховного Собора найдутся отдельные люди, которые не устоят против искушений князя тьмы, а на нижних ступенях посвящения такие люди обнаружатся со временем в значительном числе.

В условиях широкой идейной свободы зашевелится сперва тайная, а потом и явная религия левой руки. Ядовитым цветком вырастет она из массовой тоски по тёмному избавителю от уз Добра, и содержанием её сделается поклонение Гагтунгру как некоему Прометею, вечному мятежнику, борцу за истинную свободу всех, а целью этой квазирелигии станет подготовка людей к признанию грядущего анти-Логоса.

О, конечно, человечество не будет иметь недостатка в предостережениях. Разве не предупреждали об этом уже в далёком прошлом Евангелие, даже Коран, даже Махабхарата? Разве мало было великих духовидцев и на Западе, и на Востоке, твердивших о неизбежности грядущего антихриста? Все понтификаты Розы Мира, от эпохи соединения религий до появления на исторической арене этого чудовищного существа, будут концентрировать свои усилия на этом предостерегающем труде. Но при величайшей идейной и культурной свободе никакого оружия, кроме слова, не останется в их руках. Под давлением крайне левых кругов общества будут незаметно сняты, наконец, последние запреты, ещё ограничивавшие свободу слова: запрет нарушения норм общественного стыда и запрет кощунства. Именно это и откроет широкий доступ предтечам великого исчадия тьмы к сердцам человеческим.

Немало найдётся таких предтеч, но, кажется, крупнейшим из них намечается создатель такой культурно-исторической и социально-нравственной доктрины, которая сконцентрирует внимание именно на том факте, что при наличии множества свобод человечество всё ещё остаётся якобы рабом сексуальной ограниченности, рабом ложного стыда, предрассудков и старомодных норм, — норм, поддерживаемых и Розою Мира, и всем устаревшим общественным укладом. Мне кажется, что книга этого мыслителя будет той самой книгой «Открытый путь», относительно которой Владимир Соловьёв предполагал, что она выйдет из-под пера самого антихриста. Нет: блестящий, обаятельнейший, остроумнейший из французов, предтеча этот станет властителем дум целого поколения. Вряд ли будет этот носитель тёмной миссии отчётливо сознавать, кому он служит и кому предшествует. При всей гениальности его ума, мистический разум его будет закрыт почти наглухо. И когда долгожданный избавитель явится,

французский мыслитель настолько поразится его сверхчеловеческим величием, что воскликнет с ликованием и восторгом: «Вот — тот, кого ждёт весь мир и о ком я говорил!» — И лишь гораздо позднее, когда явившийся достигнет всей полноты власти и обнажит своё подлинное лицо, его предтеча покончит сам свои счёты с жизнью. Да, он будет гениальным мыслителем, да, да. Но перед тем, кому он уготовит путь, он окажется пигмеем. Перед тем, кому он уготовит путь, пигмеями окажутся все, жившие в Энрофе в любых странах и в любые века, кроме одного только Иисуса.

Будет ли он человеком?

И да, и нет.

Уже не раз говорилось о том, как в течение веков и веков, жизнью и жизнью облекалась в покровы из демонической материальности — тёмный шельт, астрал и эфир — монада одного из императоров Рима, похищенная Гагтунгром из самого Ирольна. Именно из такой демонической материальности, из агги, они были сотканы, а не из сийры, как у всех обитателей Энрофа и у всех существ в мирах восходящего ряда. Говорилось достаточно и о последней его инкарнации в России, и о том, как вследствие сопротивления Провиденциальных сил Урпарпу не удалось сделать тогда из него тёмного универсального гения. Но дважды предотвратить вкладывание в это существо даров тёмной гениальности — невозможно: теперь Урпарп уже знает, как оградить своё чадо от этих враждебных ему трансфизических операций. В Энроф он больше не выпустит его до тех пор, пока не обеспечит ему возможности полного владения всеми дарами, необходимыми для успешного выполнения исторической роли антихриста. Гениальная одарённость Сталина в области тиранствования и его способность к гипнотическому порабощению людских волей принадлежали к числу видимых для всех остатков тех достижений, которыми ознаменовался предыдущий этап работы в Гашшарве над этим существом — работы, прерванной силами Света. После его смерти в Энрофе и нового водворения в Гашшарву работа была возобновлена в ускоренном темпе. Пройдя в Дигме последние этапы подготовки, небывалое существо приблизится вплотную к своему последнему, роковому рождению в эпоху седьмого или восьмого понтификата.

Кажется, местом его рождения будет одна из стран Латинской Америки, но это рождение, само по себе, обещает оказаться совершенно особенным. Принуждённая принять человеческий облик для того, чтобы сделаться его матерью, Лилит по воле Урпарпа примет этот облик без

какого бы то ни было рождения: она не будет нуждаться ни в отце, ни в матери, ни в детстве; она прямо явится путём чёрного чуда в облике женщины. Явные нарушения законов природы, сверхъестественные связи с грозными существами иных миров, колдовские сказания и легенды окружают её кратковременную жизнь. Зачав физическое тело грядущего анти-Логоса не от человеческого семени, а от сил самого Гагтунгра, она вскоре после рождения младенца исчезнет из Энрофа, так как эта её миссия будет выполнена. И хотя позднее Лилит явится в человечестве ещё раз, но тогда её миссия и её женственный человеческий облик будут иными; иным будет и само явление её, хотя столь же непостижимым, как предыдущее.

Как и у всех людей, физическое тело анти-Логоса будет из сийры.

Умнейший из всех, кто когда-либо жил, превосходящий гениальностью всех гениев человечества без сравнения, он к тридцати трём годам уже станет общепризнанным главой мировой науки. Молниеносный охват мыслью сложнейших научных и трансфизических проблем, мгновенное проникновение в глубь разнообразнейших дисциплин, и естественных и гуманитарных, сверхчеловеческая работоспособность, беспримерная разносторонность дарований, включая гениальность поэтическую и зодческую, ряд фундаментальных открытий, которыми он начнёт обогащать человечество с головокружительной быстротой, показная доброта к людям по праву стяжают ему наивысший авторитет в глазах большинства населения земного шара. В некоторых научных дисциплинах он произведёт переворот, реабилитировав кое-какие из принципов магии и несравненно углубляя и дополняя их тем знанием, которое будет подаваться в круг его мышления из его высшего, неисчерпаемого, самим дьяволом обогащаемого ума.

Он будет красив поражающей, но страшной красотой. Впрочем, по чертам его лица будет трудно определить принадлежность этого человека к какой-либо нации, даже к определённой расе, и он будет казаться синтетическим воплощением человечества в одном лице.

В возрасте около тридцати лет он примет духовный сан и вскоре станет как бы вторым человеком в человечестве, с видимым смирением дожидаясь часа, когда смерть верховного наставника даст ему право через всемирный референдум возложить на себя эту тиару самому.

И вот, ему исполнится 33 года — возраст, в котором закончил свой путь по земле Иисус, — возраст, отмеченный смертью и воскресением Планетарного Логоса. У людей, обладающих исключительными мистическими дарами, этот возраст нередко бывает рубежом, когда устанавливается неразрывная связь их бодрствующего сознания с монадой.

Именно в подобном возрасте совершит этот человек своё первое необычайное чудо — акт действительно беспрецедентный: своё физическое тело, доселе состоявшее из сийры, он превратит в тело, состоящее из агги. Впервые за всё время существования Энрофа на земле появится существо, облечённое не в физическое тело, а в каррох. Минута этой трансформы явится для него минутой ослепительнейшей радости, ибо это будет действительно величайшая из побед, отодвигающая от него в неопределённую даль опасность телесной смерти.

Трансформа будет сразу же, конечно, замечена людьми, но ни её смысл, ни её механизм постичь никому не удастся. Внешний человеческий облик преображённого останется почти прежним, но невыразимая жуть начнёт излучаться от него ко всем, кто его увидит даже на расстоянии. Прикоснувшийся к карроху человек будет поражаем как бы электрическим разрядом. Правда, непобедимая гипнотическая сила привлечёт к нему многих женщин, и те из них, которыми это существо будет обладать, несколько умеряя убийственную силу своего прикосновения, будут воистине неисчислимы. Но позднее он перестанет в этом ограничивать себя, и каждая его наложница станет расплачиваться жизнью за несколько секунд наслаждения. Ни для кинжала, ни для яда, ни для пороха или динамита каррох окажется неуязвим. Только оружие термоядерного типа могло бы погубить его; и впоследствии найдутся отчаянные головы, которые отважатся даже на это. Но все замыслы подобного рода будут раскрываться задолго до их осуществления.

Волнение, которое вызовется в Розе Мира и среди всего населения земли трансформой анти-Логоса, окажется необычайно. Верховный наставник будет умерщвлён. Когда же чудотворец, проведя фальшивый референдум, возложит на себя тиару, объявляя себя вестником Мировой Женственности и подтверждая невероятную силу своего волшебства тем, что вызовет новую, зримую всем инкарнацию Лилит, выдаваемую им за воплощение Звенты-Свентаны, — в монолитном до тех пор народоустройстве мира произойдёт непоправимый раскол. Половина человечества, в особенности народы Азии, откажутся признать узурпатора и изберут другого верховного наставника. Но вторая половина склонится перед захватчиком, как перед своим абсолютным главой, и отпадёт от Розы Мира, восстанавливая институты политического и общественного насилия. Насилию будут подвергаться, конечно, те, кто откажется вручить антихристу свою волю.

Тёмные чудеса будут умножаться, потрясая сознание людей до самых основ. Сказания о чудесах Христа покажутся мелкими. Поднимется и

покатится по лицу земли волна безумного энтузиазма.

Одни страны — добровольно, другие — в итоге насилия и обмана, но постепенно от Розы Мира отпадут все, и анти-Логос сосредоточит в своих руках единоличную власть надо всей планетой.

Но узурпатору не подчинится истинный верховный наставник. Не подчинятся ему и миллионы, даже сотни миллионов людей во всех странах мира. Наступит эпоха гонений, возрастающих от года к году и по своим масштабам, и по методам, и по своей лютости. При этом хитрость Гагтунгра сумеет даже героический протест широких масс обратить себе на пользу. Тот неудачный кандидат в антихристы, который был побеждён предыдущим воплощением князя тьмы и покончил с собой в финале второй мировой войны, теперь явится самозванным вождём, увлекаая на борьбу с властелином мира толпы негодующих. При этом он будет яростно обличать Розу Мира в слабости и в непротивлении, утверждая, что в борьбе с исчадием тьмы хороши все средства без исключения. Это движение, отрывающее от Розы Мира тех, кого не смог оторвать антихрист, будет само тёмным насквозь, вовлекая сердца в воронку неистовой злобы, жестокости и опустошающей ненависти.

Сторонники же Розы Мира пойдут на мученическую смерть, не обнажая оружия. Наконец, Роза Мира подвергнется запрету. Немного долее других будет терпим, кажется, культ стихиалей, постепенно извращаемый в сторону поклонения Лилит и демоницам Дуггура. Потом гонение распространится на поклонение каким бы то ни было стихиалям Света, и единая всечеловеческая Церковь уйдёт в катакомбы. Тогда и начнётся тот ряд трагических понтификатов, неизбежно завершающихся каждый раз гибелью верховного наставника, который, как золотая гирлянда в глубоком мраке, протянется сквозь полтора или два столетия и достигнет дня и часа второго пришествия Христа.

Однако довольно долгое время анти-Логос не будет отрицать ни жизни Иисуса в Палестине как исторического факта, ни даже того мистического факта, что в Иисусе воплотилась богорождённая монада, выразительница Бога-Сына. Но, развиваясь динамически и меняясь от этапа к этапу, его учение претерпит ряд метаисторических и богословских подмен, постепенно приводящих ко всё большему умалению значения Христа, потом к полному Его развенчанию и, наконец, к завесе гробового безмолвия, опускаемой надо всем, что связано с Его именем. Минуется ещё и такой этап, когда анти-Логос объявит себя воплощением Бога-Отца, а женщину, чей облик приняла при помощи дьявольского чуда Лилит, — воплощением Вечной Женственности. Тёмных чудес в подтверждение

этого прольётся слишком много и слишком потрясающими будут они, чтобы большинство человечества осмелилось таить сомнение в истинности утверждений этих двух сверхчеловеческих существ. Вокруг себя и воплощённой Лилит антихрист создаст кощунственный культ мирового совокупления, и гнусные действия между ними, окружённые сказочными эффектами и одурманивающим великолепием, будут разыгрываться перед лицом всех и вся, якобы отображая в нашем мире космический брак двух ипостасей Троицы.

Омерзение и нездешний ужас охватят многих людей. Даже миллионы таких, кто ранее был далёк от вопросов религии, кто был погружён в заботы своего маленького мирка либо в художественное творчество и научные исследования, ощутят, что перед ними ставится некий выбор, единственный и столь жуткий, что рядом с ним даже пытки и казни становятся мелочью. Тогда-то и скажутся плоды духовного труда восьми понтификатов Розы Мира. Тогда-то и отшатнутся от исчадия тьмы бесчисленные толпы тех, кто без этого предостерегающего, разъясняющего, воспитывающего труда над ними не устоял бы перед потоком чёрных чудес и перед обаянием сверхчеловека, сочетающего необъятную силу ума с цинично бесстрашной злобностью деяний. Почти треть населения земли охватит восторг мученичества. Невозможно исчислить, какими сонмами героических душ восполнится тогда Аримойя. Но ещё большими сонмами тех, кто совершил богоотступничество и дал детищу Гагтунгра разлечь себя, наполнятся слои возмездия.

Непрерывная, тысячеобразная, напряжённейшая борьба светлых и демонических сил начнёт приближаться к своей кульминации. Бушующая в десятках слоёв Шаданакара, она вступит в этап безостановочных битв Синклитов, даймонов, ангелов — всех сил Провидения — с невидимыми чудищами, порождениями и союзниками Гагтунгра и Воглеа. Эти порождения будут могучи и невоплотимы в нижних мирах. Но их деятельность в мирах пяти и шести измерений будет проектироваться и в Энроф, выражаясь и в разнуздании сексуальной стихии, и в возрастании жажды крови, и в опустошающих душу успехах техники, и в систематическом уничтожении всех, поднявшихся духовно выше общего уровня демонизируемого человечества, и во многом другом, что сейчас невозможно ни понять, ни представить. Ясно, что воинства Синклитов будут оказывать всемерную помощь тем из людей, кто противостоит антихристу здесь, в Энрофе. Их инспирация поможет найти, между прочим, способ ослаблять мучительность пыток и казней. Способы эти будут отчасти связаны с методикой внутренней, с развитием некоторых

заложенных в человеке, но ещё дремлющих свойств, отчасти же — с открытием невидимых обезболивающих средств: открытием, внушённым братьями Синклитов.

Спустя некоторое время, когда антихрист ощутит, что его власть упрочилась окончательно, он при помощи ловких философских трюков подвергнет пересмотру собственный вариант толкования своей личности, как воплощения будто бы Бога-Отца. Последняя маска отбросится за ненадобностью, так как идеальная система насилия предотвратит возможность чьих-либо протестов, кроме отдельных единиц. Предыдущий идеологический этап подвергнется забвению. На место Бога-Отца будет открыто возведено имя Великого Мучителя, а на место Женственности — Великой Блудницы. Выдававшая себя за Женственность воплощённая Лилит станет чередовать бесстыдные действия с анти-Логосом и оргии-мистерии, открытые сперва для сотен, а потом, в принципе, для всех. От воплощённой Лилит будет излучаться свет невыразимой красоты, напоминающей лунное сияние. Прикосновение же к её телу будет вызывать не какое-либо подобие электрического разряда, а, напротив, несказанное наслаждение для всякого человека и полное угасание последних проблесков в его памяти о чём-либо высшем. И так как одно уже лицезрение анти-Логоса и Лилит будет воздействовать с околдовывающей силой, то эти оргии и действия будут передаваться во все уголки земли при помощи технических ухищрений, напоминающих телевидение наших дней, но, конечно, оставивших изобретения XX века далеко за собой.

Другие изобретения, которые естественно ожидать от техники XXII или XXIII века, позволят правительству осуществлять совершенный контроль над психикой каждого из жителей земного шара. Чтение мыслей на далёких расстояниях перестанет быть пугающей утопией: оно превратится в будничную научно-техническую реальность. Обороняемые синклитами, деятели Розы Мира будут сопротивляться в своих катакомбах, разрабатывая систему психической и трансфизической защиты. Но эта оборонительная система, которую сейчас представить, конечно, ещё невозможно, явит собою исключительные трудности, и усвоить её смогут лишь немногие. Верховные наставники в той или иной степени будут владеть ею все, но враг научится изыскивать малейшие бреши в этой системе и противопоставлять обороне Света своё оружие. Поэтому жертвами анти-Логоса рано или поздно падут почти все, ему не поклонившиеся. К моменту смены эонов число устоявших вряд ли будет насчитывать сотню человек на несколько миллиардов дьяволочеловечества.

К середине этого царствования будет завершена работа над



фантастической, неслыханной фальсификацией истории. За пятьдесят или семьдесят лет постепенно истребятся все книги и памятники, свидетельствующие о том, что человечество обладало когда-то светлыми культурами, высокими философскими учениями, прекрасными искусствами, возвышенными литературами, героями, праведниками, гениями — всем, что от Бога. Все храмы, уцелевшие от былых времён, будут сметены с лица земли либо превращены в капища Гистурга, Великой Блудницы и Урпарпа, неузнаваемо изменив даже свой архитектурный облик. Многие из них превратятся в усечённые конусы или четырёхсторонние пирамиды с плоским верхом, напоминая, но великолепием намного превосходя дворцы-капища Дуггура. Придут поколения, которые даже не будут подозревать о существовании в прошлом Христа и христианства. Все представления этих поколений о минувших веках будут не просто искажены — они будут ложны почти полностью, так как к этому приведёт воспитание на теориях, выдуманных анти-Логосом и представляющих перспективу истории так, как это ему выгодно.

Интересно, какому толкованию подвергнутся тогда личность и историческая роль предпоследнего воплощения антихриста. Владыка мира в глубине души будет испытывать чувство, отдалённо похожее на стыд, вспоминая собственную ограниченность, слепоту и длинную цепь грубых промахов, совершённых в предыдущем воплощении. Он позаботится о том, чтобы у людей не мелькнуло даже смутного подозрения, что вторым вождём мирового революционного движения некогда был именно он. Но осуждение этого вождя или ирония над ним будут за собою влечь для неосторожного ревизиониста мгновенную смерть, ибо гордыня владыки не позволит ему терпеть ничьих насмешек даже над своими старыми, в других столетиях совершёнными ошибками. И образ Сталина опять вознесётся на пьедестал; усопший вождь будет провозглашён хотя и ограниченным, ещё далеко не всё постигшим и охватившим, но всё же величайшим деятелем прошлого.

С установлением обязательного культа Гистурга и Фокермы начнётся уже полный и всеобщий шабаш. Наука, философия, искусство, общественные институты, законы — всё направится на то, чтобы разнуздать сексуальную стихию. Будут проповедоваться всеми способами и превозноситься как проявления якобы раскрепощённого духа всевозможные извращения. Чем более публично будут удовлетворяться они, тем больше похвал и восхищения станет изливаться на героев. Медицина к тому времени выйдет победительницей почти всех заболеваний, паразиты и вредные микробы будут уничтожены, а гигиена

поднимется на такой уровень, что пыль и грязь в населённых пунктах совершенно забудутся. Эти стерильные улицы и площади городов превратятся в арену всевозможных видов и форм массового бесстыдства. Рабочий день сведётся к минимуму, досуг станет почти неограниченным; интересы же, удовлетворение которых заполняло досуг людей в эпоху Розы Мира, отомрут, заменяясь по преимуществу интересами сексуальными, столь разнообразными, изощрёнными и напряжёнными, что мы в XX веке не в состоянии их даже представить себе. Человеческие города превратятся в подобия городов Дуггура с тою разницей, что здесь будет оскорбляемо само Солнце.

И всё-таки абсолютная сексуальная свобода для всех достигнута ещё не будет. Для всех граждан, кроме, конечно, самого антихриста и его элиты, сохранятся запреты таких проявлений, или, лучше сказать, извращений, которые сопряжены с истязаниями. Наслаждения этого рода будут разрешены только тем, кто тесно свяжет свою деятельность с полицейской системой и со службой правительственной безопасности. Нетрудно представить себе нравственный облик существ, которые составят кадры этих профессиональных садистов.

И, наконец, князь тьмы оставит только для себя право на то наслаждение, которое ему доставит людоедство, — не в переносном, а в буквальном смысле. Вероятно, чувство услады, которое он будет испытывать в подобные часы, заключается не только в удовлетворении полового, хотя бы и совершенно извращённого инстинкта, но в сочетании с этим того сатанинского сладострастия, которое испытывается в минуту вызова, бросаемого самым краеугольным законам, и божеским и человеческим, и в попирании душевных корней совести, морального страха и стыда.

Наслаждение усилится ещё и сознанием безнаказанности.

Чудовище будет упиваться тем, что может позволить себе абсолютно всё, и притом не только заставляя человечество созерцать эти мерзости, но вызывая в его развращённом большинстве смешанное чувство восхищения, зависти, ужаса и благоговения.

Очевидно, нечто схожее толкало в своё время деспотов вроде Калигулы или Нерона именно к таким деяниям, в которых садизм смешивался с публичной демонстрацией своего духовного бесстыдства. Но сознания полной безнаказанности у них не могло быть: одни трепетали за свою физическую сохранность, другие — перед образами адских мук. От этих обоих видов страха, отравлявшего им часы наслаждения, совершенно свободен будет только князь тьмы.

Потому что позволить себе всё это сможет только тот, чьё физическое тело неуязвимо и обладает такими свойствами и способностями, которые намного превосходят физические свойства людей. Возрастая от десятилетия к десятилетию, эти способности противобожеского карроха достигнут, наконец, такой мощи, что анти-Логос будет ужасать и морочить людей своими явлениями одновременно в трёх, четырёх пунктах земного шара. Многие сначала заподозрят наличие каких-то его двойников, но он разобьёт эту детскую гипотезу, начав являться народу всеми обликами сразу в одном месте, и то соединяя их на глазах у всех в один, то размножая.

Такие особенности его карроха полностью освободят это существо от всякого страха перед насильственным прорывом его физического существования. Что же до естественной смерти, то достижения демонизированной науки приведут к тому, что совершенно реально встанет вопрос о продлении жизни на неограниченно долгий срок, во всяком случае для обладателя карроха. При всём могуществе и ясности его разума, при всей зоркости его трансфизического зрения, антихристу будет свойственна та же аберрация, которая свойственна всем демоническим существам: вера в свою конечную победу. Он будет убеждён, что неподвластен физической смерти, а следовательно, и загробному возмездию, что он достаточно силён для достижения физического бессмертия, что он постепенно распространит свою власть на многие другие слои Шаданакара и даже на планеты других звёздных систем и что со временем он сможет по собственному произволению видоизменять свои тела, молниеносно переходя из слоя в слой, из мира в мир путями самопроизвольной трансформы. Подобные мечты останутся, правда, мечтами, но самопроизвольного перехода в шрастры и обратно он достигнет и в самом деле, а продление его жизни против обычного человеческого лимита станет реальным историческим фактом, поэтому его царствование продлится свыше ста лет, а может быть, и значительно больше.

Подготовится система мероприятий, чрезвычайно сложных, беспримерных по своему научно-техническому размаху, имеющая в виду приспособление поверхности Марса и Венеры для обитания излишков человечества. Будут отправлены также несколько экспедиций на планеты других звёздных систем, но на Землю эти экспедиции не возвратятся. Что же до Венеры и Марса, то довести этого своего замысла до конца властелин мира не успеет, и момент смены эонов на земном шаре застигнет поверхность соседних планет почти столь же необитаемой людьми, как и теперь.

Абсолютно свободный от страха, также будет он свободен и от жажды любви — потребности, которая была ему ещё знакома во времена предыдущей инкарнации. Сталину ещё хотелось, чтобы его не только боялись, но и обожали. Антихристу будет нужно только одно: чтобы все без исключения были уверены в его неизмеримом превосходстве и проявляли абсолютное ему повиновение.

Всеобщее изобилие, между тем, будет всё возрастать, и регламентированный рабочий день сведётся к ничтожному отрезку времени. Техническая интеллигенция, опираясь на которую анти-Логос делал свои первые шаги, получит привилегированное положение, и человечество вступит опять в период головокружительного технического прогресса, хотя представление о мироздании, методы исследований и формы техники будут весьма отличны от современных. От классического материализма ещё к концу XX века не останется и следа, картина мира окажется неизмеримо сложнее, а к XXIII столетию единственной идеологией, обязательной для всех, сделается та, которую создаст антихрист. При всей своей бездуховности материалистическая доктрина всё-таки менее вредна, чем это демонизированное насквозь мировоззрение будущего. Она здоровее этически, и не случайно созданное и пропитанное ею народоустройство держит центробежный сексуальный инстинкт в строгой узде, временами даже доходя, как это было в начале Великой Революции в России, до своеобразного аскетизма. Квазирелигия, навязанная человечеству антихристом, будет отнюдь не лишена духовности в широком смысле этого слова. Борьба с духовностью нужна лишь на определённом этапе, чтобы расчистить место для разлива и всеобщего затопления умов и воли духовностью демонической, философские и религиозные формы которой ныне представить ещё крайне трудно. Во всяком случае, если бездуховность, сама по себе, может быть повинна только в посмертном сбрасывании души в чистилища, в Скривнус, Агр и Дромн, то демоническая духовность будет затягивать душу в трансфизические воронки, гораздо более жуткие и глубокие. Одной из них будет слой, ещё лишь подготавливаемый ныне, — Цебрумр, где будет господствовать над демонизированными шельтами и астралами людей эгрегор всемирной противоцеркви антихриста. Другие воронки будут засасывать в миры магм и ядра, третьи — в Дуггур и в лунный ад, создаваемый Воглеа. Будет и такая воронка, через которую избранники зла будут в своём посмертии подниматься в тёмную высоту, в Дигм, обречённые на рабствование Гагтунгру в течение необозримых тысячелетий.

Элементы тёмной магии — не той, что мы знаем из истории древнего мира и средних веков, а несравненно более действенной, разработанной и глубокой — сольются воедино с наукой, пропитают и демонизируют её насквозь, а властелин будет пользоваться этим сатаническим знанием для расширения своего владычества — во-первых, а во-вторых — для создания человечеству условий такой роскоши, которая будет вызывать всё большее подпадение людей интересам удовлетворения чувственности, изошрёившейся до невероятия. Те же, у кого ещё сбережётся способность стремиться к чему-то более общему, вовлекутся в осуществление грандиозных технических мероприятий, якобы полезных для всего мира. При этом действительно полезное будет сводиться на нет другими мероприятиями либо своими далёкими следствиями. Завершатся даже некоторые предприятия Розы Мира: утепление полярных областей или, например, полное преобразование лесных трущоб тропиков и пустынь. Но всё это достигнется такими техническими средствами, которые вызовут катастрофическое истощение и паралич всех стихий природы, и тёмных, и светлых. Когда наступление машинной цивилизации на природу станет производиться в универсальных масштабах, весь ландшафт земной поверхности превратится в законченную картину антиприроды, в чередование урбанизированных полусадов и небоскрёбов. Стихии оторвутся от своей среды в Энрофе. Реки и озёра, луга и поля Земли станут духовно пустыми, мёртвыми, как реки и степи Марса, и выхолощенные остатки растительности будут поддерживаться лишь разлитой ещё везде арунгвильтой-праной да механически действующими по инерции метеорологическими и орологическими процессами. Эта внутренне опустошённая и внешне искалеченная природа ни в ком не сможет вызвать ни эстетических, ни пантеистических чувств, и любовь к природе прежних поколений сделается психологически непонятной.

В начале царствования властелин воздвигнет среди Альп столицу мира. Основное место его пребывания будет там. И к концу его господства этот город прославится умопомрачающим великолепием, а его население достигнет цифры в несколько десятков миллионов человек.

Конечно, даже во времена ничем не ограниченной власти тирана найдётся немало людей, внутреннее существо которых будет восставать против того, во что антихрист превращает человеческую жизнь. Но контроль над психикой позволит выявлять подобную направленность мысли в самом зародыше, и лишь немногим единицам удастся достичь овладения системой духовной обороны раньше, чем они будут уничтожены физически. Неизмеримо большее число из тех, у кого уцелеет искра

человечности и проблеск совести, впадут в отчаяние. Число самоубийств возрастёт до баснословной цифры. Впрочем, кармические следствия самоубийства сделаются тогда иными, чем сейчас: с точки зрения посмертия души, даже самовольный уход из жизни станет меньшим злом, чем покорность антихристу и утрата человеческого имени.

Но сколь ни велико будет количество самоубийц, всё же они останутся в меньшинстве. С каждым новым поколением из сознания миллиардов будут всё больше стираться отблески влияния Розы Мира. Последние живые свидетели её заката вскоре уйдут из жизни; за ними последуют и те, кто ещё хранил крупницы знания исторической правды, полученные от предшествующих поколений. Все письменные или иные свидетельства, опасные для антихриста, будут уничтожены; за хранение таких материалов будет полагаться мучительная смерть. Такая же смерть постигнет и тех, в ком понимание правды возникнет независимо от каких-либо книг, произвольно, и кто осмелится поделиться своим духовным опытом с кем бы то ни было. Не так уж трудно представить себе духовный портрет тех поколений, которые окажутся почти единственными насельниками Земли к XXIV столетию. С глазами, привыкшими с младенческих лет к повседневному зрелищам самого изощрённого разврата, с умом, направленным лишь на изыскание новых и новых видов чувственного наслаждения либо на окончательное опустошение природы, с совестью, заглушённой столетней проповедью аморализма, с ростками высших движений души, до корня вытоптанному общественным глумлением, с сознанием, выхолащенным от малейших догадок об иных ценностях и об иными идеалами озарённых эпохах, эти несчастные уже к годам своей молодости будут являть собой не людей, а страшные и жалкие на них карикатуры. Молодость сделается для них тем возрастным рубежом, когда изведано уже всё возможное, тело уже изношено, а душа смертельно пресыщена, и существование длится лишь по инерции.

...И век последний, ужасней всех,  
Увидим и вы, и я:  
Всё небо скроет гнусный грех,  
На всех устах застынет смех -  
Тоска небытия.

Так будут сходить, поколение за поколением, умирая на Земле, в миры Возмездия, и эти миры подобно кухням ада будут клубиться как никогда

густыми, жирными, неиссякающими клубами гавваха. Никакие мировые войны, революции и репрессии, никакие массовые кровопролития не могли бы породить гавваха в таких количествах, напитать им демонические полчища до такого невообразимого разбухания.

Незадолго до конца своего господства князь тьмы начнёт изыскивать пути к такому наказанию непокорных, которое, в случае своей удачи, поставило бы под сомнение грядущую победу Света в земном Энрофе. Отлично зная, что физическое уничтожение его противников, сколь угодно мучительное, высвобождает их шельт и астрал, возводит душу в Синклит Аримойи и умножает этим могучие рати Света, он предпримет работу над тем, чтобы изыскать способ к уничтожению самого шельта непокорных. Если бы это удалось, умножение светлого стана прекратилось бы совершенно, а монады, чей шельт был бы уничтожен, принуждены были бы начинать созидание всей своей гирлянды сызнова.

Да и вообще человечество, даже в своём демонизированном аспекте, не удовлетворит антихриста. Оно ещё будет нужно ему как источник гавваха, да. Но в качестве живых насельников Энрофа, осуществляющих его план, оно не сможет выполнить его требований. Люди окажутся слишком ненадёжны: над каждым из них в лучезарном Ирольне всё-таки будет бодрствовать его высшее Я, и даже в растленной душе будет дремать подавляемая, но неугасимая искра совести. Даже само отчаяние, протрация и отвращение к жизни, которые охватят под конец многих из них, будут для антихриста нестерпимы. На что ему нужен интеллектуальный паралич, наступающий вслед за пресыщением и отчаянием? Подобные существа не способны к дальнейшему развитию демонизированной науки и техники, к захвату космоса и переделыванию его на дьявольский лад. Станет насущно необходим ввод в Энроф тех высокоинтеллектуальных демонических существ, которые ждут и добиваются его в своих инфрафизических странах на изнанке мира. И князь тьмы совершит ещё одно чудо — не меньшее, чем превращение его физического тела в каррох: при помощи воплощённой Лилит он породит чету полулюдей-полуигв; мало отличаясь от людей своим обликом, они будут обладать таким же шельтом, каким обладали в своих преисподних шрастрах; физическое же тело их будет, если можно подобрать такое слово, каррохизировано. Размножаясь стремительно, как рыбы или земноводные, они через две-три генерации достигнут численности почти в миллион и примут на себя руководство человечеством, суля в грядущем полное исчезновение человека в собственном смысле с лица земли. Скрещенье людей и полуигв окажется исключённым полностью: оно будет мучительно

для людей и совершенно бесплодно.

Античеловечество хлынет на лицо земли. Размножающимся полуигвам потребуется пространство. Чтобы его освободить, властелин мира прежде всего обратит свой губительный взор на мир животных. Не знаю, какие мотивы выдвинет он в оправдание полного истребления животных видов, в том числе и таких, которые давно уже будут подняты усилиями Розы Мира до разумного и творческого бытия. Весьма возможно, что вообще никаких мотивов не потребуется, ибо никто не посмеет спрашивать у него отчёта. Во всяком случае, животный мир будет истреблён, а бывшие заповедники и звериные зоны начнут подготавливаться к приёму и прокормлению миллиардов полуигв. В тех же самых целях начнёт приводиться в исполнение и проект приспособления к возможностям органической жизни поверхности соседних планет.

Катастрофа наступит неожиданно для князя тьмы и вопреки его абсолютной вере в свою безграничную победоносность и свою безнаказанность.

Она будет вызвана тем, что монада императора, некогда похищенная для него Гагтунгром и без которой невозможно пребывание его как живого существа в Энрофе, будет, наконец, освобождена. Сам Спаситель Христос явится за нею в Дигм, лиловый океан расступится перед Ним в стороны, Гагтунгр в неопишущем ужасе шарахнет в Шог, а несчастная монада будет поднята в недоступные ему высоты. Её связь с первоначальным владельцем, томящимся в Гашшарве, будет восстановлена, а связи с материальными покровами антихриста пресечены. Суть катастрофы будет заключаться в том, что князь тьмы внезапно начнёт падать, точнее — проваливаться сквозь все слои преисподних, прорежет, как молния, миры Возмездия, Магмы, Ядро и через Дно Шаданакара выпадет из брамфатуры совсем на лишённое времён Дно Галактики.

Катастрофа в нашем мире разразится наглядно, на глазах у многих живых людей и полуигв, в момент одного из самых пышных апофеозов анти-Логоса. Потрясённым толпам это событие предстанет так, как будто каррох этого существа, внушавший всем трепет мистического ужаса и только что пребывавший в неуязвимости, вдруг начнёт терять видимую плотность и медленно превращаться как бы в туман. При этом властелин мира внезапно уразумеет происходящее и поведёт себя так, каким его не видал никто никогда: в нездешнем отчаянии, крича неистовым голосом, он начнёт хвататься за что попало, метаться, выть как зверь, и так постепенно, на протяжении часа, исчезнет из глаз людей.

Катастрофа же, которой завершится жизнь на земле последнего



воплощения Лилит, не будет иметь ни одного зрителя. Сразу после гибели антихриста она исчезнет неизвестно как и куда. В действительности её физический облик бесследно распадётся на составные компоненты. Этого никто не будет знать, и поиски её будут продолжаться долго. Появятся даже самозванки, но, конечно, ни одна из них не сможет выдержать до конца такой нечеловеческой роли. И немало людей покончат с собой от тоски по невозвратно исчезнувшей.

## Глава 5

### Смена эонов

Гибель того, кто безраздельно властвовал над человечеством свыше ста лет, самая необычайность, непостижимость этой гибели вызовут среди населения земного шара смятение небывалое, никаких прецедентов не имеющее. Мгновенное изъятие из Энрофа этого сверхчеловеческого мозга, единственного в своём роде, за всех думавшего, за всех решавшего, за всех планировавшего жизнь, опрокинет все планы, все устоявшиеся представления, подорвёт всю идеологию, выработанную им для людей. Чем единовластнее будет царство антихриста, тем более похоже станет человечество после его гибели на колесо, из которого вырвана ось, спицы рассыпаются во все стороны, а обод устремляется бессмысленными зигзагами куда попало, без управления и цели.

Рассыпающиеся спицы — это элита антихриста, состоящая преимущественно из полуигв и служившая передачей его воли народным массам. Сначала именно к ней по инерции и перейдёт власть. Но вместо единства между её крупнейшими деятелями и группами начнётся яростная грызня, как и всегда среди демонических существ, если перестает спаивать их между собой принцип тиранического насилия. Этому взаимопожиранию в общественных верхах будут соответствовать в массах беспорядочные завихрения разнузданных страстей и брожение умов, оставшихся без авторитетного руководства.

Ненависть к исчезнувшему властелину, глухо шевелившаяся в глубине душ, особенно после того, как человечество ощутило опасность быть вытесненным полуигвами, вспыхнет и прорвётся со стихийной силой. Ему припомнится многое: и тёмные чудеса, которые теперь станут объясняться гениальным шарлатанством, и уничтожение животного царства — акт, в котором люди усмотрят пролог к их собственному намечавшемуся уничтожению, и гекатомбы человеческих жертв, и рождение уродливых, безжалостных полуигв, и, главное, его великую ложь: обещав всем абсолютную сексуальную свободу, он этим ввёл людей в обман, только своим ближайшим подручным разрешив наслаждение мучительством и истязаниями, а людоедство — только себе.

Скоро эти взрывы страстей перерастут в стычки разных клик, мгновенно возникших везде полубандитских обществ и просто разъярённых толп. Некоторые группы из элиты антихриста попробуют

отмежеваться от имени погибшего и даже с резкостью осудят предыдущий исторический этап. Но так как их собственная прошлая деятельность будет в глазах всех теснейшим образом связана с деятельностью владыки, то эта запоздалая перемена фронта не убедит никого. Всё, связанное с именем погибшего, подвергнется неистовому глумлению и уничтожению со стороны той самой черни, на моральное растление которой он потратил свою жизнь, и даже две. Среди общего замешательства из катакомб выйдут уцелевшие последователи Розы Мира, но в атмосфере, отравленной столь длительным господством Зла, умы окажутся неспособными воспринять какое бы то ни было провозвестие светлой духовности, и проповеди их не дойдут до человеческого сознания, как речи на незнакомом языке. Число новообращённых ограничится единицами, и остатки Розы Мира скоро подвергнутся новой волне гонений.

Но полная сексуальная свобода наконец-то будет достигнута и в самом деле. Развяжется то, что при властелине оставалось запретным плодом для масс: садизм и сексуальное людоедство. Процесс распада универсального государства убыстрит свой темп, и анархию внутри каждой из его частей лишь местами удастся кое-как обуздать при помощи драконовских мероприятий.

Особенно зверские формы примет взаимная вражда людей и полуигв. Пришельцы будут глубоко презирать человечество как низшую, ни на что серьёзное не способную расу, а люди — ненавидеть эти сухо рассудочные существа как наглых захватчиков, похитителей их исконных прав, как одушевлённые подобия механических роботов, лишённые понимания человеческих страстей и выполняющие коварный план полного истребления человечества. Эта взаимная ненависть быстро перерастёт в последнюю мировую войну. Полуигвы удержат власть в бывшей столице мира и оттуда поведут наступление во всех направлениях, чтобы безраздельно подчинить себе поверхность земли и прекратить хаос. Так как развитию военной техники при антихристе не уделялось внимания, то средств вооружённой борьбы окажется слишком мало у обоих лагерей, они будут изобретаться и совершенствоваться на ходу, и война затянется. Возможно, орудия войны окажутся в общем даже более примитивными, чем во второй половине XX столетия. К тому же ни в одном из лагерей не будет единства. Бывшая элита, вернее, те из её числа, кто не сразу погибнет во взаимных распрях или жертвами самосуда толпы, так и не смогут окончательно договориться между собою. Тем более разобщённой будет коалиция человеческих государственных образований; однако люди начнут подавлять врага своей численностью. В ходе войны прославленная столица

будет захвачена и ярость масс проявится в бешеном разгроме этого города со всею его роскошью. Часть населения будет беспощадно, лучше сказать садистически, истреблена, другая в панике покинет город, и за несколько дней он превратится в скопище зловонных руин, со стен которых только изображения бесовских оргий и скотских действий будут смотреть на огонь пожаров и мерзость запустения.

Среди кровавой вакханалии, охватившей весь мир, возникнут и движения светлой направленности, но они окажутся в положении преследуемых, разобщённых, не понятных почти никому. В какой-то степени они проявятся даже среди полуигв — далёкое звено в развитии тех потенциалов, которые уже в наши дни доказали своё бытие фактом обращения Великого Игвы Друккарга и его немногочисленных последователей. Конечно, среди полуигв таких будет ничтожное меньшинство.

Не знаю, сколько лет продлится этот период — от гибели князя тьмы до смены эонов, во всяком случае недолго, — и к концу его общество на поверхности земли погрузится во всеобщий хаос. Некоторые зоны воочию превратятся в то, что теперь называется лунным ландшафтом. Другие захлестнутся хлябями анархии, борьбы всех против всех. В третьих возникнут местные тираны, которые сумеют ухватиться за некоторых технические изобретения, позволяющие контролировать поведение масс; иные из этих тиранов даже встретят поддержку среди разных слоёв как единственная сила, хоть как-нибудь цементирующая общество. Наконец, в зонах четвёртого типа наступит полный экономический развал и стремительный технический регресс. Разобщённые человеческие ячейки вернутся к примитивным способам добычи средств существования. Общая панорама безмерно омрачена тем, что моральный уровень с самого начала этой эпохи будет столь низок, каким он не бывал даже в доисторические времена.

Не при антихристе, а именно через два-три десятилетия после него разгул Зла на поверхности земли достигнет своего апогея. Ибо«... произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа <...> Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени!» (Апокалипсис, 12, 7–12)

В природе начнутся необъяснимые явления, внушающие ужас, как предвестия какой-то космической катастрофы, ещё не бывавшей и, может быть, завершающей. Только ничтожная горсть устоявших, рассеянных по всем концам земли, поймёт эти явления. Они поймут, что свыше двух тысяч лет спустя после Голгофы Планетарный Логос вошёл, наконец, в Свою полную силу, достаточную для того, чтобы совершить преобразование земли.

«И явилось на небе великое знамение — жена, облечённая в солнце <...>. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения <...> Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца. И родила она младенца мужского пола <...> и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его.<...> И даны были жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь её рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошёл, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божий и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Апокалипсис, 12, 1–2, 4–5, 14–17)

Что значит «Жена, облечённая в солнце»? Это — Звента-Свентана, объятая Планетарным Логосом и рождающая великий Дух второго зона. В мировой истории это отобразится Розою Мира, в крайних муках подготавливающей человечество во времена перед антихристом, при нём и после него как грядущий сосуд ко вмещению этого рождаемого Духа.

Наконец, одно из знамений прочтётся как знак, что в высших мирах метаистории всё подготовлено и что старый эон вступает в свои последние дни.

Несколько десятков человек — всё, что останется от Розы Мира, установят связь с теми немногими из людей и полуигв, которые независимо от Единой Церкви и даже не зная о Ней, совершили внутренний выбор светлой направленности. Будет подан знак о том, что наступает время соединения всех оставшихся в живых братьев Света в одной точке на поверхности земли. Преодолевая все препятствия, сто или двести верных соберутся воедино, и последний из верховных наставников возглавит их. В Откровении Иоанна это место названо по-еврейски — «Армагеддон». Я не знаю, что значит это слово. Мне кажется, великое событие это совершится в Сибири, но почему для последней встречи изберётся именно эта страна, мне неизвестно.

И в этот час вздрогнет сверху донизу весь Шаданакар.

В мирах ангелов, даймонов, стихиаблей, во всех мирах восходящего ряда явится Тот, Кто проходил по дорогам земной Галилеи столько веков назад. Непредставимое ликование охватит эти миры, и обитатели их пройдут сквозь ещё одну, светлейшую трансформу.

Он явится во всех затомисах человечества, и все синклиты устремятся за Ним, сходя в Энроф.

Князь тьмы ужасал людей, являясь в трёх-четырёх физических обликах одновременно. Христос явится во стольких обликах, сколько будет тогда в Энрофе воспринимающих сознаний, каждому из них показуя Себя и каждому из них глаголя.

Эти облики, непостижимо отождествляясь, будут в то же время слиты в одном, верховном, грядущем на облаках в неизреченной Славе.

И не останется в Энрофе ни одного существа, не видящего Бога-Сына и не слышащего Его слов.

И исполнится то, иносказание о чём хранится в Писании как пророчество о Страшном Суде.

Пространство Энрофа ещё не изменится, но материальность человека будет изменена.

Те, кого этот час застигнет живущими в Энрофе, претерпят не смерть, но одну из двух противоположных трансформ.

Немногие из людей, оставшиеся верными, преобразятся физически, их материальные облачения будут мгновенно просветлены. Эти останутся в Энрофе.

Большинству же — всем тем, кто составит дьяволичество — предстоит трансформация обратная: не умерев физически, они телесно изменятся так, что очутятся в мирах Возмездия. Сперва — в верхних чистилищах, потом — вниз и вниз, каждый сообразно своей карме.

Некоторые игвы, в незначительном числе, будут оставлены в Энрофе, где сделаются как бы особою расой, руководимой просветлённым богочеловечеством. Остальные падут на Дно Шаданакара, а позднее поднимутся в слой объединённых шрастров.

Высшие животные, уцелевшие от истребления антихристом, которых смена эонов застанет в Энрофе, вознаграждаются за все страдания: они испытают то же преобразование, что и человеческое меньшинство, и дополнят собою число насельников земли во втором эоне.

Достигший божественного могущества Спаситель сойдёт и в другие слои. Игвы всех шрастров, в смятении и потрясении, воочию улицезрят Его, источающего волны любви и света. Явление Планетарного Логоса,

Кого их перевёрнутый ум принимал за мятежника и грозного тирана, вызовет изменение направленности их воли, и, оставаясь ещё в своих каррохах, они волеются в медленный процесс — просветление античеловечества и изнанки мира. Нечто схожее предстоит и раруггам. Демонов же великодержавной государственности ко дню смены эонов уже не будет: все они, кроме одного, ещё гораздо раньше падут в Уппум, и спасение их включится в число задач второго эона.

Узы страдальцев, томящихся в чистилищах и магмах, будут преодолены, их материальность облегчена, способности духовного восприятия — раскрыты, и пленники начнут подъём по ступеням миров восходящего ряда.

Грозные демонические существа ринутся вниз, ибо Дигм будет уничтожен ещё раньше, в тот метаисторический момент, о котором Апокалипсис говорит как об их поражении в небесной войне и об их низвержении на землю. Они будут обороняться в Гашшарве, Цебрумре и в лунном аду.

И ещё ниже сойдёт Спаситель — в тот слой, куда не мог до тех пор проникнуть никто, кроме его хозяина, Гагтунгра. В Суфэтхе, кладбище Шаданакара, распахнутся врата, пребывавшие замкнутыми от века, и потоки божественного света зальют от края и до края пустыню, доселе озарявшуюся лишь лиловым солнцем антикосмоса. Умиравшие скорлупы, покинутые монадами, приподнимутся навстречу жизнедарующим лучам. Дыхание воскрешающего Логоса вдунет новую жизнь в эти полуживые останки душ, обречённых на смерть вторую, но не переживших ещё минуты окончательного распада своих шельтов. Кладбище Шаданакара прекратит своё существование навсегда.

Синклиты же — все тридцать четыре синклита человечества, все мириады просветлённых душ — и положивших начало своему восходящему пути в древнейших цивилизациях Атлантиды, Гондваны или Египта, и вступивших на него в позднейшие века, и достигших блистающей Аримойи через мученичество в последние века истории, — все сойдут в Энроф следом за Спасителем Христом — не родятся, но явятся и населят землю.

«И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на

брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии» (Апокалипсис, 19, 6–9).

Так завершится мистерия первого эона — борьбы Мрака со Светом за овладение Землёй и поражения Мрака.

Тогда наступит брачная вечеря. Логос Планеты и её Церковь сочетаются в неизреченной любви во внутреннем чертоге Мировой Сальватэрры, на запредельных высотах.

Второй эон, о котором свидетельствуют пророчества как о тысячелетнем царстве праведных, вступит в свои права. Его цель — спасение всех без исключения, кто сорвался, кто отстал, кто пал в глубину миров Возмездия, и преобразование всего Шаданакара.

Ибо силы Гагтунгра, изгнанные из Энрофа, ещё удержат власть в некоторых иных мирах, и потому что в чистилищах и страдалищах останутся ещё множества совершивших роковую ошибку в последние исторические эпохи. И встанет задача — завершение преобразования тёмных миров, начатого Христом ещё в три великие дня между Голгофою и Воскресением; преобразование безысходных страдалищ во временные чистилища, а чистилищ — в миры духовного врачевания и поднимание всех страдальцев сквозь эти слои в миры Просветления.

На земле же Богочеловечество, не зная более разобщённости ни с Христом, ни со Звентой-Свентаною, но возглавляемое и направляемое ими, приступит к преобразованию и одухотворению того, что осталось от его предшественников в Энрофе: искалеченной природы, городов и цивилизации.

Ни человеческого рождения, ни болезней и смерти, ни страданий души, ни вражды и борьбы не будет знать второй эон; он будет знать лишь любовь и творчество ради избавления погибших и просветления всех слоёв материи. Ибо для этого и существуют все человечества и все содружества: и наше, и ангельское, и дэймонское, и царство животных, и стихии, и все иерархии Света. Для этого мы и воплощаемся здесь, в плотной, ещё не озарённой материальности.

Наступят и те отдалённые времена, когда задачей сделается высветление слоёв самых плотных, самых тяжких, самых низших. И кто же будет разрешать эту задачу, как не добровольные мученики? Ибо они, оставляя просветлённый Энроф, будут спускаться в такую тьму, единая минута пребывания в которой есть великое мучение.

В человечестве зла уже не останется, но тёмные силы будут ещё оказывать сопротивление в демонических мирах. Никто, кроме Всеведающего, не знает, сколько тысячелетий продлится царство



праведных на земле. Само время делается тогда иным, чем теперь, оно превратится в золотую симфонию параллельно струящихся времён, и то, что мы называем историей, иссякнет. Не история, а возрастание мировой гармонии будет содержанием времени.

В середине второго эона опустеют все слои Возмездия. Ни излучения страданий, ни излучения злобы, ни излучения похоти уже не будут питать собою стана демонов, и богоборческие существа одно за другим отпадут от своей демонической природы. К исходу второго эона опустеет и преобразится сама Гашшарва, исчезнет Дно, и лишь Гагтунгр в неприступном Шогге будет твердить своё «Нет», впивая силы из антикосмоса Галактики.

Если планетарный демон, покинутый соратниками, упорствует во зле, оставшись один на один с началом Света среди преображённой брамфатуры, никакие силы Люцифера не в состоянии ему помочь на продолжение борьбы с силами Провидения.

Тогда он, побеждённый, покидает брамфатуру совсем, ища новых пристанищ и новых путей к своей тиранической мечте в иных краях Вселенной.

Если же Гагтунгр, оставшись один в преображённом, ликующем Шаданакаре, скажет наконец Христу и Богу: «Да!» — Шаданакар вступит в третий эон. Он исчезнет из космического Энрофа, как исчезла некогда планета Дайя, чтобы в высших, непредставимых формах бытия разрешать задачу третьего эона: искупление Гагтунгра. Это о наступлении третьего эона клянётся великий ангел Апокалипсиса, говоря, что времени уже не будет.

Так, восходя от света к свету и от славы к славе,  
все мы, населяющие землю теперь,  
и те, кто жил, и те, кто явится жить в грядущем,  
будем подниматься к неизреченному Солнцу Мира,  
чтобы рано или поздно слиться с Ним  
и погрузиться в Него  
для сорадования  
и для со-творчества Ему  
в созидании вселенных и вселенных.

## **Краткий словарь имён, терминов и названий, наиболее часто встречающихся в тексте**

Агга — все виды материальностей нашей брамфатуры, созданные или создаваемые демоническими началами. Структурно отличаются от материальностей физических и вообще от сийры тем, что количество первичных слагаемых агги крайне ограничено и ни одна из её элементарных частиц не обладает ни свободой воли, ни одушевлённостью.

Антикосмос — условное обозначение для совокупности всех миров, создаваемых демоническими началами, и предполагаемое замещение Божественному космосу. К антикосмосу нашей брамфатуры ныне принадлежат слои: Шог, Дигм, Гашшарва, Суфэтх и Дно.

Аримойя — ныне создаваемый затомис общечеловеческой культуры.

Арунгвильта-прана — безличная, бессознательная тонкоматериальная субстанция, разлитая в Энрофе, переливающаяся из тела в тело и обеспечивающая возможность индивидуальных органических существований. Чувство присутствия арунгвильты-праны было осью душевной жизни праанимистического человечества и являлось, по-видимому, древнейшим из откровений.

Астрал — здесь — второе из тонкоматериальных облачений монады. Шельт — первое из тонкоматериальных облачений, творится самой монадой; в творении же астрала принимает участие великая стихиаль Мать-Земля. Она принимает участие в творении индивидуальных астралов всех существ Шаданакара — людей, ангелов, даймонов, животных, стихиалей, демонов и даже Великих Иерархий, когда последние спускаются в слои, где это необходимо. Астрал — высший инструмент шельта. В нём сосредоточены способности духовного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способность полёта, способность общения с существами иных слоёв, способность созерцания космических панорам и перспектив.

Брамфатура — почти каждое небесное тело обладает рядом разноматериальных слоёв, образующих взаимосвязанную и взаимообусловленную систему. Брамфатурами называются такие системы, объединённые общностью процессов, протекающих в их слоях. В большинстве брамфатур нашей Галактики основной процесс,

объединяющий слои каждой из них, есть процесс борьбы Провиденциальных и демонических сил. Имеются, однако, и такие брамфатуры, которые полностью подпали под демоническую власть, и такие, которые уже полностью от неё освободились.

Воглеа — имя великого демона женственной природы, виновника катастрофы, некогда постигшей человечество Лунной брамфатуры. Долгое время находясь в полуизоляции, враждуя и с Провиденциальными силами, и отчасти с Гагтунгром, Воглеа ныне сопрягает свои усилия с усилиями планетарного демона.

Гагтунгр — имя планетарного демона нашей брамфатуры. Он обладает тремя лицами, как и некоторые другие из крупнейших иерархий. Первая ипостась Гагтунгра — Великий Мучитель Гистург, вторая — Великая Блудница Фокерма, третья — великий осуществитель демонического плана Урпарп, называемый иногда Принципом формы.

Гаввах — тонкоматериальное излучение человеческого страдания, выделяемое нашим существом как при жизни, так и в нисходящем посмертии. Гаввах восполняет убыль жизненных сил для многих категорий демонических существ и самого Гагтунгра.

Гашшарва — один из основных слоёв демонического антикосмоса в Шаданакаре; мир двух пространственных измерений, гнездилище разнообразных и могущественных демонических сил.

Даймоны — высшее человечество Шаданакара, обитатели сакуалы миров с четырьмя пространственными координатами и различным числом временных координат. Даймоны проходят путь становления, схожий с нашим, но начали его раньше и совершают успешнее. С нашим человечеством они связаны разнообразными нитями, некоторые из коих уясняются в ходе общего изложения.

Дигм — обиталище Гагтунгра, один из миров пяти пространственных и множества временных измерений.

Дингра — каросса России.

Друккарг — шрастр Российской метакультуры.

Дуггур — один из слоёв демонических стихиаблей, имеющий для человечества особое значение. Существа, проходящие воплощения в Дуггуре, восполняют убыль своих жизненных сил эйфосом — излучениями похоти человечества.

Жругр — российский уицраор.

Затомисы — высшие слои всех метакультур человечества, их небесные страны, опора народоводительствующих сил, обители синклитов. Вместе с созидающей ныне Аримойей — затомисом Розы Мира — их общее число

достигает тридцати четырёх.

Звента-Свентана — великая богорождённая монада, выразительница Вечной Женственности, Невеста Планетарного Логоса, сошедшая с духовных космических высот в верхние слои Шаданакара около полутора столетий назад<sup>[47]</sup> и долженствующая принять просветлённое (отнюдь не физическое) воплощение в одном из затомисов человечества. Это метаисторическое событие отразится в земном Энрофе как появление Розы Мира.

Игвы — главная из рас античеловечества. Высокоинтеллектуальные демонические существа, обитатели «изнанки миров» — шрастров.

Иерархия — употребляется в настоящей книге в двух значениях: 1. Иерархия — т. е. лестница соподчиненных чинов, церковных, военных или административных; 2. Иерархия (иерархии) — различные категории иноприродных, иноматериальных или духовных существ, например, иерархии ангельские, демонические, стихиалей, даймонов и многие другие.

Ирольн — один из миров пяти пространственных координат, обиталище монад человечества.

Кароссы — локальные, связанные с отдельными нациями или сверхнародами проявления великой стихиали человечества, Лилит. Кароссы лишены монад, но обладают эквивалентом сознания и воли.

Каррох — аналогичное физическому плотное органическое тело некоторых видов демонических существ (например, игв и раруггов), созданное не из сийры, а из агги.

Крагр — слой, где происходят битвы уицраоров.

Лилит — великая стихиаль человечества, некогда — супруга Первоангела, затем ваятельница физической плоти человеческого рода и некоторых других существ. Её собственное существо демонизировано Гагтунгром задолго до появления в Энрофе ныне существующего человечества.

Метаистория — 1. Ныне находящаяся вне поля зрения науки и вне её методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях иноматериального бытия, которые, пребывая в других видах пространства и других потоках времени, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. 2. Религиозное учение об этих процессах.

Метакультуры — внутренние сакуалы Шаданакара, представляющие собой как бы сегментарные членения некоторых его нижних слоёв. Метакультуры состоят из разного числа слоёв, однако каждая из них обладает непременно тремя: физическим — местом обитания в Энрофе

соответствующего сверхнарода, творящего свою культуру; затомисом — небесною страную просветлённых душ этого-народа; шрастром — демоническим исподним миром, противопоставляемым затомису. Кроме того, все метакультуры включают то или иное число слоёв Просветления и слоёв Возмездия. Характер этих миров в каждой из метакультур варьируется в зависимости от хода метаисторических процессов.

Мировая Сальватэрра — условное обозначение вершины и сердца Шаданакара, наивысшей из его сакуал, состоящей из трёх миров: обители Планетарного Логоса, обители Богоматери и обители Звенты-Свентаны.

Монада — здесь: первичная, неделимая, бессмертная духовная единица, богорождённая либо богосотворённая. Мироздание являет собой неисчислимое множество монад и многообразные виды создаваемых ими материальностей.

Монсальват — затомис Северо-западной метакультуры.

Мудгабр — шрастр Северо-западной метакультуры.

Навна — богорождённая монада, одна из Великих Сестёр, Идеальная Соборная Душа Российской метакультуры. Имя условное.

Небесная Россия (Святая Русь) — затомис Российской метакультуры, обиталище её Синклита.

Нэртис — один из миров Просветления, страна лучезарного отдыха и блаженного покоя.

Олирна — первый из миров восходящего ряда, страна усопших, общая для всего человечества, хотя в каждой из метакультур она имеет свой особый характер.

Планетарный Логос — Великая Богорождённая монада, выразительница Бога-Сына, божественный разум нашей брамфатуры, древнейшая, самая первая из всех её монад, выразившая себя в человечестве Иисусом Христом и возглавляющая подготовку нашего мира к смене эпох. Планетарный Логос — Вождь всех сил Света в Шаданакаре.

Раругги — вторая из рас античеловечества, представляющая собой существа, до стадии которых развились великие хищники древних геологических эр, пройдя через бесчисленные воплощения в слоях демонической материальности.

Родомыслы — исторические деятели, оказавшие могучее и благотворное влияние на судьбы народа или государства и руководимые в своей деятельности вдохновляющим влиянием народоводительствующих иерархий.

Роза Мира — грядущая всехристианская Церковь последних веков, объединяющая в себе церкви прошлого и связующая себя на основе

свободной унии со всеми религиями светлой направленности. В этом смысле Роза Мира интеррелигиозна или панрелигиозна. Основная её задача — спасение возможно большего числа человеческих душ и отстранение от них опасности духовного порабощения грядущим противобогом. Возникновение Розы Мира в человечестве будет отражением эфирного рождения Звенты-Свентаны в одном из затомисов.

Сакуала — здесь — система двух или нескольких разноматериальных слоёв, тесно связанных между собою структурно и метаисторически.

Сверхнарод — группа наций или народностей, объединённая между собой общей, совместно создаваемой культурой.

Сияйра — все виды материальностей, созданные или создаваемые Провиденциальными силами.

24 декабря 1950 г. – 12 октября 1958 г.

---

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

Под планетарным космосом понимается совокупность слоёв различной материальности, различного числа пространственных и временных координат, но непременно связанных со сферой Земли как планеты. Планетарный космос — это земной шар во всей сложности материальных (а не физических только) слоёв его бытия. Подобные могучие системы имеются у множества небесных тел. Они называются брамфатурами. Брамфатура Земли носит имя Шаданакар. Об этих словах, как и о многих других, употребляемых здесь впервые или же измененных новым смыслом, в них влагаемым, следует смотреть небольшой словарь, приложенный в конце.



Кстати, если Евангелие не говорит об арунгвильте-пране прямыми словами, зато оно подробно рассказывает о длинном ряде случаев, когда Христос и, позднее, апостолы пользовались этой сущностью. Совершенно непонятно, как могли бы христианские ортодоксы объяснить суть того иноматериального механизма, которым пользовались виновники чудесных исцелений, если отрицать наличие жизненной силы, разлитой во всём и везде.

Булгаков С. «Два града». М., 1911. Том 2, стр. 103.

Такая характеристика, однако, не должна быть воспринята как попытка предрешить заранее в положительном смысле оценку объективной значимости описанного психологического явления. Об этом речь впереди.

Это переживание я попытался выразить в поэме «Ленинградский апокалипсис», но закономерности искусства потребовали как бы рассучить на отдельные нити ткань этого переживания. Противостоявшие друг другу образы, явившиеся одновременно, пришлось изобразить во временной последовательности, а в общую картину внести ряд элементов, которые хотя этому переживанию и не противоречат, но в действительности в нём отсутствовали. К числу таких производительных привнесений относится падение бомбы в Инженерный замок (при падении этой бомбы я не присутствовал), а также контузия героя поэмы.

Мировые периоды. Кальпа — период от возникновения до разрушения мира.

Отмечу попутно, что различие двух значений слова «вечность» до сих пор очень мало осознано нашей философской мыслью.

Из числа деятелей мировой культуры я мог бы назвать несколько таких имён: Эсхил, Дант, Леонардо, Микеланджело, Гёте, Бетховен, Вагнер, Ибсен, Лермонтов, Лев Толстой.

Кроме субъективного идеализма.



В некоторых культурах, например в Греко-римской или Вавилоно-ассиро-ханаанской, развитие мифов уже вышло из стадии «общего», но не сложилось в систему, достаточно строгую для того, чтобы мы могли причислить олимпийский и вавилонский мифы к группе национально-религиозных мифов сверхнародов.

При этом само понятие «данной культуры» может быть осознано не более чётко, чем это было, например, у греко-римлян, с их противопоставлением себя всему остальному человечеству как варварам.

Эта культура должна была высоко поднять труд просветления животного царства, но исторически пришла к его обоготворению и деградировала до широкого распространения людоедства.

Эта культура особо предназначалась к борьбе с лунным демоном женственной природы — Воглеа. Отсюда необычайная целомудренность этого народа. С этим же связано и его отрицание городской цивилизации.

Названия шрастров завершившихся в Энрофе метакультур: Дабб — шрастр Атлантиды, Бубгиц — шрастр Гондваны, Сэтх — Древнего Египта, Тартар — греко-римлян, Нергал — Вавилоно-Ассирии, Дэван — Ирана, Зинг — еврейства, Бабилон — Византии. Последнее наименование основано, кажется, на неточном толковании символов Апокалипсиса. Под «Вавилоном» Откровения следует понимать не византийский шрастр, а дьяволочеловечество Грядущего.

Ару — шрастр Индомалайской метакультуры, Альфокк — Мусульманской, Тугибд — Индийской. Два последних ещё могут быть возрождены в связи с появлением новоиндийского и новомусульманского рода уицраоров.

За инквизицией стояло беспрецедентное метаисторическое явление — ужаснейшее из порождений Гагтунгра. Подобных ему не было ни раньше, ни позже ни в одной метакультуре. Обитало оно в Гашшарве, и с ним боролось множество светлых сил; последний удар был нанесён лишь в XVIII веке великим человекодухом Иоанном Богословом. Теперь оно выброшено из Шаданакара на Галактическое Дно. Папство не вполне свободно от инвольтации демонических сил и поэтому до сих пор не до конца осудило этот страшный исторический этап.

Унидр — уицраоры Вавилона, Ассирии и Карфагена; Форсуф — Македонии и Рима; Фошц — еврейства; Ариман — Ирана (сколь не странно применение этого имени к демону великодержавной государственности); Харада — уицраоры Индии; Эфрор — халифатов, старой Турции и тюрко-мусульманских империй. Имена уицраоров Византии, средневековых государств Юго-Восточной Азии, связанных со шрастром Ару, но довольно слабых, мне неизвестны



Арвантакернис. Диэдарнис. Ранматирнис. Сербарайнис. Магралейнос.  
Иваройнис. Наммарайнос.

Я лелею надежду на то, что читатель поймёт, что всякое применение к иерархиям привычных для нас антропоморфных понятий возраста, брачных отношений и т. п. может быть делаемо лишь с целью приблизить путём единственно возможных, хотя и далёких аналогий, нашу мысль к пониманию явлений, в буквальном смысле не имеющих почти ничего общего с явлениями, привычными для нас.

Под термином «эфирный» я разумею материальность более тонкую и высокую, чем физическая. Эфирной является материальность миров Просветления, затомисов, Светлых стихий. Для обозначения ещё более тонкой материальности, характерной, например, для сакуалы Высокого Долженствования и сакуалы Ангелов, применяется термин «астральный», а для наитончайшей из всех вообразимых нами материальностей — термин «метаэфирный». Это материальность высших слоёв Шаданакара. Ко всему, иерархически расположенному ещё выше, применяется слово «духовный».

Было бы чрезвычайно интересно увидеть когда-нибудь капитальное исследование, посвящённое истории и развитию идеи Вечной Женственности хотя бы в христианских культурах. Но, конечно, такое исследование очень выиграло бы, если бы в рамки его были включены и другие религии, по крайней мере те, в пантеонах которых обрисовались образы великих милосердных богинь: индуизм, махаяна, древние политеистические учения и, разумеется, гностицизм.

В главе о животном царстве уже было указано на единственное исключение — на класс живых существ, который не может и не должен быть очерчен кругом любви в условиях текущего эона: на паразитов. Здесь перед нами этическая задача, разрешить которую на настоящей ступени восхождения мы не в состоянии. На этот счёт не следует создавать себе никаких иллюзий.

Как я уже говорил, фонетика Энрофа не может дать точного отображения звучания слов на языке Синклита Мира: каждое такое слово обладает как бы аккордом звучаний, аккордом значений и сопровождается, кроме того, явлениями световыми. Приблизительный смысл имени Звента-Свентана — «Светлейшая из светлых и Святейшая из святых». Корень имени — славянский, поскольку затомис, в котором происходит Её рождение, связан с народами, славянскими по преимуществу.

Оговариваюсь, что возрастные этапы в применении к иерархиям сверхнарода не только имеют длительность, в десятки раз превышающую длительность соответствующих этапов человеческой жизни, но и самые пропорции этих этапов не совпадают с привычными для нас. В частности, их юность синхронична весьма длительным периодам истории, а пора их зрелости протекает преимущественно уже тогда, когда соответствующий народ сыграл свою роль в Энрофе и продолжает становление и творчество в высших слоях метакультуры. Например, ныне находятся в состоянии полной зрелости народоводительствующие иерархии Древнего Египта, Вавилонии, античности, не говоря уже о Гондване и Атлантиде.

Один из эпизодов борьбы церкви с этим мифом в церковном зодчестве можно видеть в запрещении (в XVII веке) шатровых храмов ради возвращения к каноническому византийскому типу.



Поучительно сравнить, например, с идеальным образом народа французского: *la belle France* (прекрасная Франция (фр.) — Ред.) или индийского: Бхарат-Мата, Матерь-Индия.

Поучительно вспомнить характерный для одной из позднейших эпох взгляд на Иоанна IV, приписывающий его тиранической тенденции и даже самой опрличнине некую безусловно прогрессивную роль.

Я здесь стараюсь указать на метаисторический смысл музыкальной мистерии Римского-Корсакова как наивысшей (пока что) ступени в развитии этого изумительного сказания.

Ограниченность Священного Союза сферою христианских народов была совершенно естественна для религиозно-политического кругозора в начале XIX века. Бросать Александру упрёк в неполной универсальности его идеи так же странно, как, например, обвинять Петра в том, что он не создал отечественной авиации.

Выражение Д. Мережковского.

Слово «легенда» здесь неуместно во всяком случае, так как научному сомнению подвергается не историчность самого Фёдора Кузьмича, но идентичность его императору Александру.

Жизнеописание отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. Январь, 1906 г. Изд. Афонского русского Пантелеймонова монастыря.

Тот, кто был Наполеоном, рождался несколькими веками ранее с подобной же миссией «увеличения страданий» в халифате Аббасидов. После своего апофеоза в роли императора французов он несколько лет пробыл на Дне, потом в Гашшарве, где его подготавливали к третьей тёмной миссии: созданию одной религии левой руки в Германии. Если бы это удалось, задачи Гитлера были бы весьма облегчены, а сам Наполеон, в третий раз пав на Дно, испытал бы провал в Суфэтх и выпадение из Шаданакара. К счастью, его удалось вырвать из Гашшарвы; в этом принимали участие, между прочим, Людовик Святой и сама Жанна д'Арк.



В одну из своих предыдущих инкарнаций Л. Андреев жил в Палестине, где был крупным купцом. То была эпоха императоров Августа и Тиберия. Об Иисусе Христе Андреев, в сущности, только слышал, но был один случай, когда он видел Христа издали на иерусалимской улице. Спаситель шёл с группой учеников. Встреча продолжалась несколько секунд и Андреев не знал, КТО это, но лицо Иисуса его поразило и врезалось в память навсегда.

Вечно-женственное влечёт нас ввысь (нем.; «Фауст» Гёте.) — Ред.

Второго — если считать первым Достоевского.

«Россия и Вселенская церковь» (фр.) — Ред.

Скорбут — то же, что цинга — Ред.

Prosperity (англ.) — преуспевание, процветание. — Ред.

Memento mori (лат.) — напоминание о смерти — Ред.

Повапить (стар.) — выбелить или окрасить. «Гробы повапленные» — раскрашенные снаружи. — Ред.



Вряд ли подозревал Щедрин, что в этом стремлении втиснуть всё в прямую линию может сказываться отголосок воспоминания об обстановке в одном из других слоёв, а именно — на одномерном Дне Шаданакара.

Говорю «десять лет», потому что позже гул патриотических возгласов был совершенно заглушён грохотом налётов и разрывами бомб.

В Филях или в с. Коломенском.

Немецкий дух (нем.) — Ред.

Краминов Д. «По Индии». М., 1956. стр. 184–186.

То есть примерно в начале XIX века — Ред.